

5

Библиотека Пионера



Библиотека Пионера

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





50 Л Е Т
ВСЕСОЮЗНОЙ
ПИОНЕРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА

Библиотека пионера



ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

Том 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"
МОСКВА
1973

ЛЮБОВЬ Воронкова

*Алтайская
повесть.*

Николай Дубов

На краю земли.

Муса Магомедов

*Знаменитая
трость.*

Воронкова Л. Ф.

В 75 Алтайская повесть.—Дубов Н. На краю земли.—
Магомедов М. Знаменитая трость. Пер. Ц. Голодного.
Оформл. Е. Савина. М., «Дет. лит.», 1973.

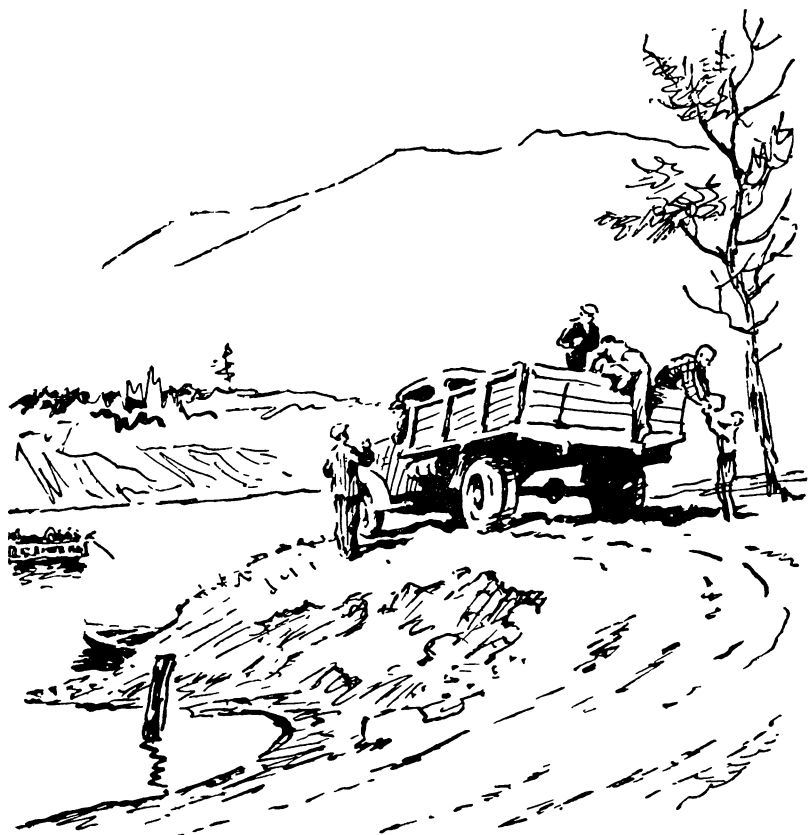
576 с. с ил. (Библиотека пионера. Избранные повести и рассказы, т. 5).

Эти три повести посвящены той счастливой поре жизни, которая называется детством. Повесть Н. Дубова «На краю земли» и «Алтайская повесть» Л. Воронковой рассказывают о ребятах горного Алтая; герои повести М. Магомедова «Знаменитая трость» — мальчики из аварского аула. Но всем им близки дела и заботы взрослых, всего нашего народа — и это главное, что их объединяет. «Земля пионеров» — так названо послесловие к этому тому, написанное Львом Разгоном

Сб 2

ЛЮБОВЬ ВОРОНКОВА

*Алтайская
повесть*



КОСТЯ ПИШЕТ ДОКЛАД

Костя Кандыков сидел над раскрытой тетрадкой с карандашом в руке. В школе шумела большая перемена: ребята бегали по коридору, боролись, пели, смеялись. А Костя, чтобы не терять времени, заперся в тихом физическом кабинете — он готовил доклад, который должен был сделать на кружке юннатов.

Костя морщил брови, ерошил свои короткие светлые волосы, вертел карандаш в руке, начинал писать и тут же зачеркивал. С тех пор как он прочитал «Жизнь растения» Тимирязева, глаза его словно раскрылись. И тот мир, привычный и обыкновенный, в котором он жил, вдруг повернулся к нему новой,

невиданной стороной и засиял новыми красками, мыслями, чувствами...

«Во всем — солнце! Подумать только — во всем! — задумчиво повторял он про себя. — И в хлебе, и в мясе... Или вот эти дрова лежат у печки. Это не просто дрова, это скрытая энергия солнца, «консерв солнечных лучей»... И вот на окне бегония: родилась, растет, живет — живет потому, что на нее упал солнечный луч! Удивительно, удивительно все это, однако!..»

И, раскрыв книгу Тимирязева, он еще раз прочитал строки, которые его особенно поразили:

«...Когда-то... на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на внутреннюю работу... вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы... Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу...»

Как обо всем этом рассказать юннатам, чтобы им и понятно было и интересно?

Костя в раздумье подошел к окну. Морозные узоры, которые утром тонким серебром застилали стекла, растаяли, оставив лишь по краям несколько сверкающих веточек. Высокий округлый конус большой горы Чейнеш-Кая, поседевший от снега, глядел в окно.

«Пригревает, однако... — подумал Костя, — весна подходит. Вот уж и ручейки на Чейнеш-Кая показались... Как блестят! Залезть бы наверх — звон теперь стоит на вершинах. Весеннее солнце идет!..»

— Эх, что ж это я! — спохватился он вдруг. — Сидел, сидел, а тетрадка пустая... Как бы мне свой доклад назвать? Ладно. «Луч солнца» — вот так и назову.

Костя опять уселся за стол. Но только взялся за карандаш, в дверь постучали:

— Костя! Кандыков!

«Нашли!» — с досадой подумал он, но затаил дух и решил не отвечать. Постучат и уйдут.

За дверью заспорили:

— Отойди, дай я постучу!

— А как будто я без рук!..

Стук раздался громче.

— Костя, открой!

— Чо кричишь? А может, его там нету?

— Мая, ты опять «чокаешь»? Вот Марфа Петровна услышит!.. Пусти-ка, дай я в скважину посмотрю!

— Ага, посмотришь! Уж я смотрела — там ключ торчит!

— Он там, он там, я в окно видела!

Костя встал и открыл дверь. Две девочки из пятого — Мая Вилисова и Эркелей Воробьева — стояли на пороге.

— Что это, однако, даже позаниматься не даете! — нахмурился, сказал Костя. — Ну, что вам?

— Мы поспорили! — заявила, волнуясь и краснея, Мая Вилисова. — Я говорю, что не надо сразу Анатолю Яковличу, а Репейников сразу хочет к Анатолю Яковличу бежать.

— Ну, поспорили, так и ступайте к Настеньке. Она вожатая, а не я, — возразил Костя. — А я что вам?

— А потому, что Чечёк у Лиды сочинение списала, — объяснила Мая. — Вот, чтобы ты ей сказал!

— Чечек очень боится Анатоля Яковлича... — робко добавила Эркелей. — Она очень боится... говорит: «Я тогда из школы убегу!»

— Придумала! — рассердился Костя. — Где она?

— На заднем крыльце сидит.

В коридоре зазвенел звонок, перемена кончилась.

— Костя, ты приходи к нам на звено, а? — торопясь и дергая его за рукав, попросила Мая. — Ты ей лучше скажешь, а?

— Ладно. Может, приду, — ответил Костя, запирая кабинет на ключ. — Только и разбирай вас, сами разобраться не могут. Пионеры тоже!

Костя сказал «может, приду», а сам дожидаться не мог, когда кончатся уроки. Конечно, он придет, раз дело касается Чечек. И вечно с этой глупой девчонкой случаются какие-то происшествия: то она с кем-нибудь подерется, то что-нибудь разобьет... А то вдруг поймает на деревне колхозную лошадь и умчится на ней в горы, в тайгу, к пасущимся там табунам, и по-

том объясняет, что очень соскучилась о лошадях... Вот уж оставил Яжнай Торбогошев заботу своему лучшему другу Косте!

Дружба Кости и Яжная началась из-за собаки, из-за желтого белозубого Кобаса. Костя вырастил щенка и уже приучал его охотиться на белок. И вот однажды Яжнай Торбогошев, алтайский мальчик из дальнего колхоза, увидел, что Кобаса тащит на аркане какой-то собачник. Кобас с любым зверем бросался в схватку, а людей боялся. Так он и погиб бы, если бы не Яжнай. Яжнай отнял Кобаса у собачника и, полузадушенного, притащил Косте. С тех пор и началась их дружба. И, хотя учились они в разных классах — Яжнай был на год старше, — и, хотя очень несхожи были характером — Костя был суров и малоразговорчив, а Яжнай ласков и мягок в обращении, — они отлично ладили.

Но вот наступило такое время, когда друзьям пришлось расстаться. Яжнай кончил седьмой класс и уехал в Барнаул, в техникум. Тогда был ясный, чуть-чуть грустный день. Чейнеш-Кая стояла подрумяненная осенней листвой кустарников, ютившихся у ее лиловых каменных обрывов. Приглушенно бурлила застигающая Катунь. Костя слушал ее шум и думал, что, наверно, устала она бушевать за лето...

В тот день в колхозе убрали последние гектары ржи. Костя тоже был в поле, вязал за жнейкой снопы. Уже вечерняя роса легла на травы, когда был связан последний сноп. Костя шел домой рядом с матерью и смотрел, как солнце заходит за высокую округлую Чейнеш-Кая. Гора стояла темная и тихая под оранжевым, закатным небом. И лес, растущий на ее вершине, казался густым, мохнатым венком, надетым на голову Чейнеш-Кая.

— А у нас кто-то есть, — сказала мать, — кто-то на крыльце сидит.

Костя пригляделся.

— Мама, это, однако, Яжнай! — сказал он, чувствуя, как весь загорается от радости.

Косте хотелось броситься, схватить Яжную, обнять, заплакать. Но, всегда сдержанный в выражении чувств, Костя подошел к нему ровным шагом и протянул руку:

— Здравóво, Яжнай!

Яжнай сбежал с крыльца и крепко пожал ему руку:

— Здравствуй, Константин!

И несколько секунд они молча смотрели друг на друга счастливыми глазами.

— А это кто же тут еще? — с улыбкой спросила мать. — Кто же это еще сидит у меня на крыльце, а?

Со ступеньки смущенно поднялась девочка в круглой меховой алтайской шапочке. На шапочке красовалась малиновая лента, и малиновая шелковая кисточка спадала с макушки на плечо. Девочка, опутив ресницы, теребила кончик черной тугой косы.

— А это Чечек, — сказал Яжнай, — моя сестра. Приехала учиться, здесь учиться будет. У нас там ведь пятого класса нет... Вот привез — пусть живет в интернате. А сам я завтра в Барнаул.

— Чечек! — ласково сказала мать. — А по-русски это имя как будет? А?.. Ну, Чечек, скажи, я ведь по-алтайски не все понимаю. — Она обняла девочку за плечи и, наклонившись, заглянула в ее потупленные черные глаза.

— «Чечек» значит «цветок», — тихо ответила девочка.

— Какое хорошее имя! — сказала мать. — Цветок!.. Ну, а что же вы, ребятки, пришли да и сидите на крыльце? Давно ли пришли-то, Яжнай?

— Да часа два было.

— И всё тут на крыльце сидели? Экие бессовестные!.. Яжнай, ты же ведь знаешь, где у нас ключ лежит. Ну, вопли, поели бы... Экие вы, право!.. Входи, Чечек, входи! Снимай свою шапочку. Эко шапочка-то у тебя хороша да нарядна!..

Когда мальчики остались на улице одни, Яжнай сказал:

— Константин, у меня к тебе просьба есть. Очень трудная просьба.

— Какая же?

— Только очень трудная.

— Ну, какая?

— Вот я Чечек привез. Оставляю ее тут. А она у нас еще дурочка, нигде не была, кроме тайги. Посмотри тут за ней, Константин! Ну, как бы вот ты был я. Можешь ты такую трудную просьбу принять?

— Могу,— сказал Костя.— А как же еще? Вот о чем спрашивает!

— Она ведь у нас отчаянная! — продолжал Яжнай.— Ты не гляди, что молчит. Это она пока что боится.

— Ничего, как-нибудь справимся,— улыбнулся Костя.

В это время откуда-то прибежал поджарый желтый Кобас и, обнюхав Яжная, начал прыгать и ласкаться к нему.

— Вон, смотри, Кобас и то дружбу помнит, а ты думаешь, что я...— Костя вдруг отвернулся.

— Ну хватит! — с улыбкой сказал Яжнай.— А теперь скажи: твой крыжовник растет?

Костя встрепенулся:

— Растет. Пойдем, покажу!

Товарищи направились было в огород, но в это время на крыльцо выскочила Чечек и звонко закричала:

— Кенский! Кенский! Матупка ужинать зовет!

...На другой день Костя и Чечек провожали Яжная. Они переплыли вместе на пароме через Катунь, и Яжнай, прощаясь с ними, еще раз попросил Костю:

— Посмотри за ней, Константин. Она ведь у нас, знаешь, проказливая, как бурундук!..— И, обратясь к Чечек, строго сказал: — Слушайся Константина. Он тебе будет как я. А весной приеду — поедем домой. Учись...

Обратно возвращались вдвоем.

Чечек, стоя у края парома, роняла слезы в зеленую Катунь. Костя, и сам расстроенный, пытался шутить:

— Довольно тебе, Чечек, а то вода у нас в Катунь станет соленая, вся рыба из реки уйдет. Что хорошего?

...Так вот с тех пор и осталось — ни в радости, ни в беде Чечек не обходилась без Кости.

ВСЕ СПОРЯТ, А ПОТОМ СОГЛАШАЮТСЯ

Как только закончился последний урок, Костя поспешил в пятый класс. Там собрались несколько человек — звено Лиды Корольковой. Пришла и Настенька, старшая вожатая.

— Костя, Костя, иди сюда! — закричала Мая Вилисова. — Ребята, пусть Костя тоже послушает!

— Надо бы и Чечек позвать тоже, — сказала Настенька. Эркелей побежала звать Чечек.

Чечек, с книгами под мышкой, рассеянно глядя куда-то на вершины гор, медленно спускалась с крыльца.

— Чечек, иди на звено! — позвала Эркелей.

Чечек в недоумении посмотрела на нее:

— Зачем мне идти? Я ж не пионерка.

— Ну мало ли что — Настенька велела.

— Настенька?..

Чечек подумала немножко и, молча повернув обратно, пошла за Эркелей.

Первым выступил на собрании звена Алеша Репейников:

— Ребята! Чечек Торбогошева поступила очень плохо: списала сочинение у Корольковой и говорит, что это она его сочинила. Разве так годится делать? Если мы так будем делать, какие же мы будем ученики!

Алеша волновался, щеки и уши у него покраснели.

— И я считаю, что надо сразу это прекратить и сразу сказать про это Анатолю Яковличу...

— Нет! — вдруг крикнула Чечек. — Нельзя Анатолю Яковличу говорить!.. Кенский, Кенский, скажи им, чтобы Анатолю Яковличу не говорили!..

— Ну, мы прежде с тобой поговорим, — дружелюбно сказала всегда приветливая синеглазая Настенька. — Ты зачем же списала у Лиды сочинение?

— Я не списала, — упрямо ответила Чечек, опуская глаза.

— Нет, ты списала, — сказала Лида. — Почему же ты, Чечек, еще и неправду говоришь? И отдала тетрадку Марфе Петровне. Что ж, и ее хочешь обмануть?

— Я хочу обмануть Марфу Петровну? Что ты! — удивленно сказала Чечек. — Я ее не хочу обмануть.

— А вот, однако, обманула! — снова горячо и взволнованно вмешался Алеша. — И опять повторяю, что мы, пионеры, таких нечестных поступков укрывать не должны, а должны сказать Анатолю Яковличу!

Чечек посмотрела на Алешу горящими глазами.

— Туу-Эззи!¹ — прошипела она сквозь зубы. — Репей! — И вдруг, взмахнув своими черными косами, повернулась и стремительно вышла из класса.

— А ты, Лида, с ней по-хорошему не говорила? — спросила Настенька. — Может, она бы лучше поняла...

— Говорила, — ответила Лида. — Я говорю, а она смеется. Говорит: «А что, у тебя строчки от этого убавились, что ли?»

Настенька посмотрела на остальных ребят. Они молчали.

— Ну, а вы что скажете? Павлик? Андрей? Мамин Сяб?

Павлик и Андрей Колосков заговорили почти в один голос:

— Конечно, надо Анатолю Яковличу сказать! Будет списывать да плохо учиться — ей же хуже.

Но Мамин Сяб, оглядев всех своими глубокими, слегка раскосыми глазами, сказал:

— Не знаю... Я думаю, предавать товарища — это са-авсем плохо. Са-авсем плохо!

— А кто предает? — закричал Алеша Репейников. — Разве мы ей чтобы хуже хотим? Мы же ей чтобы лучше хотим!..

— Костя, скажи нам и ты что-нибудь, — попросила Настенька. — Ребята, послушаем, что Костя скажет. Во-первых, он комсомолец. Во-вторых, он-то знает, что для Чечек лучше.

— Он же... — начал было Алеша.

Но Настенька остановила его:

— Мы тебя уже слушали.

— А чего это вы, ребята, однако, так торопитесь скорей Анатолию Яковлевичу сказать? — начал Костя.

— Я так и знал! — опять закричал Алеша.

И опять Настенька остановила его.

— А я так думаю, что у Анатолия Яковлевича и своих забот хватает, — спокойно продолжал Костя. — Что же, мы сами ничего сообразить не можем? Чечек у нас, конечно... беспечная такая. Но ведь и у нее самолюбие есть. И очень большое! Надо ее немного тоже и пощадить...

— Конечно, надо пощадить! — прервала его Мая. — Она знает как Анатоля Яковлича боится!

— Вот и надо Анатолю Яковличу сказать, раз она боится! — подхватил Алеша. — Сразу и забудет, как списывать!

¹ Туу-Эззи — горный дух в алтайских сказаниях, «Хозяин горы».

— Ну, я не буду заступаться за Чечек,— сказал Костя.— Но вот я недавно читал в «Комсомольской правде» такую историю. Городские пионеры приехали в колхоз помогать на прополке. И вот один пионер сразу всех обогнал. Ну, все его хвалят: «Вот, говорят, молодец!» А самый близкий друг этого пионера молчит. Почему же он молчит? А потому, что он увидел, как этот пионер не с корнями сорняки выдергивал, а только сверху срывал. А корни потом земель присыпал, чтобы незаметно было. Ну что — честно ли поступал тот пионер? Нет, печестно! И даже преступно. И что же сделал тот друг? Побежал он жаловаться вожатому? Или протрубил он про это на весь отряд? Нет. Вечером он поговорил с тем пионером по душам. И тот все понял и еще крепче полюбил своего друга.

Костя замолчал. И молчание не сразу нарушилось в классе; только слышно было, как позванивает за окном серебряная капель.

— Ребята, а может, и мы сделаем как-нибудь так же? — сказала Настенька.— Поговорим с ней, объясним...

— Давайте, давайте! — закричали девочки в один голос: и Мая, и Эркелей, и Лида Королькова.— Зачем сразу учителю? Что мы, сами не можем!..

— Я тоже поговорю с ней,— пообещал Костя.— Она ведь не пионерка, ее же еще воспитывать надо. И мы все это делать обязаны.

— Да, кстати сказать, Анатоля Яковлича еще и дома нет,— с чуть заметной лукавинкой улыбнулся Андрей Колосков,— он еще из Горно-Алтайска не вернулся.

Все звено весело согласилось с Костей и с Настенькой. Только Алеша пожал плечами.

— А я что — разве против? — сказал он.— Пожалуйста! Но вот если бы Анатолий Яковлич с ней поговорил, то сразу и воспитал бы!

Девочки тут же побежали искать Чечек.

— Наверно, она уже в интернате.

Может, сидит да плачет!

— Ой, лучше бы я никому про это сочинение не говорила!

— А как же не говорить? Не говорить — нечестно. Да и все равно Марфа Петровна узнала бы!

— Девочки, а может, она у Кандыковых? Костина мать, Евдокия Ивановна, ее очень любит!..

Костя лучше знал, где искать Чечек. По хрустящей, подтаявшей тропинке он прошел через сад, где старые березы и черемухи позванивали тонкими обледелеными ветками. По этой тропочке школьные технички ходят за водой к Гремучему. Бурный ручей, бегущий с гор, никогда не замерзающий, шумел и сверкал среди молчаливых берегов. На высоком берегу ручья, на поваленном бурей дереве, сидела Чечек. Костя издали увидел ее шапочку с малиновой кисточкой. Она сидела, съежившись, в своем овчинном полушубке и, насунив тонкие брови, глядела на дальние, голубеющие в небе вершины.

«Как снегирь сидит», — усмехнулся Костя.

Чечек вдруг запела, и Костя остановился. Шумел и бурлил Гремучий, где-то на Чейнеш-Кая звенели ручейки.

Тоненький голосок Чечек тоже звенел, как ручеек из-под снега:

А речка бежит и шумит,
И шумит наверху большая тайга,
И большая Катунь тоже шумит...

Я пойду в горы, домой,
Матушка встретит меня.
Матушка скажет: «Здравствуй, Чечек!
Что ж ты долго не приходила ко мне?»

Я пойду далеко в тайгу.
Эне! ¹ Эне! Я иду домой...
Только плохо — снег на дороге лежит,
Только плохо — волки ходят в тайге...

Услышав про горы и тайгу, Костя подошел и сел на дерево рядом с Чечек. Несколько секунд они молча, без улыбки смотрели друг на друга.

— Кенский, ты что? — сказала Чечек. И, вспомнив, как Костин отец при каждой встрече спрашивает: «Ну, Чечек, как твои дела?» — она, стараясь быть вежливой, спросила: — Как твои дела, Кенский?

— Мои дела ничего, — ответил Костя, сурово поглядывая на нее, — а вот твои, однако, никуда не годятся.

Чечек опустила ресницы.

¹ Эне — мать.

— Уж, кажется, домой собралась? — продолжал Костя. — Вот так: «Матушка, я иду к тебе... Матушка, я уже выучилась, а теперь иду телят пастить... Матушка, все люди учатся, а мне учиться не хочется!..»

Чечек не выдержала — улыбнулась:

— Я не так пела.

— А почему же? Могла бы и так петь — правда была бы.

— Ну, а что я сделала? — закричала Чечек, и смуглые щеки ее густо порозовели. — Ну, а что? Подумаешь — сочинение! Что, я его у Лиды украла, что ли?

— Украла.

— Нет, я ее тетрадку обратно положила.

— Тетрадку положила, а ее труд, ее мысли взяла. И не притворяйся, будто не понимаешь!

— Ее мысли?.. — повторила Чечек.

— Да, ее мысли. А зачем? Разве у тебя своих нет? У тебя и своих хватает. И вот сейчас Марфа Петровна читает — два одинаковых сочинения! Придет в класс, спросит: «Кто у кого списал?» Ну, что ты тогда скажешь? Вот и придется перед всем классом признаваться.

— Признаваться?

— Ну да! И признаёшься. А как же? Однако хорошо ли это тебе будет?

— Са-авсем плохо... — прошептала Чечек.

— Конечно, совсем плохо, — сказал Костя. — Но то, что ты сделала, еще хуже. Ну, да ничего. «Умел воровать — умеи и ответ держать».

— Если бы никто не знал... — помолчав, сказала Чечек, — тогда бы получше было. Правда, Кенский?

— Нет, — ответил Костя, — все равно так же плохо. Сочинение-то ведь украденное.

Чечек опустила голову и, оттопырив пухлые губы, молча перебирала шелковую малиновую кисточку, спадающую на плечо.

— Знаешь что, — подумав, сказал Костя, — зайди к Марфе Петровне и всё ей объясни. А сейчас беги обедать. И совсем нечего тут сидеть одной да петь про тайгу. Подруги тебя ищут. Вставай, беги!

Костя встал, и Чечек вскочила:

— Кенский, я к Марфе Петровне пойду и все расскажу! Правда? А потом возьму да новое сочинение напишу — правда, Кенский?

Костя искоса поглядел на ее повеселевшее лицо и чуть-чуть усмехнулся:

— Эх ты, бурундук!

— Хо! Бурундук! — засмеялась Чечек. — А что, у меня разве на спине полоски есть? Меня медведь не гладил!

Чечек, подпрыгивая, побежала по дорожке. А Костя шел медленно и теплыми голубыми глазами задумчиво глядел кругом — на синие кусочки неба, светящиеся среди облаков, на склоны гор с обнажившимися камнями, на тихие лиственницы, которые, словно творя великую тайну, уже гнали к вершинам живые соки и готовили материал для своих пурпуровых шишек, чтобы успеть вовремя нарядиться и торжественно встретить весну.

ПОДАРОК ЮННАТАМ

В интернате было тихо. Так тихо в этой большой комнате еще никогда не бывало. Девочки занимались своими делами: кто сидел с книгой за длинным столом, кто штопал чулки, кто готовил себе постель, собираясь спать. Время было уже позднее. Черная тьма глядела в окна из-за голубых занавесок.

Заняв середину стола, поближе к лампе, Чечек писала сочинение. Напряженно сдвинув брови, она выводила трудные строчки. Чечек хоть и ошибалась иногда, но очень легко говорила по-русски — в их алтайской начальной школе проходили русский язык. Да и кроме того, на Алтае так много русских, что почти все алтайцы говорят на двух языках: и на алтайском, и на русском. Но вот сочинение писать по-русски — это для Чечек было мұкой. Тут ведь надо сразу несколько дел делать: и чтобы складно было, и чтобы понятно было, и чтобы русские слова были без ошибок написаны... Потому и стояла в этот вечер в интернате тишина — девочки старались не мешать подруге. Все уже знали, что Чечек ходила к Марфе Петровне и повинилась. И всё до слова знали, что ей ответила Марфа Петровна.

«Признать свою вину мало,— сказала она Чечек,— надо ее исправить. Садись-ка да напиши сочинение заново. Но уж смотри, чтобы тебе никто не помогал, а то как же я опять узнаю, кто это написал? Может, ты, а может, Мая, а может, Лида Королькова!.. А мне нужно твое лицо видеть!»

Шелестели страницы, которые, читая книгу, перелистывала Мая Вилисова; чуть позвякивали вязальные спицы Катюши Киргизовой; невнятно шептались о чем-то в дальнем углу, сбившись в кучку, девочки... и шумела во тьме за окнами бурливая Катунь.

Чечек задумалась, покусывая кончик ручки. Мая тотчас обратилась к ней:

— Что? Может, помочь тебе?

Чечек сверкнула на нее глазами:

— Нельзя помогать!

— Ну, а что же ты сидишь, думаешь?

— Не знаю, как слово написать.

— Какое слово?

— Жеребенык! Или надо жеребенук?

— Жеребенок! Нок! Нок! — закричали сразу изо всех углов.— Жеребенок!..

— Жеребенок,— шепотом повторила Чечек и принялась писать дальше.

В одну из самых тихих минут кто-то постучал в дверь. Проворная Эркелей подбежала и откинула крючок. На пороге появилась Марфа Петровна — высокая, худощавая, укутавшаяся в большой платок.

— Марфа Петровна! — обрадовались девочки и, повскакав со своих мест, окружили ее.

— Марфа Петровна, садитесь сюда!

— Нет, вот сюда, на мою кровать — у меня мягко, мне новый матрац набили!

— Нет, Марфа Петровна, лучше вот сюда, к печке — у нас печка очень теплая. Потрогайте!

— Типе, типе! Что это, как грачи, раскричались!..— сказала Марфа Петровна своим грубоватым голосом.— Ну, как у тебя дела, Чечек?

— Написала!

— Всё?

— Нет, еще кончик остался. Са-авсем маленький кончик остался!

— Ну, садись, дописывай.

Марфа Петровна, как она это часто делала, прошлась по интернату, осмотрела постели девочек — чистые ли, проверила, у всех ли есть полотенце, потрогала печку — хорошо ли протоплена, спросила, какой у них сегодня был обед... А потом уехала, прислонясь к печке спиной. Она была уже немолодая, но ее лицо сохраняло свои чистые линии, синие глаза светились, белые зубы блестели, и лишь около глаз да на щеках, там, где в юности были ямочки, залегли тонкие морщинки. Девочки, как цыплята около наседки, уселись вокруг нее.

— Марфа Петровна, вы нам что-нибудь расскажете?

— Марфа Петровна, расскажите!

— Да нечего, нечего мне вам рассказывать, — сказала Марфа Петровна. — Что это, каждый раз «расскажите да расскажите»!.. Чечек, а ты куда вскочила?.. Дайте мне хоть когда-нибудь посидеть да помолчать... Пиши, Чечек, пиши! Я вот посижу тут с вами да подремлю у печки... Что это, уж нельзя старому человеку у вас посидеть да подремать!..

Марфа Петровна уткнулась подбородком в накинутый на плечи теплый платок и закрыла глаза. И снова в интернате наступила тишина, и снова стало слышно, как чуть-чуть поскрипывает перо Чечек и как в глубокой апрельской темноте шумит Катунь...

Девочки на цыпочках ходили вокруг Марфы Петровны и разговоры свои вели только на ухо друг другу: Марфа Петровна устала, пускай отдохнет...

Тихо, одна за другой, бежали минуты. Хотя и молча сидит с ними Марфа Петровна и даже сидя спит, а все-таки так хорошо, что она пришла! Сразу как-то спокойнее стало в интернате, будто кто-то родной, напоминающий маму, присутствует здесь.

Чечек дописала последнюю строчку, положила перо и оглянулась. Несколько голосов зашелестело со всех сторон:

— Чечек, написала, да?

— Чечек, написала?

— Написала,— шепотом ответила Чечек.

Она сказала очень тихо, но Марфа Петровна сразу открыла глаза, будто только и ждала этого слова, чтобы проснуться.

— Вот как меня сон одолел, а? — сказала она, покачивая седеющей головой.— Ну-ну...

Чечек, блестя черными глазами, стояла перед ней:

— Марфа Петровна, а я написала!

— Хорошо, давай сюда тетрадку.— Марфа Петровна встала, спрятала под платок тетрадку и сказала: — Ну вот, а теперь, когда я отдохнула, скажу вам одну новость. Только сейчас вспомнила...

Девочки оживились:

— Какую? Какую новость?!

— А новость такая: Анатолий Яковлевич из Горно-Алтайска привез кроликов. Теперь у наших юннатов свои кролики будут.

Девочки переглянулись:

— Кролики? А какие? А сколько?..

Они бросились одеваться, хватали шубы, платки.

— Марфа Петровна, а почему же вы нам раньше не сказали? — спросила Лида Королькова.— Мы бы уже давно сбежали посмотреть!..

— Да вот сама не знаю. Чего-то села и заснула,— ответила учительница.— Совсем старая, видно, становлюсь.

Тогда Чечек, вдруг что-то сообразив, подошла к Марфе Петровне и пытливо заглянула ей в глаза:

— Марфа Петровна, а вы правда спали?

— Ну, а как же? Спала, даже сны видела!..

Но Чечек, поймав какие-то лукавые искорки в глазах учительницы, тихонько покачала головой:

— Ой, нет, Марфа Петровна, вы, наверно, не спали. Это вы, наверно, так, нарочно заснули, чтобы я... чтобы подождать, когда я сочинение напишу.

Марфа Петровна улыбнулась:

— Ну, вот еще выдумала! Буду я тебя дожидаться!

Но Чечек уже уткнулась лицом в ее теплый платок и весело кричала:

— Да, не спали, не спали, меня ждали! Чтобы я тоже пошла кроликов смотреть. Да, да, да!

У Марфы Петровны был с собой фонарь «летучая мышь». Девочки шли, держась друг за друга, за слабым огоньком, который покачивался впереди. В деревне кое-где светились окошки. Темное небо висело над головой, и еще темнее были конусы гор, громоздящихся по сторонам. Совсем близко, за усадьбами дворов, невидимая Катунь с широким разгоном гнала свои кипящие волны.

— Эх, взбаламутила я вас! — ворчала Марфа Петровна. — Надо бы до утра подождать...

— Да что вы, Марфа Петровна, как же это до утра! — кричали в ответ девочки. — Ребята уж, наверно, там давно, а нам — до утра!..

А ребята и в самом деле уже толпились в просторной кухне директора школы Анатолия Яковлевича. И сам Анатолий Яковлевич, веселый, смуглый человек со смоляными кудрями и узкими смеющимися глазами, сидел на корточках перед клеткой с кроликами. Девочки толпой ворвались в кухню и сразу прибавили шуму, визгу, смеху, восклицаний.

— Ой, какие хорошенькие! Да это просто маленькие зайчики! А они не кусаются? А их можно гладить?..

Анатолий Яковлевич сунул в клетку свою широкую руку и вытащил одного кролика. Кролик, прижав уши, испуганно косился на ребят и вырывался.

— Это шиншилла, — сказал Анатолий Яковлевич. — Видите, совсем темный. Погладьте, не бойтесь. Посмотрите, какой он мягкий!

Несколько рук протянулось к кролику. Ребята отталкивали друг друга, каждому хотелось хоть чуть-чуть коснуться нежной темно-серой шкурки.

В это время хлопнула дверь и вбежал еще один мальчик — Алеша Репейников. Алеша жил на самом дальнем конце деревни и случайно узнал от своего младшего братишки, что Анатолий Яковлевич привез кроликов. Расталкивая ребят, Алеша проврался к клетке:

— Ну-ка, где они? Ух ты, какие звери! А как мордочками шевелят! Анатолий Яковлич, дайте подержать, а? Ну, одну минуточку подержать, а? Ну дайте, пожалуйста, а?

Анатолий Яковлевич дал ему кролика. Но, едва кролик очу-

тился у Алеши в руках, он сразу забрыкал задними ногами, рванулся и прыгнул на пол. Ребята с криком и смехом принялись его ловить, но кролик был увертлив и силен: даже когда его поймали, он и то вырвался. Алеша, пока ловил его, упал два раза, причем один раз попал руками в поросятчий корм, а другой раз — в чугунок с углями. Но поймал кролика все-таки не Алеша, а Анатолий Яковлевич. Он прижал его своей сильной рукой, взял за загривок и сунул в клетку.

— Ух ты, хороши! — с восхищением повторял Алеша, не сводя с кроликов глаз. — Мне как руки ободрал, до крови!

— Можно их чем-нибудь покормить, а? — спросила Чечек. — Анатолий Яковлич, можно я покормлю?

— Надо им овса дать, — сказал Анатолий Яковлевич. — Алеша, принеси-ка, там на лавке мешочек с овсом лежит... Ну, вот так... Теперь ты, Чечек, держи мешочек, а Репейников им в кормушку насыплет.

Чечек взялась было за мешочек, но вдруг насупилась и обернулась к Мае Вилисовой:

— Мая, нá, поддержи, я не буду.

Мая взяла мешочек, а Чечек хмуро отошла в сторону.

На прощание, когда ребята уходили домой, Анатолий Яковлевич сказал:

— Есть у меня к вам, товарищи, важный разговор.

— Какой разговор?

Сразу стало очень интересно.

— Какой разговор, Анатолий Яковлич?

— Но об этом поговорим завтра, когда все ученики будут в школе, — сказал Анатолий Яковлевич. — Я хочу, чтобы в этом важном разговоре участвовали все до одного человека.

И, как ни допрашивали его ребята, Анатолий Яковлевич больше ничего не сказал.

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

На другой день, после занятий, было объявлено общее собрание. Собрались в большом зале, уставленном геранями, фикусами и тоненькими деревцами воздушных аспарагусов.

— Ребята, скажите мне, кто из вас видел яблоню? — спросил Анатолий Яковлевич. — Живую, растущую яблоню?.. Поднимите руку.

Ребята с любопытством и с улыбками переглядывались. Но руки никто не поднимал.

— А яблоки кто ел?

— Я! — поднял руку Кандыков.

— Мы тоже ели! — отозвалось еще несколько голосов.

— И я!.. Сладкие!

— В нашем колхозе почти все ели, — объяснил Костя. — В прошлом году наш председатель ездил в Горно-Алтайск, целый мешок привез. И всем роздал.

— А я даже и не видала никогда! — раздался тоненький голосок Эркелей.

— Так вот что я вам скажу, ребята: мы с вами отстаем. Уже многие школы начали сажать яблоневые сады.

Собрание оживилось: «Сады!..» Сразу поднялось несколько рук:

— А где взять яблоньки?

— А которые посадили — яблоньки у них прижились?

— А у кого-нибудь яблоки выросли?..

— Вот как вы! — усмехнулся Анатолий Яковлевич. — Сразу как из пулемета! Сейчас все расскажу. Многие из вас, наверно, слышали от отцов или от дедов, что у нас, в Горном Алтае, яблони не растут и яблоки не созревают, что сады не выдерживают наших зим, нашего капризного климата — слишком резкая смена температур губит яблони... Так говорят. А вот я вчера видел в облоно учительницу из Черги, Анастасию Петровну. Так что же, товарищи? Ее саду в этом году десять лет исполнилось. И вот уже несколько лет Чергинская школа снимает урожай. Там теперь и колхозники начали яблони сажать... И вот еще: Аносинская школа посадила большой сад — и яблонь насажали, и вишен, и ягодников. И даже премию за свой сад получили... В Шебалине этой весной посадили саженцы. А Шебалино выше нас, там это дело потруднее. В Челушманской долине, около Телецкого озера, тоже, говорят, школьники хороший сад вырастили... А мы-то что же? Что же мы-то сидим? Разве у нас земли нет! Есть! Вон какой участок под огородом около Чейнеш-

Кая — богатейший чернозем! Да если мало будет, у колхоза попросим, на такое дело нам всегда земли дадут. Ведь сады — это новая радость наша, новое богатство наших колхозов. И это мы, комсомольцы, пионеры, школьники, — в первую очередь мы! — должны их сажать и выращивать и утверждать их всюду, где бы мы ни были, где бы мы ни жили... Комсомольцы, пионеры, хочу слышать ваше слово!

Собрание взволнованно загудело.

Поднялось несколько рук, посыпались вопросы. И самый главный:

— Где саженцы взять?

— Саженцы нам даст наш алтайский Мичурин — Михаил Афанасьевич Лисавенко, — ответил Анатолий Яковлевич. — Я уже был у него вчера... Вот у кого сад, ребята! Покоя не буду знать, пока и у нас — хоть маленький, хоть небогатый — не зацветет яблоневый сад!

Чечек тоже подняла было руку. Она хотела сказать: «Ну, давайте сажать поскорее!» — но тут же опустила руку и закусила губу. Что это она высказывает? Спрашивают ведь у пионеров... А она-то кто?

Чечек вдруг стало очень обидно, будто ее оттеснили куда-то в последние ряды, отстранили, к ней не обращаются, ее ни о чем не спрашивают... И вот теперь в школе смотрите что задумали — сад посадить! А ее даже и не зовут!

И Чечек, медленно краснея, молча сидела на собрании, опустив глаза и приподняв подбородок.

Собрание долго не расходилось: всем хотелось знать, какие будут сорта. И еще надо было узнать, как какой сорт выглядит и каковы яблоки этого сорта на цвет, на вкус и на запах... Анатолий Яковлевич все это предвидел: он записал все сорта, которые можно взять в питомнике Лисавенко, и привез фотографии отдельных плодов.

Сад решили заложить на большом черноземном участке у подножия Чейнеш-Кая. Ребята, расходясь, загадывали, что они будут сажать, какие сорта яблонь, какие ягодники.

— Я посажу «пурпуровую ранетку»! — повторяла своим звонким голосом Мая. — Я обязательно «пурпуровую ранетку» посажу! Говорят, в Чергинской школе «ранетки» есть — как яб-

лочки созреют, так все дерево стоит совсем красное, ну сверху донизу!

— А я все равно какую посажу,— отвечала Эркелей,— лишь бы только выросла!.. Говорят, они так цветут хорошо, так цветут!..

Девочки перебивали друг друга, загадывали, что они посадят, и как будут ухаживать, и как будут выращивать, и как зацветут их яблоньки.

— Чечек, а ты что молчишь? — сказала вдруг Лида Королькова.— Молчит, как будто ей и дела нет!

— Конечно, нет,— ответила Чечек.

Подруги с недоумением уставились на нее:

— Как это тебе дела нет? Почему же? Разве ты не будешь яблоньки сажать?

— Я же не пионерка! — сказала Чечек и поджала губы.

Девочки закричали в один голос:

— Но ты же школьница!

— Разве яблони только одни пионеры сажают? Вот еще!

— Настенька,— взволнованно обратилась Лида к старшей вожатой,— а Чечек не хочет яблоньки сажать!

Настенька, положив руку на плечо Чечек, заглянула ей в глаза:

— Неужели тебе, Чечек, и вправду не хочется яблоньку посадить? Разве ты ленивая?

— Я не ленивая! — рассердилась Чечек.— Я хочу сажать яблоньки! Да ведь Анатолий Яковлич сказал — комсомольцы... пионеры...

У Чечек вдруг брызнули слезы. Подруги засмеялись и с улыбкой принялись объяснять Чечек, почему он так сказал: во всякой работе пионеры должны быть впереди! Но разве это значит, что если человек не пионер, то он и яблоньки сажать не должен?

— Чечек,— ласково спросила Настенька,— скажи, а почему же ты не пионерка? Почему ты тоже в отряд не вступаешь?

— А у нас в той школе вожатого не было,— ответила Чечек, утирая слезы.— А потом вожатый приехал... говорит: записывайтесь кто хочет. Я думала: ну, а что там делать? И не записалась. А потом вожатый заболел. А потом, летом, я

поехала к бабушке в бригаду. А потом, осенью,— прямо сюда. А я почему знаю, почему так все получилось!

— Девочки, давайте примем ее в отряд,— несмело предложила Эркелей.

Лида Королькова, которая носила на рукаве красную полосу, утверждающую ее звание вожатой звена, строго посмотрела на Эркелей:

— Вот если бы мы в горелки играли, тогда бы ты могла так говорить: «Давайте, девочки, ее примем!» Разве в пионерский отряд так принимают? Надо еще человека проверить—как учится, как работает... Вот давай, Чечек, подтянись до Первого мая—ну, чтобы у тебя все отметки были хорошие. И какую-нибудь работу возьми...

— Да будем яблоньки сажать — вот тебе и работа! — сказала Настенька.— Тогда и покажи всем, как ты работать умеешь! А что? Не сумеешь, что ли?

— Я не знаю...— сказала Чечек.— Я еще никогда не сажала. У нас в тайге яблони не растут.

— О, а мы-то разве сажали! — засмеялась Мая.— Вместе будем!.. Ну, уж скорее бы весна приходила!

А тихая Эркелей, которая смотрела на бегущие по небу веселые розовые облака и слушала звон капли, негромко сказала:

— А весна-то идет уже...

КОСТИНО КОЛДОВСТВО

Костя делал доклад. Он рассказывал юннатам о том, что его самого ошеломило на уроке, — о солнечном луче, который проникает в зеленый росток пшеницы, превращается в крахмал, сахар, клейковину и попадает в хлеб. А люди едят хлеб — и так этот солнечный луч попадает в мускулы, кровь, дает человеку движение, тепло, жизнь... Костя объяснял, как солнце дает жизнь растению. Растение кормит животных. А человек питается и растениями и животными. И получается, что жизнь на земле зависит от хлорофиллового зерна, от этой маленькой зеленой крупинки, лежащей в ткани растения. Эта зеленая крупинка

и есть то звено, которое берет от солнца все, что нужно для жизни на земле.

— Вот я и думаю,— говорил Костя,— как надо человеку беречь каждую зеленую ветку. Другой раз взял кто-нибудь да сломал деревце в тайге. Или спалил костром зеленую поляну. Или просто сорвал какой-нибудь цветок да бросил... Ну конечно, в тайге деревьев хватит. И травы хватит. Но я думаю, однако, вот что; нам бы надо помнить, какую работу делает эта зеленая веточка для нас! Это она принимает солнце, заготавливает нам пищу, очищает воздух для нашего дыхания... Ребята, давайте, однако, об этом не забывать, давайте будем людьми сознательными и благодарными!

Чечек слушала Костю, не спуская с него глаз. Сколько досады вызывало в ней это хлорофилловое зерно, когда она учила ботанику! Какие-то там клеточки, какая-то протоплазма, какие-то устьица... И разве думала она когда-нибудь, какую службу оказывает человеку такая вот травинка, какое чудесное, огромное дело она делает!

И ей живо представилось зеленое поле. И каждая былинка в этом поле тянулась к солнцу, и каждой былинке солнце ласково протягивало длинный горячий лучик и кормило ее... И зеленым березам протягивало солнце свои лучи, и зеленой хвое сосен и лиственниц. И все это чудо происходило в большом молчании, в молчании праздничном и торжественном...

И Чечек вдруг подумалось, что нет у человека более сильных и более необходимых друзей на свете, чем эти маленькие зеленые хлорофилловые зернышки, так безмолвно живущие на земле. Живут и живут себе потихоньку, растут и растут, и все время трудятся, и все время запасают пищу, тепло, свежий воздух для всех — и для птицы, и для коровы, и для медведя, и для человека... Так, пожалуй, про каждую травинку даже песню пропеть можно!

Перед Костей на столе стоял микроскоп — Костя попросил его у Анатолия Яковлевича. Ребята с любопытством поглядывали на эту маленькую таинственную трубу. Чечек перед докладом спросила у Кости: «А что же такое там есть, в этой трубе?» Костя сказал, что там видны клеточки растения. Чечек сморщила свой коротенький нос: «У, а я думала — еще что-нибудь!»

Но после доклада ей хотелось видеть именно эти клетки растения. А какая же она все-таки, эта клетка? И где там сахар, и где там крахмал?..

Костя закончил доклад и сказал:

— Ну, а теперь я превращаюсь в волшебника и буду делать чудеса!

Ребята, и большие и маленькие, сидели очень тихо на докладе. Может, они тоже, как Чечек, видели перед собой необыкновенные картины той незримой работы, которая совершается вокруг нас на земле?.. Но когда Костя взялся за микроскоп, то все зашевелились, заговорили, окружили Костю:

— Теперь можно в микроскоп посмотреть?

— Ну-ка, дай заглянуть!

Все по очереди заглядывали в трубу. Чечек толкалась, пробиваясь вперед:

— Пустите меня! Ну-ка, пустите меня!

Не дождавшись очереди, она сунулась к микроскопу. В это время с другой стороны сунулся Алеша — и две головы крепко стукнулись над трубой.

— Ой! — вскрикнул Алеша, схватившись за лоб.

Чечек тоже схватила за голову. Ребята дружно расхохотались. И Алеша засмеялся:

— Ох и голова же у тебя твердая!

Но Чечек не засмеялась и ничего не ответила.

— Ты что надулась? — со смехом сказала ей Мая. — Разве он нарочно?

— Конечно, нарочно! — ответила Чечек, приподнимая подбородок. — Он всегда мне назло делает!

— Ну, Чечек, подходи же! — сказал Костя. — Ты будешь смотреть или нет?

Чечек осторожно наклонилась над микроскопом. Огромные, словно нарочно сделанные клеточки растения лежали под стеклом, бледно-зеленые, с капельками жирного блеска,

— А сейчас я буду колдовать, — сказал Костя.

Настенька, старшая вожатая, засмеялась:

— Колдун, а без бороды! Наверно, еще колдовать не научился — молод!

— А вот посмóтрите!

Костя подлил чего-то в воду, где лежал кусочек растения, и сказал:

— Хочу, чтобы мы увидели, есть ли в этой клеточке виноградный сахар. Если есть, пусть он будет розовым!

И все увидели, как протоплазма клеточек окрасилась в розовый цвет.

— Ой! — коротко ахнула Чечек. — Как же это?

— Хочу узнать, есть ли тут крахмал, — продолжал Костя. — Если он есть, пусть сделается голубым! — и добавил еще чего-то в воду.

И тотчас мелкие крупинки, которые таились в клеточках, стали лазоревыми.

— Ой, здóрово! — раздалось вокруг.

— Теперь я хочу, чтобы мы видели, где тут клетчатка, — пусть она станет синей!

Костя добавил в воду какой-то прозрачной жидкости — и стенки клеточек стали синими. Каждая клеточка лежала под микроскопом вся раскрашенная — розовая, голубая, синяя, — вся расчлененная на части неизвестным волшебством.

Старшие ученики, Костины одноклассники, посмеивались: они тоже знали это волшебство! Но младшие глядели на Костю изумленными глазами. А больше всех удивлялась Чечек. Она начинала думать: уж не примешалось ли тут и в самом деле какое-то колдовство?

— Дай я тебе помогу! — торопливо сказала она, когда Костя стал собирать свои склянки. — Давай я тоже понесу!

Костя понес микроскоп в физический кабинет. Чечек со склянками в руках пошла за ним следом. Юннаты, очень довольные докладом, расходились, смеясь и переговариваясь.

— Поставь и уходи, — сказал Костя. — Я сам уберу.

Чечек поставила пузырьки на стол, но не ушла. Она молча рассматривала какие-то странные, неизвестные приборы, которые стояли на полках: колбы, воронки, трубочки. В уголке около окна она заметила большую стеклянную банку, прикрытую бумагой. Чечек осторожно приподняла бумагу и вдруг увидела что-то очень красивое: в банке, в воде, висела нитка, укрепленная на деревянной перекладинке, и на этой нитке что-то сверкало, словно крошечные хрустальные бусинки...

— Кенский, что это?

— А куда ты забралась, однако? — рассердился Костя. — Не трогай! Толкнешь — и все испортишь! Когда надо будет, сам покажу. Уходи отсюда!

Но Чечек не испугалась:

— Кенский, я не трогаю. Ты только скажи, пожалуйста, это что такое? А? Это тоже колдовство?

— Да.

— Значит, ты правда колдун?

Костя взглянул на Чечек: смеется? Нет, Чечек не смеялась. Ее черные, чуть раскосые глаза глядели на него серьезно и пытливо.

Костя не выдержал.

— Фу, бурундук! — усмехнулся он. — Уж сразу и поверила. Я не колдун, а химик.

— Химик?

В быстром воображении Чечек пронеслись все только что виденные чудеса, которые так легко делал Костя, и то чудо, которое творится у него в банке, и она сказала, заглядывая Косте в глаза:

— Кенский, научи меня, а? Я тоже хочу быть химиком!

— Ну вот «научи»! — возразил Костя. — Придет время — сама всему научишься. Ведь это же нам в школе преподают!

— А то, что в банке, — тоже в школе?

— Ну, то не в школе. То я сам в книге прочитал, а теперь делаю опыт.

— А что будет?

Костя, наклонившись над банкой, долго смотрел на нитку с прицепившимися к ней искорками.

— Что будет? Будет хрустальное ожерелье.

— Ожерелье? — обрадовалась Чечек. — Ой как хорошо! Кенский, а если я как следует поучусь, то буду химиком?

— Если как следует поучишься, то, конечно, будешь. Однако у тебя терпения не хватит.

— Хватит! — крикнула Чечек. — Вот увидишь!

— Хорошо, увижу, — ответил Костя и, почти насильно проводив Чечек, закрыл на ключ дверь кабинета.

У ПОДНОЖИЯ ЧЕЙНЕШ-КАЯ

Отгудел, отшумел над молчаливыми горами и долинами сердитый хиус — северный ветер — и умчался туда, куда текут воды Катуня и Бии, сливаясь в большую реку Обь, — в царство снега и льда, к Ледовитому океану.

Один за другим проходили апрельские дни. Горы сбрасывали надоевшие за долгую зиму снега, и на склонах, на теплом, солнечном припеке, уже мерещилась нежная весенняя зелень. Еще немного — и закачались на выступах гор и в долинах светло-желтые первоцветы, похожие на связку золотых ключей; раскрылись маленькие синие фиалки; ярко-розовым цветом оделись ядовитые кустики волчьего лыка, и на лиственницах, растущих всюду по Алтайским горам, запестрели желтые и пурпуровые шишечки...

Юннаты волновались, приставали к Настеньке, а Настенька и сама волновалась не меньше: уже весна! Уже земля лежит влажная и черная, а саженцев у них еще нет!

Анатолий Яковлевич успокаивал их:

— Не бойтесь! Все будет в свое время. Что хорошего, если мы посадим сад, а наутро мороз ударит? Подождите — выберем денек...

Этот денек наступил в конце апреля. Сразу после занятий ребята вышли копать ямки под саженцы. Запестрели платья и рубашки у подножия молчаливой Чейнеш-Кая, загомонили голоса. Жирный чернозем легко поддавался заступу, и от влажных комков поднимались тонкие испарения.

Чечек, повязав косы вокруг головы, чтобы не мешали, старательно нажимала на заступ ногой. Она знала: ей надо очень хорошо работать. А если она будет работать кое-как, то все скажут: «Ну, какая же из нее будет пионерка? В отряде ленивые не нужны!..»

Чечек копала ямки и разбивала комки. Но солнце, весна, душистый ветерок, прилетающий то с вершины горы, с цветущих лиственниц, то с зеленых холодных волн Катуня, отвлекали ее. Она поглядывала вверх, на лиловые скалы Чейнеш-Кая, среди которых, словно свечки, белели взбирающиеся наверх березы. Вот бы залезть туда, на самую вершину, и поглядеть кругом!

Сколько гор можно увидеть оттуда!.. Она прислушивалась к неумному плеску Катуня, к ее буйному весеннему веселью. Вот бы сесть на плот, отвязать его и помчаться по течению! Куда допесет вода? Может, до самого Бийска!..

А потом, спохватившись, с яростью принималась копать, и комки из-под ее заступа разлетались во все стороны.

Когда стемнело и ребята один за другим положили заступы, староста кружка юннатов Костя Кандыков обошел участок. Анатолий Яковлевич еще с засученными рукавами и с заступом в руке стоял у калитки будущего сада. Руководитель по физкультуре Григорий Трофимович, молодой, щеголеватый, сидел рядом на бревнышке, прислонив свой заступ к ноге. Костя подошел к ним.

— Анатолий Яковлевич, а, однако, неладно будет,— сказал он озабоченно.

Оба учителя посмотрели на него.

— А что же неладно, Кандыков?

— Вода далеко. Если весна сухая, поливать нужно как следует.

Анатолий Яковлевич пожал плечами:

— Ну, что же поделаешь? Можно бы, конечно, из нашего прудика воду брать...

— Нет, нельзя, Анатолий Яковлевич. Пруд у нас очень маленький. А мы же хотели туда мальков пустить...

— Так что же ты, Кандыков, предлагаешь? — вытирая травой свои испачканные землей желтые ботинки, спросил Григорий Трофимович. — То, что ты сказал, и без тебя известно. И раз выхода нет — значит, придется все-таки брать воду из Катуня.

Костя в его голосе почуял чуть заметную насмешку, и легкий румянец появился у него на лице.

— А я думал... Может, не из Катуня...

— Ну, ну! — живо подбодрил его Анатолий Яковлевич. — Ну, продолжай! Я, кажется, уже понимаю тебя. Ох, парень, ну ясная же у тебя голова! Я уже и сам об этом думал. Ну конечно, конечно, не из Катуня надо воду брать, а из Гремучего! Ведь это ты хотел сказать, да?

Узкие черные глаза Анатолия Яковлевича засветились весельем. Он дружески хлопнул по плечу Костю, и Костя улыбнулся:

— Да, Анатолий Яковлевич.

— Ну, ну, как же ты думаешь это сделать?

— Я думаю, надо подняться повыше по Гремучему и оттуда отвести к нам ручеек... Арык такой. Чтобы прямо в наш прудик вода бежала...

Григорий Трофимович взглянул на Костю с изумлением:

— Сообразил! Здорово!

Анатолий Яковлевич, веселый и радостный, будто ему только что подарили бесценный подарок, воскликнул:

— Да мои дети разве что-нибудь не сообразят! Да с моими детьми горы повернуть можно, не то что ручей!..

А на другой день, к вечеру, из школы отправилась делегация за саженцами в город Горно-Алтайск, в знаменитый питомник ученого-мичуринца Михаила Афанасьевича Лисавенко. Ехали трое: Анатолий Яковлевич, староста кружка юннатов Костя Кандыков и его товарищ юннат Вася Манжин, который не чаял поскорее попасть к Лисавенко и посмотреть, как растут яблони.

Накануне, собирая Костю в дорогу, мать заботливо наказывала:

— Уж раз собрались сад сажать, так, смотрите, там яблоньки-то с умом выбирайте! А то привезете таких, что у нас и расти не будут,— тогда еще хуже наделаете, народ совсем перестанет верить во все эти затеи. Смотрите не погубите нужного дела! Дело это очень серьезное да не простое... Дело это капризное, тут надо всю душу положить, а не как-нибудь! Это не картошка: сунул в землю — она и растет; ударит мороз по ботве, а она новую ботву даст да и опять растет. Яблоня после мороза новых побегов не дает!

А отец, который, отдыхая после трудной плотничьей работы на постройке колхозного двора, сидел около радиоприемника и с трубкой в зубах слушал тихую музыку, с чуть заметной усмешкой покачал головой.

— Ребят забавляют,— сказал он,— вот и весь от этого дела толк...

Костя поглядел на отца. Костя был очень похож на него: такой же крутой лоб, такие же спокойные голубые глаза с темными ресницами, мягко оттеняющими их голубизну.

— Почему ты так говоришь?

— На опыте знаю, вот и говорю, — ответил отец. — И я сам, и мой батя — твой дед — с этим делом намучились. Тоже все хотелось яблоньки завести. У деда твоего в Орловской губернии когда-то большой сад был... А здесь, как мы ни старались, — ничего! Другой раз уж и приживется, глядишь, и цвет наберет — хватить мороз! И крышка. Снова посадим, снова вырастим, другой раз даже до осени добережем — возьмет да ударит в августе белым инеем, да по завязям!.. Дед твой прямо слезами плакал — вот до чего! Так и бросили. А дед хороший садовод был и то ничего поделывать не мог. Ну, а что же вы сможете? Так, только время да деньги потратите — на том и кончится.

Отцовы слова немножко расстроили Костю. Он помнил своего деда, этого неугомонного, терпеливого человека, который всю жизнь воевал с землей и все силы отдал, чтобы покорить ее, но так и не покорил...

Наутро Анатолий Яковлевич успокоил Костю.

— Наши деды не так брались за дело, — сказал он. — Наши деды не знали Мичурина, и Мичурин не знал их. Орловские яблони не смогли расти на Алтае и сейчас не смогут. А мичуринские смогут. А если бы не могли, то и у Лисавенко сады не цвели бы и яблоки не созревали!

Костя выслушал его и сказал:

— Все-таки поглядеть бы...

Анатолий Яковлевич засмеялся:

— Вот это характер! Ничему на слово не верит! — и, похлопав его по плечу, добавил: — Ничего, завтра посмотришь. Тогда, может, согласишься!

...Солнце касалось вершины Чейнеш-Кая, когда они спустились к пристани. Кое-кто из ребят дошел с ними до берега и, простившись, побежал домой делать уроки.

Чечек не ходила их провожать. Она долго стояла на поваленном дереве над Гремучим ключом. Ей было видно оттуда, как отошел от берега плот, как двинулся он, плавно раздвигая зеленые, еще искрящиеся вечерним блеском волны, и как пристал к тому берегу, озаренному жарким светом заката. Синяя тень Чейнеш-Кая уже одела школу и деревню своим вечерним сумраком. Но на том берегу было еще светло и ясно. И Чечек было

видно, как по белому полотну шоссе подошла грузовая машина и, забрав школьных делегатов, умчалась и пропала среди лиственниц и березовых зарослей, неподвижно застывших над шумливой и пенистой рекой.

ЮННАТЫ ХОДЯТ ПО ГОРОДУ

Город Горно-Алтайск лежит в долине среди округлых холмов, на самом пороге Горного Алтая.

Косте, нигде не бывавшему дальше своего берега Катунь и тайги окрестных гор, Горно-Алтайск показался очень большим и красивым. Он останавливался перед белыми каменными домами банка и почты. Дом Советов, светлый и праздничный, встал перед ним, как дворец из какой-то хорошей сказки. Ему нравилось, что всюду по улицам настланы дощатые дорожки, так что и в дождь можно пройти, не увязая в грязи. Доски эти качались и прогибались под ногой, и обоих друзей — Костю и Васю Манжина — это очень забавляло.

К Лисавенко пошли не сразу. У Анатолия Яковлевича были дела в облоно, и он отпустил ребят погулять по городу.

Они расстались у Дома Советов, около густого сквера.

— Вот этот сквер, между прочим, Лисавенко сажал, — сказал Анатолий Яковлевич. — А раньше тут была пустая луговина.

— Один? — удивился Манжин.

— Да нет, не один: комсомольцы помогали. Насаживали прутьиков, а сейчас уже вон какие деревья! Да и по городу пойдете — везде деревья растут. И все они со станции Лисавенко. Вот какой человек живет на свете, ребята! Счастливая судьба у этого человека: пока живет — всем приносит радость, а умрет — его сады будут цвести по всему Алтаю, и люди имя его будут вспоминать с благодарностью. Вот как надо жить, ребята!

— Хоть бы посмотреть на него, однако! — сказал Костя.

— Сегодня посмотрим, — улыбнулся Анатолий Яковлевич. — Сейчас окончу свои дела в облоно — и пойдем. А вы зря времени не теряйте, зайдите пока в Краеведческий музей — это как раз по дороге на станцию.

Костя и Вася Манжин шли по тихим улицам, осененным

деревьями. Они удивлялись, что по улицам ходит столько народу: и туда идут, и сюда идут; и когда же, однако, эти люди работают? Они постояли у витрины универмага, полюбовались всякими богатствами, которые были там выставлены, — и обувь, и рубашки, и разная посуда, и всякие портфели, и новенькие, блестящие калоши, и тетради, и краски... Хотели войти в магазин, но не решились и пошли дальше.

Проходя по мосту, остановились, поглядели через перпла на извилистую речку, мелкую, но бурливую.

— Эта река как называется? — спросил Костя у малыша, проходившего мимо.

— Улалушка, — ответил мальчик и остановился перед ними. — А вон там — рынок. Летом там мед продают.

— А-а, вот это и есть Улалушка... — задумчиво сказал Костя. — Манжин, ты видишь? Вот от этой речки, значит, и город раньше назывался Улала.

— А тогда это и не город был, — ответил Манжин, — а так просто, деревня. И грязно тут, говорят, было — ног не вытащишь!

Этот же малыш, белокурый, но с алтайским разрезом голубых глаз, проводил их до музея.

Костя улыбнулся ему:

— Пойдем с нами?

Мальчик покачал головой:

— Нет. Я уж ходил. Там страшно.

В музее никого не было. Товарищи несмело двинулись по безмолвным прохладным комнатам. Шаги в этой тишине раздавались так гулко и голоса звучали так странно, что ребята сразу стали ходить на цыпочках и говорить шепотом.

Они поднялись наверх. Манжин, который шел впереди, вдруг остановился, попятился, наступая на ноги Косте. Костя выглянул из-за его плеча, готовый и сам броситься вниз:

— Что там?

— Фу-ты! — смущенно улыбнулся Манжин. — Я думал, что живой!

Прямо перед ними, в глубокой нише, стоял шаман. На его плечах висела косматая баранья шуба; на голове, в черных космах, торчали белые перья. Множество полосок из пестрого ситца свешивалось с головы на спину, и на конце каждой полоски ви-

сел бубенчик. У ног шамана лежал огромный, обтянутый кожей бубен с изображением какой-то злобной черной рожи.

— Значит, вот они какие были!..— сказал Костя, разглядывая шамана.— Ну и страшный же!

— И даже какой-то ствратительный,— поморщился Манжин.— Ну, уж я бы такого никогда в свой дом не впустил. Ну его! Пойдем!

Манжин повернулся направо и вдруг отпрыгнул назад и снова наступил Косте на ногу. В углу сидела женщина в старинном алтайском наряде, в высокой меховой шапке, в длинном чегедеке¹, с черными косами на плечах.

— Что, еще живую увидел? — усмехнулся Костя.— С тобой, оказывается, по музеям ходить нельзя — все ноги отдавишь!

Приятели дружно рассмеялись, но ненадолго: прошлое алтайского народа вставало перед ними — темное, тяжелое, мрачное, бесправное... И все грустнее, все тяжелее становилось на душе. И трудно было поверить, что все это когда-то существовало.

Манжин возбужденно почесывал затылок, черные глаза его горели — Костя никогда не видел у Манжина таких глаз.

— Ты гляди, гляди...— повторил Вася.— Женщину можно было продать, купить... как лошадь или как собаку. Алтайскую женщину, такую же, как моя мать!

Через два шага он снова тянул Костю за рукав:

— Гляди — ойротский хан угоняет алтайских детей. Он им всем веревки на шею надел — смотри: как собакам! Это всё его рабы, он их купил или угнал просто. Это вот и меня мог бы так же сейчас на веревке вести!.. Какой же ты был беззащитный, наш алтайский народ!

С удивлением стояли они перед странными предметами, которыми алтайцы обрабатывали землю. Вот андазын — деревянный крюк, напоминающий соху. Этот крюк привязывали к седлу верховой лошади и так пахали. А вот сухое дерево с растарашенными сучьями — этими сучьями боронили поле... Мальчики переглядывались, усмехались: на полях в их колхозах они при-

¹ Чегедек — одежда замужней женщины, длинная до земли, без рукавов; надевается поверх шубы. Чегедек как бы означал рабское подчинение женщины мужу.

выкли видеть тракторы с могучими плугами, с боровами и сеялками.

Весь музей обойти не успели — Анатолий Яковлевич пришел за ними. Костя, когда они вышли из музея, не сразу опомнился. Солнце, тихие улицы, белый дворец Дома Советов, видневшийся вдаль, нежный дымок зелени на деревьях, машина, идущая по улице, — как это все далеко от того, что они только что видели в этих безмолвных комнатах!

И долго еще Костя и Манжин не могли стряхнуть с себя раздумья, навевшего мрачным и диким прошлым, которое знали и помнили на Алтае только одни уже старые люди...

Они и не заметили, как дошли до окраины города, как свернули на укатанную дорогу, ведущую вверх по отлогому склону. Путь преградили деревянные ворота, но они были открыты. И, войдя в эти ворота, путники наши оказались в каком-то солнечном, чуть тронутым зеленью саду.

У Кости заблестели глаза:

— Анатолий Яковлевич, это мы где? Это мы уже у Лисавенко?

— Да, — ответил Анатолий Яковлевич, — это мы у Лисавенко, в Татанакском логу.

Музей был забыт.

Костю захватила нежная радость весеннего сада, теплые испарения земли, солнечная тишина и почти ощутимая, беззвучная жизнь просыпающихся, тронувшихся в рост деревьев, кустов, трав...

ЛЕПЕСТОК ЯБЛОНИ

Вереница стройных тополей убегала высоко вверх по склону, до самого гребня отлогой горы — защита от холодных ветров. Четкие, правильные ряды деревьев далеко заселяли склоны. Бесчисленные кусты стояли пушистыми шпалерами. И всюду, куда хватал глаз, чернели вскопанные приствольные круги и разливованные грядами плантации с какими-то посадками.

Справа и слева сквозь молодую зелень придорожных кустов поглядывали на дорогу небольшие домики. Костя старался уга-

дать, в который из этих домиков они войдут. Но Анатолий Яковлевич шел мимо них, дальше, к самому большому двухэтажному дому с широким резным балконом.

— Здесь Лисавенко живет? — вполголоса спросил Манжин.

— Нет, — ответил Анатолий Яковлевич, — он живет вон там, в старом домике. Мы мимо шли. Вон из-за кустов крыша видна, темная такая. Это и есть его «воронье гнездо» — так он свой дом называет.

— А здесь что?

— А здесь — читай, что на дощечке.

На дверях большого дома блестела квадратная дощечка. Манжин и Костя прочли в один голос:

— «Горно-Алтайская плодово-ягодная опытная станция М. А. Лисавенко».

— А-а, — догадался Костя, — здесь их научные кабинеты!

Около дома рабочие вскапывали землю и просеивали ее сквозь железные сита. Костя вопросительно поглядел на директора:

— Это для чего же, Анатолий Яковлевич?

— Здесь будут клумбы и цветочные грядки. Я в прошлом году заезжал сюда в июле. Вот бы посмотрели, как все цвело! Здесь, около ступеней, — розы: и белые, и красные, и желтые!.. А там, пониже, — пионы, огромные, густые. Тогда, помню, только что прошел дождь. Шапки пионов огрузли, пригнулись к земле. И вот гляжу — будто огромный розовый венок лежит на газоне!..

У Кости загорелись глаза.

— Вот бы нам, Анатолий Яковлевич, а?

— Посадим и мы, — ответил Анатолий Яковлевич, — всё посадим!.. А теперь вы, ребята, подождите, а я зайду к Григорию Ивановичу, к завхозу.

Анатолий Яковлевич, поднявшись по деревянным ступенькам, вошел в дом. Костя и Манжин, стоя у края дороги, с любопытством оглядывались по сторонам.

— Гляди, а это что за дерево? — сказал Костя, трогая тонкие светлые ветки, низко повисшие над его головой.

— Может, ива? — отозвался Манжин.

— Ива? А почему такая белёсая?

— А может, на ней плесень?

Один из рабочих, молодой парень, усмехнулся:

— «Плесень»! Выдумают тоже! Конечно, это ива. Только ива курайская. Михаил Афанасьич ее из Курайской степи привез. Из этой ивы очень хорошо корзинки плести — вишь, какие ветки? Тонкие, гибкие — как хочешь, так и согнешь. Даже и узлом завязать можно: они у нас часто вместо шпагата идут. А они — «плесень»! Чудаки!

— Манжин, давай и мы такую посадим, а? — живо сказал Костя. — Ты подумай, какое дерево!

— Давай посадим, — согласился Манжин, — интересное дерево!

— Если вы по саду ходите, так еще немало интересных деревьев увидите, — отозвался другой рабочий. — Пожалуй, глаза разбегутся — неизвестно будет, что и сажать!

Костя и Манжин переглянулись:

— А хорошо бы пройти посмотреть!

В это время на крыльце появился Анатолий Яковлевич. Вместе с ним вышел невысокий худощавый завхоз станции Григорий Иванович.

Анатолий Яковлевич, словно угадав мысли Кости и Манжина, сказал:

— Ребята, я пойду с Григорием Ивановичем подберу саженцы, а вы пока посмотрите сад — Григорий Иванович разрешает.

— Позовите из оранжереи Нину, — добавил Григорий Иванович, — она вас поводит.

— Да не ловите ворон! — наказал, уходя, Анатолий Яковлевич. — Внимательнее слушайте да получше глядите.

Завхоз и Анатолий Яковлевич ушли. Костя и Манжин смущенно оглядывались: «Где оранжерея? Кто такая Нина?»

Молодой рабочий, который рассказал им о курайской иве, засмеялся:

— Ох и чудаки! Стоят, как телята, боятся шагу ступить! Да вон, в кустах, длинная низенькая крыша — ну там и оранжерея. Отворите дверцу да кликните Нину. Она и выйдет. Это наша цветочница-практикантка. Да вот она и сама бежит... Нина! Нина! — закричал он. — Подойдите сюда, тут вас спрашивают!

Нина, краснощекая, белокурая, в голубой кофточке с засученными рукавами, подошла к ребятам. Она поглядела на них серьезными серыми глазами и, хотя сама была лишь чуть-чуть повыше Кости, спросила с важностью:

— Вам что надо, ребятишки?

Но, когда она услышала, что ребята хотят посмотреть сад, сразу оживилась. Она вытерла о траву выпачканные землей руки и, кивнув головой, сказала:

— Пойдемте. Только уж с чего начинать — прямо не знаю! Ну ладно. Что увидим на пути, про то и буду рассказывать. Пойдемте!

Они все трое тихонько пошли по дорожке, испещренной легкой тенью веток.

— Вот мы идем по долине, а кругом сад, — начала Нина, — и на этом склоне сад, и на том склоне яблони, груши, сливы, ягодники всякие... Весь Татанакровский лог — сплошной сад. А теперь вы, ребятишки, представьте, что в этом Татанакском логу ни одного деревца нет, что эти склоны покрыты выбитой, опаленной травой, что тут бродит скот, что через весь лог вьется пыльная тропинка... и что только одна радость и есть здесь — журчит чистый ручей... Ну, представили?

— Я — нет! — засмеялся Костя, взглянув на Манжину. — А ты?

Манжин, краснея, покачал головой:

— Как так сада нету? Это нельзя представить!

— Вот вы не можете себе этого представить, — продолжала Нина, — а все это именно так и было. Когда Михаил Афанасьевич приехал на Алтай разводить сады, ему дали здесь четыре гектара земли. Это было в 1933 году. Михаил Афанасьевич пришел сюда — а здесь ни деревца, ни кустика. Голые склоны — и всё. А нынче, видите?.. Да, впрочем, сразу-то всего увидеть невозможно. У нас теперь одной площади под разными посадками больше восьмидесяти гектаров занято!

Нина водила Костю и Манжину по всему саду, по всем плантациям. Она рассказывала им, как Лисавенко испытывает разные сорта плодовых деревьев, как он их прививает, как скрещивает, опыляет, воспитывает для сурового и своеобразного климата алтайских долин... Как в течение многих лет он соби-

рал и отыскивал местные ягодники и потом испытывал их и опять скрещивал. И уже самые лучшие сорта плодовых и ягодных, самые устойчивые, надежные и плодоносные, рассылал по Алтайскому краю. Хорошо пошли по горным долинам алтайские яблони: «ранетка», скрещенная с «пепин-шафраном», «бельфлёр-китайка», «Ермак — покоритель Сибири»... и множество других сортов, скрещенных с «ранеткой». Таких гибридов у Лисавенко выращено около тридцати тысяч... И ягодники сейчас тоже приживаются в колхозных и школьных садах, особенно выращенные из местных сортов: малина «вислуха», земляника «абориген алтайский», крыжовник «индустрия алтайская»... А новый сорт крыжовника — «мичуринец» — Лисавенко сам вывел.

За эти годы около двух тысяч видов и сортов плодово-ягодных растений находилось на изучении на опытной станции. Один только вид черной смородины был собран из четырехсот мест — по всему Северному полушарию собирали эту смородину. А сколько вырастили сеянцев и саженцев, сколько разослали их по всему краю садоводам и юннатам — счесть нет! Каждую весну и каждую осень просто рук не хватает рассылать — туда саженцы, туда семена. И яблони им нужны, и сливы нужны, и картошка нужна — лисавенковская, алтайская «алый глазок», — и овощи, и цветы!.. Всё отсюда берут: здесь дадут надежные сорта и учтут, какой сорт именно для той местности пригоден, и научат, как сажать и как ухаживать, и поддержат при неудаче, и порадуются, если все будет хорошо.

— Вы думаете, кто Михаила Афанасьевича сюда, на Алтай, прислал? — сказала Нина, снова приняв важный вид. — Его сам Мичурин прислал! Мичурин сказал ему: надо победить суровую природу Сибири, надо сделать Алтай жемчужиной сибирского садоводства! Вот Михаил Афанасьевич и заложил здесь нашу станцию. А года через два поехал к Мичурину советоваться. Уж очень ему было трудно тогда — никто не верит, что на Алтае могут расти яблони, денег не дают... Да еще и смеются: «Какое на Алтае яблоко? Картошка — вот наше яблоко!» А Мичурин тогда нашего Михаила Афанасьевича и подбодрил. «Иди напролом, — сказал ему Мичурин, — умей стоять за свое дело!» Тогда Михаил Афанасьевич вернулся в свой Татанакровский лог да и взялся еще крепче за работу. Потом Мичурин о нем писал:

«Лисавенко кладет начало истории алтайского садоводства». Вот какой человек наш Михаил Афанасьевич! Поняли?

— Попяли,— кивнул головой Манжин.

А Костя спросил:

— Ведь у него орден есть?

— Конечно, есть! — слегка пожав плечами, ответила Нина. — У него и орден Трудового Красного Знамени, и «Знак Почета», и медаль «За доблестный труд», и еще большая серебряная медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки! А ты как думал?

Они бродили по всем склонам, тропкам и дорожкам сада. И еще много необыкновенных деревьев и кустов с неслыханными названиями увидели здесь ошеломленные юннаты; японскую таволгу, пенсильванский ясень, корейский кедр, крымскую сосну, бархатное дерево из дальневосточного Приморья...

— А вот поглядите! — сказала Нина и подозвала ребят к невысоким, но очень густым кустам. — Угадайте, что это?

— Если бы листья были, я бы узнал,— сказал Костя, — а когда одни почки...

— И с листьями не узнал бы! — возразила Нина. — У вас на Катупи таких нет. Это черноплодная рябина!

— Черная? — удивился Манжин.

— Да, черная. Совсем черные ягоды. И очень крупные и сладкие. Только от них немножко во рту вяжет. Но варенье варить очень даже хорошо. А ягод на них бывает — просто ветки гнутся!

Костя и Манжин снова переглянулись:

— Нам бы, а?

— Да, не мешало бы.

Нина засмеялась:

— Вам все не мешало бы! Возьмите да посадите — у нас сажечцы есть.

Манжин тихонько толкнул Костю под локоть.

— Кто это?

По склону, между бесчисленными кустами чуть зеленеющей смородины, шел невысокий широкоплечий человек. Он шел не торопясь, приглядываясь к кустам. Около некоторых кустов останавливался, легонько трогая пушистые ветки.



— Здравствуйте, Михаил Афанасьевич! — повторил Манжин из-за Костиного плеча и тоже снял шапку.

Нина, заметив устремленные на склон взгляды ребят, обернулась тоже и сразу вся как-то подобралась, серые глаза ее блеснули.

— Это он!

Костя перевел дух. Это он, это сам Михаил Афанасьевич Лисавенко идет по своему большому саду!

Михаил Афанасьевич увидел ребят и неторопливо направился к ним. Ребята слегка оробели, а Манжин незаметно попятился за спину товарища.

— Гости? — спросил Лисавенко. — Юннаты?

— Юннаты за саженцами приехали, — ответила Нина. — Я им сад показывала.

Костя встретил взгляд Михаила Афанасьевича — молодые, задорные и чуть-чуть лукавые глаза улыбались ему сквозь большие очки. Косте сразу стало весело от этого взгляда. Он поспешно сдернул со своей головы кепку и, краснея, сказал:

— Здравствуйте, Михаил Афанасьевич!

— Здравствуйте, Михаил Афанасьевич! — повторил Манжин из-за Костиного плеча и тоже снял шапку.

— Здравствуйте, — ответил Михаил Афанасьевич. — За саженцами приехали? Что сажать будете?

Манжин подтолкнул сзади Костю: отвечай ты! А Костя, ободренный ласковым голосом и деловым тоном Михаила Афанасьевича, уже без всякой робости ответил:

— Яблони хотим посадить. И вишни надо бы. И вот еще, говорят, «виктория» хорошо приживается.

— А где сажать будете?

— На Катуні. Недалеко от Манжерока.

— Хорошо. Надо сорта вам подобрать. Одни приехали?

— Нет. Директор наш здесь. Он с Григорием Ивановичем пошел. За саженцами.

— Нина, — обратился Михаил Афанасьевич к девушке, — скажите там, чтобы им получше деревца подобрали, по сильнее. Юннаты ведь!

Нина кивнула головой:

— Хорошо.

— А вам, юннаты, желаю успеха, — сказал Лисавенко, про-

щаясь и похлопывая Костю по плечу.— Выращивайте сад. Осенью я к вам приеду, погляжу, как у вас дело идет.

— Правда приедете? — спросил Костя.

— Правда. Обязательно приеду.

Михаил Афанасьевич простился с ребятами и пошел дальше по склону. Костя и Манжин глядели ему вслед, пока нежная зелень кустов и деревьев не заслонила его.

— Ну, вы что окаменели? — засмеялась Нина.— Пойдемте саженцы подбирать!

— Да-а...— протянул Манжин, надевая шапку.— Са-авсем простой человек! Са-авсем хороший!

— Не приедет он к нам,— вздохнул Костя.— Если ко всем ездить...

— Вот увидите — приедет! — возразила Нина.— Он юннатов любит. Кому-кому, а уж юннатам всегда самое лучшее даст. И приедет! Он и в Аносинскую школу ездил, и в Чергу. В Черге даже сам яблоньку посадил, «янтарку»!..

— Манжин,— попросил Костя,— ты иди туда, на пункт, а я еще немножко похожу по саду. Мне хочется, однако, на эти яблони поближе посмотреть. А ты мне тогда покричишь... Ладно?

— Ладно,— согласился Манжин.

Нина и Манжин ушли, а Костя вернулся на тот склон, где длинными и стройными рядами стояли яблони. Птицы пели свои весенние песни. Откуда-то издалека доносились голоса рабочих, девичий смех... Но Косте казалось, что он совсем один в этом светлом, полном солнца и радости саду. Он бродил среди яблонь, еще совсем голых, влажных, с набухающими почками цветов.

«А что здесь будет, однако, когда они зацветут? — подумал он.— Эх, посмотреть бы!»

И вдруг в тихой, защищенной со всех сторон ложбинке, на самом горячем, солнечном припеке, он увидел чудо — раскидистое деревце, все белое, все розовое, благоухающее... Затаив дыхание Костя подошел к нему. Свежие, чистые цветы словно открывались ему навстречу, и среди них, нежно подпвечивая их белизну, топорщились еще не раскрывшиеся розовые бутоны. Деревце стояло торжественное и совсем неподвижное — ни одна веточка его не покачивалась, не дрожала, словно оно боялось уронить хоть один свой снежно-розовый лепесток.

«Вот если бы Чечек увидела!.. — подумал Костя. — Ну и заплясала бы!»

Он долго стоял перед яблоней, глядел на нее, вдыхал ее прохладный аромат...

«У нас тоже будут цвести, — решил он. — Может, не нынче, может, не завтра, но яблони у нас цвести будут!»

И мгновенно волшебное видение примерещилось ему: молчаливые зеленые конусы Алтайских гор и среди них бело-розовые сады, уходящие все дальше и дальше, все выше и выше в глубину высокогорных долин...

И, словно клятву, он повторил сам себе:

— Да. Будут!

Издали долетел голос Манжина.

Надо возвращаться! На черной земле приствольного круга Костя увидел упавший лепесток, один-единственный лепесток, оброненный яблоней. Он поднял его и, вынув из кармана свой комсомольский билет, положил этот лепесток между крышкой его и оберткой. И в третий раз, с комсомольским билетом в руках, Костя сказал:

— Да. Будут!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ПЕРЕПРАВЕ

Ночью распумелась Катунь. Где-то в верховьях прошли сильные дожди, и Катунь разбушевалась.

Утром к переправе раньше всех прибежали Чечек и Мая Вилисова: не едут ли из Горно-Алтайска? Не стоит ли машина на том берегу?

— Чечек... Чечек... — вдруг растерянно сказала Мая, — посмотри-ка, а где же плот?

Чечек живо обернулась:

— Ой! А плота нет!..

Плота не было. Только канат черной полоской висел над кипящей зеленовато-белой водой, и обрывок другого каната, на котором ходил плот, беспомощно качался над волнами.

Из-под горы показался старый плотовщик, алтаец Василий. Чечек бросилась ему навстречу.

— Дядя Василий, а где же плот? — закричала опа. — Что такое — плот утонул?

— Сорвало, — ответил Василий, не останавливаясь.

Мая тоже подбежала к нему:

— Как — сорвало? Когда?

— Ночью. Катунь разыгралась, плот сорвало.

— А как же теперь, дядя Василий? Ведь сегодня Анатолий Яковлич и наши ребята из Горно-Алтайска приедут! Что ж им теперь — на том берегу жить?

— Зачем на том берегу жить? — флегматично отвечал плотовщик. — Плот у Манжерока застрял, притащим.

— Когда притащите?

— Как придется. Через дня три, четыре, пять притащим.

— А наши всё на той стороне жить будут?

— Пусть живут. Много новостей наберут. Будут нам рассказывать...

Когда какой-нибудь пассажир возвращался издалека, плотовщик Василий, не выпуская трубки из рта и глядя куда-то в сторону, в первую очередь спрашивал:

— Табыш-бар ба? (Новости есть?)

Старик делал вид, что ему это вовсе не интересно, а спрашивает он только из вежливости, однако все в округе знали, что плотовщик Василий до страсти любит всякие новости.

— Ой, Чечек! — сказала Мая волнуясь. — Он, может, нарочно и плот упустил, чтобы они там побольше новостей набрали! А они вот сейчас приедут, сад привезут — что тогда делать?

— Скорей! — крикнула Чечек. — Скорей Марфе Петровне скажем! Ай-яй! Что нам делать? Все яблоньки на том берегу останутся и совсем завянут!

Было воскресенье, но ребята уже сновали около школы, собирались кучками, сидели на крылечке, копались в саду — подравнивали ямки, тесали колышки для саженцев... И то один, то другой взбирался на зеленый выступ Чейнеш-Кая и смотрел на тот берег Катунь — не видать ли там машины? — хотя Марфа Петровна сказала, что раньше полудня из Горно-Алтайска ни за что не приедут.

Марфа Петровна жила в маленькой белой хатке в глубине школьного двора. Чечек и Мая Вилисова, запыхавшись, влетели

во двор, и сразу, от двух слов — «Плот сорвало!» — исчезло тихое спокойствие ожидания.

Ребята бросили свои дела и гурьбой помчались на переправу. Выбежала из своей хатки Марфа Петровна и, низко покрывшись платком, тоже поспешила на берег. Прибежала Настенька, старшая пионервожатая. Прибежала молоденькая учительница естествознания Анна Михайловна.

И все стояли на берегу, глядели на мокнувший в воде обрывок каната, на искристую, пенистую реку, шумящую перед ними...

— Лодку бы... — сказал кто-то.

— Лодку?.. А где взять?

— Надо бы нам лодку себе сделать...

— Надо бы! Да ведь сразу-то не сделаешь.

— Лодка в Аскате есть! — вспомнила Анна Михайловна.

— А в Бийске даже пароходы есть... — добавил физрук Григорий Трофимович, который стоял на пригорке, засунув руки в карманы.

Анна Михайловна покраснела, но Марфа Петровна вступилась за нее:

— Ну, Аскат немножко поближе, чем Бийск, — сказала она, — но, конечно, тоже далеко — километра три...

К Марфе Петровне подошел Федя Шумилин из седьмого класса — сильный, коренастый парнишка.

— Марфа Петровна, если сбегать в Аскат, нам лодку дадут?

— Попросим, так дадут. Но ведь ее же на плечах нести нужно — разве наша река против течения пустит? Конечно, если ребята какие посильнее соберутся, то и притащить можно. А где мягко — можно волоком...

— Пойдем да и принесем! — сказал Федя. — А что, ребята?..

— Конечно, принесем! — отозвалось сразу несколько голосов. — Три километра — да что ж такого? Идем, ребята! Идем скорее, а то вдруг да наши приедут!

За лодкой идти вызвалось сразу человек пятнадцать. Но отобрали шестерых, самых крепких. И они тут же отправились тропочкой по берегу Катуня в Аскат...

Много волнений было в этот день. Школьники то бежали на переправу узнать — не пришла ли машина? То лезли на гору

посмотреть — не несут ли лодку из Аската? То снова хватали заступы — кому-то показалось, что ямки неровные. То пересчитывали колышки и тесали новые — а вдруг какой-нибудь сломается!

Солнце поднималось к полудню. Техничка Христина пришла звать интернатских обедать. Никто не хотел идти. Но Марфа Петровна прикрикнула на них, и все интернатские — и ребята и девочки из дальних деревень, живущие при школе, — вынуждены были бежать в интернат.

— А где Чечек? — оглядываясь, спросила Мая. — Девочки, вы не видали Чечек?

— Наверно, вперед убежала, — сказала Королькова.

А Чечек в это время с уступа на уступ карабкалась на каменистую стену Чейнеш-Кая. Если пойти к Гремучему, тогда переправу видно, а тропку из Аската не видно. Но если взобраться на камень за садом, то тропку видно, но переправа скроется за крышами.

Чечек добралась до первой березки, которая приютилась на зеленом выступе огромной скалы, и уселась здесь, обхватив рукой белый ствол. Уселась и улыбнулась: вот отсюда и тропочка видна и переправа!

«Бурундук!» — вспомнилось Чечек. — Вот бы сейчас поглядел на меня — наверно, опять сказал бы: «Эх, бурундук!» Она улыбнулась.

Тоненькие ручейки бежали в каменистых морщинах Чейнеш-Кая. Над головой высоко-высоко, одна над другой, росли березы. Мышиный горошек развевал над камнями свои кружевные листочки. Прямо перед глазами девочки пробивалась из-под камня маленькая стародубка и словно заглядывала ей в лицо своим птичьим глазком. Прижавшись щекой к прохладной атласной коре березы, Чечек тоненько запела:

Я сижу на зеленой траве,
А травка растет на камнях.
Скоро придет Кенский,
Яблони нам привезет.

Машина бежит по шоссе.
Бежит, как железный конь.
Машина везет нам сад,
Яблоньки нам везет и везет...

Полный кузов яблонек нам везет.
Машине весело их везти.
Полный кузов яблонек нам везет,
Полный кузов белых цветов!..

Чечек не спускала глаз с шоссе, которое лежало на той стороне реки. На шоссе было пусто и тихо.

Но, взглянув на тропочку из Аската, она уловила какое-то движение среди кустов. Чечек приподнялась и, держась за березу, вся вытянулась в ту сторону. Да, там идут!.. И через минуту она уже, торопливо скользя, срываясь и обдирая коленки, спускалась вниз. Между кустами мелькнул голубой борт аскаатской лодки.

Лодку протащили прямо к переправе. Ребята, раскрасневшиеся, веселые, вытирая пот, рассказывали, как они тащили лодку: где мягко — волоком, где каменисто — на плечах. А один раз на подмытом берегу вдруг заскользили да и упали и лодку уронили прямо в реку, но вовремя схватили, а то озорная Катунь ее сразу утащила бы неизвестно куда.

Скоро вся школа была на берегу, у переправы: школьники, учителя, технички. Пришел даже старенький учитель математики Захар Петрович. Алеша Репейников, который, с тех пор как привезли кроликов, только и делал, что сидел перед ними на корточках и разговаривал с ними, кормил, чистил им клетки или, упустив, ловил их, прибежал тоже. Живой и нетерпеливый, он не мог сидеть спокойно: бегал по берегу, влезал на крышу Васильевой будки, чтобы поскорее увидеть машину.

— Идет! Идет! — вдруг крикнул Алеша и кубарем скатился с крыши.

Все вскочили. На шоссе действительно показалась машина, но она не замедлила ход и не остановилась, а прошла дальше своей дорогой. Все снова расселись на берегу, и Алеша вновь полез на крышу. И опять сидели, тихо переговаривались и прислушивались, стараясь сквозь плеск реки услышать шум мотора.

Первой услышала машину Чечек. Она вскочила и замерла, подняв руку. И тут же закричала:

— Идет! Идет! Идет!

На той стороне снова появилась машина. На этот раз она

не промчалась дальше, а остановилась. И снова все вскочили.

Ребята замахаали руками, и дружный крик раздался над Катунью:

— Ура-а! Ура-а-а! Сад приехал!

Коренастый Федя Шумилин тотчас принялся сталкивать на воду лодку. Товарищи помогали ему. Андрей Киргизов и Ваня Петухов взяли за весла, Федя сел к рулю... Лодка завиляла, не слушаясь руля, и Федя напрягал все свои силы, чтобы справиться с нею.

Вдруг с берега раздался сердитый окрик:

— Стойте! Стойте! Разве так управляют? Я сам! — И Григорий Трофимович крупными прыжками сбегал вниз, к воде. — Куда отправились без меня? Почему не позвали? Да вы разве сдержите? С ума сошли!

Он бросился к лодке и, прошлепав прямо по воде в своих желтых ботинках, перевалился через борт и схватился за руль. Лодка сразу выправилась, словно норовистая лошадь, почуявшая руку хозяина, и, качаясь на кипучих волнах, медленно тронулась через реку.

ЭТОТ ДЕНЬ БУДЕТ ПРАЗДНИКОМ!

У подножия Чейнеш-Кая целый день не умолкали голоса:

— Анатолий Яковлич, а я так сажаю?

— Анатолий Яковлич, а это какой сорт — «ранетка»?

— Анатолий Яковлич, а «пепин-шафрановый» — какое яблоко?

— А у моего саженца очень корешки длинные, в ямку не влезают!..

Анатолий Яковлевич, уже успевший загореть под весенним солнцем, с потным лбом и засученными рукавами, носился по всему участку. Показывал, как надо сажать, как расправлять корешки, как привязывать колышки... и тут же объяснял, что «пепин-шафрановый» — яблоко очень красивое, глянцевитое, а что вот эти саженцы — «Ермак — покоритель Сибири» — это яблоко очень хорошее в лежке; а вот эти саженцы — «китайка»: она совсем не боится мороза и крепка на ветках.

Вокруг Настеньки, которая раздавала саженцы, толпились ребята:

— Настенька, мне «пурпуровую ранетку» дай, у нее яблочки красные!

— Мне «пепин-шафрановый»!

— А мне «Ермака», «Ермака»!

— А мне разных — и «Ермака», и «ранетку», и «янтарную»!..

Школьники совсем забыли, что такое усталость. Они бережно разбирали яблоньки, разминали руками землю у корней, привязывали к свежим колышкам тоненькие шаткие деревца.

Кроме яблонек, Анатолий Яковлевич привез из Горно-Алтайска несколько десятков смородиновых кустов и несколько сотен кустиков клубники «виктория». Все это тоже надо было немедленно сажать, пока не засохли корни...

Вместе со школьниками работали и учителя: и Марфа Петровна, и Анна Михайловна, и старенький учитель математики, и Григорий Трофимович...

Говор и смех весь день не умолкали под горой. И никто не замечал, что Чечек, чем-то очень огорченная, молча и без радости сажает свои яблоньки.

Но Костя заметил это:

— Что, бурундук, устала?

— Вот ишо! — сердито ответила Чечек.

— Не «ишо», а «еще»!

— Ишо!

— Вот так — заупрямилась! Устала, так отдохни. А злиться нечего, однако.

Костя ушел. Чечек проводила его мрачным взглядом и принялась расправлять корешки своей четвертой яблоньки: у каждого ученика было их по четыре. Чечек осторожно присыпала корешки землей, пока Мая держала колышек, и потом долго и ласково своими теплыми руками приминала землю вокруг саженца. Но тонкие черные брови ее по-прежнему хмурились и пухлые губы выражали обиду.

Сумерки застали школьников в саду. Огромная задумчивая Чейнеш-Кая со своим мохнатым венком на вершине словно устала целый день глядеть на эту суету: она погасила на себе

все краски — лиловые и оранжевые оттенки камней, зелень трав, белизну берез — и накрыла сад своей голубой тенью. Но это не помогло. Долго еще перекликались голоса, гремели ведра — ребята бежали за водой на Катунь и поливали саженцы.

Ведер в школе оказалось мало — на всех не хватало. Чечек, видя, что ей ведра не дожидаться, побежала в деревню, к Костиной матери, и попросила у нее бадеечку. Оттуда она сразу прошла на реку, зачерпнула воды; рассеянно поднимаясь по тропочке к саду, шла и плескала воду, шла и плескала, обливая свое пестрое, с красными цветочками, платье.

Чечек подошла к своим яблонькам, приподняла бадейку, чтобы полить их. Вдруг какой-то зверек шмыгнул у нее из-под ног в густой куст боярышника.

— Ай! — крикнула Чечек и с размаху поставила на землю бадейку. — Кто это?

В сад с громким криком неожиданно вбежал сынишка Анатолия Яковлевича, маленький Сашка.

— Алеша! Алеша! — закричал он что есть мочи. — Скорей! Твои кролики убежали!

Алеша Репейников бросился из сада.

— Тише! Тише! — кричали на него во всех сторон. — Яблоньки — гляди! Налетишь — ломаешь!

Алеша ничего не слышал. Он ринулся в сарай, где стояли кроличьи клетки. Одна была приоткрыта: кролик перегрыз веревочку на дверце и убежал. А за ним убежали и еще три.

Алеша в отчаянии оглянулся кругом. Одного он увидел сразу — кролик жевал травку у садовой изгороди и пошевеливал длинными ушами. Он был очень доволен, что может побегать в вечерней прохладе по росистой траве. Алеша подкрался к нему и, с размаху упав на землю, схватил кролика, запер в клетку и побежал в сад:

— Ребята, еще три кролика бегают! Ловить надо!

— Ай, они наши яблоньки погрызут! — завопили девочки. — Они все яблоньки попортят!

И со всех сторон посыпались на Алешу упреки:

— Вечно у него кролики убегают!

— Кроликовод тоже!

— Только их кормит да гладит, а углядеть не может!..

Кролики шмыгали по саду то тут, то там. Ребята гонялись за ними, кричали и еще больше пугали их. Не обошлось без несчастия: неуклюжий Андрей Колосков упал и сломал яблоньку Катеньки Киргизовой. Катенька старалась поставить сломанную верхушку, но верхушка падала, и Катенька громко плакала:

— Мою самую дорогую, пепиновую-шафрановую, сломали!

Двух кроликов поймали, а третьего нигде не могли найти. Алеша ходил по саду, заглядывал под каждый кустик и у всех спрашивал:

— Тут не пробегал? Не видели?

— А я знаю, где кролик сидит, — тихонько сказала Чечек Мае Вилисовой.

— Где? — живо спросила Мая.

Чечек кивнула на куст боярышника:

— Там притаился.

— Что же ты молчишь? — удивилась Мая и тотчас закричала: — Алешка, сюда! Он здесь притаился!

Куст окружили, и Алеша схватил кролика.

— Теперь все, — сказал он. — Уж попались, так теперь из моих рук не вырвутся!

Ребята вокруг засмеялись:

— Да сколько раз в твои руки попадались, а то и дело по улице бегают!..

Вечер темнел. Небо гасло за спиной Чейнеш-Кая. Ребята медленно, не торопясь пошли из сада, очень усталые и очень веселые. Все было посажено, все было полито — пусть приживается!

— Этот день для нас очень большой, — сказал на прощание Анатолий Яковлевич. — Мы заложили сад, первый сад в нашей округе! Давайте запомним это число — двадцать седьмое апреля!

— И пусть это будет наш юннатский праздник, — подхватила Марфа Петровна, — праздник сада! И в будущем мы каждый год будем праздновать этот день!

— И не учиться? — крикнул Семушка из шестого класса, известный ленивец.

Все засмеялись.

— А Семушке только бы не учиться!

— Нет, учиться все-таки будем, Семушка,— с улыбкой ответил Анатолий Яковлевич, — но будем в этот день делать юнпатские доклады, будем отмечать наши юннатские успехи и производить новые посадки... Постепенно и в колхозе сад заложим, и у каждого двора яблонь насажаем, и в полях лесозащитные полосы вырастим... Да, только еще у нас с вами работы и радостей, ребята, что и жизни нашей, пожалуй, не хватит!

Чечек побежала к Евдокии Ивановне, понесла бадеечку. Желтый Кобас попрыгал вокруг нее, похватал за платье, но Чечек только отмахнулась от него:

— Ну тебя, Кобас! Не лезь ко мне, а то стукну!

— Входи, входи, Чечек! — ласково встретила ее Евдокия Ивановна, принимая бадейку. — Сейчас свет зажгу. Наших-то мужиков еще дома нету.

Чечек молча уселась на лавке.

— Ты что невеселая или устала? — спросила Евдокия Ивановна.

Она щелкнула выключателем, и мягкий свет озарил ее розовое улыбчивое лицо и светло-русые колечки волос, вьющихся около ушей.

— Я не устала, я же не устала! — ответила Чечек. — И Кенский думает, что я устала! И еще думает, что я злюсь. А конечно, злюсь, когда обманывают! — У Чечек задрожал голос, и она сердито насунилась.

— Э, вот как? Обманывают? — удивилась Евдокия Ивановна. — А кто же это обманывает тебя, Чечек?

— Все, все! И Анатолий Яковлич и Кенский!

— И Константин? Ну подожди, мы ему сейчас зададим жару, пускай только придет!

— А я уже пришел, — отозвался Костя из кухни. Он вошел в горницу и чуть-чуть удивленно посмотрел на Чечек. — А за что же это мне жару, однако?

— За что! — крикнула Чечек. — А за то, чтобы не обманывал!

— Чтобы не обманывал?..

— Ну да! А как будто не знает! Притворяются все! Сказали — яблоньки будем сажать, а сами...

Чечек вдруг громко заплакала, облокотившись на стол и за-

крыв лицо ладонями. Костя поглядел на Чечек, поглядел на мать — и снова на Чечек:

— Ну, что же? Сказали — будем сажать яблоньки, так и посадили!..

— А, посадили! А какие же это яблоньки? Ты думаешь, я не знаю, какие яблоньки бывают. Яблоньки все в белых цветах и в розовых — все в цветах! Я же думала: полная машина белых цветов, а это какие-то прутики. На них даже листьев и то нету! Думаешь, если я из тайги приехала, то и не знаю ничего? А я вот знаю!

Костя усмехнулся:

— Вот так, покричи еще. А я пока пойду руки вымою.— И он пошел в сени к рукомойнику.

Мать засмеялась.

— Ох, Чечек! — сказала она со смехом. — Ох, бедняжка! Да кто же тебе сказал, что яблоньки сразу цветут?

— Все говорили! И девочки наши говорили, что у яблонек розовые и белые цветы. Да я и на картинке видела... А они — вон какие!

— Да у этих тоже будут цветы — не сразу же! Ведь эти прутики еще не яблоньки, они еще яблоневого детки!

Чечек посмотрела на нее мокрыми черными глазами:

— А тогда почему они знают, что это яблоньки? А может, это осины какие-нибудь?

— Так ведь их же у Лисавенко из яблочного зернышка выращивали. А из яблочного зернышка осина вырастет разве?

Евдокия Ивановна рассмеялась, и Чечек улыбнулась тоже. И, когда Костя, умывшись, вошел в горницу, она соскочила с лавки ему навстречу.

— Кенский, — сказала она, глядя ему прямо в глаза, — ты скажи — только говори правду! — ты мне скажи: а наши яблоньки все-таки будут цвести белыми цветами? Ну когда-нибудь будут?

— Конечно, будут, — ответил Костя. — А как же? Придет время — и зацветут. Ты этот первый цвет увидишь.

— А ты?

— А я — нет. Меня уже в нашей школе не будет тогда...—

И, слегка отстранив Чечек рукой, Костя сказал: — Мама, а что это отец не идет? Ужинать бы...

— Сейчас соберу... — сказала мать. — Садись, Чечек!

Чечек, усевшись за стол, задумчиво глядела на Костю: на будущий год его уже не будет здесь!.. А Костя, подвигая к ней поближе хлеб и масло, сказал:

— Ну что, накричалась? Всё выложила? Эх ты, бурундук. Как чуть что, так уж и плакать. А еще тоже — в пионеры собралась!

— А я и не плачу! — досадуя на прорвавшиеся слезы, ответила Чечек. — Я са-авсем и не плакала, это просто слезы выскочили. Буду я плакать, вот еще!

Вскоре пришел отец. Стали ужинать. После ужина Костя долго рассказывал о том, что он увидел в Татанаковском логу: о яблонях, стоящих бесчисленными рядами, о склонах, заросших смородиной, о ягодных плантациях... И особенно подробно рассказал он о яблоньке, которую видел в теплой ложбине, о том, какая красивая и нарядная она стояла — вся белая и вся розовая...

Отец внимательно слушал Костю и тихо повторял:

— Да. Видно, время меняется. Время меняется...

ЧЕЧЕК МОГЛА БЫ СПИСАТЬ ЗАДАЧУ, НО...

В это утро Чечек приснился сон. Ей снилось, что она у бабушки Тарынчак в аиле, что она сидит у костра на мягкой шкуре дикого козла, а сверху, над головой, в дымовом отверстии аила, светится голубое небо и празднично, по-весеннему чирикают и щебечут какие-то веселые птицы.

— Вот и весна пришла! — по-алтайски сказала Чечек, улыбаясь во сне. — Бабушка, ты слышишь птиц?..

С этими словами Чечек открыла глаза. Мая Вилисова, которая спала на соседней постели, приподняла с подушки голову. Солнце, прорвавшись сквозь голубые занавески, пронизало теплым сиянием ее светлые спутанные волосы, похожие на пушистый ковыль. Мая засмеялась:

— Что это ты — во сне или наяву?

Чечек, румяная от сна, глядела на Маю и несколько мгновений не могла сообразить, как это ее бабушка Тарынчак со своим коричневым лицом и смоляными косами вдруг превратилась в белокурую Маю.

— Тебе бабушка приснилась? — спросила Мая.

— Да, — улыбнулась Чечек. — И птицы щебетали...

— Да они и сейчас щебечут, — сказала Мая. — Слышишь? Это воробьи веселятся!

Девочки в интернате вставали, убрали постели, умывались. Лида Королькова, строгая дежурная, крикнула:

— Чечек! Мая! Открываю форточку. Долго будете лежать?

Чечек вскочила, быстро оделась, взялась расплетать косы... И вдруг вспомнила:

— Ай-яй! А задачка?

С тех пор как Чечек задумала вступить в пионерский отряд, она очень старалась хорошо учиться. Но вчера ей не повезло — никак не выходила задачка! Лида хотела ей помочь, но Чечек отказалась: она считала, что обязана решить сама. «Встану пораньше — и решу!»

Но пораньше не встала, проспала.

«Ничего. Сейчас сяду, — сказала сама себе Чечек, — сяду и сделаю — вот еще! Пока волосы расплетаю, пойду птиц послушаю!»

Чечек вышла на улицу. Высокое небо сияло над горами. Из тайги, с окрестных долин, с распаханых полей, с черных гряд колхозных огородов — и отовсюду веяли свежие запахи зацветающей, потеплевшей земли, и склоны гор звенели птичьими голосами... Чечек, прислушиваясь, узнавала голоса птиц:

«Щегол! А это синичка... А вот и кукушечка закричала!..»

Чечек вспомнилась сказка, которую рассказывала ей бабушка Тарынчак, про бедную девушку, которая стала кукушечкой и улетела в дымовое отверстие из аила...

Вдруг откуда-то, из далекого далека, сквозь тихое цветение, сквозь солнце и нежную музыку птичьих голосов пронеслась суровая, ледяная струя ветра. Чечек почувствовала это холодное дыхание на своих еще горячих от сна щеках и, встревожившись, подняла глаза к дальним вершинам, почти таким же глубоким, как небо. И она увидела, что гора Эдиган стоит в белой

облачной шапке и над Катунью, цепляясь за верхушки лиственниц, тянется седая облачная борода...

— Э-э! — сказала Чечек. — Ненастье подходит. Завтра дождь пойдет... Ну ничего... если теплый — нам польет землю...

— Чечек, — закричала с крыльца Эркелей, — мы завтракать садимся!

Так Чечек слушала птиц, заплетала косы и пропустила утро. А перед уроками не утерпела — забежала вместе с подругами в сад взглянуть на яблоньки. Тоненькие прутики чуть покачивались над юннатскими грядками, засеянными овощами, — тоненькие, слабые прутики с нежной зеленью на верхушках...

Чечек постояла у своих четырех яблонек. Они все прижились, стояли веселенькие. Но Чечек смотрела на них без любви:

«Белые цветы! Яблоки! Это на таких тощих деревцах? У них и листья такие же, как на всех деревьях... Нет! Белые цветы на дереве все равно никогда не вырастут. Этого не бывает!»

На первом уроке был русский язык. Марфа Петровна задала написать сочинение: «Как я проводил праздник Первое мая», а потом рассказывала о том, как начался и откуда возник этот необычный праздник. У Чечек по сердцу прошла горячая волна: в день Первомайского праздника ее будут принимать в пионеры!

И только на второй перемене, перед уроком математики, Чечек вдруг спохватилась, что не сделала задачу:

— Ой, са-авсем плохо! Са-авсем плохо!.. — и побежала в класс.

В классе никого не было. В открытую форточку широко вливался свежий воздух. И опять в этом душистом весеннем дыхании она почувствовала какую-то недобрую, ледяную струйку...

Но задача отвлекла все ее внимание. Она достала задачник, бумагу, карандаш. И тут же увидела, что на парте лежит тетрадь ее соседки — Лиды Корольковой. Тетрадь была раскрыта, и на ее страницах, аккуратно выписанная, лежала перед Чечек решенная задача.

— Хо! — мгновенно обрадовалась Чечек.

Она быстро заглянула в Лидину тетрадку, схватила карандаш... И вдруг, вся покраснев, резко отодвинула ее на край парты и закрыла. Вот так! Чуть не вздумала списать задачу! Послезавтра она будет давать торжественное пионерское обе-

щание, а сегодня снова хотела украсть чужой труд, чужие мысли... «И не стыдно тебе? — сердито корила себя Чечек. — Тьфу, тьфу!»

Чечек задумалась над задачкой. Но только она начала соображать, как за нее приняться, — прозвенел звонок. Чечек нервно написала первый вопрос... Но было уже поздно: Захар Петрович вошел в класс.

— Ты что же, так и не решила задачку? — прошептала ей Лида Королькова.

Чечек покачала головой:

— Нет.

Лида подозрительно посмотрела на свою тетрадь:

— А ты мою тетрадку трогала?

— Трогала.

— А зачем?

— Закрыла и отодвинула. Вот зачем! — И Чечек гордо посмотрела Лиде в глаза.

Лида смутилась: она поняла, что зря обидела подругу.

— Ну, а как же теперь? — сочувственно прошептала она. — А вдруг тебя вызовут?

— Чечек Торбогошева, к доске, — сказал Захар Петрович, не поднимая глаз от журнала.

Чечек и Лида обменялись испуганными взглядами. Чечек почувствовала себя так, будто идет по краю обрыва, по каменной тропе, и тропа эта вдруг дрогнула и поползла под ее ногою...

Чуть-чуть побледнев, она вышла к доске.

«Зачем бояться? — убеждала она себя. — Надо еще подумать как следует — и решить. А бояться зачем? Это хуже всего — бояться!»

— Ты решила задачу, Чечек? — спросил Захар Петрович. — Объясни, как ты ее решила.

— Я не решила, Захар Петрович.

Учитель удивленно посмотрел на нее поверх очков:

— Это как же так — не решила?

— Я не решила, но я все-таки ее поняла, Захар Петрович. Вот давайте я сейчас ее на доске решу!

— Нет, почему ты все-таки не решила ее дома? Значит, ты считаешь, что домашние уроки делать необязательно?

Чечек знала, что будет неприятный разговор; знала, что Захар Петрович очень обижается, когда не выполняют домашние задания; знала, что ей придется стоять и краснеть перед всем классом под его язвительными речами... Но что же делать!

Чечек старалась держаться спокойно. Что бы ни было сказано обидного — это все-таки не то, что сказали ей однажды. «Умел воровать — умей и ответ держать!» — вот что однажды пришлось ей выслушать!.. А теперь — нет! Что угодно, а вот этого ей сказать нынче никто не может!

Захар Петрович еще поворчал, голос у него стал очень жалобный. Вот какие у него ученики есть: считают, что хотят — решают задачи, хотят — нет. И еще пожаловался: он, старый человек, из последних своих сил старается научить своих учеников, а они с ним и считаться совсем не хотят.

Чечек стояла с опущенными глазами и вертела в руках мел, не замечая, что измазала этим мелом руки и черный фартук и даже на носу оставила белое пятно.

— Ну так, а теперь запиши условие, — сказал наконец Захар Петрович уже другим, своим обычным, деловым тоном.

Чечек обрадовалась: кончилось! Теперь только надо как следует решить задачу.

Чечек сосредоточила все свое внимание на том, что диктовал ей Захар Петрович.

Класс, ученики, неясные их шепоты, поскрипывание парт, шелест страниц, пение птиц за окнами — все исчезло. Осталась только большая черная доска — и на ней белые цифры задачи. Чечек с минуту смотрела на эту доску.

— Подумай... подумай... — негромко, предупреждающе повторял Захар Петрович, — не спеши...

— Надо сначала узнать, сколько гектаров было вспахано в первый день...

Захар Петрович весело кивнул головой:

— Так, так. Ну, узнавай!

Чечек решала задачу смело и быстро. После каждого вопроса она взглядывала на учителя и, встретив его приветливые глаза и ободряющий кивок головы, уверенно продолжала дальше. Вот наконец последний вопрос...

И вдруг Чечек сбилась. Нахмурясь, закусив губу, она обежа-

ла глазами всю доску и опять почувствовала, как узкая, опасная тропа осыпается у нее под ногами.

Напряженная тишина класса окружала ее. Захар Петрович тоже молчал, лицо его как-то замкнулось. Он ждал.

«Провалилась... Провалилась!..» — в смятении думала Чечек. Это слово без конца повторялось в ее мозгу и мешало хоть что-нибудь сообразить.

— Ну, — негромко сказал Захар Петрович, — в чем же дело? Дописывай!

Чечек почти машинально дописала последний вопрос и поставила последнюю цифру — цифру ответа.

— Правильно! — громко и отчетливо сказал Захар Петрович. — Садись! — и, пряча в глазах улыбку удовольствия, склонился над журналом.

Чечек будто только теперь получила возможность дышать. И сразу вернулось все — и класс, и ученики, и их шепот, и движения, и пение птиц за окнами.

Вытерев тряпкой руки, она прошла на свое место. Смуглый румянец горел на ее щеках, черные глаза блестели. Садясь за парту, она улыбнулась Лиде. И Лида шепнула ей:

— Молодец!

СЛОВО, ДАННОЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Ночью была большая борьба: боролась весна со злым хиусом — северным ветром. И хиус одолел. Он нагнал холодных туч, и первомайское утро проглянуло на землю сквозь мелкую и частую дымку холодного дождя, а над Катунью опять тянулись серые волокна....

И все-таки это был праздник! Уже с утра то в одном конце деревни, то в другом слышались песни. Из домов доносились запахи пирогов и жареного мяса. Маленькие ребятишки, не смотря на дождь, бегали друг к другу, из двора во двор, — каждому нужно было показать свои праздничные обновки: у кого платье, у кого лента, у кого новые сапоги.

Евдокия Ивановна тоже встретила праздник — напекла и пирогов и ватрушек. Она постелила на стол новую скатерть с го-

лубой каймой, начистила мелом самовар, и он блестел, как серебряный, отражая и пеструю посуду на столе, и окна, и белые занавески на окнах...

Костя, хотя и любил пироги с печенкой и еще больше — сладкие ватрушки с творогом, все-таки недолго усидел за столом. Ему не терпелось: надо бежать в школу, там еще не все готово к сегодняшнему праздничному вечеру.

Наскоро позавтракав и запихнув в рот большущий кусок пирога, он встал из-за стола.

— Куда же ты? — огорчилась мать. — Не поел, не попил!..

— «Не поел!» — усмехнулся Костя. — А три пирога где? А две ватрушки?.. А ну-ка, посчитай!..

— Неужели не можешь за столом как следует посидеть?

— Некогда, мама! — сказал Костя, надевая пиджак. — Некогда мне сегодня!

— В будни некогда, в праздник некогда! Да что это за народ такой растет!

— А ведь и нам с тобой расслаиваться некогда, — возразил отец. — Слышишь? Звонят. На собрание зовут!.. Или, может, ты не пойдешь? — Отец незаметно подмигнул Косте.

Мать живо поднялась из-за стола:

— Вот так! Не пойду, как же! Только вам, мужикам, па собрания ходить — ишь ты!.. Ах, батюшки, и правда звонят! А я еще и не одета как следует и не причесана! Всё с вашими пирогами да с ватрушками... Уж там небось Анатолий Яковлевич пришел!..

Костя забежал к Ване Петухову, который жил дома через два от него, и постучал в окно:

— Петухов, пошли в школу!

— Пошли! — отозвался Ваня.

Петухов выскочил на крыльцо, на ходу надевая курточку.

— Костя, ты подожди-ка, — сказал он, — зайди-ка сюда!

— Когда заходить! Там у нас еще гирлянды не все повешены!

— Да на минутку!.. Ты зайди-ка сюда, посоветуй!

Он повел Костю на задворки:

— Видишь участочек? Тут у нас отец табак сажает. А что, если тут яблоньку посадить, как думаешь?

— Яблоньку?..

Костя огляделся, обошел участок кругом:

— Подожди. Где у нас юг и где север?.. Э, нет, Ваня, не очень хорошо — с севера место открытое.

— Может, с этой стороны тополей насажать?

— Можно. Или тополей, или клену. Тоже быстро растет.

— Ладно, посажу, — решил Ваня.

По скользкой от дождя тропочке они выбрались на дорогу.

— Ты молодец, однако, — сказал Костя, — хорошо придумал! Пожалуй, и мне надо около двора местечко подыскать...

Над крышей правления колхоза слабо полоскался красный флаг. На широком резном крыльце и около открытых окон правления толпился народ.

— Гляди, народу-то пришло на собрание! — удивился Ваня. — Даже в правлении не помещаются!

— А что же? — сказал с гордостью Костя. — Ведь доклад-то сегодня наш Анатолий Яковлевич делает!

— Пойдем послушаем!

— Пойдем. Под окно.

Костя и Ваня Петухов подошли к одному из раскрытых окон правления. Они немного оттеснили стоявших тут девушек, и им сразу стало видно Анатолия Яковлевича. Директор школы стоял около стола председателя, слегка опираясь рукой на красное сукно. Голос его был слышен отчетливо:

— ...Этот праздник еще раз напоминает нам о том, что мы, трудящиеся люди, — хозяева нашей земли. Так будем же настоящими хозяевами — заботливыми, деятельными, инициативными... Наш народ-кочевник когда-то мечтал о стоянке, где трава не сохнет и не желтеет, где цветы синие и голубые круглый год цветут, откуда птицы не улетают и зверь не бежит. Теперь эта мечта стала явью. Этой счастливой стоянкой является для нас колхозная жизнь!.. Так помните, товарищи, что нам надо крепко беречь эту счастливую жизнь. Эта жизнь завоевана не легко. За нее плачено дорогой ценой — ценой крови наших лучших людей, погибших за Родину, за наш мирный труд...

Когда Анатолий Яковлевич кончил говорить, к ребятам подбежала Ольга Наева:

— Вот и они! Скорее в школу!.. Костя, бери молоток! Мы

там над трибуной хвою никак прибить не можем — все сваливается и сваливается!

— А я? — спросил Ваня.

— И ты, и ты! Скорее!

Школьники еще накануне притащили из тайги охапки зеленых веток сосны и лиственницы, украшенных, словно ягодками, пурпуровыми шишечками и желтыми колосками на верхушках побегов. Весь школьный зал зеленел этими ветками. Девочки, несмотря на дождь, сбегали в долину, поднялись по склону и набрали цветов.

Они прибежали вымокшие, продрогшие.

Но зато у знамени в стаканах, вазочках и горшках красовались весенние цветы — желтые и голубые фиалки, розовато-лиловые кисти ятрышника, сквозные, как елочки, белые любки, желтые звездочки лапчатки... Кто-то из смелых забрался высоко на вершину и принес оттуда золотых огоньков, которые, будто раскаленные угольки, отражались в стекле больших портретов вождей...

Костя прикрепил хвойную гирлянду и прошел по залу, оглядываясь по сторонам. Зал выглядел торжественным и нарядным. На стенах — вырезанные из красной бумаги пятиконечные звезды. Цветочные горшки, принесенные сюда из всех классов, обернуты розовой бумагой. На лампочках резные абажуры из цветной бумаги...

Костя прошел по всей школе, отыскивая Чечек. В классах топились печи. Лиственничные поленья горели жарко, и оранжевые отблески весело и уютно играли на бревенчатых стенах и чисто промытых половицах. Около печки в пятом классе Костя нашел Чечек. Она помешивала кочергой дрова и что-то шептала, глядя в огонь.

— Ну, как дела, однако? — спросил Костя, стараясь, как всегда, сохранять суровый вид, хотя спокойные, ясные глаза изобличали его добрый характер.

Чечек посмотрела на него. В ее глубоких зрачках дрожали искорки отраженного пламени.

— Боюсь!.. — прошептала Чечек.

Костя присел на охапку больших поленьев, лежавших возле печки:

— А что у тебя за бумажка такая на коленях?

— Торжественное обещание.

— Выучила?

— Да.

— Ничего, не бойся. Это уж такой день! И боишься и радуешься...

— Кенский, а ты помнишь, как тебя в пионеры принимали?

— Ну еще бы! Разве это можно не помнить? Такие дни в жизни не забываются.

— Кенский, а ты тоже боялся?

— Да, Чечек. Только не «боялся», а волновался.

Чечек незаметно улыбнулась. Вот Костя назвал ее Чечек, как настоящего человека. А то все «бурундук» да «бурундук»...

— А знаешь, Кенский, люди такое обещание на всю жизнь дают!

И Костя опять повторил серьезно и ласково:

— Знаю, Чечек! — и добавил, задумчиво глядя в огонь: — Я тоже его на всю жизнь дал.

...К вечеру усилился дождь. Чейнеш-Кая стояла мрачной, темной стеной, наполовину одевшись туманом. Хиус выл и гудел над крышами. Но сквозь гул ветра из колхоза донеслась тонкая мелодия комыса¹, рассыпались малиновые лады гармошки, прорвалась веселая песня — праздник шел на деревне.

А в школе всюду загорелись огни, и в классах зашумел, загомонил радостный молодой народ. Потом зазвонил школьный звонок, приглашая в зал школьников и гостей. Много народу пришло из деревни — родные, знакомые. Пришла и Костина мать, Евдокия Ивановна. Она уже успела повидать Чечек, приласкала ее, успокоила насколько могла, вплела в ее косы новые розовые атласные ленты... Как же не подбодрить человека в такую важную минуту, если около него нет матери?

Но вот пропел пионерский горн, и звуки его, словно звенящие золотые лучи, заполнили зал, прорвались сквозь окна, сквозь дождь и пролетели над колхозом. И тогда люди приостановили свое гулянье и сказали друг другу с доброй улыбкой: «Сегодня в нашей школе большой пионерский сбор! Сегодня новые пионеры дают торжественное обещание».

¹ К о м ы с — музыкальный инструмент.

И снова пропел пионерский горн, и золотые звуки его сквозь дождь и тьму пролетели над темными горами и долинами. И где-то в глуши отозвалась им пробужденная птица, любопытная белка выглянула из дупла, и медведь приподнял рыжую голову. Большая гора Чейнеш-Кая приняла эти звуки и повторила их несколько раз. И пастухам в тайге показалось, что не один горн поет внизу, на берегу Катуня, а много горнов поют и трубят на вершинах гор...

И вот ударили барабаны и рассыпали торжественную маршевую дробь. Барабанщики — оба тонкие, стройные, в красных галстуках и белых рубашках — легким шагом прошли через весь зал, красиво и важно приподняв локти над барабанами. Лица их были серьезны и торжественны, и тонкие палочки в их руках будто сами собой мелко и ритмично ударили в тугие барабаны.

Отряд за отрядом со своими вожатыми шли следом, четко отбивая шаг. Подойдя к самой сцене, барабанщики дружно ударили в барабаны еще раз, опустили палочки и стали по сторонам. Отряды построились направо и налево. Старшая вожатая Настенька в белой атласной кофточке, с новеньким красным галстуком на шее, вся какая-то праздничная и в то же время сосредоточенная, вышла на середину. Ее милое круглое лицо зарумянилось, и гладкие светло-русые волосы чуть-чуть взмокли на висках.

Вожатые отрядов, глядя прямо в строгие и взволнованные сияние глаза старшей вожатой, отдавали торжественные рапорты. У некоторых от волнения срывался голос: слишком много народу смотрело на них в этот день, слишком много народу их слушало.

Чечек и еще двое — Ваня Михайлов и Нюша Саруева — стояли в стороне. Чечек не слышала своего дыхания. Сейчас, вот сейчас она выйдет на сцену и произнесет необыкновенные слова... Сейчас, сейчас...

На сцену вышел Анатолий Яковлевич. Чечек не могла уловить, что он говорит. И, хотя все время ждала, что ее позовут, все-таки вздрогнула, когда услышала свое имя.

Они вышли все трое. И здесь, у алого знамени, в присутствии всех пионеров, они произнесли свое торжественное пионерское обещание:



— Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть верным заветам Ленина.

Зал замер.

Слова эти прозвучали как большая клятва, которой человек изменить не может.

Голос Чечек чуть-чуть звенел и дрожал. И Евдокия Ивановна, глядя на ее побледневшее лицо, не вытерпела: слезы подступили у нее к глазам.

— Дети, дети мои! — шептала она, плача и улыбаясь. — Ах, дети, дети!..

Сзади тоже кто-то вздыхал: эти пионерские клятвы растрогали взрослых людей до слез.

Старшая вожатая приняла торжественное обещание и, по-

дойдя к Чечек — она стояла первой, — повязала ей пионерский галстук.

И, когда все окончилось и вожатая поздравила их, Чечек в первый раз отдала пионерский салют. И тут ей показалось, что она как-то сразу выросла, сразу стала большая.

Вечер был такой веселый, такой радостный, какого никогда не было в жизни Чечек. Подруги поздравляли ее, обнимали, тормошили. А она все поправляла галстук и все беспокоилась, что его сомнут. Увидев Костю, она подбежала к нему:

— Кенскин!.. — и, еще раз расправив галстук, остановилась перед ним, вся сияющая от радости, и отдала салют.

Костя улыбнулся.

Ему хотелось сказать: «Вот напыжилась! Эх ты, бурундук!» Но он понял, что сейчас так с ней разговаривать нельзя.

— Поздравляю тебя, Чечек! — сказал он. — Вот бы Яжнай был сейчас, а?

— Да, Яжная нету!.. — вздохнула Чечек. — Если бы Яжнай был! Э-э, если бы Яжнай был! И мать была бы! И отец был бы! И бабушка... — Но тут же снова заблестела глазами. — А твоя матушка не ушла, Кенскин?

— Да как же я уйду! В такой-то день да уйду! — Евдокия Ивановна пробиралась к ним из дальнего конца зала.

Чечек бросилась к ней, и они крепко обнялись.

— Сегодня ночевать ко мне пойдешь, — сказала Евдокия Ивановна. — Пускай же и наш отец посмотрит на новую пионерку!

Чечек взглянула ей в лицо своими влажными глазами и снова уткнулась в ее розовую кофточку.

Школьники выходили на сцену, читали стихи, пели, танцевали. Чечек, сидя рядом с Маей и Лидой Корольковой, с удовольствием смотрела и слушала и громче всех хлопала в ладоши. И все-таки та радость, которая томила ее, не находила выхода. Чечек хотелось бы самой петь, плясать или вскочить на лошадь и поскакать куда-нибудь навстречу ветру.

Она встала и тихонько выбралась из зала. Пройдя мимо пустых классов, она вышла на заднее крыльцо постоять под ночным небом, послушать дождь, посмотреть на черные конусы гор. Но когда вышла, то удивилась: дождя не было и, как часто бы-

вает в Горном Алтае, погода внезапно изменилась. Куда-то умчались холодные тучи, с гор тянуло запахом цветущей лиственницы, и небо искрилось от звезд. Чистые, омытые дождем звезды переливались, мерцали и словно затевали там, наверху, какую-то таинственную безмолвную игру. Они словно тоже радовались празднику пионерки Чечек.

Чечек счастливо вздохнула и улыбнулась: вот такие дни бывают иногда в жизни человека!

ВСТРЕЧА ВЕСНЫ

Наступал конец учебного года. Приближались экзамены. Школьники на уроках стали более сосредоточенными. Даже самые большие ленивцы и шалуны притихли и призадумались над своими отметками.

Костя занимался очень много и серьезно. Он уже твердо знал, чего хочет в жизни: он хочет сажать сады. И он обдумывал заявление, которое подаст в Барнаульский плодово-ягодный техникум. Все было решено, и все было хорошо.

Но иногда налетали откуда-то минуты волнения и чуть-чуть расстраивали его светлый душевный мир. То вдруг выйдет он в коридор во время перемены и будто в первый раз увидит давно знакомые желтоватые бревенчатые стены с трещинами и сучками, широкие белые рамы, подоконники, уставленные цветами — многие из этих цветов были выращены им самим, — и вдруг что-то слегка схватит за сердце. То зайдет после занятий в сад прополоть траву — и остановится и глядит кругом: на молодые деревца, на крышу школы, осененную кленами, на прекрасную Чейнеш-Кая — и не знает, что такое происходит с ним... А потом понял: «Это все прощается со мной — вот что! И это я сам прощаюсь!..»

Но Костя не давал этим минутам надолго захватывать сердце.

«Ничего,— говорил он сам себе,— ничего. Хватит! Работать надо».

Молодой садик радовал его. Все яблоньки прижились. После экзаменов надо будет взяться за арык, чтобы летом сад не

остался без воды. Надо собрать ребят и проследить путь, по которому пройдет арык. К осени надо подготовить еще кусочек земли — придут новые ученики и тоже будут сажать яблоньки. Лишь бы установилась погода! Лишь бы вошла в силу весна!

А весна за силу бралась. После дождей гуще раскинулась зелень по долинам, ярче запестрели горные луговинки, темнее и пушистее стала нежная хвоя на лиственницах, веселее и бурливее зашумела Катунь.

В одно из солнечных воскресений Марфа Петровна вздумала устроить «праздник весны». Марфа Петровна любила придумывать праздники. Она затевала зимой походы в тайгу: пробежаться на лыжах, послушать голоса клестов, когда они, словно красные яблочки, сидят на заснеженных деревьях; поискать следы зверей и разгадать, чей след; набрать сосновых и кедровых шишек...

Такие же праздники бывали и осенью, когда уходили в горы на целый день, обедали у костра и возвращались с охапками разноцветных листьев, а потом записывали в дневниках свои наблюдения и впечатления, а листья расклеивали в гербарии.

Школьники любили эти походы. Заранее никто не знал, куда идут, что будут делать. Все делалось как-то само собой, и, может быть, поэтому всегда было очень весело.

Чечек, когда услышала, что Марфа Петровна собирает ребят праздновать весну: «Кто хочет, тот идет; кто не хочет, тот не идет», — сразу побежала искать Костю. Дома его не было.

«Значит, в саду», — решила Чечек.

С бадейкой в одной руке и с кистью в другой Костя ходил по саду и подмазывал известкой уже побеленные стволы яблонь. Кое-где плохо побелено, кое-где просвечивают стволы, а солнце весной горячее, может обжечь молодую кору. Чечек подошла к нему и, заглядывая в глаза, сказала:

— Кенский, ты пойдешь с нами?

— Нет, некогда мне, — ответил Костя.

— Ну, а почему, Кенский?

— Потому что некогда, сказал уже.

— Ну, Кенский, пойдем! Там, наверху, теперь цветов много, очень-очень много! Ну, Кенский, а?

Чечек и с одной и с другой стороны заглядывала в лицо Косте, то на одно, то на другое ухо сдвигала свою круглую шапочку с малиновой кисточкой и все просила: «Пойдем, пойдем!»

Костя, как всегда спокойный, шел от яблоньки к яблоньке со своей белой бадейкой и невозмутимо отмахивался от нее:

— Отстань, однако! Что я — маленький, что ли, с вами по горам лазить? Что, у меня работы нет? Дома загородку поправить надо, почитать надо. А я буду с ними ходить цветы собирать!

Но Чечек не отстала.

— Кенскин, — грустно и ласково сказала она наконец, — ведь на будущий год тебя уже в школе не будет... Ведь это в последний раз, Кенскин!..

Костя посмотрел на нее, на ее черные, немножко косые глаза, которые умоляли, на полураскрытые пухлые губы, на круглую шапочку, сдвинутую на левую бровь, — и не выдержал, усмехнулся:

— Ох и пристанешь же ты, бурундук! Уж скорее бы Яжная приехал, освободил бы меня от своей сестры!

Чечек засмеялась и побежала к школе, подпрыгивая и прихлопывая в ладоши:

— Пойдет! Пойдет! Пойдет!

...Школьники поднимались по светлой долине. Чистые, яркие травы устилали отлогие склоны гор. Прекрасные лиственницы, одетые шелковой хвоей, стояли в отдалении друг от друга, словно в саду, а сад этот уходил далеко по долине и высоко по склонам на многие километры... Маленькие пестрые цветы ютились на уступах гор, среди кустов бересклета и дикой малины. А по всей долине цвели высокие темно-красные цветы маральника, крупные лепестки их пылали, пронизанные солнцем.

Настенька напомнила о весеннем гербарии. И юннаты принялись старательно собирать цветы и травы. А Марфа Петровна сказала:

— Собирайте больше цветов — венки плести будем!

И сама она, низко надвинув на глаза платок, рвала красные цветы и что-то напевала и чему-то улыбалась. Может, тому, что светит теплое солнце и земля расцветает; может, тому, что вокруг нее по зеленым склонам поют и смеются ее ученики, ко-

торым отданы вся любовь ее и все заботы. А может быть, Марфа Петровна еще раз почувствовала, что жизнь человека, любящего свою работу, всегда прекрасна — и на заре молодости, и на закате дней...

То один, то другой подбегал к ней с вопросами:

— Марфа Петровна, что это? Куриная слепота?

— Какая же это «слепота»! Это лапчатка. Цветок маленький, как золотая звездочка, и зелень нарядная, вырезная... А лютик гораздо крупнее, грубее — приглядитесь как следует! В этой лапчатке есть дубильные вещества.

— Марфа Петровна, а это какая травка? Сверху листья совсем зеленые, а снизу — какие-то синеватые.

— Эта травка — горечавка. Это травка добрая, помогает людям при болезнях сердца, желудок лечит... Желтыми цветами зацветет в июле — помните, такие крупные желтые цветы?

Иногда Марфа Петровна и сама срывала какой-нибудь стебелек, еще без цветов и без бутонов:

— А вот что это такое, кто скажет?.. Ну-ка, юннаты?

И заставляла рассказать об этом растении все: и как оно цветет, и когда цветет, и какими особыми свойствами оно обладает.

Когда поднялись высоко по долине, у ребят уже были большие охапки цветов.

И Костя, усмехаясь, сказал Манжину:

— Пока шли, весь учебник ботаники повторили. Ох, однако, хитрая же у нас Марфа Петровна!

Алеша Репейников, забежавший далеко вперед, вдруг появился на вершине зеленого увала.

— Сюда! — кричал он, размахивая шапкой. — Здесь озеро есть!

— Идем!.. — отозвалась Марфа Петровна. — Ребята, к озеру!

На вершине увала, на срезанном конусе, лежало круглое, как чаша, озеро. Оно было полно голубого хрусталя и света. Ни камышей, ни кустиков не росло на его берегах, только травы стояли — чистые, высокие. На берегах этого озера уселись отдыхать — будто пестрый венок лег вокруг голубой воды. Тут же занялись разборкой трав. Мальчики отбирали лучшие экземпляры для гербария, а девочки плели венки. Из самых красивых, из самых ярких цветов сплели венок Марфе Петровне,

и она надела его поверх белого платка. Девочки тоже надели венки. И все глядели друг на друга и смеялись.

— Лида, Лида! — сказала подружке Мая Вилисова. — Ты погляди на Чечек! Погляди, как ей красиво в венке!

Чечек вскочила, подбежала к воде и заглянула в нее, как в зеркало. Черные косы ее коснулись воды, и оттуда, из светлой глубины, глянуло ей в глаза яркое отражение — смуглая девочка с красным венком на черных волосах...

Чечек, очень довольная, поглядела на всех блестящими глазами.

— Э! — задорно крикнула она. — А почему наши ребята без венков? Давайте их тоже нарядим!

Поднялся веселый шум.

— Нарядим! Нарядим! — кричали девочки.

— Вот еще! — возражали ребята. — Выдумали тоже!

Но девочки уже плели венки, заплетали зеленую красные, белые и желтые цветы. Настенька первая сплела венок. Она с лукавой улыбкой пошла по бережку и запела:

Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу!
Я не знаю, куда вьюн положить!..

И все подхватили эту песню. Костя со страхом смотрел на Настеньку, которая подходила все ближе и ближе. Уж не вздумает ли она этот «вьюн» положить ему на голову?..

Между тем Чечек тоже сплела венок. Она торопливо связывала его зелеными травинками и тревожно поглядывала на Настеньку: зачем это она пошла в Костину сторону?

И все с улыбкой пели и ждали, кому наденет Настенька свой венок. Так и есть: идет к двоим, сидящим в стороне, — к Косте и Манжипу. Манжин улыбался, добрые глаза его светились, как щелочки. А Костя уперся руками в землю, готовый вскочить и убежать в тайгу. Вот еще не хватало, чтобы на него, на такого большого парня, надели венок!

Настенька остановилась против Манжина, и Костя успокоился и даже чуть-чуть улыбнулся, искоса поглядывая на Васю. Но с последним словом песни Настенька вдруг повернулась к Косте и надела на него венок. Костя вскочил.

— Ну что это, однако! — проворчал он, весь красный от досады и смущения. — Ну вот еще! Не надо мне!..

Но все кричали, смеялись, хлопали в ладоши. Костя сердито снял венок, но Настенька опять на него надела. И чем больше Костя сердился, тем веселее смеялись все вокруг. Наконец Марфа Петровна сказала:

— Ну, Костя, ты что это дикий какой! Сегодня уж так будет — весну всегда в венках встречают. Раз пошел с нами, так и подчиняйся!.. Девочки, выходите, надевайте мальчикам венки — сегодня такой день!

И ребятам пришлось подчиниться. Кто с досадой, кто со смущением, кто с удовольствием, но все надели венки. И никто не заметил, как Чечек со своим нежным венком из лиловых фиалок подбежала к Косте вслед за Настенькой... и не успела! Она хотела было сдернуть с Костиной головы Настенькин венок из баранчиков и курослепов, но вовремя удержалась и тихонько отошла за спины подруг.

Больше всех был доволен этой затеей Алеша Репейников. Он весело сдвигал свой венок то на одно ухо, то на другое. И до тех пор двигал, пока не разорвал его и желтые цветы не распались на звенья.

— Эх, ну и сплели! — сказал он. — Не могли получше?

Он собирал обрывки венка, пытаясь связать их. Что это: все в венках будут, а он — нет!

— Да вот у Чечек еще венок есть! — крикнула Лида Королькова. — Чечек, надень свой венок Алешке!

Все расступились, пропуская Чечек, и как-то вышло, что Чечек и Алеша стали друг против друга и все глядели на них.

— Ну, надевай скорей! — сказал Алеша, подставляя свою круглую белесую голову.

Но Чечек гордо поглядела на него, поджала губы, бросила лиловый венок на траву и отошла. Алеша, смеясь, поднял его:

— Ох, ты! Бросает!.. Ну и не надо, я и сам возьму!

— Становитесь в хоровод, ребятки! — сказала Марфа Петровна. — Запевайте дружно!

Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с радостью,
С великою милостью!..

Далеко улетела песня по окрестным горам. Ей вторили птицы в тайге. Ей улыбались сквозь сон раскрывающиеся цветы. И, может быть, сама Весна, услышав призывные молодые голоса, ускоряла свой шаг, поднимаясь в Алтайские горы...

Домой возвращались немножко усталые, с большими букетами трав и цветов для гербария. Мальчики теряли по дороге свои венки или вешали их на ветви лиственниц. Алеша Репейников надел шапку, а венок хотел оставить где-нибудь в кустарнике, но поглядел на душистые лиловые фиалки и надел его поверх шапки — уж очень красивый венок сплела Чечек!

Всем было хорошо, все были веселы и голодны, смеялись, подшучивали друг над другом, предвкушали веселый час ужина. И никто не знал, какой серьезный разговор разгорается у трех подруг, идущих сюда.

— Чечек, не отказывайся, — строго сказала Лида Королькова, — ты на Алешку злишься!

Чечек сдвинула черные брови:

— А что мне его — целовать?

— Фу, Чечек! — крикнула Мая. — Не притворяйся! Ты его просто ненавидишь! Я уже давно заметила. Тогда Анатолий Яковлич сказал: «Подержи мешок с овсом, пусть Алеша покормит кроликов», а ты сразу мешок и положила!

— Удивительно! — пожала плечами Лида.

— И еще и еще!.. — продолжала Мая запальчиво. — У него кролик убежал в сад, Алешка ищет, а ты видела, где он, и молчала. Почему это? И сегодня — взяла и бросила венок на землю!

— Ну и что? — угрюмо сказала Чечек. — Ну, вот взяла и бросила. И не хочу Алешке надевать на голову, а буду всегда бросать!

— О-ей! — удивилась Лида. — Почему это? Он тебя, может, ругал?

Чечек сердито молчала.

— Никогда он ее не ругал, — сказала Мая. — За что это он будет ругаться?

— Это нехорошо, Чечек, — с упреком обратилась к ней Лида. — Он, может, какой-то приставучий и суетливый какой-то... ну, а все-таки он же наш пионер, товарищ наш...

— О! Товарищ! — возмутилась Чечек. — Очень хороший то-

варищ! А кто про меня хотел Анатолю Яковличу сказать? Все не хотят, а он: «Пойду скажу! Надо сказать!» Только ребята не дали, а то бы побежал. А что ему? Только бы мне назло! Чтобы я обратно домой убежала — вот что он хотел!.. Да, товарищ!

Мая всплеснула руками:

— Ой, что говорит!

А Лида Королькова нахмурилась:

— Ну, Чечек, ты совсем заблудилась. А вот хочешь знать? Если бы я считала, что надо про тебя сказать Анатолю Яковличу... ну если бы считала, что это тебе даст пользу... я бы тоже пошла и сказала.

Чечек остановилась:

— Про меня? Ты?..

— Да, про тебя. Да, я.

— А я думала — ты моя подруга!

Чечек вдруг сорвала с головы свой красный веночек, бросила его и хотела бежать. Но Лида схватила ее за руку.

— Что ты, Чечек! Да, конечно, я твоя подруга, — твердо сказала она. — Ну, ты же послушай меня сначала, а потом убегай! Вот если бы я думала, что если я скажу Анатолю Яковличу, как ты сочинения списываешь, и это тебе поможет, и ты больше не будешь списывать, а будешь хорошо учиться, — я пошла бы и сказала...

Чечек попробовала выдернуть руку, но Лида держала ее крепко:

— Подожди, дослушай... Ну, а я и другие подумали, что ты и нас слушаешь, и можно Анатолю Яковличу не говорить, — вот и не сказали. Ну, а Алешка считал, что для тебя будет лучше, если Анатолю Яковличу сказать, — ну, он и хотел...

— Чтобы для меня было лучше?

— Ну конечно! — подхватила Мая. — Что же ты думала, что он назло?

— Да, назло!

— Ой, Чечек! — задумчиво сказала Лида Королькова. — Что я думаю... что я думаю! Уж не рано ли мы приняли тебя в пионеры?

Чечек испуганно поглядела на подруг и опустила голову. Мая тотчас обняла ее за плечи:

— Ну, не говори так, Лида, не говори! Чечек подумает много — и поймет. Мало ли, иногда человек живет, живет и чего-нибудь не понимает. А потом подумает — и поймет. А я вот тоже многого не понимаю. А вот думаю: почему так? В избе жить лучше, а наш дедушка все равно в аиле живет!.. И почему это: у меня отец алтаец, а волосы у меня белые? У мамы тоже волосы белые, потому что она русская. Но ведь у отца черные? Значит, надо, чтобы у меня половина волос была белая, а половина — черная. А почему же я вся белая?

Лида невольно усмехнулась:

— Да ну тебя, Майка!

А Чечек молчала всю дорогу и думала о чем-то. И подруги не мешали ей.

В ДОМИКЕ МАРФЫ ПЕТРОВНЫ

Прошел май. Прошли трудные, волнующие дни экзаменов. В эти дни Костя не знал и не видел ничего, кроме книг, учебников, тетрадей, чертежей.

Ваня Петухов, которому Костя помогал готовиться к экзаменам, однажды сказал:

— А ты-то, Кандыков, что сидишь над учебниками не вставая? Ты и так сдашь!

— Как сдать... — ответил Костя. — Можно сдать по-разному. А я хочу — на пятерки.

Костя сдал на пятерки. И лишь на другой день после того, как в последний раз вышел из экзаменационного зала, он вдруг почувствовал, что жизнь хороша и разнообразна. Ему хотелось все: и побежать в сад проверить яблоньки, и взяться за арык, и послушать болтовню Чечек, расспросить о ее делах. Но отец сказал, что в колхозе нужны люди на посадку картошки, и Костя с удовольствием отправился в поле. А самой главной заботой его было — написать заявление и отправить в Барнаульский плодово-ягодный техникум.

И, кроме всех этих забот, возникла еще одна: он вдруг, помимо своей воли, стал актером.

Однажды, возвращаясь с колхозного поля чуть-чуть уста-

лый, он зашел в школьный сад. Нежная листва маленьких яблонь смутно зеленела в синеватых сумерках. Деревца стояли тихие, словно удивленные, что они живут, что у них под мягкой корой идут соки, что они, как и взрослые деревья, тоже сумели развернуть листья.

Костя медленно шел по саду и, задумчиво улыбаясь, думал: «Ухожу... И в классе уже кто-то другой будет сидеть на моей парте. И за моими яблоньками будет ухаживать кто-то другой. А меня здесь будто и не было... яблоньки мои и то меня забудут... Ну, это-то ничего. Лишь бы ребята их любили!»

В таком чуть-чуть грустном раздумье он вышел из сада на школьный двор. И тут же несколько голосов окликнуло его:

— А, вот как раз и он... Кандыков! Костя! Иди сюда!

На крыльце беленого домика, в котором жила Марфа Петровна, сидели ученики — и младшие, и старшие, и средние. И сама Марфа Петровна в своем белом, надвинутом на глаза платке сидела на верхней ступеньке. Настенька, Ольга Наева из шестого, Таня Чубукова, Алеша Репейников, Мамин Сяиб — все кричали и звали Костю. И звонче всех кричала Чечек:

— Кенскин, иди сюда! Иди скорее! Бежи!

Тут же кто-то поправил ее:

— «Бежи!» Эх, ты, а еще в шестой класс перешла!

Произошел быстрый спор:

— Да, «бежи», потому что — «бежать».

— Нет, «беги», потому что — «бегать».

— Ну и пусть «бегать»! Вот еще! — И Чечек снова закричала: — Кенскин, бегай сюда!

Костя подошел, немножко удивленный:

— Что случилось? — и сразу посмотрел на Чечек: опять что-нибудь натворила?

Чечек поняла его взгляд и, мешая со смехом звонкие слова, зачастила:

— Нет, нет, Кенскин, я ничего! А ты у нас Петр Великий будешь! А Манжин будет арап! А Мая будет невеста! А я буду на пиру танцевать!

Костя растерялся:

— Я — Петр Великий? Манжин — арап?..

Все рассмеялись.

— Сядь, Кандыков,— улыбаясь, сказала Марфа Петровна.— Мы тебе сейчас всё расскажем.

Оказалось, что драмкружок, перед тем как ученики уйдут из школы на лето, решил поставить прощальный спектакль. Но задумали ставить пьесу и снова вспомнили, что пьес-то у них нет. Старые, заигранные ставить не хотелось. Решили что-нибудь инсценировать. Так, на Новый год они ставили спектакль по книге Гайдара «Тимур и его команда». В марте разыграли сказку про бабу и деда: как бабу поехала в поле пахать, а старик взялся за домашние дела. Этот спектакль был такой веселый, что смех в зале ни на минуту не умолкал. Неизвестно, как сами артисты терпели, не смеялись. Но что же поставить теперь?

— Скоро пушкинские дни,— сказала Марфа Петровна.— Может, что-нибудь у Пушкина взять?

Два вечера просидели за Пушкиным: читали вслух стихи, просматривали повести, сказки...

— Вот как нравится мне «Арап Петра Великого»! — сказала Настенька.— Я сегодня ночью прочитала. И прямо так нравится!

— А давайте возьмемся за «Арапа»! — предложила Марфа Петровна.— Петр Великий, ассамблеи, бояре...

Воображение вспыхнуло. Заговорили наперебой: что можно изобразить, как изобразить, кто кого будет играть. В тот же вечер сели писать пьесу. Оказалось, что сделать это нелегко: нужно разбить текст на действия, нужно переложить его на диалоги и монологи... Но труда не жалели — и через неделю пьеса была готова. Может, она получилась не так уж складно — но что за беда! Зато какие интересные слова можно было произносить со сцены и какие необыкновенные костюмы можно было придумать!..

Но когда взялись разучивать роли, Таня Чубукова испугалась:

— Что это мы! Что мы задумали! Да у нас же ничего нет: ни декораций, ни костюмов — ничего... И причесок нет! А откуда мы кринолины возьмем? Ведь тогда кринолины носили.

— Э, не беда! — возразила Марфа Петровна. Она в своем воображении уже видела этот спектакль, он уже пленил ее, в ее уме уже звучали раздумчивые реплики Ибрагима, и твердый го-

лос Петра, и неясные речи плачущей невесты. — Не беда! Сейчас ничего нет, а возьмемся да все сделаем — вот все и будет! Ну, посмотрим: что нам для декораций нужно? Так... Столы. Кресла... Можно на стулья подушки положить да накрыть чем-нибудь — вот и кресла! Кто возьмется?

— Ну, это просто! — отозвалась Ольга Наева. — Это хоть и я могу.

— Ладно, ты делай кресла. Теперь люстру надо. Люстру обязательно! Ну, кто сделает люстру?

Все молчали, поглядывая друг на друга.

— Ну, кто же?

— А мы же не знаем, какая бывает люстра... — робко сказала Мая.

— Ну что такое «не знаем»? Не знаете, так узнайте. Раз охотников нет, то сделай это ты, Настенька.

Настенька слабо замахала рукой, словно отгоняя пчелу:

— Нет, нет, Марфа Петровна, я не сумею. Я даже не знаю, как и взяться! Ведь я никогда ни одной люстры даже не видела!..

Но Марфа Петровна не слушала:

— Сделаешь, сделаешь. Отыщи картинку да посмотри, если не видела.

Настенька, совсем расстроенная, побежала в библиотеку. Она надеялась, что хоть в какой-нибудь книге найдет картинку с люстрой.

С этого вечера в домике Марфы Петровны словно улей гудел. Марфа Петровна привезла из Элекманара большой кусок марли. Девочки кроили марлю, красили, крахмалили, шили бальные платья для ассамблеи. Белые, розовые и голубые, воздушные, словно облака, куски материи пышно лежали на столах, топорщились на лавках, развевались среди комнаты — примеривались, притачивались. Наряжали невесту. Мая стояла среди комнаты, поеживаясь голыми плечами. Девочки из старших классов — Ольга Наева и Таня Чубукова — улаживали на ней белый лиф.

— Сборок побольше, сборок побольше! — говорила Марфа Петровна. — А вокруг шеи надо еще воланчик сделать. А вот сюда — цветок... Надюша, дай цветок покрасивее!

Надюша, румяная, чернокошая, сидела у окошка, словно Вес-

на, окруженная легким ворохом красных и белых цветов. Цветы возникали у нее в руках очень легко и быстро — густые розы, зубчатые гвоздики, пушистые астры. Красные и белые цветы, потому что у Надюши была только красная и белая бумага. Маленькие острые обрезки пестрели у нее под ногами.

— Розу, — спросила Надюша, — или астру?

Марфа Петровна приложила к жестким оборочкам красную розу, потом белую розу, потом красную гвоздику... Мая не смела шевелиться, но пзо всех сил косилась в зеркальце, висевшее на стене: как это будет?

— Нет, нет! — сказала Марфа Петровна. — Красные цветы невесте — грубо!

— Если бы розовые... — прошептала Эркелей.

— А что, нужны розовые? — подхватила Лида Королькова. — Давайте сюда, краска осталась!

— Цветы, цветы! А вот что с юбкой делать? — вдруг закричала Ольга Наева, которая прилаживала на Мае юбку. — Ведь она падает, виснет! Ну что это, разве это придворная дама стоит? Просто сосулька какая-то!

— Кринолины надо.

— Вот то-то и дело, что кринолины! А из чего?

— Я знаю из чего! В сарае старая бочка валяется — можно обручи снять.

— Может, лучше из проволоки сделать?

— А где проволока?

— В колхозе у кладовщика попросим! Что ему, жалко?

— Чечек, бежим за проволокой! — крикнула Катя Киргизова.

— Бежим!

На пороге девочки столкнулись с Настенькой.

— Марфа Петровна, нигде люстры нет. Ну что делать? А где есть, так нарисовано мелко — не разберешь ничего!

— А ты поищи, придумай, — ответила Марфа Петровна.

— Я не знаю!..

— Что это такое «не знаю»! — сказала Марфа Петровна. — Кто это тебя учил отступать? Добиваться надо, а не отступать! У Анатолия Яковлевича была?.. Нет? К нему сходи. К математику сходи. К Анне Михайловне...

Настенька ушла снова.

Вскоре прибежали Нюша Саруева и Алеша Репейников. Они принесли целую охапку мягого льна.

— Алешка, уходи! — взвизгнула Мая.

Но Алеша не слышал.

— Вот, дали! Сам Матвей Петрович дал! — закричал он. — А конюх начал ругаться, говорит: «Тут три пары вожжей выйдет». А мы говорим: «А кто старше — конюх или председатель? Нам же сам председатель Матвей Петрович велел!..»

— Давай, давай сюда! — обрадовалась Марфа Петровна, принимая лен. — Девочки, добывайте щипцы, сейчас парики будем завивать!.. А ты, Алеша, иди отсюда, беги в зал, там ребятам помоги — они декорации делают.

Вскоре явились Чечек и Катя Киргизова. Зазвенела проволока, с грохотом вкатились ржавые обручи с разбитой кадки. Пошли в дело старые материнские юбки, которые ворохом лежали в углу. К этим юбкам решили пришивать каркасы для кринолинов. Обручи негодились — они были слишком тяжелые, прорывали материю. А гнутая проволока оказалась хороша.

Первая надела платье с кринолином Мая, и все девочки закричали от восторга:

— Ой, красиво! Придворная дама! Как на картинке — аккуратно, аккуратно так!..

— А мне? А мне? — спрашивала Чечек, теребя Марфу Петровну. — А мне тоже такое платье будет? И с голыми руками? И прическа будет?

— Все будет! — отвечала Марфа Петровна. — Ты у нас самая первая дама будешь. Только побыстрее иголкой шевели!

Потом встал еще один вопрос: как одеть мальчиков? Этот вопрос обсуждали всем миром. Позвали ребят, стали вспоминать, у кого из них какие пиджаки есть, какие курточки.

— А шляпы?

— У нашего конюха шляпа есть, только обвислая...

— Ничего! Треуголку сделаем: поля загнем, белые оборки пришьем...

— У Григория Трофимыча есть шляпа!

— Не даст. Она у него новая.
— Даст! Он с ребятами сцену делает. Даст!
— А кафтан Петру?
— Может, отцов пиджак?
— Не выйдет. Надо, чтобы кафтан длинный был. А Косте отцов пиджак почти впору будет. Вот дылда вырос!

Бегали по деревне, выпрашивали пиджаки, курточки. Манжина одели очень хорошо: черная плисовая жакетка Костиной матери выглядела на нем, как отличный кафтан, только рукава подогнули, а белое жабо из марли казалось настоящим кружевом.

— Смотрите, какой Манжин красивый! Смотрите! Только надо его сажай чуть-чуть подмазать — он же арап!

— Не надо! А то скажут, что он ходил трубы чистить.

— Ну, тогда коричневой краской. А какой же арап, если белый?

— Ну, это-то хорошо! А вот Петру, Петру что надевать?.. Вот вырос ты, Кандыков,— ни во что не обрядишь!.. Ты вспомни: может, у вас какой дедушкин армяк заваялся?

— Армяк? Это царю-то? Ему мундир нужен!

— Стойте! Я знаю, где мундир взять,— сказал Ваня Петухов.— У Карповых. У дяди Павла Карпова мундирчик есть — новенький, офицерский!

— Кандыков, ступай проси! — сказала Марфа Петровна.

— Я... боюсь. Как-то неудобно.

— С Петуховым идите. Что тут неудобного? Раз нужно!

...Дядя Павел Карпов только что вернулся с пашни и сядил-ся обедать.

— Мой мундир? — удивился он.— Ну, не знаю...

— Что такое «не знаю»? — вмешалась его жена Степанида.— Вот еще что вздумали! Дай им новенький мундир!

— Да ведь мы аккуратно будем,— возражал Ваня,— мы его и не помнем даже! Все будет в порядке.

— Ничего не знаю! — отмахнулась тетка Степанида.— Что хотите говорите, а мундир не дам! Ишь ты, что вздумали — новенький мундир им на баловство дать! Разорвут, пятен насажают...

— Да тетя Степанида, ну мы тебе даем слово!..

— Никакого вашего слова мне не нужно! Куда мне его, ваше слово-то?

Костя, красный от конфуза, потянул Петухова за рукав:

— Пойдем. Раз не дают, значит, нельзя. Хватит тебе!..— и вышел из избы.

Ваня Петухов попытался еще уверить тетку Степаниду, что мундир им просто необходим, но ничто не помогало. И Ваня ни с чем последовал за Костей...

— Эх вы, простофили! — сказала Марфа Петровна. — Не сумели человека убедить! Федя Шумилин, ступай ты. Ты у нас побойчее. И кто-нибудь из девочек... Лида Королькова, беги!

Но и эти посланцы вернулись ни с чем — тетка Степанида их и слушать не стала.

— Придется самой идти, — вздохнула Марфа Петровна. — Вот ведь народ несознательный! Хоть бы подумали: ну, а в чем же царю Петру прийти на ассамблею? «Новенький!» Так ведь царю и нужен новенький!.. Лида, садись на мое место. Вот тебе иголка. А я пойду.

Марфа Петровна стряхнула с себя нитки и обрезки, повязалась получше своим белым платком и пошла.

Тетка Степанида даже ахнула, когда узнала, что и Марфа Петровна пришла за тем же самым — за самым лучшим Павловым мундиром, который хранился у нее в сундуке, пересыпанный нафталином.

— Да что это вы, однако, Марфа Петровна! — сказала она возмущенно. — То ребят посылаете, то сами... Что это вы так чужим добром распоряжаетесь?

— Ничего твоему добру не сделается, — ответила Марфа Петровна. — Ребятам не веришь — мне поверь: вернем в целости! Ну что же ты за человек — не можешь нас выручить! Ведь спектакль-то и ты придешь смотреть.

— Да могу и не смотреть, важность какая!

— Ну, как хочешь, — сказала Марфа Петровна, — а я от тебя не отступлюсь.

От Карповых она прошла прямо в правление. Председатель колхоза Матвей Петрович, суровый сероглазый человек, внимательно выслушал Марфу Петровну. И, хотя он торопился в поле, все-таки завернул с ней вместе к Карповым.

Павел Карпов, увидев в окно председателя, смутился:

— Гляди, Матвей Петрович с учительницей идет!.. Дай ты уж ей этот мундир! Ну что ты над ним трясешься?

— Ох, батюшки! — засуетилась тетка Степанида. — Прямо разбой какой-то!

— Ну что это вы какой народ чудной! — сказал, входя, Матвей Петрович. — Уж если Марфа Петровна ручается, неужели вам этого мало? Вы ей детей своих доверяете — не боитесь, а мундир доверить не можете!

— Да мне не жалко, пусть возьмут! — сказал Павел. — Это вот Степанида... И что она в этот мундир вцепилась!

Степанида сдалась. Она взяла ключ из шкафа и с ворчанием пошла отпирать сундук. И тут же, на глазах председателя, отряхивая от нафталина новый, с красными кантами мундир, отдала его Марфе Петровне:

— Только уж вы его поберегите! Уж пожалуйста! Ведь он у нас совсем новенький — ни одного пятнышка!

Марфа Петровна, веселая, спешила домой. Ну вот, теперь и царю Петру в люди показаться не стыдно!

ХРУСТАЛЬНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Смотреть «Арапа» собралась почти вся деревня. Даже с того берега, из-за Катуня, кое-кто прибыл. Это ничего, что день прошел на пашне, что руки еще не отдохнули от плуга, от ведер на поливке огородов, от топоров и пил на постройке колхозного двора. Школьные спектакли всегда были как праздники.

Костя целый день возил навоз. И руки у него дрожали от усталости, когда он за кулисами надевал свой роскошный, с загнутыми полями мундир.

— Что это — кур воровал, что ли? — засмеялась Ольга Наева, помогая ему одеваться. — Ишь как руки трясутся!

Костя улыбнулся:

— Не кур воровал, а навоз нарывал.

— Это кто тут про навоз толкует? — раздался строгий голос Марфы Петровны. — Про всякий навоз сейчас надо забыть.

Помни только: ты царь Петр! Слышишь? И мысли у тебя должны быть царские, и слова, и походка... И никакой навоз ты сегодня не нарывал, ты сегодня указы писал, боярам бороды брил, иноземных послов принимал. А потом задумал Ибрагима женить. Понял? Ну-ка, побравее, расправь плечи!.. Хорош!.. Дай-ка я тебе еще брови получше подчеркну.

Костя, стараясь ступать потверже и голову держать повыше, подошел к зеркалу... и слегка отшатнулся: незнакомый человек с черными бровями и колючими усами глянул на него.

— Глядите, глядите! — приглушая неудержимый смех, еле вымолвила Настенька. — Кандыков сам себя испугался!

— Тише! — сказала Марфа Петровна. — Даю звонок! Начинаем!

Прозвенел третий звонок, прошуршал занавес. Стало тихо-тихо, и среди тишины донесся со сцены голос Манжина-Арапа, произносившего свой задумчивый монолог...

Спектакль разворачивался пестро, красочно, неожиданно. По сцене ходили люди в диковинных нарядах, с серебряными пуговицами (серебро — бумажки от конфет), в коротких штанах, в завитых париках, посыпанных тальком. Звучали благородные речи «Ибрагима» и властный голос «Петра». Большая и совсем неведомая жизнь проходила перед глазами удивленных зрителей.

А когда открылась ассамблея, то в зале пронесся приглушенный возглас. Вдруг все захлопали. Что-то удивительное происходило на сцене, что-то веселое, пестрое!

Шкиперские жены в полосатых чулках, в красных юбках и белых чепцах сидели в углу и вязали чулки. Их мужья, неуклюжие голландцы, курили трубки и пили пиво.

И — чудо из чудес! — с потолка спускалась круглая люстра с белыми свечками, вся перевитая гирляндами из мелких цветов.

Одна за другой вышли в плавном танце под музыку (баян и гитара) придворные дамы и кавалеры. Прически, локоны, украшенные цветами, кринолины, сверкающие галуны (елочная золотая и серебряная канитель)...

— Это кто же? — шептались в зале. — Вот та, во всем голубом? Королькова? Нет!.. А невеста, невеста! В белых цветах!

Неужели Майка Вилисова?.. А Чечек-то, Чечек! Посмотрите — так вся и сверкает!..

Чечек танцевала, еле касаясь пола. Розовые оборки развевались, на голове покачивались красные цветы. Но что-то неверное было в ее танце: она все сбивалась в угол, подальше от «Петра», который сидел за столиком.

— На середину!.. На середину!..— шипела из-за кулис Марфа Петровна.— Не жмись в угол!..

Чечек услышала этот голос. Она весело вышла на середину, но, встретив пристальный и гневный взгляд «Петра», снова сбилась и ушла в танце подальше от него — на другой конец сцены. А «Петр», позабыв, что он должен разговаривать с гостями, сдвинув брови, следил за Чечек: «Откуда у нее ожерелье? Откуда? Неужели...»

Чечек кончила танец, постояла у стены, закрывшись бумажным веером, и вдруг тихонько юркнула за кулисы. «Петр» встал и, крупно шагая через всю сцену, устремился за ней. Произошло замешательство. Все переглядывались: «Куда же он?»

Все спас «Ибрагим».

— Ваше величество! — сказал он, взяв «Петра» под руку, и незаметно ткнул его кулаком в спину.— Куда же вы? Мы еще не кончили наш приятный разговор!

Костя еле доиграл сцену. Он улыбался «Ибрагиму», шутил с его «невестой», пил пиво, а сам нетерпеливо поглядывал: не вернулась ли Чечек?

И, как только закрылся занавес, «Петр» растолкал своих гостей и бросился за кулисы.

Чечек и здесь не было. Костя, гулко топая большими сапогами, пробежал в класс. Чечек стояла у окна, возле высокого аспарагуса, и смотрела куда-то во тьму. Одинокaя лампа освещала ее — маленькую княжну в розовом кринолине, в цветах и оборках, с бриллиантовым ожерельем на шее. Услышав Костины шаги, она испуганно обернулась.

— Это что у тебя за ожерелье? А ну-ка, покажи! — сказал Костя, сверкая глазами из-под черных намазанных бровей.

Чечек обеими руками закрыла ожерелье:

— А тебе какое дело? Вот ипо!

— Ты где его взяла?



Анатолий Яковлевич еле сдержал смех, взглянув на «его царское величество»...

— А тебе что? Может, мне бабушка дала!

— Бабушка? Не выдумывай! Отними руки!

— Да, бабушка!.. А вот не отниму! Не отниму руки!..

Костя решительно схватил руки Чечек и отвел от ее шеи. Чечек рванулась — большой горшок с аспарагусом с грохотом упал на пол, и алмазы, сразу потускневшие от теплоты рук, посыпались под ноги, застревая в крахмальных оборках...

— Ой, весь горшок в куски! — всплеснула руками Чечек.

Но Косте было не до горшка. Он поднял одно из алмазных зерен — маленькую, тающую в руках градинку.

— Так и есть — мои кристаллы схватила! Эх, была бы ты парень... — Костя сжал кулак.

Чечек, шурша оборками, отбежала к двери:

— О, уж кристаллы твои! Чуть-чуть поблестели и все растаяли! Смотри, смотри — ты их сам все растопочил!

Дверь тихонько приотворилась, и Чечек сразу замолкла: в класс вошел Анатолий Яковлевич.

— Это что тут происходит?

Костя и Чечек хмуро молчали. Анатолий Яковлевич ело сдержал смех, взглянув на «его царское величество», у которого одна бровь размазалась по щеке, парик и шляпа сдвинулись на ухо, а черные усы торчали свирепо, как у тигра.

— Что здесь происходит? — повторил он строго. — Кричат... Цветок свалили... Такой цветок был хороший!

Чечек испуганно посмотрела на Костю, потом на директора.

— Это не я! — быстро сказала она. — Это оп!

Костя посмотрел на нее, и в глазах его сверкнула такая ярость, что Чечек сразу испугалась, как бы он не забыл, что она не парень. Анатолия Яковлевича душил смех, он больше не мог сдерживаться при виде этого разъяренного «Петра» и, едва вымолвив: «Уберите всё!» — выхватил носовой платок и, уткнувшись в него, быстро вышел из класса.

Костя снял мундир, бережно положил его на парту и стал собирать черепки.

— Давай я тебе помогу, а? — сказала Чечек.

Костя молчал. Чечек подошла поближе, присела на корточки:

— Кенскин, давай я землю сгребу... Не пачкай, не пачкай руки, я сама!

— Не надо,— ответил Костя не глядя.

Чечек погрузилась, притихла.

За дверью раздались приглушенные голоса, отрывистые, тревожные:

— Не видали Кандыкова?.. Костя? Кандыков!.. Где он? Ему сейчас на сцену! Последнее действие, а его нет!

Дверь распахнулась.

— Он здесь! — крикнул Репейников. — Вот он!

— Иду, иду,— сказал Костя, поспешно отряхивая руки и хватая мундир.

Репейников скрылся, крича кому-то:

— Он идет!

— Кенскин...— тонко и жалобно позвала Чечек,— уж ты и рассердился!

— Да, рассердился,— ответил Костя, не оборачиваясь.

— Из-за какого-то цветка!

— Не из-за цветка, а из-за того, что плохо поступаешь.

Чечек вышла вслед за ним из класса:

— Кенскин, ведь я же знаешь как Анатолия Яковлича боюсь!..

— Значит, свою вину на других надо валить?

— А если бы ты меня за руки не хватал, то я бы и цветок не уронила!

— А если бы ты мои кристаллы не взяла, я бы тебя за руки не хватал...

— Кенскин, Кенскин! Значит, ты теперь со мной и дружить не будешь?

— Нет,— сказал Костя,— таких друзей мне не надо! — и скрылся за кулисами.

Чечек больше не могла выходить на сцену. Ничего не случится, если на балу не будет одной маленькой княжны... Она сняла с себя цветы и кринолин, положила их на ступеньки, ведущие за кулисы, и тихонько ушла из школы.

ХИУС ВЕРНУЛСЯ

Тихо звенит в тайге ручей Кологош. На берегу ручья стоит хижина, маленькая, но крепко сбитая из крупных лиственничных бревен. Здесь, на школьной заимке, живет с весны школьный сторож Романыч, пасет на привольных кормах школьных коров и лошадей. В этот день Романыч, напевая однообразную песню, которую тут же сочинял, подгонял стадо к хижине на полуденный отдых. В эти часы он варил на костре обед, а коровы дремали в густом кустарнике около загона.

Выйдя из леса на открытый склон, Романыч вдруг оборвал свою песню: около его хижины дымился костер!

«Кто же пришел? Охотники, что ли, какие? Или Анатолий Яковлич приехал?»

Костер тихонько дымился, угасал. Над тлеющими углями на камешках стоял чугун.

Недалеко от хижины, на отлогом склоне, какие-то люди затевали постройку. Груды лиственничных неотесанных досок лежали под ивами. Гудела пила, стучал топор, и каждый удар, подхваченный эхом, много раз повторялся в горах.

Приглядевшись, Романыч узнал своих школьников: вот Манжин, вот Кандыков, вот Шумилин, Ваня Петухов, Андрей... А вот и Алеша Репейников суетится, бегают, таскает колья, покрикивает.

Романыч подошел поближе:

— Это что строите, ребята?

— Загон для кроликов,— живо ответил Репейников.— Будут прямо на траве жить! А то что же в клетках? В клетках тесно, темно, какая же им жизнь? А тут им будет весело!

— Значит, это вы для кроличьего веселья строите?

— Так им тоже хочется получше жить!

— Не для того, чтобы им получше жить,— возразил Ваня Петухов,— а для того, чтобы на нас колхозники больше не жаловались! Алешка своих кролей так распустил, что никакого сладу не стало. Вчерашнюю ночь штук двадцать в колхозные огороды нагрянули, так целый скандал был! Судить нас хотели.

Романыч покачал головой:

— Ой, плохо! А ваш кроликовод где тогда был?

Алеша молчал. За него ответил Шумилин, улыбаясь и чуть-чуть подмигивая:

— Где был? На сцене. Шкипера голландского изображал, с царем Петром разговаривал!..

— Значит, в тайгу их задумали? — сказал Романыч. — Хорошо. Совсем хорошо! Весело будет... Только вы поплотнее доски ставьте! Дай-ка, Шумилин, топор, я покажу, как надо городить получше...

Анатолий Яковлевич давно уже подумывал о том, чтобы выселить из школы кроличье хозяйство — так эти кролики размножились и так трудно стало удерживать их в тесных клетках! Он уже и горбылей купил для загона, но все не хватало времени взяться за это дело. В тот вечер, когда вся школа была на спектакле, кролики опять вырвались из клеток, и утром по всей деревне слышались жалобы, а за Анатолием Яковлевичем прислали из правления. Директор обязался уплатить штраф, послал ребят переловить кроликов и тут же отправил на заимку подводы с досками.

Костя так и не видел Чечек, после того как ушел от нее за кулисы. И не хотел видеть. У всякого человека есть терпение, и у всякого человека оно может лопнуть. Так вот, у Кости терпение лопнуло. Хватит с него этой девчонки! Скоро приедет Яж-най — может, завтра, может, послезавтра, — вот и пусть забирает ее домой. А с него хватит!

Но совсем не думать о Чечек он не мог. И, заколачивая в землю горбыль, он про себя злился, и возмущался, и спорил сам с собой: «Вот, однако, а? Я как эти кристаллы выращивал! Как долго! А она не спросила ничего — схватила, да и ладно! И всё испортила!»

И тут же какой-то добрый голос в глубине души возражал ему: «Да ведь девчонка же! Захотелось нарядиться, покрасоваться. Ну, что с ними делать! Они все такие! Она ведь не знала, что ожерелье сразу растает!..»

«Ну, пусть не знала! — спорил Костя. — А почему сказала, что цветок я уронил? Это нечестно! Я бы все равно не отказался, я бы все равно Анатолию Яковлевичу сказал, что это я, но она разве должна была на меня все сваливать?!»

И добрый голос опять возражал: «Ну, оставь ты это, Костя!

Не сердись па нее... Ведь ей и самой теперь не сладко! Ведь ты же знаешь все-таки, что она... ну, что она у вас как своя и вы ей как свои... Ну, посердился, да и хватит!»

Изгородь быстро росла. Ребята собрались сильные, ловкие, с работой знакомые. На зеленом склоне тесной чередой становились розовато-оранжевые листовенные горбыли...

За ужином Романыч сказал, задумчиво разжигая от костра трубку:

— А все-таки вы, ребята, совсем удивительные люди! Кому строите? Не себе. Для кого стараетесь? Не для себя. Вы совсем забыли, что уже больше не ученики здесь. И забыли, что школа теперь не ваша. А почему так трудитесь?

Ребята переглянулись, засмеялись и даже смутились как-то и не знали, что ответить.

— Потому, что мы нашу школу любим! — сказал наконец Шумилин. — А что, теперь каждый шаг считать? Авось не развалимся!

— Да мы об этом даже и не думаем, — пожал плечами Петухов.

Костя усмехнулся:

— Это какой-то странный вопрос!.. Даже как и ответить — не знаем...

— А ответить так можно, — по-прежнему задумчиво сказал Романыч, — это все потому, что новые люди на землю пришли. Новые люди, вот что! И на таких новых людей старому человеку смотреть удивительно. Удивительно смотреть... и хорошо!

Романыч докурил свою трубку и взял ружье:

— Пойду волков попугаю. А вы ложитесь, там у меня в избушке нары широкие и сена много. Всегда думаю: а вдруг какой человек ночевать придет!

Тихо потрескивал костер. Синяя ночь стояла кругом...

— Чудно это сказал Романыч, — усмехнулся Костя. — Почему это мы не для себя стараемся? Как же не для себя? Я, однако, из Алтайского края уезжать никуда не собираюсь. Выучусь — и вернусь. Сады буду сажать. Раз для своей Родины, значит, для себя... А как же еще?

— А я? — сказал Шумилин. — А я разве куда-нибудь собираюсь? Да тоже никуда дальше Алтая не денусь. А что, тут

делать нечего, что ли?.. Вот буду электротехником, буду на гидростанции работать. Сейчас, глядите, как у нас начали колхозы гидростанции строить — в Камлаке строят, в колхозе «Большевик» уже построили. В «Красной заре» исследовательские работы ведут, место для плотины подыскивают... И так по всему краю. Ну что же, разве здесь электротехники не нужны, что ли?

— Ой, ребята, а мне что думается!..— вздохнул Манжин.— Даже сказать не могу.

— Ну что, что? — заинтересовались ребята.— Говори, чего ты!..

— Мне вот думается: стать бы таким ученым, археологом... чтобы курганы копать. И потом, на горах у нас разные надписи есть. И рисунки какие-то... Очень древние всякие надписи и рисунки — вот бы их разбирать научиться! Много бы узнать можно про наш Алтай...

— Да, правда,— сказал Костя,— это интересно, это очень даже интересно! Я тоже очень люблю историю... А вот, ребята, я в одной книге читал, что была когда-то в старину у алтайцев междоусобная война. И один начальник, Чаган-Нараттан, убежал с поля боя и спрятался в пещере. Его потом нашли... Но я не про него хотел. Я про эту пещеру. Она где-то на горе Тарлык. Говорят, в этой пещере всякие кости находили, наверно — жертвенных животных. Однако вот что интересно: стены в этой пещере потеют. Если эту сырость снять, она сразу застывает, темно-серая такая и похожа на селитру. И будто бы в старину люди варили этот порошок в воде с углем и серой и делали порох... Вот интересно бы в ту пещеру сходить! И ведь недалеко, где-то возле Узнези...

— А что,— подхватил Шумилин,— соберемся да сходим!

— Давайте! — согласился Манжин.— И еще на курган съездим — говорят, большой курган сейчас копать начали...

— И я поеду! — послышался голос Репейникова, жадно слушавшего разговор старших товарищей.

— Петухов, а ты что задумался? — легонько толкнув в бок Ваню, сказал Шумилин.— Ты что в огонь уставился, что там увидел?

— У него свои думы,— возразил Костя и подмигнул ребя-

там.— Вот выучится, станет учителем и поедет куда-нибудь в большие города...

— Почему это? — вскинулся Ваня.— А что, в больших городах без меня учителей не хватает? Или у нас на Алтае учителя не нужны? Ого! Еще как нужны-то!

— Ребята,— сказал долго молчавший Андрей Колосков,— помните, как Анатолий Яковлевич еще давно как-то сказал: «Зашумит наш Алтай — в Москве будет слышно!»? А что? Ведь уже и начинает шуметь! На реках уже турбины вертятся... Скоро и горы откроются, руда пойдет, железная дорога ляжет.

— И сады зацветут,— добавил Костя,— в каждом колхозе — сад! Я думаю, наши альпинисты братья Троновы тоже много помогут садоводам...

— Вот герои! — покачал головой Шумилин.— Подумайте, ребята, ведь каждый год они на Белуху взбираются, на Катунские, на Чуйские белки... Ведь это же неприступные высоты — ледники, снег, мороз... Сколько же сил положить надо на это дело!

— А что они — рекорды берут? — спросил Репейников.— Кто выше влезет, да?

Ребята рассмеялись.

— Ты, однако, Алешка, чужак! — сказал Костя.— Видно, газет совсем не читаешь. Ну, а на что советским людям такие пустые рекорды? Ведь братья Троновы не просто альпинисты, они ученые, изучают ледники, изучают наш алтайский климат... Вот тоже интересная работа — климат изучать, а потом управлять им, а? И как же много у нас всяких интересных работ!

Подняв голову, Костя поглядел на звездное небо, на черные конусы гор, мирно спящих кругом, и вздохнул:

— Нет, ребята, все-таки лучше нашей стороны, наверно, нет на свете!..

Костер медленно догорал. Шорохи и шелесты бродили в тихой долине. Дрёма начинала туманить глаза... Федя Шумилин сладко зевнул:

— Пойдемте спать, ребята!

Костя, наработавшись за день, с наслаждением растянулся на свежем сене. Ребята еще попробовали разговаривать, но умолкали один за другим — сон прерывал их на полуслове.

Крепкие запахи таежных трав забирались в открытую дверь хижин, где-то недалеко фыркали лошади, и огромная, нерушимая тишина стояла над горами...

Под утро Косте приснился сон: будто вошел в хижину странный седой старик и начал дуть Косте в лицо. Костя отворачивался, а старик смеялся и опять дул на него и трогал его за уши холодными руками.

«Уходи, уходи! — ежился Костя. — Я знаю, кто ты: ты Хиус!...»

«Да, я Хиус, Хиус, Хиус!» — завыл старик, и Косте показалось, что снег сыплется с его белой бороды и летит по всей хижине...

Костя поежился и проснулся. Еще не открывая глаз, он почувствовал, что озяб.

«Вот еще — на дворе июнь месяц, а я мерзну хуже старого!» — подумал он.

И вдруг сердце его заныло, словно почуяв недоброе: «Хиус, Хиус...»

Костя откинул тужурку, которой прикрывлся на ночь, и вскочил.

Ясный рассвет сиял над тайгой. А весь склон, вся трава и деревья были подернуты белым инеем. Злой хиус не снился Косте, нет, он носился здесь и леденил долину своим дыханием.

— Сад! — криком вырвалось у Кости. — Яблоньки!

— Ты что? — спросил Манжин, приподняв взлохмаченную голову. — Что там?

— Встань, погляди! — ответил Костя.

Манжин вскочил.

— О-о! — протянул он. — Вот так ударило!

Костя торопливо натягивал тужурку. Манжин удивленно смотрел на него:

— Ты куда?

— Домой, в школу.

— Думаешь... сад?

— А кто знает...

— Там пониже. Туда не дойдет!

— Э, не дойдет! Как знать — может, и дойдет!

Манжин тоже принялся одеваться:

— А ребят будить?

— Давай побудим.

Ваня Петухов, как только услышал, что в долине мороз, вскочил не раздумывая. Но остальных ребят трудно было добудиться. Шумилин все повторял, что он на охоту не пойдет, что у него еще лыжи не готовы. Андрей Колосков пробурчал, что нельзя уходить, пока изгородь не достроена. А другие говорили, плотнее закутываясь:

— Это только здесь, наверху, мороз, а внизу мороза нет. Зря проходим... — и снова засыпали.

Костя, Манжин и Ваня Петухов одни ушли из заимки. Тревога гнала их по хрустящей дороге, в сердце сжималось от страха и жалости: «Неужели и листва на деревьях померзнет? Неужели и по хлебам ударило?..»

Тринадцать километров от заимки до школы пробежали часа за два. Спускаясь все ниже и ниже, к берегам Катуня, ребята с надеждой поглядывали по сторонам: может, вот за той горой уже все по-другому — ни мороза, ни инея? Может, если пройти ту долину, там уже спокойно зеленеет трава и цветы раскрываются, пробужденные солнцем?

Но километр за километром пробегали они по узким долинам, через некрутые горы и перевалы — и везде видели следы ночного мороза. Вот почернели и поникли нежные ветлы у ручья, вот еще лежит под лиственницами, под выступом скалы серебряный клочок инея, вот этот иней каплет холодными каплями с густых веток сосны...

На сердце становилось все тяжелее. Утром, выходя с заимки, Костя надеялся, что ребята правы, что мороз ударил только здесь, наверху, но теперь надежды становилось все меньше и меньше.

— Да нет, не может быть! — бормотал Ваня Петухов. — Кандыков, ты что думаешь?

— Я тоже думаю, что не может быть!..

А Манжин молчал. Он от своих — отца и деда — знал, что в Горном Алтае может быть всё: и среди зимы можно остаться без снега, и в летние дни может выпасть снег...

Спустившись к Гремучему — оттуда были видны и деревня и школа, — ребята приумолкли. Больше сомневаться было

нельзя: беда их не миновала. Видно было, как в колхозных огородах толпился народ, слышались тревожные голоса. Густой защитный дым от горящего навоза висел над долиной.

— Картошка померзла! — догадался Петухов. — Ребята, я сейчас... Я только домой сбегая, посмотрю, как там у нас.

Костя молча кивнул — он бежал в школьный сад. Манжин следовал за ним. Над садом тоже тянулись белые волокна дыма. Слабая надежда как искорка тлела у Кости в душе: а может, уберегли, отстояли?..

В саду двигался народ — школьники, учителя. Вот Марфа Петровна стоит, нагнувшись над яблонькой. Вот прошел Анатолий Яковлевич... В углу сада ребятишки из пятого старательно разворачивают горящую кучу старой соломы, чтобы гуще клубился дым. Много народу ходило и суетилось в саду, но ни веселых криков, ни смеха, ни возгласов... Это молчание красноречивее всего говорило о том, что в саду беда.

«Вот так и отец говорил!» — подумал Костя.

Первой увидела Костю Эркелей.

— Гляди — почернели! — сказала она, беспомощно глядя на свои увядшие яблоньки. — Я их всё грею — может, оживут? — И она приложила к маленькой яблоневой вершинке свои теплые ладони и стала дышать на обвисшие листочки.

— Костя, Костя, иди сюда! — закричала Мая Вилисова, увидев его. — Погляди, что сделалось! — И вдруг заплакала, слезы безудержно катились по ее щекам. — Все утро греем их, дышим на них — и ничего... и ничего не помогает!

Костя подошел к Анатолию Яковлевичу.

— Ты что прибежал? — удивился директор.

Его узкие черные глаза сегодня совсем не смеялись, и от этого лицо казалось немножко чужим.

«Когда экзамены были, он так же глядел», — подумал Костя и сказал:

— Я увидел, что мороз, вот и побежали мы. Думали — успеем... поможем как-нибудь.

— Да, — задумчиво произнес Анатолий Яковлевич, — восемнадцатое июня... Кто же мог подумать, что лето еще не наступило!..

Подошел Манжин:

— Анатолий Яковлич, а что, все погибли или нет?

— Да нет...— ответил директор,— вот этот край только. Открыто здесь! А там, под горой, остались: Чейнеш-Кая заслонила. Пойдемте посмотрим.

Все трое прошли по рядкам саженцев. Подошла Марфа Петровна. Понемножку собрались девочки, младшие ребяташки. Здесь на яблоньках листья были живые, только чуть повисли и опустились.

— Эти, пожалуй, будут жить, а? Что скажете, ребята?

Костя смутился: Анатолий Яковлевич разговаривает с ними, как со взрослыми, советуется. Они уже не школьники!

— По-моему, будут жить, Анатолий Яковлевич! — ответил Костя.

— Не все будут,— покачав головой, сказал Манжин.

Марфа Петровна ниже надвинула белый платок. И так долго стояли они над увядшими яблоньками, и каждый думал свои думы. А думы были у всех одни: «Всё зря: труды, радость, надежды...» И еще думали так: «Вот что будут говорить в деревне? Скажут: «Мы вас предупреждали, чтобы напрасно трудов не тратили... Не послушались! Доказать хотели! Ну вот, доказали».

— Значит, так? — сказала Марфа Петровна.— Значит, сада у нас не будет?

— Значит, не будет,— грустно подтвердила Ольга Наева, которая стояла тут, подперев рукой подбородок.

— Такая наша сторона,— добавил Манжин,— садов любить не может.

Анатолий Яковлевич молчал, сдвинув черные брови, не спуская с яблонек своих заугрюмевших глаз. И все ждали, что он скажет. Анатолий Яковлевич сказал:

— Ну что же, ничего сразу не делается. Видно, надо нам набраться мужества да и взяться за это дело снова!

Костя, посмотрев на всех открытым, твердым взглядом, вдруг достал из нагрудного кармана свой комсомольский билет и раскрыл его. Там, между крышкой и оберткой, лежал атласный розоватый лепесток, тонкий, полупрозрачный.

— Вот Манжин говорит: такая наша сторона! Однако это несправда. Наша сторона не такая! — сказал он.

И было что-то такое бодрое, такое уверенное в его голосе, что все обернулись к нему.

— Нет, наша сторона не такая! — повторил он. — Наша сторона может любить сады. И там, где люди сами по-настоящему любят сады, и наша сторона их любит тоже. Вот какие цветы там цветут! Видите? Разве вот этот цветок я сам выдумал? Я его в горно-алтайском саду взял.

— Горно-Алтайск намного ниже, — ответил Манжин, — там может...

— Горно-Алтайск ниже, а Телецкое озеро выше. А разве вы не слышали, что даже на Телецком озере и то сад есть?

— Дай руку, Кандыков, — сказал Анатолий Яковлевич. — Ты молодец, парень! Так ты говоришь: будут у нас сады цвести?

— Будут! — ответил Костя и, краснея, пожал широкую руку директора.

Знакомое выражение появилось на лице Анатолия Яковлевича. Узкие глаза засветились, заулыбались.

— Сами виноваты — проворонили! — сказал он. — Надо было настороже быть. Ведь говорили люди, что плохой ветер дует. Надо бы подежурить. А мы доверились: июнь наступил. Вот тебе и июнь! Ну, что делать, на ошибках учимся. Будем крепче помнить, что от алтайского климата всего ожидать можно.

— А что, Анатолий Яковлевич, может, и правда снова посадим? — приободрившись, сказала Марфа Петровна.

— Да, и посадим, — ответил Анатолий Яковлевич, — если еще у нас юннаты на это дело рукой не махнули.

— Мы не махнули! Нет, не махнули! — со всех сторон закричали школьники. — Давайте снова посадим! Мы теперь умеем!

— Разрешите, я с ребятами в Горно-Алтайск съезжу, — робко попросила Анна Михайловна, которая до сих пор молча стояла в сторонке. — Вам ведь, Анатолий Яковлевич, сейчас некогда.

— Да, вы правы, — озабоченно сдвинув брови, согласился Анатолий Яковлевич, — не время мне сейчас уезжать. Не время! В «Красной заре» еще сев не закончили — туда надо съездить. Может, им помощь придется организовать... Да вот теперь с морозом... Неизвестно, что на огородах останется... надо партийцев собрать, с народом посоветоваться. Как тут уехать?

— Да ведь и я могу съездить,— заявила Марфа Петровна.— Велика ли трудность!

— Разрешите, я поеду! — закричали со всех сторон ребята.

— Я тоже поеду! Я на машине ездить не боюсь!

— А я уже ездил, до самого Чемала ездил!

Только сейчас Костя заметил, что Чечек в саду не было. Он подошел к Лиде Корольковой:

— А где же Чечек?

— Дома сидит,— ответила Лида. И тут же лицо ее приняло обиженное выражение.

— Почему же дома? — удивился Костя.— Что ж, она не знает, что тут случилось?

— Ну да, не знает! Как бы не так! Все кричат: «Сад померз!», а она говорит: «Никакого там сада нет. Одни прутьики». И говорит: «Никаких таких яблонь с белыми цветами на свете не бывает, и никакие яблоки на дереве не растут, а на дереве растут только шишки да волчьи ягоды. Вот и всё». И говорит: «Ну и пусть эти прутьики мерзнут — вот велика беда! В тайге таких прутьиков сколько хочешь растет!»

Костя улучил минутку, когда Марфа Петровна отошла в сторону поглядеть яблоньку, которая ей показалась живой, и сказал ей:

— Марфа Петровна, я с вами в Горно-Алтайск поехать не смогу — уйду в Кологаш. Но вот о чем я вас попрошу: возьмите вы, пожалуйста, с собой этого бурундука... ну, Чечек эту, Чечек Торбогошеву! Пусть она своими глазами на живые яблони посмотрит — они сейчас цветут там... Если она поверит, то хорошая юннатка будет. Она на работу ловкая. И потом, она ведь из тайги. Там люди никогда яблонь не видали. Пускай она будет тем человеком, который в аил принесет яблоко!

— Я тебя понимаю, Костя, — ответила Марфа Петровна.— Жалко... ах жалко мне, дружок, что мы тебя в классе больше не увидим! — И подумала: «Ах, дети, дети, как они быстро растут! Только сроднишься, только привяжешься, а они уже и уходят из твоих рук!»

Марфа Петровна вытерла глаза. Костя растроганно посмотрел на нее. Он хотел сказать, что ведь и ему нелегко расставаться и со школой и с учителями, что ведь и он любит Марфу Пет-

ровну, что и ему грустно до смерти... Но он не умел все это высказать своей старой учительнице. А старой учительнице ничего и не надо было говорить — она это и без его слов знала.

НА КРОЛИЧЬЕЙ ЗАИМКЕ

В Кологош — присматривать за кроликами — Анатолий Яковлевич решил послать Костю. Он долго думал над этим, колебался: не хотелось ему отсылать Кандыкова, когда такая беда случилась с их садом. Кандыков очень был нужен здесь, да и сам Костя с тяжелой душой оставлял сад.

— Как же я поеду, Анатолий Яковлевич? Недоделано, недосажено. И арык бы начинать надо.

Это так. Но кого послать в тайгу? Интернатские уезжают и уходят в свои дальние деревни — по домам. Можно бы послать Манжина, но Манжин упрям, не поедет. Он уже сказал, что никуда не пойдет, пока сад не зазеленеет. Петухова? Он смелый и работящий, но беспечный человек. Он кроликов не особенно жалует, они у него голодными сидят. И еще несколько имен прикинул в уме Анатолий Яковлевич, а остановился все-таки на Косте.

«Да, в тайгу не всякого пошлешь. А Кандыков — парень твердый, сообразительный, честный. Сделает все, что надо. И животных любит, и с ружьем умеет обращаться. Возьмет свою собаку. Нет, кроме Кандыкова, никого не пошлю — тут уж я буду спокоен».

Анатолий Яковлевич повидался с Костиным отцом, договорился, чтобы он отпустил Костю. Отец сам вычистил, проверил и зарядил Косте свое охотничье ружье. Рано утром на школьном дворе снарядили возок — все кроличьи клетки поставили друг на друга и связали веревками. С одной стороны в сено уложили ружье, с другой — хорошо отточенную косу-литовку, а в середину — мешок картошки, сумку с крупой, хлебом и маслом и еще чайник и котелок.

Больше всех хлопотал и суетился около возка Алеша Репейников, хотя и был удручен. Услышав, что в тайгу едет Костя, а не он, Алеша побежал к Анатолию Яковлевичу:

— Почему это Кандыков? А почему же не я, Анатолий Яковлич! Я бы и сам мог! А чо?

— А «чо»? Такого слова в русском языке нет.

— Ну, Анатолий Яковлич, я не буду «чокать», ладно... Так ведь это и несправедливо!..

У Алеши на глаза навернулись мимолетные слезы, и он с досадой отвернулся.

Анатолию Яковлевичу стало жалко его. Не посылать же двенадцатилетнего парнишку одного в тайгу!

— Нельзя, Алеша,— мягко сказал он. — Там волки ходят, а ты еще и стрелять не умеешь.

— Умею!

— И кролики тебя не слушаются, разбегаются. Ты их слишком жалеешь. Кто тебя знает — возьмешь да и выпустишь их погулять на лужок. Или вырвутся у тебя... Ну, и что ты так спешишь? Подрасти немножко!

— А уж как будто и не справлюсь! Я же день и ночь буду за ними глядеть!

Но просьбы не помогли: в тайгу все-таки поехал Костя.

Костю отправились провожать товарищи — Вася Манжип и Ваня Петухов. Ребята все трое пошли пешком. А на повозку с кроличьими ящиками уселась Настенька и взяла в руки вожжи. Она хотела посмотреть, как будет жить Костя в избушке: есть ли там постель, не надо ли добавить туда какой посуды, не повесить ли занавески. А то у этих ребят все будет кое-как!

— Алешка, так ты прибегай кроликов проведать! — сказал Костя Репейникову.

Алеша ответил холодно:

— Чего их проведывать? Авось не заскучают.

— Ну, а хочешь, поедем вместе, поживешь там?

У Алеши дрогнуло сердце, но обида была слишком глубока.

— Нет, — ответил он, — чего уж мне... Какой от меня толк, ты и один справишься! — И, последний раз окинув взглядом кроличьи мордочки, Алеша сунул руки в карманы и ушел со школьного двора.

Желтый Кобас первым выбежал за ворота, когда лошадь тронулась в путь.

— Счастливо! — сказал Анатолий Яковлевич. — Поезжайте.

А я пойду другую партию собирать — в Горно-Алтайск. Эх, дела наши!.. — И, чуть-чуть усмехнувшись, махнул рукой. — Горесадоводы!

...Дорога шла хоть и отлого, но все вверх, все наизволок. Серый школьный меринок Соколик тащил повозку втяг, а она то проваливалась в ухабы, то подпрыгивала на камнях или на скрюченных древесных корнях. Настенька то и дело ахала от неожиданных встрясок.

А три товарища шли сзади и вели всё один и тот же разговор — о саде, о яблоньках...

— Ребята, что мне показалось... — сказал Петухов. — Я сегодня еще раз посмотрел: не все погибли. Зелененькие сердцевинки есть!

— А вы, ребята, заметили? — подхватил Манжин. — Некоторые даже листики приподняли!

— Может, какие и оживут, — неохотно ответил Костя, — но разве в этом дело? Ведь они же мичуринские — как же они могли замерзнуть? Ни одна яблонька не должна была бы замерзнуть, а они вон что... Больше половины погибло. Какая же тогда разница — мичуринские они или не мичуринские, если все-таки замерзнуть могут?

Тихие горы вставали по сторонам — и обнаженные, и укрытые зеленью, и заросшие тайгой. Они словно менялись местами, выглядывая друг из-за друга — островерхие, округлые, отвесные. Придорожные травы становились все гуще и выше. Среди дудников и ромашек замелькали красные головки мытника. Нежно-лимонные лилии засветились на склонах, легкими стайками взбегая куда-то на неизвестную высоту.

Часа через два повозка поднялась на перевал. А потом лошадь приободрилась, зашагала легче, быстрее — дорога пошла под уклон.

— Слышите? — сказал Манжин. — Вот Кологош журчит!

Соколик рвался вперед, Настенька еле сдерживала его:

— На гору — хоть плачь, а с горы — лихач? Ишь ты какой! Учись ровно ходить — и в гору и под гору!

Ребята тоже прибавили шаг.

— Вот и хибара!

— Вот и речка!

— А вон и загон наш стоит!

Настенька остановила лошадь около самой избушки, соскочила с повозки и тут же принялась распрягать Соколика. Она похлопывала его по гладкой спине, приглаживала темную жесткую гриву и разговаривала, как с человеком:

— Ну что, запарился? Ну ничего, сейчас отдохнешь. Что же делать, братец, на то ты и лошадь, чтобы возить возы... Ничего, братец, не поделаешь...

И Соколик вздыхал, словно соглашаясь: да, что же тут поделаешь! Но Настенька, вытирая свежей травой его вспотевшие бока, возражала против этих вздохов:

— Что вздыхаешь? Думаешь — ты один работаешь? Ведь и мы работаем тоже. Да вот не вздыхаем же! А ты поработал да и пойдешь сейчас на всю ночь гулять по травам — плохо ли? Ну, ступай! — и звонко шлепнула его ладонью.

Ребята тем временем таскали кроличьи клетки к загону. Изгородь была высокая, почти в рост человека. Толстые горбыли, крепко вбитые в землю, стояли плотным частоколом. Ваня Петухов взобрался вверх по кривой иве, нагнувшейся внутрь загона, а Костя и Манжин подали ему клетки с кроликами.

— Э-э, ребята! — закричала Настенька. — Не выпускайте без меня! Дайте я их сама выпущу!

Настенька прибежала, живо взобралась на кривую иву и оттуда прыгнула внутрь загона:

— Эх, строители! Не могли калитку сделать!

Но Костя возразил:

— Тут калитку нельзя делать: подкопаются — удерут.

Было весело и занятно смотреть, как кролики вылезали из клеток, как они шевелили мордочками и ушами, как разбежались по загону, прячась в густой траве. Особенно хороши были маленькие. Настя, прежде чем выпустить, брала крольчат в руки, гладила, целовала их атласные ушки. Некоторые были так малы, что помещались в пригоршне. Настенька прижималась к ним лицом, прижимала их к груди, к шее:

— Ну просто съела бы! Ну что это за куколки родятся на свет! Глазки-то, глазки-то — кругленькие бусинки! Ну что с вами сделать, а?

— Выпустить, вот что, — сказал Петухов, — пока ты их всех не передушила!

— Эх, Алешки нету! — пожалел Костя. — Зря, чужак, не поехал. Вот порадовался бы сейчас!

— Совсем обиделся, — улыбнулся Манжин.

— Ну ничего, — сказала Настенька, — я приеду домой — все ему расскажу... Поглядите, ну вы поглядите, как радуются, как бегают! И уж скорей принялись траву жужустрить!

— Этой травы скоро не будет, — сказал Петухов, — дотла выгрызут. Вот увидите! Придется тебе, Костя, с утра до вечера по тайге с литовкой ходить. Вот уж скотина прожорливая!

— Ничего, — улыбнулся Костя, — как-нибудь прокормлю.

Пока ребята разводили костер и варили ужин, Настенька прибрала в избушке: наломала веник, вымела пол, протерла окошко, повесила полотенце.

— Ну, а постель сам себе потом устройшь, — сказала она. — Сегодня все равно спать вповалку на нарах будете! Только надо свежего сена постелить. Ты смотри, Костя, не поленись, насуши себе сена да постели.

Ужинали у костра, среди тихой тайги и темнеющих гор. Желтый Кобас тоже сидел в кругу друзей и тоже ужинал: Настенька его не забывала, то и дело подкладывала то мятой масленой картошки, то хлеба.

И еще долго потом сидели под звездным небом, жгли костер, глядели, как летят вверх маленькие веселые искры, и вели разговоры.

О чем? Обо всем, что придет на ум... О том, как поедут в Горно-Алтайск за яблонями и что скажет им Лисавенко. Может, скажет: «Не сумели посадить, так и не дам больше саженцев». Но нет, пожалуй, не скажет. Вот у чергинской учительницы тоже в первый год сад погиб, а он ей ответил: «Наше дело не бывает без жертв, надо снова сажать». И она снова посадила, а за лето яблоньки окрепли, осенних морозов не испугались — может, и у них так будет... Говорили еще о книге, которую только что прочел Петухов. И потянулся длинный рассказ о страшной трагедии индейского племени, замученного белыми. Говорили о Барнауле, куда Костя и Манжин собирались осенью; о том, как они окончат техникум и приедут сюда сажать сады... И спо-

ва возвращались к своему маленькому саду у подножия Чейпеш-Кая.

Первой от костра поднялась Настенька:

— А ну вас! Завтра на рассвете вставать надо. Ступайте ложитесь, я там на нарах вам постелила.

Сама она улеглась в повозке, стоявшей под густой ивой.

«Ох, хорошо! — вздохнула она и улыбнулась сама себе от удовольствия, укрываясь теплой кошмой. — Можно всю ночь на звезды глядеть...»

Звезды мерцали и дрожали в перепутанных ветках ив. И скоро Настенька увидела, что они, словно хрустальные капли, проскользнули сквозь ветки, повисли на концах листьев и закачались над самой повозкой.

— Упадут на кошму — кошма сгорит, — прошептала она и уснула.

Костя не сразу лег. Он взял ружье, свистнул Кобаса и обошел весь загон, прислушиваясь к тайге, к ее неясным шелестам и осторожным порохам. Было тихо. Из-за плеча дальней горы поднялась и осветила долину чистая луна. Костя подошел к загону и заглянул через изгородь. Никого. Неподвижно стояла густая трава. Костя улыбнулся: «Все попрятались!»

Недалеко от избышки, около самого ручья, стоял Соколик. Он наелся и дремал. Костя погладил его:

— Спи, милый!

Дверь избышки была открыта настежь. Сонное дыхание и легкий храп слышались в темноте на широких нарах. Костя позвал Кобаса.

— Ложись здесь. Сторожи! — приказал он.

Кобас послушно лег у потухшего костра, около избышки. Костя осторожно поставил ружье в уголок и полез на нары.

«А завтра останусь один... Романыч стадо свое угнал в горы, — подумал он, и сердце его чуть-чуть сжалось. — Да, такие дела, однако!.. Не забыть бы им утром сказать, чтобы арык копали, не откладывали. Пусть бы так и вели с того места, где мы тогда наметили. Эх, жалко, что сам не могу!..»

Тихо было в тайге. Тихо было в горах. Весь мир спал. Только луна, поднимаясь все выше, задумчиво брела по небу, рассыпая блески в траве, отражаясь в быстрой воде ручья, бросая

четкие теги гор в долину и четкие тени деревьев на серебряную траву...

Рано утром, когда порозовело небо и потянуло холодком, Настенька проснулась и разбудила ребят. Быстро позавтракали вчерашней картошкой и уехали.

Костя остался в тайге с Кобасом и с кроликами. Но в первую минуту, когда повозка скрылась в лесу на той стороне Кологоша, Косте показалось, что он остался один.

В ТАЙГЕ

Возникало утро на вершинах гор. Разгораясь, с песнями птиц, с шелестом леса входил в долину богатый солнцем день. Иногда из-за горы внезапно появлялась тучка и пролетала над долиной, проливая на своем пути дождь. Молчаливая хвойная тайга гасила острыми верхушками вечерние зори, и знакомые созвездия снова загорались в ночном небе.

Проходили странные, безмолвные таежные дни — один, другой, третий... Костя не скучал. Раз пять или шесть в день он косил для кроликов траву, приносил им огромные вязанки и разбрасывал по загоны. В загоне трава быстро исчезала, появились уже прогалины.

Кролики скоро освоились на вольном житье. Крольчихи принялись рыть норы для будущих детей, и Костя замечал, где и какая крольчиха готовит себе дом. Чтобы кроликам было куда спрятаться от полуденного солнца, Костя из сосновых веток устроил им длинные низенькие шалаши. Из толстых поленьев он выдолбил корытца и врыл их в землю в разных местах загона. В эти корытца он наливал кроликам воды — чистой, холодной воды из журчащего Кологоша.

В свободные часы Костя читал. Читал все, что удалось собрать у ребят, у Анатолия Яковлевича, у старого математика. В школьной библиотеке уже не было ничего не прочитанного, но одну уже прочитанную книгу — «Фрегат «Паллада» Гончарова — он все-таки взял с собой.

Костя подолгу сидел с книгой Мичурина, раздумывал над его опытами, изучал нарисованные там яблоки, груши, вишни,

подмечал особенности сортов — их формы, оттенки, характеры, возможности, привычки... Читал книги сибирского садовода Яковлева, читал и перечитывал статьи сотрудников Лисавенко, которые печатались в газете «Звезда Алтая» и были собраны женой Анатолия Яковлевича.

Иногда он подолгу сидел над раскрытой книгой, думал. Какие-то неразрешимые вопросы лезли в голову:

«Вот иногда с весны завернет засуха, а тучи идут мимо, и человек не может их остановить. И почему он не может заслониться от морозов, которые налетают то весной, то осенью и всё губят? А из-за этого сколько лежит в долинах черной земли, и лишь берут с этой земли одни покосы... Вот заимка наша — разве не хороша! Склоны отлогие, солнечные. Лес. Вода... Почему бы здесь не цвести большим садам? Вот пришла весна, и все бы здесь зацвело розовым цветом и белым цветом — вся долина, до краев, вдруг так бы вот и засветилась! А пришла бы осень — было бы здесь полно яблок, и груш, и разных ягод... А у нас что? Травы... тайга... Пастбища, трава — и всё. А на такой земле и хлеба могли бы родиться невпрокос! Но вот климат... Трудно, трудно расти здесь садам, даже и мичуринским. А что бы в наших долинах было, если бы сюда морозы не налетали!.. И почему ученые об этом не подумают? Если бы подумали как следует, то уж наверно, что-нибудь придумали бы!..»

Здесь же, около кроличьего загона, под однообразный говор Кологоша он впервые прочел «Занимательную геохимию» Ферсмана. Таблица Менделеева, которую он заучивал в классе без особого интереса, теперь вдруг ожила. Она, как магический ключ, открывала перед его глазами тайны гор. И, отправляясь с литовкой накосить травы, он останавливался и подолгу глядел на горные вершины, заросшие лесом, плотно укрытые травой, замкнутые, молчаливые, не тронутые ни киркой, ни лопатой.

Что там, в их недрах? Может, там скрыты чистые кристаллы аметиста и хрусталя; может, залегают руда, сверкающая крупинками золота; может, там хранятся массивы зеленого малахита и спящих мраморов, как на Урале или в Кузнецком Алатау? Кто знает, какие еще богатства хранятся здесь, на их школьной заимке у Кологоша... Разузнать бы! Разведать бы!.. Сколько работы на свете, интересной и нужной!

И тут же, по неизменной памяти сердца, мысли его снова возвращались к маленькому саду у подножия Чейнеш-Кая.

Костя лежал в прохладной траве возле загона. Глаза его глядели куда-то поверх книги.

«А что-то сейчас там? Привезли новые яблоньки или нет? Посадили или нет? Может быть, как раз сегодня сажают... Эх, сбежать бы посмотреть!»

И, словно наяву, увидел он свою родную Чейнеш-Кая, огромную и прекрасную, и белый дом у ее подножия, и пестрые платья и цветные рубашки школьников, мелькающие среди зелени... и круглую алтайскую шапочку с малиновой кисточкой, сдвинутую на левую бровь, и узкие лукавые глаза, черные-черные — чернее, чем самый черный чернослив...

«Уехала, наверно, — думал Костя. — Пускай! Жалко, с Яжнаем не повидался. Эх, жалко! А Чечек, однако, даже и проститься не пришла... Ну да пускай! Пускай едет. Ей что? Настоящий бурундук — прыг, скок! Разве с таким человеком можно дружить? Разве на такого человека можно надеяться? Да еще и упрямая какая: сама виновата и сама же сердится... Ну да пускай, на доброе здоровье!»

Кобас, который лежал рядом, вдруг приподнял голову и пасторожил острые уши.

— Ты что? — спросил Костя. — Кого слышишь?

В тайге было тихо. Только ветер шумел по вершинам так же ровно и глухо, как шумит большая Катунь... Костя положил руку на лобастую голову Кобаса:

— Кобас, а почему у тебя черные пятнышки над глазами? Это у тебя брови, что ли? И нос у тебя черный, а сам весь желтый...

Но Кобас, чуть-чуть улыбнувшись Косте глазами, снова скопился куда-то в сторону Кологоша... И вдруг вскочил, отрывисто зааял сквозь зубы, завертел хвостом, бросился к ручью, через который пролежала дорога.

«Что это он, однако? — удивился Костя. — Надо, пожалуй, ружье взять... — И тут же вспомнил: — Вот дурак! Да сегодня же мне тетя Стеша продукты привезти должна. Это же, наверное, она и едет».

Костя спустился к избушке. Лицо его просияло. Конечно,



можно разговаривать и с Кобасом и с кроликами, но без человеческого голоса все-таки долго не проживешь! И главное — он сейчас всё узнает: как дома, как в колхозе, что с их школьным садом... Много ли яблонек погибло?.. И ездили ли за саженцами в Горно-Алтайск?.. Тетя Стеша, конечно, все это знает...

Широкие кусты закрывали дорогу, но Костя уже слышал мерный шаг лошади, треск сухих сучьев под колесами. Вот уже и дуга, знакомая школьная темно-красная дуга замелькала среди веток. А вот и Соколик идет, помахивая гривой и упираясь передними ногами, чтобы не раскатить с горы возок... И вдруг тоненький задорный и радостный голос зазвенел над Кологошем: — Кенскин! Кенскин! Кенскин!..

Костя сбежал к ручью, не веря своим ушам:

— Чечек?



Чечек стояла в повозке, туго натянув вожжи. Увидев Костю, она пустила Соколика рысью. Гремя повозкой, Соколик промчался с горы, пробежал через ручей, поднимая высокие брызги, и, с разбегу вынеся повозку на бугор, остановился около избушки. Чечек спрыгнула с повозки:

— Эзен¹, Кенский!

У Кости светились глаза, но ответил он сдержанно:

— Здравствуй!

А Чечек не хотела замечать этой сдержанности. Она подбежала к Косте, шаловливо сдвинула на одну бровь свою шапочку и, смеясь, заглянула ему в глаза:

— Якши-якши ба², Кенский?

¹ Эзен — здравствуй.

² Якши-якши ба? — Хорошо ли живешь?

— Ничего, якши, хорошо живу! — И не выдержал, улыбнулся. — А ну тебя, бурундук!

Чечек рассмеялась, захлопала в ладоши. Потом вприпрыжку, вперегонки с Кобасом подбежала к повозке:

— А гляди, чего я тебе привезла! Вот сало — матушка прислала, вот яйца в кошелке, вот бидончик молока. Хлебушек матушка испекла...

Костя, распрягая лошадь, поглядывал на Чечек. Ну конечно, все забыто: ссоры, разлад, огорчения...

Пока он спутывал лошадь и убирал сбрую, Чечек заглянула в избушку:

— А как ты тут живешь? А это твоя постель? А это печка — ты тут обед варишь? И на костре варишь?.. А в избушке у тебя стола нет, ты, как наша бабушка Тарынчак, без стола живешь!.. А, у тебя стол вот где, на улице! Даже скамейки стоят! Кенскин, давай сейчас картошки с салом нажарим...

— Сейчас нажарим, подожди, — сказал Костя. — Ты, однако, сядь, притихни немножко.

Чечек живо уселась на старый обрубок у костра:

— Сажу, притихла!

Костя сунул горящую кору под сложенные поленья:

— Сейчас картошки нажарим и чай вскипятим. Ты только сначала скажи мне: за яблоньками ездили?

— Ездили, Кенскин. И я ездила... А что я видела! Какие там яблоньки!.. Они цвели, Кенскин. Они все цвели! Ты не веришь? Все, все цвели! Весь сад был розовый, весь сад, Кенскин!

— Ну, подожди, подожди... Саженцев нам дали?

Чечек широко открыла глаза:

— Саженцев? А зачем? Зачем нам саженцы, Кенскин?

Вдруг она звонко и счастливо рассмеялась:

— Да, ты же еще и не знаешь ничего! Ведь наши-то яблоньки не погибли! Даже ни капельки не погибли!

Костя, боясь поверить, смотрел на Чечек. Чечек, радуясь его изумлению, захлопала в ладоши:

— Да, да, не погибли! Ничуть не погибли! Мы на другой же день поехали в Горно-Алтайск к Лисавенко. Я и самого Лисавенко видела. Он в очках. И добрый какой: как взглянет сквозь

очки, сначала забоишься, а он возьмет и улыбнется. И разговаривал с нами, все рассказывал: как лучше сажать, как белить их надо, как обрезать... Обещал сам к нам приехать: хочет посмотреть наш сад...

— Ну, подожди, — прервал ее Костя, — ты скажи: а как же оказалось, что наши яблоньки не погибли? Они тогда и обвисли и почернели даже...

— Ну вот, почернели, а не погибли! Мы все это рассказываем Лисавенко, а самим совестно, что сад не уберегли... И садик жалко — чуть не плачем. А Лисавенко улыбнулся и говорит: «Нет, не погиб ваш сад! Весенние морозы нашу яблоньку погубить не могут. Весной яблонька тогда может погибнуть, если ее зимой мороз погубит. А наши сорта такие, что и зимнего мороза не боятся!» И еще он нам говорит: «Ничего, не горюйте, эти листики завянут, а через недельку новые вырастут. Из запасных почек новые листики зазеленеют, и яблоньки снова будут растут... будут растут...»

— Будут расти!.. Ну и что? И зазеленели?

— Зазеленели! Зазеленели, Кенский! И мы их поливали, каждый день поливали. А теперь ребята начали проводить арык из Гремучего прямо в наш прудик.

— Начали арык? Вот здорово! Эх, а я тут сижу с этими кролями. А садик-то, значит, снова зазеленел? Вот дела, однако! Вот пускай и народ теперь посмотрит, что это такое — мичуринские сорта!

Костя был счастлив.

— А мои яблоньки тоже зеленеют, — сказала Чечек. — Все четыре, Кенский!

— Вот и хорошо. Только ты смотри ухаживай за ними как следует. Следи, как бы тля не напала — знаешь? Такие зеленые букашки. Если нападут, сейчас беги к Анатолию Яковлевичу — надо табаком промывать, а то они все побеги пожрут... И за побелкой следи и за подрезкой... Эти яблони — уж очень они капризные, уж очень они нежные! Их знаешь как любить надо!..

— А я их люблю, Кенский! Я же их люблю!

— Ну да, а потом скажешь: «прутики, прутики»!

— Какие прутики? Ты знаешь, как они цветут! Меня из сада никак вытащить не могли. А ты говоришь — «прутики»!

— Ах, вот что: это, оказывается, я говорю!

— Ну ладно, ну ладно... Ну давай же картошку жарить! Смотри, как огонь разгорелся... Давай сковороду, я сейчас сала нарежу... И картошку давай!

Чечек живо начистила картошки, вымыла ее в ручье и, нарезав кружочками, разложила на сковороде вместе с кусками сала.

— Слушай, Чечек, — сказал Костя, подкладывая в костер сучьев, — а как это ты вдруг приехала? Я думал, ты уже давно дома. Разве Яжнай еще не был? Или он один уехал?

— Нет, он еще не был, — ответила Чечек. — Он еще учится. Прислал письмо — скоро придет, тогда поедем с ним домой... А твоя матушка сказала: «Чечек, зачем ты будешь одна в интернате жить? Все твои подружки уехали. Одной тебе плохо. Иди ко мне!» А Марфа Петровна сказала: «Пускай Чечек у меня живет, я одна!» А твой батюшка сказал: «Нет, пусть у нас живет, уж она у нас привыкла». Вот я и стала у вас жить. А скоро Яжнай придет... Кенский, поедем с нами в наш поселок, а? С Яжнаем рыбу ловили бы, журавлей бы стреляли...

Костя усмехнулся:

— Вот так! Всё брошу — и поеду! И кролей, и дом, и работу... Что же я, маленький — куда захотел, туда и отправился? Ведь у меня теперь дела...

— Ну да, дела! Просто тебе туда не хочется!

— Ага, не хочется... И когда это ты, Чечек, научишься сначала думать, а потом говорить?..

После обеда Костя и Чечек пошли кормить кроликов. Чечек влезла в загон:

— А почему загон на голом месте сделан? Почему тут трава не растет?

— Ну как — не растет! — ответил Костя. — Да это же они всю траву выгрызли!

Чечек тихонько прошла по загону. Кролики не обращали на нее внимания. Они бегали по каким-то своим делам, подбирали привядшую траву, оставшуюся от завтрака, спали, растянувшись во всю длину, или нежились на солнышке, перевернувшись на спину и приподняв лапки над белыми животами.

— А их тут не очень много, Кенский!

Костя перевалил через изгородь большую вязанку свежей травы:

— Вот сейчас увидишь, как их не много...

Костя и Чечек растащили траву охапками по всем углам загона. И вдруг — откуда только взялись! — в загоне оказалось полно кроликов: и большие, и средние, и маленькие, и совсем крошечные, и голубые, и темные шиншиллы, и рыжие кенгуровые... Они тотчас набросились на траву.

— И вот так раз пять в день или шесть! Всё до травинки подберут!

— Кенскин, а где они спят?

— Сначала в траве прятались. А теперь соберутся все в кучу и спят. Большие с большими — своей кучкой, а маленькие — своей. Прижмутся друг к дружке и спят. А другой раз чего-нибудь испугаются — бурундук прыгнет или какая птица ночная крикнет страшно, — тогда сразу разбегутся и исчезнут. Ну, ни одного не найдешь! А когда убегают, то задними лапами хлопают, как в барабаны. Это они своих врагов пугают!

— Кенскин, а волки приходят?

— Нет. Человека чуют. Иногда слышу — кто-то близко в лесу ходит, крадется... А потом, однако, уходит...

Тихий светлый день медленно брел по тайге. Неподвижно лежало солнце на зеленых склонах долины. Маленькие сквозные облачка светились над горами.

— Чечек, тебе ехать пора.

— Нет, еще не пора, Кенскин. Пускай Соколик погуляет.

— А пойдем водопад смотреть? Ты наш водопад видала?

Чечек вскочила:

— Ай, пойдем, Кенскин! Ай, пойдем, я этот водопад никогда не видала!

Перелезая из загона через изгородь, Костя заметил, что в корытцах мало воды.

— Ну ладно, приду с водопада — тогда налью!

По глухой и сырой тропе вдоль Кологоша Костя и Чечек отправились к водопаду. Ручей часто пересекал тропу, и тогда, сняв тапочки, они вброд переходили по ледяной воде. Березы и лиственницы, разбросанные по склонам, убегали высоко вверх.

Среди них, на зеленом бархате трав, ярко белели, словно букеты, большие дудники.

Чем дальше уходила тропа, тем круче становились склоны, сдвигаясь в ущелье. И всё выше и гуще поднимались травы над тропой — красноголовый чертополох, синяя луговая герань, медовая кружевная таволга... Костя, оглядываясь, не видел Чечек в этой заросли. Только головки цветов качались там, где она проходила, да слышался звонкий голос вместе с журчанием ручья:

— Я здесь, Кенскин! Я иду-у-у!

Еще выше поднялась трава. Здесь, на уступах, качались высокие пестрые саранки и кое-где светились яркие желтые огоньки. Ручей становился все бурливее.

Около угрюмой, обнаженной скалы, напоминающей отвесные стены какого-то замка, Костя остановился, подождал Чечек.

Чечек подошла с тапочками в руках и с охапкой цветов:

— Ты что, Кенскин?

Костя поднял руку:

— Чу!.. Слышишь?

Чечек прислушалась:

— Да, слышу. Это водопад шумит.

Водопад был небольшой, но очень красивый. Сильная струя, бьющая прямо из скалы, разливалась по широкому плоскому камню, подернутому зеленью, и оттуда падала прозрачными сверкающими каскадами. Ниже такие же плоские и зеленые камни подхватывали, словно в пригоршни, падающую воду и, не в силах удержать, роняли ее вниз отдельными струями. Эти струи, падая с большой высоты, соединялись внизу и бежали по ущелью гремучим ручьем Кологоша. Водопад звенел и сверкал, он был весь из хрусталя и малахита, весь из блеска и музыки...

— Давай взлезем наверх, посмотрим, как вода бьется?

— Давай!

Чечек и Костя живо взобрались на гору, цепляясь за длинную, густую траву. Тут они разглядели, откуда бьет вода — из небольшой круглой пещерки недалеко от вершины. Они уселись около самой воды на мягких, мшистых выступах.

— Кенскин, а здесь рыбы не бывает?

— Не знаю. Не видел.

Костя поглядел вверх, на Чечек, которая сидела на самом высоком выступе:

— Чечек, а почему ты никак не научишься меня как следует называть?

— А как же, Кенский?

— Ну что это за «Кенский»? Скажи: Константин. Неужели не выговоришь? Ну, говори «Костя», как все говорят.

— Костя... — повторила Чечек. — Костя, Костя... Слушай, Кенский, мне так не нравится!

— Ну, зови Константин. Ну: Константин.

— Конн-станн-тиннн-тинн... Конн-станн-тинн!.. Кенский, ты слышишь? У тебя имя — как струны! Как струны у Настенькиной гитары: Конн-станн-тинн!.. Тинн!.. Кенский, правда похоже? Ой, какое у тебя имя хорошее!

Костя не отвечал. Он с улыбкой слушал, как в устах Чечек звучит его имя, и смотрел, как одна маленькая струйка, падая на зеленый камень, разбивается в серебряную пыль. Потом взглянул на солнце и встал:

— Чечек, пора! Тебе надо ехать.

Костя проводил Чечек далеко за Кологош, до самого перевала, где на гребне стоят опаленные молнией лиственницы.

— Якши болсын¹, Кенский! До осени, — сказала Чечек.

— До осени, Чечек!

Они помахали друг другу рукой. Костя долго стоял около расщепленного молнией дерева, стоял, пока повозка Чечек не скрылась в чаще. И, когда уже скрылась, он все еще стоял и ждал чего-то. И уже издалека до него долетел тоненький голосок:

— Якши болсын!..

Тоненький голосок, неясный и далекий, как эхо...

— До осени-и-и! — крикнул Костя.

Темнеющая долина, заросшая лесом, приняла его голос и не ответила больше.

Вдруг Костя хлопнул ладонью себя по лбу: «Эх, что же это я? Пора кролей кормить! И воды у них было мало... Стою тут, как дурак!»

И он бегом помчался на заимку.

¹ Я к ш и б о л с ы н — счастливо оставаться.

КТО БЫЛ?

В этот вечер Костя долго не ложился спать. Он сидел у костра с заряженным ружьем, размышляя о том непонятном, что произошло.

В заимке кто-то был. Когда Костя вернулся, проводив Чечек, кроличьи корытца были полны свежей воды, и охапка накошенной травы лежала в загоне там, где он ее не клал. Ему вспомнилось, что так уже было... На второй или на третий день после его переселения на заимку ему показалось, что около загона кто-то был: сломана ветка на иве, набросано сено на крыши кроличьих шалашиков. Но тогда он подумал, что, наверно, ветку на иве он сломал сам и не заметил... А сено?.. Ну, может, ветром надуло или кролики натаскали... Кто мог прийти на заимку? Если Костя отлучался, Кобас сторожил загон. А Кобас ни разу не лаял.

А может, и правду ветку на иве сломал он сам? А может, и правда сено надуло ветром?.. Но вот кто налил сегодня воды в корытца?

— Кобас, а ты что молчишь? Ты кого видел здесь?

Кобас постучал хвостом.

— Ты никуда не уходил? Нет?

Кобас, взглянув на него темными ласковыми глазами, еще постучал хвостом.

— Я знаю, ты никуда не уйдешь...

Костя вдруг засмеялся: «Тоже, сижу думаю! Да это, однако, все она управилась! Пока я за лошадью ходил да пока запрягал... Ну конечно же, она... А я-то тоже...»

Все стало просто и ясно. Костя поужинал, покормил Кобаса и, еще раз обойдя загон, улегся спать. Тихо и спокойно прошла ночь. Костя смеялся во сне — Чечек звала его, и его имя звенело, как струны: «Конн-станн-тинни-тинн...»

А наутро Костя увидел, что два темно-голубых шиншилла пробежали через полянку и скрылись в зарослях ивняка на берегу Кологоша.

Костя протер глаза. Что это? Может, он еще не проснулся? Может, ему снится?..

Но надежда на то, что это снится, тотчас исчезла. Большой

рыжеватый кролик сидел под кустом ивы и усердно обгрызал тонкую веточку. Вот он, к чему-то прислушиваясь, насторожил уши, вот поглядел на Костю, часто двигая мордочкой, и снова принялся за ивовую ветку.

Пот выступил на лбу у Кости: «Вылезли! Разбежались!..»

Не чуя земли под ногами, он бросился к загону и сразу, еще издали, заметил слегка отвернутый горбыль. В щелку, нюхая воздух, просунулась подвижная кроличья мордочка.

Костя поставил на место горбыль. Он сбегал в избушку за лопатой, прикопал этот горбыль. Обошел вокруг всего загона, проверил изгородь. Изгородь была не тронута.

Кто отвернул горбыль? Может, Чечек, когда наливала воду, решила, что через изгородь трудно лазить, и сделала себе щель? Но если сделала, то хоть закрыла бы как следует!.. А теперь вот убежали кролики! Сколько их убежало? Как их поймать теперь?

Костя пошел на берег Кологоша, где прятались его голубые пиншилы. Он попробовал подманить их овсом — кролики не подходили.

Костя в отчаянии вернулся к избушке.

— Кобас, — сказал он, глядя прямо в глаза своей собаке, — сторожи! Слышишь? Никуда не уходи. Никого не подпускай. Я приду!

Костя спрятал ружье, затушил тлевший костер, дал Кобасу кусок хлеба и побежал домой, в школу — звать ребят на помощь. Одному ведь все равно не поймать кроликов в тайге!..

Школьный двор встретил Костю мирной солнечной тишиной. Из школьных окон глядели яркие цветущие герани и фуксии, но окна были заперты, и на белой двери висел замок. Костя заглянул в сад, не утерпел — пробежал к посадкам. Вот они стоят: яблоньки, новые яблоньки!.. Стоят, зеленеют. Земля кругом взрыхлена. Овощные грядки прополоты, и на каждом участке столбик с этикеткой: «Пятый класс. Коля Рукавишников»... «Мая Вилисова, шестой класс»... «Катя Киргизова»... «Алеша Репейников»... Множество имен на деревянных дощечках. Кажалось, что ребята только что были здесь, работали, окапывали, пропалывали, бегали, болтали, смеялись... Сад был тих, и ни одного голоса не слышалось. Только по-прежнему шумела Катунь и прекрасная Чейнеш-Кая, украсившая зеленью свои лило-

вые скалы, стояла так же задумчиво в своем мохнатом зеленом венке.

«Где искать ребят? Наверно, все в поле, на прополке яровых. Хоть бы кого-нибудь встретить!»

Костя побежал к Марфе Петровне, но и на ее дверях висел замок. Около школьного пруда Костя увидел Васю Калинкина и Толю Репейникова, младшего братишку Алеши.

— А без тебя хариусов в пруд пустили, — сообщили они Косте. — Пять штук!.. Вон плавают!

— Ребята, — сказал Костя, — бегите зовите Алешу! И если еще кого увидите — зовите сюда. Только скорее! У нас беда случилась!

Ребятишки побежали искать Алешу, а Костя пошел к Анатолию Яковлевичу.

Директор и двое юннатов-пчеловодов возились с ульями.

Анатолий Яковлевич, ни о чем не спрашивая, тут же послал за ребятами — позвать всех, кто не ушел в поле. Ждать пришлось недолго. Один за другим школьники прибегали к крыльцу Анатолия Яковлевича. Был как раз обеденный перерыв, все ребята, работавшие на прополке, пришли домой и, услышав, что их срочно зовет Анатолий Яковлевич, бросали все свои дела и бежали к нему — Никита Зверев, Семушка, Нюша Саруева, Алеша Репейников, Андрей Колосков, Катя Киргизова. Прибежала и Чечек, испуганная и встревоженная:

— Что случилось? Что случилось? Ведь вчера все было хорошо, что же случилось?

— Ребята, — сказал Анатолий Яковлевич, — кто свободен, бегите в Кологош. Там кролики убежали, надо облаву сделать.

— Как — убежали? — удивился Ваня Петухов, который только что помогал Анатолию Яковлевичу ставить улей. — Да ведь там изгородь с человека ростом! Неужели подкопались? Не может быть!

— Нет, не подкопались, — холодно ответил Костя.

— А хоть бы и подкопались! — сказала Ольга Наева. Она тоже прибежала, бросив белье на ручье. Хоть Ольга уже была и не школьница, школьные дела были по-прежнему близки ей. — А хоть бы и подкопались! А сторож на что? — сказала она. — Значит, плохо глядел!

— Вот, на Алешку говорили — кроликов распускает, — подхватил Зверев. — А сами тоже... Алешка, а ты что молчишь?

— Подождите, — сказал Анатолий Яковлевич. — Ты, Костя, говоришь, что не подкопались? Так как же они могли убежать? Костя молчал, сдвинув брови.

— Никогда не поверю, что Кандыков плохо глядел, — сказал Ваня Петухов. — Тут что-то не так.. Может, к тебе кто из ребят прибежал?

— Вчера к нему Чечек ездила, хлеб возила! — крикнула Нюша Саруева. — Может, она нечаянно выпустила...

Все обернулись к Чечек. Чечек отрицательно затрясла головой:

— Что вы! Я не выпустила! Я их никуда не выпустила, только покормила.

— А Чечек разве сознаётся?

— Почему не сознаться? Она пионерка!

— Ну, что же ты скажешь, Кандыков? — спросил Анатолий Яковлевич, слегка нахмурясь. — Что ты предполагаешь?

— Не знаю, — не поднимая глаз, ответил Костя, — не могу понять.

— Значит, ты будешь отвечать.

— Да, конечно, я буду отвечать.

— Нет, — вдруг крикнула Чечек, — это я буду отвечать! Это я кроликов выпустила!

Ребята зашумели:

— Ну, так и есть!

— Уж Чечек не утерпит, чтобы не набедокурить!

— Только людей под беду подводит!..

— Зачем же ты это сделала, Чечек? — спросил Анатолий Яковлевич.

— Да я нечаянно... — запинаясь, ответила Чечек. — Ну, ушла, а калитку закрыть забыла...

— Стой! — крикнул Петухов. — Это все неправда! Как это ты, Чечек, забыла калитку закрыть, когда там и калитки-то вовсе нет никакой?

— Чечек, говори, как было, — вмешался Андрей Колосков, — не путай. Это некрасиво. А то придется поставить о тебе вопрос на совете отряда.

Чечек растерянно взглянула на Костю:

— Ну, я... ну, я не знаю тогда... Ну, выпустила — и всё! Я выпустила — я буду отвечать!.. Костя совсем не виноват, совсем не виноват!

В голосе ее зазвенели слезы, но Чечек не заплакала, только глаза заблестели еще больше.

— Это я буду отвечать, — вдруг сказал Алеша Репейников, который до сих пор сидел молча и только теребил какую-то травинку да краснел.

Ребята ахнули в один голос:

— Еще один!

— Чудеса творятся!..

Костя вдруг внимательно посмотрел на Алешу:

— А, так, значит, это ты кролей навещал? Значит, это ты?

— Я очень об них соскучился... — начал Алеша, виновато приподняв белесые брови. — Ну вот и бегал...

— Ты два раза был? — спросил Костя.

— Два, — удивившись, подтвердил Алеша. — Один раз — дней пять назад, другой раз — вчера. Ты разве заметил?

— А ты думал — нет?

— Я же их только покормил...

— А зачем горбыль отодвинул?

— Ну, заторопился как-то... Я его закрыл. Да, может быть, плохо... Гляжу — вы с Чечек идете от водопада. Я и убежал.

— Ну и наделал глупостей! — сказал Анатолий Яковлевич. — Надо тебе прятаться было? Зачем это? Глупое самолюбие, и больше ничего. А из-за тебя, видишь, сколько людям неприятностей!

— Надо бы идти! — напомнил Костя. — Пока недалеко убежали...

Ребята повскакали:

— Пошли, пошли! Мы их сейчас окружим — и всё!

— Ребята, хлеб берите, проголодаемся!

— И картошку!

— Картошка у Кости есть — сварим!..

Чечек не сразу поняла, что произошло. Алешка бегал на запявку?..

Она незаметно подошла к Косте:

— Ты знал, что Алешка на заимку бегал?
— Нет, я знал, что кто-то был... но не знал, что Алешка.
— И никто не знал?
— Нет, никто.
— Тогда, значит, он глупый: сам про себя рассказал!
— Значит, и ты глупая: на себя наговорила чего не было!
— Я? Ишь ты! Я-то не глупая. Я хотела, чтобы лучше пусть мне будет плохо, а не тебе... Вот еще! Это только ты говоришь, что я никакой не друг...

— Ну, ты друг, это я вижу. Но вот и Алешка, значит, тебе тоже друг — не хотел, чтобы ты за его вину отвечала... Понимаешь ты хоть что-нибудь, бурундук?

— Хо! Алешка — мне друг!

— Почему же нет? Значит, друг.

— Это Алешка-то?

— Конечно. И настоящий пионер... Ты вот на свободе обдумай все это хорошенько. А сейчас пошли. Некогда!.. Ребята вон уже побежали.

— А я тоже с вами пойду! — закричала Чечек. — Только к твоей матушке за хлебушком сбегаю.

Но едва Чечек спустилась по школьной лесенке на дорогу, как маленькая соседская Анюта закричала ей, махая рукой:

— Эй, Чечек, Чечек, беги скорее! Там за тобой Яжнай приехал!

ДОРОГА В ГОРЫ

Машина, великолепный пятитонный бензовоз, шла в Усть-Кан. Ровным ходом летела она по тракту, ровным гудом гудел ее мощный и безупречный мотор. Она легко, без малейших усилий брала подъемы, непринужденно огибала выступы скал, осторожно, словно разумное существо, спускалась на крутых поворотах и, вылетев на отлогий склон, мчалась, будто ликуя, будто любясь своей силой, своим бесшумным ходом.

В широкой кабине, на коричневом кожаном сиденье, рядом с шофером сидели Яжнай и Чечек. Яжнай разговаривал с шофером. Шофер рассказывал о своих поездках, о дорожных

приключениях. Яжнай рассказывал о техникуме, о городе Барнауле, о своих занятиях.

Чечек не слушала их разговоров. Счастливая и притихшая, она не отрываясь глядела по сторонам, широко открыв свои черные глаза. Как хорошо мчаться на таком вот железном коне по гладкой дороге! На таком коне, у которого сердце не устает, но кажется, что этот конь летит на могучих крыльях и хоть на край света будет мчаться — не задохнется и не запалится! Как хорошо! Мчишься, а горы огромными, громоздкими вереницами идут тебе навстречу, пропускают тебя и остаются позади. А навстречу — еще горы и еще горы: высокие и крутые, острые и округлые, поросшие сосной и березой...

Дорога шла по берегу Катуня, пробегала по краю обрыва, над кипучей широкой водой. Иногда река вдруг разбегалась на два рукава, а потом сливалась, оставляя посередине островок. И Чечек казалось, что деревья на этом острове дрожат от страха, глядя на стремительно бегущую воду, которая окружает их.

Чечек видела скалы, поднимающиеся прямо из воды, угрюмые, поросшие соснами, и голые скалистые обрывы... Когда шоссе уходило от реки, то река издали казалась совсем белой среди дремучих гор. Потом оно снова подходило к самому берегу, и видно было, как кипит вода вокруг черных огромных камней. И тогда Чечек хватала Яжная за рукав и кричала:

— Яжнай, гляди! Это, наверно, здесь Сартак-Пай мост строил!

— Нет, это не здесь, — каждый раз отвечал Яжнай. — То место ближе к Чемалу.

О Сартак-Пае много рассказывала Чечек ее бабушка Тарынчак. Вот какой богатырь был этот Сартак-Пай! Это он освободил из-под камней все алтайские реки, проложил им дорогу среди крутых, неподатливых гор. А Катунь-реку вывел на свет его сын Адучи. Сартак-Пай послал его на Белуху за Катунью, а сам указательным пальцем вел другую реку — голубую реку Челушман. Пока Сартак-Пай ждал своего сына Адучи, под палец его натекло большое озеро — Алтын-Коль. Потом прибежал Адучи, привел Катунь. А Сартак-Пай повел ей навстречу реку Бию. И слил их вместе и послал далеко на север, к Ледовитому океану...

Ох и богатырь же был этот Сартак-Пай! Он мог разбить скалу надвое, мог схватить молнию. Но задумал один раз построить мост через Катунь и начал класть камень на камень, камень на камень... Достроил мост до середины, а мост и рухнул! Рассердился Сартак-Пай и бросил все эти камни в Катунь. Так они и сейчас лежат там, черные камни, а вокруг них кружится и бурлит бешеная белая вода...

Длинный светлый деревянный мост показался вдали. Шоссе сворачивало на этот мост.

— Яжнай, а что я думаю...— сказала Чечек.— Сартак-Пай моста не сумел построить, а наши люди построили! Как же так? Разве наши люди сильнее, чем богатыри?

— Наверно, посильнее!— засмеялся Яжнай.

— Э, Яжнай, а Сартак-Пай умел молнии ловить!

— Вот редкость! А мы молнию не ловим? А что же у нас в электрических лампочках горит?

— О! Вот если бы Сартак-Пай встал из могилы, а тут уже и мосты построены!.. А он таких коней, как эта машина, делать не умел — правда, Яжнай?

Но Яжнай не слушал Чечек.

— Вот Усть-Сема,— сказал он,— гляди! Речка Сема впадает в Катунь. Видишь, какая вода темная?

Откуда-то с берега Семы сквозь сосновый лес вдруг долетели звуки пионерского горна. Замелькали белые домики.

Чечек высунулась из кабины:

— Что это там? Пионеры?

— Пионерский лагерь,— сказал шофер.— Пионеры из Горно-Алтайска живут.

Машина пролетела мимо. И снова горы, а за горами еще горы. Только уже не шумела около тракта Катунь — тракт ушел от нее в сторону. Лишь журчала узенькая, синяя с чернью речка Сема, то скрываясь в кустах, то снова сверкая на солнце.

Миновали Камлак — богатый колхоз, славившийся в округе своим крепким хозяйством и большой плантацией хмеля, приносящей тысячные доходы.

Миновали Мыюту, миновали Чергу. Это здесь, в Черге, школьники со своей учительницей Анастасией Петровной вырастили один из первых, один из лучших пришкольных яблоне-

вых садов. Вот она, справа на бугре, эта школа; вот ее невысокая длинная крыша, и над ней, словно густое зеленое облако, широкие кроны сада...

От Черги дорога пошла все на подъем и на подъем. Тракт поднимался плавно и незаметно, но поднимался беспрерывно все выше и выше, сквозь зеленые луга и рощи хвойных деревьев.

Огромные стада овец, словно белые облака, медленно двигались по склонам гор. Иногда овцы спускались к самому тракту. И случалось, что какая-нибудь старая овца, ошеломленная видом машины, бросалась не помня себя через шоссе. И тогда полстада кидалось за ней, и все бежали, толкаясь, теснясь, и невозможно было прервать этот поток ошалевшей баранты. Шофер, ворча, останавливал машину и ждал, когда освободится дорога.

После Шебалина стали часто попадаться алтайские аилы. Чечек задумчиво глядела на них. То тут, то там стоит в долине одинокий шалаш, крытый корой лиственницы. В отверстие наверху идет дым. Иногда дверца приоткрывается, оттуда вылезают маленькие ребятишки и, кутаясь в овчинные шубейки, с любопытством глядят на идущую машину... Чечек становилось грустно: почему они живут еще в аилах, когда уже много людей на Алтае научились строить хорошие дома? Вот так живет и бабушка Тарынчак... Бабушка Тарынчак ни за что не идет жить в избу!

Дорога уходила все вдаль и все на подъем. Десятки километров пролетала машина, десятки и еще десятки... И лишь изредка встречались люди. Проедет верхом на лошади старая алтайка в овчинной шубе и с трубкой в зубах, и снова нет никого. Только стада овец и коров — огромные, бессчетные стада — проходят стороной и скрываются в тайге.

Несколько раз в пути менялась погода: то солнце светило, то брызгал дождь, оставляя на ветровом стекле бисерное покрытие. И чем выше поднимались в горы, тем становилось холоднее.

Яжнай достал из кузова шубейку Чечек и велел одеться.

Ледяной ветер тянул с перевала. Моросил дождь. Угрюмо и неприветливо глядела тайга, низко повисло серое небо... Загудел и завыл ветер, посыпалась белая жесткая крупа... И сквозь ле-

тящую крупу над шоссе неожиданно поднялась широкая деревянная арка с надписью: «Семинский перевал».

— Вот как высоко забрались... — сказал Яжнай. — Чечек, у тебя в ушах давит?

— Немножко давит, — ответила Чечек, — и как-то все зевать хочется. А тебе?

— И мне тоже.

Из-под арки выехала встречная машина. Обе остановились. Шоферы оказались знакомыми, вышли покурить. Яжнай тоже подошел к ним. А Чечек, кутаясь в пубейку, выскочила из кабины посмотреть, какие цветы растут на Семинском перевале.

Тайга стояла тихая и неподвижная, сумрачно смотрели старые кедрачи. А луг был яркий и пестрый. Желтые и лиловые цветы неясно виднелись сквозь легкую белую метель.

Чечек отошла от дороги и радостно вскрикнула:

— Огоньки!

Это были ее любимые цветы — жаркие оранжевые огоньки. Чечек нарвала букетик и поскорее забралась в теплую кабину. И тотчас яркие цветы отразились во всех металлических частях — в кабине будто и в самом деле загорелись настоящие огоньки.

...После Семинского перевала начали спускаться. Понемногу миновали и снег и дождь. Начались крутые повороты. Шоссе петляло, чтобы смягчить крутой спуск. День понемножку угасал, наступал тихий, ясный холодный вечер. Горы расступились, в широкой долине показались крыши хороших, крепких построек.

Чечек протерла ладонью стекло и улыбнулась:

— Вот и домой приехали!

ДОМА

В стороне от центральных построек конного завода, у самого подножия горной гряды, виднелась длинная крыша большой конюшни: там стояли племенные жеребцы. Немного дальше расположился маленький поселок рабочих конного завода. В этом поселке жили и Торбогошевы.

Новенькие домики со светлыми окнами уютно примостились под высокой горой. Нежные пушистые лиственницы осеняли их крыши. Возле некоторых домиков, где-нибудь сбоку или на задворках, стояли старые айлы — корявые, уродливые шалаши, укрытые грубой корой... Рабочие-алтайцы переехали в новые дома, жили в них, но и айлов не бросали, не решались совсем отказаться от старого жилища. Летом ночевали там в прохладе, а зимой туда складывали какой-нибудь хозяйственный скarb.

Около дома Торбогошевых не было айла. Вместо него стоял новенький сарайчик с большим навесом, срубленный руками хозяина. А под окнами дома цвел палисадник, полный красных цветов марьяна корня.

Уже вечерело, когда Чечек и Яжная подошли к своему дому. Еще издали они услышали быстрый и звонкий говор своей матери.

Несколько женщин стояли у их крыльца, окружив мать, молодую круглолицую Баланку. Баланка держала в руках новенькую рубчатую, будто отлитую из серебра стиральную доску.

— Вот, вчера завхоз Петр Петрович привез из Горно-Алтайска! Ну что?.. Мне Анна Федоровна, наш профорг, говорит: «Ты возьми, Баланка, у меня доску, постирай попробуй!» Я взяла, попробовала — ай, хорошо! Совсем руки не болят. Гляжу, завхоз собирается в Горно-Алтайск. Я говорю своему Василию: «Василь, давай и мы купим доску?» А он говорит: «Давай купим». Вот и купили!

Женщины разглядывали доску, проводили пальцами по ее серебряным рубчикам:

— Ай, хороша!

— А как на ней стирать? — задумчиво сказала одна женщина. — Нам не суметь.

— Как это не суметь? Вот еще! — возразила Баланка. — Это сначала так кажется, что не суметь! Кто захочет, так сумеет. А кто не захочет, никогда не сумеет. Вот хоть наша Эзе...

Смуглая узкоглазая Эзе лениво взглянула на Баланку:

— А что — Эзе?

— А вот то Эзе! Опять тебя вчера на собрании бранили. Почему вот у Ольги в избе чисто, у Тайчи чисто, у меня чисто,

а у тебя грязно? Почему не моешь? Силы нету? Есть сила, ты молодая, здоровая! Не умеешь? А почему мы умеем? Тоже не в избах родились!..

Эзе слабо отмахнулась:

— А вам-то какая беда?

— Какая беда! — возмутилась Тайчи. — Разве нам это слушать каждый раз хорошо? Нам же за тебя совестно!..

— Эзен, эне! — звонко крикнула Чечек.

Все женщины разом обернулись, заулыбались смуглые лица, засветились глаза:

— Гости! Гости!

— Гости дорогие приехали!..

Баланка вся расцвела улыбкой и зарумянилась, как цветок марьяна корня:

— Дети мои приехали!.. Сколько ждала! Что ж вы так долго, что так долго?.. — И, сунув на ступеньку крыльца свою новую доску, бросилась навстречу детям и обняла их обоих сразу. — Вот как долго не приезжали!..

Чечек первая вошла в дом.

Пахнуло свежестью чисто промытых полов и вечерней прохлады, льющейся в широко открытые окна.

Мать сейчас же собрала им пообедать. И Чечек, едва усевшись за стол, начала ей рассказывать, как жила в интернате, как сажали яблоньки, как Костина мать ее угощала лепешками, как Костя ее называл «бурундук», как она вступила в пионерский отряд и Костя стал ее звать Чечек и как они ходили с Костей на водопад, а кролики убежали...

Мать в конце концов, смеясь, зажала уши:

— Не могу все сразу слушать! Каждый день понемножку давай!..

А Яжнай сказал, покачав головой:

— Ну уж досталось, видно, Константину хлопот с этой болтуньей!

Яжнай стал расспрашивать мать о домашних делах, а она его — о Барнауле... Чечек посмотрела в окно, не идет ли отец. Включила радио — шла какая-то агротехническая передача. Потрогала цветы на окнах — ну, так и знала: опять поливать забывают! Полила цветы, достала свои куклы... Но тут же бро-

сила их и побежала к отцу в конюшню, где он задавал лошадям корм. Отец очень обрадовался, увидев Чечек:

— Э, дочка приехала!.. И сынок приехал?.. Ученые люди приехали! Здравствуй, здравствуй, дочка!

Чечек принялась помогать отцу. Она таскала сено к стойлам, но в стойла входить боялась: жеребцы были строгие, беспокойные. Сейчас тут стояли только выездные и такие, которых обучали для бегов и скачек. Остальные ходили в тайге, с косяками маток.

Чечек поглядывала на лошадей сквозь деревянную решетку стойла. Она узнавала их:

— А, это Инжир!.. Что, черный? Что, косматый? Как поживаешь?

Инжир глядел на нее огненным глазом из-под черной, как туча, косматой гривы.

— Отец, а ты не боишься? Гляди, он тебя зубом хватит!

— Не хватит,— спокойно отвечал отец,— лошадь никогда зря не хватит!

Чечек шла дальше. Вот темно-гнедой красавец Раскат. Ах, как умеет бегать этот Раскат, как он четко стучит копытами, а голову держит вверх и гриву гордо развеивает по ветру!

Вот золотой кабардинец Богдыхан, нервный и тревожный. Он и в стойле не может стоять спокойно — переступает своими тонкими ногами и шевелит золотистыми ушами.

Вот молодой скакун Вальс. У него добрые, ясные глаза, и сам он весь словно бархатный. К нему Чечек, пожалуй, вошла бы, но он пуглив и сразу бьет копытом.

А вот еще одна скаковая лошадка — Кремень, ярко-рыжая, с белыми ножками. Чечек видела не раз, как Кремень берет препятствия и как тренер Николай Андреевич учит его ходить испанским шагом — вытягивая переднюю ногу. Это был шаг торжественный, церемониальный, но Кремень никак не мог научиться. А когда у него получалось, тренер давал ему сахару...

— Отец, а почему ты не боишься к ним входить?— спросила Чечек.— Я вот никаких лошадей не боюсь, а жеребцов боюсь — они злые! Смотри, смотри, как Богдыхан уши прижимает.

— Не боюсь я их потому, что они меня знают и я их знаю. Ведь к лошади тонкий подход нужен. К одной, например, надо



— Вот, дочка, видела?.. Яжнай будет хороший лошаdник. Учись!

войти, крикнуть на нее: «Стоять!» — она и замрет. Чувствует — хозяин пришел. А на другую так вот крикнешь — она повернется да и хватит тебя зубом. Значит, характер такой гордый. Ну, этой, может, надо сахару принести или овсеца. А третья любит ласку. Вот к Раскату войдешь и только скажешь ласково: «Раска-а-ат!» — и погладишь его, а уж он сейчас к тебе морду протянет и начнет тереться об руку или о плечо... Вот когда ты у меня будешь зоотехником или ветеринаром, то прежде каждую лошадь изучи и запомни: у этой такой характер, а у этой другой характер — ведь они у нас всякие бывают!

— Это Яжнай будет изучать... — тихо возразила Чечек.

В это время Яжнай вбежал в конюшню:

— Здравствуй, отец! Уже накормил? Ну, как лошади? Я дам овса Богдыхану... Смирно, Богдыхан! Ну!

Яжнай смело вошел в стойло к Богдыхану, который косился на него, прижав уши. Яжнай, не обращая внимания на его угрожающий взгляд, насыпал овса и положил руку на его крутую шею. Богдыхан затанцевал, но под рукой Яжная скоро притих и потянулся к овсу.

— Вот, дочка, видела?.. Яжнай будет хороший лошадник. Учись!

— Я не буду лошадником, — тихо сказала Чечек, — это Яжнай будет. А я — нет. Я буду совсем другое дело делать.

— О, совсем другое? А какое же это другое дело, дочка?

— Я буду сады сажать.

— Что?

— Я буду сады сажать, отец. Сады, сады! Я буду яблони сажать, чтобы у нас в горах тоже сладкие яблоки росли!..

Чечек в тот же день обежала весь поселок. Навестила соседей, повидалась с подружками, подралась с Петькой — ветеринаровым сыном: Петька щеголял перед ней на гнедом Ветерке и не дал прокатиться.

* * *

Пестрые, полные маленьких событий побежали дни.

Чечек бегала вместе с Петькой и Катей, дочкой заведующего свинофермой, в дальние загоны, куда пригоняют на ночь свиней.

Они смотрели, как шло по горам огромное стадо: и свиньи, и

поросята, и большие свирепые хрюки. Свиньи рыли землю, хрюкали, толкали друг друга толстыми боками...

Бегали и на овечью ферму, где в это время стригли овец. Смотрели, как рабочие электрической машинкой снимали с овец их пушистую шубу. После стрижки оголенная овца, жалкая и смешная, вскакивала на ноги и, жалобно блея, убегала в дальний угол загона, а на земле оставалась воздушная кучка белой шерсти.

И всем своим друзьям и всем знакомым Чечек без конца рассказывала о своей новой школе, о белом доме, который стоит у подножия Чейнеш-Кая, на берегу большой реки Катунь. И скоро уже на всем конном заводе знали, какой у них в школе строгий директор — строгий и добрый, и какая хорошая у них Марфа Петровна, и какие подруги у Чечек, и как долго Чечек думала, что Алешка Репейников — злыдня, а он и не злыдня вовсе, а даже хороший пионер...

Рассказывала она и о яблонях, которые цвели белым и розовым цветом, о садах, где созревают яблоки и груши, о своем школьном садике, зазеленевшем на берегу Катунь...

Но о чем бы ни рассказывала Чечек, она не забывала упомянуть о друге своего брата — Кенскине. И если верить словам Чечек, то не было на свете человека лучше, умнее и добрее, чем друг ее брата Кенский Кандыков!

* * *

...Июль уже отсчитал добрую половину своих дней, в Горно-Алтайске доцветали яблони и завязывались плоды, ребятишки гурьбой бегали купаться за город на реку Майму, а в горах люди ходили в овчинных шубах, и в домах жарко топились печи. Дули ледяные ветры, и Чечек, плотно запахнув шубейку, долго смотрела, как на дальних вершинах крутилась снежная метель, оставляя среди зелени снежные сугробы.

Чечек стояла под серебристым дранковым навесом конюшни, смотрела, думала... Сколько гор у них на Алтае! Горы со всех сторон окружили поселок, а за горами еще горы — темно-зеленые, темно-синие, лиловые и самые далекие — голубые, тонкие, воздушные очертания голубых вершин — голубой Алтай.

А как будут расти здесь яблоньки, когда и летом по горам снег метет?..

Из конюшни вышел Петькин отец — ветеринар Павел Иванович. А по дороге от зернохранилища показался старый сторож Бадин-Яш.

— Холодно, Бадин-Яш! — сказал Павел Иванович. — Озяб ночью?

— Ничего, — добродушно улыбнулся Бадин-Яш, — еще мала-мала озябну!

— А ты скажи, Бадин-Яш, когда тепло будет? У людей лето, а у нас все ноябрь!

— Ишо мала-мала — и тепло будет. День, два, три — и тепло будет. Лето будет!

Чечек обрадовалась. Бадин-Яш сказал: скоро тепло будет, значит, и правда будет тепло. Бадин-Яш всегда все знает. Знает, когда кедровые орехи уродаются, а когда нет — еще зимой скажет. Все пастбища в тайге знает, тропки, ручьи. Директор конного завода, когда собирает совет насчет пастбищ, всегда и Бадин-Яша зовет. И больше всех слушает Бадин-Яша...

Чечек прибежала домой:

— Матушка, через два дня тепло будет! Поедем с тобой к бабушке Тарынчак!

— А как же я поеду, — сказала мать, — мы еще не кончили овец стричь! А потом на покос пойдём. Надо скоту к весне сена запасать — к весне скотина отощает, подкармливать будем. А то вдруг гололедица случится, снег льдом подернется — скотина снег раскопать не сможет, особенно овцы: у них копытца слабые, и будут ходить голодные... Вот тут опять сено нужно. Ну как же я, дочка, в горячую пору могу с фермы уехать? Я не могу, дочка. А ты, если хочешь, поезжай. Вот повезут продукты в бригаду, и ты поезжай.

— Ладно, поеду. Книжки возьму, бабушке читать буду.

— Э, бабушке читать! Бабушка русских книг не понимает.

— А я буду рассказывать!

— Ты будешь рассказывать, бабушка будет рассказывать — кто только у вас слушать будет? Обе рассказывать мастерицы! Ты вот мне почитай, я хоть послушаю, как ты читаешь.

Чечек взяла книгу, но, взглянув нечаянно в окно, вскочила:

— Легковая машина пришла! Вон, вон, около директорова дома остановилась!— и, схватив шубейку, выбежала на улицу.

Но минут через двадцать она вернулась:

— Так себе. Какие-то люди. Говорят — из Новосибирска. Хотели кино снимать, а не стали. Уехали... Давай я тебе прочитаю.

Но мать уже собиралась на работу.

— А ты что ж, на них рассердилась?— улыбнулась мать.

— Конечно,— ответила Чечек, надув губы.— А что им у нас не понравилось? Уехали!.. А нам как хотелось посмотреть! Все ребятишки набежали. Мы же никогда не видели, как кино снимают.

— Еще увидишь,— сказала мать,— жизнь велика. Вымой посуду, дочка, а я в загон пойду.

У БАБУШКИ ТАРЫНЧАК

Как сказал Бадин-Яш, так и случилось: два дня дул ледяной ветер, два дня лежали на конусах гор тяжелые облака, а на третий день люди проснулись и увидели ясную, тихую зарю, услышали птичий щебет. Солнце засияло по-летнему и сразу согрело долину.

В этот день Чечек на повозке с продуктами ехала к бабушке Тарынчак. Как давно она не была в этой тихой долине, где стояли старые аилы коннозаводской бригады! Сытые лошади шли не спеша. Молодой рабочий — широкоскулый Антон — напевал тихонько и не погонял лошадей: день хороший, солнце греет — куда торопиться? Дорога шла по большой долине, засеянной рожью. Чуть заметный ветерок волнами проходил по густой, невысокой, еще зеленой ржи.

— Эх, рожь! — прервав монотонную песню, сказал Антон.— Уж пора бы в трубку закручиваться, а она от холода совсем застыла, росту нет...

И снова запел. Как ни застывают поля от холода, а все-таки отогреваются, и хлеба созревают помаленьку. Неровный климат в Горном Алтае, неверный... но борется с ним богатая черная алтайская земля. И борется советский человек! Острыми плуга-

ми вспахивает он землю, удобряет ее и навозом и минералами — разные химические удобрения стали применять люди... А сеют тоже не как придется, но лучшими сортовыми семенами засевают поля... И чего теперь только не растет в долинах: и рожь, и овес, и лен, и гречиха!.. Когда это было на Алтае?..

Вечерело. Над долиной сияло большое оранжевое солнце, и синие тени ложились от высоких лиственниц. Окруженные горами и густой хвойной тайгой, в долине стояли айлы — конусообразные шалаши, древние жилища алтайцев. Вот виден аил бабушки Тарынчак.

Чечек взяла вожжи из рук Антона:

— А ну-ка, пошли! Бегите скорей! Вот еще!..

Лошади прибавили шаг, пустились ленивой рысью. У крайнего айла Чечек соскочила с повозки:

— Бабушка, эзен! Как поживаешь?

Из открытой дверцы айла выглянула бабушка Тарынчак. Лицо у нее морщинистое, коричневое, из-под набухших век светятся веселые узкие, как щелочки, глаза. На ее круглой меховой шапке красуется черная кисть, а на плечи свешиваются жесткие черные косы. Бабушка вынула изо рта дымящуюся трубку и широко улыбнулась:

— Эзен, эзен, внучка! Вот как хорошо, что приехала! А я одна и одна... Старый Торбогош в тайге, редко домой приходит... Входи, садись, Чечек, поешь — мясо есть, сырчик есть... Чегень¹ хороший!

Чечек вошла в аил — как давно не была она здесь! — и усе-лась на полу, на упругой, густой шкуре дикого козла.

Посреди айла, в ямке, вырытой в земляном полу, жарко рдели крупные угли. Бабушка подбросила несколько сухих поленьев — вспыхнул огонь, и фиолетовый дым потянулся к отверстию, которое светилось на верху айла.

Светлое пламя озарило наклонные стены, черные от сажи, построенные из жердей и толстой коры. Чечек оглянулась кругом — всё по-прежнему в бабушкином айле. У одной стены стоит кадошка с кислым чегенем. Рядом висит привязанная к жердям полочка — там лежит хлеб, стоит посуда. Узкий деревянный ларь с мукой, а на ларе овчины, шкуры козлов, подушка —

¹ Чегень — квашеное молоко.

здесь спят гости. А бабушка Тарынчак, закутавшись в шубу, спит на земле около очага.

— Как поживаешь, бабушка? Как твои дела? — весело и ласково сказала Чечек, заглядывая ей в лицо. — Какие у тебя новости?

— Какие там новости! Рыжая корова недавно отелилась. Теперь у меня три коровы да три телят... Пастухи обещали деду Торбогошу щенка привезти — буду приучать, чтобы коров домой пригонял, я старая становлюсь... Ну какие у нас новости! Вот еще — второй трактор к нам в бригаду пришел. Да еще недавно новую машину привезли: сама сено сгребает, широкий вал берет! Вся голубая, как цветок. А зубья серебром светятся! Красивая машина! И подгребает чисто, не то что волокуши наши...

— А говоришь — новостей нет! — засмеялась Чечек. — Вон сколько сразу наговорила!

— Э! — отмахнулась бабушка Тарынчак. — Ну что это, какие новости!.. Лучше ты расскажи.

— Вот ты как, бабушка! Так уж тебе это все, значит, не новости? Наверно, у тебя раньше здесь больше новостей было!

— Раньше? — Бабушка Тарынчак посмотрела на Чечек. — А что же раньше было? Вот так! Да ничего не было!

— Ага! А теперь уж и тракторы тебе не новости и голубая машина не новости!.. Ишь ты какая, бабушка!

Бабушка Тарынчак с улыбкой покачала головой:

— Да ведь привыкли уже. К хорошему привыкнуть долго ли? Нет, к хорошему привыкнуть недолго. Вот, как будто это уже и не новости! Время другое — и мы другие. Уж как будто все так и быть должно... А ты, внучка, ездила далеко. У тебя-то, наверно, очень интересные новости есть?

— Да, конечно, у меня есть новости! — согласилась Чечек.

И снова — уж в который раз! — пришлось ей рассказать о школе, о подругах, о директоре, и о том, как сажали сад, и о том, как ее принимали в пионеры, и о том, как ставили спектакль... И, конечно, хоть чуть-чуть, да пришлось упомянуть и про товарища брата, про самого умного и самого доброго человека, про Кенскина Кандыкова.

— Э, что же мы! — спохватилась бабушка Тарынчак. — Всё сидим да всё говорим, а гостей не кормим!

— Бабушка,— сказала Чечек, принимаясь за сырчики,— директор хочет избы строить!

— Пускай строит,— ответила бабушка.

— И тебе избы построит.

— А построит — пускай сам живет. На что мне изба? Где родилась, там и помирать буду... Кушай, Чечек!.. Я в избе жить не буду.

Бабушка Тарынчак, прежде чем подать молоко, подошла к толстой жерди, около которой стояла маленькая засаленная берестяная куколка. Чечек сначала даже не разглядела ее.

— Ягочи-Хан, живущий на пятом небе, хранитель кута!..— пробормотала бабушка и побрызгала на куколку молоком.

— Бабушка, а что такое «кут»?— спросила Чечек.

— Кут — семечко, Чечек. Семечко, из которого растет все: и травы, и цветы, и деревья, и человек...

— А где такое семечко есть?

— Ну, это я не знаю, Чечек. Ты побольше ешь да поменьше говори!

— Бабушка, а ты сегодня еще какую-нибудь сказку расскажешь?

— А разве это сказка? Ягочи-Хан — добрый бог. Не трогай его, он живет тихо. Живет и живет — ну что тебе?.. Вот и стадо идет, слышишь? Коровы мычат. Собаки лают...

Бабушка Тарынчак вышла из аила. Чечек наскоро съела кусок жесткого, пахнущего дымом сырчика и выскочила вслед за ней.

Солнце уже опустилось за горы. Широкие полосы угасающего света лежали в долине. К аилам подошли коровы, медленные, тяжелые. Никаких загонov не было. Коровы подходили, оставались и флегматично ждали. Около аилов хлопотали хозяйки. Они усаживались доить коров, а маленькие желтые телята лезли сосать вымя.

Бабушка Тарынчак, не выпуская трубки из зубов, вынесла пойло в деревянной бадейке. Большая светлая корова, отяжелевшая от обильных кормов, подошла к бадейке, а за ней подошли еще две. Бабушка подошла одну корову, потом другую, потом третью.

И каждую не додаивала до конца, оставляя молоко телятам. А телята только и ждали, чтобы их подпустили к коровам пососать молока... Негромкий говор, негромкий смех слышался в стане. А кругом, на горах, лежала глубокая тишина...

Маленькая соседская девочка, черноглазая Чоо-Чой, увидела Чечек:

— Чечек приехала!

— Приехала!— весело сказала Чечек.— А где ваша Ардинэ, дома?

— Ардинэ далеко, на покосе. Там ночует. А Нуклай и Колька Манеев вот тут, недалеко, сено сгребают. Вот они едут домой.

От тайги по долине к аилам шли рабочие с косами на плечах. Верхом на лошадях, впряженных в деревянные волокуши, подъезжали мальчишки. Один, совсем маленький, еле видный из-за лошадиной головы, помахивал кнутом и что-то пел.

— Это Чот, Тызыякова сын!— улыбнулась Чоо-Чой.— Вот лошадей любит — ни за что не стащишь с лошади!

Быстро темнело. Засветились ясные, тихие звезды и повисли над конусами гор. Маленькие ребятишки бегали по луговине, играли с маленькими белыми щенятами. Щенята договяли их и хватали за пятки, и ребятишки громко смеялись.

— Пойдем и мы с ними побегаем!— сказала Чечек.— Какие щеночки хорошенькие!

Чечек бегала и играла с ребятишками, пока совсем не погасло небо. Тогда она вернулась в бабушкин аил. Коровы уже лежали около аила и дремотно жевали жвачку. А телята, все три привязанные к одному столбику, вбитому в землю, спали, прижавшись друг к другу.

Бабушка Тарынчак вышла, постояла около аила:

— Горы спят. Тайга спит. Люди тоже уснут скоро. Только звезды будут глядеть всю ночь ясными глазами.

— Бабушка, я давно у тебя не была,— сказала Чечек, когда они обе улеглись спать на козлиных шкурах.— Расскажи мне еще что-нибудь. Расскажи про злого Эрлика, про Сартак-Пая расскажи. И как ты молодая была... И как шаманы были... Про всё расскажи!

Бабушка Тарынчак только того и ждала. Она многое могла рассказать, лишь бы кто-нибудь слушал. Старик ее, дед Торбо-

гош, всегда в тайге с табунами, а бабушка Тарынчак досыта намолчалась в долгие одинокие ночи...

В аиле теплая, пропахшая дымом и крепкими ароматами трав тишина. Тишина и за черными покатыми стенами аила — во всем мире... Еще жарко тлеют и мерцают угли в очаге, и сонные оранжевые отсветы бродят по стропилам, освещают бабушкино коричневое лицо, и косы ее — черные с сединой, и блестящие белые раковины, вплетенные в эти косы для красоты.

Бабушка поднялась, чтобы зажечь трубку, да так и осталась сидеть у огня.

— Много сразу вопросов задала, — сказала она, — и про то, и про другое... Если про Сартак-Пая, старого богатыря, начать рассказывать... да про других богатырей начать рассказывать, то и ночи не хватит.

А потом подумала немножко и начала:

— Молодые теперь ничего не знают... Ходят по горам и не знают, что многие наши горы — это не горы. Это богатыри алтайские превратились в камень...

— Как это? — удивилась Чечек. — А нам в школе говорили...

— Ну, а раз говорили, тогда что же я расскажу? Ты уже все знаешь!

— Нет, нет, бабушка! — спохватилась Чечек. — Что в школе говорили — знаю, а что ты расскажешь — ничего не знаю! Расскажи, бабушка!

Бабушка Тарынчак помолчала немножко и начала снова:

— Давно-давно был на земле большой потоп, затопил все долины, все горы, всю землю. А после этого потопа земля потеряла свою твердость, мягкая стала и больше не могла держать богатырей на себе. И стали те богатыри горами — стоят на одном месте, землю не тревожат...

— Все наши горы, бабушка? — спросила Чечек с любопытством.

— Нет, не все, — ответила бабушка, — а вот есть горы: Казырган-гора есть, Казере-даг гора есть. Это два брата были, два богатыря — Казырган и Казере-даг. Поссорились эти братья и разошлись. Мать хотела их помирить, просила, уговаривала. Не хотели они помириться! Тогда мать рассердилась и заклала их тяжелым заклатьем. «Будьте же вы горами!» — сказала мать.

Богатыри и превратились в горы. И сейчас стоят: Казырган на реке Абакане, а Казере-даг на реке Кемчине. Казырган-гора очень сердитая. Охотнику не надо почевать на этой горе. И тогда Туу-Эззи Казырган выходит наверх и страшно хохочет ночью. Если человек услышит — скоро помрет...

Бабушка Тарынчак замолчала, попыхивая трубкой. Чечек было и страшно и хорошо.

— Бабушка, еще!.. — попросила она, поближе подвигаясь к огню.

— А еще есть гора Ак-Кая. И это не гора. Это кам¹ стоит. Жили два кама — Ак-Кая старший и Ак-Кая младший. Младшего позвали шаманить к больному. Он хорошо шаманил — облегчил болезнь. И за это подарили ему белый суконный халат. А старший Ак-Кая позавидовал. Сильный он был, раскаленное железо без молота ковал: одной рукой держит, а другой рукой кулаком бьет. Вот этот старший Ак-Кая позавидовал младшему и превратил его в гору. Так он и стоит теперь на реке Кондо-ме — Ак-Кая, Белый камень.

— Бабушка, а еще?..

— Да мало ли их! Вот на реке Мрасе скалы стоят. Все из песчаника да из гальки. Будто столбы стоят. А это не столбы, это тоже богатыри. Зовут эти скалы Улуг-Таг. Одна скала выше всех — Карол-Чук, караульщик... Вот еще на реке Кыйныг-Зу стоит гора Кылан, а на другой стороне реки, на утесе, — семь гребней. Кылан была вдова, у нее было семь дочерей. Один богатырь посватался, хотел взять у нее одну дочку. А Кылан не отдала. Тогда богатырь всех дочерей забрал себе. Так они и стоят теперь на берегах Кыйныг-Зу и смотрят друг на друга через реку...

И еще о многих горах рассказывала бабушка: о Мус-Таге — Ледяной горе, о горе Абоган, о горе Бобырган... И после каждого рассказа поглядывала на Чечек — не спит ли? Но черные глаза Чечек блестели, как спелая черемуха, облитая дождем.

— Еще, еще, бабушка!

И еще одну историю поведала бабушка Тарынчак — о богатыре горы Катунь:

¹ Кам — шаман.

— ...Где-то на берегу Кондомы стоит гора Катунь. Большая гора, а наверху у нее каменный утес. Здесь, под этой горой, родился один алтайский богатырь. Страшная сила была у этого богатыря. Еще мальчиком, как станет играть с ребятами, за руку схватит — рука прочь, за голову схватит — голова прочь... Медведей руками разрывал! Отец, бывало, велит ему загнать корову, а он ее схватит в охапку и принесет домой. Дров нужно — вырвет огромную сосну с корнями и бежит, несет ее на плече. А было всего ему десять лет.

Сила его год от году возрастала. Но стали и родители и соседи замечать, что ума у него не хватает. А сила без ума — дело страшное. И задумали соседи и родители вместе с ними эту безумную силу порешить. Шесть недель на утесе Катунь калили они на костре большой камень. А потом отец сказал сыну: «Ну, милый сын, пойдь встань на берегу реки и смотри на утес: мы оттуда будем гнать красного оленя, а ты его хватай и держи до моего прихода». И вот летит раскаленный камень с горы, а богатырь его хватает. Камень жжет его богатырское сердце, но он говорит: «Пусть всего меня ты изожжешь, а уж я тебя не выпущу, пока не придет батюшка!» И не выпустил. Но сжег свое сердце и умер... Спишь, Чечек?..

Но Чечек поднялась, встала на колени. В глазах ее забегали слезинки, и отблески огня раздробились в зрачках.

— Ой, бабушка, бабушка, — сказала она, — и неужели им было его не жалко?

— Может, и жалко было... — задумчиво ответила бабушка Тарынчак. — Да что же делать: боялись его! Может, потому теперь и воеет гора Катунь... Молчит, молчит да и завоет. А кто говорит, что это она воеет перед дождем...

Бабушка Тарынчак докурила трубку, выбила золу и сказала:

— Хватит на сегодня, спать надо. Месяц од-дай¹ — большой месяц. Дни длинные, ночи короткие.

И правда: не успел костер погаснуть как следует, а уже сверху, в дымовое отверстие, засквозила неясная голубизна и птичий голос чирикнул что-то.

Чечек улеглась поудобнее, вытерла глаза и уснула.

¹ О д - д а й — июль.

НА ПОКОСЕ

Утром Чечек разбудила маленькая веселая Чоо-Чой:

— Ты все спишь? На покос пойдем? Нуклай уже приехал завтракать — с зари косил! Наша Ардинэ пришла!

— Эртэ баскан кижы — эки казан ичер (ранняя птичка клюв прочищает — поздняя глаза продирает), — сказала бабушка Тарынчак.

Она возилась около очага, делала лепешки — сырчики — и клала их в дым, на железную решетку над очагом.

Чечек вскочила:

— Ардинэ пришла!.. Бабушка, где умыться?

— А что, каждый день умываться надо? — сказала бабушка Тарынчак. — Ведь вот вы с дедом какие! Только бы и плескались в воде! Много мыться будешь — счастье свое смоешь. Мы в старину, бывало, никогда не умывались, счастье берегли.

— Значит, ты, бабушка, очень счастливая была?

Бабушка Тарынчак вздохнула и не ответила.

— Нет, ты, бабушка, все-таки скажи: значит, ты очень счастливая была?

Но бабушка только отмахнулась от нее:

— Иди, иди! Вот Чоо-Чой тебе польет.

Вода из родника была чистая и холодная. Чечек умывалась, брызгалась, смеялась. Чоо-Чой плеснула Чечек последний раз в пригоршни, а остаток воды вылила ей на голову. Тогда Чечек мокрыми руками умыла Чоо-Чой. Чоо-Чой вырвалась, убежала. Чечек погналась за ней. Крики, смех поднялись на луговине.

— Подожди, подожди! — кричала Чечек. — Вот я сейчас выгрусь да поймаю тебя!..

— Вытрись сначала! — отвечала Чоо-Чой.

— И ты вытрись.

А пока бегали — обе высохли. От холодной воды, от свежего утра, от беготни и смеха Чечек жарко разругнялась.

И бабушка Тарынчак сказала про себя, поглядывая на нее: «Цветок! Цветочек! Мы, бывало, в старину боялись умываться, боялись счастье смыть. А где оно было, счастье? Его не было...»

И, может, вспомнилась в эту минуту бабушке Тарынчак ее

молодость. Что такое была она? Разве человек? Как вышла замуж, как надела чегедек, так ни на один день и не сняла его... Работа, нужда, голод... Муж — у бая пастух, байские стада пас и всегда был в долгу у бая... А когда же было счастье?..

И снова повторила про себя: «Не было его... не было...»

После завтрака Чечек убежала с ребятишками на покос.

Много трав расцвело в июльских долинах. Распушила розовые шапочки душица. Пижма — полевая рябина — подставила солнцу свои желтые плоские цветы-пуговицы. Буковица высоко подняла четырехгранный шерстистый стебель с розовым колосом наверху. Неистойой синевой светились дельфиниумы. И чемерица, жесткая, неласковая трава, красовалась нынче белыми звездочками, собранными в густую кисть.

Щедрая роса лежала на травах по утрам. И тогда выходили в долину косилки, и травы ложились ровными рядами по отлогим склонам. Сначала свежие, зеленые, тяжелые, а потом светлеющие под жарким солнцем, они золотились, становились легкими и ломкими.

Такие вот золотисто-зеленые ряды увидела Чечек, когда прибежала в долину. Эти ряды поднимались высоко-высоко по склонам, они разлиновали все окрестные горы до самого подножия тайги, растущей на вершинах.

Все люди, жившие в стане, пришли на покос. Зашелестели под граблями длинные подсыхающие травы. Женщины и ребятишки уходили всё выше и выше, разбивая скошенные ряды.

Старый рабочий Устин готовил место для стога — под крутым увалом, под густыми лиственницами.

Солнце пригревало. Июль вдруг взялся за силу и словно хотел наверстать упущенное: и землю прогреть, и хлеба подрастить, и сено высушить. Чечек давно уже сняла свою шапочку с малиновой кисточкой и повесила на мохнатую лапу лиственницы. Лоб и без шапки был мокрый, и гладкие волосы стали влажными на висках.

Ардинэ, старшая сестра Чоо-Чой, давняя подруга Чечек — они вместе учились в начальной школе, — шла рядом с ней. Они ворошили сено, а разговор у них не умолкал — столько надо было рассказать друг другу!

Ардинэ спрашивала про школу — про ту школу, что стоит на берегу Катуня:

— Чечек, а там все русские?

— Почему же все русские? Нет, не все. И русские и алтайцы!

— А может, они смеются над алтайцами, что мы плохо по-русски говорим?..

Чечек усмехнулась:

— Ой, что ты, Ардинэ! Никогда не смеются! Что, Кенский будет смеяться надо мной?..

Голубоглазое спокойное и немножко суровое лицо старшего друга возникло перед ней и улыбнулось ей краешком рта... И Чечек словно услышала его голос: «Эх ты, бурундук!»

— И кто еще будет смеяться? Мая?.. Она хоть и белая, как кок-чечек¹, да ведь алтайка тоже. Лида Королькова, подруга моя?.. Что ты! Даже Алешка Репейников, хоть и вредный, а разве будет смеяться? Что ты! Что ты, Ардинэ! Да ведь мы же пионеры — и мы и русские, — все пионеры! Что ты, Ардинэ, что ты!

— Тебе хорошо, — задумчиво сказала Ардинэ, — а у нас маленькие ребятишки дома... Мать мало трудодней заработает, если я уйду...

Чечек даже остановилась с граблями в руках:

— О Ардинэ! А детский сад на что? Что ты! Пускай мать сходит к директору. У нас же детский сад есть.

— Попрошу, — согласилась Ардинэ, — к нашей учительнице схожу. Ты помнишь нашу Аллу Всеволодовну?

— А как же! Алла Всеволодовна добрая.

— К ней схожу — пусть с моей матерью поговорит... А осенью я с тобой на Катунь поеду.

— Ай, было бы хорошо! — закричала Чечек. — Ай, весело было бы! Вместе стали бы яблони выращивать, прививать научились бы и в сортах разбираться... А сажать я уже умею — я уже сажала! Ой, как-то, как-то они там, мои милые яблоньки, мои дорогие, мои тоненькие?..

И Чечек вдруг всеми силами души захотелось очутиться на берегу Катуня, вбежать в школьный сад и посмотреть на свои

¹ Кок-чечек — белый цветок.

яблоньки — целы ли? Не сломал ли кто? Не напала ли на них тля? И сколько на них новых листиков распустилось?..

— Их там берегут наши ребята, которые в том колхозе живут, — сказала она. — Они обязательно их берегут... — И, вспомнив «тот колхоз», добавила: — А знаешь, Ардинэ, там все в избах живут. Там все в деревянных избах живут: и русские и алтайцы. А наших айлов даже и не строят совсем.

— У нас в бригаде тоже будут избы строить, — сказала Ардинэ, — лес возьят... Баню уже построили. А что, Чечек, в избе хорошо жить?

— Никогда не буду в избе жить! — вдруг крикнула Чоо-Чой. — Там пол мыть надо!

— Э, поживешь немножко, так обратно в аил не пойдешь, — ответила Чечек. — И ты, ленивая Чоо-Чойка, березовая чашечка¹, тоже вымоешь пол да скажешь: «Вот как в моем чистом доме хорошо!»

Вольные запахи шли по долинам — пахло сеном, пахло разогретой хвоей, и с соседнего поля вместе с гулом трактора доносился запах бензина и свежеспаханной земли.

Чечек слышала, как соседки спрашивали бабушку Тарынчак:

— Гостя у тебя? Внука?

— Внука, — отвечала бабушка, — бедовая внучка! В русской школе учится. Книжки читает — какую хочешь русскую книгу прочтет!.. А песни какие знает, послушайте-ка! Да еще хочет по всему нашему Алтаю садовые яблони сажать.

— Какие садовые яблони?

— Не знаю... Говорит, большие яблоки на них растут.

— Ишь ты! Вот бедовая внучка!..

Тихие, знойные, медленные протекали часы. Говор постепенно примолк. Чечек уже набила мозоль на ладони, а смуглая Ардинэ то и дело останавливалась, сдвигала свою шапочку на макушку и вытирала лоб.

— Да сними, сними ты ее! — сказала Чечек. — Что ты, бабушка Тарынчак, что ли? Это она привыкла, а тебе зачем привывать?..

¹ Ч о о - Ч о й — по-алтайски маленькая деревянная чашечка.

Ардинэ сняла свою шапочку и тоже повесила на ветку.

Колька Манеев, который не боялся подставлять солнцу свою белую вихрастую голову, остановился передохнуть, поглядел вниз с верхнего уступа и увидел шапки.

— Эй, Чот, Чот, гляди, какие птицы на ветках сидят! Вот одна недалеко, а другая — внизу, с малиновым хвостом. А ну-ка, пойди поймай!

Но маленький Чот, собиравший в кустах ягоды, посмотрел на «птиц» и небрежно усмехнулся:

— Сам поймай. А я пойду лошадей ловить — надо волокушу тянуть... — И закричал куда-то в тайгу: — Эй, Василь! За лошадыми пора!..

Из лесу выбежал маленький, крепкий и загорелый, как кедровый орех, Василь.

— Эй! — отозвался он. — Иду!..

И они оба, ловко соскочив с зеленого уступа горы, побежали вниз по долине.

— Куда вы? — закричала Чечек. — Вас лошади затопчут!

Мальчишки даже не оглянулись, а Ардинэ засмеялась:

— «Затопчут»! Да их все лошади знают! У нас ребятишки как сядут на лошадь, так будто прилипнут!

— У нас тоже, — согласилась Чечек, — все мальчишки... тоже как прилипнут!

— Да и я тоже — как прилипну! — крикнула Чоо-Чой.

— Чечек, а ты, может, разучилась?

— О! — ответила Чечек и слегка вспыхнула. — Я-то? Ну вот еще! Я же на конном заводе выросла. Э, что ты говоришь, Ардинэ?

— А помнишь, как падала?

— Конечно, падала... только не очень. Озорные кони бывають... Теперь-то уж меня никакой озорной конь не сбросит. Что ты! Вот еще! Да ведь я-то уж большая, а эти мальчишки... как горошинки!

Ардинэ засмеялась:

— А попробуй-ка их сбрось!

— У меня мозоль болит на ладони, — созналась Чечек, — водяной надулся.

— А у меня два надулись, — сказала Чоо-Чой.

— Не умеете грабли держать, — ответила им Ардинэ. — Ну ничего, потерпите. Немного осталось!

Чечек поглядела вперед: сено маленькими делянками лежало среди лиственниц, а дальше тесно стояли деревья, сомкнув хвойные кроны, и солнечные лучи, словно золотые стрелы, пронизывали то тут, то там зеленый таежный сумрак.

— Ну, вот и всё! — с облегчением вздохнула смуглая Ардинэ.

— Как — всё? — сказала Чечек. — А на той горе что?

— А на той горе ворошить не надо, там уже высохло!

— Ах, высохло? Ну ладно. А то можно было бы и поворошить, — сказала Чечек, — я и не устала. Ничуть!

Так сказала, а в душе была очень рада, что на той горе сено уже высохло. Она все-таки очень устала!

Женщины шли тихо вниз по склону. Красивая девушка Чейнеш запела протяжную песню про золотое озеро — Алтын-Коль.

А ребяташки побежали наперегонки. Колька Манеев и Чоо-Чой обогнали всех... А потом и Колька Манеев отстал, и красное платье Чоо-Чой уже далеко маячило в долине.

— Эх, искупаться бы! — сказала Чечек, откидывая на спину косы.

— А где, в ключе? Там и колен не замочишь.

— А побежим на озеро.

— На Аранур? — испугалась Ардинэ. — Что ты, Чечек, ты про это озеро и не говори никогда!

— Я знаю... — вдруг притихнув, сказала Чечек, — я слышала... — А через минутку улыбнулась. — А у нас около школы свой пруд есть. Чистая, чистая вода! Пруд был маленький, а ребята взяли да провели арык из Гремучего. Теперь туда день и ночь вода льется. И пять штук хариусов плавает — ребята пустили.

Ардинэ вздохнула:

— Счастливая ты, Чечек!.. — и, взглядевшись в ту сторону, где виднелись островерхие аилы, сказала: — А вот и наши выехали сено сгребать!..

Всё ближе и ближе навстречу по дороге идут лошади, тащат деревянные волокуши — такими хорошо сгребать сено со

склонов. И еще идут лошади, катятся конные грабли — новенькая голубая машина далеко видна, и приподнятые крутые зубья граблей горят на солнце.

— Бежим к ним, Ардинэ! — крикнула Чечек и, не дожидаясь ответа, побежала.

На первой паре коней с волокушей ехали Чот и Василь. Их головы еле виднелись над головами лошадей.

— Василь, Чот, — попросила Чечек, — дайте я поезжу! А? Эй!

Василь важно смотрел вперед и ничего не отвечал. А Чот ответил, тоже не глядя:

— Ага! Ты поездишь! А норму кто выполнит? Ты норму выполнишь?

И два всадника на толстых гнедых лошадях, не останавливаясь, проехали мимо, таща за собой тяжелую деревянную волокушу.

Чечек нахмурилась: вот ведь упрямые! Тоже работники, подумаешь — норму выполняют!

Но вот еще двое с волокушей. Чечек обратилась было к ним, но эти мальчишки гнали рысью и даже не слышали, что она говорила.

— Дураки! — крикнула им вслед Чечек, зная, что они все равно не услышат. — Подумаешь! А я вот возьму да на конные грабли сяду!

Но и на конные грабли не посадили Чечек. Молодой строгий бригадир Кузьма сдвинул черные брови и сказал:

— Это не игрушка — это машина. Мне в руки машину дали. Разве можно из машины игрушку делать?

Чечек, совсем огорченная, остановилась на дороге. Ардинэ догнала ее:

— Ну ладно, ладно, Чечек! Пойдем лучше искупаемся в ключе...

Неожиданно бригадир Кузьма остановил лошадей и крикнул:

— Девочки, там еще волокуша есть! Бегите запрягайте! Нуклай вам лошадей даст.

Чечек и Ардинэ бросились по дороге наперегонки с ветром. И немного времени прошло, а они уже сидели на лошадях и гнали на покос волокушу. Девочки пели, смеялись, стучали

босыми пятками по гладким бокам лошадей. Ветер разведал их длинные черные косы. Э, эй! Хорошо мчаться по мягкой дороге, хорошо, когда у людей много работы,— значит, и добра у людей много и веселья много!

Чечек и Ардинэ остановили лошадей у кромки сухого сена, раскинутого по долине.

— Дед Устин! — закричала Ардинэ. — Откуда заволакивать?

Дед Устин, который помогал молодым рабочим закладывать стог, оперся на вилы и посмотрел на них, прикрыв от солнца глаза:

— Это кто такие? Еще помощники? — И обрадовался. — Ну, давай, давай! Вон с того увала начинайте — и сюда!

Девочки повернули лошадей на округлый увал. Навстречу им шла волокуша Василя и Чота, полная пушистого сена. Чечек загляделась на них и забыла о своей лошади. Лошадь полезла куда-то в сторону, волокуша перекосилась...

— Гляди-ка! — сказал Чот, кивнув на девочек. — Во как едут!

Василь взглянул и насмешливо скривил свое круглое лицо. Чечек смутилась и тотчас выровняла свою лошадь.

Они въехали на увал, повернули лошадей и пустили вниз. Волокуша тащилась сзади, сгребая сено. И когда спустились с увала, то сено уже поднималось выше деревянных стен волокуши.

— Правь к стогу, — сказала Ардинэ.

— Не развалим по дороге? — прошептала Чечек.

Но дружные лошади шаг в шаг шли по луговине и бережно тащили полную сена волокушу.

Чечек успокоилась: и что особенного — сгребать сено волокушей! Вот уж эти мальчишки! Воображают, будто трудное дело делают, а сами только и знают, что на лошадях сидят, только и смотрят, как бы с лошадей не свалиться. Подумаешь, труд! А Чечек что смотреть: она может заснуть на лошади и то не свалится!

Вот если бы на конных граблях проехать, вот на тех, которыми Кузьма управляет!.. Вон как плавно идет эта красивая новенькая голубая машина, вон как чисто и широко она загребает сено, как блестят ее крутые серебряные зубья!



И вдруг дрогнула волокуша, затормозила...

— Стой! — крикнула Ардинэ.

Чечек остановила лошадь, но было уже поздно: Чечек загляделась на конные грабли и не видела, как ее край волокуши наехал на большой щербатый камень. Волокуша приподнялась, соскочила с камня и прошла дальше, но большая куча пушистого сена осталась позади, на зеленой скошенной луговине.

— Хо! — сказала Ардинэ. — Куда глядишь?

Чечек растерялась:

— Как же теперь, Ардинэ?

Но Ардинэ уже соскочила с лошади:

— Давай скорее запихнем в волокушу... Скорее, пока ребята не видали!

Чечек тоже спрыгнула с лошади. Девочки хватали охапки сена и закидывали обратно в волокушу. Платья сразу прилипли к плечам от пота, волосы на лбу взмокли, сено забивалось

за ворот. Но Ардинэ и Чечек бегом носились с охапками и только глядели по сторонам — не видит ли их кто? Не смеются ли над ними?

Ардинэ подобрала последнюю охапку:

— Всё! Садись, Чечек.

Они обе снова влезли на лошадей и тронулись к стогу — ровно, медленно, осторожно. Чечек уже не оглядывалась по сторонам, она только глядела лошади под ноги.

Мальчишки промчались навстречу с пустой волокушей — Чечек даже и тут не оглянулась. Но вот наконец и утес с шатром густых лиственниц, вот и стог, вот и старый Устин прищурившись глядит на них:

— Завози сюда! Давай, давай! Ближе, ближе!..

Ардинэ и Чечек подвели волокушу к самому стогу, остановились. Подбежали рабочие, приподняли волокушу. Девочки тронули лошадей — и пушистая, легкая золотисто-зеленая гора сена осталась возле стога.

— Гони, гони! — кричал дед Устин. — Живей, живей, живей! Пока солнце на небе!

Девочки засмеялись, хлестнули лошадей.

— Только не все камни сшибайте! — крикнул им вслед дед Устин.

Чечек и Ардинэ переглянулись: вот старый, увидел все-таки! И, хлестнув еще раз отгулявших за весну лошадей и хлопнув их голыми пятками по гладким бокам, снова помчались на увал. Вот и опять круглая вершина увала. И опять, медленно спускаясь, загребает волокуша шуршащее сено. И снова сено, как облако, колыхается над стенками волокуши...

— Гляди, Чечек! — повторяет Ардинэ. — Гляди!

— Гляжу, гляжу, — отзывается Чечек, — не бойся! — и не оглядываясь по сторонам, вытирает рукавом вспотевший лоб.

Июльское солнце щедро поливало зноем, золотое марево дрожало над землей. Сладкий, густой и душный запах сена неподвижно висел над долиной.

Ходили по склонам деревянные волокуши, ходили конные грабли. Все меньше становилось сена в долине, а стога вырастали один за другим около скалы, под навесом лиственниц...

Уже примолкли веселые разговоры и у лошадей потемнели

от пота бока, а дед Устин, все такой же расторопный, такой же живой, без усталости покрикивал:

— А ну давай, давай! Дружок, дружок, погоняй! Шевели вилами, шевели, шевели! Давай, давай, пока солнце на небе!..

Чечек и не заметила, как все сено перетаскали с увала. Василий и Чот захватили последний прогон, и круглая гора стала вдруг гладкая и зеленая, будто умытая.

— А теперь куда — на тот склон? — спросила Ардинэ.

— Тот склон ребята подбирают, — ответил дед Устин.

— А куда же — на равнину?

— А что на равнине делать?

Ардинэ и Чечек оглянулись на равнину — конные грабли заваливали последние валы.

— А куда ж тогда?

— Тогда домой, — сказал дед Устин. — Время не раннее, живот кушать просит.

Только сейчас заметила Чечек, что полдень давно прошел и жаркое золотое марево в долине погасло.

Какой-то верховой выехал из тайги. Лошадь шла крупной рысью. Старый, коричневый от загара человек подъехал к стогам. Черные усы свешивались у него по углам рта, и жиденькая борода торчала клином.

— Эзен! — глухо сказал он.

И все разноголосно ответили:

— Эзен! Эзен!

Чечек живо обернулась: чей это такой знакомый глухой голос?

— Дедушка Торбогош! — закричала она и замахала рукой. — Здравствуй, здравствуй, дедушка!

Строгое лицо старого смотрителя табунов Торбогоша сразу засияло и заулыбалось всеми морщинами.

— Эзен, внучка! Эзен!

Торбогош поговорил с дедом Устином, посмотрел стога, спросил, сколько скошено и сколько еще косить...

Вскоре погнали лошадей домой, в стан. Мальчишки скакали впереди, Чечек и Ардинэ — за ними. Только бригадир Кузьма остался далеко позади: он ехал шагом — боялся повредить свою новенькую голубую машину.

Старый смотритель Торбогош сначала держал коня рядом с конем деда Устина, а когда кончил разговор, пустил своего Серого. Серый поднял гривастую голову, раздул ноздри и, еле касаясь земли копытами, полетел вперед по мягкой луговой дорожке. Мальчишки пытались его догнать, но мелькнул в засиневшей дали силуэт пригнувшегося к шее коня всадника в острой шапке и исчез за поворотом...

ДЕД ТОРБОГОШ

Чечек вошла в аил усталая, разгоряченная. Бабушка Тарынчак понюхала воздух:

— Не то солнце принесла с собой, не то душистые травы!

— А дедушка где?— быстро спросила Чечек.

Бабушка Тарынчак, помешивая чегень в кожаном мешке, ворчливо ответила:

— Где?.. Везде! Только в аиле никогда нету! Пустил коня, а сам поскакал баню смотреть. Баню там какую-то строят, так ему все надо...

— Поскакал!— засмеялась Чечек.— Уж ты, бабушка, скажешь. Как будто он кабарга¹ какая-нибудь.

— Вот баню строят... Что вздумает народ! Уж теперь люди все время мыться хотят, даже зимой! И в колхозе баня, и в совхозе баня... А теперь уж и в бригаде надо баню строить! Что такое? Совсем народ беспокойный стал. А что — нельзя подождать, когда будет тепло, да помыться в ручье, если хочется?.. И старый Торбогош туда же скачет!

— Да ведь он же смотритель, бабушка!— со смехом возразила Чечек.— Что ты это! Он же должен знать, какую в смотрительстве баню строят! А как же?.. А вот как построят баню, да как натопят, да нагреют полный котел воды! Сколько хочешь лей воду, сколько хочешь мойся!.. А что, бабушка, не пойдешь?

Бабушка Тарынчак вдруг улыбнулась:

— Ну, если построят да воды нагреют, чего же я не пойду? Вот еще! Люди пойдут — и я пойду.

¹ Кабарга — животное из семейства оленей; водится в горах от Южной Сибири до Кашмира.

— Да еще как радоваться будешь! А сейчас все ворчишь.

— Да что ж ворчу? Я на деда ворчу. И все бегают и все скачут, а дома его нету и нету. Всю жизнь этого старика дома нету, и обо всем ему забота! Ну, зачем ему обо всем забота, а?

— А как же ему не забота? Вот так! Да ведь он же партийный, бабушка.

Дедушка Торбогош пришел, когда уже совсем стемнело. Бабушка Тарынчак сразу забыла свою воркотню, засуетилась около очага, раздула угли, поставила на огонь чугунок с чаем, подала толкан¹, налила в чашечки молока, нарезала мяса... Дедушка уселся около огня, поджав ноги, закурил трубку. Он глядел сквозь дым на внучку свою Чечек, и суровое лицо его светлело и смягчалось.

— Ну-ка, внучка, расскажи, чему тебя в русской школе учат.

Чечек ответила не сразу. С чего начать?

— Очень много рассказывать надо, дедушка. Вот хочешь, я тебе стихи прочитаю?

Дедушка Торбогош кивнул черной бритой головой.

— Я тебе про пастуха прочитаю. Называется «Встреча».

Он стоял на холме высоком,
Словно вылит из смуглой бронзы.
Опираясь рукой на палку,
Зорко он осматривал дали.

...Пел пастух, что обильно лето,
Что колхозная жизнь счастлива
И что белыми островками
В поле ходят стада овец.

...Я спросил его, как здоровье.
— Хорошо. А твое, товарищ? —
А по бронзовому загару
Пробежала, как луч, улыбка.

А когда я спросил о прошлом,
У него задрожали губы:
— Для чего вспоминать печали,
Если радостны мы сегодня?

¹ Толкан — мука из поджаренного ячменя, похожая на толокно, подается к чаю.

Бабушка Тарынчак так заслушалась, что не заметила, как у нее из чугуна убежал чай — бурый отвар побегов шиповника.

— Ай да Чечек! Ай да Чечек! В бабуку пошла!..

Дедушка Торбогош слушал и кивал головой, а когда Чечек замолчала, сказал:

— А еще знаешь?

— Знаю,— ответила Чечек.

Она читала стихи и про Золотое озеро — Алтын-Коль, и про Катунь-реку, и про дорогой камень, который добывают в горах Алтая и везут в Москву на постройку больших дворцов...

— Я и русские знаю!— сказала Чечек, когда прочитала все, что знала по-алтайски.

Дед кивнул головой.

— Давай русские!

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Дедушка Торбогош так же покачивал головой. А бабушка Тарынчак почти ничего не понимала, но она улыбалась: то, что читала Чечек, было как песня. А песню, иногда и не понимая, слушать радостно.

После ужина дедушка Торбогош вышел посидеть под звездами, и Чечек примостилась около него.

— Хорошие песни ты знаешь!— сказал дедушка.— А скажи-ка мне еще раз про пастуха.

Чечек снова начала читать:

Он стоял на холме высоком,
Словно вылит из смуглой бронзы...

И дедушка, шевеля губами, повторял за ней слова. А потом вздохнул и сказал:

— Хороший человек сложил эту песню!

— Это Кучияк сложил,— сказала Чечек.

Дедушка Торбогош взглянул на нее:

— Кучияк? Павел Кучияк — Ийт-Кулак — Собачье ухо?

— Почему Ийт-Кулак?

— А это его настоящее имя. Так его звали раньше... Да, я слышал о нем. И отца знал. Шаман у него был отец. Плохой

человек. Обманывал бедный народ, бубном гремел. Сколько одних лошадей погубил, самых лучших лошадей!..

Дедушка медленно, словно глядя в далекое прошлое, рассказывал Чечек о страшных и темных делах шаманов. Свадьбу справляют — шамана зовут. Заболел ли кто — шамана зовут. Умер ли кто, родился ли — опять шамана зовут... Идет шаман в аил и тащит за собой всяких богов и духов — добрых и злых. Тут и добрый Ульгень, и злой Эрлик, и небесные управители, и духи гор... И всем богам нужны жертвы: добрым — благодарственные, злым — умиловительные. Народ алтайский тогда был темный и робкий, природа своими тайнами пугала его, и люди верили шаманьим сказкам. Лучшую лошадь в хозяйстве выбирал шаман для жертвы. И лошадь ту, привязав веревками за ноги, живую раздирали во все стороны и, привязав жердь на спину, ломали ей хребет...

— Ой, дедушка, как страшно! — прервала деда Чечек. — Неужели живую?

— Да, живую. А потом начинал этот шаман бить в бубен, петь, завывать и кружиться. И будто все время с богами говорит, а боги ему его же голосом отвечают: «Ао, кам, ао!..» Ну что ж? Так и больных лечили. Шаман пляшет, с богами перекликается, а болезнь человека сжигает... Умирает больной — шаман не виноват, значит, богам так нужно или жертва была плоха. Так люди и умирали без помощи. Многие умирали. Темное время было. Вспоминать трудно моему сердцу. Но зато, когда вспомнишь и сравнишь, — сразу жить радостнее. По-другому теперь живем. Светлый день наступил для алтайского народа!..

— Дедушка, а неужели Кучияк тоже с отцом шаманил?

— Э, нет! Кучияк отца своего не любил. Он ушел от него к деду своему, к Кучияку, и даже имя его взял. Там и жил. А деда его я, Чечек, хорошо знал. Это был большой человек, умный человек, сказитель. Таких сказителей, как был старый Кучияк, пожалуй, теперь и не найдешь на Алтае. Как возьмет свой топшур¹, как начнет петь какое-нибудь сказание — одну ночь поет, другую ночь поет, третью ночь поет... Мог целую

¹ Топшур — алтайский музыкальный инструмент, похожий на скрипку.

неделю петь — и все будет складно и все умно. А откуда знал? Что от старых людей слышал, а что сам придумывал. Вот у него и Павел научился. А потом и сам большим человеком стал. В русском университете учился. Коммунистом был... А ну-ка, Чечек, скажи еще раз, как там пастух на горе стоит!

Но Чечек уже надоело читать про пастуха.

— Я тебе завтра прочитаю, ладно, деда?

— Э! Завтра! — повторил дедушка Торбогош. — Завтра мой Серый в тайгу бежать будет.

— Как? Опять в тайгу? — закричала Чечек.

— Надо. В шестой бригаде давно не был.

— Дедушка, — ласково сказала Чечек, отводя рукой его дымящуюся трубку и заглядывая ему в глаза, — возьми и меня в шестую бригаду. Дедушка, э! Я давно табунов не видела. Возьми, дедушка!

Дедушка Торбогош со скрытой усмешкой покосился на нее и сказал:

— Если сама проснешься, поедем. Будить не буду.

Чечек вскочила, захлопала в ладоши:

— Я проснусь, проснусь! Только ты скажи: а какую лошадь взять? Дай порезвее, дедушка, чтобы от твоего Серого не отставала!..

...Еще лежала на травах тяжелая роса, еще волоклись, цепляясь за хвою, туманы, а уж дед Торбогош и Чечек мчались на лошадях по таежной тропе. Прозрачное бледно-зеленое небо сияло над тайгой, и прекрасная, как во сне, белая мерцающая звезда низко висела над острыми конусами гор.

Чечек не погоняла своего рыжего Арслана: он сам бежал за конем деда Торбогоша. Острая лесная свежесть разогнала сон. От быстрой езды захватывало дух и во всем теле возникало горячее ощущение счастья.

Потом начались крутые подъемы по каменистым тропкам, еле заметным, заросшим пушистыми листьями камнеломки. Лошади пошли шагом. Они внимательно глядели под ноги и осторожно выбирали место, куда поставить копыто. Небо розовело, разгоралось. Белая звезда незаметно утонула в розовом океане утренней зари. В тайге начинали позванивать птичьи голоса. Где-то далеко-далеко прокричал марал. Лошади насто-

рожили уши, но не убавили шагу. И когда всадники поднялись на перевал, навстречу им из-за горы взошло солнце.

За перевалом светлее стала тайга, и лошади по брюхо утонули в густой траве. Луговая герань заглядывала прямо в лицо Чечек своими любопытными голубыми цветами. Мощные дудники с корзинами белых соцветий, жесткие ветки отцветших кустов маральника, тонкие пестрые саранки, бархатные красные папочки мытника — все смешалось и перепуталось в зеленом веселье кустов и трав.

Далеко вниз уходила широкая, раздольная долина. И там, внизу, где солнце уже расстелило по свежим склонам свое сияние, Чечек увидела пасущийся табун.

Серый поднял голову и заржал. Рыжий Арслан заржал тоже. Лошади из табуна сразу откликнулись им. Поджарая желтая собака со свирепым рычанием выскочила на тропу.

На увал поднялся пастух. Заслонившись рукой от солнца, он поглядел вверх, на тропу, и, сразу узнав старого смотрителя, снял овчинную шапку. Смотритель — большой человек в хозяйстве: в каждом смотрительстве — шесть бригад, а в каждой бригаде — человек по пятнадцать пастухов да голов по сто пятьдесят лошадей в каждом табуне. И всем этим смотритель ведает, и за все это смотритель отвечает.

— Эзен, Кине!

— Эзен! Эзен!

— Табыш-бар ба, Кине!

— Дюк¹, Торбогош, никаких новостей нет. Все благополучно.

Пока дед Торбогош разговаривал с пастухом, Чечек подъехала поближе к табуну. Лошади — карие, рыжие, вороные, арабских, донских, кавказских и алтайских кровей — всем табуном медленно, шаг за шагом брели по долине. Длинные гривы падали им на глаза, солнечные блики скользили по их гладким бокам и спинам. Слышались крепкий хруст травы на зубах, мягкое фырканье. Изредка тоненькое ржание жеребенка поднималось над табуном, и невнятное эхо подхватывало этот крик и повторяло где-то в далеких распадах.

¹ Дюк — нет.

Пастух поймал ближайшую лошадь, вскочил на нее и помчался. Дед Торбогош поскакал за ним. Чечек тоже хлестнула своего Арслана. Арслан вздыбился — он терпеть не мог плетки — и, замотав головой, понесся, не разбирая дороги. Чечек покрепче уперлась ногами в стремя. Хорошую лошадь дал ей дед Торбогош — только на такой лошади и ездить человеку!

Около крутой, обрывистой скалы стоял небольшой аил. Перед аилом дымился костер. В тени густого, угрюмого кедра спали пастухи, которые пасли табуны ночью. Сразу две собаки выскочили откуда-то и подняли лай. Пастухи приподнялись, протирая глаза, и никак не могли понять, кто приехал.

— Сейчас бригадира позову, — сказал пастух Кине и, запрокинув голову, пронзительно закричал, словно затрубил в трубу: — Э-ге! Талай!.. Талай!..

Вскоре наверху, в чаще, послышался конский топот, и на луговину вылетел всадник на тонконогом вороном коне. Конь дико косил горячими глазами и слегка дрожал. Всадник соскочил с седла, ласково похлопал коня по лоснящейся шее — иди! — и, сняв шапку, поклонился зрителю:

— Здравствуй, Торбогош! Давно не был... Слезай со своего Серого, тебе покушать надо!

Но дед Торбогош, не слезая с коня, обратился к Чечек:

— Ты как, внучка? Ступай отдохни.

Чечек взглянула на деда:

— А ты, дедушка?

— Я потом, — ответил дед, — сначала лошадей посмотрю.

Чечек очень проголодалась. Она бы сейчас что хочешь съела — и сырчик, и кусок хлеба, и кусок мяса, и, кажется, целый аркыт¹ чегеня выпила бы... Но она сдержанно поджала губы и сказала:

— И я потом.

Пастухи между тем окружили Чечек:

— Ай, балам!² В тайгу приехала! Гляди — хорошо на лошади сидит!

— Может, тоже зрителем будет!

— Лошадей любишь? Молодец! Любит лошадей!..

¹ А р к ы т — высокая кадушка, в которой заквашивают молоко.

² Б а л а м — дитя.

— Ай, балам! Слезай, покушай!..

Уставшие от своего долгого лесного одиночества, они все улыбались ей: такая радость — новый человек в тайге! Да еще ребенок, девочка. Почти у всех у них в стане или на фермах остались и дети и внуки, о которых много думалось в одинокие глухие часы и потихоньку тосковало сердце...

Дедушка Торбогош обратился к Талаю:

— Сколько у тебя в табунах?

— Сто сорок семь маток, тридцать восемь жеребят.

— Верно?

— Да как же! Не первый день в бригаде.

— Прогони!

Бригадир Талай, быстро взглянув в неподвижное, суровое лицо смотрителя, чуть-чуть усмехнулся:

— Ну что ж, прогоним!

Он кивнул пастухам. Пастухи торопливо направились к своим лошадям, которые паслись около аила. А смотритель, бригадир и за ними Чечек спустились на широкую притоптанную луговину. Луговину пересекал забор из тонких жердей. Четкая сипя сквозная тень лежала от пего на траве, а посреди забора отчетливо светились небольшие открытые ворота.

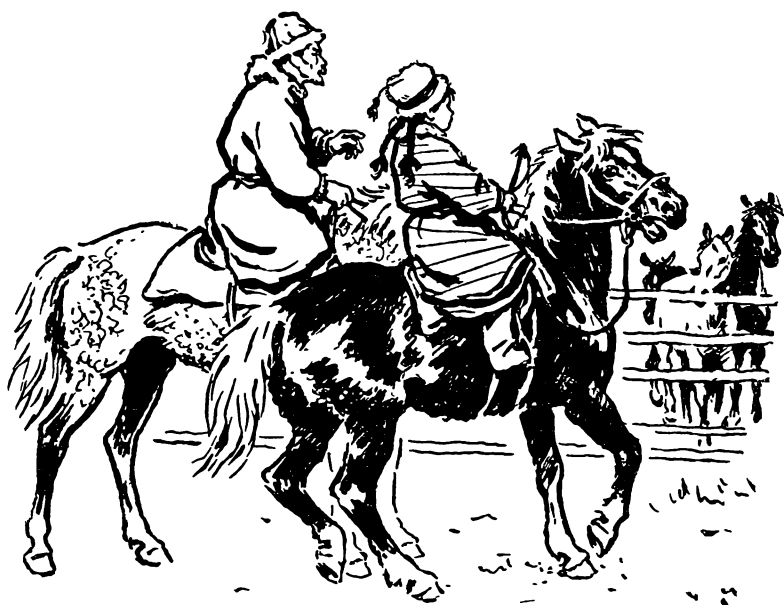
Ждали молча, неподвижно. Молчал старый Торбогош. Молчал скуластый бригадир Талай, прищурив свои блестящие, живые глаза. Молчала и Чечек. Солнце пригревало ей спину, размаривало, навевало дрему. Долго ли придется ждать? А вдруг долго? Тогда Чечек просто уснет да и свалится с седла всем на потеху.

Но вот послышались вдали неясный топот множества копыт, лай собак, посвисты пастухов...

Чечек встрепелась, подняла отяжелевшие ресницы, подбодрилась. Рыжий Арслан вздернул голову и переступил с ноги на ногу.

— Гонят!..

Табун шел из тайги и по светлому склону спускался на луговину. Лошади легко бежали, перегоняя друг друга, слегка толкаясь. Матки ржали, подзывая жеребят; жеребята прижимались к маткам, мешая им бежать, и пугливо косились по сторонам.



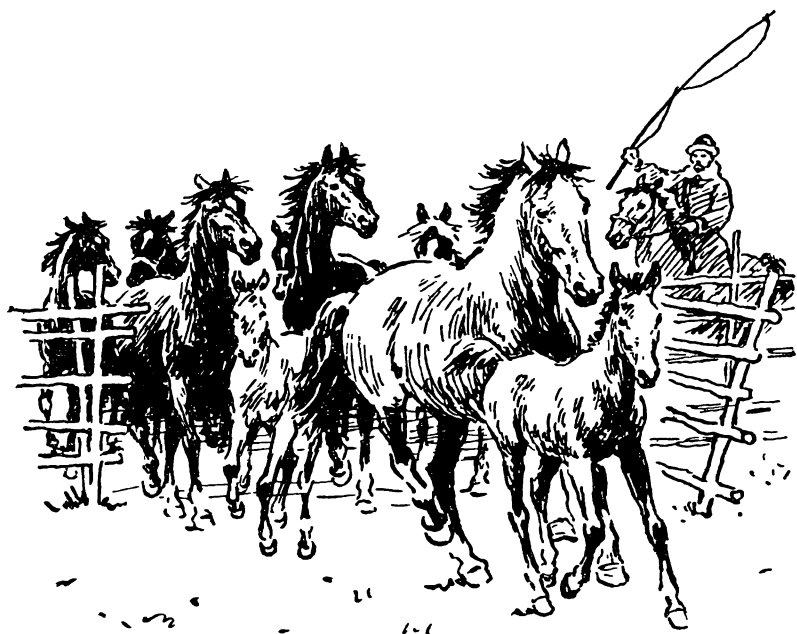
Старый Торбогош поправился в седле, вынул изо рта потухшую трубку и засунул ее в сапог. Талай приподнялся на стременах, махнул пастухам рукой:

— Прогоняй!

Пастухи подогнали табун к самому забору. Лошади столпились, закружились на месте, как кружится внезапно запруженная вода; и как вода, нашедшая щель в плотине, просачивается в нее узкой струйкой, так и лошади, заметив открытые ворота, одна за другой сначала проскакивали в них, а потом, подгоняемые сзади, пошли чередой.

Чечек взглянула на деда: он стоял на стременах, устремив зоркие глаза в ворота, и шевелил губами. «Считает! — догадалась Чечек и тихонько улыбнулась. — Вот ведь какой! Что говорят — не слушает, все надо самому проверить».

Табун по одну сторону забора становился все меньше, а по другую сторону — все больше. Вот наконец прошла последняя матка, и жеребенок, боясь отстать, протиснулся вместе с нею. Дед Торбогош, сдвинув брови, обернулся к бригадиру:



— Тридцать восемь жеребят. Сто сорок пять маток. А где еще две?

Талай немножко смутился:

— Да вот... одна на отделение пошла, за хлебом. На другой конюх уехал. А так все целы, Торбогош!

— А почему не докладываешь, как надо! Так должен и доложить: сто сорок пять маток, тридцать восемь жеребят, две матки заняты в хозяйстве. Когда я тебя научу? А если бы директор вдруг наехал, так я бы перед ним дураком оказался! Сколько говорю: точность нужна, точность! Смотри, Талай, последний раз тебе это спускаю!

Всю обратную дорогу к айлу Талай молчал и только слегка пожимал плечами. Дед Торбогош молчал тоже. И только около айла, сойдя наконец с коня, сказал:

— Вот я тут газеты привез...— Он вынул из сумки пачку аккуратно сложенных свежих газет.— Вот газеты, Талай. Тут о Североатлантическом договоре есть. Опять заправили Америки с Англией сговариваются, как бы весь мир захватить. Вот нет

им покоя, а? Особенно Америке. Так бы и задушила всех... Эх, мало их, видно, учили! Просят еще! Ну что же — выпросят, так узнают... Ну так вот, Талай: пусть Кыдраш прочтет все это хорошенько и пастухам доклад сделает — вообще о международном положении и об этом договоре...

— А сумеет ли?

— Ничего, сумеет. Он же комсомолец, в партию заявление подавать собирается. Что не сумеет — ты поправь. Молодых учить надо... А теперь говори: какие тут у вас дела в бригаде? Чего не хватает? Что прислать нужно? Больных нет ли?..

Ночные пастухи тоже вернулись к айлу. И вскоре все сидели у костра, около дымящегося котла с жидкой кашей из ячменя, сваренной на кобыльем молоке.

— Эх, что это за еда! — сказал Талай. — Кабы мы знали, что гости будут... Нуклай, — обратился он к старому пастуху, — ты бы взял ружье да сходил за козлом нам на ужин!

— Можно сходить, — отозвался Нуклай.

Чечек досыта наелась, досыта напилась кислого молока и почувствовала, что глаза у нее закрываются.

— Ложись поспи, — сказал дед Торбогош.

Талай вынес из айла белую кошму и расстелил в тени под кедром:

— Ложись, Чечек.

Засыпая, Чечек смутно слышала негромкие разговоры у костра:

— Спичек побольше пришли, Торбогош. Мыла не забудь — молодые много мыться стали. Только давай и давай мыла! Чаю хорошо бы. От чая сердце у людей веселеет...

А потом вдруг запела птица где-то в кедровых ветках.

«Это клест...» — подумала Чечек. И тут же сама стала красноперым клестом, засмеялась и вспорхнула вверх, к небу, к розовому облачку, повисшему над горами.

— Ишь смеется во сне! — сказал бригадир Талай. — Видно, хороший сон снится!

А дед Торбогош, с улыбкой в глазах, кивнул головой:

— Теперь детям и сны хорошие, и жизнь хорошая... А мы-то разве так росли!

Вечером у костра был пир: жарили дикого козла, которого

убил старый охотник Нуклай. Хорошо поужинали и развеселились.

— А вот давайте послушаем, как внучка стихи читает,— сказал подобревший дед Торбогош.— А прочти, внучка, про пастуха, который на горе стоял!

— Вот ты, дедушка, опять про пастуха! — сказала Чечек.

Но пастухи стали просить:

— Прочти, Чечек, прочти, пожалуйста!

Чечек встала перед костром так, чтобы ее всем было видно, и начала:

Он стоял на холме высоком,
Словно вылит из смуглой бронзы...

Последние слова стихотворения Чечек выкрикнула звонко и отчетливо, каждое слово прозвенело серебром в тишине тайги:

...Снова песня плыла в долине,
Песне вторили лес и горы.
Шел колхозный пастух по травам,
Словно к новым вершинам счастья!

— Ой, якши, балам! Ай, хорошо! Ай, хорошо!..— зашелестело вокруг костра.

Улыбающиеся загорелые лица — и молодые и старые — добрыми глазами глядели на Чечек.

— Кто же тебя так научил, дочка? — спросил охотник Нуклай.

— В школе научили,— сказала Чечек.— Я теперь в русской школе учусь. В шестой класс перешла. Меня в пионеры приняли — вот красный галстук ношу!

— О, большим человеком будешь! Учись, дочка!

— А может, еще что знаешь? Расскажи нам!

— Не ленись, Чечек! — сказал дед Торбогош.— Повесели людей: у них гости редко бывают.

Чечек прочитала еще несколько стихотворений по-алтайски, прочитала «У лукоморья...», спела своим тоненьким голоском пионерскую песню, которую они разучивали в школе, рассказала про чудесное дерево — яблоню, — которое цветет розовыми цветами и на котором вырастают сладкие яблоки, и про школьный

сад рассказала. Хотела уже и про «самого умного, самого доброго человека» рассказать, но... голубые глаза искоса взглянули на нее, насмешливый голос произнес: «Эх ты, бурундук!» — и Чечек смутилась... и умолкла.

— Ну, а еще, Чечек! — попросил кто-то.

— Нет, — сказала Чечек.

И, усевшись рядом с дедушкой, прижалась к его плечу. Вот если бы Кенский был сейчас здесь! Как уже давно она его не видела! И как давно Маю не видела, и Эркелей, и Лиду...

Синяя ночь сгущалась вокруг костра. Все пропадало в этой синеве — горы, деревья. Но еще отчетливее видны были лица людей, озаренные жарким, оранжевым пламенем костра, — коричневые, обветренные скуластые лица с набухшими веками, с узкими глазами, задумчиво глядевшими в огонь.

— Ну что же, старики, расскажите и вы что-нибудь, — сказал дед Торбогш.

— Вот Кыдраш расскажет, как Ульгень с Эрликом воевал...

— Э, бабьи сказки! Шаманские выдумки!

— Дед Иванок, ты про ойротского хана, которого Ойротом звали, знал. Ну-ка, расскажи!

Пастухи начали вспоминать старые истории, кто что знал. И про хана Ойрота — порабитителя алтайцев, и про сыновей его, воевавших друг с другом, и про начальника-труса Чаган-Нараттана, предавшего алтайское войско...

Охотник Нуклай тоже рассказал историю, старую историю про то, как алтайцы с монголами воевали.

...Страшные монгольские войска вторглись в Алтайские горы, как огненная буря ворвались в алтайские долины. Вел чужеземные войска грозный начальник Чадок. Но встретил Чадока алтайский воин Тедее — и разбили алтайцы монгольское войско. Трудная и жаркая битва была.

Недалеко от реки Чуи, на поляне Мунгаш-Ялан, Чадок оставил об этой войне памятник. Как пошел он войной на Алтай, так велел всем воинам положить по одному камню в кучу при дороге. Огромный курган набросали воины-захватчики. А когда шли обратно с Алтайских гор, то снова все воины по одному камню бросили — маленькую горку накидали. И сказал Чадок:

«Вот, пусть внуки наши смотрят на эти камни и не начипают войны с Алтаем!»

Потом пошел Чадо́к на Катунь. И там, на скале Бичикту-Кая, на гладком утесе, написал историю своего несчастного похода...

Алтайцы отбились тогда от монголов, но и сами потерпели большой урон. Огнем и кровью прошла война по Алтаю. И стали думать: как жить дальше? Малочислен алтайский народ. Если один раз от врагов отбились, то в другой раз, может быть, отбиться и не смогут. И решили отойти под защиту к сильному соседу — к России. Когда кончилась битва с монголами, взобрались алтайцы на гору Яльменки и увидели Алтай опустошенным.

— Э, нет! — прервал его смотритель Торбогош. — Не тогда мы к России отошли. А вот как дело было... В первый раз, несколько веков тому назад, пришел к нам на Алтай хищный Чингис-хан и покорил все алтайские племена, рабами своими сделал. Грабили монголы алтайцев, убивали, разоряли. Совсем бесправный был алтайский народ — даже с одной стоянки на другую по своей воле он кочевать не смел. И еще устроил тогда Чингис-хан алтайские военные поселения. Там алтайские люди сеяли хлеб — не для себя, а для монгольской армии. Дороги им сквозь тайгу прокладывали. Перекидывали переправы через реки... Тяжкий труд несли. И так душил нас изверг около трехсот лет...

Дедушка Торбогош выпустил несколько клубов дыма из своей трубки и снова начал, глядя в огонь костра:

— В то время монголы были владыками и в Китае. Там их монгольская династия была — Уаньская династия. А когда эта династия пала, монголы ушли из Алтая в свои горы и степи.

Но не успели алтайцы вздохнуть, не успели поднять голову, поглядеть вокруг себя открытыми глазами не успели... Нагрянули на Алтай западномонгольские ханы — ойроты — и совсем прибили лицом к земле алтайский народ, в крепкое рабство заковали. И никогда еще не был таким бесправным алтайский человек, никогда еще он не был таким несчастным, как в те времена... Добудет зверя — несет хану. Вырастит скот — гонит хану. Вырастит ячмень — везет ойротскому хану... Даже кандык¹

¹ К а н д ы к — съедобные корни растения.

по горам собирали и то ойротским ханам тащили... И работали на них: котлы им делали, таганы, удила, стремена, уздечки... Все, что хану нужно, делали. А сами в нищете жили, в голоде жили. Поле ковыряли мотыгой. Ячмень не жали, не косили, а так, руками дергали. А потом молотили палками да веяли бере-
стяным совком. Какой же тут хлеб может быть?.. А о книгах, о письме даже и понятия не имели. Так вот страдал наш алтай-
ский народ еще почти триста лет...

И вот наступил кровавый год — год войны китайцев с ойро-
тами. Шла война по Алтайским горам и долинам, и вместе с хищными ойронтами, занявшими алтайскую землю, горел, поги-
бал алтайский народ, обливался кровью. Вот тогда-то и обрати-
лись алтайцы к русским пограничным властям, стали просить,
чтобы взяли русские их в свое подданство, под свою сильную за-
щиту... Дайте-ка мне топшур!.. — вдруг сказал смотритель Тор-
богош. — Вот тогда и сложили эту песню. Ее еще старый Кучияк
пел.

Молодой пастух сбегал в аил и принес обтянутый бараньей
кожей двухструнный топшур. Дед Торбогош провел волосяным
смычком по волосяным струнам и вдруг запел протяжную, за-
унывную песню... о давно прошедших днях, о вторжении в род-
ные горы беспощадных врагов — монголов, разорвавших Алтай...

Первые слова он произносил скороговоркой, а последние
строчки тянул долго-долго, пока тянул свою печальную длинную
ноту волосяной смычок.

Чечек с изумлением смотрела на своего деда: вот так де-
душка Торбогош!

И когда он допел последнюю строчку старой песни и послед-
нее слово отзвенело и погасло, будто искра, взлетевшая над кост-
ром, Чечек с горделивой радостью поглядела на пастухов — вот
какой у нее дед, вот как он петь умеет, какие он песни знает!

Пастухи долго еще сидели и молчали, погруженные в раз-
думье.

— Да, — сказал бригадир Талай, — то Чингис-хан, то ойрот-
ские ханы... всю жизнь так. А то, гляди, и еще найдутся. Нет,
не может Алтай жить без русского человека!

— Да, так. Только при царе и с русскими нелегко жить бы-
ло, — возразил дед Иванок, — чиновники и купцы шибко оби-

жали. И свои баи не хуже монголов нам петлю на шею накидывали. Шибко теснили простой народ. Шибко теснили!

— Да, товарищи,— подтвердил смотритель Торбогош,— уж если когда мы по-человечески жить стали, так только при Советской власти. Посмотрите кругом на нашу землю. Кто хозяин здесь? Простой алтайский человек. Советская власть дала нам свободу, Советская власть помогает нам, присылает машины, обучает грамоте, защищает нашу мирную жизнь от врагов... Может алтайский народ жить без Советского Союза? Нет, не может!

И старые пастухи повторили, как эхо:

— Не может!..

ШАМАН

На другой день, когда спала полуденная жара, дед Торбогош и Чечек подъезжали к стану своей бригады. Вдруг дед Торбогош придержал лошадь, прислушался.

— Ты что, дедушка? — улыбнулась Чечек. — Это трактор гудит, вон он идет по долине! А ты думал — это самолет?

Но дед Торбогош сделал ей знак замолчать. Лицо его вдруг потемнело. Чечек встревожилась и тоже стала слушать. И она услышала: вдалеке, там, где в солнечном мареве виднеются острые конусы аилов, глухо и раскатисто гудит большой бубен.

— Что это, дедушка, а? — спросила Чечек и, взглянув на его лицо, испугалась. — Дедушка, да что такое там?

— Что? — криво улыбнулся дед Торбогош. — Да вот что: шаманит кто-то!

Чечек сказала недоверчиво:

— Шаманит? Что ты, дедушка! А кто у нас будет шаманить?

— А все-таки шаманит,— угрюмо повторил дед Торбогош.

И вдруг, огрев своего Серого камчой, он сорвался и полетел к аилам. Дед Торбогош — партийный человек, разве он может допустить, чтобы к нему в бригаду ходили шаманы!..

Чечек едва попевала за ним. Недалеко от аилов дед нагнал молодую Чейнеш, которая тоже спешила в стан. Дед Торбогош осадил коня.

— Что там такое? — грозно крикнул он. — Откуда взялось?

Чечек не слышала, что ответила Чейнеш, — Чечек проскакала мимо. У крайнего аила она соскочила с лошади и побежала туда, где глухо и яростно хохотал шаманский бубен.

И остановилась, не веря себе, не веря своим глазам: посреди стана, на широкой зеленой луговине, и в самом деле плясал шаман. Он плясал вокруг горящего костра, а кругом тесно стоял народ и безмолвно смотрел на его пляску. Шаман был страшен. Он бешено кружился у костра, что-то пел и выкрикивал хриплым, отрывистым голосом и косматой колотушкой с бряцающими железками бил в огромный бубен — в толстую, туго натянутую кожу. Косматые овчины разлетались на нем, словно вихрь крутились и звенели вокруг него длинные ситцевые жгуты с бубенчиками на концах, на голове кивали и раскачивались белые перья орлана.

Чечек с испугом глядела то на шамана, то на людей, окружавших его. Почему сюда пришел шаман? Зачем он здесь пляшет? Почему люди не гонят его прочь, а смотрят спокойно и даже еще улыбаются?.. Старые женщины собрались здесь, девушки, ребятишки... И рабочие, видно, прибежали с покоса: вон около тайги стоят конные грабли и незавершенный стог. А вон и сам бригадир Иван Тызыяков стоит смотрит и тоже улыбается! А вон и бабушка Тарынчак стоит!.. Сколько страшных историй рассказывала она про этих шаманов: как они обманывали людей, как они раздирали лошадей на части — приносили жертвы богам... А боги-то и не могли никому сделать ни добра, ни зла! Пустые деревяшки были те боги!.. А теперь вот пришел этот шаман, и они опять его слушают! И она, Чечек, пионерка, будет тоже его слушать?..

Чечек ворвалась в круг и пронзительно закричала:

— Эй, ты зачем сюда пришел, страшный? Уходи отсюда! Опять явился! Вот еще!.. Дедушка Торбогош, иди скорее, давай гони его отсюда!.. Что же ты стоишь и ничего не говоришь, дедушка?!

Дружный смех прокатился по толпе. Шаман весело подмигнул Чечек и запел еще громче. А какой-то незнакомый русский человек крикнул:

— Девочка, отойди, не мешай съемке!..

Чечек, слегка растерявшись, оглянулась по сторонам и, покраснев, как горный пион, со смущенной улыбкой попятилась из круга. Она только сейчас увидела тех самых людей, которые приезжали в поселок на легковой машине. Один из них — худощавый, с косматыми бровями — вертел ручку какого-то аппарата.

«А, так это кино снимают! — догадалась Чечек. — А только... почему шаман им пляшет?..»

Она пробралась к своей бабушке. Бабушка Тарынчак с улыбкой прижала к себе Чечек.

— Эзен, эзен, внучка! — сказала она. — Вот как ты на этого шамана накричала! Так и надо — гони его!

У бабушки Тарынчак смех такой добрый, что и Чечек засмеялась:

— Не смейся, не смейся, бабушка! Я на этих шаманов все равно глядеть не хочу, а их еще в кино снимают!..

Съемка кончилась. Худощавый человек закрыл свой аппарат. А шаман вдруг снял с себя косматую пубу, бубенчики, сдернул с головы черные космы с перьями и стал молодым алтайцем с гладкими блестящими волосами. Он, улыбаясь, вытер платком вспотевшее лицо и сказал, весело поглядев на людей:

— Ну как, неплохо шаманил?

— Бабушка, это кто такой? — живо спросила Чечек.

А бабушка и сама глядела на него с недоумением: кто это такой?

— Это артист из Горно-Алтайского театра, — шепнула им молодая румяная Катерина, дочка бригадира. — Сюда снимать приехали.

— А почему сюда?

— Им надо старый Алтай в кино показать. А здесь как раз похоже — кругом айлы стоят.

Когда шаман превратился в обыкновенного городского человека, ребяташки, еще немножко посмотрев на него, побежали разглядывать маленькую черную машину с серебряным радиатором. Чечек тоже подошла к машине, потрогала тоненькие трубочки радиатора, погладила рукой ее блестящее крыло. Вот бы на такой прокатиться!

— Чечек,— крикнула маленькая босоногая Чоо-Чой,— гляди, русский к вашей бабушке пошел!

Чечек бросилась к бабушкиному айлу. Бригадир Тызыяков и худощавый русский человек стояли в айле, и бабушка Тарынчак была тут же.

— Накорми гостя, Тарынчак,— сказал бригадир,— и пусть у тебя почует.

Бабушка Тарынчак весело закивала головой:

— Хорошо, хорошо! Чегень есть, сырчики есть... Накормлю, накормлю гостя!

— А я тебе сейчас еще кусок барана пришлю — накорми лучше!

— Ладно, ладно. Накормлю, накормлю!

Бригадир ушел. Русский стоял и оглядывался по сторонам. Он ничего не понимал по-алтайски и никогда не был в алтайском айле. Чечек подметила, с каким удивлением разглядывал он черные от многолетней сажки стены айла из коры и жердей, шкуру дикого козла, лежащую на земляном полу около огня, высокую кадущку, в которой бабушка квасит чегень. Понемногу лицо его хмурилось, косматые брови все больше сдвигались.

— Как может человек жить здесь? — сказал он сам себе.

— Кто привыкнет, тот может,— сказала Чечек.

— Ты по-русски говоришь? — обрадовался гость.— Вот как чудесно! А я думаю: как же нам с бабушкой объясняться? Она по-русски не понимает, а я ни одного алтайского слова не знаю.

Чечек засмеялась:

— А что ж такого? Я в русской школе учусь.

И пока бабушка хлопотала, собирая ужин, Чечек познакомилась и подружилась с гостем. Приезжий сказал, что он кинооператор, что зовут его Андрей Никитич и что приехал он издалека — из самой Москвы. Чечек, услышав слово «Москва», так вся и загорелась. А какая она, Москва? А какие там дома? А какие улицы? А какой Кремль? А правда, что над Кремлем всегда красные звезды горят?

Андрей Никитич охотно отвечал Чечек, рассказывал о больших домах и широких улицах, о богатых магазинах, о красивых театрах, о ярких фонарях, которые горят всю ночь, о трамваях и троллейбусах, которые движутся электричеством, о прекрас-

ных Дворцах пионеров, где устраиваются для детей вечера, спектакли, лекции, где дети работают в разных кружках — делают модели, вышивают, учатся музыке...

А бабушка Тарынчак тем временем выкладывала на кошму свои запасы. Достала с решетки над очагом свежий кусок сырчика, зачерпнула в кадке чегеня, разрежала кусок баранины, который принесла ей румяная Катерина, наложила в миску толкана. С полочки, привешанной к наклонным жердям, сняла кусок черствого хлеба и тоже подала. Дают бабушке Тарынчак хлеба, а она его и не ест почти. А зачем хлеб? Толкан есть, сырчик есть, чегень есть, молоко есть...

Андрей Никитич поел баранины, выпил кружку кислого чегеня.

— Спасибо, бабушка, — сказал он, — больше не могу.

Но Чечек живо вмешалась:

— Как же так, Андрей Никитич? А сырчик не кушали! И толкан не кушали! У нас так нельзя — бабушка обидеться может!.. — И добавила по-алтайски: — Бабушка, гость не кушает, ты его плохо угощаешь.

Бабушка Тарынчак всполошилась.

— Кушайте, пожалуйста, кушайте! — заговорила она по-алтайски, улыбаясь и кивая головой.

Бабушка крепко держалась древнего алтайского обычая — накормить гостя досыта, подать гостю все, что он захочет, и крепко обижалась, если гость отказывался от ее угощения.

Андрей Никитич съел еще кусок мяса, потом съел кусок сырчика — жесткой творожной лепешки, высушенной над огнем очага. Сырчик он еле проглотил и запил кислым чегенем.

— Спасибо, бабушка, спасибо! — сказал он, кланяясь. — Я больше не хочу.

Бабушка Тарынчак обернулась к Чечек:

— Что он говорит?

У Чечек лукаво блеснули глаза.

— Он говорит: дай еще чего-нибудь!

Бабушка засуетилась. Вот еще есть вяленое мясо...

Андрей Никитич, увидев новый кусок мяса, замахал руками:

— Да я сыт, спасибо!

Но Чечек, пряча улыбку, покачала головой:

— Нельзя, нельзя! Хоть кусочек скушайте, а то бабушка обидится!

Андрей Никитич отведал вяленого мяса, а бабушка все кивала головой и просила еще покушать.

— Чечек! — взмолился Андрей Никитич. — Ну ты скажи бабушке, объясни ей, что я сыт. Понимаешь? Сыт!

— Да она мне не верит, — ответила Чечек.

— Ну, тогда я сам скажу. Как по-алтайски сказать: «Спасибо, я сыт»?

— Это по-алтайски надо так сказать: «Тойбóдым!»¹

— Тойбодым, бабушка, тойбодым! — обратился Андрей Никитич к бабушке Тарынчак.

Та слегка растерянно посмотрела на гостя, а Чечек, задыхаясь от смеха, отскочила в темный угол, к кадушке с чегенем.

— Ну что ж ты, бабушка! — сказала она. — Дай гостю еще чего-нибудь. У тебя в кошелке яйца есть, а ты и забыла.

— А, сейчас, сейчас! — обрадовалась бабушка.

И, живо достав кошелку с яйцами, принялась жарить яичницу. Андрей Никитич вскочил:

— Да что же это такое? Да я тойбодым, тойбодым! Ну что мне с нею делать?!

Чечек не выдержала и, взорвавшись смехом, повалилась на разостланную шкуру козла. Бабушка Тарынчак, подозревая какую-то шалость, смотрела на нее. А Андрей Никитич догадался:

— Ты что это придумала, а? Ты, видно, меня не тем словам научила? Ах, разбойница, ну погоди ты у меня! Приедешь в Москву — я тебе припомню, я тебя еще не так накормлю!..

А бабушка уже подавала яичницу, принимаясь снова угощать гостя.

— Да он сыт, бабушка, сыт! — смеясь, объяснила Чечек. — Уж он давно сыт — это я нарочно такие слова ему сказала. Оставь его, бабушка, дай ему отдохнуть!

Бабушка Тарынчак погрозила Чечек желтым от табака пальцем, на котором слабо блеснуло кольцо из красной меди:

— Без озорства у тебя никогда не обходится! — и, постелив

¹ Т о й б ó д ы м — не наелся.

гостю постель, села к огню и закурила свою большую черную трубку.

— Нет, вы мне все-таки скажите,— попросил Андрей Никитич,— как же вы живете в таком шалаше зимой?

— Так,— ответила Чечек.— Весь день костер горит. И всю ночь.

— Да ведь ночью все уснут, а костер погаснет.

— Конечно, погаснет.

— Ну и как же? Мороз ведь!

— Я не знаю как,— сказала Чечек,— вон бабушка знает... Бабушка, расскажи, как зимой живут в аиле. Замерзают, наверно?

— Все бывает,— ответила бабушка.— Ну, да старым ничего. А вот маленьким плохо было. Маленьким плохо.

Бабушке Тарынчак вдруг вспомнилось ее детство, далекое-далекое, будто приснившееся во сне.

— Мороз... Мороз... Мать вечером принесет большую охапку топлива, чтобы на всю ночь хватило. Сварит мясо, поужинаем. И тут самый трудный час наступает. Самых маленьких мать укладывает спать возле огня, а я побольше — мне около огня негде. Моя постель подальше от огня, в ямке, выкопанной в земляном полу. Мать берет меня на руки и тащит, а я бы от огня ни за какую сладость не отошла! Уложит меня в эту ямку, укроет овчиной. Теплая овчина, а от земли со всех сторон мороз лезет. Согнешься и дрожишь. Зубы стучат, стучат... Долго не спишь, долго. Лежишь, слушаешь. А за стеной коровы ходят, снег под копытами скрипит... Понемножку обогреешь свою ямку, уснешь... А ночью огонь погаснет. Дети заплачут от холода. И я заплачу. Мать встанет и опять запалит костер. Так опять согреемся... А утром на овчине целый комок инея. Дышишь во сне, а на овчине иней нарастает... Выскочишь из-под овчины да опять к огню... Плохо детям в аилах жить! Плохо!

— И взрослым не лучше,— вздохнул Андрей Никитич, когда Чечек перевела ему бабушкины слова.— Нет, не лучше. Пора людям эти аилы бросать. Пора!

— Да уж теперь народ бросает,— сказала бабушка.— Летом еще живут, а зимой нет. Зимой в избу уходят.

...Утром, после того как приезжие позавтракали и попро-

щались со всеми, кто жил в бригаде, Андрей Никитич сказал:

— А что, это озеро Аранур, о котором мне в Горно-Алтайске рассказывали, далеко отсюда?

— Где-то здесь, — ответил молодой алтаец-актер, — но где имеппо — не знаю.

Третий человек — тоже москвич, седой и голубоглазый, которого все называли режиссером, — спросил:

— А что за Аранур?

— Да озеро такое. Про это озеро всякие чудеса рассказывают.

Бригадир Иван Тызыяков, провожавший их, сказал:

— Это совсем недалеко. Километров восемь — вот и будет озеро Аранур. Только близко к нему не подъедете, согра кругом...

— Согра? — удивился Андрей Никитич. — А это что такое — согра?

— Болото, кочки, осока, — объяснил актер.

А седой режиссер сказал:

— Ничего, что согра. Поедем. Хоть издали посмотрим на этот Аранур. Может, годится.

Бригадир стал объяснять, как проехать к озеру. Но Андрей Никитич, который сам сел за руль, сказал:

— Вот мы возьмем с собой ребяташек — они и покажут дорогу... Чечек, ты дорогу знаешь?

— Знаю! — крикнула Чечек и живо забралась в машину.

— А я тоже знаю! — закричала маленькая Чоо-Чой и тоже влезла в машину.

А вслед за ней забрался черноглазый Нуклай, а за Нуклаем — Колька Манеев. А за Колькой полезло было еще пять человек: они все знали дорогу! Но Андрей Никитич сказал:

— Хватит! А то машина всех не повезет, — и захлопнул черную дверцу.

Машина полетела легко, как ласточка. Мягкое сиденье оберегало от толчков. Чечек казалось, что так мчаться она могла бы и день, и ночь, и еще день, и еще ночь... Но ребята, которые ревниво следили за правильной дорогой, закричали в один голос:

— Дядя, поворачивай, поворачивай! Тут потише: кочки... А тут ровно — давай!..

— А вон озеро!

— Останавливай, дядя! Болото!

Машина остановилась. У подножия зеленой горы лежало тихое, неподвижное озеро, синее, как синее небо, задумчиво сиявшее над ним. Ни одна птица не оживляла его, ни одно деревце не шумело над его гладкой, тяжелой водой.

— Это возьмем....— сказал седой режиссер.— Андрей Никитич, ну что скажешь? Разве не красота?

— Это красота...— задумчиво согласился Андрей Никитич.— Но что делать мне с моим сердцем? Грустно мне от этой красоты. Дико здесь, пустынно. И вся природа словно боится обрадоваться, ну вот так, как она радуется в Уссурийской тайге,— роскошно, глубоко, щедро! А тут она всегда словно в раздумье. Словно не верит в счастье, словно вспоминает о чем-то... Улыбнется солнечным лучом и тут же готова закрыться дымкой дождя или тумана, замкнутая, неласковая.

— В этом ты, пожалуй, прав,— согласился седой режиссер,— природа здесь суровая. Но ты попробуй посмотреть с другой стороны на эти безмолвные леса и долины. Ты вспомни, что в этой тайге полно жизни, что тут бродят медведи, лисы, дикие козлы, благородные маралы... что в этих долинах пасутся бесчисленные колхозные стада — тысячи овец, тысячи лошадей, тысячи голов рогатого скота... что всюду, где есть реки, уже шумят гидростанции... что молотилки на токах уже молотят электричеством, что электрические лампочки засветились в горах. И всюду в долинах на черной земле растут хлеба... и что алтайцы, извечные кочевники, нынче пахут колхозные поля, и не той рогулькой, которую мы видели в музее, но плугами и тракторами... Да что говорить — сады разводят! Это здесь-то, где сроду яблони не видели!

— Мы тоже около школы сад посадили,— ввернула словечко Чечек.

— А, видишь? Вот посмотри на эту Чечек. Она уже в аиле жить не будет. Она учиться пойдет, будет одной из тех, которые пробуждают природу всюду, где бы они ни были! Такие и дороги прокладывают, и электростанции строят, и сады сажают! Вот с этой стороны посмотри на Горный Алтай — может, ты и почувствуешь, что не так уж тут дико и пустынно!..—И до-

бавил, подавая Андрею Никитичу аппарат: — Давай крути! Запечатлевай эти тихие горы и безмолвие. Скоро настанет время, когда ты этого безмолвия даже и в алтайских долинах не найдешь!

Когда засняли все, что хотелось седому режиссеру, то взобрлись на гору и оттуда глядели на озеро.

— Так расскажите же, что за чудеса такие знаете вы про это озеро? — спросил режиссер. — Ну, кто знает, ребята?

— Я знаю про озеро! — крикнул черноглазый Нуклай и поднял руку, как в школе.

— А я тоже знаю, — сказала Чечек, — мне бабушка рассказывала.

— Тебе бабушка рассказывала, а я сам видел, — сказал Колька Манеев.

Только маленькая Чоо-Чой молчала. Она тоже знала и видела, но плохо говорила по-русски, потому и не хотела рассказывать.

— Ну, рассказывайте все по очереди, — сказал Андрей Никитич.

А седой режиссер вынул записную книжечку и карандаш. И вот что он записал в своей книжечке.

...Жил здесь когда-то молодой богатырь. Один раз проезжал этот богатырь мимо озера Аранур, захотел напоить коня и влетел на коне прямо в озеро. Влетел, а обратно не выплыл — вода утащила, сразу на дно пошел. Только крикнуть успел. А потом выплыл, но не здесь, а в Телецком озере. А Телецкое озеро очень далеко отсюда...

Озеро Аранур всегда тихое. А однажды вдруг заволновалось. И пастухи увидели, что ворочается в озере рыба не рыба, кит не кит. Ну, что-то огромное! Побежали на коннозавод, рассказали директору. Собрался народ. И все видели: ворочается какая-то зверюга в озере, едва помещается. Захотели поймать. Вбили на берегу два столба. На крепкую рукоятку насадили железную «кошку», а на «кошку» — мясо. Привязали «кошку» тросами к столбам и пустили в воду. Стали ждать. Час ждут, два... пять часов ждут. Ничего. Все тихо. Директор ушел — к нему кто-то из треста приехал. И народ к ночи по домам разошелся. А утром пришли — что такое? Один столб покривился, другой столб

вырван, трос оборван... А «кошка» с куском мяса пропала, пропала в неизвестной глубине. И снова стало тихо на озере Аранур. Откуда появилась огромная рыба? Куда ушла?..

И стали люди думать, что у этого озера дна нет. Может, оно под землей соединяется с Телецким озером? А может, и с океаном?.. Были на Арануре и исследователи-геологи. Они решили измерить глубину озера. Спустили лот на тысячу восемьсот метров, но дна так и не достали — лота не хватило.

И еще: есть недалеко от этого озера четыре речки, у которых нет устья. Текут, текут, а потом вдруг исчезают, уходят под землю. И люди думают, что здесь есть подземная пещера.

И еще удивительное явление видели на озере Аранур. Зимой, в сильный мороз, озеро замерзает на целый метр. И вдруг, среди зимы, неизвестно почему озеро взрывается со страшной пальбой, и лед взлетает вверх со столбом воды. А потом лед падает обратно, озеро снова замерзает. И опять все тихо.

Люди не любят это озеро, в нем никто не купается. И рыбу не ловят. И ни одна водяная птица не садится на это озеро...

— А наш учитель купался, его не стащило, — добавил Нуклай ко всем этим рассказам, — только он тоже дна не достал¹.

— Интересно... — задумчиво сказал седой режиссер. Поставил точку и закрыл книжечку.

А Андрей Никитич вынул из кармана горсть конфет и rozdal ребятишкам:

— Вот вам! За рассказ.

— Андрей Никитич, а дальше куда поедете? — спросила Чечек, спрятав конфетку в рукав: это бабушке Тарынчак.

— А дальше отвезем вас всех домой и поедem в Улаган. А потом на Телецкое озеро.

Чечек задумалась, глядя на дальние вершины. Вот бы и она поехала, посмотрела бы это озеро... И весь Алтай посмотрела бы! И весь мир посмотрела бы!

— Андрей Никитич, — попросила она, — напишите мне письмо.

— Письмо? — засмеялся Андрей Никитич. — С удовольствием. А что тебя интересует?

¹ Рассказы об озере Аранур автор слышала в Ябагане от людей, живущих там. Эти люди сами видели и слышали, как взрывается зимой лед на озере.

— Когда будете на Телецком, посмотрите: правда, что там яблони растут, или нет? И тогда напишите. Пожалуйста!

— Хорошо,— ответил Андрей Никитич,— обязательно посмотрю и обязательно напишу.

СНОВА НА КАТУНИ

Костя Кандыков уже начал скучать в тайге со своим кроличьим стадом. День ото дня становилось тревожнее, беспокойнее от забот и дум. Ему казалось, что сад без него заброшен, что Анатолию Яковлевичу не до яблонек: сейчас горячая пора в колхозе, а он секретарь партийной организации — должен и проверять, и помогать колхозу. Ребята почти все разъехались по своим деревням, а те, кто остался, кажется, не очень болеют за молодой сад. Может, забегут, поглядят, выдернут травинку-другую да и опять забудут про яблоньки... А их, наверно, поливать надо — погода стоит жаркая.

— Ну что я тут с ними сижу? — с нарастающей досадой говорил Костя, глядя на кроликов. В тайге, в одиночестве, он привык вслух разговаривать сам с собой. — Ну какой от меня толк? Подумаешь — накосить охапку травы да бросить за изгородь! Это и Алешка мог бы...

Костя не хотел сознаться даже самому себе, что он не любил кроликов. Хотя и заботился о них и даже гладил иногда тех, которые в руки давались, но с тоской чувствовал, что они с каждым днем все больше и больше надоедают ему.

— Дело делать надо, а я тут сижу с ними! Хотя бы уж скорее покос начинался — все-таки работа была бы!..

Иногда, устав от книг и от кроличьей суеты, он начинал бродить по долине Кологоша.

— Вот тут хорошо бы посадить яблони,— прикидывал он,— склон солнечный... А вон там — ягодники... Хорошо! Лес кругом, никаких лесозащитных полос не надо. Может, «персиковую викторию» развести, как у Лисавенко,— она же так легко размпожается! А какая ягода — чуть ли не в кулак! Да тут бы ее корзинами собирать можно, возами! Эх, жалко, однако, что в Барнаулу уезжаю!.. А что жалко? — продолжал рассуждать Костя.—

Разве навек? Выучусь, так ведь опять же сюда приеду. Эх, выучусь — что мы тогда вместе с Анатолием Яковлевичем сделаем! И с ребятами!

У Кости даже дух захватывало, когда он заглядывал в будущее. Бродя по тайге со своим острым садовым ножом, он, чтобы набить руку, делал прививки: прививал осину на сосну, березу на лиственницу. Он хотел научиться прививать так, чтобы даже самый опытный садовник не мог привить лучше. И потом, все-таки любопытно: а что получится, если береза приживется на лиственнице? Какая ветка вырастет?..

Но вот наконец наступил и покос. В Кологош пришли повозки, приехали все школьные технички с косами-литовками. Приехал старый Романыч. Приехал Толька Курилин — сын школьной уборщицы Анны Курилиной, и Романычева внучка Зина приехала...

Но кого же первым увидел Костя около своего кроличьего загона? Чья белая взъерошенная голова торчала над плотным лиственничным забором?

— Алешка! — обрадованно закричал Костя. — Неужели покосничать приехал?

Алеша Репейников соскочил с изгороди.

— И покосничать, — ответил он, — и вот... тебе помочь... с кроликами.

Костя положил ему руку на плечо.

— Знаешь что, — сказал он, — ты уж возьми сам за это дело. А я косить пойду. Ты видишь, какие у меня мускулы? — Костя сжал кулак и согнул руку. — Ну, потрогай!

— О! — с уважением протянул Алеша, потрогав Костины мышцы. — Как железные!

— Ну вот! Ну что мне с такими руками — разве с кроликами нянчиться? Уж это скорее твое дело. Ты возьмешься?

У Алеши просветлело лицо.

— Ладно, — сказал он, глядя на Костю благодарными глазами, — я возьмусь, и я справлюсь. Ты, Костя, не беспокойся! — И, взвизгнув от радости, как девчонка, вирипрыжку побежал к иве, по которой можно было перелезть в загон.

— Э-э, подожди! — спохватившись, закричал ему вслед Костя. — А как там наши яблоньки?

Но Алеша даже не остановился.

— Хорошо,— прокричал он,— растут!

— Буйнопомешанный! — проворчал Костя с улыбкой.— Совсем на своих кроликах помешался.

Так и решили: Алеша ухаживал за кроликами, а Костя косил. А когда кончился покос, Костя, договорившись с Анатолием Яковлевичем, уехал из Кологоша, а Репейников остался вместе с Романычем доживать лето на заимке.

А летние месяцы проходили быстро, не оглянешься. Прошел июль — од-дай — с долгими днями... Вот уж и август — бичень-чабаттан-ай — тронулся в путь. День убавился, как говорят алтайцы, на дверную накладку (запор), а работы поднялась гора. Дожди помешали вовремя закончить покос. А как блеснули погожие дни, то подоспело все сразу: и сено сушить, и хлеб убирать.

Костя не видел дней — все они проходили на колхозных полях. Его уже вместе со взрослыми косцами посылали на луга. Отец его, лучший стоговщик в колхозе, учил сына укладывать стога, и бригадир поговаривал, что Костя — парень смекалистый, надо бы ему жнейку попробовать.

Ну что ж, если доверяют, почему же Косте не поучиться на жнейке работать?

И наступил такой день, сухой и палящий, когда он, прислушиваясь к равномерному стрекоту жнейки, вывел ее на ячменное поле.

Дружная работа кипела в колхозе. Все — и маленькие и большие,— все, кто мог хоть чем-нибудь помочь, вышли в поле. Торопились убрать урожай, пока сияют погожие дни.

Тихо и безлюдно в эту пору было в деревне. Только в яслях и в детском саду прибавилось голосов, и шуму, и хлопот. Кто в обычное время дома управлялся с детьми, так нынче и те сдали ребят на руки колхозным нянькам.

Председатель колхоза, запыленный, почерневший, с красными от бессонных ночей глазами, все торопил и поторапливал. Его озабоченные глаза уже видели, как незаметно пробираются из-за гор серые облачка, как тянется легкая дымка над Катунью, цепляясь за темную хвою тайги.

Костя, захваченный веселым круговоротом горячих дней,

пропахший мазутом и свежей соломой, помнил только одно: скорей, скорей!.. А когда поздним вечером приходил домой, то не мог даже доужинать — тут же и засыпал, опершись локтями на стол, и почти не слышал, как мать, смеясь и подтрунивая, отводила его на постель.

Ненастье наступило сразу. Костя сквозь сон услышал дробный стук дождя по тесовой крыше, но ему чудилось, что это где-то глухо и легко рокочет трактор. Еще не открыв как следует глаза, он вскочил:

— Что же вы меня не будите?!

Мать, с ухватом в руках, румяная от огня, выглянула из-за печки.

— Эге, проспал! Все проспал! — засмеялась она. — Уж люди давно в поле — ишь погода-то какая! Разве можно в такую погоду спать?

Только тут Костя увидел, что за окном льет мелкий, сплошной дождь.

— Смеешься все!.. — пробормотал он, немножко смутившись, и сам улыбнулся. — А что смеешься? Может, все-таки что-нибудь помогать надо!

— Нет, сынок, — ответила мать, — ничего не надо. Отец сказал, чтобы ты отдохнул немножко... Ведь тебе уезжать скоро. Может, подготовиться нужно. А в колхозе главные дела сделаны. Теперь и без тебя управятся.

Костя уловил легкую грусть в голосе матери. Та же грусть при мысли об отъезде слегка сжала и его сердце. Так уж устроен человек: всякий отъезд, даже и желанный, заставляет с сожалением оглянуться на то, что оставляешь...

— Полежи еще, сынок, — сказала мать, — подремли до завтрака. А после завтрака в баню сходишь.

Костя снова улегся на постель, с наслаждением потянулся и только сейчас почувствовал, как он устал за эти дни. Теплая дремота начала охватывать тело. Но вдруг радостная мысль о нем ударила в сердце.

— Матушка, — спросил он, широко раскрыв глаза, — какое число сегодня?

— Двадцать пятое, сынок. Август кончается.

Костя опять вскочил. И уже никакой дремоты не было.

— Матушка, да ведь скоро Яжнай приедет! Может, завтра... А может, нынче.

— Да,—улыбнулась мать,—я их каждый день поджидаю...— И добавила, тихонько вздохнув: — Хорошо, хоть Чечек со мной останется! Я вот посмотрю как, а то, может, к себе ее возьму на зиму...

К полудню, когда дождь поутих, Костя накинул армяк и вышел из дому. Небо чуть-чуть посветлело, но дождевая пыль тепло серебрилась в воздухе.

— Костя, куда? — крикнула с той стороны улицы Ольга Наева. Она с непокрытой головой и в калошах на босу ногу кормила кур около своего крыльца.

— В сад пойду,— ответил Костя.— Давно не был. Пойдем? Ольга отмахнулась:

— Ну что ты, там теперь из грязи не вылезешь! Да и ты не ходи. Пусть обдует немножко.

— Нет, я пойду,— сказал Костя.

И он торопливо, скользя по мокрой и грязной тропочке, зашагал дальше.

Вот и Гремучий. Вот и школа на горе смотрит из-за старых черемух и кленов своими большими белыми окнами. И огромная Чейнеш-Кая, словно бисерной дымкой задержнутая дождем... А вон там, подальше, невысокая нежная зелень, такая светлая, такая радостная... Яблоньки!

Костя быстро взбежал по деревянной лесенке, потом по другой лесенке... Раньше, когда Костя учился в пятом классе, лесенок не было. Ребята просто карабкались к школе на крутой увал, скользили и падали на грязных тропочках. Устанут, бывало, пока доберутся до школы. А теперь на увале цветут клумбы, зеленеют газоны, а вместо крутых тропочек устроены деревянные ступеньки с белыми перильцами.

На тихом школьном дворе бродили учительские куры. Окна домика Марфы Петровны, заполненные красными геранями, были открыты настежь. Может, зайти?

За палисадником директорского домика послышался голос Анатолия Яковлевича. Может, сбежать к нему повидаться?

«Потом!» — решил Костя и повернул в сад.

Вошел и остановился.

Вот они стоят, тоненькие, маленькие деревца с мокрыми, блестящими листочками, стоят ровными сквозными рядками, ухоженные, береженные. Вот они, прижились, окрепли. Теперь они начнут расти, подниматься, раскидывать ветки все выше, все гуще...

И Костя уже не видел этих маленьких, хрупких саженцев, которые робко зеленели над грядками, — нет, перед ним розовел цветущий сад, он, как розовое облако, поднимался над изгородью и заслонял лиловые уступы Чейнеш-Кая.

В первые дни в Кологоше, когда он кормил кроликов, ему иногда казалось, что это тоже работа. А что ж? Можно богатое кроличье хозяйство развести — и мясо и шкурки... Потом, когда он работал на жнейке, приходило в голову, что машина — тоже вещь интересная. Если быть механиком, много работы найдется механику в колхозе. Но теперь, когда он снова увидел эти нежные деревца с той красотой и радостью, которая таится в них, то понял, что только здесь его настоящая привязанность, его настоящая любовь.

Костя медленно шел вдоль рядков. Он заметил на одном деревце надломленную ветром ветку. Недолго думая он оторвал от носового платка полоску и подвязал ветку. На душе было так хорошо, так полно! И Косте вдруг захотелось, чтобы хоть кто-нибудь из ребят-садоводов заглянул сейчас в сад и поделил его радость.

Но многих ребят-садоводов еще не было: они не вернулись с каникул. А те, которые были здесь, сидели по домам. Кому же охота ходить по саду, когда дождь висит над землей!

И вдруг откуда-то из-за изгороди раздался звонкий голос:

— Кенскин, Кенскин! Э! Здравствуй! Как дела?

— Чечек! — сразу обернувшись, крикнул Костя. И тут же увидел ее.

Чечек стояла по ту сторону изгороди и, раздвинув мокрые кусты шиповника, смеясь, глядела на него — черноглазая и румяная, со своей малиновой кисточкой на шапочке.

Костя, перепрыгивая через грядки, подбежал к изгороди:

— Приехали? А Яжнай где?

— Яжнай — вон, на дороге стоит. Говорит: «Что сразу сад смотреть? Можно и потом». А я думаю: нет! Почему потом?

Может, тут мои яблоньки расцвели! Почему это — потом?.. Ну вот он и стоит на дороге, а я прибежала садик посмотреть. А тут и ты... Здравствуй, Кенский, здравствуй!

В черных глазах Чечек даже слезинки забегали от радости.

— Здравствуй! Только не кричи так,— сдержанно сказал Костя, хотя все лицо его улыбалось и глаза светились.— Ну, что я, глухой?

Но Чечек не могла в такую минуту говорить тихо.

— Какой ты большой стал, Кенский! Больше Яжная! А черненький какой! Лицо коричневое, а волосы белые, и брови белые, а глаза светлые совсем... Только чуть-чуть ресницы почернели. Вот загорел-то!

— В поле работал — вот и загорел... Вы куда с Яжною?

— В интернат. Да там с нами еще одна девочка приехала.

— Почему это в интернат? К нам пойдем! Мать ждет не дождется, и отец тоже велел.

— А там с нами Ардинэ!

— Ну так что ж? И Ардинэ пусть идет!

Костя хотел бежать через сад к калитке, но раздумал, вскарабкался на изгородь и спрыгнул на траву рядом с Чечек:

— Пошли! Вот увидишь, как мать обрадуется.

— Пошли! — крикнула Чечек.— А моя матушка вам подарок прислала — такие теплые варежки: и твоей матушке, и отцу, и тебе! Сейчас увидишь! — И побежала вслед за Костей вниз по увалу к дороге, где с рюкзаком за спиной дожидался под деревом Яжная а рядом с ним, робко прижавшись к нему, стояла подружка Чечек — смуглая Ардинэ.

НАШ АЛТАЙ!

С каждым днем все шумнее и веселее становилось около школы.

Приходили ученики из Узнези, из Верхнего Аноса, из Манжерока. Приезжали дальние, занимали места в интернате. В интернатских комнатах заблестели чисто промытые окна, заголубели занавески и в коридорах появились половики.

Каждое утро Марфа Петровна ходила в интернат. Она встре-

чала новеньких, устраивала их. И прежних своих учеников встречала с радостью и приветом.

Чечек каждую встречу с подругами принимала как праздник. Приехала Мая Вилисова, приехала Лида, приехали Эркелей и Катя Киргизова... Говор и смех не умолкали в интернате. Каждой надо было рассказать свои новости, каждую надо было обо всем расспросить...

— Через три дня — в школу! — еще с порога крикнула Чечек, вбегая в горницу к Евдокии Ивановне. — Сейчас Марфа Петровна сказала.

— Кончилась волюшка! — отозвалась Евдокия Ивановна. — Отгуляли золотые деньки!..

Костя сидел у стола и разбирал свои учебники и тетради.

— Ну что ж, — сказал он, — вы через три дня, и мы через три дня...

Чечек вдруг примолкла и посмотрела на Костю:

— И вы...

— Ну да, — усмехнулся Костя. — А ты что думала: мы с Яж-наем к вам в школу сторожами поступим?

— Через три дня...

— Ну да. Завтра уедем, на третий день как раз будем в Барнауле.

Чечек опустила ресницы:

— Завтра...

— Ничего, ничего! — сказала Евдокия Ивановна, складывая в стопочку Костино белье. — Пускай едут. Они там будут учиться, а ты здесь. Что ж теперь, пускай едут... А зато весной опять к нам. Э! Авошь никуда не денутся!..

Неизвестно, кого подбадривала Евдокия Ивановна: не то Чечек, не то себя... Все-таки трудно сердцу, когда родной человек уходит из дому, пустое место в доме остается надолго...

После обеда неожиданно засияло солнце. Костя уже сложил свои тетради и учебники. Рюкзак его был готов — хоть сейчас в дорогу.

— Пойдем еще раз походим по саду, — сказал он Яжнаю.

— Пойдем, — согласился Яжнай.

— А я? — вскочила Чечек.

— И ты! Пойдем.

В саду слышались голоса. Юннаты хлопотали около огородных гряд, разглядывали яблони, проверяли весенние свои посадки — смородину и «викторию». Вдали, среди тоненьких яблоневых стволов, Костя увидел светло-голубой платок Настеньки. Она ходила от деревца к деревцу, окруженная стайкой ребят.

«Как наседка с цыплятами!» — весело подумалось Косте.

К Яжнаю и Косте тотчас подошли товарищи — Андрей Колосков, Манжин, Ваня Петухов. Ребята пожимали друг другу руки.

— Здорóво, Кандыков!

— Здорóво, Манжин!

— Здравствуй, Андрей!.. Как живете, ребята?

— Ничего. Как Барнаул?

— Завтра едем!

Поговорили, посмеялись, вспомнили кое-что...

— Эх, что бы это для вас на прощанье сделать? — вдруг сказал Костя. — Посадить бы что-нибудь еще, что ли!

— А что ж, — подхватил Яжнай, — давай сделаем! Давай залезем на Чейнеш-Кая, там дикого крыжовника много. Насажать в садике можно — может, из него садовый вырастет.

— Правда, правда! — подхватил Манжин. — Я тоже слышал. Дикий крыжовник на хорошей земле крупные ягоды дает.

— Анатолий Яковлевич то же говорил, — поддержал и Андрей Колосков. — Только надо получше кустики отбирать и слабые побеги все срезать, все до одного. Вот и будет хороший крыжовник. Говорят, в Шебалинской школе так делают.

— Да что в Шебалинской школе! — засмеялся Костя. — У меня у самого дома в огороде посмотрите какой куст вырос! Ягоды на нем каждый год все крупнее и крупнее. Скоро как садовый будет.

— А что ж, полезем, — сказал Яжнай и, подняв голову, посмотрел на вершину Чейнеш-Кая.

— Может, завтра с утра? — предложил Петухов. — А то сегодня день какой-то неверный: то солнце, то дождик... И сыро — там камни скользкие.

— Завтра? — усмехнулся Костя. — А мы с Яжнаем завтра где будем? — И, подтянув покрепче ремень, сказал: — Ну, вы

как хотите, а я полезу. У меня завтрашних дней нет, у меня только один сегодняшний остался, да и то половинка!..

Солнце, пробираясь с полудня к закату, жарко озарило Чейнеш-Кая. И снова заиграли все краски огромной горы: лиловые камни с оранжевым подцветом, темная зелень трав, белизна березовых стволов с тонкой позолотой листы.

Крутыми тропками ребята пробирались на вершину. Они разбрелись по широкому склону, ловко карабкались с уступа на уступ. Костя среди зарослей бересклета и ежевики заметил несколько кустиков крыжовника. Эти маленькие кустики жались на каменистом уступе. Костя осторожно подобрался к ним, уперся ногой в большой камень, чтобы не сорваться, и стал выкапывать кустики. Бережно, стараясь не стряхнуть землю с корней, он откладывал их в сторону. А потом собрал в охапку и, прыгая с камня на камень, выбежал на тропочку.

— Кенскин! — раздалось откуда-то сверху. — Иди сюда!..

Костя поднял голову: на высоком утесе, прижавшись к стволу лиственницы, сидела Чечек. Над ее головой были только зеленая хвоя да синее небо.

— Иди-ка, посмотри!

— А что ты там увидела? — спросил Костя. — Так, выдумки какие-нибудь.

Но все-таки полез. Он вспотел и слегка задохнулся, пока добрался до той лиственницы, под которой сидела Чечек.

— Оглянись! — сказала она.

Костя оглянулся. Горный Алтай лежал перед ним — страна гор и долин, страна безмолвных лесов и шумящей воды... Горные вершины глядели одна из-за другой — округлые, конусообразные, волнистые, отлогие, крутые... И далеко-далеко, над синим силуэтом горного хребта, поднималась величавая снежная вершина горы Адыган, самой высокой горы в округе.

— Видишь? — спросила Чечек.

— Вижу, — отозвался Костя.

И снова замолчали оба. Где-то недалеко распевал клест. Голоса ребят доносились со склона.

— Кенскин, — сказала Чечек, все так же глядя на туманные конусы дальних гор, — вот если бы кто-нибудь меня обижал... ты бы заступился?

— Ну конечно! — ответил Костя. — А как же еще?

— А почему?

— Почему? Ну как это... Во-первых, ты... ну, девчонка. Во-вторых, наша же ты, пионерка. А в-третьих... ну, сестра моего друга, значит, моя сестра. Вот и всё.

Чечек, слушая, кивала головой.

— Кенский, а знаешь, — сказала она, помолчав, — если бы ты вдруг сейчас упал — ну вот когда доставал крыжовник, я ведь видела! — то я бы тоже за тобой прыгнула.

Костя удивленно повернулся к ней:

— А тебе зачем же прыгать?

— Как — зачем? Чтобы тебе помочь! Ты же моему брату друг и мне друг — ты, значит, два раза друг. Э, Кенский! Значит, ты думаешь, что я друга в беде брошу?

Снова наступило молчание. Безмолвные вершины гор, мягкое красноватое сияние заходящего солнца, лиловые волокна облаков, тянувшиеся над Катунью, — все это как-то нежно и неясно волновало сердце...

— Кенский, ты знаешь, что я думаю? — снова начала Чечек. — Я вот думаю, как все будет... Ты будешь учиться. Потом ты приедешь, будешь сады сажать. И я буду тебе помогать! Я ведь тоже научусь... И мы будем так работать, так работать!.. И пусть весь мой Алтай зацветет, как тот сад у Лисавенко!

Костя поглядел на нее:

— Твой Алтай, Чечек?

Чечек несколько мгновений смотрела ему в глаза. И вдруг поняла.

— Наш Алтай, Кенский! — улыбнулась она. — Наш Алтай!

Николай Дубов

На краю
земли



ДЫМ В РАСПАДКЕ¹

Мало-помалу нами овладело уныние. Мы мечтали о великих подвигах, которые могли бы удивить мир, но подвиги нам не удавались.

Мы — это Генька, Пашка, Катеринка и я.

Сначала нас было только двое: Генька и я; потом присоединились Пашка Долгих и Катеринка. Я был против Катеринки, потому что она всегда приставала со своим «а почему?» и спорила. Она мне вообще не нравилась: большеглазая, тугие косички торчат в разные стороны, верткая, как юла. Катеринка определенно нарушала наше суровое мужское содружество, вносила в него какое-то легкомыслие и ребячество. Я так прямо и заявил, что категорически возражаю, и Пашка тоже поддержал меня. Но Генька сказал, что это неправильно: Катеринка — эвакуированная, и мы должны проявить к ней чуткость и внимание.

Катеринка с матерью приехали к нам еще во время войны.

¹ Р а с п а д о к — узкая долина.

Дом у них там, на Украине, фашисты разбомбили, отец погиб на фронте. Наш колхоз выделил им избу и все прочее, и, когда война окончилась, Марья Осиповна, Катеринкина мать, сказала: «(От добра добра не ищут. И тут люди живут, и ничего, хорошие люди... Чего же мы будем мыкаться взад-вперед?..» Так они и остались...

Пашка сказал, что он не против чуткости и внимания, но девчонки — они очень бестолковые, техникой не интересуются, а только мешают самостоятельным людям и часто ревут. Катеринка показала Пашке язык и сказала, что «еще посмотрим, кто первый заревет».

Если говорить правду, ревела она не так уж часто и вообще была ничего: в куклы не играла, тряпками не интересовалась и могла за себя постоять, хотя сама она худенькая и не очень сильная. Когда Васька Щербатый попробовал дразниться, Катеринка недолго думая стукнула его и не отступила, пока их не разнял Захар Васильевич. Приняли ее в наш класс, и мы ходили в школу все вместе. (Нас всех перевели уже в седьмой класс, один Пашка еще в шестом.)

Мы мечтали о великих делах, но, как только у нас появлялся какой-нибудь замысел, неизменно оказывалось, что в прошлом кто-то уже опередил нас и то, что мы еще только задумывали, было уже сделано.

Нельзя же заново изобретать паровоз или самолет, если их давно изобрели, открывать новые страны, если вся земля пройдена вдоль и поперек и никаких новых стран больше нет, или побеждать гитлеровцев, если их уже победили! По всему выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. Я высказался в этом смысле дома, но мать удивленно посмотрела на меня и сказала:

— Экий ты еще дурачок! Люди радуются, а он горюет... Славы ему захотелось! Иди вон на огороде славу зарабатывай...

Все ребята согласились, что, конечно, какая же может быть слава на огороде, а если и может быть, то куда ей, огородной славе, до военной! А Пашка сказал:

— Странное дело, почему это матери детей любят, а не понимают? Вот раньше в книжках здорово писали: «Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...» А тут — на огород!.. Давеча мне для

поршня понадобился кусок кожи. Ну, я отрезал от старого сапога, а мать меня скалкой ка-ак треснет... Вот и благословила!

Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. Он построил большую машину, чтобы наливать воду в колоду для коровы. Это была, как Пашка говорил, первая модель, а для колхоза он собирался построить большую. Машина получилась нескладная, сама воду наливать не могла; зато если вручную налить ведрами бочонок, который Пашка пристроил сверху, то потом достаточно было нажать рычаг, чтобы бочонок опрокинулся и почти половина воды попала в колоду.

Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок и рычагов, однако все до поры обходилось мирно. Но однажды Пашкин отец возвращался с фермы в сумерки, наступил на рычаг, и его окатило с головы до ног. Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому изобретателю, да тот убежал к дяде кузнецу.

Федор Елизарович, или дядя Федя, как его все зовут, кажется сердитым, потому что у него лохматая черная борода, на лбу глубокие морщины, глаза прячутся под нависшими и тоже лохматыми бровями. На самом деле он добрый: пускает нас в кузницу посмотреть и иногда позволяет покачать длинное коромысло, от которого идет рычаг к большому меху.

Мех старый, латаный, и, если сильно качать, он начинает гулко вздыхать и охать, будто сейчас заплачет. Тогда пламя над горном исчезает, вместо него разом с искрами вылетает синий свет, и в нем танцуют раскаленные угольки. Дядя Федя ловко выхватывает из горна искрящийся кусок железа и, словно примериваясь, ударяет по нему молотком так, что огненные брызги летят во все стороны; потом быстро-быстро околачивает со всех сторон, пока раскаленное железо не вытянется в зуб бороны или еще во что-нибудь, а затем, не глядя, бросает в бак с водой. Все у него идет так быстро и ловко, что нам каждый раз становится завидно. Но дядя Федя, как мы ни просим, ковать нам не дает.

— Нет, ребята,— говорит он.— Кузнец начинается вон с той штуки,— кивает он на тяжелую кувалду.— Вот когда вы играючи ею махать будете — другой разговор. А сейчас ваше дело — расти. Может, потом и в кузнецы определитесь.

Мы все, кроме Катеринки, можем поднять кувалду и даже

легонько ткнуть по наковальне, но размахнуться ею не под силу даже Геньке.

С дядей Федей мы дружим и, когда он отдыхает, разговариваем о разных разностях. Он, правда, не больно разговорчив, так что говорим больше мы сами, а он, шурясь, покуривает свою коротенькую, окованную медью трубку и только кивает головой.

Дядя Федя всегда заступает за нас перед другими. Его все уважают и слушают, он депутат сельсовета, ходит в Колтубы на собрания и получает «Правду».

Вот и теперь Пашка прибежал под его защиту.

— Что, опять набедокурил? — спросил дядя Федя.

— Я не б-бедокурил, я м-машину изобрел. Я же не виноват, что папая под ноги не п-поглядел...— И Пашка рассказал, как все произошло.

— Эх ты, механик!.. Ну ладно, пойдем на расправу.

Он закрыл кузницу и пошел к Пашкиному дому. Пашка приуныл, но побрел следом, приготовившись, в случае чего, дать тягу.

Отец уже переоделся и, должно быть, поостыл, но, когда Пашка вошел в избу, нахмурился:

— У тебя что, вихры чешутся? А ну-ка, поди сюда.

— Ты погоди, Анисим,— остановил его дядя Федя.— Вихры не уйдут. Приструнить, конечно, следует, ну и торопиться с этим не к чему. Коли бы он просто озоровал — другое дело. А у него мозги видишь куда направлены?..

— Я вижу, куда они направлены. Только и знает — выдумывать...

— Вот я и говорю: выдумывает. Может, до чего и путного додумается. А через вихры всякую охоту думать очень даже просто отбить.

Потом дядя Федя пожаловался на сталистое железо, Пашкин отец перевел разговор на ферму, которой он заведует,— тем дело и кончилось.

У меня нет пристрастия к технике — мне больше нравится читать книги и слушать разные истории. Но все книги, какие я мог достать, уже читаны и перечитаны, и я попробовал написать про нашу деревню сочинение вроде летописи. Тетрадей мне было жалко, и, потом, они все по арифметике или в две косых, а кто

же пишет летопись в две косых! Я выпросил у отца большую конторскую книгу, написал на обложке: «Летопись. Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочиненная Н. И. Березиным», и перерисовал из книги подходящую картинку — битва русских с монгольскими завоевателями. Про битвы в нашей деревне я ничего не слышал, но так как во всякой истории обязательно бывают войны и сражения, то я решил, что и в нашей деревне они тоже были.

Далее, как полагается, шло описание деревни:

«Деревня Тыжа стоит на реке Тыже. В деревне всего двадцать один двор. С востока Тыжа оmyвается речкой Тыжей, а с запада ничем не оmyвается, и там дорога к селу Колтубы. Это от нас километров пять или семь (точно установить не удалось: все ходят и ездят, а никто не мерил). Там находятся школа-семилетка и сельсовет, а в нем телефон. От Колтубов через Большую Чернь¹ идет дорога к Чуйскому тракту, по которому ходят автомашины. За Тыжей тянутся колхозные поля. Они идут над самым берегом, потому что недалеко от берега поднимается большая гора и она вся поросла листвяком².

С севера находятся горы и тайга, а к югу идет такая крепь и дебрь, что пройти совсем немислимо. Еще зимой туда-сюда, а летом ни верхом, ни пеши не пробраться. На что Захар Васильевич ходок, и тот туда не ходит. Еще дальше находятся гольцы³, а в погожий день далеко-далеко виднеются белки⁴.

Заложена деревня...»

Вот тут и начались затруднения. Основание деревни относилось, конечно, к древней истории, но никаких древностей мне не удалось обнаружить. Самой древней была бабка Луша — она уже почти ничего не видела, не слышала и даже не знала, сколько ей лет: «Года мои немеряные. Кто их считал! Живу и живу помаленьку».

Чтобы задобрить бабку Лушу, я принес ей полное лукошко кислицы, но так ничего и не добился. Она только и знала, что твердила:

¹ Чернь — черневая тайга: тайга из темных хвойных пород.

² Листвяк — лиственница.

³ Гольцы — оголенные скалистые вершины.

⁴ Белки — покрытые снегом горы.

— Было голо место. Пришли мы — батюшки-страсти: зверье-каменье!.. Чисто казнь, а не жизнь. Потом ничего, обвыкли, к месту приросли... Они ведь, места-то наши, хо-о-рошие!..

Древняя история не получилась. Ничего не вышло и со средней историей. Дед Савва, к которому я пристал с расспросами, отмахнулся:

— Какая у нашей деревни история! Бились в этой чашобе, бедовали — ой, как люто бедовали! — вот и вся история. Жизнь, она нам с семнадцатого году забрезжила. Ну, а по-настоящему с колхоза жизнь начинается... Да. Вот она, такая история. Нашего века еще только начало, историю-то потом писать будут... А вот раньше бывалоча... — И начал рассказывать, как он в 1904 году воевал с японцами и заслужил Георгия, но это уж никак не вязалось с историей деревни.

История Тыжи осталась ненаписанной, я спрятал книгу в укладку, но на деревне узнали про нее, и меня после этого иначе и не зовут, как «Колька-летописец».

Так, один за другим, рухнули все наши замыслы и начинания.

Мы еще надеялись на Геньку. Генька был врун. Его так и звали: «Генька-врун». Врал он без всякого расчета, верил в только что выдуманное им самим и, рассказывая свои выдумки, так увлекался, что вслед за ним увлекались и мы. Теперь только Генька мог придумать что-нибудь такое, что вывело бы нас из тупика. Но Генька исчез. Целый день его не было ни в избе, ни в деревне, и, куда он девался, не знала даже его мать.

Ожидая Геньку, мы долго сидели на заросшем лопухами и репейником дворе Пестовых. Старик и старуха Пестовы померли еще во время войны, изба стояла заколоченная, и мы всегда там собирались, потому что там никто нам не мешал.

Серо-синие гольцы стали розовыми, над Тыжей повисла лохматая вата тумана. Пора было расходиться.

Но в тот момент, когда Пашка сказал: «Ну, я пошел», затрепали кусты и появился запыхавшийся, растрепанный Генька. Рубашка у него была разорвана, колени и руки испачканы землей и смолой, а во всю щеку тянулась глубокая, уже засохшая царапина. Он опасливо оглянулся вокруг, присел на корточки и спросил зловещим шепотом:

— Умеете вы хранить тайну?

От волнения у меня пересохло в горле, глаза у Катеринки стали еще больше, а Пашка встревоженно засопел. Это было самой заветной нашей мечтой — знать хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую тайну! И, хотя ни разу мы не сталкивались ни с чем, что напоминало бы тайну, конечно же, никто не мог сохранить ее лучше нас. Но какие могли быть тайны в Тыже, если все от мала до велика знали все обо всех и обо всем и ничто, решительно ничто не содержало намека даже на пустяковый секрет!..

Генька опять оглянулся и еще тише сказал:

— В районе населенного пункта Тыжа появились диверсанты!

— Врешь! — сказала Катеринка.

— Вру? — задохнулся от негодования Генька. — А вы знаете, где я сегодня был? Я, может, десять километров на животе по-пластунски прополз... — Он показал испаранные, испачканные руки. — В распадке за Голой гривой¹ я видел дым. А потом я нашел...

— Что?

— Вот! — И Генька протянул нам обрывок бумаги.

Это была не обычная бумага, а толстая и гладкая, с одной стороны белая, с другой — разлинованная бледно-зелеными линиями, как тетрадь по арифметике, только совсем мелко. По этим клеточкам карандашом проведены извилистые, изломанные линии, возле линий — маленькие стрелки и цифры, а сбоку нарисована большая стрелка, упирающаяся в букву N.

Странная бумага уничтожила все наши сомнения.

— Ну? — не выдержала молчания Катеринка.

— Мы пойдем туда и выследим их!

— А может, это не диверсанты? Откуда им взяться? — колебался я.

— Много ты понимаешь! Далеко ли граница-то?

— Там же Монголия. А у нас с Монголией дружба.

Генька презрительно посмотрел на меня:

— Ну да... А ламы?

— Кто такой «ламы»? — спросил Пашка.

¹ Г р и в а — гряда, хребет.

— Лама — это монгольский поп. У нас их нет, а в Монголии они есть и называются ламы. (Он здорово много знал, этот Генька!) Вот диверсанты или шпионы переоделись под ламу — и к нам!

— Надо в аймак¹ сообщить, — сказал Пашка.

— Ну да, как же! А орден? Кто поймает, тому и орден дадут.

Об орденах мечтали мы все, и потому Пашкино предложение никто не поддержал.

— Ну вот... Если кто боится, я не неволю. Дело опасное, и пойдут самые стойкие.

— Девчонок не брать! — сказал Пашка.

— А почему? — вскипела Катеринка. — Думаешь, я боюсь? Я нисколько не боюсь! Ты раньше меня испугаешься.

— Понимаешь, Катеринка, — сказал Геннадий, — может, придется долго по-пластунски...

— Я не хуже вас ползаю! — закричала Катеринка. — Тоже выискались! Только попробуйте не взять — я всем расскажу! Вот сейчас пойду к Ивану Потапычу и расскажу!

Обидевшись, Катеринка действительно могла выполнить свою угрозу, и тогда прощай всё: бумагу отберут, сообщат в аймак, да еще может и влететь...

— Эх, — сказал Генька, — связались мы с тобой!.. Ну ладно, пошли!

— Куда же на ночь глядя? — заколебался Пашка. — А дома что скажут? Да и не найдешь ничего в потемках.

В самом деле, стало совсем темно, в окнах зажглись огни.

Генька озадаченно почесал затылок:

— Да, дела не будет... Хорошо! Утром на зорьке сбор здесь...

НЕИЗВЕСТНЫЙ

Мы всегда мечтали о какой-нибудь тайне, но, появившись, она оказалась таким гнетущим грузом, что я совершенно изнемог, пока мать собирала на стол и мы ужинали.

¹ А й м á к — район.

— Ты чего притих? — подозрительно присматриваясь ко мне, спросила мать.

— Набегался, — отозвался отец. — Носятся целый день как оглашенные. Видишь, у него и ложка из рук вываливается...

Я наклонился над тарелкой и сделал вид, будто целиком поглощен пшенной кашей, но она застревала у меня в горле. Волна нежности к отцу и матери и горькой жалости к себе охватила меня. Что, если это мой последний ужин в родной избе, последний раз я вижу мать, отца и маленькую Соню?..

Мне хотелось приласкаться к ним, дать понять, как значителен этот вечер — может быть, последний, проводимый вместе... Однако, побоявшись пробудить подозрения и вызвать расспросы, я ограничился только тем, что после ужина отдал Соне свою коллекцию цветных картинок, которую она давно выпрашивала у меня. Но сестренка не поняла значения происшедшего и так хотела спать, что даже нисколько не удивилась.

Я долго вертелся на печке, и мне думалось, что я не сомкну глаз. Но, когда мать загремела ухватами, я вдруг очнулся, и оказалось, что уже наступило утро. Даваясь горячей картошкой, я кое-как позавтракал и, окинув все прощальным взглядом, побежал к избе Пестовых.

Чтобы скорее добраться, я побежал напрямик, задами, и неожиданно со всего размаху налетел на Ваську Щербатого. Он нес в крынке молоко и еле удержал запотевшую, скользкую крынку, когда я, выбежав из-за погребца, столкнулся с ним. Молоко тоненькой струйкой плеснулось на землю. Хотя разлилось совсем немного, Васька не упустил бы случая подраться и уже поставил крынку на землю, но в это время его мать вышла на крыльцо и крикнула:

— Васька! Долго ты будешь прохлаждаться? Дядя-то голодный сидит...

Васька только погрозил мне кулаком, подхватил крынку и убежал в избу. Я было остановился, чтобы разузнать, какой таковой дядя объявился у Васьки — они жили только вдвоем: он да мать, но вспомнил, что ребята, может, уже поджидают меня, и побежал дальше.

Все были в сборе. Генька торжественно оглядел нас и сказал:

— Никто не забоялся, не передумал? Ну ладно, пошли!..

Как только мы вышли за околицу, Генька сразу же начал вести наблюдение: он то осматривал обступившие деревню гривы, то пристально вглядывался в пыльную дорогу, изрытую овечьими и коровьими копытами. Ни на дороге, ни на гривах ничего интересного не было, и Пашка пренебрежительно фыркнул:

— Будет тебе форсить-то!

Но вдруг шедший впереди Генька расставил руки, преграждая нам путь, нагнулся к земле: овечьи и коровьи следы перекрывались отпечатками больших мужских сапог; следы человека пересекали дорогу и исчезали в придорожной траве. Генька прошел сбоку, присматриваясь к ним, потом вернулся обратно и, торжествуя, посмотрел на нас:

— Видали?

— А что тут видеть? Мало ли кто мог пройти! Наши небось и ходили.

— Нет, не наши, а хромой! Ты посмотри лучше.

— Ну и что? Архип ногу стер, вот и захромал.

Генька заколебался. Это и в самом деле могли быть следы колхозного пастуха, на зорьке прогнавшего стадо. Он еще раз посмотрел на следы и решительно свернул с дороги.

Мы перевалили через гриву у деревни и начали взбираться на бом¹, за которым Генька нашел таинственный чертеж. Шаг за двести до вершины Генька остановил нас и пополз вперед один. Через некоторое время он появился снова и прошептал:

— Положение без перемен. Можно идти дальше.

Мы пошли вперед, пригибаясь и перебегая от куста к кусту, а потом, по команде, легли и поползли.

Бом полого спускается в сторону нашей деревни, но северный скат его крут, а местами обрывист.

Добравшись до вершины, мы приросли к месту: снизу, от подножия, там, где протекает Тыжа, делающая петлю вокруг бома, поднимался дымок костра... Утро было безветренное, и в ярком солнечном свете, на темном фоне пихтача, этот столбик голубоватого дыма был отчетливо виден.

Генька удивленно уставился на безмятежно курящийся ды-

¹ Бом — скала или гора, отрог горного хребта, пересекающей речную долину.

мок. Вчера он был значительно дальше, за Голой гривой, а теперь оказался совсем близко, и, если бы не горы, его давно бы заметили в деревне. Значит, отчаянной храбрости и наглости были эти диверсанты, если среди бела дня не побоялись расположиться неподалеку от деревни!

Мне вдруг стало жарко и трудно дышать, будто я с разбегу окунулся в горячую воду и не могу ни вынырнуть, ни вздохнуть. Вчера я, как и все, поверил Геньке, но где-то в глубине копошились сомнения: может быть, он просто придумал новую игру, а таинственную бумагу подобрал где-нибудь раньше?.. Но дым был у нас перед глазами, и это никак не было похоже на игру, потому что, увидев его, растерялся и сам Генька.

Затаив дыхание, мы подползли к обрыву, нависающему над берегом Тыжи, и заглянули вниз.

Прямо под обрывом белела маленькая палатка, рядом с ней горел костер. Вокруг не было ни души. Потом из палатки появился человек в клетчатой рубаше и широкополой шляпе. Он поднес что-то к глазам — мы догадались, что это бинокль, — и начал медленно осматривать горы по ту сторону реки. Хотя он стоял спиной к нам и не мог нас видеть, мы все-таки подались немного назад и укрылись в болотистом кустарнике.

— Ой, смотрите! — сказала вдруг Катеринка.

На вершине высокой горы по ту сторону реки что-то сверкнуло. Потом опять и опять. Вспышки света с разными промежутками следовали одна за другой. Человек внизу не отрываясь смотрел в бинокль на верхушку горы и, конечно, видел эти вспышки. Потом он опустил бинокль, вынул какую-то вещь из кармана и начал то открывать, то закрывать правой рукой то, что держал в левой.

— Зеркало! — догадался Генька. — Сигнализирует! Видите?

Это была самая настоящая сигнализация. Значит, диверсанты были не выдумкой. И не один, а целая банда! Кто знает, сколько сообщников этого, в шляпе, скрывалось по окрестным горам, урочищам¹ и распадкам! Если оказались они на этой горе, то ведь могли быть и в других местах, прятаться в непролазной чаще...

¹ Урочище — участок, чем-либо отличающийся от окружающей местности.

Пашка побледнел и, заикаясь — он всегда заикается, когда боится,— сказал:

— А м-может, лучше в-все-таки в аймак?

Генька, наверно, тоже струсил, но не подавал виду. А мне стало как-то беспокойно и вспомнился дом. В горнице сейчас пахнет лепешками и свежeweмытым полом. Отец, должно быть, ставит самовар, а Соня ему помогает — старается запахать в самоварную трубу длинную зеленую ветку с листьями. Из трубы валит густой белый дым. Он стелется по земле, ест Соне глаза, она от досады топает ногами, изо всех сил зажмуривается, но все-таки не уходит и вслепую тычет веткой в самоварную трубу. Отец, улыбаясь, наблюдает за Соней и говорит: «Молодец, доченька! Расти хозяйкой!» А мать доит корову. Корова вкусно жует посоленный кусок хлеба и косит карим глазом; белая пенная струя бьет в подойник... Вернусь ли я ко всему этому?

Мы отползли в кусты и начали совещаться.

Несмотря на нашу решимость умереть, но победить, было очевидно, что для безусловной победы сил явно недостаточно. Пашка сказал, что он вовсе не хочет умирать, и Катеринка сейчас же поймала его: «Ага, вот и струсил! А я ничутьючки не боюсь!» Геннадий пристыдил их обоих, так как сейчас не время дразниться.

Благоразумнее всего было бы сообщить в аймак: там есть два милиционера, и Генька сам видел, что у них настоящие наганы в кобурах и с медными помполами. Но в Колтубах все равно к телефону нас не пустят, и, значит, без взрослых, так или иначе, не обойтись. Потом, это заняло бы не меньше шести часов, даже если туда и обратно бежать бегом, а мало ли что могли натворить за это время диверсанты! Оставалось одно: сообщить обо всем Ивану Потаповичу. Генькин отец — председатель колхоза, а на фронте был старшиной, и он, конечно, сразу придумает, что нужно делать. Слава, таким образом, опять ускользала от нас. Но Генька решительно сказал, что нужно жертвовать личным успехом в интересах государственной безопасности. Он, наверно, где-нибудь это вычитал — так гладко и внушительно у него получилось.

И мы решили пожертвовать личным успехом.

Пашка предложил всем вместе идти к Ивану Потаповичу и

рассказать, как было дело, но Геннадий высмеял это предложение, так как диверсанты в наше отсутствие могут скрыться и найти их тогда будет труднее. Идти должен один, а остальные, замаскировавшись, будут непрерывно вести наблюдение.

— Пусть Павел идет, — сказала Катеринка. — Все равно он боится.

— Вовсе я не боюсь! Сама трусиха!..

Но Генька остановил их:

— Что вы, маленькие? Я думаю, идти нужно Катеринке... Ты не боишься, но, если дело дойдет до драки, — ты же девочка и не умеешь бросать камни...

— Нет, умею!

— Подожди, не в этом дело! Ты быстро бегаешь, а тут нельзя терять ни минуты.

Катеринка на самом деле бегала быстрее нас всех, ее никто не мог догнать. Она немножко даже покраснела от гордости и согласилась:

— Только дай мне ту бумагу, а то Иван Потапыч не поверит.

Это было правильно, потому что Иван Потапович действительно не поверил бы, а таинственный чертеж мог убедить кого угодно.

Катеринка взяла бумагу и, мелькнув косичками, нырнула в кусты. А мы возобновили наблюдение.

Над костром висел котелок, в нем что-то варилось, и диверсант помешивал варево. Потом он снял котелок и принялся есть. Покончив с завтраком, сходил к Тыже, вымыл котелок, поставил его на солнце для просушки, а сам скрылся в палатке.

Мы уже думали, что он лег спать, но он появился снова и, сев неподалеку от речки, стал что-то писать в маленькой книжке. Это продолжалось так долго, что у нас онемели вытянутые шеи и затекли руки, а он все сидел и сидел.

Мы опять отползли и стали совещаться. Генька предложил пробраться поближе, чтобы видеть все, как следует, а то мы просто сидим тут и сторожим его. Пашка сказал, что больше ничего и не надо: наше дело — дожидаться, пока придут из деревни. А я был согласен с Генькой. Мы решили, что Пашка останется на обрыве, а Генька и я, сделав обходный маневр, попробуем пробраться к самой палатке.



— Только если сбежишь,— сказал Геннадий Пашке,— смотри тогда!

У Пашки позиция была совершенно безопасная, с нее нетрудно было улепетнуть в случае, если бы дело приняло плохой оборот, и он пренебрежительно оттопырил губы:

— Как бы сами не сбежали!

Пройдя с полкилометра по увалу¹, мы спустились к реке и, прячась в кустах, поползли вперед. Никогда не думал, что они такие цепкие и колючие. Мы исцарапались и ободрались, пока шагах в пятидесяти не забелела палатка. Дальше мы пробирались как только могли осторожнее, и каждый шорох казался нам оглушительным громом. Не дыша, мы ползли все вперед и вперед, и вот прямо перед нами в просветах между листьями показалась клетчатая рубаха диверсанта. Диверсант, ничего не

¹ У в а л — южный склон горы.

подозревая, занимался своим делом, а мы лежали за его спиной, не сводя с него глаз.

Сначала у меня затекли руки, ноги и заболела шея. Потом так засвербило в носу, что я едва не умер от желания чихнуть, но уткнулся лицом в землю и подавил этот приступ, который мог нас бесповоротно погубить... Должно быть, Генька испытывал то же самое, потому что он то краснел, то бледнел, и все время морщился, будто наелся хвой.

Страдания наши стали совершенно невыносимыми, как вдруг диверсант, не оборачиваясь, громко сказал:

— Ну ладно, вылезайте! Вы так пыхтите, что скоро ветер достигнет ураганной силы...

Это было так неожиданно, что я даже зажмурился и уткнулся носом в землю. Диверсант повернулся к нам и повторил:

— Вылезайте! Хватит прятаться!

Путей к отступлению не было. Потные, красные, мы выбрались из кустов.

Диверсант смотрел на нас, а мы — на него. Он был совсем молодой и не страшный, но одежда с головой выдавала его коварную натуру: на нем была клетчатая рубаша, широкополая шляпа, ботинки на больших, торчащих из подметок гвоздях, а до коленок — вроде как обрезанные, без головок, сапоги. Он сел на прежнее место и сказал:

— В таких случаях как будто принято говорить «здоровствуйте»?

Генька насупилсь и мрачно сказал:

— А может, мы не хотим...

— Вот как? — удивился диверсант. — Ну, в таком случае, нечего здесь вертеться! Грубиянов я не люблю.

Мы не успели ничего ответить — по правде сказать, мы и не знали, что ответить, — как раздался топот и из-за бома верхом на лошади вылетел Иван Потапович. За его спиной, держась за председателю рубашу, подпрыгивала на крупе лошади Катеринка.

Как только Иван Потапович подскакал, Катеринка сползла с лошади. Иван Потапович спрыгнул тоже, оглядел палатку, нас, диверсанта и, поправив усы, сказал ему:

— А ну-ка, позвольте ваши документы, гражданин!

Тот удивленно поднял брови, посмотрел на нас, на председателя, потом опять на нас и присвистнул:

— Ага, понятно! Прошу!

Он показал Ивану Потаповичу на палатку и влез в нее первый, а Иван Потапович — за ним.

Это было ужасно опрометчиво — самому, добровольно забраться в логово врага. Но если таким простодушным оказался Иван Потапович, то мы были настороже. Генька мигнул, и мы схватили по здоровенному камню. В палатке гудели голоса, и мы ежесекундно ожидали, что оттуда загремят выстрелы. Потом голоса смолкли.

Время шло, и это молчание становилось невыносимым. Мы начали думать, что все кончилось ужасной трагедией, и млели от страха и неизвестности.

Голоса загудели снова. Иван Потапович, пятясь, вылез из палатки и, усмехаясь, оглядел нас:

— Эх вы, сыщики! Морочите голову, чтоб вас...

Он сел на лошадь и ускакал.

Топот уже затих, а мы растерянно смотрели на неизвестного, который опять подошел к нам. Только теперь я увидел, что глаза у него голубые, ясные и что глаза эти смеются.

— Ну-с, молодые люди, почему вы не кричите «руки вверх»? Я вижу, вы основательно вооружились.

Камни выпали из наших рук. Генька облизнул пересохшие губы, а Катеринка выпалила свое:

— А почему?..

— Правильно! С этого надо бы начинать. Любознательность — мать познания. Итак, давайте знакомиться...

Но в это время сверху раздался крик, посыпались песок и камни. Забытый нами Пашка видел все, но ничего не понимал. Сгорая от любопытства, он слишком далеко свесился со скалы, сорвался и полетел вниз. Он катился по крутому склону и кричал, будто его режут. Мы замерли от ужаса — он неминуемо должен был разбиться... Неизвестный бросился к тому месту, где должен был упасть Пашка, и выставил руки, чтобы поймать его, хотя вряд ли ему удалось бы его удержать — Пашка толстый и тяжелый.

Однако Пашка не упал. Метрах в десяти ниже обрыва из рас-

селины торчал куст. Пашка угодил на него, обломал ветки, по рубаха его зацепилась за корневище, и он повис, как на крючке. Он было затих, но потом опять завопил что есть силы:

— Ой, сорвуся! Ой, убьюся!

Неизвестный бросился в палатку и выскочил оттуда с веревкой через плечо.

— Держись! — крикнул он Пашке.

— Ой, сорвуся! — продолжал тот вопить.

— Попробуй только, я тебе задам!

Он очень сердито прокричал это, и Пашка уже значительно тише прохныкал:

— Так я со страху умру...

— От этого не умирают. Держись!

Он подхватил с земли что-то вроде маленькой кирки и, как кошка, полез прямо на скалу. Мы все здорово умеем лазить и по деревьям и по скалам, но ни у кого из нас не хватило бы духу на такое дело: слишком высоко висел Пашка и слишком гладкой была эта почти отвесная скала. А он лез! То пальцами, то своей киркой цеплялся за трещины, выступы, нащупывая погой какую-то совсем незаметную шероховатость и, опершись на нее гвоздями ботинок, поднимался вверх, потом искал опору для рук и снова подтягивался. Иногда шипы на ботинках начинали скользить по камню или срывались — и мы замирали, ожидая, что вот-вот он упадет, но он не падал, а взбирался все выше. Катеринка от страха присела на корточки, зажмурилась и закрыла лицо руками, но, не выдержав, время от времени взглядывала вверх, тихонько ойкала и опять зажмуривалась.

А он все лез и лез. Он уже добрался до Пашки, набросил на него веревочную петлю, но не остановился, а полез выше. Взобраться на вершину скалы было невозможно — она небольшим карнизом нависала над склоном, — но он и не собирался туда лезть. Немного выше и в стороне из расселины торчало мощное кривое корневище. Неизвестный добрался до него, перебросил через корневище веревку и, немного отдохнув, начал спускаться. Спускался он еще медленнее и осторожнее, так как теперь не видел опоры и находил ее только ощупью.

Наконец он оказался внизу, отбросил свою кирку, потянул за веревку и, приподняв Пашку так, что его рубаха отцепилась

от корня, начал понемногу отпускать веревку. Пашка вертелся, как кубарь, стучался о скалу и скулил. Он сел бы прямо на палатку, но неизвестный перехватил его и оттащил в сторону:

— Слезай, приехали...

И только тогда мы увидели, что он весь бледный и на лбу у него выступил пот. Он вздохнул, вытер пот рукавом, и мы тоже облегченно вздохнули.

— Ну, больше никто сверху не упадет?.. Давайте условимся, граждане: в гости ко мне ходить можно, но только как все люди — пешком, а не как этот крикун.

Пашка за «крикуна» обиделся:

— Вовсе я не боялся! А кричал потому, что рубаха новая... Кабы я изорвал, мне бы так влетело!..

Это он врал, конечно. Мать спила ему рубаху из чертовой кожи, чтобы не рвал, и она была целехонькая, а орал он просто от страха.

Незнакомец сел на камень, а мы — прямо на песок.

— Теперь давайте все-таки познакомимся, чтобы вы, чего доброго, не вздумали обстреливать меня камнями... Я геолог, кандидат геологических наук, и зовут меня Михаил Александрович Рузов. Можно просто «дядя Миша». Там, — он махнул рукой в сторону горы, на которой мы видели таинственное свечение, — мои товарищи. Мы разделились, чтобы разными маршрутами охватить ваш район. Будь вы менее предприимчивы, завтра я пришел бы в вашу деревню сам, и вам не пришлось бы так долго ползать на животах и обдирать себе колени... Поведите так или предъявить документы?

— Поверим, — вздохнула Катеринка.

— Очень хорошо! — улыбнулся дядя Миша. — Вы, я вижу, народ решительный и бесстрашный. Какие же подвиги вы совершили, прежде чем предприняли эту смертельно опасную охоту за диверсантами?

Генька покраснел — это же он выдумал про диверсантов, — а я и Катеринка засмеялись. Он мне определенно нравился, этот «бывший диверсант». Он говорил серьезно, даже не улыбался, только голубые открытые глаза его смеялись так весело, что несколько не было обидно и самому хотелось засмеяться.

Катеринка, хотя ее никто не просил, сразу выпалила про

Пашкину механику, про летопись и что вообще у нас как-то ничего интересного не получается и нам очень обидно. Дядя Миша внимательно слушал, только лицо у него вдруг стало каменное и почему-то на него напал такой сильный кашель, что на глазах выступили слезы и он даже ненадолго отвернулся.

— Та-ак! Значит, окружающие не оценили ваших порывов? Понимаю. И со мной это раньше бывало... Ну, а что же вам хотелось бы делать? А?

Катеринка сказала, что еще не решила, но, наверно, будет доктором или летчицей, Пашка — что он поедет в город, выучится и будет придумывать всякие машины, а я — что стану моряком и все время буду путешествовать по земному шару; потом подумал и добавил, что иногда придется возвращаться, а то мать будет беспокоиться и плакать.

Генька сначала ничего не хотел говорить, а потом сказал, что уедет насовсем. Тут, мол, скучно и настоящему человеку нигде развернуться.

— Вот как? — Дядя Миша засмеялся. — Скука появляется от безделья... Вы пионеры?

— Ага.

— А что это значит?

— Ну — те, которые за дело Ленина.

— Правильно! А что значит слово «пионеры»? Это идущие впереди! Как же и куда вы идете?.. Думаете, что ваше дело — только забавляться да гнезда драть?

— Это только Пашка... — сказала Катеринка.

У Пашки покраснели уши.



— Я не так себе деру, а для науки. Яйца собираю в коллекцию.

— А зачем науке твоя коллекция? Давным-давно известно, какие яйца несут птицы, а ты без всякой пользы убиваешь будущих птиц.

Пашка сидел красный и надутый.

— А вы тоже хороши! — сказал нам дядя Миша. — Товарищ безобразничает, а вам все равно. Какие же вы пионеры? Нехорошо, граждане! Люди делом занимаются, а у вас, я вижу, только прыжки и расквашенные носы...

Катеринка поджала под себя ноги, а Генька повернулся так, чтобы не было видно вчерашней царапины.

— Чем же занимается ваша пионерская организация?

Я сказал, что сейчас каникулы и мы в Колтубы не ходим. Все равно Мария Сергеевна — она наша учительница и пионервожатая — уехала в отпуск, в Бийск.

— И вы не можете найти себе занятие? А что вы раньше делали?

— Я раньше, когда война была, облепиху собирала для раненых. В ней витаминов ужас сколько! — сказала Катеринка.

— Мы с Генькой общественную работу вели: стенную газету писали, — вспомнил я.

— И на этом ваша деятельность закончилась?

Мы признались, что да, закончилась.

— Маловато! Ну, а как вы думаете, пятилетка вас касается или нет?

— Да ведь пятилетка — это где заводы строят, — сказал Генька.

— Она везде, где есть советский человек. Конечно, вы не можете строить заводы, но и для вас дела немало. Раньше человек главным образом оборонялся от природы, а теперь советский человек осваивает ее. Вот и вы, уважаемые граждане, можете участвовать в этом освоении, а со временем стать в нем идущими вперед... Готовы ли вы к этому?

Мы переглянулись. Конечно, мы были готовы, только не знали, куда нужно идти.

— Ну хорошо. Мне нужно побывать в вашей деревне. Вы меня проводите, дорогой и поговорим.

Он быстро сложил палатку и вещи. Мы взялись помогать. Пашке достались топорик и котелок, Катеринке — кирка, которая, оказалось, называется «ледоруб», а мы с Генькой уговорились по очереди нести палатку.

— Готовы? — спросил дядя Миша. — Пошли!.. И так, чем бы вы могли заниматься? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать ваше житье-бытье. Расскажите мне, как вы живете и чем знаменита ваша деревня.

Генька сказал, что живем мы обыкновенно, а деревня решительно ничем не знаменита.

Дядя Миша засмеялся:

— Конечно, я не думал, что у вас растут баобабы, по улицам ходят слоны, а избы выстроены из хрусталя. Но и в самой обыкновенной деревне обыкновенные мальчишки и девочки найдут множество важных дел, если научатся видеть и понимать окружающее. Вот посмотрите! (Мы были на вершине гривы, и с нее как на ладони была видна наша деревня.) Там живете вы и ваши родители, а на всю деревню две хилые березки, и то на околице.

— Ну и что же? — сказал Пашка. — Вон кругом лесу сколько хошь. Тайга. Не продерешься!

— Да, пока лесу много. Но ведь его рубят и на дрова и на постройки. Что будет здесь лет через двадцать? Будет уже не деревня, а село, и, наверно, большое. И может случиться так, что лес на гривах вырубят или сожгут, и среди голых бугров будут стоять голые избы... В Америке есть штаты, где выращивают много хлопка. Раньше там тоже были леса и кустарники. Их уничтожили, и землю сплошь запахивают под хлопок. Климат стал суше и резче. Ничто не задерживает ветер, и там часто бывают «черные бури» — ветер поднимает в воздух плодородную почву и уносит ее. Земля становится все хуже и хуже и скоро превратится в бесплодную пустыню. Так делают капиталистско-хищники. А мы — хозяева своей земли и должны беречь ее. Вот почему нужно охранять каждое деревце и кустик, не допускать порубок и пожаров.

Я представил себе Тыжу посреди голых скал, с которых ветер сдул всю землю, «черную бурю», завывающую над родной деревней, и мне стало жутко. Генька сказал, что правиль-

но — деревья надо охранять и что дядя Миша может быть уверен — мы возьмем это на себя.

— Очень хорошо! Теперь я буду спать спокойно... Полезные дела не нужно искать, они сами ищут и ждут вас. Я бы на вашем месте завел такую книгу — скажем, «Книгу полезных дел» — и записывал в нее все, что сделано за день интересного и хорошего. Но не просто приятное, а то, что облегчает людям жизнь...

— Это пусть Колька-летописец, — сказала Катеринка. — Он любит писать.

— Хорошо, пусть пишет он, а делать нужно всем. Запомните, молодые люди: день пропал, если за день ты не сделал ничего хорошего для других!.. Ну, вот мы и пришли.

Каждому хотелось, чтобы дядя Миша остановился в его избе, но он сказал, что ему нужно так, чтобы было поменьше народу: он не будет мешать и ему не будут мешать, а то ему нужно привести в порядок свои записи. Тогда мы решили, что лучше всего в Катеринкиной избе, потому что там только Катеринка да мать, и она, конечно, согласится. Мы довели дядю Мишу до избы. Он поблагодарил за помощь и сказал, чтобы теперь мы шли по своим делам — ему нужно заниматься, а вечером к нему можно прийти опять.

ЧУДЕСНЫЙ КАМЕНЬ

Я всю дорогу обдумывал, что бы мне такое сделать хорошее и полезное, но не успел придумать, как мать увидела меня из окна и закричала:

— Где ты ходишь, бессовестный? Иди посиди с девчонкой, мне к тете Маше надо...

Я играл с Соней, а потом надо было полоть картошку, и я полел до самого вечера.

Мы почти одновременно собрались на завалинке Катеринкиной избы. Должно быть, и у других дела обстояли не лучше, чем у меня, потому что все молчали. Катеринка поминутно бегала то в избу, то к нам и докладывала, что делает дядя Миша.

— Ест картошку и с мамой разговаривает...

— Пьет молоко...

— Зубы чистит...

Катеринкиной матери надоела эта беготня, и она прикрикнула:

— Что ты юлишь, егоза, не даешь с человеком поговорить? Взад-вперед, взад-вперед, как заводная... Сиди смирно, а то иди на улицу да там и бегай...

Наконец дядя Миша вышел и подсел к нам на завалинку:

— Ну-с, молодые люди, как ваши дела? Что сделали за день?

Катеринка, конечно, выскочила первая:

— Я тети Машина бычка нашла! Он в кустах блукал, блукал и аж на гриву забрался... И тетя Маша сказала: «Спасибо, доченька»...

— Очень хорошо!

Пашка сказал, что он хотел построить водопровод от колодца на огород, чтобы не носить воду ведрами. Только вот беда: труб нет, придется делать желоб из коры, и отец может заругать.

Я огорченно признался, что ничего такого не сделал, а целый день то с сестренкой возился, то грядки полыл.

— Ну, это совсем не так плохо!.. А ты? — обратился дядя Миша к Геньке.

— Ваське Щербатому в ухо дал!

— За что?

— За порубку. Он у околицы кусты топором рубил. Ну, я и дал ему...

— Это, брат, не то! В ухо — это очень даже просто. Ты убеди его садить, а не рубить, — вот это будет дело... А так это обыкновенная драка.

Генька покраснел и сказал, что все-таки тут дела для настоящего человека нет, потому что бычков искать и картошку полоть умеет всякий, а ему это скучно, и вообще, если так будет продолжаться, он все равно убежит в такие места, где интересно.

— А здесь неинтересно, говоришь? — сказал дядя Миша. — Это что? — Он поднял с земли небольшой камешек.

— Камень.

— Камень-то камень, да какой? Это полевой шпат, и без него нельзя сделать оконное стекло, фарфор, фаянс, электрические изоляторы... Человек должен много знать, чтобы стать на-

стоящим хозяином природы. Вот вы ходите по земле, и она для вас просто земля, а на самом деле вы ходите по сокровищам и не подозреваете об этом. Горный Алтай, братцы мои,— это сундук, у которого мы еще только крышку приподнимаем. А что будет, когда внутрь заберемся!..

Мы невольно с уважением и робостью посмотрели под ноги, как бы ожидая, что там вдруг засверкают всякие сокровища, но земля была обыкновенная — серая, с песком и мусором.

Дядя Миша засмеялся:

— Нет, это не так просто! Вы сумеете найти да отобрать у нее эти сокровища.

— А что вы ищете? Золото? — спросила Катеринка.

— Подвернется — мы и его, конечно, возьмем на заметку, но это не главная задача... Могли бы мы сейчас жить без железа?

Это был смешной вопрос. Какая же может быть жизнь без железа! А я сказал, что и без свинца нельзя. Захар Васильевич говорил, что ему без свинца жизни нету.

— Охотник?.. Правильно! Так вот, есть металлы — скромные труженики, работяги — скажем, железо, медь, свинец, алюминий, — и есть фанфароны, вроде золота...

Мы все засмеялись, а Генька сказал, что это неправда, потому что оно дороже всего и за ним все гоняются, про это и в книжках сколько написано.

— Есть металлы дороже золота — например, платина или радий, и они очень полезны. А золото? Это красивый металл, и его трудно добывать, поэтому он ценится дорого... Но я хотел вам не о золоте рассказать. Есть металлы скрытого благородства — молчаливики и скромники. Их очень трудно найти, еще труднее добывать, но они обладают такими свойствами, что в будущем техника без них развиваться не сможет.

Знаете ли вы, что по мостам нельзя ходить строем, в ногу? В одном городе через реку построили мост. Мост был красив и прочен, и городские власти очень гордились им. Однажды по мосту проходила воинская часть. Офицеры были строгими, и солдаты шли как один, дружно отбивая шаг. Часть шла довольно долго, и вдруг мост стал дрожать, зашатался и рухнул. Прежде мост выдерживал большие тяжести, а теперь обрушился под ногами солдат.

Никто не мог понять этого странного события, и его приписали божьему гнев.

Однако мало-помалу стали известны и другие подобные факты. Колеса и машины, прочные и неизношенные, вдруг неожиданно разваливались по совершенно непонятным причинам.

Ученые начали докапываться до этих причин, и оказалось, что «божий гнев» здесь ни при чем.

Если материалы подвергать толчкам или напряжению и особенно если толчки идут в такт, через определенные промежутки времени, в материале происходят наружно незаметные, но весьма опасные изменения: он устает. Когда солдаты, идя по мосту, отбивали шаг, они вызывали ритмическое колебание моста; эти правильные колебания быстро утомили материал, из которого был построен мост, и он разрушился.

Усталость металлов — очень серьезная болезнь, и она становится все более опасной в наше время больших скоростей. Детали машин, колеса, самолетные винты, турбины делают тысячи оборотов в минуту, и металлы, из которых они сделаны, устают все быстрее и быстрее...

— Как же так? — сказала Катеринка. — Тогда их лечить падо, эти металлы...

— Вылечить заболевший металл нельзя, но можно предотвратить болезнь, если заранее сделать «прививку».

— Чего же им прививать — оспу? — фыркнул Пашка.

— Кое-что подороже... В древние времена самыми драгоценными камнями считали рубин и смарагд, или изумруд. Очень твердый, чистого ярко-зеленого цвета изумруд ценится чрезвычайно высоко...

— А почему он, такой камень? — спросил Генька.

— Это зависит от величины, цвета и чистоты. В Ленинградском горном институте хранится большой кристалл. Он стоит почти пятьдесят тысяч рублей золотом.

— Это да, камень! Вот бы найти!..

— Ну что ж, поищи! — засмеялся дядя Миша. — Изумруд был все время только дорогим камнем, и больше ничего. Потом химики открыли, что в состав изумруда входит металл бериллий. У этого бериллия оказались чудодейственные свойства. Он всего в два раза тяжелее воды. Самолет, построенный из сплава бе-

риллия с алюминием, будет на одну треть легче современного — из дюралюминия. Сплав бериллия с железом не поддается действию жара и ржавчине. Сплав бериллия с медью приобретает свойство стали — его можно закаливать, и бериллиевая закаленная бронза не теряет закала даже при красном калении. Но самое драгоценное его свойство — то, что «прививка» бериллия или, вернее, сплавы с ним предохраняет металлы от усталости... Только, к сожалению, бериллий не так легко найти и очень трудно добывать. Этот чудотворец очень скрытен...

— Так это вы его и ищите? — спросил Пашка.

— Не только его, но и его тоже.

Генька хотел что-то сказать, но в это время подошел его отец, Иван Потапович:

— И вы тут? А ну, идите по домам! Не дадите человеку отдохнуть!

Иван Потапович начал расспрашивать про Москву и всякие новости, и мы уже никак не могли уйти и слушали из-за угла. Потом они пошли в избу, ничего не стало слышно, но Катеринка потихоньку провела нас следом. Иван Потапович и дядя Миша с Катеринкиной матерью сидели за столом, а мы залезли на печь и притаились. Позже пришли Федор Елизарович, Захар Васильевич, соседи — чуть не вся деревня.

Говорили про все: и про урожай, и как в Москве живут, и чего дядя Миша ищет, и про то, что хотя война закончилась, но ухо надо держать востро. Пашка слушал, слушал, а потом заснул да как захрапит!

— Что это моя Катя храпеть начала? — забеспокоилась Марья Осиповна, Катеринкина мать. — Простудилась, что ли?

Она подошла к печи и, конечно, увидела нас. Иван Потапович рассердился:

— Вы что же это, сорванцы? Я кому сказал — по домам?

Дядя Миша вступился за нас:

— Не гоните их, Иван Потапович! Им ведь тоже интересно.

— «Интересно»! От их интересу покоя не стало...

Нам пришлось уйти.

Я пробовал рассказать дома про изумруды, но сестренка ничего не поняла, а мать не стала слушать:

— Еще чего выдумал! Какие тут драгоценные камни? Ложись-ка спать лучше...

Ночью мне приснилось, будто я нашел изумруд с конскую голову, мне за это дали орден, и Михаил Петрович больше не ставит мне плохих отметок по математике, а то ведь неудобно: орденосеиц — и вдруг с двойками...

УЧЕНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

На другой день мы несколько раз прибежали к дяде Мише, но он сидел и писал; потом к нему приходил Захар Васильевич, и они долго про что-то говорили. Освободился он только к вечеру. Мы молча сидели на завалинке.

— Ну, что приуныли, герои? — спросил дядя Миша.

— Мы не приуныли, мы просто так, — сказала Катеринка. — Я думаю: до чего бы хорошо найти большой-большой изумруд!..

Оказывается, мы все думали об одном и том же.

— Дядя Миша, — попросил Генька, — научите нас искать.

— Это, брат, дело нешуточное. Нужно очень долго учиться, кончить вуз, практиковаться, и то еще неизвестно, найдешь ли... Люди годами ищут и не находят, а ты хочешь сразу...

— Ну, все равно возьмите меня с собой! Я вам помогать буду. Ну, хоть что-нибудь буду делать — кашу варить, палатку носить...

Катеринка закусил губу. Пашка засопел. Должно быть, они подумали то же, что и я. А я подумал, что это нечестно с Генькиной стороны: то все вместе, а тут он один выскакивает, как будто мы хуже.

— А я лучше тебя кашу сварю! Ты совсем и не умеешь, — сказала Катеринка.

— Носить и я могу, — сказал Пашка. — И палатку и все, что нужно. Подумаешь!

— Вы возьмите нас всех, — сказал я. — Мы будем помогать и все делать. Честное слово! Почему один Генька? Мы тоже хотим.

— Да куда же я вас возьму? Ведь я теперь в горы, в глушь пойду. Это же не забава!

Дядя Миша долго молчал, поглядывал на нас и о чем-то думал.

Он так ничего и не сказал, потому что снова пришел Генькин отец. Удивительно не вовремя он всегда приходит!

— Опять вы здесь!.. Ты гони их, Михал Александрыч, а то ведь их только помани, потом и сладу не будет.

— Зачем же гнать? Мы поладили... У меня к тебе, Иван Потапович, разговор есть. Пойдем-ка в избу.

Они ушли, а мы остались, решив ни за что не уходить, пока не добьемся от дяди Миши ответа. Они долго про что-то говорили, потом Иван Потапович открыл окно и сказал:

— Павел, слетай за отцом, а ты, Катерина, разыщи мать... Иван Степаныч сам идет?.. Хорошо.

Иван Степаныч — это мой отец. Он, видно, тоже захотел поговорить с новым человеком.

Катеринка позвала мать с огорода, а Пашка побежал за отцом. Тот пришел вместе с Федором Елизаровичем.

Они все ушли в избу, а мы сидели на завалинке, ломали голову, зачем их собрали, и настроение у нас становилось все хуже и хуже.

— Вот они там наябедничают про нас дяде Мише, — сказал Пашка, — он и не захочет с нами водиться.

— Что они, маленькие — ябедничать-то? — возразила Катеринка. — Мы сами всё рассказали...

— Это ты рассказала. Просили тебя? Всегда выскакиваешь!.. Открылось окно, и Иван Потапович выглянул на улицу:

— А ну, ребята, идите сюда.

Мы вошли. Все сидят за столом, смотрят на нас, и не поймешь — не то будут ругать, не то еще чего.

— Вот что, сорванцы, — начал Иван Потапович. — Грехи ваши я считать не буду — сами их знаете. Вместо того чтобы заниматься делом, быть примером, вы... Ну да ладно! Наш дорогой гость, Михаил Александрыч, вас не знает и говорит, что вы подходящие ребята... Вы вот с ним просились... Мы тут посоветовались и решили, пока до уборки время есть, отпустить вас с ним — может, и в самом деле от хорошего человека ума наберетесь. Коли он такую обузу на себя берет, ему видней. На недельку мы вас отпустим и снабдим как полагается. Только смотри-

те: не оправдаете доверия — пеняйте на себя!.. Ну, что молчите?

Мы онемели, не зная, верить или не верить.

— Мы оправдаем, Иван Потапыч! — пискнула Катеринка.

— Так пионеры не отвечают, — сказал дядя Миша. — Ну-ка, как полагается?

— Всегда готовы! — дружно закричали мы.

— А теперь, — продолжал дядя Миша, — идите сюда, садитесь к столу. Если вы пойдете со мной, это будет не прогулка, а работа. Организуем научную экспедицию по всем правилам... Начальником экспедиции буду я. Не возражаете?.. Очень хорошо! Помощником начальника... — он посмотрел на Геньку, и тот покраснел, — Геннадий Фролов. Так? Биологические наблюдения и хозяйственная часть поручаются Павлу Долгих. Санитарный надзор и медицинское обслуживание возлагаются на Екатерину Ключко...

Я уже хотел сказать, что все интересное распределили, а что же буду делать я, но дядя Миша догадался сам:

— Осталась еще очень важная работа, от которой зависит научная ценность всех произведенных работ. Ученым секретарем экспедиции назначается Николай Березин. На его обязанности — вести дневник экспедиции и производить маршрутную съемку. Все хозяйственные работы — варить пищу, готовить ночлег и так далее — производить поочередно. К исполнению важных работ привлекается весь личный состав экспедиции... Все ясно?

Все было ясно, но мы еще не верили своим ушам. У Пашки и Катеринки, у Геньки, да, наверно, и у меня были такие блаженные лица, что дядя Миша и все остальные засмеялись.

— Дальше, — снова заговорил дядя Миша. — Правление колхоза, идя навстречу научным изысканиям, выделяет необходимый инвентарь: два топора, молотки, лопату, кирку. Продовольствие также будет отпущено, за исключением хлеба, который печется по домам и потому должен быть взят из дому, по буханке на человека. Лучше в сухарях, чтобы не заплесневел. Для перевозки инвентаря и научных коллекций выделяется под выюк одна лошадь...

— А чего же? — сказал Иван Потапович. — Конечно! У Звездочки хомутом растерты плечи, а под выюк она вполне

подойдет. И вам легче, и она на подножном корму скорее к уборке оправится. Только скáчек на ней,— он посмотрел на Геньку,— не устраивать!

— Скачек не будет, Иван Потапыч... Экипировка каждого члена экспедиции: вещевой мешок, прочные штаны, желательны старые, запасная рубашка, полотенце, ложка, кружка, нож, иголка и нитки. Каждому иметь записную книжку или тетрадь и карандаш.

— А по-моему...— заявил Пашка,— по-моему, девчонок не брать.

— Это почему же? — спросил дядя Миша.— Катя ничем не хуже тебя, во всяком случае птичьи гнезда не разоряет... А язык, Катя, показывать незначет!.. Всё! Теперь по домам, спать. Сбор завтра, в шесть ноль-ноль. Будьте готовы!

— Всегда готовы! — отчеканили мы и выскочили из избы.

Я летел домой как на крыльях. Мать ничего не поняла из моего рассказа, рассердилась и сказала, что никуда меня не пустит. Но тут пришел отец и все рассказал, как было. Она поворчала, но уже просто так, для порядка. Потом нарезала хлеба и положила сушить в печь, приготовила отцовский вещевой мешок и начала латать штаны — они такие прочные, что я даже удивился, когда зацепился за гвоздь и порвал их: думал, сломается гвоздь, а они останутся целыми...

Я забрался на печь и решил совсем не спать, потому что куда же это годится, если с самого начала опаздывать! Чтобы не заснуть, я долго смотрел на лампу, но глаза начали слипаться, и мне приходилось открывать их все шире.

— Ты чего таращишься? — спросила мать.— Спать надо.

На теплой печке бороться с дремотой было совсем невозможно, я ничего не мог уже поделать и сразу заснул.

Я соскочил с печи весь в поту. В избе было темно, тихо, и мне показалось, что я безнадежно опоздал. Спичек я не нашел и осторожно полез на лавку, чтобы на ощупь определить положение стрелок на ходиках. Едва я дотянулся до часов, как лавка покачнулась и с грохотом повалилась на пол. Соня перепугалась, заплакала. Отец вскочил, зажег спичку:

— Чего ты лазишь?

— Мне показалось... часы стали...

— Иди на свое место и спи!.. Не опоздаешь.

Наконец окна посерели, и в избе уже можно было различить стол и табуретки; только стены еще оставались черными. Я тихонько оделся, слез с печи и, схватив мешок, хотел было выскользнуть из избы, как проснулась мать:

— Куда ты в такую рань собрался? Куры спят, а он уже прилачился уходить!

— Да ведь то куры, мам, им в экспедицию не нужно...

— Поешь, тогда пойдешь. А то вовсе не пущу!

Все в это утро делалось страшно медленно, как в кино, когда механик нехотя вертит ручку передвижки. Мать очень долго умывалась, причесывалась и вздыхала, потом взяла подойник и неторопливо пошла во двор. На ходиках уже ясно было видно — четыре часа. Времени оставалось в обрез, а отец все еще не просыпался, и мать должна чего-то варить... Я сбегал по воду, принес дров, наколот лучину, поминутно оглядываясь на часы. Теперь мне казалось, что они идут слишком быстро, каждым взмахом маятника подталкивая меня к опозданию... Наконец поднялся отец, мать приготовила завтрак. Давясь и обжигаясь, я проглотил его и выскочил из-за стола:

— Я пошел.

— Постой!—сказал отец.—Ну-ка, покажи свой мешок... Так и есть... Кто же так укладывает — кружку и сухари вниз, а белье сверху? Кружка тебе горб набьет, а сухари перетрутся в крошки. Смотри, как надо.

Он вынул все из мешка и уложил заново: мягкое и что не скоро понадобится — вниз, а сверху кружку, сухари, ложку и



все такое. Потом полез в укладку, и, когда выпрямился, я дрогнул от восторга: в руках у него была полевая сумка с вделанным в нее компасом!

— Нά, путешественник. Только гляди — я на войне сберег, береги и ты.

В сумке лежала толстая клеенчатая тетрадь, а в маленьких кармашках торчали очиненные карандаши. Одна стенка у сумки была прозрачная и гладкая, как лакированная. И самое главное — был компас, настоящий, сверкающий медью компас!..

Я надел вещевой мешок, повесил сумку через плечо.

— Смотри не озоруй... и держись как мужчина. Понятно?.. Попрощайся с матерью и беги — я вижу, у тебя ноги на месте не стоят.

Мать поцеловала меня. Я чмокнул ее куда-то за ухом, оглянулся на часы и, охнув от ужаса — половина шестого! — вылетел из избы. Я несея по улице, как будто за мной гнались все деревенские собаки, но все-таки опоздал: Генька и Пашка были на месте. Их окружали ребята, которые уже знали о том, что нас берет с собой дядя Миша. Генька был серьезный, озабоченный, а Пашка пыхтел и отдувался — он приволок такой мешок, что впору было нести двоим.

— Чего ты натолкал туда?

— Чего надо, то и натолкал... Мало ли что может понадобиться! Хватились — ни у кого нет, а у меня есть!

— А тащить его как?..

Катеринка позвала нас в избу. Пашка не успел надеть мешок на плечи и понес его в обнимку, покраснев от натуги.

— Ого! — Дядя Миша поднялся из-за стола. — Вот это снаряжение! Вы, я вижу, готовы к походу, но прежде проведем небольшую проверку. Садитесь.

Мы сели у стола, а ребяташки, оставшиеся на улице, прилипли к окнам.

— Куда и зачем мы идем?

— Искать! — выпалила Катеринка.

— Что?

— Изумруды.

— А по-моему, — сказал Пашка, — чего найдем, то и наше.

— Так только вчерашний день ищут. Уточним задачу. Вот

карта нашего района. — Дядя Миша расстелил на столе большую карту. — Вот деревня, и вот течет Тыжа.

На карте вилась тонкая голубоватая змейка, а вокруг все было залито коричневой краской.

— Дело в том, что масштаб карты очень маленький, она стара и в некоторых случаях неверна. Особенно доверять ей нельзя, и мы в известной степени можем считать, что перед нами, как говорят географы, «белое пятно», то есть: неисследованная область. Наша задача — исследовать ее.

— Как же неисследованная, когда мы тут живем? — спросил Пашка.

— Неисследованная не значит «необитаемая». Есть места, где люди живут очень давно, но геологически они до сих пор как следует не изучены. Меньше же всего исследованы север и юг Сибири... Итак, наша задача — по возможности подробно изучить неисследованные верховья Тыжи. Для полного, всестороннего изучения нужно много специалистов. Мы их заменить не можем, но должны сделать все, что в наших силах. Прежде всего нужно составить карту обследуемого района, а для этого вести топографическую съемку. Это будет делать, как мы условились, Коля...

— Я не умею, — прошептал я, подавленный непонятностью задачи.

— Ничего. Я помогу. Во-вторых, по ходу нашего маршрута мы будем вести геологическое обследование района. Коллекционировать животных мы не сможем, но наблюдения за животным миром обязательны, так же как и за растительным. И еще одно: есть такая наука о вымерших животных — палеонтология; она родная сестра геологии и первая ее помощница. Вот почему все должны внимательно следить — не встретятся ли кости, окаменелые остатки, отпечатки вымерших животных. Каждая такая находка — открытие для науки... А теперь проверим снаряжение. Ну-ка, вытряхивайте свои мешки!

Генькин и мой мешок он похвалил: все было уложено как надо. У Катеринки оказался не солдатский, а какой-то фасонный, с карманами, застежками и с чудным названием «рюкзак», — это мать дала ей отцовский. Дядя Миша сказал, что вот это — самый удобный, заставил Катеринку примерить и подтя-

нул ремни, потому что мешок висел у нее не на спине, а ниже пояса. Потом очередь дошла до Пашки. Он начал было выкладывать по штучке, но так медленно, что всем надоело. Дядя Миша перевернул мешок и вытряхнул все сразу. Чего там только не было! Клещи, рубанок, веревки, проволока, гвозди, какие-то железки, бечевки, кусочки кожи, катушки, пучок лошадиных волос, лески, баночки, банки... Дядя Миша посмотрел на всю эту кучу, на Пашку, потом опять на кучу:

— Ты что же, собираешься в тайге открыть универсальный магазин?

Мы засмеялись, а Пашка покраснел и рассердился:

— Никакой не магазин!.. Тут все нужное. Вы же сами говорили, что пойдем в неисследованную область. Значит, надо все взять.

— Да ведь под один твой мешок вычную лошадь надо! Так ты не делом будешь заниматься, а со своим мешком нянчиться. Вот...— он быстро разобрал ворох, отложил в сторону сухари, одежду, кружку, ложку, нож, тетрадь,—это с собой, а все остальное отнеси домой... А почему ты без галстука?

— Да ведь в тайге изорвешь, замараешь...

— Замарать красный галстук можно только плохими делами. Ты участвуешь в таком важном походе — и одет не по форме. Через пять минут быть здесь, и в галстуке!

Пашка свалил в мешок свое имущество и убежал.

— Ну-с, товарищ ученый секретарь экспедиции,— сказал мне дядя Миша,— ты, я вижу, хорошо снаряжился — сумка, компас... Попробуем пустить его в ход.

Мы вышли на улицу.

— На твоей обязанности — маршрутная съемка. Это значит вести счет пройденным расстояниям, определять местоположение этапов, поворотов, чертить карту пути. С чего нужно начать?

— Не знаю.

— Наш исходный пункт — деревня. Но это слишком обширно. Наметим какую-либо опорную точку повиднее. Ну, например, кузницу. (Кузница стояла почти рядом.) Куда мы пойдем дальше?

— Направо, к выгону, а там по речке...

— Направо? А как ты это «направо» изобразишь на карте?

Для того чтобы установить направление и идти по нему, нужно определить азимут. Смотри: стрелка компаса показывает на север, а нам нужно идти на северо-северо-восток — вон к той ели, что стоит на берегу, возле дороги. Если провести прямую черту от той ели к центру компаса, она со стрелкой образует угол в тридцать градусов. Это и есть наш первый азимут. Нужно идти так, чтобы все время сохранять это направление под углом в тридцать градусов к магнитной стрелке.

— А как мерить расстояние?

— У нас нет приборов, поэтому будем определять другим способом... Ну-ка, иди через дорогу своим обыкновенным шагом и считай шаги.

Я перешел дорогу:

— Сорок три.

— Иди обратно и опять считай... Сколько теперь?

— Сорок два.

— Начинай сначала!.. Теперь сорок три? Будем считать, что правильнее всего сорок три... Катя, бери ленту рулетки и беги через дорогу... Ну вот: твои сорок три шага равняются семнадцати метрам; значит, каждый шаг равен сорока сантиметрам. Ты будешь считать шаги от одного приметного пункта или поворота до следующего и записывать.

Тут прибежал Пашка и уложил свои оставшиеся пожитки в мешок.

— Теперь все в порядке. Забирайте снаряжение — и к Ивану Потаповичу.

Все деревенские ребята двинулись за нами следом.

По дороге Геннадий едва не сцепился с Васькой Щербатым. Васька с дружками — Фимкой Рябковым и Сенькой Федотовым — стоял у своей избы и, когда мы поравнялись с ними, сплюнул и крикнул:

— Глянь, ребята: идут ученые-крученые, в воде намоченные!..

Генька сорвался было с места, но дядя Миша поймал его за руку:

— Ты куда?

— Я ему сейчас дам!..

— Опять драться?

— Он же сам всегда задирается.

— А чего вы не ладите?

— С ним поладишь, как же!

Васька и правда никогда не упускал случая задеть кого-либо из нас, и между нами постоянно происходили стычки. Когда-то было совсем не так: мы учились в одном классе и жили очень дружно. Потом он долго болел, отстал, не смог нагнать упущенное и остался на второй год в пятом, а мы перешли в шестой. И вот с тех пор как-то так получилось, что мы разошлись и рассорились. У него подобралась своя компания—Фимка и Сенька: они меньше его и во всем слушаются, как атамана. И все деревенские ребята разделились на два лагеря: одни тяготели к нам и признавали главенство Геньки, другие стояли за Ваську. Мы их называли «дикими», а они дразнили нас «рябчиками». Кличка совсем непонятная и даже глупая, но мы почему-то обижались.

Вот и теперь Васька, должно быть, из зависти, что мы идем в экспедицию, а его не берут, сморозил эту глупость про «учебных», а дружки его засмеялись...

Иван Потапович уже ждал нас вместе с кладовщиком. Крупы, соль и сахар, насыпанные в мешочки, уложили в большой мешок, туда же положили котел и большой чайник. Геннадий привел из конюшни Звездочку, ее навьючили.

— Стать смирно! — скомандовал дядя Миша.— Экспедиция готова к походу, Иван Потапович. Разрешите отправляться?

— Счастливо! — Он пожал дяде Мише руку.— Уж ты, Михаил Александрыч, на нас не обижайся: рад бы отпустить с тобой Захара Васильевича, да время такое, что каждая пара рук дороже золота. И ноги у него... того — видно, подтоптались...

— Ничего, мы своей командой тоже немало сделаем.

— Да уж команда...— Иван Потапович обернулся к нам: — Смотрите, ребята, без баловства! Человек вас на серьезное дело берет — будьте ему настоящими помощниками.

— Всегда готовы! — закричали мы и по сигналу дяди Миши тронулись в путь.

ПЕРВАЯ НАХОДКА

Впереди всех, задрав хвост, бежал лохматый Дружок — Пашкин щенок, потом шел я, за мной Пашка вел в поводу Звездочку, а дальше—Генька и дядя Миша. Катеринка не могла идти спокойно. Она то забегала вперед и крутилась под ногами, то подбегала к Звездочке, вроде чего-то поправляла у вьюка, то шла рядом с дядей Мишей.

Так мы шли через всю деревню, и вся деревня смотрела на нас, потому что ведь не каждый день бывает, чтобы уходила научная экспедиция и в ней участвовали пионеры.

Васька Щербатый хотел напоследок испортить нам настроение, но у него ничего не вышло. Он пропустил мимо себя всю процессию, а потом крикнул вслед:

— Эй, бычки на веревочке! Идите шибче, а то я вас обгоню...

Это было уж совсем глупое бахвальство, и мы не обратили на него внимания.

Иван Потапович, дядя Федя и Захар Васильевич проводили нас до околицы.

Всем другим ребятам было до смерти завидно: их не берут, а берут нас, так как они еще маленькие, а мы уже больше и можем проводить исследования. Взрослым, наверно, тоже было завидно, только они не показывали виду и смотрели будто просто так. Малыши сначала шли поодаль, потом окружили нас плотным кольцом.

Пашка шел надутый от важности, дядя Миша улыбался, а Генька и Катеринка, конечно, задавались. Только мне некогда было особенно глазеть по сторонам и задаваться: надо было считать шаги и следить за азимутом, чтобы он не потерялся. Конечно, можно было просто идти к ели, что растет на берегу реки, потому что туда вела прямая дорога, но это было бы не понаучному и не так интересно. А это совсем не просто следить за азимутом на ходу — стрелка все время танцует и не хочет стоять на одном месте. Потом очень мешали ребятишки: всем хотелось узнать, почему я смотрю на сумку и что за штука компас. Но мне некогда было отвечать на вопросы — я боялся сбиться со счета. И едва не сбился: Катеринка подбежала ко

мне и пачала что-то говорить, но я сказал, чтобы она не приставала со всякой ерундой, я и так боюсь сбиться.

— Подумаешь! — сказала она. — Попрошу у дяди Миши, и он даст мне немножко понести компас. У него тоже есть, и нечего задирать нос!..

Я вовсе не задираю нос, а просто был занят и потому ужасно рассердился. И как только рассердился, так сразу и сбился со счета.

Я прямо возненавидел Катеринку и, наверно, стукнул бы ее, чтобы она знала, но тут мы подошли к самой ели на берегу Тыжи.

— Ну, ребята, — повернулся дядя Миша к малышам, — спасибо, что проводили. Дальше мы пойдем сами. До свиданья... Коля, засекай азимут на излучину Тыжи.

— Дядя Миша, — сказал я, как только мы отошли от ребят, — скажите Катеринке, чтобы она не приставала, а то сбила меня со счета, и теперь хоть беги назад и считай заново.

— Нет, бежать, пожалуй не стоит... Мы вот что сделаем: чтобы счет был вернее, пусть Катя тоже считает. Тогда вы сможете друг друга проверять.

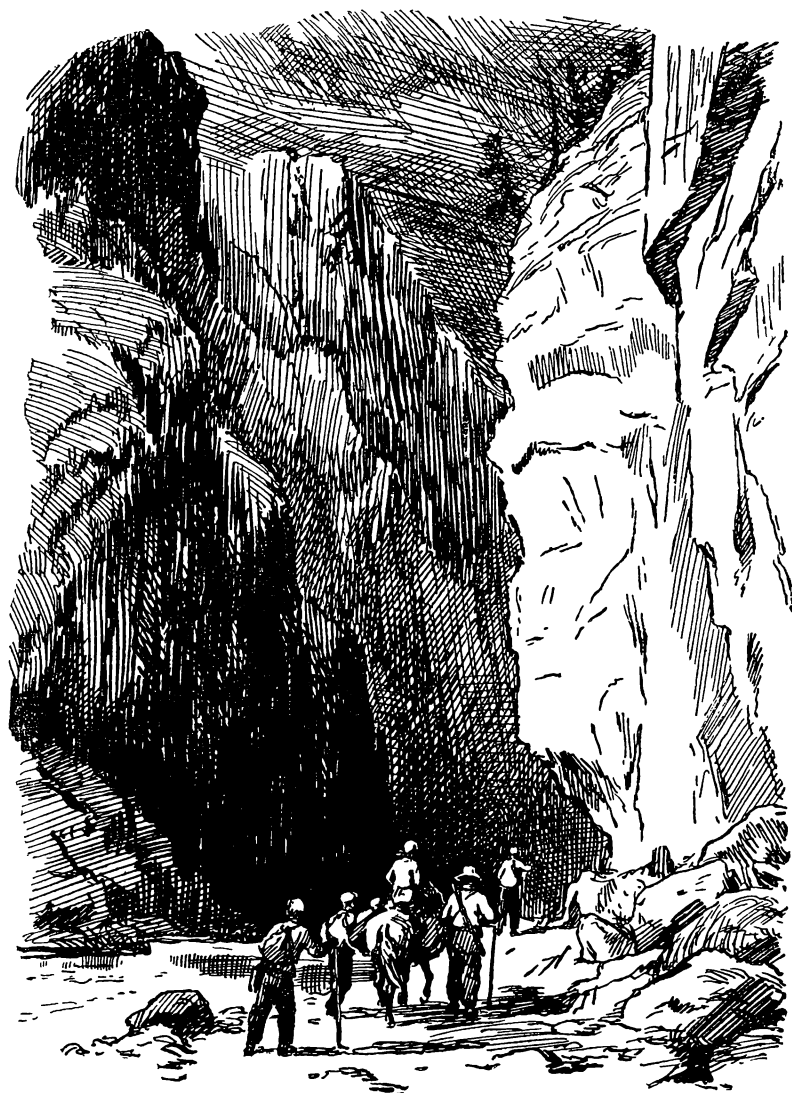
Катеринка, конечно, обрадовалась, а мне это показалось немножко обидным: будто я и сам не сумею сосчитать! Но пусть уж лучше считает, чем приставать со своими разговорами...

Ребята остались у ели и смотрели нам вслед, пока мы не свернули за скалу у излучины.

За излучиной Тыжа течет почти прямо между пологими грибами, поросшими ельником попеременно с пихтой. Дальше выпадается огромный бом Батырган. Наши поля кончались у излучины; орешничать, по грибы и по ягоды мы ходили к северу и на восток от деревни, а за Батырган никто из деревенских не ходил — места там были совсем дикие, труднопроходимые. Это уже на самом деле начиналась неисследованная область, которая, может быть, сулила нам необыкновенные открытия. При мысли об этом у меня перехватывало дыхание и я ускорял шаги.

— Коля, не торопись, иди равномерно! — окликал меня дядя Миша.

Он шел спокойно и даже что-то насвистывал, будто мы шли



...Места там были совсем дикие, труднопроходимые.

не в экспедицию, а гулять; смотрел по сторонам, останавливался, подходил к самой Тыже, шел по щебню и гальке и вовсе не собирался начинать научную работу. Геннадий неотступно шел за ним по пятам и старался делать все, как дядя Миша.

Пашка шел опустив голову и глядя под ноги, будто сокровища должны лежать прямо под ногами и нужно только нагнуться, чтобы их поднять. Потом у него, наверно, заболела шея или он потерял надежду что-нибудь найти, и он уже просто глазел по сторонам. Катеринка была теперь так занята, что ни к кому не приставала — она даже шевелила губами, считая шаги.

Мы шли, шли... Батырган поднимался все выше, но никак не приближался, только из синего постепенно становился зеленым. Я думал, что мы сразу дойдем до него, но вдруг дядя Миша посмотрел на часы и скомандовал:

— Стоп! Привал и завтрак.

— Да еще ж рано! И совсем мало прошли! — запротестовали мы.

— Сейчас двенадцать, шли мы пять часов и прошли не так уж мало. Переутомляться нельзя: нам нужно идти и сегодня и завтра. И вообще с начальником не спорят... Геннадий — за здоровьем!.. Павел — развьючивай лошадь!.. Катя — по воду, а Николай — кончай записи.

Дядя Миша помог Пашке развьючить Звездочку, ее пустили пасться. Катеринка схватила чайник и убежала к реке, а я, кончив записи, пошел помочь Геньке. Пока я собирал валежник, на привале уже запылал костер и над ним на рогульке повис чайник. Мы быстро позавтракали, и дядя Миша заставил пас лечь и положить ноги повыше, чтобы от них отливала кровь — тогда быстро проходит усталость. Мы совсем не устали, но протесты не помогли, и нам пришлось лежать.

Через час мы поднялись, навьючили Звездочку и тронулись дальше.

Батырган теперь занял почти четверть неба впереди нас. Кустарник становился гуще, и пробираться через него было все труднее. Звездочка то и дело цеплялась выюком за сучья; тогда ее приходилось толкать назад и вести в обход. Скоро на склоне Батыргана уже можно было различить отдельные деревья, кое-где зажелтели проплешины обнаженного камня. Ты-

жа, стиснутая с одной стороны Батырганом и с другой — скалой, шумела все сильнее, сердито пенилась и клокотала...

Дядя Миша шел все время по берегу и внимательно приглядывался к камням. Мы тоже смотрели во все глаза, но камни были как камни: серые, желтоватые или темно-зеленого цвета.

У самой подошвы Батыргана лес расступился, и мы очутились на невысоком пригорке, густо заросшем травой.

— Вот и место для ночевки, — сказал дядя Миша. — Снимать амуницию, готовить костер и ночлег!

Звездочку стреножили и пустили пастись, натаскали ворох сухостоя для костра. Катеринка села чистить картошку для супа. Дядя Миша сказал, что погода, по-видимому, предстоит хорошая и потому строить шалаш не будем, а сделаем навес. Он и Генька вырубили длинные лесины, забили два кола с развилками, на них положили лесину, а к ней наклонно прислонили другие.

Я и Пашка таскали лапник и переплетали лесины ветками, пока не образовалась настоящая односкатная крыша. Потом мы нарубили много лапника, уложили его под навес, и у нас получилась высокая, пышная постель.

Катеринка повесила котел с супом над костром, а сама побежала искать дикий лук. Уже и суп был готов, а ее все нет и нет. Дядя Миша начал беспокоиться, как вдруг Катеринка примчалась сломя голову. Косички у нее растрепались, она испаралась, запыхалась и долго ничего не могла сказать, а потом выпалила, что нашла «ископаемое».

— Ну-у? — удивился дядя Миша. — Хорошо! Только прежде пообедаем, а потом пойдем смотреть твоё ископаемое.

Мне стало немного обидно: вот Катеринка уже сделала научное открытие, а я должен, как пришитый, идти по маршруту и считать шаги — много так сделаешь открытий! Мне даже есть расхотелось, хотя суп был очень вкусный. Он, правда, отдавал дымом, но все-таки казался куда лучше всех домашних супов.

После обеда пошли смотреть «ископаемое». Катеринка, гордая и довольная, шла впереди. Мы пробрались через подлесок и вышли к небольшой полянке.

У поваленной бурей трухлявой пихты лежало несколько костей и широкий череп.

Катеринка, торжествуя, оглядела нас, и меня кольнула острая зависть: находка была налицо.

Дядя Миша посмотрел на кости, и вдруг на него напал такой же сильный кашель, как при первой нашей встрече. Генька все время морщился, вертел носом и наконец не выдержал:

— Ну и воняет твое ископаемое!

И правда, от костей нестерпимо несло падалю.

— Да... — сказал дядя Миша. — Боюсь, Катя, что ты ошиблась. Это не ископаемое, а совершенно современное животное, к тому же домашнее. Судя по черепу, это обыкновенный теленок.

Катеринка покраснела:

— Откуда же здесь теленок? Они ведь в деревне...

— Не знаю. Как-нибудь забрел, ну... и сдох. И, должно быть, не очень давно, если до сих пор не выветрился запах.

В кустах послышались возня, рычание, и на лужайку вылетел Дружок. В зубах у него торчало что-то вроде мохнатой палки. Он трепал ее из стороны в сторону, бросал, с рычаньем отскакивал, потом снова хватал и начинал трепать.

Пашка подбежал и вырвал у него палку. Это был чей-то пегий хвост с пучком черных волос на конце.

— Ой, я знаю! — закричала Катеринка. — Это же тетки Егорьевны телка! Она же недавно пропала, и у нее был такой хвост...

Мы все подтвердили, что хвост у пропавшей Лыски был точно такой.

— Очень может быть, что это и она, — согласился дядя Миша.

— А отчего она сдохла?

— Ее, наверно, задрал медведь, — предположил Генька.

Нам стало не по себе. Что, если он где-нибудь поблизости и вдруг нападет на нас? Ну, будь еще у всех ружья — другое дело, а то на всех одно ружье дяди Миши и то осталось в лагере.

Мы сразу притихли и поскучнели, а Пашка вдруг побежал

по кругу, и круг становился все шире. Дружок, вывалив на сторону язык, усердно бежал следом. Дядя Миша сразу догадался — Молодец, Павел! Только здесь трудно найти — трава...

Но Пашка уже нашел то, что искал. Там, где он остановился, травы не было, и на мелком песке четко отпечатались чьи-то следы.

— Вот, — сказал Пашка, придерживая Дружка, который порывался бежать дальше. — Видите? Это он...

Таинственный след был без пятки, сдвоенный — отпечаток находил на отпечаток — и короткий: всего каких-нибудь десять сантиметров длиной.

От овальных отпечатков пальцев вперед шли длинные, тонкие борозды — след когтей. Несомненно, это были следы зверя, только какого?

Пашка сказал, что медвежий куда больше. Но, может, это след медвежонка, а медведица прошла рядом по траве? Однако дядя Миша сказал, что у медведя и у медвежонка ступня отпечатывается полностью и они не ступают след в след. Это след зверя значительно меньшего, чем медведь. И, хотя все это очень интересно, пора возвращаться в лагерь, где остались без присмотра Звездочка и костер.

Нам очень не хотелось уходить, не выяснив, что за таинственный зверь ходил возле Катеринкиного «ископаемого» теленка, но пришлось идти.

Вернувшись, мы с Генькой немного повертелись в лагере, потом пошли к Тыже. Генька попробовал было «печь блины», но Тыжа бурлила, и камешки сразу же зарывались во вспененную воду.

— Знаешь, — сказал Геннадий, прислонившись к большому камню, — я вот думаю: хорошо бы так все время...

— Что?

— Путешествовать... Ты что станешь делать, когда вернемся?

— Ну что? Жить, учиться буду... Да ведь и ты тоже?

— Не знаю... Я, должно, опять пойду. Вот сейчас научусь все, как надо, делать и пойду... Пошли вместе? А?

— Как же мы пойдем? Нас не пустят.

— Сами пойдем! Что мы, маленькие?.. И будем искать. Здо-

рово будет, если мы найдем изумруд! Ну, не такой, как тот, про который дядя Миша говорил, а пусть поменьше... Вот как эта галька.

Он положил на мою ладонь несколько камешков, и мне вдруг показалось, что они вспыхнули ясным зеленым светом. Свет нарастал, переливался, и внезапно в нем ожили, задвигались пароходы и самолеты, караваны верблюдов, сожженные солнцем пустыни, сверкающие льды полюса, тропические заросли и водопады, зеленовато-седые волны штормующего моря и подводная лодка, которой командую я... И так же внезапно видение погасло — все это были только мечты. Я вздохнул и швырнул камни в воду.

— Нет, Генька! Наверно, мы все-таки маленькие... Никуда нас не пустят. И потом, учиться ведь надо! Ну, пойдем мы, а сами ничего не умеем... Вот папанинцы или дядя Миша — они же ученые все... А мы что? Так только, шататься будем...

Генька не успел ничего ответить, потому что на нас налетела Катеринка.

— Чего вы тут прячетесь? — закричала она. — Я уже охрипла кричавши. Ни вас, ни Пашки... Дядя Миша сердится. Он и меня не хотел пускать... Идите скорей!

В лагере грянул выстрел и гулким эхом рассыпался по увалу.

— Во! Слышите? Это он сигнал подает... Бежим скорей!

Дядя Миша действительно сердился:

— Где вы бродите? Где Павел?

Мы не знали. Оказалось, что, хотя Пашка пошел вперед всех, в лагерь он не возвратился, не появлялся и неразлучный с пим Дружок. Заблудиться Пашка не мог — Дружок вывел бы его к лагерю. Значит, с ним что-то случилось. Катеринка предложила идти в разные стороны и искать.

— А потом мне всех вас искать? — еще больше рассердился дядя Миша. — Нет уж, сидите на месте!

Он поднял ружье и опять выстрелил вверх. Горы долго отталкивали гром выстрела, пока он не затерялся и не заглох в зарослях.

Но на него уже отозвался залиvistый щенячий лай. Лай становился все громче, и наконец на поляну выбежали Дружок

и запыхавшийся Пашка. Он еле стоял на ногах, но был такой счастливый, будто только что слез с самолета.

— Нашел! Нашел! — закричал он еще издали.

— Что нашел? — в свою очередь закричал дядя Миша. — Кто тебе позволил уходить из лагеря?

— Вы же сами сказали...

— Что я сказал? Я сказал, что дисциплина должна быть железная, и вы обещали. Давайте условимся, граждане: я взял вас не для того, чтобы вы баловали, а для серьезного дела. Если не хотите им заниматься или не умеете соблюдать порядок, отправляйтесь по домам. Я отвечаю за вас перед родителями. А как я отвечу, если что-нибудь случится?.. Решайте: или строжайший порядок, или возвращение домой. Можете вы обещать, что больше нарушений дисциплины не будет?

— Можем! Обещаем! — закричали мы, с облегчением вздохнув после этой суровой речи.

Пашка обиженно сопел:

— Я же не нарочно... И вы сами говорили, что надо изучать... Дядя Миша! Дайте мне ружье, я его убью...

— Кого?

— Зверя. Вы не захотели слушать, а я берлогу нашел.

— Какую берлогу?

— А того самого зверя, чьи следы возле телки... Я взял Дружка на ремешок, и он повел меня по следу... Шел, шел, в кустах изодрался весь, а все-таки нашел... Следы совсем такие, как там.

— И большая берлога?

— Большая!

— Ну какая — я, например, пролезу?

— Не...

— А ты сам?

Пашка посмотрел на себя и с сомнением покачал головой:

— Нет, должно, и я не пролезу. Вот разве Катеринка или Дружок...

— Так, может, это лисья нора?

— Я лисий след знаю, у нее совсем не такой — мелкий, цепочкой и как у собаки... Там лисьих следов нет, это тот самый зверь... Дайте, дядя Миша, а?

— Ружье я тебе не дам. Это не игрушка.

— Ну, тогда сами убейте, — сказал Пашка с видом человека, решившегося на крайнюю жертву.

— Нет, и сам не буду. Нельзя сразу угнаться за двумя зайцами. Геологи берут оружие лишь на крайний случай, а не для того, чтобы высунув язык бегать за дичью.

Это было все-таки жестоко с его стороны. Разве каждый день встречается такая возможность? Ведь зверь-то неизвестный... может, даже новой породы...

Мы сидели мрачные, угрюмые, а дядя Миша как ни в чем не бывало писал что-то в своей книжке. Наконец он кончил писать, спрятал книжку и внимательно посмотрел на нас:

— Ну-с, молодые люди, насколько я понимаю, происходят похороны лучших надежд? Великое открытие остается несовершенным и слава улепetyвает из-под самого носа? Говорил, что будем все исследовать, а сам никуда не пускает, и ружья ему жалко... Так?

— Так, — вырвалось у Катеринки, и все засмеялись.

— Совсем не так! Записи нельзя откладывать на другой день. Вот теперь можно отправляться. Только мы ведь наделаем столько шуму, что всех зверей распугаем.

— Мы будем тихо, дядя Миша!

— Хорошо. Но это надолго. Идти хочется всем, а лагерь и Звездочку без присмотра оставлять нельзя. Кто останется здесь?

Мы переглянулись и промолчали — оставаться никому не хотелось.

— Что же, будем бросать жребий?

— Не надо жребия, — сказал Геннадий, — я останусь.

— Хорошо, — согласился дядя Миша и больше ничего не прибавил, но я видел, что он очень доволен Генькиным поступком, и даже пожалел, что не я, а Генька согласился остаться — это ведь было очень мужественно и благородно.

Мы долго пробирались сквозь густой шиповник и боярышник, старались идти как можно тише, но все-таки изрядно шумели: то треснет ветка под ногами, то зашуршат раздвигаемые кусты. У края поднимавшейся взгорбком небольшой полянки Пашка остановился и придержал Дружка.

— Дальше нельзя... — прошептал он. — Вон берлога. Видите?

На противоположной стороне взгорбка виднелась куча валежника, а под ней чернел небольшой лаз.

Еще раньше мы условились сесть в засаду и ждать, когда зверь либо выползет из берлоги, либо будет возвращаться в нее. Мы спрятались за деревьями и принялись наблюдать за лазом.

Солнце село, лес как бы затянуло дымом, потом он сразу стал непроглядно черным. Через некоторое время над лохматыми силуэтами деревьев появилась огромная желтая, как медный таз, луна, а зверя все не было. Я уже начал думать, что нора давно брошена, мы зря сторожим ее, и хотел сказать это вслух, но Катеринка вцепилась мне в плечо и показала на нору: там что-то шевелилось.

Из норы высунулась странная морда. Она была похожа одновременно и на собачью и на свиную. От носа к затылку шла белая, а через глазницы — черные полосы. Морда поворачивалась то в одну, то в другую сторону, не то приплюхиваясь, не то прислушиваясь; потом медленно появилось толстое волосатое туловище на коротких ногах. Зверь поднялся на задние лапы и опять стал прислушиваться, поворачиваясь из стороны в сторону. Удостоверившись, что опасности нет, он опустил на четыре лапы и даже ненадолго прилег перед норой.

Должно быть, его что-то укусило, и он принялся ожесточенно чесаться. Потом опять поднялся на дыбы, прислушался и начал... танцевать. Он переступал с одной лапы на другую, туловище его раскачивалось из стороны в сторону, и не хватало только музыки, чтобы стало совсем похоже. Это было так смешно — смотреть на толстого, неуклюжего зверя, который молча и деловито переминался с ноги на ногу в угрюмом танце, — что я еле удерживался от смеха, а Катеринку, которая лежала рядом, прямо корчило от хохота.

Дружок яростно затыкал, и зверь юркнул в нору...

— Что же ты! — укоризненно сказал дядя Миша. — Удержаться не мог?

Пашка сконфуженно оправдывался: Дружок всего его испугал, стараясь вырваться, и изловчился-таки — высвободил свою морду, которую Пашка все время сжимал обеими руками.



— Давайте выгоним зверя,— сказал Пашка.— Раздразним — и выгоним.

— Ну, брат, теперь не выгонись. Это барсук. У него нора глубокая, и в ней несколько отнорков. Он убежит, прежде чем до него доберешься. Да и пора возвращаться.

Сверху падали лишь слабые блики отраженного лунного света, и нам приходилось продвигаться почти ощупью, раздвигая руками кусты. Только там, где деревья стояли редко, лунный свет прорывался к земле и на фоне непроглядной тьмы резко выделялись посеребренные луной сучья и стволы.

В ночном лесу шла какая-то таинственная жизнь, со всех сторон доносились непонятные скрипы и шорохи. Мы ничего не видели, а нас, наверно, видело и, может быть, подстерегало таежное зверье, и если смотреть в сторону, то начинало казаться, что прямо на тебя, в упор, смотрят чьи-то мерцающие глаза.

Катеринка, наверно, сильно трусила, потому что старалась держаться как можно ближе ко мне.

Мы переходили небольшую поляну, как вдруг прямо над нами мелькнула какая-то тень и потом немного дальше раздался дикий вошь, от которого кожа на голове у меня сжалась и одеревенела.

Катеринка вцепилась в меня обеими руками:

— Ой, кто это?

— Не бойся, Катя! — обернулся дядя Миша. — Это филин.

— Я не боюсь, — еле слышно ответила Катеринка и перестала за меня держаться.

Но она все-таки боялась. Я взял ее за руку и сказал:

— Я знаю, что ты не боишься. Ты просто не привыкла, вот тебе и жутко. Держи мою руку, и пойдем вместе. Хорошо?

Катеринка ничего не ответила, но руку не отняла, и я понял, что она только стеснялась сказать, а теперь ей не так страшно. Рука у нее совсем маленькая и тоненькая, и я подумал, что все-таки она герой, потому что вот пошла в экспедицию, не побоялась; а если ей немного и страшно, то это ничего — она же девочка, слабее нас, ребят, и мы должны ее защищать и оберегать. Мне уже начали видаться всякие приключения и опасности, которым подвергается Катеринка, и как мы ее спасаем, и главным спасителем оказывался я...

Катеринка вырвала руку и побежала вперед. Между деревьями пробивался свет лагерного костра, и лес сразу перестал казаться таинственным и страшным.

Мы начали рассказывать и показывать Геньке, как танцевал барсук, и подняли такую возню, что дядя Миша даже прикрикнул на нас и скомандовал ложиться спать. Мы улеглись на пахучий, приятно покалывающий лапник, но долго не могли уснуть. За камнями озабоченно бормотала Тыжа, пофыркивала Звездочка. Пламя костра то притухало — и тогда казалось, что темные стволы сливаются в сплошную стену и крадучись подбираются к нам, то вскидывалось длинными языками, тьма отпрыгивала назад, и стволы деревьев опять застывали неподвижными строгими колоннами.

Все это было знакомо и вместе с тем ново и необычно: ведь мы находились сейчас вдали от дома, в научной экспедиции, которая еще только началась и пока ничего особенного не принесла. Но кто знает, что она сулила впереди!

Генька лежал на спине и, глядя на редкие звезды, чему-то улыбался. Должно быть, он думал о том же, что и я. Катеринка не отрываясь смотрела на костер; в больших черных зрачках ее вспыхивали и гасли веселые огоньки. Пашка громко и деловито сопел — он давно уже спал...

ПОТОП

Утром Генька растолкал меня, мы схватили полотенца и вместе с дядей Мишей побежали к Тыже. Катеринка разжигала костер, а Пашка собирался варить кашу.

Вода была прямо колючая от холода. Мы все-таки разок окунулись, но сразу замерзли так, что зубы начали стучать, и побежали обратно. Еще на поддороге от лагеря стало слышно, что Катеринка сердито кричит.

— В чем дело, Катя? — спросил дядя Миша.

— Да как же! Я ему говорю, «не смей», а он по-своему... Ему лень к реке сходить, так он хочет немытую крупу варить!

— Ты что же это, Павел?

— А какая разница? От поганого не треснешь, а от чистого не воскреснешь.

— Это, милый друг, рассуждения лентяя. Не понимая, что хорошо, что плохо, ты повторяешь чужие слова. Так делают попугаи. Учись быть человеком, то есть думать... А чтобы у тебя было время обдумать это и пропала охота кормить товарищей грязной пищей, ты получишь кухонный наряд... Понятно?

— Понятно, — буркнул Пашка. — Только зря она крик подняла: все одно микробы сварятся, а вареные они безвредные...

— Ясю!.. Проследи, Катя, чтобы он кормил нас кашей, а не вареными микробами...

Пока Пашка мыл крупу и варил, все укладывали вьюк и мешки, а я записывал происшествия первого дня похода. Дядя Миша предложил для стоянок и каждого примечательного пункта придумывать особое название, чтобы легче запоминать. Пашка ехидно предложил назвать первую стоянку «Катеринкино ископаемое», и Катеринка чуть не заплакала. Но я сказал, что это не главное, а главное было потом — барсучья нора. Название всем понравилось, и даже Пашке, потому что он ее нашел.

Дальше идти пришлось по самому берегу Тыжи, и это оказалось очень неудобно и больно — щебень и галька резали ноги. Но иначе было нельзя, так как Батырган подходил к самому руслу.

Дядя Миша сказал, что это даже хорошо: река — естественный вашгерд. Мы не знали, что такое «вашгерд», и он

объяснил, что так называется лоток, в котором промывают золото. Туда насыпают породу, и вода размывает ее: самое легкое смывает совсем, потяжелее относит дальше, а самое тяжелое — золото — оседает на дне. Так и река. Вода сносит в реку обломки горных пород, и по тому, что найдешь в реке, почти наверняка можно догадаться, что находится в окрестностях. Реки — первые помощники геологов: размывая почву, они создают обнажения, то есть открывают пласты, обычно скрытые почвой и растениями.

— Так то настоящие реки, — сказал Геня, — а это разве река? Только шуму много.

Мы шли по самой узинé, как в трубе (здесь щеки бомов сходились очень близко), и Тыжа шумела так громко, что приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

— Не думаю, чтобы «только шуму», — возразил дядя Миша. — Это она сейчас безобидная, а в полную воду, когда тают снега или когда идут дожди?.. Вот посмотрите — она оставила свою отметку...

На щеке борма явственно выделялась полоса подмыва почти на высоте роста дяди Миши. Это правда, Тыжа очень непостоянная, и у нас на деревне ее называют «шалой»: то течет тихо и смирно, то вдруг вздуется, забуллит, и тогда ни пройти, ни проехать.

Узинá кончилась, и мы смогли выбраться повыше. Тыжа текла здесь почти прямо, а Батырган изгибался вроде подковы.

Идти над берегом, по мягкой траве, было легче, чем у самой реки, по камням, но стало очень жарко и душно. Подкова Батыргана не пропускала ветра, даже от воды не веяло прохладой. А наверху был ветер. Из-за борма стремительно выплывали и взмывали вверх сверкающие облака. Они не шли чередой, а громоздились одно на другое, будто в небе вырастали гигантские меловые столбы.

Рубашка у меня стала мокрая, дядя Миша непрерывно вытирал пот с лица. В знойном мареве дрожали верхушки бомов, раскаленный воздух неподвижно застыл над подковой, а в вышине продолжалось бесшумное строительство ослепительных городов и башен. Маковки их сверкали, как снег, а низ начал темнеть, затягиваясь сизой падымью.

Возле новой узины́ бомы опять сходились навстречу друг другу, и стиснутая ими Тыжа шумела еще сильнее.

Мы спустились к реке. Однако и у реки духота не уменьшилась. Здесь, пожалуй, стало еще хуже: горячим был не только воздух — жаром несло и от нагретой солнцем скалы. Пот заливал глаза, и это очень мешало, так как Тыжа начала делать такие повороты и петли, что мне то и дело приходилось засекать новые азимуты. Я уже не успевал записывать и считать, и мы с Катеринкой разделили работу: я записывал и отмечал азимуты, а она считала шаги. Так дело пошло без задержек, и мы двигались быстрее, чем раньше. Геннадий с дядей Мишей часто останавливались, чтобы рассмотреть скалу, отбить кусок камня или раздробить гальку, и потом снова догоняли нас.

Труба становилась уже, Тыжа шумела все сильнее и вдруг потемнела. Потемнело и все вокруг. Облака закрыли солнце, и лишь кое-где остались просветы голубого неба. Раньше все облака были белыми, а теперь ослепительно сверкали только самые верхушки, а внизу клубились, вспухали темные, свинцовые тучи, отливавшие в глубине почти черной синевой.

— Гроза будет! — испуганно сказала Катеринка.

— Не будет... А если будет, так ничего особенного. Подумаешь, гроза!

Я старался говорить бодро и весело, но это мне не очень удалось. Грозы я не боялся дома, а здесь, в горах...

Захар Васильевич, выдавший всякие виды, когда заходила речь о грозе, только качал головой: «Гроза в горах — не приведи бог! Намаешься...»

— Давайте поживее, ребята! — сказал дядя Миша. — А то надоело в этой трубе идти...

Мы пошли быстрее, и дядя Миша, стараясь, чтобы мы не заметили, озабоченно поглядывал то на небо, то на скалы. Они были по-прежнему высоки и стали еще круче. При мысли о том, что здесь нас застанет гроза и мы не успеем выбраться до того, как дождевые воды хлынут в Тыжу, сердце у меня сжималось.

Зашлепали дождевые капли. Дядя Миша подхватил Катеринку и посадил поверх вьюка.

— Бегом! — крикнул он, и мы побежали.

Капли перестали падать, но с каждой минутой становилось все темнее. Шипела и хлопотала Тыжа, на потемневшей воде резко выделялись клочья и гривки пены, по-прежнему тянулись крутые стены с обеих сторон.

И вдруг щеки расступились — дальше Тыжа текла между не очень крутыми гривами. Только здесь стало еще страшнее: во всю ширь нависла над горами мрачная тьма. Мы начали наискосок подниматься по увалу, чтобы уйти подальше от реки и отыскать место для стоянки, и миновали уже много подходящих площадок, а дядя Миша все вел нас дальше. Он шел впереди и то спускался немного вниз, то поднимался вверх, но, видно, никак не мог найти то, что искал. Стало так темно, что Звездочка начала скользить и спотыкаться.

Наконец дядя Миша крикнул: «Стоп!» Когда мы подбежали, он стоял у входа в какое-то углубление, уходящее прямо в скалу.

— Пещера! — закричала Катеринка и скатилась с лошади. — Ура!

— Не пещера, а, скажем, грот... Во всяком случае, штука более надежная, чем шалашик из ветвей. Живей за работу!

Мы быстро натаскали в грот большую кучу хвороста, потом лапника и возвращались с последними охапками, как вдруг небо вспыхнуло голубым светом и оглушительно загремело. Первый удар будто распорол мешок с молниями, и они посыпались одна за другой. Катеринка присела и зарылась лицом в лапник. При свете молнии все стало так четко и далеко видно, словно вдруг приблизилось к самым глазам.

И тут мы увидели, что Звездочка, привязанная к елке у входа в грот, поднялась на дыбы, рванулась и исчезла. Генька, шедший рядом со мной, швырнул лапник и бросился следом, а дядя Миша за ним.

Я и Пашка смотрели им вслед, не зная, бежать ли нам тоже ловить Звездочку или делать что-нибудь другое. Потом я решил, что это непорядок — всем бегать за одной лошадью, а нужно зажечь костер, чтобы им легче было нас найти. Молнии перестали сверкать, и сразу стало еще темнее, чем раньше. Я тронул Катеринку за плечо:

— Вставай! Уж нет ничего. Не бойся...

— А я не боюсь... Я только сначала испугалась, потому что очень неожиданно...

— Ну и ладно. Собирай лапник, пошли.

Хотя мне очень не хотелось уходить из грота, я сказал, что мы с Пашкой соберем лапник, оставленный дядей Мишей и Генькой, а Катеринка должна разжечь костер у самого входа, чтобы его было далеко видно.

— Ладно,— сказала Катеринка,— только вы не очень долго, а то опять начнет греметь, и это ужасно неприятно, когда гремит, а ты одна...

Мы провозились порядочно, и, когда вернулись, костер уже горел. Катеринка навалила в него хворосту, пламя на мгновение притихло, а потом высоким столбом прыгнуло к небу. Грот оказался совсем небольшим и не похожим на пещеру, о которой мечтала Катеринка,— это была просто впадина в горе.

Все дела были окончены, а дядя Миша и Генька не возвращались. Катеринка с Пашкой приуныли, и я, признаться, тоже. Чтобы поддержать бодрость, я сказал, что, пока их нет, надо приготовить поесть и я пойду к Тыже за водой.

Я только начал спускаться с увала, как впереди раздался треск, и прямо на меня из темноты выдвинулась Звездочка. По бокам, держа ее под уздцы, шли Генька и дядя Миша.

— Ты куда собрался?— спросил дядя Миша.

— По воду.

— Не время... Вон посмотри...

На западе в сизо-черных тучах трепетал багровый отсвет, а в глубине его зиял провал, словно в небе вдруг образовалась дыра в бесконечную пустоту.

Мы поспешно подыались к гроту — и как раз вовремя. Небо вспыхнуло слепящим пламенем и с ревушим стоном раскололось пополам. Почти сейчас же один за другим налетели яростные порывы ветра. Мешок с молниями лопнул опять, и в голубом дрожащем свете мы увидели, как летят по воздуху какие-то клочья, обломанные ветки, валяются друг на друга деревья. Потом сразу все стихло. Но это была непродолжительная тишина. Издалека донесся ровный, монотонный шум.

— Вот начинается самое опасное,— сказал дядя Миша.

Шум быстро нарастал, пахнуло холодом, и на землю обру-

пила стена дождя. В нем нельзя было различить ни капель, ни струй. Это был непрерывный водяной поток, настоящий водопад.

— Представляете,— сказал дядя Миша,— если бы такая штука застала нас возле реки?.. Так-то, уважаемые путешественники! Экспедиция — это вам не прогулочка... Ну хорошо. Есть мы сегодня будем? Кто как, а я отчаянно проголодался.

Я выставил чайник под дождь, и он почти сразу наполнился до краев. Распорядок дня был бесповоротно нарушен: мы обедали и ужинали сразу.

Дождь уже не падал сплошной водяной стеной, а перешел в сильный ливень. Всюду по увалу, куда достигал свет костра, виднелись бегущие вниз бурные потоки.

— Как всемирный потоп,— заметил Пашка.

— А ты там был?— спросила Катеринка.

— Я не был, а бабка рассказывала.

— Всемирного потопа не было,— солидно сказал я,— это опиум и выдумки.

— Нет, потоп был,— возразил дядя Миша,— только совсем не тогда и не такой, как описывали в церковных книгах. Потоп был тогда, когда ничего живого на Земле не существовало. И продолжался он не сорок дней и ночей, а миллионы лет... Вы знаете, что когда-то на Земле не существовало ни камней, ни металлов — все было расплавлено в одну сплошную массу. Воды в то время не было совсем, потому что вода кипит при ста градусах, а на Земле температура достигала нескольких тысяч градусов. Водяные пары поднимались в верхние слои атмосферы, и там непрерывно шли грозы, куда более страшные, чем теперь. Но дождь не доходил до Земли: он превращался в пар, прежде чем достигал поверхности земного шара. Мало-помалу образовалась твердая кора. И вот тогда на Землю хлынули потоки воды. Это был настоящий потоп, потому что все сплошь покрыла вода, и это был страшный потоп, так как вода падала на все еще горячую кору и, мгновенно закипая, взлетала вверх, а сверху падала уже охладившаяся вода, и так этот кипящий водоворот продолжался до тех пор, пока земная кора не покрылась сплошным океаном...

— А потом?

— Потом началось горообразование, или, как говорят геологи, орогенез. Земной шар остывал и становился меньше. Затвердевшая кора ломалась, сжималась в складки, как собирается в складки кожура на печеном картофеле. Складки были тяжелее, чем ровные пространства, и погружались вниз, в расплавленную массу, которая называется магмой. Один участок опускался, другой вспучивался, приподнимался, образовывались новые изломы и складки, новые горы. Так продолжалось очень долго. Горы разрушались, вода смывала обломки в океан, и на дне его образовывались новые породы — осадочные. Их накапливалось так много, что под их тяжестью морское дно прогибалось, опускалось, а сверху нарастали новые и новые слои осадочных пород. Потом дно моря оказывалось сушей, а горы скрывались под водой. Магма, вырываясь через трещины в коре, заливала сушу, образовывала новые горы. Море и суша не раз менялись местами, и один участок земной коры иногда несколько раз оказывался то под водой, то на поверхности. Потом появились животные и растения. Они тоже приняли участие в образовании земной коры. Многие земные пласты — это результат жизнедеятельности животных и растений.

— А человек где был?

— Человека тогда не было. Он появился сравнительно совсем недавно.

— А мы, то есть наши места, тоже были под морем?

— В очень отдаленные времена, конечно, были. Но потом уже под воду не опускались...

Дождь все шел и шел, и под его монотонный шум я заснул.

ГЕНЬКИНО УРОЧИЩЕ

Мне часто снится увиденное или услышанное накануне. Вот и теперь мне приснилось, что я сам наблюдаю, как происходит остывание Земли и на ней образуется бескрайнее кипящее море. Море клокочет и взрывается паром, который тут же превращается в дождь. Но странное дело — ни земля, ни море не остывают, а становятся все горячее. Под конец мне делается так жарко, что я не выдерживаю и просыпаюсь.

Свет бьет мне прямо в лицо. Небо безоблачно, и воздух такой чистый и свежий, будто и его вымыла гроза. Солнце только что вышло из-за восточной гривы, и она лежит в тени, но наш берег озарен яркими лучами, и промытая дождем зелень так сверкает, словно весь склон усыпан изумрудами. Над Тыжей клубится молочный туман. Он ползет вверх по увалу, но едва достигает солнечных лучей — становится золотистым и сейчас же тает. На юге в голубоватой дымке громоздятся горы, ослепительно поблескивают белки.

Сверкание солнца и ярких красок наполняет меня звонкой радостью, и я не могу усидеть спокойно.

— Подъем! — заорал я что было силы. — Вставайте, сони!

Пока мы завтракали и собирались, солнце залило весь распадок и туман стремительно растаял. Снарядившись, мы прежде всего спустились посмотреть на речку.

Тыжа словно взбесилась. Она поднялась метра на полтора и с ревом и клокотаньем неслась между берегами. В мутной, вспененной воде то и дело мелькали пучки травы, ветки, всякий мусор.

— Вот бы сюда плотину да электростанцию поставить! — сказал Пашка. — Смотрите, какое течение...

Он поднял ветку и бросил в воду. Дружок, должно быть подумав, что Пашка бросил ее для него и он обязан принести ее обратно, вскочил и кинулся следом. Течение подхватило его и сразу отнесло метра на два от берега. Дружок испугался, принялся судорожно перебирать лапами, чтобы выбиться на берег, и заскулил. Волна накрыла его с головой, он захлебнулся, однако через мгновение, отфыркиваясь, вынырнул.

Щенка несло прямо на скалу, о которую с шумом разбивался поток и неизбежно разбился бы и он. Катеринка испуганно ойкнула, а Пашка заметался по берегу. Он очень любил Дружка и, кроме того, собирался завести собачью упряжку, как в Заполярье, а в этой упряжке Дружок должен был стать вожак... Не растерялся один Геннадий. Он побежал вперед по берегу, на бегу распуская веревку, которую забыл привязать к вьюку и захватил с собой; размахнулся и бросил ее, да так ловко, что кольцо веревки упало почти на Дружка.

Дружок вцепился зубами в веревку, и Геннадий потянул ее

к себе. Щенок сразу же скрылся под водой, но, должно быть, он понимал, что это — единственное его спасение, и веревки не выпускал. Генька так быстро тащил веревку, что едва не расшиб Дружка, выбросив его на берег.

С минуту, опустив хвост и покачиваясь, щенок надсадно кашлял и фыркал, потом встряхнулся, обдав нас фонтаном брызг, опять поднял хвост кренделем, запрыгал, пытаясь облизать каждого из нас, подбежал к берегу, ошетинился, зарычал и яростно залаял на мутный поток. И несколько раз, когда мы уже уходили, он оборачивался назад и принимался сердито и обиженно лаять в сторону шумевшей реки...

Пройдя по течению Тыжи семь километров, мы устроили привал у ее излучины. Когда все расположились после обеда отдыхать, я отошел подальше от лагеря, взобрался на скалу, возвышавшуюся над Тыжей, и улегся на нагретой солнцем площадке.

Прямо от скалы убегали вдаль темно-зеленые волны тайги, расплескивались по горам, сбегали в распадки и ущелья. Кое-где выше леса пламенели ковры лугов, вздымались бурые, сиреневые скалы гольцов. Над ними в знойных струях парил беркут. Он был единственным живым существом во всем неоглядном просторе вздыбившихся гор и безмолвной тайги.

Я задумался о том, почему всегда тихо и глухо в тайге и как далеко отсюда большие города, где так много людей и всего интересного. И Федор Елизарович, и Захар Васильевич, и все говорят, что край у нас богатый. А дядя Миша сказал, что Алтай — это прямо сундук с сокровищами... Ну да, сундук и есть, только наглухо заколоченный. Вот если дядя Миша, а может, и мы найдем что-нибудь такое, тогда... Тогда начнется жизнь! Понастроят разные заводы, пустят всякие машины. И не надо будет ходить в Колтубы пешком, а сел в машину — р-раз! — и там...

Беркут камнем упал вниз — единственное живое существо исчезло с горизонта. Кругом безлюдная, неподвижная тайга. И все мои видения сразу погасли... Вспомнилось, что в Колтубах уже строят электростанцию, там будет свет, а у нас нет, потому что — Иван Потапович говорил — для этого надо много людей и денег...



Мы не раз уже обсуждали с Генькой, что будем делать, когда кончим школу, но я все не мог окончательно решить, что бы мне хотелось делать. А теперь я твердо решил: надо уехать, а там видно будет. Может, стану моряком, путешественником, а может, ученым...

Катеринкина голова появилась у края площадки:

— Ты что тут сидишь?

— Чего тебе надо? — рассердился я. — Что ты всегда за мной ходишь?

— Больно ты нужен! — обиделась она. — Сиди здесь сколько влезет, а мы уходим... Тютя! — Она показала мне язык и убежала.

Мне ничего не оставалось, как бежать следом.

Мы шли все так же вверх по Тыже, извивающейся между высокими гривами. Дядя Миша и Геннадий приглядывались к

щелю, к обнаженным скалам, подступавшим к самому берегу. Катеринка и Пашка тоже рассматривали гальку и выбирали понравившиеся им камни. Километров через десять, возле ручья, который почти под прямым углом впадал в Тыжу, дядя Миша остановился:

— Стоп, ребята! Разбиваем лагерь!

— Дядя Миша,— сказал Генька,— я пойду вдоль ручья, погляжу...

— Хорошо, только далеко не забирайся.

Генька ушел, а мы принялись за работу: устроили шалаш, насобирали хворосту и начали варить ужин. Генька прибежал потный, запыхавшийся, что-то сказал дяде Мише, и они ушли вместе. Вернулись они веселые, возбужденные: очевидно, что-то нашли. Катеринка сразу же попросила показать.

— Что?— спросил дядя Миша.

— А чего вы там нашли.

— Завтра узнаешь. Геннадий, кажется, нашел замечательную штуку, но в кармане ее никак не унести... Будем ужинать, а потом займемся делом.

— Ну,— сказал дядя Миша после ужина,— подведем некоторые итоги. Дело в том, что маршрут придется несколько изменить. По течению Тыжи дальше не пойдем, так как этот ручей может привести к вещам более интересным. Может, он окажется «откровеннее», чем Тыжа... Посему невредно просмотреть накопленный материал... Вываливайте свои мешки!

Я камней не собирал — мне и без того хватало работы,— и мешки принесли Катеринка, Пашка и Геннадий. Первым выложил собранные камни Пашка. Пользуясь тем, что почти все время Звездочка была на его попечении, он запихивал камни не только в свой мешок, но и в большой вьюк. Теперь он насыпал перед нами изрядную кучу больших обломков.

— Д-да...— протянул дядя Миша.— Похоже, если тебе дать волю, ты бы половину Батыргана с собой унес...

— Я на всякий случай,— сказал Пашка.— Вдруг это стоящий камень? А у меня, глядишь, много...

— Слишком ты запасливый.

— Просто жадный,— сказала Катеринка.

— Жадничать тут нечего. Я думаю — он по неопытности... Во-первых, несколько раз брать в коллекцию одно и то же не-зачем. — Дядя Миша быстро разобрал кучу и половину выбросил. — Во-вторых, не следует брать большие куски — это тяжело и не нужно: достаточно куска размером в ладонь. Так что тебе придется оббить лишнее, чтобы зря не таскать тяжести... Но сначала посмотрим, что у других.

Катеринка высыпала свои камни. Это были гладкие, обкатанные гальки самых различных цветов.

— Так! Павел берет что побольше, а Катя — что поярче... Это тоже не коллекция, а забава... Давай, Геннадий, твои!

У Геньки была настоящая коллекция: камни все разные, небольшие и аккуратные. Но дядя Миша и ею остался недоволен:

— Что это за камень?

Генька не знал.

— Где, когда найден?

— Забыл.

— Без этого коллекция не имеет цены. Допустим, определить вы сразу не можете, а пока просто не умеете. Но нужно обязательно каждый образец сопровождать указанием, где, когда и при каких условиях он взят. А иначе какая же практическая польза может быть от такой коллекции?

Признаться, никто из нас не был особенно огорчен тем, что коллекции оказались неважными. Это же были всего-навсего камни, а вот там, у ручья, нашли что-то по-настоящему ценное. Утром мы делали все с таким усердием, что приготовились к походу вдвое быстрее прежнего.

Я засек азимут — мы направлялись прямо на запад. Идти было очень трудно, и особенно доставалось Звездочке. Горы, между которыми извивалось каменное ложе ручья, подходили друг к другу почти вплотную. В сущности, это была как бы рас-селина, глубокая, узкая трещина в горе, загроможденная камнями и целыми глыбами обвалившейся сверху породы. Приходилось все время прыгать с камня на камень, и от этой физкультуры мы были потные и красные, будто бегали взапуски.

Через полчаса впереди посветлело, расселина расширилась и вдруг оборвалась. Мы оказались у края глубокой котловины. С обеих сторон ее окаймляли высокие, почти отвесные обрывы,

которые в отдалении опять сближались и замыкались высокой горой. Котловина тянулась на северо-запад узкой полосой — в самой широкой части было не больше полутора километров. До половины она поросла кустарником, купами берез, лиственниц, на ней даже высились несколько могучих кедров, а вдалеке темнела сплошная стена леса. Многочисленные лужайки были покрыты такой густой и пышной травой, так много было на них цветов, что казалось, кто-то разбросал повсюду пестро расшитые платки.

— Ой, мамочка! — сказала Катеринка.

Мы, как по команде, подбросили кепки и закричали «ура».

— Правильно! — сказал дядя Миша. — Кричать «ура» следует. И не только потому, что это красиво, а и потому, что Геннадий совершил пусть маленькое, но настоящее географическое открытие...

Мы закричали еще громче и потребовали объяснения. Дядя Миша развернул карту:

— Вот где мы находимся. Как видите, на карте нет и следа этого... скажем, урочища. Вместо него нарисованы сплошные возвышенности. Значит, картограф здесь не был и составил карту по рассказам или просто нарисовал горы, которых на самом деле нет... Это во-первых. А во-вторых, мы натолкнулись на тот счастливый случай, когда природа сама раскрывает перед человеком страницу в книге своей жизни. Урочище Геннадия — типичный грабен...

— А что такое «грабен»?

— Во время горообразования нередко бывает, что земная кора трескается, сдвигается, один участок поднимается, другой опускается. Бывает, что части земной поверхности сохраняют свое положение, а площадь между ними опускается. Вот такая площадь называется грабеном. Если впадина образуется глубокая, она наполняется водой и становится озером. Так, например, появилось Телецкое озеро...

О Телецком озере мы знали. О нем рассказывал не раз бывавший там Захар Васильевич.

— Телецкое озеро — очень большой грабен; длиной в семьдесят семь километров и шириной в пять. Но есть еще большие. Грабен озера Байкал имеет в длину семьсот пятьдесят кило-

метров, в ширину — восемьдесят пять, а в глубину — больше тысячи метров. Грабен, который мы с вами открыли, небольшой, но и он для геолога находка. Вот почему я изменил маршрут. Теперь мы с вами займемся обследованием естественных обнажений этого грабена. Хотя они и выветрились, кое-где покрыты осыпями, но все равно представляют большой интерес, так как именно здесь могут подстерегать нас всякие неожиданности... Согласны?

Мы выразили согласие радостным воплем и тронулись в путь. Правда, отошли мы недалеко и на небольшой полянке возле ручья разбили лагерь. Дядя Миша сказал, что это будет наша база; опираясь на нее, мы начнем обследование района.

Как назло, я не мог участвовать в обследовании — наступила моя очередь быть поваром. Я с завистью посмотрел вслед уходящим Пашке и Геньке. Катеринка повертелась в лагере, а потом тоже ушла, сказав, что кругом, наверно, ягод ужас сколько и она насобирает на компот.

Я сварил суп, вскипятил чай. Потом грел суп, грел чай, а они все не шли. Явились грязные, усталые и такие голодные, что, как только умылись, сразу же схватились за ложки. Ничего особенного они не нашли, а устали потому, что лазить по отвесным скалам очень трудно.

Мы уже приготовились обедать, как дядя Миша спохватился:

— А где Катя?

Но тут прибежала и она, еще издали крича:

— Дядя Миша, дядя Миша-а! Я тоже сделала открытие!..

— Опять ископаемое нашла? — сказал Пашка и захохотал.

— Сам ты ископаемое!.. Дядя Миша, я правда сделала открытие! Там... — Она махнула рукой на запад. — Я там ягоды собирала и нашла...

— Да что нашла-то?

— Озеро!.. Большущее! И круглое, как тарелка...

Оно оказалось не такое уж большое — метров двести в поперечнике, но на редкость красивое. Мы не могли увидеть его издали — со всех сторон его окружали высокие деревья. Из озера и вытекал ручей, который привел нас в Генькино урочище. Пашка сейчас же кинулся к берегу, поковырял ногами песок

и сказал, что в озере есть рыба: в песке попадалась рыба чешуя.

Вода была теплая, не то что в Тыже, и мы прежде всего купались, а потом немного полежали на горячем песке. Дядя Миша сказал, что озеро очень хорошее и, пожалуй, следует перенести сюда наш лагерь.

Так мы и сделали. Через два часа новый лагерь был готов, и мы пили чай, любуясь отблесками костра, бегущими по зеркальной воде. Солнце село, в небе задрожали звезды. Стало похоже, будто появилось два неба: и сверху и внизу — в озере — сверкали и переливались мигающие огоньки.

Дядя Миша сказал, что озеро должно называться Катиным, раз она его нашла. Катеринка и без того ходила слишком важная и гордая, но каждый из нас надеялся совершить не меньшие открытия, и мы согласились: пусть будет Катеринкино озеро.

ХОЗЯИН КРУГЛОГО ОЗЕРА

К общему удивлению, Пашка сам вызвался дежурить по лагерю, а мы, вооружившись молотками, с утра отправились к обрыву. Катеринка несла рулетку и помогала дяде Мише мерить толщину пластов. Геннадий собирал образцы. Я тоже начал собирать, увлекся и пошел вперед вдоль каменной стены. Она вовсе не была ровной и гладкой, как казалось издали, а шла изломами и извилинами. Верхушка ее иззубрилась, обвалилась, и внизу тянулись огромные валы осыпей. Я скоро потерял наших из виду, но продолжал идти вперед.

Старательно рассматривая обрыв и осыпи, я разбивал все подозрительные камни, но не находил ничего похожего на изумруды. Молочно-белые, серые, желтоватые камни, названий которых я не знал, да красноватые зернистые порфириты (так называл их дядя Миша) — и больше ничего. Только раз я наткнулся на подходящий камень, но он был какого-то зеленовато-грязного цвета, как бутылочное стекло, и под ударом молотка раскрошился вдребезги. Нет, конечно, это был не изумруд!

Я уже подумывал о возвращении, но, окинув напоследок взглядом стену, заметил метрах в пяти от земли небольшое

углубление или отверстие. Рассмотреть его снизу было невозможно, и я начал карабкаться вверх. Лезть пришлось не прямо, потому что от отверстия круто падал почти гладкий откос, на котором не за что было ухватиться, а внизу вздымался высокий вал осыпи. Однако сбоку, по расселинам и камням, можно было добраться до небольшого карниза, над которым и находилось это отверстие. Пройти по карнизу можно было только бочком, прижавшись к стене. Лишь у самого отверстия он немного расширился, и я смог нагнуться. Маленькая полукруглая ниша была сплошь усеяна кристаллами!..

Я зажмурился, перевел дух и опять открыл глаза: кристаллы не исчезли. Гладкие, блестящие и прозрачные, как стекло, это, несомненно, были алмазы! Разве могут сравниться с ними какие-то изумруды!.. Я представил себе, как ребята разинут рты, когда я с независимым и равнодушным видом достану из кармана горсть алмазов и небрежно высыплю перед дядей Мишей...

Разыскав местечко в боковой стенке ниши, где выросло целое созвездие крупных кристаллов, я принялся осторожно выбивать их вместе с основанием. Сделать это было не так-то просто: бить приходилось левой рукой, согнувшись. Наконец созвездие было у меня в руках, но, неловко повернувшись, я сорвался с карниза и заскользил по крутому склону. Не будь у меня в руках кристаллов, я бы еще попытался ухватиться, замедлить падение. Но теперь я только зажмурился, поднял кристаллы повыше и, обдирая спину об острые выступы, съехал вниз, пропахав глубокую борозду в щебнистой осыпи. Ободранная спина горела и саднила, но я был счастлив: сокровище уцелело! Я побежал назад — разыскивать дядю Мишу и ребят, потом решил, что они уже ушли, и направился в лагерь.

Еще издали я услышал крик:

— Помогите! Ой-ой-ой, скорее помогите!

Я сунул кристаллы в карман и побежал, что было сил. В лагере было пусто, только по берегу метался Дружок и то лаял, то скулил, глядя на озеро. Оттуда опять донесся крик:

— Ой-ой-ой! Сейчас утону... Помогите!

Кричал Пашка. Я увидел его на середине озера. Он плыл, но как-то странно. Вернее, он не плыл, а сидел, согнувшись крючком, и то двигался вперед, то вдруг останавливался и начи-

пал двигаться назад, вроде давал задний ход. Он не захлебывался, не тонул, да и вообще был весь над водой, сидя на чем-то, что стремительно металось из стороны в сторону. Когда движение замедлялось или приостанавливалось, затихал и Пашка; но как только оно возобновлялось, он снова начинал вопить.

Я быстро разделся и хотел плыть прямо к нему, но потом сообразил, что так мне его не вытащить. У берега плавал обломок древесного ствола. Я лег на него и стал грести к Пашке. Теперь его начало кружить. Он быстро плыл по кругу, и вокруг него даже поднялись небольшие бурунчики.

Мне бы не удалось его догнать, если бы он не остановился. Подплыв вплотную, я увидел, что Пашка сидит на маленьком плоту, почти целиком погрузившемся в воду.

— Чего ж ты орешь? Я думал, ты тонешь...

Пашка не успел ответить — плот дернулся и опять начал свои странные движения. По временам он наклонялся и еще больше уходил под воду.

— Р-рыба! — заикаясь, пробормотал Пашка. — Я, к-кажется, поймал акулу...

— Дурень ты! Акулы в море бывают.

— Н-ну, тогда это к-какая-то д-допотопная р-рыба...

Должно быть, рыба порядочно утомилась: движение плота замедлялось, и наконец он остановился.

— Давай греби! — скомандовал я, и мы начали подгребать к берегу.

Плот судорожно дергался, иногда скользил в сторону, но все же понемногу приближался к берегу. Пока мы добирались, Пашка, задыхаясь и заикаясь, рассказал, как все произошло.

Он умышленно остался в лагере, чтобы на свободе половить рыбу. У берега ловилась всякая мелочь. Тогда он обрубил четыре лесянки, связал их. Плот получился хлипкий и слишком легкий — когда Пашка влез на него, он почти весь погрузился в воду, — но плыть все-таки было можно. Пашка отплыл метров на двадцать от берега. Хотя дядя Миша и выпотрошил его мешок, Пашке все-таки удалось утаить отцовскую закидушку из толстого крученого шпагата. Поводки на ней были сделаны из стальной проволоки, а сверху обкручены латунной. Пашка насадил живцов и забросил закидушку. Он несколько раз безре-

зультатно вытягивал и забрасывал ее и уже собирался плюнуть на все и грести к берегу, но закидушка вдруг натянулась, и он сле успел обмотать шпагат вокруг сучка на лесине.

Будь плот тяжелее или шпагат менее прочным, все бы кончилось на первом рывке, а тут дело обернулось иначе. Странная добыча сама поймала Пашку. Он спохватился, когда плот был уже на середине озера и его начало дергать из стороны в сторону. Размотать натянутый мокрый шпагат уже не удалось. Проще всего было бы обрезать закидушку, но у Пашки не было ножа, да ему и жаль было упустить пойманную им неведомую рыбину. И он поминутно переходил от страха к надежде и от надежды к страху, не решаясь бросить плот и боясь на нем оставаться.

Мы подгребли к противоположному берегу — он оказался ближе — и понемногу начали подтаскивать добычу. Она сопротивлялась, но все же шла. У самого берега, когда на мелководье показались широкая темная спина и пятнистые бока, рыба опять забушевала, взметая фонтаны брызг. Однако мы все-таки выволокли ее на песок — и ахнули: такой крупной рыбины мы никогда не видели.

Пашка сказал, что ее нужно трахнуть камнем по башке, а то она отлежится и прыгнет обратно, однако сам подойти к ней не решался. Рыба хватала воздух широко открытым ртом, яростно хлестала хвостом по песку и подпрыгивала, но все слабее и тише. Пашка разыскал увесистый обломок ветки, издали огрел по голове рыбину; та перестала биться, а потом и вовсе уснула.

Рыба оказалась очень тяжелой, и я предложил сесть опять на плот и переправить ее по воде. Но Пашка сказал, что он предпочитает идти в обход по берегу, а то там опять кто-нибудь поймается и вовсе утопит. Мы стащили рыбу в воду и повели ее на буксире, как баржу.

Я первый увидел четкий след больших сапог. След входил прямо в воду и здесь был размыт, потом возвращался обратно и исчезал в траве, окаймляющей песчаный берег.

Вокруг было безлюдно, как и прежде, однако кто-то здесь прошел совсем недавно, так как след был совершенно четкий. Во всяком случае, он был оставлен не далее вчерашнего дня, иначе его бы смыло позавчерашним ливнем.

Что это за человек? Почему он оказался здесь? Знает ли он о нас и ушел ли он по своим делам или потому, что на озере появились мы? Если он видел нас, почему не пришел в лагерь?..

Мы долго раздумывали над таинственными следами, потом вспомнили, что лагерь остался без присмотра, и заторопились домой.

Рыбу следовало выпотрошить и приготовить на обед, но нам хотелось показать свою добычу во всем великолепии. Наши скоро подошли и, конечно, восхитились огромной рыбиной. Пашка так расхвастался, что мне пришлось рассказать, как он сидел, скорчившись, на плоту и вопил: «Ой-ой-ой! Сейчас утону...» Все начали смеяться, а дядя Миша сказал, что это ничего, что боялся. Важно, что хотя и боялся, а не отступил. Таймень здоровенный, и с ним впору управиться взрослому. Настоящий хозяин озера.

Катеринка увидела мою спину и закричала:

— Ой, дядя Миша, поглядите, что у Кольки на спине!

И тут я вспомнил про свои алмазы, оставленные в кармане штанов. Кажется, мне не удалось сохранить независимое и равнодушное выражение на лице, но я был вполне удовлетворен, увидя восторг на лицах у всех.

Дядя Миша внимательно рассмотрел созвездие кристаллов и сказал:

— Очень хорошо! Отличный образец! Я думаю, это будет украшением вашей коллекции.

— Как? Разве это... — разочарованно начал я.

— Это превосходный образчик кристаллического кварца. Тебе посчастливилось найти крупные и очень чистые кристаллы, хотя ради этого не стоило обдирать спину: кварц — очень распространенный минерал.

Я был так разочарован и огорчен, что безропотно дал намазать свою спину йодом и даже не рассердился на Катеринку, которая сказала, что теперь я похож на зебру. Хорошо еще, что я не расхвастался и не брякнул насчет алмазов!..

Таймень оказался жирный и вкусный, мы на славу пообедали.

— А как же он сюда попал, таймень? — спросила Катеринка, когда после обеда все прилегли отдохнуть.

— Трудно сказать. Может быть, ручей этот когда-нибудь был большим, а лососевые рыбы высоко ведь поднимаются для икрометания. Подняться поднялись, а вода спáла, они здесь и застряли. Может, птицы икринки занесли. Вот и вырос такой «хозяин». Ловить-то здесь некому, безлюдье...

Тут я сразу вспомнил про следы:

— Дядя Миша! Тут люди есть... Мы видели следы. С той стороны озера.

— Кто там может быть? А ну, пойдемте посмотрим...

Мы обшарили все кусты вокруг следов, но никого и ничего не нашли. Генька внимательно рассмотрел отпечатки сапог на песке — он чуть не носом по ним водил — и сказал:

— Это хромой. На правую ногу. Видите? Отпечаток правой слабее и неполный... Конечно, хромой!

— Весьма возможно, — согласился дядя Миша. — Человек, однако, давно ушел, и незачем ломать себе голову над этими следами... Пошли в лагерь!

Но Генька, нахмурившись, о чем-то думал и не трогался с места.

— Вспомнил! — вдруг закричал он. — Это те самые!.. Дядя Миша, когда мы пошли вас ловить... — он покраснел и сбился, — то есть когда мы... ну, искали вас... за околицей были точь-в-точь такие самые следы...

— Опять ты выдумываешь! — сказал Пашка. — Ну, похоже — так что? Кто сюда потащится?

Конечно, Генька хватил через край. Следы в самом деле были похожи, но из этого ничего не следовало. Но что делал здесь этот человек и куда он девался?.. Мы вернулись в лагерь удивленные и озадаченные... Может, урочище вовсе не было безлюдным, здесь кто-нибудь жил и у круглого озера был настоящий хозяин, а не только Пашкин таймень?

БРАКОНЬЕРЫ

На следующий день до первого привала мы шли вдоль стены, промеряя пласты и собирая образцы. Стена понемногу понижалась, потом перешла в увал, поросший пихтачом и елью. Постепенно сужающееся урочище замыкала высокая гора,

сплошь покрытая лесом. Дядя Миша сказал, что возвращаться на прежний маршрут к реке слишком далеко, и мы решили перевалить через гору, чтобы потом продолжать путь на северо-запад.

В долине лес то и дело перебивался солнечными еланями¹, поросшими густой, сочной травой почти в рост Катеринки. Дядя Миша, шедший впереди, внезапно остановился на окраине одной из таких еланей и предостерегающе поднял руку. Мы осторожно подошли, но ничего не увидели из-за высокой травы; было только заметно, что посреди поляны что-то движется. Дядя Миша посадил Катеринку на дерево, она вскарабкалась повыше и быстро сползла обратно:

— Там спит рыжая корова, и около нее маленький теленок... Хорошенький такой!

Конечно, это была не корова — откуда ей здесь взяться! — и нам всем захотелось посмотреть, но мы стояли неподвижно, боясь спугнуть неизвестное животное.

— Оно не спит, — сказал через некоторое время Генька, — онодохлое. Видите, воробны...

На ветках ели, стоящей поодаль, уселись две вороны и о чем-то переговаривались, поглядывая на поляну. Потом прилетели еще и еще.

— Да, вороны, должно быть, почуяли падаль...

Прячась в высокой траве, мы поползли на поляну. Посреди нее лежало большое красно-рыжее животное, а возле топтался маленький, тонконогий рыжеватый теленок с бурыми пятнышками на боках. Он то принимался лизать морду матери, то подталкивал ее головой, как бы стараясь разбудить, то неподвижно застывал, расставив тонкие шаткие ножки.

Подо мной треснула ветка. Испуганно вскинувшись, теленок бросился в сторону, наткнулся на Катеринку, и они упали. Катеринка обхватила его руками за шею, подбежал я, и мы удержали теленка.

— Это маралуха, — сказал Генька. — Я видел такую шкуру у Захара Васильевича.

— Да, — согласился дядя Миша. — Только она не дохлая, а убита каким-то негодяем.

¹ Е л а н ь — прогалина, поляна.



Над глазом трупа зияла пулевая рана, с правой задней ноги была снята кожа и срезано мясо. Охотник не мог унести всю тушу, вырезал большой кусок и ушел. Тогда, наверно, притаившийся мараленок и прибежал к матери.

Ради куска мяса было убито большое, сильное животное, да и мараленок без матери неизбежно должен был погибнуть.

— Таких гадов надо в тюрьму сажать!— сказал Генька.

— Следует,— поддержал дядя Миша,— уже хотя бы потому, что охота сейчас запрещена. А он убил матку — значит, и теленка тоже.

— Это какой-то чужак,— решил Геннадий.— Наши зверя сейчас не бьют... Давайте поймем его!

— Найдешь его!— возразил Пашка.— Как иголку в сене...

Катеринка все время возилась с теленочком: гладила, что-то приговаривала и целовала в черную мордочку. Тот пятился и мотал головой. Катеринка сказала, что ни за что не бросит теленка — один он обязательно пропадет.

— А что с ним делать?

— Возьмем с собой! А, дядя Миша? Я его выкормлю...

— Да чем ты будешь кормить? Он ведь, наверно, травы еще не ест.

— Ест! Ест!— закричала Катеринка.— Смотрите!

Она нарвала немного травы и дала телянку. Тот обнюхал, захватил немного губами и тут же выронил изо рта.

— Вот видишь, он еще не умеет!

Катерипка огорчилась до слез:

— Все равно не брошу! Вот хоть сама с ним останусь — и всё!

— Ну что ж, хорошо! Веди своего мараленка.

Катерипка сделала из веревки поводок и надела ему на шею. Мараленок сначала пятился и упирался, потом смирился и пошел следом за нею, часто перебирая тонкими ножками.

Но он скоро устал и начал отставать, а вместе с ним и Катерипка. Тогда дядя Миша спеленал его, как ребенка, и привязал на спину Звездочке. Катеринка пошла вперед — собирать изредка попадавшуюся черную смородину.

Обходя завалы, мы не торопясь поднимались по склону, как вдруг впереди послышались глухие удары и Катеринкин голос:

— Скорей! Скорей сюда!..

Мы бросились на голос, выбежали на поляну. По ней прыгала Катеринка и толстым суком била по земле. Земля дымилась.

Пожар!

Пламя еще не поднялось, но между островками зелени змеились, перебегали по сушняку искрящиеся огоньки, распространялись все быстрее и шире. И уже повис над поляной терпкий, едучий запах гари... Схватив валявшиеся всюду сучья, мы принялись забивать стремительно расползающиеся очаги огня.

Подбежали дядя Миша и Пашка. Мы кольцом охватили поляну, чтобы не пропустить огонь дальше, и молотили, молотили по земле. Огоньки пригасли, поднялся сизый дым, и в этом предательском дыму то там, то здесь снова начинали искриться загорающиеся пучки сухой травы.

Наконец огонь был потушен, но трава все еще тлела и дымилась. Только тогда мы услышали журчанье ручейка, протекавшего по краю поляны, и, пустив в ход котел, чайник, кружки, тщательно залили все дымки. Катеринка в этом уже не участвовала. Она сидела на земле и, держась за ноги, беззвучно плакала. Увидев разгорающийся огонь, она бросилась сбивать пламя и, сгорая не чувствуя боли, бегала прямо по горячей

траве, а теперь ожоги дали себя знать. Посмотрев на Катеринкины ноги, дядя Миша ахнул и схватил свой мешок. Он обмыл ей ноги марганцовкой, потом из флакона, предварительно разогрев его, вылил густую, похожую на воск массу, смазал ожоги и забинтовал. Катеринка перестала плакать и только всхлипывала.

— Очень больно, Катя? — спросил дядя Миша.

— Печет...

— Зачем же ты кинулась босиком в огонь?

— Перепугалась... Огонь-то — вон он, к валежнику подбирался.

Огонь был остановлен в двух шагах от кучи бурелома, за которым шел увешанный бородами мха и лишайников сухостой. Дойди огонь туда — его уже не удалось бы остановить.

В прошлом году мы всей деревней бегали в Колтубы помогать тушить пожар, зажженный молнией. Огонь шел тогда на дозревающие хлеба...

Нет ничего страшнее, чем пожар в тайге, когда ревущее пламя стеной вздымается к небу, вспыхивают, как факелы, столетние кедры и ели; обезумев от ужаса, все живое бежит от огня, и там, где он прошел, на долгие годы остается черная, мертвая пустыня гари.

Катеринка поступила как герой; и это ничего не значило, что герой сидел теперь и ревел...

— Что же делать с тобою? А? Ты ведь идти не сможешь?

— Смогу! Правда смогу! — Катеринка вскочила, ойкнула, побледнела и поспешно села опять. — Нет, не могу... — Слезы снова закапали у нее из глаз.

Дядя Миша озабоченно потер щеку и задумался:

— Что ж, ребята, придется наш поход свернуть... Погодите! Мы в пути уже пять дней, продовольствие подходит к концу. Вы, я знаю, готовы идти на край света, но у Кати серьезные ожоги, ее нужно лечить. Вы ведь не захотите, чтобы она мучилась ради вашего удовольствия. Нет ведь?.. Я так и думал. Поэтому объявляется приказ по экспедиции: курс домой!

А как же изумруды и все открытия, которые мы собирались совершить, но еще не совершили?

Но что нам оставалось делать, как не согласиться!..

Мы усадили Катеринку на Звездочку рядом с мараленком и тронулись в путь.

У самого края поляны Геннадий, шедший впереди, остановился и показал на землю: на разбросанном от костра пепле были видны отпечатки сапог.

— Видите? Это опять хромой.

Отпечаток сапог был действительно тот самый. Человек, оставивший следы на берегу озера, шел впереди нас. Должно быть, это он и маралуху убил, и бросил непогашенный костер.

— Давайте поймаем его, дядя Миша!— предложил Генька, и ноздри его гневно раздулись.

— Следовало бы... но это нас задержит, а Катю нужно скорее доставить в деревню...

Дядя Миша прикинул наше местоположение по карте и маршрутным съемкам (он тоже вел съемку, сказав, что параллельная работа страхует от ошибок). По прямой до деревни было километров двадцать, но идти пришлось бы по такой чаще, что пробираться через нее и без Звездочки трудно, а с ней и вовсе невозможно.

— Вместо того чтобы замкнуть треугольник,— сказал дядя Миша,— мы замкнем неправильную трапецию. Пойдем не на северо-восток, а прямо на север, пока не выйдем на дорогу в Колтубы. Так дальше, но легче и, следовательно, скорее.

Мы пошли наискось по увалу и шли до самой темноты.

— Вы народ выносливый,— сказал дядя Миша,— а нам нужно не торопиться: Кате может стать хуже...

Катеринка крепилась изо всех сил и не жаловалась, хотя ей, наверно, было очень больно. Я срывал попадавшиеся по дороге ягоды и отдавал ей, однако она не ела, а совала мараленку. Тот мял их губами, но не глотал, и это огорчало Катеринку больше, чем обожженные ноги,— она все боялась, что он умрет от голода.

Пужинали мы уже в темноте. Катеринка и здесь возилась с теленком: поила его с пальца и с тряпки теплой сахарной водой.

Рано утром, наскоро позавтракав, мы пошли дальше и к полудню достигли точки, откуда должен был начаться спуск на противоположную сторону горы.

— Стойте!— вдруг крикнул Геннадий.— Вон он!

Не далее как в километре от нас в безветренном воздухе поднимался дым костра.

— Это он!— кричал Генька.— Бежим скорее!

Дядя Миша, прищурившись, посмотрел на дым, потом на нас, проверил свое ружье и сказал:

— Хорошо! Павлу и Кате оставаться со Звездочкой здесь. Пошли!

Всю дорогу мы почти бежали, боясь, что человек, зажегший костер, опять бесследно исчезнет. Шум ключа, бившего из-под скалы, заглушал наши шаги и позволил незаметно подойти к деревьям у самого края лужайки.

Возле костра сидел бородатый человек без рубахи. Рубаха лежала неподалеку на траве, должно быть только что выстиранная и разложенная на солнце для просушки. Над огнем висел закопченный котелок. Человек поднялся, прихрамывая подошел к разостланной одежде и взялся за рубаху. В этот момент дядя Миша, жестом остановив нас, вышел из-за деревьев и громко сказал:

— Здравствуйте!

Человек рывком натянул затрепавшую рубаху и оглянулся. Глаза его угрюмо и настороженно уставились на дядю Мишу. Ничего не ответив, он вернулся к костру и только здесь ответил:

— Здоров.

Дядя Миша подошел ближе, разглядывая человека и его имущество. Он увидел кусок шкуры с рыже-красной шерстью и кивнул на него головой:

— Свежинка?

— Ты что, оголодал? Садись, угощу...

— Я не в гости пришел.

— А не в гости, так проходи дальше.

— Да нет, погожу. Погляжу.

— Ну-ну, погляди, я за это денег не беру.

— И то ладно.

Они перебрасывались отрывочными фразами, как бы примериваясь и оценивая друг друга.

— Ну, поглядел? Теперь проваливай!

— Еще не все поглядел. Я хочу па твои документы поглядеть.

— А ты что за спрос?— нахмурился хромой.— Иди подобру-поздорову, а то я тебе покажу документ... Он у меня нарезной...— И он шагнул к дереву, к которому было прислонено ружье.

— Стой на месте!— скомандовал дядя Миша.— И не дури — у меня десятизарядное!..

Хромой остановился и с деланным равнодушием уставился в сторону. Я тоже невольно посмотрел туда и тут только заметил, что Геньки рядом нет. Неужто он струсил и убежал?

— Давай лучше по-хорошему,— сказал дядя Миша.— Показывай документ!

— Я его замарать боюсь,— с издевкой ответил хромой,— дома хороню...

— А стыд ты тоже дома оставил?.. Ты маралуху убил? Закона не знаешь?

— Ты меня законам не учи. Нашелся законник!

— Я учить не буду, другие научат. Зачем по тайге бродишь?

— Да что ты ко мне привязался, как репей?— закричал хромой.— Я сам себе хозяин, хочу — и хожу...

— Себе, может, и хозяин, хотя и плохой, а тайге — нет. Поянл? И не кричи — не страшен...

Из-за дерева, к которому было прислонено ружье хромого, показалась рука и, схватив ружье, скрылась. Это была Генькина рука! Я чуть не подпрыгнул от восторга.

Генька взял ружье наперевес и стал сзади хромого.

— Ну, так как? Есть у тебя документы?

Хромой нагнулся к голенищу и начал там копать, но в это время позади Геньки затрещали кусты, оттуда, как кошка, выпрыгнул и бросился на него какой-то парень. Генька от толчка не устоял на ногах, и они, сцепившись, покатались по траве. Тут уж я не выдержал и бросился на подмогу. Парень оказался жилистый и верткий, как вьюн, но все-таки мы распластали его на траве и... окаменели от удивления:

— Васька?!

— Ну, Васька,— задыхаясь, проговорил Васька Щерба-

тый.— Тоже храбрые — двое на одного... А ну, пустите! Навалились...

— Вы что, знаете его, ребята?— спросил дядя Миша.

— Так это же наш, деревенский... Васька Щербатый.

— Отпустите его. А этот? — кивнул он на бородатого.

— Не знаем. Чужой какой-то...

— Это дядька мой,— угрюмо сказал Васька, одергивая рубаху.

— Да врешь ты, нет у тебя никакого дядьки!

— Нет, есть. Он под Минусинском живет. А теперь к нам приехал, погостевать...

— И заодно золотишко поискать?— повернулся дядя Миша к незнакомцу.— Лопата и кайло зачем?

— Ты меня поймал?

— На хищничестве — нет, а на браконьерстве поймал. Бить зверя сейчас нельзя, а ты самку убил, изуродовал и бросил. Значит, вы самые настоящие браконьеры. Да, кроме того, и тайгу подожгли...

— Мы не поджигали!— вскинулся Васька.

— Оставить непогашенный костер — все одно что поджечь. Понятно? В общем, так, граждане: разбираться в этом будут власти, а пока... Геннадий, подбери ружье! Ружье мы передадим в сельсовет и вас туда же доставим. Там и объясните, кто вы такой и чем занимаетесь... Ну, так как, пойдете добровольно?

Хромой посмотрел на ружье, которое Генька снова направил на него, переглянулся с Васькой и махнул рукой:

— Ладно, Васька, собирай манатки, там поглядим еще...

Он подобрал кайло, лопату и тощий заплечный мешок, а Васька слил из котелка воду и прикрыл мясо пучком травы.

Хромой и Васька пошли вперед. Следом за ними, все так же держа ружье наперевес, шел Геннадий, а потом — дядя Миша и я. Дядя Миша взял у Геньки ружье и тихонько вынул патроны. Тот обиделся, но дядя Миша сделал правильно, потому что, в случае чего, Генка сгоряча мог и бабахнуть.

Катеринка и Пашка вытаращили на нас глаза. Кто же мог ожидать, что здесь окажется Васька?.. Я рассказал им, как все было и каким молодцом оказался Геннадий. Катеринка ужасалась и восторгалась, а Пашка сказал, что ничего особенного,

он бы тоже так сделал, а может, даже и лучше, если б его не заставили сторожить Катеринку и Звездочку. Катеринка на него накричала — и правильно сделала, потому что он всегда храбрый после времени.

К вечеру мы спустились в небольшую долину, которая, по расчетам дяди Миши, должна была вывести нас на дорогу в Колтубы.

Катеринке вовсе не стало хуже, как опасался дядя Миша. Должно быть, мазь оказалась здорово целебной, потому что вечером Катеринка, опираясь на палку, ковыляла уже сама, нянчилась с мараленком и приставала к нам, как его назвать. Пашка предложил назвать Найденышем, но Геннадий сказал, что это самка и мужское имя не годится.

— Ну, тогда пусть... пусть тогда будет Найда!— сказала Катеринка.

Найда так Найда! Нам было не до этого, потому что мы были озабочены одним: как бы наши пленники не сбежали.

Они сели в стороне, подальше от нас, всухомятку съели свое мясо и, отказавшись от чая, который предложил дядя Миша, улеглись спать. Но эта хитрая уловка не могла нас обмануть. Мы с Генькой решили спать поочередно и караулить. Дядя Миша, заметив, что я не собираюсь ложиться, спросил, в чем дело. Я тихонько рассказал о наших подозрениях и решении сторожить браконьеров, не спуская с них глаз.

— А-а!— улыбнулся дядя Миша.— Что ж вы меня в заговор не посвятили? Давай так: сначала я посторожу, потом ты. А пока иди спать, ты и так клоешь носом.

Спать мне, правда, хотелось нестерпимо, и я сразу же заснул, хотя меня и мучило предчувствие, что это добром не кончится.

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Так и случилось.

Я проснулся на заре, словно от толчка, и первое, что увидел, была синяя рубаха убежавшего Васьки. Оглянувшись, он заметил, что я смотрю на него, погрозил кулаком и скрылся за деревьями. Я закричал, все вскочили, но было уже поздно пус-

каться в погоню. А хромой бежать и не думал: он проснулся, когда я поднял крик.

Мы ужасно расстроились, а дядя Миша только посмеивался: он совсем не собирался стеречь Ваську.

Часам к четырем мы вышли на Колтубовскую дорогу, а там оказалось рукой подать до нашей деревни.

Ребята увидели нас еще на выгоне и встретили за околицей молча, как почетный караул. Караул немедленно сомкнулся вокруг нас тесным кольцом, и так мы торжественно прошествовали к кузнице, где Иван Потапович проверял отремонтированную лобогрейку.

— А, путешественники прибыли? — сказал он, увидя нас и здороваясь с дядей Мишей. — Ну как? Все в порядке?.. А Федосьина гостя-то по дороге, что ли, подобрали? На подмогу?

Дядя Миша коротко рассказал, как и почему мы задержали хромого.

— Вон оно что! — нахмурился Иван Потапович. — Как же это ты, гражданин хороший? А?

Но тут в круг ворвалась тетка Федосья, Васькина мать; должно быть, Васька все ей рассказал, и она прибежала на выручку.

— Ты куда глядишь, Иван Потапович? Человек в гости приехал, а над ним каждые-всякие изгаляться будут?.. А ты кто такой? — накинулась она на дядю Мишу. — По какому такому праву власть из себя строишь? Видали мы и таких и этаких... Пошли домой, Сидор! Нечего с ними тут растабарывать...

— Ты, Федосья, не шуми, а разберись сначала. Приехал твой Сидор в гости, мы не против — гостюй! А почто он в тайгу пошел?

— А кто ему закажет? Что он — не человек, как другие?

— Человек — когда он к делу приставлен и им занимается, а ежели нет, тогда он не человек, а так, шалтай-болтай... Ты знаешь, что он против закона зверя бил и мало тайгу не поджег?.. Да коли бы не они, — кивнул Иван Потапович на нас, — пал уже до деревни бы дошел. Ветер-то с той стороны тянет, а кругом такая сушь, что твой порох... Вот что твой гостенёк мог наделать! Нам такие гости не с руки, и сердчай не сердчай, а мы представим его в сельсовет — пусть там сами глядят что и как.

Федосья хотела было еще что-то говорить, но, увидев суровые лица окружающих, смолчала и, поджав губы, отошла. Хромой сидел на пеньке и безучастно смотрел куда-то в сторону, словно все происходящее нисколько его не касалось.

— Геннадий,— сказал Иван Потапович,— слетай, скажи, чтобы запрягли Касатку... И тебе, Михал Александрыч, придется съездить со мной, потому ты главный свидетель.

— Хорошо, вот только умоюсь,— ответил дядя Миша.

...Марья Осиповна перепугалась, увидев Катеринкины забинтованные ноги, но дядя Миша уверил ее, что ничего опасного нет, да и Катеринка держалась таким молодцом, так весело рассказала про пожар и как она его тушила, а теперь ей нисколько не больно, что мать успокоилась.

Найда совсем ослабела от голода и оттого, что все время лежала связанная. Катеринка хотела напоить ее молоком, но Найда не умела пить из миски. Я вспомнил, что у нас есть соска, которая надевается на бутылку, и помчался домой.

Мать и Соня обрадовались так, будто меня не было целый год, и начали про все расспрашивать, но я сказал, что мне некогда, схватил соску и убежал.

Найда уже стояла, однако была так слаба, что ее все время качало и ноги у нее разъезжались. Катеринка налила в бутылку молока и всунула соску в рот теленку. Найда мотала головой и пятилась, но, почувствовав молоко, зачмокала, начала сосать.

Она так уморительно перебирала от нетерпения ножками и вертела кисточкой, которая у нее вместо хвоста, что все засмеялись.

— Будет, опоишь,— сказала Марья Осиповна и отобрала бутылку, когда та наполовину опустела.

Тут подъехал Иван Потапович и вместе с дядей Мишей увез хромого в Колтубы.

Вернулись они еще засветло.

— Ну как? Что с ним сделают?— обступили мы их.

— Что сделают? Отправят в аймак, а там рассудят.

Мы разошлись по домам, но дома не сиделось: мы так привыкли все время быть вместе, что после ужина опять пришли в Катеринкину избу. Собралась чуть не вся деревня: всем ведь было интересно узнать про наше путешествие. Мы наперебой

рассказывали обо всем сразу, и, конечно, не столько рассказывали, сколько мешали друг другу.

— Погодите,— сказал Иван Потапович.— Что вы все трещите как сороки? Давайте по одному...

Рассказывать в одиночку оказалось очень трудно, и у нас ничего не вышло.

— Ну, вы, я вижу, рассказчики аховые... Ты б, Михал Александрыч, сам, что ли... ну, вроде доклада или беседы. Народ очень даже интересуется, какие есть камни и какая от них польза.

— Пожалуйста,— сказал дядя Миша,— ничего не имею против. Закончу обработку материалов, и перед отъездом побеседуем. Только...— Он наклонился к уху Ивана Потаповича, что-то пошептал ему, и тот кивнул головой.— Только сделаем так: сначала один из участников сделает доклад о походе — должны же мы отчитаться, правда?— а потом дополню я. Согласны?

Я думал, что доклад будет делать Генька, но дядя Миша решил иначе:

— Я полагаю, такой доклад должен прочитать секретарь нашей экспедиции Николай Березин. Геннадий Фролов подготовит коллекцию собранных образцов, а Павел Долгих начертит карту обследованного района...

Катеринку не нагрузили ничем, потому что она еще была больна.

Дядя Миша, чтобы я не путал и не заикался — кому охота это слушать! — посоветовал мне написать доклад, и я целый день напролет просидел за столом, а потом показал дяде Мише. Он сказал, что написано прилично, у меня, кажется, есть литературные задатки.

Вечер прошел торжественно. Пашка повесил на стену свою карту, а дядя Миша сказал вступительное слово.

— Больше чем двести лет тому назад сын холмогорского крестьянина гениальный ученый Михаил Ломоносов бросил призыв: «Пойдем ныне по своему отечеству, станем осматривать положение мест и разделим к производству руд способные от неспособных... Дорога будет не скучна, в которой хотя и не везде сокровища нас встречать станут, однако везде увидим минералы, в обществе полезные...»

Только через двести лет народ услышал призыв своего великого соотечественника и последовал ему. Это стало возможным потому, что народ стал хозяином своей судьбы и своей земли. Как рачительный хозяин, он изучает свое хозяйство и год от году становится богаче и сильнее. И у вас в Тыже сделан первый, пусть небольшой, но очень важный шаг...

Я прочитал свой доклад; он всем понравился, и мне хлопали, как настоящему докладчику. Потом Генька внес и расставил коллекцию, а дядя Миша долго рассказывал, что находится в наших горах и какая может быть польза от разных минералов.

А на следующий день дядя Миша уехал — по его расчетам, товарищи его уже должны были добраться до аймака. Повез дядю Мишу мой отец, у которого были свои дела в аймаке. Еще на зорьке мы собрались к Катеринкиной избе. Вещи дяди Миши сложили на подводу, он попрощался с Марьей Осиповной и Иваном Потаповичем.

— Вы поезжайте, Иван Степанович, а мы с ребятами пройдем пешком, — сказал дядя Миша.

Мы проводили его до самых Колтубов.

Невеселая это была прогулка. Конечно, дядя Миша не мог остаться с нами навсегда, мы это хорошо понимали, но расставаться было очень грустно. Тут хочешь не хочешь, а повесишь нос и начнешь вздыхать! Дяде Мише, должно быть, надоели наши унылые вздохи:

— Вы что, граждане, хоронить меня идете, что ли? Почему такие постные физиономии?

Я объяснил начистоту все, что думал, и ребята сказали, что правильно, они тоже так думают.

— А что же вы теперь будете делать?

— Да что ж? Доучимся и уедем. Будем ездить, пока не найдем такое, чтобы было интересно.

— Та-ак! А не думаете ли вы, друзья, что это похоже на трусость?

— Почему трусость? — спросила Катеринка. — Мы ничего не боимся.

— Выходит, боитесь. Советский человек не ищет хорошего места для себя, а сам создает эти хорошие места. И когда-нибудь вам станет стыдно. Куда бы вас ни закинула судьба или

собственная прихоть, рано или поздно вас потянет в те места, где вы родились и выросли. Вы приедете и будете любоваться каждым камешком и веткой. Жизнь здесь изменится, она станет лучше и легче. Но добьются этого другие, и вам станет стыдно, что вы ничего не сделали для своего края, бросили и забыли родное гнездо...

— А что же нам делать?

— Ищите, думайте. Вы же пионеры! Не прячьтесь за чужие спины, идите впереди... Экспедиция, конечно, хорошее дело, но и та была проведена плохо...

— Почему?

— Да ведь в ней только вы участвовали — четверо! А остальные ребята?.. Им ведь тоже интересно. Недаром этот Щербатый увязался за своим дядькой. Он, может, для того и пошел, чтобы доказать, что он не хуже вас...

— Все одно ничего не докажет!

— Почему же это?

— Он несознательный, только и знает что каверзы строить...

— Ну, он несознательный, а вы сознательные. Привлеките его на свою сторону, перевоспитайте...

— Перевоспитаешь его, как же! — сказал Пашка.

— Трудно? А если легко — в том и доблесть не большая... Ну какие же вы идущие впереди, если за вами никто не идет!.. Командирам без армии грош цена... Так-то, братцы!

Катеринка всю дорогу рвала цветы, и, когда мы подошли к Колтубам, у нее собралась целая охапка. Она обложила ее листьями папоротника и отдала дяде Мише.

На прощанье Катеринка разревелась, у меня тоже как-то першило в горле и щипало глаза: очень уж мы полюбили дядю Мишу и жаль было с ним расставаться!

Он дал нам свой адрес и просил написать. Мы обещали писать часто и много, жали ему руки и потом долго смотрели вслед удаляющейся телеге. Наконец она скрылась за березовым колком¹, и мы пошли домой.

Подавленные разлукой, мы долго шли молча. Катеринка несколько раз порывалась что-то сказать и наконец не выдержала:

¹ К о л о к — отдельная рошица, лесок или лесной остров.

— Правильно!

— Что правильно?

— Дядя Миша говорил. Надо перевоспитывать!

— Кого ты будешь перевоспитывать, «диких»?

— А что?.. И раз у них Васька главный, с него и начать...

— Я с этим браконьером водиться не буду!— сердито сказал Генька.

Они заспорили, и, чтобы примирить их, Пашка сказал, что, конечно, надо как-то поладить с «дикими», но начинать не с Васьки, потому что он самый упорный, а с кого-нибудь послабее.

Неподалеку от деревни дорога идет между горами, круто вздымающимися с обеих сторон. Когда мы поравнялись с этими горами, сверху посыпались камни. Мы прижались к откосу, и камни перестали падать, но, как только мы поднялись, они посыпались снова. Это была работа «диких».

— Трусы!— закричал Генька.— Чего исподтишка кидае-тесь?

— Бей «рябчиков»!— послышался в ответ Фимкин голос, и град камней обрушился на дорогу.

«Дикие» бросали не целясь, и нам не очень попало, только Геньке камень угодил по ноге.

— Эй ты, браконьер!— закричал Генька.— Боишься нос показать? погоди, я тебя поймаю...

Васьки среди «диких» не было, или он не захотел ответить, только никто не отозвался.

— Вот!— сказал Генька.— А ты еще с ними мириться хотела!..

— Ну и что?— возразила Катеринка.— Они же не знают, что мы хотим мириться. И раз мы сознательные, должны показать пример.

— Если теперь к ним пойти, они подумают, что мы труси-ли,— сказал Генька.— Вы как хотите, а я не пойду.

— Они не подумают,— рассудил я.— Разве мало мы дрались? По-моему, тоже — надо это дело кончать. И не к Ваське идти, и не искать, кто послабее, а сразу ко всем. Прийти и сказать: «Подрались — хватит, теперь давайте по-хорошему». И идти вот сейчас, сразу...

Генька хмуро молчал, а Пашка, помявшись, сказал:

— Да, п-пойдешь, а они к-как дадут жизни...

— Бойшься, так не ходи, мы вон с Колькой пойдем,— сказала Катеринка.— Пойдешь?

По правде сказать, идти вдвоем, да еще с ней, мне не очень хотелось — неизвестно ведь, какой оборот примет дело,— но отступить я уже не мог и кивнул.

— Ну, так нечего и сидеть. Пошли!

Она решительно поднялась и побежала к Васькиному двору. Я двинулся следом.

— Постой, Катеринка,— сказал я, поравнявшись с ней.— Надо решить, что будем говорить...

— А чего решать? Придем и скажем все, как есть.

Васька укладывал в поленицу сваленные в беспорядке дрова. Тут же сидели его неразлучные дружки — Фимка и Сенька. Они еще издали увидели нас, но сделали вид, будто не замечают. Только, когда мы подошли вплотную, Фимка дурашливо скривился и произнес:

— «Рябчики». Пришли.

— Пришли. «Рябчики»,— так же дурашливо подтвердил Сенька.

— Сколько их идет на фунт? На левую руку?

— Бросьте, ребята!— сказала Катеринка.— Мы пришли...

— А кто вас звал?— обернулся Васька.— Чего вам тут надо?

— Никто не звал, мы сами. Мы вроде как делегация, с предложением. Давайте, ребята, по-хорошему, а? Ну зачем нам драться?

— «Рябчики». Дрейфят?— так же дурашливо сказал Фимка, обращаясь к поленице.

— Может, и правда замиритесь, а то заплачут?— поддержал Сенька.

— Никто вас не боится. Мы хотим, чтобы без драки и чтобы не дразниться. Чтобы мы вас не называли «дикими», а вы нас — «рябчиками». Это совсем даже глупо! Вот ты, Васька...— Катеринка обошла его и стала перед поленицей,— ты же можешь повлиять на других. Давай сознательно, чтобы без всяких, и мы не будем больше вспоминать про браконьерство...

Этим она все и погубила. Васька покраснел, схватил ее за руку и дернул. Чтобы удержаться, Катеринка другой рукой ух-

ватилась за поленницу, и круглые поленья, звонко щелкая и обгоняя друг друга, раскатились по всему двору. Васька обозлился еще больше:

— Иди ты отсюда!.. А то как дам сейчас...

Катеринка побледнела, но не тронулась с места:

— Мы к тебе пришли как делегация, и ты не имеешь права!..

Фимка и Сенька вскочили на ноги, а я стал рядом с Катеринкой, стараясь оттеснить и заслонить ее.

— Нужны вы со своими предложениями!— сказал Васька.— А ну, катитесь!..

Переговоры явно провалились, надо было поскорее уходить. Но Катеринка повернулась нарочно медленно и не торопясь пошла со двора. Я шел следом, прикрывая отступление и ежесекундно ожидая, что они чем-нибудь запустят в нас. Но «дикие» ничем не бросались, только кто-то из них, наверно Фимка, пронзительно засвистел.

Упрекать Катеринку было бесполезно: она и сама понимала, что, упомянув о браконьерстве, испортила дело, и готова была зареветь. Я попробовал утешить ее, пробормотав насчет того, что они все равно бы не согласились мириться и нечего особенно расстраиваться.

— Я вовсе не потому,— сказала Катеринка,— а потому, что ничего-то мы сами не умеем и не знаем, как сделать...

ТРУДНЫЙ ПОДАРОК

На некоторое время компания наша распалась. Пашку взял с собой отец, перегонявший скот на высокогорное пастбище. Генька тоже отпросился с ним, а меня мама не пустила: она в огородной бригаде, там подоспела прополка, а сестренку оставить не на кого.

Ко мне частенько забегала Катеринка со своей Найдой. Маралушка совсем оправилась, повеселела и всюду, как собачонка, бегала за Катеринкой.

Мой отец вернулся из аймака через десять дней, под вечер. Я увидел его из окна и выбежал, чтобы встретить, но он только помахал рукой и, не останавливаясь, проехал дальше, к прав-

лению. Недолго думая я подхватил Соню и хотел бежать следом, но тут подошли загорелые до черноты Генька и Пашка. Они тоже только что вернулись.

— Отчего вы такие? — спросил я.

— От ветра, — важно объяснил Пашка. — Там такие ветра, почитай, сутки кряду дуют. Оттого и гнуса нет, и загораешь... И потом, к солнцу-то ближе!

— Не выдумывай, Пашка, — возразил Генька. — Совсем не потому, а потому, что воздух реже и действуют ультрафиолетовые лучи.

— А ветер? Ого, какой там ветер!.. Да там, если двигатель поставить... Я уже придумал... — И он начал объяснять, какой двигатель нужно поставить на горе и как он будет работать без воды и пара, от одного ветра, и всё будет делать.

— Да чего там делать, на горе-то?

— Не на горе, а тут! — рассердился Пашка. — А там к двигателю пристроить динамку, ток и пойдет куда надо...

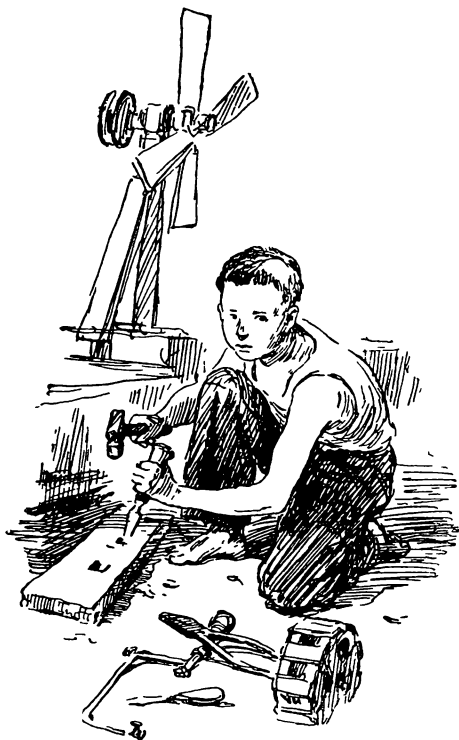
— Ну чего ты, Пашка, выдумываешь! Отец говорил, до Колтубов проводов надо прорву, а то — на гору...

Пашка сконфузился, но ненадолго:

— А у нас что, ветра нет? Вот сделаю, тогда увидите!

— Ну и делай, пока тебе отец опять не всплёт за механику!

Пашка окончательно обиделся и замолчал, а Геннадий начал рассказывать, как они там жили, строили загон для телят



и маток и до чего там хорошо, хоть перебирайся насовсем... В это время прибежала Катеринка и сказала, что нас всех зовут в правление.

В правлении сидели Иван Потапович, мой отец, Федор Елизарович, Марья Осиповна и много другого народу.

— Все собрались?— спросил Иван Потапович, когда мы прибежали.— Идите сюда ближе. Насчет вас бумага получена... Читай, Иван Степаныч!

Мой отец надел очки и начал читать:

— «...аймаксовет, заслушав сообщение кандидата геологических наук М. А. Рузова, одобряет проявленную пионерами деревни Тыжи инициативу по изучению ископаемых богатств края и рекомендует всем школам аймака поддержать начин тыжевцев. За проявленную инициативу пионерской организации деревни Тыжи объявить благодарность и премировать ее радиоприемником «Родина». Председатель исполкома аймаксовета — Солдатов. Секретарь — Пыжанкин».

— Вот видите?— сказал Иван Потапович.— Занялись настоящим делом, и вас одобряют... Молодцы! Кто у вас за главного? Ты, Геннадий?.. Держи документ.— Он передал Геньке только что прочитанную бумагу.— А теперь получайте свой подарок.— И он поставил на стол три картонные коробки — две побольше и одну маленькую.— Ну, что же вы?

Мы стояли, открыв рты.

— Эка вас... обрадовало!— засмеялся Иван Потапович.— Ну вот, глядите.— Он достал из большой коробки сверкающий лаком приемник, из коробки поменьше — тоже вроде ящик, только с блестящими какими-то штучками, и из маленькой — свернутый в кружок жгут золотой проволоки с белыми висюльками.— Тут вам полный комплект: приемник, батарея и набор для антенны. А сверх всего книжечка-инструкция, чтобы знали, что к чему и как эта штука действует.— Иван Потапович уложил все обратно в коробки.— Ну, забирайте — и кругом марш! Нам делом надо заниматься.

Генька взял коробку с приемником, Пашка — батарейную, Катеринка — золотой жгут антенны, и мы, не чуя под собой ног, выскочили на крыльцо.

Пашка покрутил головой и сказал:

— Вот это да! Здрóрово! А?

Это действительно было здóрово! В деревне никто еще не имел приемника, и вдруг мы, и никто другой, стали обладателями настоящего, большого приемника!

— Ну, п-пошли! — не вытерпел Пашка. — Надо же попробовать.

— Куда?..

Генька предложил идти к нему, но Пашка заспорил, что нужно к нему — он лучше всех разбирается в технике, а мы ничего не понимаем, да и Генькин братишка может поломать. Куда, в самом деле, следовало нам идти?.. Мне хотелось, чтобы приемник был у меня, а Катеринке, хотя она и молчала, — чтобы у нее...

— Лучше всего у Катеринки, — сказал я, — у них малых ребят нет. А там посмотрим.

Мы выложили все сокровища на стол, поставили поближе лампу. Приемник был такой гладкий и чистый, что его все время хотелось погладить. Пашка начал было крутить ручки, но Геннадий прикрикнул на него: это же одно баловство — крутить без толку! Налюбовавшись приемником, мы сели за книжечку. Половину ее занимал сложный чертеж. В нем мы ничего не поняли, кроме того, что с двух сторон было написано «земля» и «антенна», а в книжке все оказалось просто и понятно, но невыполнимо: антенну, оказывается, нужно растянуть на высоте десяти — пятнадцати метров над землей. Где же ее взять, такую высоту, если самая высокая изба не больше трех метров! Даже если пристроить на крышу палку, все равно получится не больше семи, а тут — пятнадцать! В деревне нет ни одного подходящего дерева, только метров за триста карабкаются на взгорье первые пихточки. Но не тащить же туда приемник!

Генька все время молчал, сосредоточенно растирая пальцем какое-то пятно на клеенке, а потом сказал:

— Погодите, ребята, дело не в палке и не в дереве. Тут что-то неправильно. В бумаге сказано: «премируется пионерская организация»... Она же в Колтубах, в школе, а здесь нас всего четверо... Они там, в аймаксовете, не знали и написали... Раз это пионерской организации, то мы должны отдать его в школу...

— Ну да! — загорячился Пашка. — А к-как же мы?

— А что мы? Мы тоже в школе.

— Да ведь премировали-то нас?..

Это было ясно, и так же ясно было, что тут какое-то недоразумение, из которого не выберешься. Кто мог подумать, что великолепный подарок этот окажется таким затруднительным и поставит нас в тупик! Мы долго спорили, но так ни до чего и не договорились. Марья Осиповна, которая к тому времени вернулась из правления, послушала-послушала нас, а потом махнула рукой и сказала, чтобы мы шли по домам.

Я заснул, не дождавшись отца, а утром он ушел очень рано. Геньке тоже не удалось поговорить с Иваном Потаповичем — тот, оказывается, ушел на поле вместе с моим отцом. Оставался еще наш всегдашний друг и советчик — дядя Федя, но и тот встретил нас хмуро и озабоченно:

— Мне, ребята, не до вас нынче. Скоро уборку начинаем, а у меня еще работы непроворот...

Так мы и ушли ни с чем.

Чем бы я ни пытался заняться, как-то так само собой получилось, что у меня оказывались дела в той стороне, где стояла Катеринкина изба, и я пользовался каждым случаем, чтобы забежать и хотя бы взглянуть на коробки... То же самое, должно быть, испытывали и остальные, потому что мы все наконец столкнулись у избы. Друг перед другом притворяться было нечего, и мы опять достали всё из картонок, посмотрели и сложили обратно.

— Что ж, мы так и будем его в коробке держать? — спросил Пашка.

— Тебе лишь бы вертеть... Пошли! — сказал Геннадий.

— Куда?

— К Марии Сергеевне, в Колтубы. Как она скажет, так и сделаем.

Катеринка сказала, что ей надо прибираться в избе, а Пашка отказался идти, потому что он строит двигатель и зря ходить ему некогда. Мы пошли с Генькой вдвоем.

Дорога в Колтубы все время идет по согре¹, между прихотливо изгибающимися горами, то голыми, каменистыми, то

¹ Согр а — заболоченная долина, поросшая мелким кустарником.

сплошь заросшими лесом и заваленными буреломом. Там всегда так много интересного, что пойдешь — и не заметишь, как время бежит: то беличье гнездо найдешь, то новый малинник, то под огромным выворотнем¹ окажется россыпь каких-нибудь невиданных камней. Но сегодня, торопясь, мы нигде не останавливались и только на половине дороги свернули в сторону, к своей пещере.

Однажды, еще ранней весной, возвращаясь из школы, мы погнались за бурундуком; бурундука не поймали, но метрах в ста от дороги наткнулись на нагромождение скал, образовавших свод — совсем настоящую пещеру. Мы очистили ее от мелких камней, занесенных ветром полусгнивших листьев, и с тех пор частенько наведывались туда: пещера должна была стать складом и отправным пунктом нашего будущего путешествия. Мы тщательно скрывали от всех свою находку и, уходя, заваливали вход хворостом. Сейчас я хотел посмотреть, все ли там в порядке и не побывал ли кто-нибудь в пещере без нас, но Генька не согласился — ему не терпелось поговорить с Марией Сергеевной.

А ее не оказалось дома. Мы барабанили в закрытую дверь, пока из соседней избы не вышла старуха и не закричала нам:

— Чего ломитесь? Нету там никого, не приехала еще учительница...

Уходя, мы наткнулись на Савелия Максимовича, которого всегда побаивались. Он никогда не кричал на нас, но было в нем что-то такое, что заставляло нас подтягиваться и затихать. Особенно мы остерегались попадаться ему на глаза взлохмаченными и растрепанными после какой-нибудь потасовки. Савелий Максимович преподавал историю и географию в седьмом классе, и ребята говорили, что он добрый и очень интересно рассказывает, но нам он с первого класса казался строгим и страшноватым, таким, что определялось одним словом «директор». Он небольшого роста; на голове седой ежик; подстриженные и тоже седые усы и борода; сурово прищуренные глаза. И потом, у него была несносная память: он помнил всех учеников в лицо, по фамилии, узнавал их по голосу, и нечего было и думать провести его, выдав себя за другого... Вот и теперь он

¹ Выворотень — вывернутое с корнями дерево.

немедленно узнал нас. Мы поравнялись со школьным крыльцом в ту самую минуту, когда он открыл входную дверь.

— А, Фролов и Березин? Уже в школу собрались?

— Здравствуйте, Савелий Максимович! — в один голос сказали я и Генька. — Мы не в школу, мы по делу...

— А школа — это не дело? Сразу видно прилежных учеников.

— Мы... то есть нам нужно Марию Сергеевну.

— А что у вас за срочное дело? Я вам помочь не могу?

Мы растерянно переглянулись.

— Нас наградили... то есть премировали... — неуверенно начал Генька.

— Радиоприемником, — поддержал я.

— За что же вас премировали?

— За научную работу, — брякнул Генька.

— Что-о? — удивленно поднял брови Савелий Максимович.

— Ну, не совсем за научную, а вроде как за научную... За инициативу. Вот...

Генька достал бумагу из аймаксовета и подал директору. Тот прочитал, сложил и отдал обратно.

— Теперь садитесь и рассказывайте. Только без учености, своими словами.

Мы присели на ступеньках и рассказали про все: про дядю Мишу, поход, доклад, бумагу и приемник и что мы не знаем, как теперь с ним быть.

— Трудный случай! — сказал Савелий Максимович. — Марии Сергеевны нет, а дело не терпит отлагательства... Пойдемте-ка со мной, я все равно собирался на плотину. Там и найдем человека, который, наверно, что-нибудь посоветует...

Плотина была за селом. Она преграждала узкое горло распадка четырехметровым валом. Дальше, в глубине распадка, еще прошлым летом было широкое мелкое озеро, в сущности — болото, зараставшее широкими листьями кувшинки. От озера мимо деревни сочился тощий, пересыхающий ручеек. Весной распадок переполнялся водой, и она, стремительно вырываясь из горла, сбегала к Тыже; потом опять все стихало, и по временам ручеек иссякал, даже не доходя до Тыжи. Прошлым летом колтуновцы закупорили горловину каменной плотиной и прегра-

дили путь воде. После осенних дождей и весеннего снеготаяния распадок превратился в извилистое длинное озеро, из которого кое-где торчали макушки ив и елочек, да у берегов на мелкой волне металась затонувшие травы. В глубоком котловане по эту сторону плотины сверкал свежеструганными бревнами новенький сруб гидростанции. Там раздавалось негромкое звяканье и кто-то насвистывал.

— Антон! Выйди-ка сюда.

Свист прекратился, и в дверях появился высокий, ладный парень с руками, по локоть перепачканными маслом, которые он безуспешно обтирал пучком пакли. В масле были и его брюки, и красная майка, и даже в рыжевatom лохматом чубе поблескивало масло.

— Здравствуйте, Савелий Максимович! — сказал Антон, и по тому, как он это сказал, я решил, что и он, наверно, был когда-то учеником Савелия Максимовича.

— Здравствуй, Антон. Что это ты так изукрасился?

— Машина смазку любит, Савелий Максимович.

— Да ведь ты не машина? Ты ее и мажь, а не себя... Вот знакомься, привел к тебе за советом.

Антон мотнул чубом и улыбнулся:

— Рукопожатия по случаю смазки отменяются... В чем дело, орлы?

Савелий Максимович коротко рассказал всю историю о походе, премии и наших затруднениях.

— Ты секретарь комсомольской организации, и это дело по твоей части. Так что вот, думай...

Антон и в самом деле задумался.

— Видите, какое дело, Савелий Максимович: насчет массовой работы с молодежью в Тыже неважно обстоит. Там всего одна комсомолка, Даша Куломзина, и та недавно принята, неопытна еще...

— Там коммунисты есть. Кузнеца Федора Елизаровича знаешь?

— Я его не видал еще. Когда бы я успел? Только вернулся... Ничего, ребята, не горюйте! — обратился Антон к нам.

— Мы не горюем, — сказал Генька, — только что с ним делать, с приемником? В школу отдать или как?

— В школу? А в школе он зачем? Мы вот как ее запустим,— показал он на здание станции,— такой радиоузел оборудуем — с ним никакому приемнику не сравниться!.. А премиями не разбрасываются. Премия, она для того и дается, чтобы была у премированных... Правильно я говорю, Савелий Максимович?

Савелий Максимович кивнул.

— Это хорошо, что вы так, по-советски, думаете: не для себя, а для всех... И, если у вас такое желание, надо выход на месте искать. Поищем его вместе. Идет?

— Идет,— согласились мы.

— Ну, вот и ладно! — засмеялся Антон. — Я к вам приду, там и договоримся. Мы у вас одно дело затеваем, и ваш приемник будет кстати... Вот она, жизнь-то, Савелий Максимович, — кивнул он на нас, — подписывает, не дает заснуть, знай только поворачивайся...

— Ладно, не прибедайся, — улыбнулся Савелий Максимович. — Ну, ребята, все ясно?.. Бегите домой.

По правде сказать, нам ничего не стало ясно и особенно было непонятно, почему и как мы подписываем этого улыбчивого рыжего Антона и не даем ему спать, но, во всяком случае, теперь дело должно было сдвинуться с мертвой точки.

— А он ничего, этот Антон, — сказал Генька отойдя.

— Ага, веселый... Вот Пашка будет злиться — мы на станции были, а он нет!

— Так мы же ничего не видели.

— Все равно. Если бы он с нами пошел, он попросился бы...

Но Пашка, поглощенный работой, не обратил на нас никакого внимания. Он сооружал из горбылей два одинаковых круга.

— Это что будет — кадушка? — спросил я.

— Сам ты кадушка!.. Сделаю — увидишь, а сейчас все одно не поймешь.

С тем мы и разошлись.

АНТОН

Антон я увидел уже перед вечером. Он шел по улице, разглядывая дома и похлестывая прутиком по сверкающим голенищам сапог. Из-за полурасстегнутого, почти новенького кителя виднелась голубая майка. Рыжеватый чуб был причесан, но все же задорной копной вздымался надо лбом.

— Здравствуйте, дядя Антон! — крикнул я, подбегая.

— Здоров, племянник!.. А, это ты? — узнал он меня. — Ну-ка, где у вас председатель живет?

Когда мы подошли к избе Фроловых, навстречу выбежал Генька и сказал, что отца нет дома, он в кузнице: там у дяди Федя запарка и он пошел помогать.

— Тем лучше, — сказал Антон, — пошагали в кузницу.

Шагал он так, что нам пришлось идти за ним в подбежку, чтобы не отстать. Из кузницы доносились глухие удары кувалды и дробное постукивание молотка. Дядя Федя сваривал ось, и по сложенным один на один концам раскаленной оси бил кувалдой Иван Потапович. Он задыхался, пот усеял его лицо крупными каплями.

— Не могу! — сказал он наконец, отбрасывая кувалду. — Дыхание она мне укоротила, проклятая...

— Да, такое ранение — дело нешуточное, — хмуро отозвался дядя Федя. — Отдышись, еще погреем...

Он сунул ось спаем в горн и начал качать мехи.

— А дайте-ка я подразомнусь, — сказал Антон, входя в кузницу. Он снял китель и, не глядя, бросил его нам. — Только, ребята, сзади не стойте.

Дядя Федя ничего не сказал, только шевельнул бровями, схватил стреляющую колючими искрами ось, положил на наковальню, пристукнул молоточком, не то указывая место, куда нужно ударить, не то сбивая окалину. Антон, расставив ноги, плавно размахнулся кувалдой.

«Гуп», — тяжело отозвалась кузница. «Так-так», — потребовал молоточек дяди Федя. «Гуп», — снова ответила кувалда. «Так-так» — «гуп» — «так-так» — «гуп»... Все убыстряя темп, перекликались удары, и ослепительная опухоль на оси опадала, исходя



огненными брызгами, вытягивалась и темнела. «Так-так-так», — сказал молоточек дяди Феди и лег плашмя.

Антон опустил кувалду, а еле светящаяся ось легла в сторонку остывать.

— Ну мастак! — восхищенно сказал Иван Потапович.

— Молотобойничал? — спросил дядя Федя.

— Немного в армии довелось.

— Там научат!.. Видно, пошабашим, Иван Потапович? Хватит на сегодня... Спасибо, парень, за подмогу.

— Не на чем... Не узнаете меня? Я ведь Антон, Горелова сын.

— Вон он какой вымахал! Ты ведь недавно из армии, теперь на электростанции командуешь?

— Работаю понемножку. Я к вам за помощью пришел.

— Что же, неуправка, что ли, в чем?

— Нет, там все в порядке, монтируем без задержек, так что свет вместе с первым хлебом на трудодни отпускать начнем! — засмеялся Антон.

— Заживете вы теперь! — с некоторой завистью сказал Иван Потапович. — Ну, а какие у тебя дела к нам?

— Сейчас расскажу... Ребята, — обратился Антон к нам, — слетайте за Дашей Куломзиной.

Так мы самое интересное и пропустили. Пока добежали да рассказали Даше, а потом пришли вместе с ней, деловой разговор, видно, закончился. Антон уже прощался с Иваном Потаповичем и дядей Федей.

— Нет, чего не могу, того не могу, — говорил Иван Потапович. — Стекла нету. И фондов для этого дела нет. Так что вы уж сами...

— И так обойдемся,— тряхнул чубом Антон.— Никаких фондов для этого дела не требуется, кроме одного — желания... Значит, договорились по всем пунктам?.. Здравóво, Даша! — обернулся он к подошедшей Куломзиной.— Пришел вот поглядеть, как вы тут живете...

Антон и Даша пошли вдоль улицы, а мы отправились следом за Антоном, ожидая, когда он займется нашим делом. Он расспрашивал Дашу про взрослых парней и девочек, а на нас не обращал никакого внимания, словно забыл свое обещание.

У околицы заиграл и смолк баян.

— Эй, ребята! — обернулся к нам Антон.— Чего хоронитесь? Пошли погуляем...

Я был разочарован. Оказывается, он просто пришел на гулянку, а вовсе не затем, чтобы помочь нам...

На выгоне, возле сложенных в три наката бревен, как всегда, собрались взрослые парни и девочки. Трава здесь была начисто вытоптана.

— Поглядите, девоньки, какого я кавалера вам привела,— сказала Даша.

— Рыжего! — засмеялся Антон, а за ним засмеялись и остальные.

— Ночью все кошки серы,— отозвалась озорная Аннушка Трегубова.

Антон смеялся шуткам других, шутил сам и, как видно, чувствовал себя прекрасно, а у нас настроение портилось все больше. А тут еще девочки вздумали танцевать. Они взяли такую тучу пыли над площадкой, что вертящиеся пары скоро окутались плотным клубящимся туманом.

— Хватит, девушки! — закричала Аннушка.— Пылищу подняли, не продохнешь... Давайте лучше споем.

Гармонист Федор Рябых сжал мехи, потом распахнул их во всю ширь, баян рывкнул и зачастил однообразную прыгающую мелодию. Аннушка обхватила себя руками, словно у нее заболела поясница, и громко — так, что зазвенело в ушах, — пропела частушку. Баян снова хрипло рывкнул. Федор запутался в ладах, пропустил целое колено и опять монотонно затоптался на нескольких нотах. Девчата теперь уже хором прокричали куплет.

Я поднялся уходить — никакого дела здесь не получалось, шло самое обыкновенное гулянье. Геннадий тоже встал вслед за мной, но тут Федор окончательно перепутал лады, баян отчаянно завизжал в три голоса и смолк, словно и сам поразился выдавленным из него звукам.

— Вот это сыграл! — удивленно пробасил Иван Лепехин, сидевший поодаль.

Девчата захохотали и накинулись на Федора.

— Дай, друг, я попробую, — сказал Антон.

Он пристроил баян на колено, как бы примериваясь, пробежал пальцами по ладам, склонился над баяном и заиграл.

Аккорды торопливо бежали друг за другом, сливались, стихали и рассыпались в негромком переборе. Но вот сквозь эту невнятицу пробился слабый ручеек мелодии. Его подхватили подголоски, негромко, но внушительно поддерживали басы. Мелодия окрепла, словно отряхнулась от лишних перезвонов, но еще звучала как-то не вся, словно баян пел, но не допевал, прислушиваясь и выверяя звучание. Наконец оно утвердилось, разрослось, и баян, обрадовавшись, широко и полнозвучно повторил пропетое, словно спрашивая о чем-то. Опять и опять взволнованно, настойчиво переспросили лады, укоризненно вздохнули басы. Баян притих и вот повел негромкий, задушевный разговор о чем-то глубоком и важном, чего никак не расскажешь словами.

Замерла деревня, окружила ее неподвижной молчаливой стражей тайга, молодой месяц тихонько взобрался повыше, чтобы расслышать, о чем же спрашивает изливающаяся светлой грустью гармонь.

— Ой, девушки! Что ж это за песня такая? Всю душу тревожила, — как бы просыпаясь, сказала Настенька Лагошина, подруга Аннушки.

— Вот живут же люди!.. — вздохнула Аннушка.

— Какие люди? — спросил Антон.

— Да вот хотя бы ты: в городах жил, учился, всего навидался, наслушался.

— Да ведь и я не в городе учился, а в Колтубах. И песню эту у себя в Колтубах услышал, по радио.

— Вот видишь: у вас и радио и клуб свой есть... А мы тол-

чемся здесь, как овцы на выгоне. Потанцевать захочешь — пыли наглоталась.

— Да, вы дымовую завесу почище саперов устроили... А зимой так на снегу и отплясываете?

Аннушка зло отмахнулась, остальные невесело засмеялись.

— А вы бы к нам в Колтубы приходили. Мы добрые, не обидим.

— Вы-то, может, и не обидите, а дорога обидит, — вставила Настенька. — Туда семь да обратно семь... С такой арифметикой не знай гулять, не знай криком кричать... После такой пробежки, чай, на работу идти!

— Ну, у себя что-нибудь устроили бы... Вас вон сколько — сила!

— Да где устраивать-то, — в курятнике?

— Зачем в курятнике! Вон у въезда заколоченная изба стоит.

— Это Пестовых, — сказал Лепехин. — Старики все сына ждали, ему пятистенку и поставили. Сын не вернулся, и старики во время войны померли. Так и стоит изба. Председатель говорил: может, под амбар или кладовую отведут...

— Я с председателем на этот счет договорился. Он не возражает отвести ее под клуб или под избу-читальню. Наверно, и правление согласится.

— Уговорим! — загорелся Лепехин.

— А что толку в избе? Сиди да пустые углы считай! — закричала Аннушка.

— Ты погоди, — остановил ее Антон. — Пустые углы у ленивых хозяев бывают... А на первое обзаведение кое-что имеется... Ребята, где вы там? — крикнул он.

— Здесь мы, — отозвался Геннадий.

— Вот им за хорошее дело премию дали — радиоприемник. И они рассудили так, что, раз у вас в деревне ничего такого нет, надо, чтобы он пошел на общую пользу. Они пришли за советом ко мне, а я — к вам. Конечно, надо будет поработать: избу прибрать, мачты для антенны поставить.

Ох, и хитрый же он, этот Антон! Вот, оказывается, о каком деле он говорил тогда на станции...

Все сразу заспорили, когда начинать.

— А хоть завтра,— сказал Антон.— Ребята пусть вырубят и привезут лесины, а девушки избу приберут... К вечеру я опять подойду.

Его принялись было уговаривать, чтобы остался, но он не согласился:

— Нет, товарищи, мне завтра с утра надо быть на станции. Вы тут сами управитесь. А своим заместителем, если не возражаете, я вот Дашу Куломзину оставляю...

Утром спозаранку я сбегал за Павлом и Катеринкой, с ней еще увязалась белобрысая соседская Любушка, вместе мы зашли за Генькой и направились к пестовской избе.

Скрипя, подались доски, взвизгнули ржавые гвозди, и изба глянула на нас черными провалами оконных проемов. Лепехин отворотил от дверей крестовину из досок, и все вошли в избу. Навстречу пахнуло нежилым духом заброшенного жилья, сыростью, мышами. Половину первой закопченной комнаты занимала печь. В горнице было чище, но все углы рваными клочьями затянула паутина, на бревнах нависли серые шапки пыли; мохнатые хлопья ее волнами побежали по полу от сквозняка.

— Ну дворец...— пренебрежительно протянула Аннушка.— Тут и повернуться негде.

— На выгоне лучше?— спросила Даша и, не ожидая ответа, принялась валявшейся тут же метлой снимать паутину.

Настенька и Аннушка побежали за ведрами и тряпками, Иван Лепехин уехал в лес — за ним увязался и Пашка, — а нам Даша предложила насыпать осевшие завалинки и убрать двор.

Мимо избы пробежали Фимка и Сенька. Они сделали вид, что происходящее их совсем не интересует, но вскоре вернулись, постояли, потом присели в безопасном отдалении.

— «Рябчики». Стараются,— по своей привычке, будто запинаясь, сказал Фимка.

— Стараются,— готовно подхватил Сенька.

Это был вызов, но мы не обратили на него внимания — пусть болтают бездельники, а нам некогда!

Девушки вылили несчетное количество ведер воды; горница посветлела, но осталась по-прежнему голой и неудобной. Особенно были неприятны пустые, без стекол, переплеты окон.

Лепехин и Федор Рябых привезли из лесу две тонкие, длин-

ные лиственницы. Пашка хвастал, что их срубили по его выбору, а уж он знал, что выбирать — во всем лесу ничего прочнее и прямее нету.

К вечеру в ожидании Антона все собрались у избы, на зава-линке. Он пришел с громоздким пакетом: в нем оказались окон-ные стекла.

Осмотрев избу, Антон похвалил убравших, а потом показал на печку:

— А это зачем? Или вы тут пироги думаете печь? Я бы предложил печку эту убрать, вместо нее поставить маленькую — для тепла. Да и стенка внутренняя ни к чему. Выпилите бревна, и получится вполне подходящее помещение...

Переделка затянулась на неделю. Мы помогали выносить кирпичи, скоблить и мыть закопченные стены кухни, носить глину и песок, когда дядя Федя начал складывать новую печь. А Пашка помогал Ивану Лепехину делать стол. Лавки на пер-вое время собрали по избам.

Настенька предложила застелить стол скатертью. Девушки выстирали и выгладили красную материю, на которой писали лозунги к праздникам, и положили ее на стол. Получилась как настоящая скатерть.

В воскресенье Антон пришел пораньше. Мачты установили, укрепили растяжками, и все кинулись в избу — занимать места. Мы пристроились у самого стола, рядом с нами сел дед Савва. Федор Рябых тоже пробрался вперед со своим баяном. Усажи-ваясь, он задел лады, и баян жалобно, растерянно вякнул. На Федора зашикали, замахали руками: «Погоди ты со своей му-зыкай!»

У самой двери, вытянув шеи и танцую на цыпочках, стояли Фимка и Сенька; в дальнее окно перевесился Васька Щербатый. Мы сделали вид, что не заметили их — пускай слушают, не жалко.

Антон подключил антенну, батареи и повернул ручку. Сквозь шорохи и потрескивание откуда-то издалека слышались стек-лянные перезвоны, они стали громче, заполнили всю избу, и с последним ударом спокойный, твердый голос сказал: «Внима-ние! Говорит Москва. Начинаем передачу концерта по заявкам радиослушателей...»



Без перерыва, без передышки мы слушали все кряду: концерт и последние известия, беседу о Донбассе и детскую передачу, лекцию о международном положении и снова концерт... «Говорит Москва!»

Потом мы уже привыкли, но в тот вечер нам казалось, что именно нам, для нас говорит эта непостижимо прекрасная, далекая Москва. И так ли уж она далека?.. Спокойный, твердый голос разбудил таежную тишину, а вместе с ней как бы растаяли и бесконечные версты, отгородившие нас от Москвы. Она стояла рядом с нами, за спиной у нас — так близко, что мы слышали ее спокойное, ровное дыхание.

В Антона мы просто влюбились. Разве мог кто-нибудь так весело шутить и смеяться, так увлечь всех своими затеями! Да и умел ли кто-нибудь столько, сколько умел Антон!

Взрослые тоже не чаяли души в Антоне. Иван Потапович

встречал его как дорогого гостя; уважительно, как с равным, говорил с ним Федор Елизарович; при виде его заранее наливались смехом выпуклые глаза Аннушки, улыбались парни. Лишь Федор Рябых некоторое время ходил надутый и обиженный, сердясь не то на Антона, не то на самого себя за то, что осрамился перед Антоном в первый вечер. Но и тот понемногу оттаял, особенно после того как Антон принес ему свой самоучитель игры на баяне. А мы так стайкой и ходили за ним. Антон, смеясь, называл нас своей гвардией.

Катеринка как-то сказала, что мы совсем забыли дядю Мишу, но это была неправда. Я даже думаю, что и Антон так нам понравился именно потому, что он чем-то напоминал дядю Мишу. Они были совсем разные и непохожие и вместе с тем в чем-то одинаковые. Может быть, тем, что и тому и другому все было очень интересно и важно и обоим решительно до всего было дело?..

ЗОЛОТОЙ ПОТОК

Пашка увязался за Антоном в Колтубы и пропадал там два дня. Вернулся он счастливый и весь перепачканный маслом. От матери ему влетело, но он только для виду надулся — и опять взялся за свою недостроенную машину. Если, говорил он, у них в Колтубах будет гидростанция, то здесь он построит ветродвигатель.

На круглых доньях из горбылей он собрал и поставил на крыше большой барабан, вроде турбины, но тот оказался таким тяжелым, что с трудом поворачивался даже в сильный ветер. Пашка немного растерялся, но потом сказал, что это из-за подшипников: будь у него шарикоподшипники, он бы вертелся, как нанятый, и делал всю работу. Барабан так и не захотел вертеться. Пашка его забросил и начал изобретать что-то другое.

Антон появлялся в Тыже не часто и не надолго, но каждый раз приходил с какой-нибудь новой затеей. Так случилось и теперь. Мы слушали тихонько бормотавшее радио, а за столом разговаривали Даша, Иван Потапович и Антон. Сначала мы не обращали внимания, а потом невольно стали прислушиваться, потому что речь зашла о нас.

— Теперь, — говорил Даше Антон, — скоро я к вам не вернусь: сама понимаешь — начинается уборка. Так что тебе придется действовать одной и показать класс работы.

— От других не отстану, — отозвалась Даша.

— Этого мало — не отстать. Ты должна, как говорится, возглавить. Нынче план уборки жесткий, уложиться будет трудно...

— Да кабы людей побольше, оно бы ничего. Одна беда — рук не хватает, — сказал Иван Потапович.

— Вот! — повернулся Антон к Даше. — А твоя задача — обеспечить.

— Где ж я их возьму?

— С неба не упадут. Надо тех, кто есть, так расставить, чтобы они вдвое больше сделали. Мы у себя выделили комсомольские жнейки и сильно на них надеемся.

— Да ведь у нас комсомольцев-то нету, я одна!

— А молодежь? Всех нужно привлечь! Ребята чего будут делать?

— Толку от них... — поморщился Иван Потапович.

— Что мы — маленькие? — сорвался с места Генька. — Нас только к месту определить — тогда увидите...

— Конечно! — поддержал Антон. — Вон они уже какие! Чем не работники? Да и малышей надо привлечь. Мешок колосков соберут — и то дело! Ты, Даша, собрала бы всех ребят и провела среди них разъяснительную работу.

— А среди нас не надо проводить работу, — сказала Катеринка, — мы и сами хотим. Это вот «дикие»...

— Что еще за «дикие»?

— Ну, Васька Щербатый и его дружки. Они несознательные, ничем не интересуются и только дерутся...

— Надо и их привлечь... чтобы им драться некогда было.

Мы начали доказывать, что они недисциплинированные и обязательно сорвут все дело, но Антон только посмеялся и сказал, что мы, наверно, просто боимся, как бы они нас не обогнали.

Это было совсем обидно. Генька сказал, что ладно, пускай делают как хотят, а этому никогда не бывать, чтобы нас обогнали.

Мы думали, что нас как сознательных поставят в молодежных бригадах на самую ответственную работу, но на другой

день Даша и Иван Потапович объявили, что мы будем носить снопы, помогать, где нужно, и только Генька, как самый сильный, будет работать на лобогрейке в паре с Иваном Лепехиным. А на вторую лобогрейку назначили Федора Рябых и Ваську Щербатого. Мы протестовали и упрашивали, чтобы на вторую посадили меня или Пашку, но Иван Потапович не стал нас слушать.

Накануне выхода в поле мой отец едва не поссорился с Иваном Потаповичем, который хотел оставить его в конторе.

— Да ты что, смеешься, Иван Потапыч? Дай ты мне душу отвести. А за бумаги не беспокойся, бумаги будут в порядке,— то сердито, то просительно говорил он и все-таки настоял на своем — добился назначения в косари на косогорах: там машине не пройти и косить должны были вручную.

Он долго и тщательно отбивал косу; примериваясь, размахивал ею. Мама, торопливо прибрав избу, усала нас спать — вставать-то нужно до света,— а сама еще осталась у печки варить на два дня обед.

...Мне показалось, что я только-только успел положить голову на подушку, как отец уже тронул меня за плечо:

— Вставай, сынок. Пора!

Я выскочил умываться во двор. Тайга была еще по-ночному черной, избы окутывали сумерки, и только на востоке за гривой небо начало голубеть. Но деревня уже не спала: в окнах зажигались огни, хлопали двери, где-то звенело ведро, негромко перекликались голоса.

Утренняя прохлада и ледяная вода согнали остатки сна. Мама отнесла тете Маше еще спящую Соню. Мы быстро позавтракали и пошли к правлению. Там уже собрались девчата, парни. На завалинке, покуривая свою трубочку, сидел Федор Елизарович и, усмехаясь, наблюдал за дедом Саввой. Тот, одетый в белые холщовые штаны и рубаху, подпоясанную сыромятным ремешком, озабоченно бегал в правление, к лобогрейкам, к косарям, кутившим в сторонке, время от времени останавливался, снимал теплый картуз, вытирал лысину, словно что-то припоминая, и снова торопливо и озабоченно устремлялся в правление.

— Да будет тебе, дядя Савва! — сказал Иван Потапович,

выходя на улицу. — Что ты снуешь туда да обратно? Все идет как надо, и чего зря расстраиваться?.. Видал, каким петушком летает? — обратился он к Федору Елизаровичу.

— Помолодел дед лет на двадцать, — улыбнулся тот. — Дядя Савва, ты не хлопочи больно-то, умаешься!

— Ничего, моего заряду надолго хватит, — отозвался тот и побежал к подъехавшему возу.

— Что, Потапыч, пойдем, пожалуй? Скоро солнышко проглянет.

— Да, время... Трогай, товарищи!

Девчата стайкой выбежали за ворота, за ними двинулись парни; косари подхватили косы и, подняв их, как ружья, на плечи, пошли следом. Одна за другой, глухо постукивая колесами о камни, тронулись лобогрейки. А позади всех на высоко нагруженном возу, обнимая большой котел, сидела тетка Степанида и нехотя перебранивалась с дедом Саввой.

— Ты головой-то не верти, не верти! Твое дело обеспечить, чтобы как следует быть, — внушительно говорил он, идя рядом с возом.

— Да что ты привязался ко мне? Щей я не варила, что ли? Эка невидаль...

— И невидаль! Ты восчувствуй: день-то сегодня какой? Праздник!.. Мы этого дня год цельный ждали... И твое дело обеспечить, а мое — проверить. Ты думаешь, зря меня инспектором по качеству назначили? Я спуску никому не дам. И с тебя качество спрошу...

— Ладно уж, инспектор!.. Садись-ка лучше на телегу, а то притомишься раньше времени.

Но дед Савва убежал вперед и что-то начал выговаривать Геньке, правившему первой лобогрейкой.

— «Уродилася я...» — зазвенел впереди голос Аннушки Трегубовой.

— «...как былинка в поле», — подхватили девичьи голоса, и над Тыжей громко и слаженно полилась песня.

Песня была печальная, она рассказывала о горькой судьбе девушки-сиротинки, но голоса были так молсды и звонки, звучали они так весело и задорно, что, несмотря на грустные слова, она никого не печалила, а веселила, и ясно было: поют ее

не ради грусти, звучащей в ней, а потому, что всем хорошо и радостно, и поэтому ничего не значат эти умершие уже слова из далекого прошлого, а важна лишь радость, звенящая в согласном хоре голосов.

За рекой колонна растянулась, рассыпалась на группы; группы разбрелись по участкам.

Мы пришли на свой. Иван Лепехин сел на место скидальщика, Генька тронул вожжами лошадей. Мотовило пригнуло колосья, хрустнули под ножами стебли, и первый сноп упал на жнивье.

— Не отставай, Настенька! — крикнула Аннушка и с азартом, словно шла в атаку, кинулась вязать снопы.

На втором участке замелькали крылья лобогрейки Федора Рябых, а выше по косогору мерно, как по команде, взблескивали косы. Было похоже, будто один за другим отряды идут в наступление на мягко шумящую стену пшеницы и она пятится, отступает все дальше и дальше, не выдерживая натиска.

Иван Лепехин взмок после третьего гона. Быть скидальщиком на лобогрейке — это совсем не легко и не просто: попробуй-ка помахать вилами так, чтобы снопы были один в один, и не отстать от равномерно стрекочущей машины, которая то и дело сваливает всё новые и новые пласты подрезанных стеблей! Недаром машина эта называется лобогрейкой! Пот струился по лицу Лепехина, и он, не выпуская вил, склоняясь головой к плечу, вытирал его об рубаху.

Пашка (мы с ним носили снопы к крестам, которые складывала Даша) остановился передохнуть и, посмотрев на делающую новый заезд лобогрейку, сокрушенно сказал:

— Все-таки отсталая это техника! Сюда бы комбайн...

— А где тут комбайнпустишь?

Поля у нас узкие, выше они переходят в косогоры, так что большой машине по ним и не пройти.

— Ну, значит, надо построить такой маленький комбайн, чтобы везде мог проходить.

— Вот ты и построишь. А покуда снопы таскай! Видишь, Даше складывать нечего...

Пашка подхватил два снопа и поволок их к Даше, но на него вдруг налетел дед Савва.



Картуз он где-то оставил, сыromятный ремешок, должно быть, потерялся, и на легком ветерке холщовая рубаха его вздувалась парусом.

— Ты, герой удалой, чего снопы-то по земле тащишь? До обмолоту молотишь? А ты подними, подними, не переломишься!.. Люди сколько трудов вложили, а ты этим трудом по земле соришь?..

Пашка покраснел и поднял снопы.

— Дядя Савва! — окликнула его Аннушка. — Где картуз-то потерял? Напечет тебе лысину.

— Ничего, лысина не блин, не зажарится... А ты вот как вяжешь, красавица? Нешто это вязка? Ты его, как дитё, пеленай... А то чуть торкнул — и рассыпался.

— Да что это ты кричишь на всех? Прямо генерал какой-то...

— А ты думаешь как? Может, я по своему хлебоборбскому

делу и есть самый настоящий генерал! Вот погоди-ка, еще и в газетах про меня напечатают: есть, мол, такой в Тыже Савватий Петрович Дрюкин, ба-альшой дока насчет хлебушка, и за это ему полагается почет и уважение... А ты вон зубы скалишь...

— Да я, дедушка, просто так...

— Вяжи, вяжи знай, да потуже! — И дед Савва побежал к участку Федора Рябых.

Поднявшееся солнце припекало все сильнее. Набившееся за рубашку остьё покусывало пропотевшее тело, от тяжелых, тугих снопов заболели руки, начало ломить поясницу, во рту пересохло, и мне казалось, что я вот-вот остановлюсь совершенно обессиленный.

Я оглядывался вокруг: далеко впереди все так же равномерно стрекотала жнейка, склонялся и выпрямлялся Лепехин, неторопливо, но споро шли вязальщицы, за ними выстроилась уже вереница крестов, а дальше рассыпались пестрые платица девушек — Катеринка, Любушка и другие собирали колоски.

Мало-помалу острая боль в пояснице и руках прошла, и, уже не напрягаясь и не спеша, я нагибался к снопам, подхватывал их и спешил к Даше. И даже успевал помогать Пашке, который, пыхтя и отдуваясь, носил снопы в обнимку.

Вот только хотелось пить! Но время от времени с кадкой холодной тыжевской воды к нам подъезжал Фимка. Он так важно зачерпывал ковшом воду, словно это было самым главным делом, какое только есть на свете. Мы посмеивались, глядя на него, немного смачивали горло — Даша сказала, что много пить нельзя: потом еще хуже будет — и снова принимались за снопы.

Мы кончили свой первый участок незадолго до обеда, и я побежал к отцу.

Косари шли один за другим, уступами, плавно взмахивая поблескивающими косами. Головы у них подняты, плечи так широко и свободно расправлены, так легка неторопливая поступь, что, если бы не капли пота на лицах, можно было бы подумать, что они идут в величавом танце. Пройдя гон, каждый поднимал косу и, уперев черенок в землю, направлял ее брусочком. Потом дядя Федя, шедший первым, переходил на новый участок, и один за другим они снова вступали в торжественное шествие.

Дед Савва оказался уже здесь. Поставив ладонь щитком, он следил за косарями.

— Ну как, дядя Савва? — спросил подошедший Иван Потапович. — Хорошо идут?

— Ничего, — пожевав губами, ответил дед.

— Ты бы пошел отдохнуть — набегался. Года у тебя такие, что покой нужен.

— А что в нем за радость, в покое? Человек — не камень, ему на одном месте лежать незачем...

Он хотел еще что-то добавить, но вдруг вскочил и изо всех сил побежал к косарям.

— Ты чего? Ты чего делаешь?! — еще издали закричал он молодому косарю, шедшему последним. — У тебя не веник, а коса! Чего ж ты ею землю метешь?..

— Ну старик! — усмехнулся Иван Потапович и, сложив ладони рупором, закричал: — Федор Елизарыч! Шабаш! Обедать пора.

Косари так же неторопливо закончили гон и лишь после того тщательно протерли косы, подняли их на плечи и тронулись к стану.

Когда мы подошли к нему, Федор Рябых и Васька были уже там, и Федор говорил стряпухе, но так, чтобы слышали все:

— А ну, тетка Степанида, зачерпни погуще передовикам колхозных полей!

Генька залился краской и бросился к доске показателей. Их лобогрейка отстала на полгектара.

Фимка и Сенька с заносчивым видом прошли мимо нас, и Фимка сказал куда-то в сторону:

— «Рябчики». Запарились?

— Запарились, — подтвердил Сенька.

— Может, взять их?.. На буксир?

Генька обозлился, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь, если на самом деле отстали!..

После обеда все прилегли немного отдохнуть, а мы с Генькой убежали к Тыже искупаться. Генька был мрачен и, как я ни старался его разговорить, все время молчал. Только когда мы уже возвращались, он сказал:

— Ладно, еще посмотрим, кто кого?

Ивана Лепехина тоже, видно, взяло за живое, что они отста-ли, и после обеда он так нажал, а Геннадий так подгонял лоша-дей, что теперь Настенька и Аннушка отставали от них.

— Ты что, на пожар скачешь? — крикнула ему Аннушка. — Гляди-ка вон, огрехи оставляешь. Дед тебе задаст, как увидит...

Генька придержал лошадей, огрехов больше не было, но работали они так напористо, так азартно взмахивало крыльями мотовило и звучно хрустели под ножами стебли, так стреми-тельно падали на жнивье вороха стеблей, что и Аннушка и мы все втянулись в новый темп и пошли быстрее.

Даше показалось, что Настенька устала, и она предложила ей поменяться местами, но та лишь упрямо покачала головой и продолжала вязать. Она шла неторопливо, не суетилась и не шумела, как Аннушка, но мало-помалу расстояние между ними сокращалось все больше, и вот уже Настенька оказалась впе-реди, а запыхавшаяся Аннушка кричала ей вслед:

— Передохни, умаешься!

Но умаялась она сама, а Настенька все так же размеренно шла вперед, то склоняясь к снопу, то распрямляясь.

Не поймешь эту Настеньку! Тихая, застенчивая, всегда жметя к своей большой, шумной подруге, словно ищет защи-ты; и голоса-то ее почти никогда не слышно за веселой Аннуш-киной трескотней. Кажется, что она во всем следует примеру Аннушки, а на самом деле получается наоборот: Аннушка на-шумит, набушует, а стóбит Настеньке тихонько сказать что-ни-будь, и делается по ее, а не по-Аннушкиному, и, оказывается, не порывистая сильная Аннушка для Настеньки, а скромная, незаметная Настенька служит для Аннушки опорой и руково-дительницей. Вот и сейчас Аннушка азартно, будто с разбегу, набросилась на работу, нетерпеливо крутила перевясла — так, что они только похрустывали под ее сильными руками, но быст-ро устала и начала отставать. А Настенька неторопливо, даже, казалось, медлительно, шла от снопа к снопу, лишь улыбками отвечая на громкие шутки Аннушки; а когда та притомилась, так же молча стала помогать ей, и ни разу я не слышал, чтобы Настенька пожаловалась на усталость. И откуда только бралась сила в ее маленьких руках? А может, дело не в силе, а в постоянстве и упорстве, без которых любая сила ничего не значит?

Солнце уже скрывалось за частоколом пихт на гребне Черной гривы, от людей и машин по полю вытянулись длинные лиловые тени, и в наступившей прохладе нам стало легче, хотя тело все больше наливалось усталостью.

Я думал, что наша лобогрейка обгонит Васькину по крайней мере гектара на два, но Геньке и Лепехину удалось только сравняться с другой бригадой. Даша сказала, что это хорошо, так и надо: это же уборка, а не скачки; здесь не только скорость нужна, но и качество, и если так дальше пойдет, то Лепехин и Геннадий обязательно выйдут на первое место.

Тень Черной гривы залила всю долину и начала всползать по косогорам вверх; на западе вспыхнуло пожарище заката, загорелись розовым пламенем гольцы, и, словно зажженный имп, на стану запылал костер. Сначала с дальних, потом с ближних участков люди потянулись на стан, к огню. Кое-кто из женщин, у которых были малые ребята, ушли в деревню, а остальные неторопливо, с наслаждением умывались и рассаживались неподалеку от костра, у которого хозяйничала раскрасневшаяся тетка Степанида.

— Пойдем-ка, Николаха, искупаемся, — сказал мне отец.

— Купаться? Да ведь холодно сейчас! Вон уж туман ползет...

Над рекой и в самом деле появилась голубовато-молочная дымка.

— Что за «холодно»? Не зима, не замерзнешь. Сейчас только и купаться в свое удовольствие, а не в жару, как вы...

Это оказалось ни с чем не сравнимое удовольствие. Днем, в жару, мы сидели в воде, пока не начинали синеть и заикаться, но стоило очутиться на берегу, как зной опять обжигал нас и мы готовы были снова лезть в воду. А сейчас после мягкой прохлады воздуха вода в Тыже была даже теплой, и казалось, что вместе с потом и пылью она смывает и уносит усталость, дышится легче и свободнее, тело долго хранит ощущение бодрой свежести.

— Теперь домой? — спросил отец, одеваясь.

Но мне не хотелось возвращаться в деревню. На стану, у костра, звенели веселые голоса, кто-то — должно быть Аннушка — заливисто хохотал. Там были все, с кем прошел этот чу-

десный день, и зачем же уходить от них? Отец, должно быть, понял мое настроение:

— Ну и ладно, коли так. Пошли на стан. С народом веселее...

На обратном пути мы не сказали ни слова, но почему-то мне навсегда запомнилась эта дорога. Мы шли рядом, одинаково неторопливым, широким, немного усталым шагом. Я подумал, что вот мы целый день работали и хорошо, что у меня такой большой, сильный и все умеющий отец; а отец, наверно, думал, что у него сын уже не просто мальчик, а работник... И как это хорошо, что мы уже не просто отец и сын, а товарищи по работе! И как приятно идти вот так рядом и молчать, потому что и без слов ведь можно понимать друг друга...

Мы с ним разговариваем не часто — он постоянно занят, а у меня то уроки, то другие дела, — но уж если он скажет что-нибудь, хочешь не хочешь, а сделаешь так, как он говорит. Мама — та, бывает, уговаривает, а он никогда: молчит, а только посмотрит — и делаешь по его. И ведь я его не боюсь, он не только за ухо потянуть, а и не крикнет никогда, но нет ничего хуже, чем его молчаливое осуждение или неодобрение. Иной раз запутаешься в задаче, спросишь; он посмотрит задачу — «подумай», говорит. Я над ней бьюсь, бьюсь, а он время от времени подойдет, посмотрит и опять: «Нет, плохо думал. Думай еще». А когда кончу, он скажет: «Ну, вот видишь! Значит, можешь сам? А ты сомневался. Сомневаться в себе — это, брат, последнее дело!» — или еще что-нибудь вроде этого. Потом мне и самому приятно, что я справился без посторонней помощи, а скупая похвала отца дороже всяких других.

Катеринка говорит, что он некрасивый. Если разобраться, так, конечно, красоты особенной нет: сутулитесь, на верхней губе колючая щеточка подстриженных усов, нос большой, а губы толстые. И я в него, такой же некрасивый, только глаза у меня мамины. Ну и что же, что некрасивый? Все равно я ни на кого не хотел бы быть похожим, кроме как на него. Похожим во всем. И буду! Вот уже работал с ним — ну, не наравне, а все-таки вместе, а вырасту — и мы тогда будем совсем как два товарища...

После ужина девчата затеяли было петь песни, но Иван По-

тапович приказал всем ложиться спать: ночь коротка, а вставать нужно с рассвета. Однако за копёшкой, где улеглись девчата, долго еще захлебываясь и давясь от смеха, звучал голос Аннушки, негромко смеялась Настенька и время от времени отзывалась Даша.

Взрослые мужчины и парни улеглись тоже, а утомившийся за день дед Савва давно уже сладко похрапывал, свернувшись калачиком и по-детски подложив под щеку ладонь.

Я лег на спину рядом с отцом. Костер угасал, и звезды стали виднее, ярче. Руки и ноги гудели от усталости, но эта усталость была приятной. Земля — словно и она устала за день от солнца, шума и звона голосов — тоже затихала и как-то начала покачиваться. Только звезды становились все больше, сияли все тверже и ярче. Но вот и они дрогнули: казалось, небо покачнулось тоже и куда-то поплыло...

Еще не кончили жать, а на току уже появилась молотилка. Мы очень хотели попасть в молотильную бригаду, но Иван Потапович сказал, что это нам еще не под силу. К молотилке приставили самых здоровых парней и девчат. У барабана стал Иван Лепехин, а подавальщицами к нему — Аннушка и Даша. Они обвязали лица косынками так, что остались видны только глаза, и заняли свои места.

— Давай! — скомандовал Иван Потапович.

Трактор загрохотал, длинная провисающая змея ремня лениво шевельнулась, заскользила все быстрее, щелкнула швом о шкив, и вот уже, подвывая, загремел барабан. Лепехин расправил развязанный сноп, подвинул его по лотку, потом второй. Завывающий гром стих, и барабан, довольно урча, зарокотал на одной ноте. Сзади из молотилки повалила солома, а из горловины полился золотой поток зерна...

Который год я вижу молотьбу, но каждый раз смотрю и не могу насмотреться. Вот и теперь я стоял как зачарованный и не мог оторвать глаз от этого непрерывного тяжелого потока, порозовевшего под восходящим солнцем. Да и не только я. Вон рядом Генька, мой отец, дядя Федя, Иван Потапович, дед Савва... И на всех лицах я вижу радость и торжество. Дед Савва не может стоять спокойно, переминается с ноги на ногу, его загорелая лысина даже побледнела от волнения.

— Пошел, пошел хлебушек! — по губам угадываю я его слова.

Иван Потапович оглядывается вокруг, словно приглашая всех посмотреть и не понимая, как на это можно не смотреть.

— Вот она, сила колхозная! — громко, чтобы перекрыть грохот барабана, говорит он. — Хлебом вся земля держится. А кто этот хлеб дает? Мы!.. Это понимать надо и гордиться!

Он и в самом деле гордится. Лицо его торжественно, и он даже кажется помолодевшим, непохожим на самого себя. А может, он такой действительно и есть, а хмурость и всегдашняя озабоченность его оттого и бывают, что ему кажется, будто сделано пока мало и нужно сделать еще больше?

Пашка, пораженный преображением Ивана Потаповича, открыв рот, смотрит на него во все глаза.

— Ты, брат, не вялка. Закрой, а то ворона залетит, — говорит Иван Потапович и легонько подталкивает его челюсть снизу.

Зубы Пашки звонко щелкают, и все смеются: не над Павлом, конечно, а просто потому, что всем очень весело и смеяться готовы всему — так радостно на душе у каждого.

Мы возим к току снопы, а потом поступаем под начало к деду Савве, мечущему стог. Он мечет его и мечется сам по огромному стоговищу, покрикивая на нас, чтобы правильно укладывали и утапывали, переделывает по-своему и успевает подгонять Пашку и Фимку, взбрасывающих наверх солому. От молотилки через стог переброшены тросы, за стогом к ним подпряжены лошади, и, когда у молотилки накапливается ворох соломы, Пашка и Фимка, сидящие верхами, гонят лошадей, и солома, подхваченная тросами, взъезжает наверх...

Метать стог трудно. Попробуйте-ка потаскать тяжелые вороха, когда ноги тонут в еще не утоптанной соломе, уложить их правильно и плотно, чтобы потом стог не разъехался в разные стороны! Солома душно отдает хлебом и зноем, пот заливает глаза, остьём усыпано тело, и оно нестерпимо зудит, но все это нипочем. Мы с таким азартом таскаем — даже не шагом, а бегом — вороха соломы, так скоро растет наш стог, что где там замечать пустяковые неприятности!

Мама попеняла мне, что я не хожу ночевать в деревню, со всем от дому отбился, но отец вступился за меня:

— Ничего, мать, дом от него не уйдет. От дому отбился, к народу прибился. Без этого человек — не человек. И пусть при-
выкает хлеб не только с сахаром, а и с солью есть, цену ему
узнает...

Так я до конца уборки и жил вместе с отцом на стану.

Геннадий и Лепехин добились своего: их лобогрейка обогнала Васькину. Правда, не намного, всего на четверть гектара, но все-таки они молодцы, не оскрамились!

Когда хлеба намолотили несколько тонн, Анисим Семенович, Пашкин отец, пригнал из Тыжи подводу для обоза с хлебо-
сдачей. Для такого случая он запряг даже Голубчика и сам им правил. Пашкин отец, наверно, самый сильный у нас в деревне — только он может справиться с Голубчиком, огромным четырехлетним жеребцом, гордостью нашей фермы. На войне Анисим Семенович был в артиллерии и тоже при конях, а вернулся с войны и опять стал работать на ферме, вернее — на пастбищах, потому что старается все время держать скот на воздухе, а не в стойлах. Он говорит, что так здоровее и полезнее. Оттого, что он сам все время на ветру и на солнце, кожа у него красная, будто дубленая, а волосы, и без того светлые, выгорели совсем, и кажется, что он седой, хотя ему не так уж много лет. Пашка весь в отца — белобрысый, словно у него не волосы, а отбеленная кудель, и такой же медлительный и рассудительный, хотя я думаю, что рассудительным Пашка становится только тогда, когда чего-нибудь побаивается.

Так как обе бригады на жатве работали хорошо, Иван Потапович сказал, что с обозом поедут и Генька и Васька. Мы признали, что это справедливо.

Обоз повел Иван Потапович. На первой подводе укрепили красный флаг, под ним устроились Федор Рябых со своим баяном и Генька, правивший лошадей. Васька и Лепехин ехали на второй, остальные сели кому как пришлось. Иван Потапович подал команду. Федор сдвинул на затылок кепку и развернул мехи баяна. Подпрыгивая на камнях, подводы тронулись под разудалый марш.

Мы проводили их до Тыжи. Я смотрел на телеги, в которых лежали укрытые брезентом мешки, но виделась мне не серые мешки и брезент, а золотая струя, бьющая из молотилки. Ведь

не только у нас, а везде, по всей стране грохочут сейчас барабаны молотилок и комбайнов и льется неиссякаемый золотой поток, заливая землю, несет людям радость и силу...

НЕФЁДОВА ЗАИМКА

Пашка тоже уехал. Анисим Семенович, приехавший с пастбища, куда перегнали стадо, забрал его с собой, так как скоро скот должны были гнать обратно. Туда же забрали Фимку и Сеньку. Мы с Катеринкой остались чуть ли не одни.

Захар Васильевич совсем стал слаб ногами и говорил, что уже не сможет пойти на промысел. Однако в тайгу, к зверью, его тянуло, и он часто приходил на Катеринкин двор посмотреть Найду.

Найда подросла, стала настоящей красавицей — большеглазая, тонконогая — и такой умницей, что всех узнавала и шла навстречу: знала, что ей обязательно припасли посоленный ломоть хлеба.

Захар Васильевич как-то сказал, что ему надо ехать на пасеку: проведать Нефёда, отвезти припасы да забрать мед, которого тот, наверно, много накачал. Мы упросили его взять нас с собой.

Мы с Катеринкой решили, что поедем не просто так, погулять, а это будет наша вторая экспедиция, и нужно ее провести по-научному. Я приготовил дневник, попросил у отца сумку с компасом, на всякий случай прихватил свой мешок, хотя ехать недалеко и запастись нужды не было.

Из дому я улизнул еще на рассвете, разбудил Катеринку, и мы побежали к Захару Васильевичу. Тот запрягал Грозного.

Грозный — это соловый мерин с жидкой гривой. Левого глаза у него нет, и на ходу он всегда сбивается в правую сторону. Кличка «Грозный» к нему никак не подходит, называть его следовало бы «Лукавый»: подпряженный в пару, он воровит идти коротким шагом, не натягивая постромки, а только делая вид, что тянет изо всех сил. Хитрость довольно прозрачная, и он, должно быть, сам это понимает, потому что стоит его тропуть

вожжами, как он перестает притворяться и тянет по-настоящему.

Захар Васильевич сует в передок под сено топор, моток веревки, сверху расстилает брезент, и мы усаживаемся. Проехав деревню, сворачиваем к северу, на согру. Солнце еще не поднялось, только на макушках гор пламенеют озаренные им кедры. Трава на согре седая от росы; лишь там, где прошли колеса, вспыхивают полосы яркой зелени.

Одноглазый Грозный не обходит кустов тальника, и, задевшие осью, они обдают нас холодными брызгами. Катеринка каждый раз тихонько ойкает. Скоро мы становимся мокрыми, будто побывали под дождем, но настроение у нас не портится — солнце поднимается, и мы скоро обсохнем. Только Захар Васильевич каждый раз морщится и начинает ругать Грозного. Тот, словно поддакивая, мотает головой и все-таки опять идет вплотную к кустам.

Шумливая речушка пересекает наш путь; скрежеща на камнях, колеса по ступицу погружаются в воду; вода сердито и звонко курлычет между спицами.

Становится тепло, согра сразу зеленеет. Катеринка соскакивает с телеги и бежит собирать цветы. Трава еще росистая, и из-под Катеринкиных ног взлетают сверкающие брызги. Набрав большой букет, она рвет траву и на ходу подносит ее Грозному. Тот вытягивает морду, но вместо травы вдруг выхватывает из букета самую середину, Катеринка хохочет, делает ему выговор, а потом скормливает весь букет.

По пологому увалу, среди густо разросшегося багульника, змеится еле заметная колея. Мы сворачиваем на нее, но она скоро исчезает, и теперь уже только Захар Васильевич да, может быть, Грозный знают, почему мы едем именно так, а не иначе и сворачиваем в ту, а не в другую сторону. Никакие азимуты здесь не помогут. Путь вьется по косогору, то пересекая лужайки, то забираясь в чащу. Здесь уже нельзя сидеть свесив ноги: того и гляди, их защежит между грядкой телеги и деревом. Потрясенные дугой ветви больно хлещут по лицу.

Мы снова съезжаем на мягкую кочковатую согру, всю изрезанную не то канавами, не то руслами ручейков. Русла заросли тальником и бузиной, внизу поблескивает вода, и Грозный с

трудом вытаскивает ноги из чавкающей под копытами болотины. В отдалении виднеются два стожка сена — его вывезут отсюда зимой по насту.

Подъехав к стожкам, Захар Васильевич распряг Грозного и отпустил пастись, а сам забрался от припекающего солнца под телегу. Я попробовал было сделать описание маршрута, но ничего не получилось: в памяти шло непрерывное мелькание зарослей и поворотов, спусков и подъемов. Катеринку сморило от солнца и усталости, она прилегла на брезенте и тоже заснула. Свернувшаяся калачиком, она кажется совсем маленькой, слабой, и мне почему-то становится жалко ее. Я прикрываю ей голову платком, чтобы не напекло.

На верхушках грив раскачиваются под ветром острые конусы пихт, но сюда ветер не достигает. Только я да Грозный бродим по пустынной, беззвучной котловине...

Захар Васильевич вылезает из-под телеги, взглядывает на солнце и кричит мне, чтобы я вел Грозного. Но это не так-то просто. Со стороны кривого глаза подойти к нему нельзя — услышав шаги, он сейчас же поворачивается правой стороной. Продолжая щипать траву, Грозный делает вид, что не обращает на меня внимания, но время от времени косится в мою сторону. Я начинаю сердиться и бегать; он неторопливой трусцой легко уходит от меня, а потом оборачивается и смотрит.

Мне даже кажется, что его вислые, перепачканные зеленью губы кривятся в усмешку.

Наконец мне удается наступить на повод, я лечу кубарем, но Грозный останавливается и потом идет следом за мной с самым невинным видом.

Мы опять едем узким зеленым коридором по мягкой подушке мхов; с треском продираясь через кусты, выезжаем на гарь. Уныло торчат на ней обгорелые стволы елей, но кое-где белеют тоненькие березки, а вся земля сплошь усыпана иван-чаем. Дальше идет густой кедровник. Высоко-высоко раскачиваются темно-зеленые кроны, а здесь, внизу, торчат лишь сухие, мертвые ветви. Кедрач редее, появляются прогалины, опять мелькают конусы пихт и елей. В лесу начинает темнеть, а конца дороги все нет, и я начинаю думать: не заблудились ли мы, не забыл ли Захар Васильевич дорогу? А он покуривает трубочку

и даже не глядит вперед, словно совершенно уверен, что и сам Грозный вывезет куда нужно.

Грозный действительно вывозит. Уже в совершенной темноте впереди мелькает слабый огонек, пропадает, потом появляется снова. Грозный прибавляет шагу, и скоро мы подъезжаем к приземистой избушке. В освещенном проеме двери появляется девичья фигура.

— Дядя Захар? — спрашивает девушка.

— Он самый, — отзывается Захар Васильевич. — Принимай гостей, красавица.

Он начинает распрягать, но девушка подходит к возу:

— Вы идите в избу, я тут сама управлюсь.

Следом за Захаром Васильевичем мы входим в избу. За столом, под самой лампой, сидит седой старик. Он медленно и сосредоточенно крошит ножом табак. По его гладкой, как зеркало, лысине бегут отблески света.

— Здорово, Нефёд! — говорит Захар Васильевич, снимая шапку.

Старик кладет нож, щурясь, всматривается в Захара Васильевича:

— Захар приехал? Здоров, здоров! Я и то уж думаю: что, мол, припозднился?.. А что за ребятенки с тобой?

— Ивана Березина сын да Марьи эвакуированной дочка. Им больно поглядеть охота.

— Ну-ну, пусть поглядят... Проходите в избу-то, чего у порога стоять!.. Жать-то начали?

— Какое! — смеется Захар Васильевич. — Уж и пошабашили...

— Врешь, поди?

— А чего мне врать? Правду говорю.

Нефёд недоверчиво смотрит на него, долго шевелит губами:

— Всё торопитесь! Ровно вас взашей гонят, торопыги...

Катеринке старик не нравится — больно он ворчлив и не приветлив, и она смотрит на него бычком, исподлобья.

Входит девушка.

Пашу, внучку Нефёда, я знаю давно! она только на лето перебралась на займку помогать деду, а так живет в деревне. У нее совсем белые, как лен, волосы и чистые голубые глаза;

они смотрят всегда так открыто и спокойно, словно она знает что-то такое важное, что все остальное по сравнению с ним ничего не значит. Федор Рябых — то ли смехом, то ли всерьез — даже попросил:

— Пап! Ну не гляди ты на меня за ради бога! У меня от твоих гляделок все красноречие пропадает...

Папа ласково улыбается нам и собирает на стол. Перед стариками появляются туюсок с пахучей медовухой, огурцы и соленые рыжики. Нам Папа подвигает глубокую миску, доверху налитую прозрачным золотистым медом. Мы макаем в него ломти хлеба и слушаем неторопливую беседу стариков.

Захар Васильевич, выпив медовухи, с хрустом разжевывает огурец, а Нефёд только сосет соленый рыжик — зубов у него почти не осталось.

Захар Васильевич рассказывает деревенские новости. От медовухи лысина Нефёда краснеет, и даже насквозь прожженная солнцем кожа Захара Васильевича темнеет на скулах. Они начинают вспоминать каких-то неизвестных людей, давно прошедшие и забытые всеми, кроме них, события, и Нефёд вдруг спрашивает:

— На могилу-то пойдешь?

Лицо Захара Васильевича становится пасмурным, и он, вздохнув, отвечает.

— Как не сходить! Схожу, конечно.

— А почему здесь могила? — спрашивает Катеринка. — Тут же не кладбище! И чья?

Захар Васильевич молча курит. Похоже, что он не слышал вопроса или не хочет отвечать, но он все-таки отвечает:

— Человек не знает, где его смерть настигнет. Где пришло, там и помер. А это был человек большой души...

И опять умолкает.

— А вы расскажите, дядя Захар, — просит Папа.

— Рассказать? Отчего не рассказать, — отзывается Захар Васильевич.

САНДРО

— Вы вот растете припеваючи, сыты, одеты, в тепле, учат вас и прочее. А что бы из вас было, кабы вас, как кутят, за шиворот да на мороз?.. А со мной, почитай, так вот и вышло. Остался я четырнадцати годов один как перст: ни тебе родственников, ни тебе свойственников. Родом-то я не отсюда, а из-под Томска... Ну, как меня жизнь мотала да трепала — долго рассказывать. Всяко доводилось перебиваться. Помаленьку приспособился я до промышленников. Не промышленять, а так, из милости. Они артелью белку бьют, а я для них харчишки варю. И то не всегда удавалось: мужики те были прижимисты, всё больше норовили всухомятку, чтобы поменьше расхода было, — в артели всякий кусок на счету. Артель — это так только говорилось, а все больше сродственники ходили. Так я около них бьюсь, а сам помаленьку к делу приглядываюсь. Винтовку — боже упаси! — в руки не дадут. Свинец да порох тогда, ох, как кусались! Если уж только совсем занедужит кто — так, что и встать не может, — ну, тогда мое счастье: чтобы винтовка не гуляла, мне дадут. Припасы дадут по счету. И вот сколь у тебя зарядов, столько шкурок принеси, а нет — били: потому — или, мол, ты зря стрелял, или шкурки утаил... С непривычки попробуй-ка: белка, она вон как заводная прыгает, а ее в глаз уцелить надо, иначе шкурка порченная... Ну, у меня глаз верный, рука твердая, так что я быстро наловчился.

Промытарился я так-то до двадцати годов. Сверстники мои поженились, детей завели, а я все мыкаюсь неприкаянный; что на мне — и то не мое, дареное. Где уж тут о семье да своем хозяйстве думать! И вот попал я, значит, в Улалу — так раньше Горно-Алтайск прозывался, — а там с одним скупщиком столкнулся. Тот вроде ко мне с сочувствием: дам, мол, я тебе винтовку и все, как полагается. В силу войдешь — расплатишься... Ну, я ему в ноги: «Благодетель, отец родной!» Год был добычливый, шкурок я приволок прорву; думаю: сразу за все расплачусь. А не тут-то было! Вышло так, что я еще более задолжал. На другой год — того хуже. Я с ним уже за десятерых расплатился, а получалось, что в кабалу вовсе залез.

Такая меня злость взяла, что я прямо на людей смотреть не

могу, хуже волков они мне кажутся. «Будьте вы, — думаю, — прокляты! Если среди вас правды нет, я теперь сам, один жить буду». Ударился я в тайгу, чтобы человеческим духом и не пахло. Шкурок набыю, на припасы у бродячих купцов выменяю — и опять в тайгу. Совсем я тогда одичал. Разве когда к Нефёду на займку забреду. Я его как-то от медведя вызволил, он это помнил и всегда меня привечал. Ну, у него долго не заживался, потому сам он бился как рыба об лед...

Промышлял я по Большой Черни, к югу до Белухи доходил, в Чуйских степях побывал, а в тринадцатом году надумал за Телецкое озеро перебраться. Слух такой шел, что там на Корбу ближе к Абакану соболя водились. Сборы мои недолгие: винтовку под руку, мешок за плечи, костер залил и пошел. У Кебезени перебрался через Бию, а дальше — где по берегу, где тайгой — иду вокруг озера. Места красоты неописанной, зверя много, а глушь такая, будто из всего человеческого племени ты один на земле остался.

В самую лютую зиму очутился я на Большом Абакане. Места такие, что вроде человек там сроду и не бывал. И вот однажды сижу я ночью у костра, подремываю. В тайге завсегда тихо, а тут будто и вовсе все вымерло.

И вдруг чую — шум, треск. Не иначе, как шатун. Подхватил винтовку, жду. А из-за деревьев вываливаются двое.

«Стой! — кричу. — Не подходи! Кто такие?»

А они на винтовку и не глядят, прямо к костру, чуть не в огонь лезут. Жутко мне стало, страсть! Не иначе, думаю, как варначё — беглые с каторги. Навалятся сейчас, пристукнут — и весь разговор... А по виду они и есть: одежонка никудышная, драная, заросшие оба, лохматые, одни глаза только и видать... Усы да бороды в сосульках, руки крючьями торчат — видеть, вовсе прозябли.

Один, который поменьше, увидел, что я винтовку наготове держу, улыбнулся и как-то не совсем по-нашему говорит:

«Вы, — говорит, — не бойтесь. Зачем бояться? Мы вас резать не будем... Как думаешь, товарищ Сергей, не будем?»

Тот мычит, с усов сосульки обрывает.

«А я не боюсь, — говорю. — Я и сам зарезать могу, в случае чего».

Это я уж так, для храбрости сказал, чтобы их попугать, а себя подбодрить, потому как сам-то здорово опасался.

«Правильно! — отвечает меньшей и смеется. — Только нас резать выгоды нет. Ничем не разживешься...»

«Ты и в самом деле, — говорит второй, — брось ружье-то. Мы безоружные, у нас на двоих только ножик перочинный и есть. Мы вот отогреемся и дальше пойдем».

«Куда ж вас в такую стужу несет, — спрашиваю, — да еще с пустыми руками?»

Молчат, не отвечают ничего... Отогрелись они, и я к ним пригляделся. Тот, который поменьше, черноватый, глаза горячие, сам быстрый такой, по всему видать — не русский, и имя у него не наше — Сандро. А второй, Сергей, русоволосый, телом крупный и вроде рабочий человек, мастеровой, что ли. Он сильнее и годами не моложе, а во всем слушается меньшого, как старшего.

Замерзли они вкрай и, видать, голодные: щеки втянуло, одна кожа да кости. У меня кабарожья нога оставалась. Нарезал я мяса, положил в котелок. «Вот, — говорю, — сварится — ешьте». Они ничего, благодарят, расспрашивают о житье-бытье, особенно Сандро. Ну, мне таиться нечего: я весь тут. Рассказал им про свое житье, как от людской жадности пострадал и в тайгу бежал.

«Вот, — говорит Сандро, — типичный случай грабежа под видом торговли в национальных окраинах... Ну, и как же вы с тех пор, разбогатели?»

А какое мое богатство? От своего скупщика убежал — к друтому попал. Все равно так на так получилось.

Поели они, расспрашивают, как дальше идти, есть ли там где люди. И видно по всему, что их больше интересует, как бы так пройти, чтобы не то что до деревни добраться, а подальше ее обойти.

У меня моя опаска и вовсе пропала, потому хоть и непонятно, кто такие, а вроде зла не замышляют.

«Куда вы, — говорю, — ночью пойдете? Ночуйте уж тут, меня опасаться нечего».

«Мы-то рады, — смеется Сандро, — но ведь вы нас опасаетесь».

«Да нет,— говорю,— ничего. Только одно мне непонятно: что вы за люди такие и как сюда попали?»

«Ну что ж, — говорит Сандро, — так как вы, видать, свой человек, то мы таиться не будем... Мы социал-демократы, большевики. Слыхали про таких?»

А чего я в те поры слыхал? Я и грамоты-то не знал, не то что... Так и жил, вроде пень, только с глазами.

Начал он мне тогда рассказывать все как есть: про купцов, про чиновников и царя, как они тянут жилы из народа и как этот народ поднимается на борьбу, а впереди всех в той борьбе идут большевики, как тех большевиков преследуют, гноят по ссылкам и тюрьмам, а они, ни на что не глядя, держат свою линию на освобождение трудящихся. Вот и они были отправлены в ссылку, под строгий надзор, а все-таки бежали, теперь тайком пробираются в Россию, чтобы продолжать борьбу. Встретить их должны были надежные товарищи, одеть и переправить куда следует, да, видно, Сандро и Сергей сбились с пути, вот и пробираются теперь как есть — безоружные и без всякого припасу.

Долго он мне рассказывал, и каждое его слово так прямо в сердце и ложилось. Они уже заснули, а я все с боку на бок ворочаюсь, думаю об этих людях, на какую силушку они заманиваются и через какие терзания идут, чтобы добиться правды...

Утром сварил я остаток мяса, поели; они собрались, и я поднялся.

«К тайге, — говорю, — вы люди непривычные, пропадете ни за понюх табаку. С пустыми-то руками ни зверя убить, ни огонь зажечь. Так что я вас малость провожу, ежели будет такое ваше желание. А что я живодерам-скупщикам меньше хвостов принесу, так будь они прокляты, эти хвосты! Все одно — голый есть, голый и останусь, а тут, в крайности, хоть хорошим людям помогу...»

Надо бы нам идти к северу, чтобы озеро обогнуть, но там где ни где поселок либо теленгитские айлы. Кого-нито встретишь, и пойдет по тайге слух: Захар двух беглых ведет. А по слуху стражники следом кинутся. И пошли мы напрямик к озеру.

Дорога эта для меня прямо как школа была. Столько я за

то время узнал, сколь мне знать и не снилось. Разговаривали больше, когда уже на ночевку становились, потому идти было, ох, как тяжело! И все время либо ветры, либо такие лютые морозы, что дух захватывало. Одежка на них была совсем пухляковская, насквозь пронимало. Сергей — тот здоровый был, а Сандро-то не больно силен; посмотришь — и удивляешься: в чем только душа держится, а он идет да еще подбадривает.

Спустились мы к озеру, а оно льдом затянуто. Я говорю: вверх, до Кыги, подняться надо, там льда не должно быть, по чистой воде и перемахнем на ту сторону. А они противятся: время дорого, пройти можно и по льду, он крепкий. Ну, раз вы такие смелые, мне, мол, и вовсе бояться нечего. Пошли мы, значит, по льду на эту, на нашу сторону.

Лед этак снежком припорошен и ничего, прочный, под ногами не трещит, не гнется. Однако только мы до середины добрались, началась поземка. Дальше — больше. Оглянулся — а уж весь Корбу дымится. Оборвалось у меня сердце.

«Ну,— говорю,— братцы, молитесь богу и идите шибче: «верховка» задула!»

«Что это такое, — спрашивает Сандро, — «верховка»?»

«А это, ежели добежать не успеем, самая настоящая наша погибель и есть...»

Бежим, торопимся, а она всю разгуливается: над озером-то ей никакого останова, как в трубе, ревет. И вот, чую, лед уже потрескивает, под ногами зыбится.

Мы уж под самым берегом, а тут как хрястнет — аж стон пошел, будто из пушки выпалили: лед треснул! Раз, другой... такая пальба пошла — друг дружку не услышишь... Они выскочили, а я замешкался, лед подо мной в мелкую крошку, я — в воду и — как топор... По нашим местам не многие плавать-то умеют: вода круглый год ледяная — поди-ка, сунься!..

На Телецком редко где мелкое место есть, под самым берегом глыб начинается... Ну, а все-таки не потонул... Сандро спас! Он как увидел, что я провалился, так следом и сиганул, подволок меня к берегу, а тут уж Сергей нас обоих вытащил.

Оба мы как есть мокрехонькие, а на дворе стужа, «верховка» воеет, насквозь прохватывает. Вся наша одежда враз ледком



Я замешкался, лед подо мной в мелкую крошку...

покрываться начала. Забежали мы в распадок, где потише; Сергей кинулся сухостой собирать. А у меня трут и порох в рожке лежали, не промокли. Однако, пока огонь вздули, промерз и до самой души, а Сандро и того хуже. Сергей такой кострище навалил, хоть быка жарь. Разделись мы с Сандро, всю одежду развесили сушить, чаю заварили: согрелись, значит, и снаружи и внутри. Ночь переспали — ничего. Ну, думаю, обошлось, можно дальше идти.

А оно не обошлось... К вечеру у Сандро глаза красные, дышит трудно, кашлять начал. Однако виду не подает, словно бы ничуть ничего, и все нас торопит. День прошли, другой, и вижу я, что идет он из последних сил, вот-вот совсем надорвется. Я Сергею и говорю, что, мол, может, остановиться, а то пропадет человек. Подступили мы к Сандро, а он и слышать не хочет.

«Как, — говорит, — вы не понимаете? Каждый день на свободе дорог, и нельзя его зря тратить... Никаких задержек и остановок!»

А на другой день прямо на ходу свалился. До этой самой займки верст двадцать оставалось. Сделал я вроде носилок, положили на них Сандро и понесли. Принесли мы его к Нефёду. Горит весь, мучается Сандро, и мы около него мучаемся — ничем помочь не можем. Огуречный рассол — вот те и все лекарства. В то клятое время и фёршала за сто верст не сыщешь...

Хворь эта вконец его надломила. Тут, известно, все сразу отозвалось. Он ведь в тюрьме сколько-то годов просидел, и жандармы его били, и в ссылку сколько раз усылали, а он каждый раз оттуда бежал и обратно к своему делу ворочался. Все это мне потом уже Сергей рассказал.

Начал Сандро прямо на глазах таять. Отощал, в лице ни кровинки, одни черные глаза горят. Он и сам понимал, что уже не подняться ему, однако ни испугу, ни жалости к себе и настолько вот не показал.

«Помирать, — говорит, — никому не хочется. И мне не хочется. Жизнь я люблю и жить люблю. Ну, что поделаешь... Одно мне горько: рано я умираю. Жизнь отдать нетрудно, а прожить так, чтобы жизнь твоя людям послужила, — это вот

и есть самая настоящая радость. А я еще мало успел, мало сделал — потому мне умирать и обидно...»

Помер Сандро. Похоронили мы его и будто вместе с ним кусок души своей зарыли в землю. Сергей — мужик суровый, как из железа сделанный, а и у того слезы закапали.

Сергея потом я проводил до тракта. Дорóгой он мне все про Сандро рассказывал. Сам он родом с Кавказа и Сергеем вроде учитель в подпольном кружке. Был он человек большого ума, один из большевистских вожаков. И такой отчаянной ловкости, что шпики и жандармы за ним стаями охотились, а он их играючи обводил вокруг пальца... Тенерь бы ему большие дела воровать, а вот не дожил...

Захар Васильевич умолкает. Я оглядываюсь на сидящих за столом: у Нефёда суровое, скорбное лицо; затуманились Папины глаза: по щекам Катеринки торопливо бегут крупные слезы.

Паша забирает Катеринку к себе в кровать, я ложусь на пахучее сено, расстеленное на полу, и передо мною оживают картины услышанного: бегут от стражников ссыльные, бредут, замерзшие и голодные, через снежную тайгу, через пропасти и завалы. Я так ясно вижу и чувствую все, будто и я бреду с ними, дрогну на ветру, ощущаю во рту едкую горечь голода, вязну в сугробах, бегу по завьюженному гнущемуся льду, проваливаюсь в черную ледяную воду... И ведет нас неутомимый, бесстрашный человек с горящими глазами, который больше всего на свете, больше, чем себя, любит людей...

Меня будит монотонное гудение. В распахнутое окно врываются солнце и непрерывный ровный шум. Это гудят пчелы: от самых окон тянутся вереницы ульев, словно домики в игрушечной деревне.

Захар Васильевич и Паша по слегам втаскивают на телегу кадушки с медом. Нефёд топчется тут же, пытается помочь, копапдует, но только мешает им.

Наконец кадушки установлены, увязаны веревками, прикрыты брезентом, и мы идем на могилу. Нас нагоняет Катеринка с огромным ворохом цветов. Небольшой холмик под старым разлатым кедром зарос густой, высокой травой, а по сторонам, как на часах, стоят стройные темные пихточки. Катеринка осторожно кладет цветы на могилу, и мы долго стоим с непокрыты-

ми головами. Задумчиво и печально шелестит крона кедра; в горле у меня появляется комок, который никак не дает вздохнуть.

Потом мы пускаемся в обратный путь. Солнце кутается в облака, они опускаются все ниже, лохматыми хвостами цепляются за вершины деревьев на гривах, сыплют холодный дождь. Мы промокаем, однако нам не холодно, так как все время приходится помогать Грозному. Воз не очень тяжел, но каждое упавшее дерево становится нелегким препятствием. Грозный, мотаясь в оглоблях, пригнув морду к самой земле, с трудом вытягивает телегу и каждый раз останавливается отдыхать. Бока его круто поднимаются и опадают, от него валит пар, и от нас тоже.

К вечеру мы добираемся только до стожков в котловине. Захар Васильевич распрягает Грозного, а мы зажигаем костер.

— Как же мы тут ночевать будем? — спрашивает Катеринка.

— Переночуем за милую душу, — отвечает Захар Васильевич. — Ройте себе норки в стсжке...

Мы надергиваем из стога сено, так что в стоге образуются две узкие норы, залезаем в них, а Захар Васильевич снаружи затыкает их надерганным сеном. Сначала мне кажется, что в мокрой одежде здесь еще больше замерзнешь и лучше было сидеть у костра, но потом становится тепло и даже жарко. Духовитое сено совершенно сухо, и не то от его запаха, не то от усталости и теплоты, разливающейся по телу, сладко кружится голова. Где-то, умащиваясь, шебаршит сеном Катеринка, а может быть, мыши...

— Эй, помощнички! — слышу я наутро голос Захара Васильевича. — Бude спать-то, вылезайте!

Я вылезаю из норы, и одновременно из своей выскакивает Катеринка. Мы взглядываем друг на друга и падаем от хохота: сенная труха облепила нас с ног до головы.

На небе ни облачка. Зелень, омытая дождем, помолодела, но это уже последняя вспышка перед осенним увяданием. Вон зажелтели гибкие березки, краснеет дрожащая от холода осина, облетают оловянные листья тальника...

СВЕТ НА ЗЕМЛЕ

На обратном пути Генька побывал у Антона на электростанции. Там уже опробовали турбину и устанавливали генератор, который будет давать электрический ток.

Мы рассказали Геннадию про поездку на заимку, как Захар Васильевич вел большевиков через тайгу.

— Знаете что? — предложил он. — Надо, чтобы про это узнали и ребята и большие. Пошли к Даше...

Даша сказала, что это будет просто замечательно, надо обязательно организовать. Захар Васильевич сначала стеснялся, отказывался делать доклад («Сроду я их делал когда? Вся моя наука — тайга да винтовка»), но наконец согласился. Мы с Катеринкой написали объявления и приклеили их на дверях избы-читальни и правления, а в назначенный день обежали все избы и всем сказали, чтобы приходили.

Народу набилась полная изба. Пришел и Васька. Не было только его дружков Фимки и Сеньки. Фимку мать изругала за то, что лодырь, и послала собирать валежник — печь топить нечем, а Сенька пошел ему помогать.

Захар Васильевич пришел в новой рубашке и пиджаке, видно только что вынутом из сундука, — складки торчали на нем в разные стороны, словно железные углы. Он садится, вытирает вспотевшее лицо и начинает сначала негромко и запинаясь, потом увлекается. Он пристально смотрит куда-то поверх голов, будто там перед его глазами опять возникли картины пережитого и он лишь описывает то, что видится ему сейчас...

Давно окончен рассказ, душно в переполненной избе, коптит забытая всеми лампа, и вместе с копотью ползет по комнате керосиновый чад. Удивленная непривычной тишиной, припала к окнам глухая темень.

Наконец Федор Елизарович спохватывается и поправляет фитиль. С лиц сбегает оцепенение, но все молчат, и только в затененном углу раздается долгий, прерывистый вздох.

— Вот, дорогие товарищи, — негромко и торжественно говорит Федор Елизарович, — без всякой агитации вы видите, в чем суть дела! Боле половины из вас тогда на свете не было, а кто и был, так, ровно кутенок в потемках, жил, как жилось.

А сквозь эту горькую жизнь и темноту шли самоотверженные люди и звали народ на дорогу счастливой жизни. Сколько они мук приняли, невозможно даже сказать. Сколько из них головы сложили и на царской плахе, и в нашей матушке-Сибири! И мы всегда должны помнить, что люди эту жизнь свою положили за нас с вами...

Генька вскакивает:

— Дядя Федя, можно мне сказать?.. Нельзя ли, чтобы сделать памятник старым большевикам? И настоящий, каменный?

Генькино предложение всем нравится, в избе одобрительно гудят голоса, но Федор Елизарович поднимает руку:

— Памятник сделать, конечно, можно. Дело это хорошее, чтобы всегда перед глазами напоминание было людям. Однако тот человек не о памятнике мечту имел, а о жизни, чтобы она человеку не в тягость была, а в радость. И должны мы, дорогие товарищи, подумать про то, как достигнуть такой жизни, о которой они мечтали для нас и за которую, то есть за эту нашу жизнь, сложили свои головы...

Но тут с улицы доносится вопль, и в дверь врывается Фимка. Еле переводя дух и вытаращив перепуганные глаза, он кричит с порога:

— Скорее!.. Колтубы горят! С гривы всё видать...

С грохотом летят на пол лавки, изба мгновенно пустеет, и в темноте уже слышны только топот десятков ног, хриплое дыхание бегущих и треск кустов. Толпа взбегает на гриву и сразу же затихает: над Колтубами стоит зарево...

Колтубы далеко, да и все равно их нельзя увидеть — они в низинке, ничего нельзя услышать, но мне видится, как мечутся в пламени люди, слышится, как кричат и плачут перепуганные ребятки, ревет обезумевший скот, а огонь, шипя и стреляя искрами, яростно охватывает избы, перекидывается на тайгу...

— Что-то это не похоже на пожар, — говорит Анисим, Пашкин отец.

Зарево и в самом деле какое-то необычное — ровное и неподвижное, а не трепетное, как бывает при пожаре.

— Ладно, не будем гадать да время терять, — решает Иван Потапович. — Там разберемся... А ну, быстро, товарищи, за топорами, лопатами — и на конюшню...

Так же стремительно, ломая кусты, толпа скатывается с гри-вы, на несколько минут тает и вновь вскипает у конюшни. Анисим, Иван Потапович и дядя Федя запрягают лошадей в телеги, в которые сваливают лопаты и топоры. Мы с Генькой прыгаем в телегу тоже, парни вскакивают на неоседланных лошадей, и все карьером вылетаем на Колтубовскую дорогу.

Иван Потапович, стоя в телеге, нахлестывает лошадей, но тревога передалась уже и лошадям, и они, распластавшись, сердито всхрапывая, летят все быстрее. И кажется, что врассыпную бросаются кусты, в ужасе взмахивают мохнатыми лапами ели; телеги неистово гремят по камням, запрокидываются на корневищах и летят, летят туда, где на облаках маячит неяркий отсвет. По временам он исчезает за гривами, за зубчатой стеной тайги, потом появляется снова — неизменный, неподвижный и потому особенно страшный...

Так мчимся мы, еле различая дорогу, потеряв счет верстам и времени.

И вдруг навстречу из темноты на хрипящей лошади вырывается всадник.

— Стой! — кричит он. — Потапыч, не гони! Это не пожар...

— А что же там, костры жгут? — сердито отзывается Иван Потапович.

— Там свет... Просто свет...

Мы вылетаем на увал, и мне кажется, что солнце раздробилось на маленькие осколки и упало на Колтубы. Яркий белый свет бьет из окон, цепочка маленьких солнц повисла над улицами, и ослепительным сверканьем залита плотина. Весь народ на улицах, но никто не бежит и не кричит от ужаса; порыв ветра доносит праздничный гомон и развеселую песню.

— А-ах, курицыны дети! — восхищенно говорит Иван Потапович. — Это же они станцию пустили...

Невиданный свет стоит над Колтубами, и, кажется, тайга, настороженная и притихшая, попятилась от села, а плотные облака, привлеченные сверканьем огней, спускаются все ниже, и отблеск на них пламенеет все горячее.

— Ох, ну и здорово! — восторженно вскрикивает Аннушка Трегубова. (Она и Даша тоже, оказывается, скакали верхами.) — Поехали скорее, поглядим!..

— Пстой! — окликает ее Иван Потапович. — Куда ж мы так — с лопатами и топорами... Сраму не оберешься...

— Да чего там! — отзывается Лепехин. — Кто же знал, что такое дело! Ничего...

Аннушка дергает повод, и ее будто ветром сдувает с увала. Следом трогаемся и мы, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее — нас гонит нетерпение.

На улицах так светло, что можно читать. Мне хочется забежать в каждую избу, поглядеть, как горят эти маленькие стеклянные солнца у потолков, но мы скачем к плотине. Возле брызжущей белым пламенем электростанции шумит толпа. Здесь председатель сельсовета Кузьма Степанович Коржов, однорукий председатель «Зари» Лапшин в своем офицерском кителе, на котором сверкают ордена и медали, и сияющий Антон.

По белой шелковой рубаше Антона уже расплзлись темные масляные пятна, но он даже, кажется, гордится этими пятнами, будто это вовсе и не пятна, а ордена. Здесь же Савелий Максимович. Лицо его утратило всегдашнюю серьезность, с него не сходит широкая улыбка.

Антон первый замечает нас.

— Вона, — кричит он, — тыжовцы в гости прискакали! Вот это друзья!

— С праздником вас! — говорит Иван Потапович, пожимая руки. — Однако мы ведь того... Мы думали — может, занялось у вас тут...

В ответ раздается безудержный хохот. Наши сначала смущенно улыбаются, потом и сами начинают хохотать.

— За заботу спасибо! — говорит Лапшин. — А приехали все одно кстати — сейчас только гостей и принимать. Мы думали на той неделе открывать торжественно, по всей форме. А ребята поднажали, досрочно закончили монтаж, ну, народ и не утерпел: чего, мол, откладывать...

Антон ведет нас на станцию, все объясняет и показывает. Колтубовцы все это видели и слышали, конечно, не один раз, но и они смотрят и слушают с напряженным вниманием, будто тоже вот только сейчас увидели действующую электростанцию.

Иногда Антон запинается, затрудняясь что-либо объяснить,

и тогда ему коротко и негромко подсказывает какой-то долговязый парень. Парня этого я приметил в Колтубах еще раньше и думал, что это какое-нибудь начальство. Он всегда держался спокойно, и все обращались к нему очень уважительно, словно к начальнику, хотя на начальника он вовсе не похож: нос у него вздернут, как у мальчишки, русые волосы торчат на затылке «петухами», а на пухлых щеках и подбородке смешные ямочки. Он еще совсем молодой, но все зовут его по имени-отчеству: Василием Федоровичем. Оказалось, что это техник из «Сель-электро», наблюдавший за постройкой гидростанции.

В просторном зале пустовато и чисто, как в больнице. Посреди зала негромко гудит-поет генератор, где-то внизу, под полом, курлычет вода. Возле стены сверкает щит, словно высеченный из белого льда: на нем всякие медные и молочно-белые штучки, черные круги приборов с дрожащими стрелками.

— Н-да, храмина! — восхищенно говорит дядя Федя. — По неволе позавидуешь.

— А чего завидовать? — откликается Коржов. — Вам, чай, тоже не заказано. Берите пример с «Зари», да и у себя принимайтесь...

Иван Потапович огорченно машет рукой:

— Куда, разве нам поднять такую махину!..

Нас ведут на скотный двор, показывают лихо стрекочущую соломорезку, движимую маленьким моторчиком; потом мотором же запускают триер.

— Планы у нас дальнего прицела, — говорит Лапшин. — Пока вот только моторов маловато, а разживемся — сепараторы подключим, воду насосом гнать будем на конюшню, в хлева, а там — и по избам. Ну, конечно, и молотить теперь электричеством будем...

— А на водохранилище, — подхватывает Антон, — устроим водную станцию: вышку, лодки. А зимой — каток. Как в городе: с освещением и музыкой...

Мы слушаем с восхищением и все более возрастающей завистью. Почему же нельзя у нас? Ведь Тыжа течет под самой деревней, так почему мы не можем построить свою электро-станцию?

Все чаще я замечаю, как наши бросают на Ивана Потапови-

ча требовательные, вопрошающие взгляды, а он все больше и больше суровеет.

На прощанье колтубовцы угощают нас. Они от души радуются своей станции, гордятся ею и даже хвастают. Мы бы тоже, наверно, хвастались, будь у нас такая станция, но хвастаться нам нечем...

Возвращаемся мы в мрачном молчании. Время от времени то один, то другой оборачивается назад — туда, где за гривами горят отблески на облаках. Они, как магнит, притягивают наши взгляды и мысли, и, хотя все молчат, я знаю, что все думают об одном и том же.

— Эх и заживут они теперь! — мечтательно говорит Аннушка, едущая рядом с нами.

Иван Потапович вскипает. Он, как и все, хотел бы, чтобы у нас была своя электростанция, и то, что ее нет и все обращаются к нему, он, должно быть, ощущает как упрек и потому сердится.

— А ты на чужое не зарься! — сердито отвечает он. — Не завидуй чужому-то...

— Мы не завидуем, Иван Потапович, — откликается Даша. — А хорошему как не радоваться?

— Тут, по-моему, — говорит подсевший к нам на телегу Федор Елизарович, — зависти нету, а если есть, так это ничего. Зависть разная бывает. Одно дело, когда человек только о себе думает, под себя гребет: пусть у других не будет, лишь бы у него было, — это одно. А если он увидел хорошее и сам к тому тянется — ничего в этом дурного нет, эта зависть человеку на пользу. Мне такая зависть нравится... А колтубовцы молодцы, ничего не скажешь!

— Да разве я не понимаю? Только ножки-то надо тянуть по одежке, замахиваться по силе-возможности, а не наобум. Колтубовцы и мне душу растравили... А разве мы им ровня? Ты же член правления, знаешь, сколько у нас в кошельке, так чего зря говорить!..

— Мы тому кошельку не сторожа, а хозяева, — как-то неопределенно говорит Федор Елизарович.

Иван Потапович вместо ответа хлопчет лошадь, и разговор больше не возобновляется до самой деревни.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Катеринка растравила нас еще больше: она без конца рассказывала, как много света было у них в городе, как еду готовили на электрической плитке, как ходили трамваи и что даже бывают вывески из электрических лампочек или красных и синих трубок.

— Трубки — шут с ними! — сказал Генька. — Нам бы только станцию...

Мы пошли к Даше, чтобы поговорить с ней о вчерашнем, но не застали ее: еще поутру она вместе с Федором Елизаровичем уехала в Колтубы.

Они приехали днем, и не одни, а вместе с Коржовым и техником. Даша и техник сразу же ушли к Тыже, поднялись до излучины, потом повернули обратно и спустились по Тыже километров пять или даже больше, то и дело останавливаясь и осматривая берега.

Катеринка догадалась первая.

— Ой, ребята! — закричала она. — По-моему, они место выбирают. Для станции!

Даша, должно быть, по дороге рассорилась с техником, потому что, когда они вернулись, лицо у нее было сердитое. Мы не решились спрашивать, а просто следом за ними юркнули в правление.

— Ну как, Василий Федорыч? — встретил техника Коржов.

Техник начал объяснять, и с каждым его словом один за другим гасли огни, которые в нашем воображении уже горели над деревней.

— Режим Тыжи, — сказал он, — крайне неустойчив, поэтому надо строить водохранилище большой емкости и мощную плотину, метров в пятнадцать высотой и метров в пятьдесят длиной. Такое сооружение колхозу не поднять. Удобное место для плотины расположено в пяти километрах ниже деревни, но, если там ставить плотину, вода зальет поля, а частью и самую деревню. Станцию можно построить значительной мощности, но это будет впустую, так как ее мощность колхоз не использует и на одну пятую, а строить в расчете на другие колхозы нет смысла из-за больших расстояний.

Коржов еще о чем-то расспрашивал техника, но ответы были так же неутешительны. Все ужасно расстроились.

— Вот она, надеюшка! — вздохнул Захар Васильевич. — Поманила — и зась!

— Ничего, товарищи, — сказал, вставая, Коржов. — Не падайте духом. Не годится такой путь — поищем другой...

Сказано это было, наверно, просто для утешения, — так все и поняли.

Через несколько дней Федор Елизарович и Даша опять уехали в Колтубы и оттуда прислали нарочного за Иваном Потаповичем и моим отцом — их зачем-то вызывали в сельсовет. Вернулись они все вместе, и с ними опять были Коржов с техником, а верхами прискакали Антон и председатель «Зари» Лапшин. Иван Потапович разослал нас по деревне сказать, чтобы все немедленно шли на очень важное собрание.

За стол сели приезжие и все наше правление.

— Товарищи колхозники! — сказал Иван Потапович. — Мы было с вами обнадежились завести у себя такую же гидростанцию, как в Колтубах. Ничего из той надежды не вышло, потому дело это для нас непосильное. Однако наши соседи, то есть колхоз «Заря» и сельсовет, по инициативе товарищей коммунистов и комсомольцев, решили нам помочь, чтобы и у нас в Тыже загорелись лампочки Ильича.

Что тут было! Все закричали, захлопали, и такое поднялось, что Иван Потапович попытался было утихомирить, а потом махнул рукой и сам начал хлопать гостям.

Когда немного поутихло, председатель сельсовета Коржов сказал, что станция «Зари» рассчитана на две турбины. Сейчас пущена одна, и ее мощности хватит на все нынешние нужды колхоза с избытком; значит, и сейчас у них есть избыточная мощность, а при пуске второй турбины ее будет еще больше. Поэтому «Заря» без ущерба для себя может снабжать электрической энергией Тыжу. Для этого придется провести немалую работу и понести затраты, но они с нашими руководителями прикидывали, и выходит, что это вещь реальная и вполне достижимая, и теперь они интересуются, какое будет наше мнение и согласны ли мы начать такое большое дело.

Все опять захлопали и закричали, что какие могут быть раз-

говоры, все согласны, надо начинать и нечего долго разговаривать.

Иван Потапович поднялся и сказал, что горлом такое дело не решают, он будет голосовать и просит поднять руки всех, кто «за».

Все руки сразу же взвились вверх. Иван Потапович начал считать и, увидев, что я, Генька и другие ребята тоже подняли руки, рассердился:

— А вы чего? Люди серьезное дело решают, а вам забава? А ну, опустите руки!

— Одну минуточку, товарищ Фролов, — сказал Антон. — Они, конечно, несовершеннолетние и покуда права голоса не имеют. Только в данном случае, по-моему, нельзя подходить формально... Они этого не меньше хотят и работать будут. Так что, выходит, вроде и они имеют голос.

— Правильно! — поддержал Федор Елизарович. — Это и для них жизненный вопрос.

Иван Потапович растерянно оглянулся на Коржова.

— А ты лучше «против» голосуй, — посмеиваясь предложил тот.

Все даже притихли, когда Иван Потапович предложил поднять руки тем, кто против, и стали оглядываться назад, как бы опасаясь, что там такие найдутся...

— Значит, принято единогласно, — сказал Иван Потапович.

— А теперь, товарищи, позвольте мне, — сказал Антон. — В прошлом году вы помогли отстоять колтубовские хлеба от пала. И нынче вы хотя и по ошибке, а снова кинулись нам на подмогу. Мы это помним. В том и сила наша, товарищи, что и в беде и в радости мы действуем сообща... Самая трудоемкая работа — это прокладка линии от Колтубов к вам. Мы, колтубовцы, тоже примем участие в этом деле. Комсомольцы и молодежь поручили мне передать вам, что они предлагают вести линию с двух концов сразу и вызывают молодежь Тыжи на соревнование...

Ах, Антон, Антон! Как только он уцелел тогда! Поднялся такой крик, так его тискали и мяли, а потом так подбросили вверх, что, не оттолкнись он вовремя от потолка, его бы ушибли о потолочный брус...

И в нашу жизнь вошло прекрасное, как песня, и горячее, как сражение, строительство.

Иван Потапович и мой отец на другой день отправились в Колтубы, чтобы подписать межколхозный договор, а потом ехать дальше, в аймак, добывать провода и все, что требуется. Техник, Антон и трое наших парней пошли пешком, чтобы наметить трассу линии. Мы хотели идти с ними, но Даша нас не пустила, сказав, что наше дело сейчас — помогать готовить инструменты.

Когда-то робкая, застенчивая, боявшаяся при всех сказать слово, Даша Куломзина совсем переменилась. Она и теперь была застенчива, говорила по-прежнему мало, но если, краснея и смущаясь, что-нибудь говорила, то потом сбить ее с этого было уже невозможно. Когда пестовскую избу переделывали под читальню, она не командовала и не распоряжалась, а первая бралась за самое трудное, и потом, если что-нибудь предлагала сделать, ее всегда слушались.

Она настояла в правлении, чтобы голубоглазую Пашу, вернувшуюся с заимки, отправили в аймак на курсы пчеловодов, а теперь, когда заварилась вся каша со строительством, стала первой помощницей Федора Елизаровича и Антона...

Мы собрали топоры, лопаты и под наблюдением дяди Феди наточили их до невиданной остроты. Сам дядя Федя приготовил ломики и кайла, так как в некоторых местах ямы для столбов, наверно, придется долбить в камне.

Пашка все-таки убежал на трассировку линии и, вернувшись, с ученым видом рассуждал об опорах простых и анкерных, о просеках, которые нужно делать, о поворотах, удлиняющих и удорожающих линию.

Трассу наметили. Антон и техник предложили выслать вперед бригаду парней прорубать просеки. Вести линию вдоль дороги, сказал техник, не полагается, но так как у нас движение слабое, то это неопасно, мы будем в основном держаться дороги. Лишь там, где она начинала петлять и уходила в объезд, линия отрывалась от нее и шла напрямик, если участок был не очень труден. Парни должны были прорубить просеки на этих, как сказал техник, «спрямлениях», заготовить и подтащить к трассе столбы для опор. Следом отправлялись мы — девушки и ребята — копать ямы в отмеченных колышками местах.

Геннадий предложил свести всех ребят в отдельную бригаду, чтобы потом не говорили, что мы только «помогали», а сами ничего не сделали. Но, когда Даша собрала всех ребят и внесла такое предложение, Васька Щербатый крикнул, что они так не хотят.

— Почему? — спросила Даша.

— Мы с ними не будем, вот и всё! Пускай они сами и мы сами, тогда поглядим...

Он не сказал, на что поглядим, но и без того было ясно, что они надеялись нас обогнать.

— Что ж, — сказал Антон, — пусть так, злей будут...

Мы и вправду озлились. Почему этот Васька воображает, что он самый лучший работник?

Решили, что у нас будут три бригады — девушек, Геньки и Васьки Щербатого, — а главным бригадиром, «прорабом», как сказал Антон, будет Даша.

Бригада Щербатого начала от самой деревни, дальше шел участок Аннушки Трегубовой, а потом уже наш. Березовый колок скрыл от нас обе бригады, мы не знали, что там делается, и нас все время мучила эта неизвестность. К тому же нам попался каменистый участок, лопаты пришлось сразу же отбросить и взяться за кайла.

Пашка постукал, постукал и сел отдыхать, сказав, что с этим гранитом ничего не сделаешь, здесь нужен тол или аммонал. Генька накричал на него, потому что это вовсе не гранит, а песчаник — он, видно, зря ходил в экспедицию! — и, конечно, если сразу садиться отдыхать, нас обязательно обгонят... А Катеринка, как только ее сменяли, бежала за колок посмотреть, как двигаются те бригады. Генька пристыдил и ее: смена дается, чтобы отдыхать, а не бегать, и нечего оглядываться, а то можно подумать, что мы их боимся... Словом, он оказался настоящим бригадиром и здорово следил за порядком.

И все-таки Васькина бригада нас обогнала. До чего же они форсили и задавались, когда шли мимо! Фимка опять начал кривляться и предлагать буксир. Прямо хоть прячься от стыда в эти недорытые ямы! Но тут подошла Даша и, увидев, как мы расстроились, сказала, что это ничего не значит: ямы в земле копать легче, поэтому они считаются три за одну в камне. То-

гда мы так взялись, что только щебень летел из-под кайла, и к ночи кончили свой участок.

На другой день мы обогнали Васькину бригаду, но вовсе не задавались, как они, а прошли мимо, будто так и надо. Теперь они бились над камнем, а нам достался землистый участок. Мы обрадовались, но оказалось — раньше времени: земля была только сверху, четверти на три; потом шли мелкие камни, а дальше — сплошняк. Долбить его кайлом трудно, и Генька послал Пашку к дяде Феде за клиньями и молотками. Клинья мы забивали в трещины и выламывали потом целые глыбы. Так пошло быстрее, но все-таки мы успели очень мало.

Вечером мы собрались у костра, и Даша объявила, кто сколько сделал. Васькина бригада обогнала нашу на две ямы. Конечно, они могли нас обогнать, если у нас Катеринка и Любушка — слабосильные, Пашка отдыхает каждую минуту, а у них еще работает Илюшка Грачев и слабосильный лишь Вася Маленький.

Вася Маленький живет у своей тетки Белокурихи; он еще только перешел в третий класс и «дикий» совсем не компания, но он всегда хвостом ходит за Васькой Щербатым, слушается его во всем, и тот его не гонит, а возится с ним, как нянька.

Генька сказал, что любой ценой — не встать нам с этого места! — мы должны их перегнать, и все согласились, что, конечно, должны.

Мы бы и догнали, если бы не Иван Потапович... Он, мой отец и молодой техник везли мотки белого и черного провода, длинные связки похожих на бабки изоляторов и еще что-то. Перед тем начался затяжной холодный дождь. Мы работали без передышки, но все-таки сильно замерзли и были синие-пресиние. Техник шагал прямо по трассе, проверяя просеки и ямы. Увидя нас, он удивленно поднял брови, свернул к дороге, где ехала подвода, и что-то сказал Ивану Потаповичу. Тот, поглядев на нас, нахмурился.

— Дарья! — закричал он. — Ты что детишек морозишь? А ну, вы, команда, марш на телегу!

Мы кричали, протестовали, но Иван Потапович все-таки забрал с собой Катеринку, Любушку и Васю Маленького, а нам приказал к вечеру возвращаться в деревню.



Началась самая трудная работа — установка опор и подвеска проводов.

Теперь Васькина бригада спокойно обогнала нас еще на одну яму. И мы так и не увидели, как встретились обе партии — наши и колтубовские.

На линии остались только парни, к ним присоединились мужчины, потому что началась самая трудная работа — установка опор и подвеска проводов. Ребятам Иван Потапович запретил там показываться, чтобы кого-нибудь не придавило, и нам осталось копать ямы для столбов в самой деревне. Мы лишь только издали видели, как баграми и длинными ухватами доводят столбы до места, как разматывают с опромных деревянных барабанов проволоку по линии и потом таями натягивают между опорами.

Техник пометил на стенах места вводов, прочертил мелом линии для проводки в избах, и помощник Антона по электростанции начал делать внутреннюю проводку. Пашка совсем бросил копать и, как привязанный, ходил за ним следом, обвешав себя мотками провода, связками роликов, и держался так, будто он самый главный мастер и есть. Он таки стал монтером! Во всяком случае, в своей избе Пашка сделал всю проводку сам, а Антонов помощник только смотрел, чтобы он чего не испортил.

И вот уже забелели на трассе то одиночные, то двойные, вроде буквы «А», опоры; загудели провода; у въезда в деревню на помосте угнездилился черный, в трубках трансформатор; в избах у потолков, как льдинки, поблескивали пока еще холодные, безжизненные лампочки.

Техник и Антон проверили всю проводку в избах и ушли пешком вдоль трассы, чтобы еще раз удостовериться, что все в порядке, пообещав вечером вернуться.

Ох, как же долго не наступал этот вечер!

Мы украсили избу-читальню зеленью, повесили портреты, постелили на стол новую скатерть, привезенную Иваном Потаповичем из аймака, бегали к Катеринкиной матери, к Пашке и Геньке, где стряпали угощение, выбегали за околицу... а солнце прилипло к одному месту и вовсе не собиралось опускаться.

Торжество подключения было назначено на семь часов, но уже к шести все — и большие и малые — собрались в избу-читальню, где должен был состояться митинг. Мы не могли усидеть на месте и без конца выскакивали на крыльцо, бегали за

околицу посмотреть, не едут ли, и заодно послушать, как звонко и торжественно поют под ветром провода. Наконец они приехали: Антон со своим баяном, Коржов и Лапшин, долговязый техник, колтубовские парни и девушки, помогавшие строить линию. Все сели, и от тусклого света керосиновой лампы на стенах, как часовые, вытянулись длинные тени.

Антон снял с руки часы и положил перед собой:

— Они сверены со станционными. Осталось десять минут... Давайте поговорим, что ли, чего же в молчанку играть?

Все стесненно заулыбались, но разговор не завязался, а, наоборот, стало еще тише.

Видеть движение стрелок могли только сидящие за столом, но все не спускали с часов глаз, словно именно там из них должен был вспыхнуть с мучительным напряжением ожидаемый свет.

— Ну, товарищи... — сказал Коржов, приподнимая руку.

И в ту же секунду из-под потолка брызнуло, режнуло по глазам ослепительное сверкание. Не то стон, не то вздох пронесся по избе, все заговорили, как-то блаженно засмеялись и захлопали, захлопали изо всех сил. Кому мы хлопали? Свету, люющемуся сверху, колтубовцам, счастливым не менее нас и тоже хлопающим, или тому, кого не было среди нас и который все-таки был с нами, ласково щурясь с портрета на стене, улыбаясь нашей радости и радуясь вместе с нами?.. Так оно и было, потому что все повернулись к нему и, что-то говоря, неистово били в ладоши...

Иван Потапович поднял одну руку, затем другую, потом обе сразу и наконец немного приостановил шум.

— Товарищи! — начал он. — Разрешите наш торжественный митинг...

Но кончить ему не удалось. Сзади началось какое-то движение, и вдруг все, толкаясь, прыгая через лавки, ринулись к двери. Пробившись к дверям, каждый стремглав бросался к своей избе. И вот одна за другой избы озарялись светом, рассекая сияющими оконницами холодную тьму осенней ночи.

У нас темно! Я тоже бросился домой. Дрожащими руками нащупал выключатель — и только тогда вздохнул... Облитые белым светом, стояли в дверях прибежавшие следом отец и мать;

Соня визжала от восторга и тянулась к маленькому солнцу под потолком...

Мало-помалу все опять собрались в избе-читальне, но Иван Потапович тицетно зазывал в помещение — все толпились у крыльца, словно боясь, что с их уходом погаснут огни в домах.

— А давай, Фролов, проведем здесь, — сказал вышедший на крыльцо Коржов. — Оно даже нагляднее получится.

Я, как и все, хлопал каждому оратору, не всегда понимая и даже не слыша, что он говорил, и запомнилось мне только то, что сказал Федор Елизарович, выступавший последним:

— Живем мы, дорогие товарищи, на краю советской земли. Но и тут мы находимся в самой середке жизни, потому как везде, у всех у нас одна цель и одно стремление — счастье человека... Что говорить! Мы с вами не Днепрогэс построили... Но поглядите на эти огни. О чем они говорят? А говорят они, что сделали мы огромный шаг вперед. И этот свет на земле освещает нам линию жизни, дорогу в лучшую жизнь!..

Долго потом на гривах раздаются певучие переливы баянов, веселые голоса, и даже частушки Аннушки Трегубовой кажутся мне трогательной, прекрасной песней.

Горят над Тыжей огни, и от этого света на земле меркнут, отодвигаются в холодную высь крупные августовские звезды.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Почему это так получается? Чем ближе конец учебного года, тем все чаще думаешь: скорей бы уж кончилось, скорей отложить книжки в сторону, забыть об уроках, домашних заданиях и вволю погулять! Но пройдут две-три недели, и, хотя гулять хочется не меньше, начинаешь скучать о школе, об уроках и шумных переменах, о звонке, о своей исписанной и порядком исцарапанной, но такой удобной парте, об увлекательных пионерских сборах и напряженной тишине во время письменных... Вот и теперь нами все больше и больше овладевало нетерпение, я все чаще перелистывал настенный календарь, подсчитывая оставшиеся дни. А когда наступило первое сентября, мы спозаранку ушли в Колтубы.

Первым делом мы побежали к Антону, на электростанцию.

Солнышко сверкает в зеркале пруда так, что больно глазам. Несколько дней назад прошли дожди, уровень воды поднялся и подступил к самому гребню плотины. Подальше от плотины вода кажется совершенно неподвижной — ни волн, ни ряби, будто стеклянная, но она движется — вся, всем зеркалом. Ближе к плотине движение это все убыстряется, пока зеркало не переходит в плавный, словно отглаженный, каскад на водосбросе, и здесь зеркало ломается, вода с шумом падает вниз, пенясь и хлопая, несется к Тыже.

Антону этот шум нисколько не мешает. Он как ни в чем не бывало насвистывает и распаковывает ящики: прибыли вторая турбина и генератор.

— А, орлы, прилетели! — говорит он, увидя нас. — Ну, как дела? В школу собрались?..

Мы говорим о разных разностях, ждем, пока из ящика не появляются кожух турбины и черный, блистающий лаковой краской и красной медью генератор. Потом бежим в школу.

Над входом висит красное полотнище с надписью: «Добро пожаловать!» Это, конечно, работа Марии Сергеевны; никто, кроме нее, не умеет так аккуратно и красиво писать лозунги. А вон и она! Мария Сергеевна приветливо машет нам рукой из окна класса.

— Здравствуйте, ребята! С праздником вас! Идите сюда... Ох, какие же вы большие стали! — широко открывая глаза и улыбаясь, говорит Мария Сергеевна. — А ну-ка, ну-ка, покажитесь...

Она нисколько не изменилась. Тот же черный сарафан и белая кофточка на ней, так же высокой короной обвита вокруг головы толстая русая коса, те же веселые глаза и смешливые ямочки на щеках. Такая же худенькая и подвижная, как была.

Мария Сергеевна весело тормозит нас, расспрашивает и в то же время продолжает свое дело — расставляет цветы на окнах и на столике для учителя. Ей помогает Пелагея Лукьяновна, сторожиха — наш самый строгий угнетатель (ни от кого нам не попадало так за баловство, как от нее) и всегдашняя спасительница (кто еще зашьет почему-то вдруг порвавшуюся на перемене рубашку?). Мы тоже начинаем помогать, переходим из класса в

класс, и, конечно, рассказы наши получаются очень беспорядочными и сумбурными.

— Знаете что? — говорит Мария Сергеевна. — После уроков вы мне все расскажете по порядку, а сейчас все равно не успеете, вон уже ребята собираются...

В самом деле, школьный двор гудит от голосов, гулко шлепается на землю волейбольный мяч.

А сколько нанесли цветов! Почти все девчущки пришли с целыми охапками. Уже не только на окнах и столах, даже на партах пламенеют и синеют яркие осенние цветы.

Пришли не только школьники, но и взрослые — привели малышей, которые сегодня первый раз сядут за парты. Малыши держатся застенчиво, стараются делать строгие, серьезные лица. Но какая уж там строгость, если лица их цветут от радости и рты растягиваются до ушей от гордости и удовольствия — они тоже школьники!

На крыльцо выходит Пелагея Лукьяновна, поднимает руку, и над школьным двором разносится такой знакомый и долгожданный звонок! Вся орава ребят, топоча на крыльце, с гамом устремляется к дверям.

— Тише вы, сорванцы! — сердито говорит Пелагея Лукьяновна, но лицо ее вовсе не сердито, и сморщилось оно не только от солнца, бьющего прямо в глаза, а и от доброй улыбки. Она ведь тоже соскучилась по этим сорванцам.

— Ребята! Ребята! — звенит голос Марии Сергеевны. — Пропустите сначала Первогодков! Сегодня прежде всего их праздник...

Первогодки смущенным, притихшим табунком поднимаются на крыльцо, а мы стоим молча, как почетный караул; потом следом за ними поднимаемся и идем в свой класс.

Он заново побелен, от доски и парт пахнет свежей краской — так что сразу кажется незнакомым. Но это все тот же, наш класс! Вон на доске, даже сквозь свежую краску, заметна длинная царапина: это когда-то мне попался кусок твердого мела, и я слишком усердно провел им черту. А на нашей парте Генька еще в пятом классе вырезал рядом с дыркой для чернильницы самолет, и хотя он закрашен, но все равно, круто задрав нос, несется куда-то в своем бесконечном полете...



Стихает гул в зале. В коридоре раздаются шаги— это педагоги расходятся по классам. Мы взбудоражены, но тоже затишаем в напряженном ожидании: сегодня первый урок Савелия Максимовича.

Он входит, прищурившись оглядывает класс и негромко говорит:

— Здравствуйте, ребята!

— Здравс-с!..— гремим мы в ответ.

Савелий Максимович отмечает в журнале явку, потом, поглаживая седую бородку клинышком, с полминуты задумчиво смотрит в открытое окно на горы и тайгу, затем оглядывается на нас:

— Мы с вами будем изучать географию СССР. Что такое

география вообще, вы знаете — наука о Земле, земледование. Такой она была, такой и осталась в капиталистических странах. Но география нашей Родины — это совсем особая география... Вы сказки любите? — неожиданно спрашивает он.

Все неловко ежась, смущенно улыбаются под его взглядом. Что мы, маленькие, что ли?

— Вы думаете, стали уже слишком большими, чтобы любить их? — улыбается Савелий Максимович. — Я немножко постарше вас, однако сказки очень люблю и не стыжусь признаваться в этом... Дети очень любят сказки, но создавали их не дети и не для детей, а взрослые для взрослых. Когда-то, в очень отдаленные времена, человек был слаб и беспомощен. Он ничего не мог противопоставить могущественным силам природы, чтобы победить ее. И он создавал сказки, мифы о богатырях, героях, о необыкновенных подвигах и чудесах. Вы знаете эти сказки: о Василисе Премудрой, о ковре-самолете, о великанах, раздвигавших горы и выпивавших море, о волшебных строителях и жнецах... Но это не были выдумки для утешения и забавы! Человек в сказках мечтал о том, чего не мог еще сделать, но к чему стремился; мечта вела его вперед, заставляла трудиться, искать, учиться, чтобы осуществить свои замыслы...

География поможет вам узнать и полюбить свою Родину. И не только потому, что вы живете здесь, привыкли к своей земле, что она прекрасна и богата, и не только потому, что наш народ трудолюбив, талантлив и добр, но и потому, что наша Родина — страна, в которой осуществляются лучшие мечты человечества!

В сказках люди изображали косарей, которые за одну ночь убирали урожай. Наши колхозники не уступят этим косарям — они вяжут десятки тысяч снопов в день, а комбайны не только убирают, но и сразу молотят хлеб.

В сказках строители за одну ночь воздвигали дворцы. А на Украине живет каменщик Иван Рахманин, который со своей бригадой за одну смену строит большой дом. И таких каменщиков множество в нашей стране.

Василисе Премудрой и не снилось такое количество тканей, какое дают наши ткачихи.

Раньше сибиряки невесело шутили, называя огурец сибирским яблоком. Так оно и было, потому что яблоки у нас не росли

и огурец был единственным лакомством. А ныне по всей Сибири закладываются фруктовые сады. У нас на Алтае тоже появились невиданные прежде сады. В Онгуде садовод Бабин, а в селе Анос, в колхозе имени Кирова, садовод Воронков выращивают яблоки, груши, вишни. Да что у нас! За Полярным кругом, где не росло ничего, кроме мхов и лишайников, сейчас выращивают овощи.

Великаны в сказках сдвигали и раздвигали горы. Наши инженеры умеют взрывать их так, что выброшенная взрывом земля сама укладывается в насыпь нужного размера и формы.

Сказочные богатыри, сжимая в кулаке камень, могли выжать из него струйку воды. Но разве могут они равняться с нами! В Узбекистане советские люди не только дали воду бесплодной пустыне, которая называлась Голодной степью, но и превращают пустыню в цветущий сад.

И так всюду и во всем. Переменился человек, став свободным, советским, и сам он меняет лицо земли.

Вот почему география СССР — совсем особая география, наука не только о Земле, а о том, как чудесно преобразует землю советский человек...

Я мельком оглядываюсь: Генька даже весь подался вперед, Катеринка, опершись подбородком о сжатые кулачки, не спускает с Савелия Максимовича широко открытых глаз, да и другие затаили дыхание.

Мы готовы, забыв о перемене, сидеть без конца и слушать, но звенит звонок — и Савелий Максимович прогоняет нас на улицу.

И почему раньше мы боялись Савелия Максимовича? Он же совсем не страшный! Прищуренные глаза его кажутся суровыми, но, может, он для того и щурится, чтобы скрыть, что они добрые?..

Потом у нас геометрия, физика, и там тоже все новое и интересное. Однако мы весь день так и остаемся под впечатлением урока географии. Географию я всегда любил, а сейчас она мне кажется самой прекрасной из наук, и я твердо решаю, что никогда у меня не только двоек, но и четверок не будет по географии.

Занятия окончились, а домой уходить не хочется. Пелагея Лукьяновна выдворяет нас из класса — ей нужно убирать. Мы

усаживаемся на крылечке и ждем Марию Сергеевну. Скоро она присоединяется к нам.

— Что же вы на крыльце уселись? — спрашивает она. — Пойдемте к пруду!.. И рассказывайте, как жили без меня.

Нас не нужно просить. И без того не терпится рассказать о походе, дяде Мише, об Антоне и Сандро, как строили линию, — обо всем сразу...

Почему-то теперь нам особенно легко и просто с Марией Сергеевной. Она появилась в школе, когда мы еще только перешли в шестой, преподавала русский язык и литературу и скоро стала старшей пионервожатой. С ней было всегда интересно и весело, но никогда мы не чувствовали себя с нею так хорошо и просто, как сейчас. Или она прежде казалась нам строже и старше? Но ведь сейчас-то она не стала моложе?.. А может, переменилась не она, а мы? Мы-то ведь стали старше...

Катеринка расспрашивает ее о Бийске, но, оказывается, Мария Сергеевна ездила и в Новосибирск — она там выросла и училась, очень любит этот город и жалеет, когда приходится с ним расставаться.

— Так почему же вы обратно не уезжаете? — удивляется Генька.

— Обратно? — переспрашивает Мария Сергеевна, глядя перед собой. — Нет, не хочу!.. Посмотрите, какая прелесть!..

Бездонно прозрачное осеннее небо. Голубая дымка заволокла дали. Середина озера сверкает и искрится под солнцем, а у затененных берегов опрокинулись вниз и глядят не наглядятся на свое отражение окрестные гривы. На них, пробиваясь сквозь темную до черноты зелень пихт и елей, бушует осенний пожар, охвативший осины и березы.

— Дело, конечно, не только в том, что здесь красиво... Как же я брошу школу, свою работу? Я училась и мечтала, строила планы, как буду жить и учить детей. Мне хотелось поскорее окончить институт, чтобы как можно быстрее осуществить свои планы. Окончила, приехала сюда. И тут оказалось, что в жизни все значительно сложнее, труднее и интереснее. В институте я была убеждена, что знаю и заранее люблю свою работу, но полюбила ее, школу, учеников только здесь... И уже никогда не брошу. Хотя это трудно, очень трудно — с вами. Теперь вам

можно сказать это: вы уже большие. Сколько времени, сил уходит понапрасну на борьбу с вашим озорством, ленью, равнодушием! Учитель готовится к урокам, волнуется, думает—и вы загоритесь тоже, а в классе непременно найдется какой-нибудь лентяй, который смотрит на тебя невинными и пустыми глазами, а сам думает... Кто знает, о чем он думает?.. Другой ковыряется в парте и заботится только о том, чтобы я не заметила... И мне сначала хотелось бросить все и уехать, убежать, чтобы не видеть этих равнодушных глаз...

Пашка, с половины этой речи вдруг страшно заинтересовавшийся самой обыкновенной веточкой, будто это невесть какое сокровище, покраснел и сказал:

— Я больше не буду!

— Что — не будешь?

— Палки строгать на уроках...

— Хорошо! — засмеялась Мария Сергеевна.— Только теперь мне уже мало, если вы не будете мешать; нужно, чтобы вы помогали...

— А разве мы можем? — спросила Катеринка.— Мы же не умеем.

— Конечно, можете. Вы уже большие и можете влиять на младших... Вот возьмите наш школьный двор: он чистый, но пустой, голый, даже посидеть не на чем... Савелий Максимович говорил, что хорошо бы сделать несколько скамеек, посадить деревья... Вам же станет приятнее, если вокруг школы будет не пустырь, а зелень...

— Это мы сделаем! — загорелся Генька.

И действительно сделали. На пионерском сборе мы распределили, кто за что отвечает, и потом в один день обсадили весь двор деревцами, благо за ними недалеко ходить — гривы рукой подать.

Каждый класс получил свой участок и должен был не только посадить деревья, но и ухаживать за ними. Малыши так старательно начали поливать кусты каждый день, что лужи вокруг корней не просыхали, и Савелий Максимович в конце копцов запретил это делать — деревья могут погибнуть: это же не болотная трава!

Вот тогда-то Генька и вспомнил о посадках, которые дядя

Миша посоветовал сделать в Тыже. Мы обратились к Даше. После постройки электрической линии Даша Куломзина так и осталась нашим «прорабом», и мы обо всем с нею советовались.

Даше предложение понравилось, она размечталась, что хорошо бы сделать посадки не только на улице, а и дальше — от избы-читальни до околицы посадить много деревьев, чтобы получилось вроде парка культуры. Но самим нам это дело не поднимать, надо привлечь всех: кто сажал, ломать не будет. Словом, нужно поставить вопрос на правлении, поскольку дело касается всего колхоза.

О плане посадок Даша рассказала правлению.

— Надумали! В тайге лес садить!..— засмеялся Пашкин отец.

Но тут неожиданно вмешался Захар Васильевич:

— Ты это зря, Анисим... И в тайге сажать надо. Тайга что? Бурелом, гари, чащоба. Там лес не растет, а мучается. Чем плохо улицу березками обсадить? А то торчат избы, как шиши, на бугре... Так что смех тут ни к чему.

Федор Елизарович сказал, что и в самом деле ничего смешного здесь нет, колхоз должен хорошую инициативу поддерживать.

— Что же, мы трудодни на это выделять будем? — спросил Иван Потапович.

— Трудодней не нужно, — возразила Даша, — делаться все будет добровольно, в свободное время, а нужно только выделить лошадей и организовать так, чтобы это было от всех колхозников...

— Лошади у нас не гуляют! — отрезал Иван Потапович. — А привлекать — привлекай, кому в охотку. Всё! Понятно?.. А не лезь ты, Дарья, за ради бога, с ребячьими затеями...

— Погоди, Иван Потапович, — вмешался дядя Федя. — Правильно, лошади у нас не гуляют. Так что если отказать, то вроде все будет по-хозяйски и по форме правильно. А если поглядеть на это дело не вприщурку, а во все глаза, — будет неправильно. Остался у нас от прошлой жизни короткий взгляд, смотрим мы себе под ноги, а надо нам голову поднимать и глядеть дальше. Мы из земли только тянем да требуем от нее, а пора нам подумать и об украшении земли, потому как это есть украшение нашей жизни. Ты вот говоришь — ребятишки. Конечно, года у них

пустяковые, но им в будущем жить, и они глядят в это будущее без опаски... Они и дети и вместе как бы маленькие граждане, потому и хотят во всяком деле участвовать, и отмахиваться от них не годится. Этому их нетерпению к будущей жизни радоваться надо!..

Иван Потапович в конце концов согласился.

Решили создать «зеленый штаб» и назначили в него дядю Федю, Захара Васильевича и, конечно, Дашу.

Вечером, когда парни и девчата, по обыкновению, собрались на гулянку, Даша рассказала про «зеленый штаб» и предложила им принять участие. Сначала все стали смеяться, а когда Даша сказала, что возле избы-читальни мы обсадим площадку для танцев и что в роще расставим скамейки, и неужели же не лучше будет гулять в своем парке, чем на выгоне возле бревен, — Аянушка первая закричала, что она согласна...

И вот опять настала пора, когда мы снова были все вместе, заняты одним общим делом.

Полуночная бригада, в которой был и Васька Щербатый, начала от правления; и, когда первая яма была готова, Иван Потапович, пришедший посмотреть, не вытерпел и, отобрав у Васи Маленького лопату, сам начал копать вторую яму, а за ним включился в работу Пашкин отец. Тогда мы сманили к нам Марью Осиповну и моего отца.

За один воскресный день мы, конечно, не кончили — пустырь оказался здоровенный — и копали еще два дня после уроков.

Потом мы на Грозном, а полуночная бригада на Звездочке перевезли из березового колка выкопанные там молодые деревья и сразу начали высаживать их в грунт.

Тут уж досталось дяде Феде и Захару Васильевичу: им пришлось следить, чтобы сажали как следует, на нужную глубину, и не мяти корней, иначе вся работа пропала бы зря. Дорожку к избе-читальне мы обсадили елочками в мой рост, и тут сразу стало видно, как это будет красиво, когда не только елки, а все деревья зазеленеют. И, хотя сейчас на пустыре торчали лишь смуглые, будто загорелые, березовые прутья без единого листика, мне виделось, как зашелестит на них веселая листва и темные прутья будут светлеть и светлеть, пока не превратятся в нежные белые березки.

Иван Потапович предложил отметить в стенгазете тех, кто лучше работал.

Даша сказала, что отмечать придется всех, потому что все работали хорошо и бригады шли наравне. Тут Генька не выдержал и сказал, что работали мы не из-за стенгазеты, но если говорить по правде, то у нас на двадцать пять корней больше.

— Врешь! — крикнул Фимка.

— Пересчитай, — спокойно ответил Геннадий.

Васька покраснел так, что уши у него начали светиться, как фонари.

Даша пересчитала посадки, и, конечно, вышло по-Генькиному: нас признали победителями. Я думал, что с посадками мы идем наравне и кончится наконец это соперничество, а теперь получилось еще хуже — Васька затаил обиду, и это было совсем глупо: будто им кто-то мешал посадить столько же! Мне это соперничество давно надоело, и я даже думал, что лучше бы уж они как следует подрались и тем всё кончили.

И они действительно подрались, но только произошло это значительно позже.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ

Мы заранее уговорились отдать свою коллекцию минералов в школу. Пашка предлагал выставить ее в избе-читальне, чтобы все видели и помнили про наш поход, но Генька сказал, что это глупости: здесь она будет только пыль собирать, а в школе — вроде наглядного пособия. И вообще дело не в том, чтобы помнили. Мы же собирали не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы польза была.

Генька стал совсем не такой, каким был раньше, и мы уже не звали его вруном. Не то чтобы он перестал выдумывать — он и сейчас мог насочинять такое, что все открывали рты, — только теперь он выдумывал не просто интересное, но и дельное.

Книжек у нас мало, мы давно их перечитали, и Генька, по предложению Даши Куломзиной, собрал по деревне все книги, чтобы держать их в избе-читальне. А когда мой отец ездил в аймак, он привез целую кипу новехоньких книг. Получилась на-

стоящая библиотека. Катеринка стала библиотекарем и выдавала книги всем желающим.

Пашке Геннадий предложил сделать вешалку, только не деревянную, а из рогов, как в книжке на картинке. Пашка увязался с Захаром Васильевичем в тайгу и приволок оттуда две пары старых, сброшенных маралами рогов. Вешалка получилась очень красивая и поместительная. Мне Генька тоже придумал работу — записывать в журнале все, что происходит в избе-читальне, чтобы было вроде дневника работы.

Словом, Генька стал как настоящий руководитель и во всем старался быть похожим на Антона. Он даже научился жестиковать левой рукой, как это делает Антон, когда говорит.

Мы принесли коллекцию в школу и хотели просто отдать Савелию Максимовичу, но он сказал, что так не годится, надо довести дело до конца — сделать из нее настоящее пособие. Мы целую неделю оставались в школе после уроков, привязывали образцы к картонкам и делали надписи, а Мария Сергеевна потом проверяла и поправляла, если было нужно. В субботу, когда кончились уроки, устроили собрание всех школьников, и я опять делал свой доклад. Только теперь я уже не читал по тетрадке, а просто рассказывал, как все происходило. Получилось, может, и не очень складно, но мне так больше нравилось, а слушали очень внимательно и смеялись, когда я рассказывал о наших приключениях.

Я хотел рассказать все, как было, но, когда уже подходил к концу — говорил о том, как мы поймали маралушку и Катеринка тушила пожар, — вдруг заметил, что на меня в упор смотрит бледный, как стенка, Васька Щербатый. Он сейчас же отвернулся, но лицо у него дрогнуло, перекошилось. Я сбился... и ничего не сказал про то, как мы их ловили и вели в деревню. Пашка удивленно вытаращился на меня — как это я пропустил такое интересное? — но я потихоньку показал ему кулак, и он ничего не сказал.

Мне долго хлопали, и это было очень приятно, но потом, вспоминая, как все происходило, я чувствовал, что самое приятное было в том, что бледное Васькино лицо вовремя остановило меня: я ничего не сказал о нем и браконьерстве, и он не пережил опять такого позора.

После меня говорил Геннадий. Он сделал настоящий научный доклад о минералах, вроде как тогда дядя Миша, и я прямо диву дался: когда он успел все это узнать? Позже он признался, что Савелий Максимович дал ему книжки и сам объяснял все трудные места.

Савелий Максимович выступил тоже и рассказал о постановлении аймаксовета и премии. Он говорил, что начатое дело нельзя бросать и, конечно, следует заниматься не только геологией и сбором минералов: мы можем создать ботанические и зоологические коллекции большой научной ценности. Это дело можно начать уже сейчас, но особенно следует развернуть его во время летних каникул, и тогда к изучению богатств нашего района следует привлечь всех ребят. Ребята начали кричать, что их привлекать не надо, они готовы хоть сейчас все бросить и идти в тайгу, в горы. Конечно, никто на это не согласился, потому что путешествия путешествиями, а уроки уроками...

Коллекцию выставили в нашем классе и над ней вывесили написанные на большом листе картона слова Ломоносова, которые мне дядя Миша еще тогда записал в тетрадку.

Все ребята первое время поглядывали на нас с завистью и, чуть что, заводили разговор об экспедиции. Но что же о ней без конца говорить? И без того дела много: каждый день нам столько задавали уроков, столько надо было выучить дома, что скоро стало не до экспедиции. Один Пашка не упускал случая еще раз рассказать, как он нашел барсучью нору и поймал тайменя. Так продолжалось до тех пор, пока Савелий Максимович однажды не сказал ему на уроке (теперь он преподавал историю и в шестом классе):

— Барсуков и тайменей ловить — это очень хорошо. Но зачем же ловить двойки?

Пашка обиделся и потом всю большую перемену доказывал мне и Катеринке, что это несправедливо:

— А если я к истории неспособный?.. Учи про всяких Коровингов и Мотопингов...

— Меровингов и Капетингов, — поправила Катеринка.

— Ну, Маровингов... А зачем мне про них знать? Чего-то они там воевали, царствовали... Ну и пусть!.. А мне они зачем? Нет, это несправедливо! Надо учиться по специальности — ко-

му что интересно. Вот если бы у нас всякие машины изучали, тогда да!

— Нужно быть образованным! — строго сказала Катеринка. — Какой же из тебя техник или инженер будет, если ты неграмотный?

— Я неграмотный?.. Да лучше меня никто физику не знает!

— Я не хуже тебя знаю физику.

— Ну да! Знать знаешь, а сделать ничего не умеешь... Нет, я, видно, брошу школу и пойду куда-нибудь, чтобы техникой заниматься.

— Нужны там такие!.. Ты же будешь как недоросль у Фонвизина, как Митрофанушка...

Пашка обиделся и ушел, но, кажется, так и остался при прежнем мнении.

А у меня свои неприятности. Я вовсе не думал, как Пашка, что нужно учить только то, что нравится — надо же быть образованным! — старался изо всех сил, и все-таки с математикой у меня не ладилось. По истории, литературе, географии — пятерки, а геометрия никак не идет, хоть плачь! Или у меня способностей к ней нет? Учишь, учишь, и все равно в голове какая-то каша из углов, перпендикуляров и касательных. И вот с такой кашей иди на урок и жди, что тебя вызовут. И почему-то всегда так бывает: как только ты не выучил, так тебя обязательно вызовут, а если знаешь — Михаил Петрович в твою сторону даже не смотрит. Мне это до того досаждало, что я уже даже не мог слушать, когда он объяснял новое, и заранее холодел и краснел, ожидая, что вот-вот он скажет: «Березин, к доске!»

Выйдешь — и что знал, все позабудешь. А тут еще со всех сторон начинают подсказывать, особенно Катеринка. Она сидит на первой парте, и стбит мне запутаться, как она начинает пашептывать и показывать пальцами. А я терпеть не могу, когда мне подсказывают: или я сам знаю — и тогда пусть не мешают, или я не знаю — так не знаю, а жульничать не хочу. Мы даже поссорились с Катеринкой из-за этого.

— Я же тебе помочь хочу! — удивленно возразила она, когда я сказал, чтобы она не совалась с подсказками.

— Что это за помощь — попугая из меня строить?

После я всегда сразу говорил Михаилу Петровичу, если не

знал урока, чтобы не краснеть и не хлопать глазами. По-моему, это лучше, чем так, как делал Костя Коржов, председателев сын! того вызовут — он и не знает, а идет к доске как ни в чем не бывало и начинает нести околесицу. Михаил Петрович слушает, слушает, потом поправит — скажет, как надо.

— Ну да, я же так и говорю! — подхватит Костя и опять плетет невесть что.

Михаил Петрович его опять поправит — тот опять согласится и все время держится так, что он говорит правильно, а Михаил Петрович только подтверждает.

— Что ж, Коржов, — скажет наконец Михаил Петрович, — сегодня мы поменялись ролями: отвечал я, а ты спрашивал. Ну, себе я отметки ставить не буду, а тебе придется поставить... — и вlepит ему двойку.

Все смеются, а Косте как с гуся вода.

...Несколько дней после ссоры Катеринка дулась на меня, потом подошла сама:

— Знаешь... я не стану больше подсказывать. Никому! Это и правда без всякой пользы... Может, у тебя гланды?

— Какие гланды?

— Это такие штучки в горле бывают... А ну, открой рот!.. У нас одна девочка в Днепропетровске, когда ей говорили, что она плохо учится, объясняла, что это из-за гланд она неспособная... Только я думаю, что она врала. При чем тут гланды?.. Нет, знаешь что? Ты, наверно, чего-нибудь забыл или плохо учил раньше, а в математике все вот так... — Она переплела пальцы туго, как плетёшку. — Одного не знаешь — и другого не поймешь... Я хочу кое-что повторить — скоро ведь экзамены... Давай будем повторять вместе?

Сначала мне было как-то неловко и даже стыдно: она все сразу понимает и запоминает, а я нет. Однако постепенно мне стало легче, потом стало даже интересно, и я уже начал решать задачи наравне с нею, и если и отставал, то самую малость. Значит, дело вовсе не в способностях, а в том, чтобы втянуться, не относиться спустя рукава; а если уж взялся — ни за что не отступать, и тогда обязательно добьешься своего!

Геньку все эти несчастья не трогали (он, как и Катеринка, круглый пятерочник); уроки он готовил быстро, а потом все

читал книжки по географии и геологии. После своего доклада он так пристрастился к этим наукам, что уже не просто читал, а делал выписки из книг, составлял конспекты и чертил карты. Делать все это научил его Савелий Максимович; он же снабжал Геннадия книгами. У него Генька пропадал теперь почти каждый день и однажды взял меня с собой.

— Что, Березин тоже геологией интересуется? — встретил нас Савелий Максимович. — Ну, входите, садитесь, что же вы у дверей стали... Сейчас будем чай пить.

Пока он готовил чай, а Генька рылся в книгах, я все осматривал: изба как изба, только очень чисто и много книг и газет. Савелий Максимович начал расспрашивать Геньку о прочитанных книгах, а на меня — никакого внимания, словно меня и нет. Уже потом я понял, что делал он это нарочно, чтобы я привык и перестал стесняться. Я и правда сначала чувствовал себя не очень хорошо: это не шутка — прийти в гости к самому директору, а тут еще стакан такой горячий, что не ухватишься, — того и гляди, он вовсе из рук выскользнет...

— Ну-с, Фролов любит геологию, это я знаю. А что интересуется тебя? — наконец повернулся ко мне Савелий Максимович.

— Он у нас «летописец», — фыркнул Генька.

Вот предатель! Сейчас Савелий Максимович поднимет меня на смех.

— летописец? Это интересно. А какую же ты летопись пишешь?

— Я не пишу, а писал и бросил — писать нечего...

Мне пришлось рассказать все по порядку. Савелий Максимович слушал очень внимательно.

— Это совсем не смешно, — сказал он наконец. — Это, брат, ты хорошо придумал. Только не летопись, конечно, а что-нибудь попроще. Надо описать, например, все значительные события у нас и примечательных людей...

— Так если бы они были, примечательные! А то один Сандро и тот давно умер...

— Сандро Васадзе? (Оказалось, он знает о Сандро!) Да, и Сандро тоже... Ты напрасно думаешь, что замечательные люди были только в прошлом, они и сейчас есть. А если они такими тебе не кажутся, то виноваты в этом не они, а ты сам. Ты просто

еще не научился видеть и понимать. Присмотрись повнимательнее ко всем — и сколько вокруг окажется превосходных людей! Вот что ты знаешь о Лапшине, например? Что у него руки нет? А где он ее потерял и как? Не знаешь?.. Лапшин был башнёром в танке, руку ему размозжило во время боя, а он, несмотря на ужасную боль, продолжал вести огонь... У вас вот живет промышленник Захар Долгушин...

— Захар Васильевич?

— Да. Он тебе столько расскажет о жизни зверей, о тайге, что этого пока и в книгах не найдешь... А Федор Елизарович Рублев...

— Так он же просто кузнец!

— Не только кузнец. Поговори-ка с ним по душам... Впрочем, он о себе рассказывать не любит. Вот придешь в следующий раз — я сам тебе расскажу... А сейчас вам пора домой, и мне поработать надо...

Однако своего обещания Савелий Максимович не выполнил. Были мы у него в субботу, и уже по дороге домой нас захватил дождь. Дождь шел все воскресенье и понедельник, согору залило водой, и мы даже не смогли добраться до Колтубов. А когда во вторник пришли в школу, оказалось, что Савелий Максимович тяжело заболел, и нас к нему не пустили.

Встревожилось все село. Ребята даже перестали баловать на переменах: окна домика Савелия Максимовича выходили на школьный двор, а шум, сказала Мария Сергеевна, вреден для больного. В квартиру Савелия Максимовича натащили столько меду, масла, сметаны, пышек и пирогов, будто он умирал от истощения и его непрерывно, с утра до ночи, нужно было кормить. Но Пелагея Лукьяновна (она присматривала за его хозяйством) ничего не приняла и никого к нему не пустила: еды, мол, и без того хватает, а беспокоить больного человека не к чему. Ухаживали за ним поочередно Мария Сергеевна и колтубовский фельдшер Максим Порфирьевич.

У нас в Тыже тоже переполошились, узнав о болезни Савелия Максимовича. Мой отец, Иван Потапович да и многие другие уже взрослые люди в свое время учились у него, и каждый не упускал случая провести, повидать своего старого учителя. Но, оказывается, дело было не только в том, что когда-то они сидели

у него за партой. Лишь после разговора с Федором Елизаровичем я по-настоящему понял, кто такой Савелий Максимович и что он значит для всех.

Федор Елизарович в воскресенье поехал в Колтубы павестить Савелия Максимовича, а я и Генька увязались за ним, надеясь, что и нам удастся пробраться к больному. Однако Пелагея Лукьяновна, как мы ни просили, не пустила нас. Она не пустила бы и дядю Федю, да Савелий Максимович, узнав по голосу, сам позвал его к себе.

Пробыл там Федор Елизарович недолго и вышел хмурый, опечаленный.

— Плохи дела, ребята! — сказал он. — Сердце у него совсем слабое стало... Какой орел был! А теперь... Да и то сказать: за десятирых человек работал, о себе никогда не думал. Тут и машина изнашивается, не только сердце... Одному износу нет — душе его!..

Мы начали расспрашивать. Федор Елизарович отвечал скупо, односложно, потом увлекся и уже без расспросов принялся рассказывать. Оказалось, что знают они друг друга еще с гражданской войны. Федор Елизарович — тогда еще совсем молодой парень — попал во взвод, которым командовал Савелий Лозовой, развеселый песенник и душа-человек, отчаянный рубака. Отряд ЧОН¹, в который входил взвод Лозового, боролся с шайками бандитов, сколоченными из местного кулачья и недобитых колаковцев.

Ранили их — Савелия Максимовича и Федора Елизаровича — в одном бою, а пока они поправлялись, главного бандита, поддесаула Кайгородова, в Катанде схватили, кайгородовская банда была разгромлена, и воевать больше было не с кем.

Однако Савелий Лозовой думал иначе. Пригляделся он, как живет темный, задавленный нуждой народ на Алтае, и решил, что теперь-то и начинается самая трудная и затяжная война — война за счастье человека.

Расстались они на несколько лет. Федор Елизарович вернулся к своему горну, женился, а Савелий Лозовой уехал учиться: сначала в Бийск, потом в Новосибирск. К тому времени, как

¹ ЧОН — части особого назначения по борьбе с контрреволюцией, существовавшие в первое десятилетие после Октябрьской революции.

ему кончать ученье, в Колтубах открыли начальную школу, и Савелий Максимович был послан туда заведующим.

Встретили его и его молодую жену, тоже учительницу, не так чтобы очень приветливо. Кулаки да подкулачники в учителях сразу почуяли врагов. Да и те, кто победнее, по темноте своей, сначала косились: приехал, мол, учить уму-разуму, а мы без привозного ума жили и дальше как-нибудь проживем...

Однако человек он оказался такой твердости, что ничто его не пугало. А его не только пугали, в него и стреляли... Было это уже позже, когда подошла коллективизация и кулачье, чуя свою гибель, пыталось застрашать народ. К тому времени вокруг Савелия Максимовича начала собираться беднота. Тут и Коржов был, и дядю Федю Савелий Максимович привлек, вспомнив старую боевую дружбу.

И получилось так, что стал Савелий Максимович не просто учителем, а учителем жизни для всей округи. У кого какая беда, затруднение — все к нему за советом, за помощью. Только на горе да нужду заплату не положишь, их под корень выводить надо. Создали колхоз, маленький, бедный поначалу, а дальше больше, и пошло — государство помогло машинами, ссудами...

В колхозе появилась партячейка, а Савелий Максимович стал ее секретарем — он еще в городе вступил в партию, — да так и по сей день руководит парторганизацией. Пробовали перетасовать его на другую работу, повыше дать должность — ни в какую! И не потому, что к месту прирос, с обжитым углом расставаться жаль, а потому, что видел в том свой долг и цель жизни: он этот глухой угол разбудил и должен продолжать свое дело, пока сил хватит. А сил этих он не щадил, работал за десятерых.

— За что ни возьмутся, какое хорошее дело ни начнут — всюду Савелий Максимович или первый мысль подал, или другого вовремя поддержал. Великое это дело — вовремя человека поддержать! — сказал Федор Елизарович. — Ему бы уже давно на покой пора: сердце у него больное, а смерть сына и вовсе подкосила... Жена вот померла, остался бобылем. Дочка у него в Томске замужем, дом — полная чаша, к себе зовет, даже приезжала как-то, увезти надеялась, а ничего не вышло — не поехал. Я тоже было уговаривал: «Подлечиться, мол, тебе надо, Савелий

Максимович, отдохнуть пора. Ты уже заслужил эту награду, чтобы спокойно пожить...» — «А это,— говорит,— не награда, а наказание! Для меня лучшая награда — оставаться на своем посту. Зачем же вы у меня это счастье хотите отнять?» Сравнить нашу жизнь раньше и теперь — узнать нельзя... И во всяком деле, ко всякой перемене он причастен — первым брался и вел за собой других... Это какую любовь к людям надо иметь и смелость, чтобы идти впереди!.. Так-то, ребята... А вы думаете, просто учитель!

Федор Елизарович умолкает, молчим и мы.

Я долго думаю о нашем седеньком Савелии Максимовиче, о незримой цепочке, протянувшейся от Сандро, и от тех, кто был до Сандро, к Савелию Максимовичу, от него — к Федору Елизаровичу, Антону; как цепочка эта растет, растет, разветвляется, проникает во все уголки и охватывает всё, всю страну. Всюду, наверно, были свои Сандро, всюду есть свои Савелии Максимовичи, дяди Феди и Антоны. Они идут впереди, прокладывают первые тропки, тропки ширятся, все больше и больше народу идет по ним, и вот уже все устремляется к тому, за что мучились, страдали и умирали Сандро, за что, не жалея себя, борются Савелии Лозовые... И как это прекрасно — быть идущим впереди, прокладывать тропу, по которой пойдут другие!

МЫ — АРТИСТЫ

Савелий Максимович поправился, и школа снова ожила. Теперь, как и прежде, на переменах поднималась веселая кутерьма, малыши оглашали двор пронзительными воплями. И не потому, что в этом была нужда, а просто потому, что иначе они не умели; после часового молчаливого сидения приятно поразмяться и убедиться, что голос твой не пропал и не стал тише, а по-прежнему оглушительно звёнок. Даже Савелий Максимович, казалось, был рад возвращению этого многоголосого шума: тоскливая тишина болезни — кому она доставляет удовольствие!

Только теперь у Савелия Максимовича, и прежде двигавшего тихо, говорившего не повышая голоса, движения стали еще медленнее и осторожнее, словно в любую секунду в нем могло

сломаться что-то хрупкое, если резко повернуться или крикнуть. Мы знали, что ему опасно каждое волнение, и всеми силами старались не делать ничего, что могло бы его взволновать.

Однако он не стал менее деятельным и беспокойным. По-прежнему шли к нему со своими делами всякие люди из Колтубов, приезжали из окрестных деревень, по-прежнему он знал все, что делалось в округе, успевал давать все свои уроки и даже помогать Марии Сергеевне руководить пионерами. Он посещал почти все наши сборы и нередко, сказав лишь несколько слов, наталкивал нас на какое-нибудь новое, интересное дело.

Так случилось и тогда, когда мы готовились к 7 Ноября. Как мы ни обсуждали — ничего, кроме выпуска стенгазеты, бесед по классам и общего собрания, предложить не могли.

— А вы устройте вечер и подготовьте свой концерт или даже спектакль, — сказал Савелий Максимович.

Спектакль? В школе?.. В колтубовском клубе драмкружок иногда ставит свои спектакли, но у них есть сцена, декорации, и там взрослые... А как же у нас? Сцены нет, занавеса нет, ничего нет. И кто же будет играть? Никто ведь не умеет.

— Временную сцену можно устроить. А играть будете сами, научитесь. Не выписывать же сюда артистов из Москвы!..

Сначала мысль эта пугала нас, казалась неосуществимой, потом все больше нравилась, и, наконец, мы загорелись неудержимым желанием сыграть настоящий спектакль и устроить все, как в заправдашнем театре. Но что ставить?

Очень скоро выяснилось, что большую пьесу нам не осилить: нужно много декораций, костюмов, и, несмотря на то, что охотников играть хоть отбавляй, столько исполнителей не набрать, да и времени до Октября не так уж много — артисты не успеют выучить большие роли. После долгих споров остановились на предложении Марии Сергеевны: малыши разыграют «Сказку о рыбаке и рыбке», а старшеклассники — отрывки из «Бориса Годунова» и «Тараса Бульбы».

Но прежде всего нужно было выяснить относительно сцены. Мы побежали к Антону — кто же еще лучше поможет нам! Антону затея наша очень понравилась, и он пришел в школу, чтобы прикинуть на месте, как все устроить.

— Что ж, очень просто! — сказал он после короткого раз-

думья.— Зал большой. Взять три-четыре ряда парт, на них положить доски — вот и сцена, а канцелярия будет артистической уборной. Доски Лапшин даст, у него есть трехметровки...

— Не годится! — возразил Савелий Максимович.— В парты гвозди забивать будешь?

— Ну зачем же? Просто настил устроить, без гвоздей. Лапшин и доски не даст портить гвоздями... Ничего, сойдет и так. Занавес и декорации возьмем в клубе. Вам какие надо?

— Для «Бульбы» — степь, лес. Из «Годунова» проведем сцены в Чудовом монастыре и у фонтана. А для сказки — море, избу, дворец...

— Плохо дело! — озадаченно взялся за свой рыжий чуб Антон.— Откуда же у нас дворец? У нас только лес да изба и есть. Да наша декорация сюда и не влезет. И костюмов у нас подходящих нет.

Мы огорчились до такой степени, что даже ничего не могли сказать.

— Погодите расстраиваться,— сказал Савелий Максимович.— Выход найдем. Я читал, что кое-где вместо декораций употребляют диапозитивы. Нарисуют на стекле, вставят в волшебный фонарь — и пожалуйста: на стене декорация. Фонарь у нас есть, и художница есть,— оглянулся он на Марию Сергеевну.— Для сказки лучше не придумаешь — там ведь картины быстро менять надо. Сцену в монастыре можно и без декорации провести или тоже нарисовать на стекле келью. А для «Бульбы» и сцены у фонтана взять «лес» из клуба, сойдет. Вот только сцена у фонтана — где же взять фонтан?

— Сделать! — сказал Пашка.

— Правильно, Павел! — тряхнул чубом Антон.— Подумаешь, фонтан! Электростанцию сделали, а тут фонтан не сумеет?.. Вот у меня и помощник есть, мы с ним соорудим.

Пашка кивнул, попытался сделать строгое, деловое лицо, но только напыжился, тщетно стараясь скрыть удовольствие, которое ему доставили слова Антона.

На следующий день после уроков Мария Сергеевна прочтала нам все сцены, которые нужно играть, а Савелий Максимович долго рассказывал о тех временах, о героях и обычаях.

До спектакля было еще далеко, а у нас чуть не разыгрался

скандал, когда дошло до распределения ролей. Со сказкой было просто: Васе Маленькому дали роль Рыбака, Любушке — роль Старухи, а девчужке из четвертого, Оле Седых, — роль Золотой рыбки. Правда, помучились с Пушкиным. Мария Сергеевна сказала, что текст от автора должен читать Ведущий. Его надо загримировать под Пушкина, он будет сидеть или стоять сбоку на сцене и все рассказывать. Но какие же у нас Пушкины? Искали, искали подходящего и наконец сошлись на том, что Сергей Лужин (из нашего класса) лучше всех декламирует стихи, ему и быть Пушкиным.

С «Борисом Годуновым» вышло совсем плохо — на этот раз из-за меня.

У Катеринки соперниц не было, она сразу была признана самой подходящей Мариной Мнишек. Это и правда: остальные девочки у нас такие плотные и краснощекие, что их хоть с головы до ног обсыпь мукой — они не побледнеют и не станут похожими на аристократок; а Катеринка — худенькая, бледная, да она и в театре бывала, знает, как и что нужно делать.

А в Пимены вдруг выдвинули меня.

— Вот хорошо! — засмеялась Катеринка. — Он же летописец и есть, лучше его никто не сыграет.

Вот тебе раз! А я-то надеялся, что она захочет, чтобы я был Самозванцем! Сам я думал об этом с самого начала: и роль большая, и он молодой, и костюм должен быть красивый, и потом — я бы играл вместе с Катеринкой... До каких пор мне будут эту злосчастную летопись поминать? И я не хочу и не умею играть стариков... Я тогда вовсе не стану участвовать.

— Еще никто ничего не умеет, — сказала Мария Сергеевна. — И ты напрасно, Березин, капризничаешь как маленький. Роль Пимена — очень хорошая, но трудная. Ее, пожалуй, труднее сыграть, чем Самозванца. А мы тебе доверяем ее, потому что ты справишься...

Словом, уговорили меня.

Самозванцем назначили Костю Коржова. Если бы мне самому не хотелось играть эту роль, я бы тоже признал, что он подходит — всегда так форсит и обманывает, что прямо вылитый Самозванец.

Он тут же выдумал, что он и лицом похож: нос курносый,

и даже родинка есть, как у Лжедмитрия. Курнос он — это правда, а про родинку выдумал — просто обыкновенная царапина.

С «Тарасом Бульбой» чуть вовсе не разладилось. Геньку без споров признали подходящим Бульбой, но Андрия никто не согласился играть. Мария Сергеевна уговаривала, уговаривала и наконец рассердилась:

— Да что же это такое? Почему никто не хочет быть Андрием?

— Очень нужно! Он же предатель, изменник родины...

Немало пришлось помучиться Марии Сергеевне, пока ей удалось уговорить Фимку, что никто его не будет считать предателем и изменником, если он сыграет роль Андрия.

Мы переписали роли, выучили их, и начались репетиции,

Парты служили нам декорациями, карта земных полушарий — «горизонтом», а лампочка под потолком — то солнцем, то луной, то огарком свечи. Мы так увлекались, что переставали видеть окружающее и самих себя такими, какие мы есть, и всерьез мучились и страдали. И уже не большеглазая Катеринка в коротком платьице была перед нами, а гордая, хитрая интриганка Мнишек; не всегдашний Генька, а гневный казацкий рыцарь и отец Бульба; и не вихлястый Фимка, а раздавленный своим позором Андрий... То есть все это пришло потом, а сначала мы так неистово кричали и так торопливо барабанили свои реплики, будто слова у нас застревали в горле и их нужно было поскорее вытолкнуть, чтобы не подавиться.

Другим ребятам было до смерти интересно, и они пытались проникнуть на репетиции, но мы никого не пускали: во-первых, чтобы не мешали; во-вторых, что же интересного, если все будут знать всё заранее!

Репетировали мы всюду, а не только в классе: на переменах, дома, по дороге в школу и домой. И сколько раз замерзшие под снегом пихты слышали «последнее сказанье» Пимена или гордые, презрительные слова Марины!

Мать, услышав мое бормотанье: «...а за грехи, за темные деянья спасителя смиренно умоляют...» — даже напугалась:

— Ты что это — молиться начал? Где это ты нахватался?

— Это не молитва, мам, а роль.

— Какая еще роль? Вот я отцу расскажу! Учат, учат их, а они — как чертополох. Иди вон к бабке Луше да и бормочи с ней... Что тебе в школе-то скажут?

Но, узнав, в чем дело, посмеялась над своим испугом.

А Костя Коржов — тот так и сыпал на каждом шагу словами из роли Самозванца. Сгребет в охапку дружка своего Сергея Лужина так, что тот закричит не своим голосом, а потом:

— «Волшебный, сладкий голос! Ты ль, наконец? Тебя ли вижу я?..»

Неверно решив задачу, он хватался за голову и трагически произносил:

С таким трудом устроенное счастье
Я, может быть, навеки погубил.
Что сделал я, безумец?..

Он даже на уроке Савелия Максимовича, не выучив домашнего задания и идя к карте, сказал:

Я, кажется, рожден не боязливым...

Постояв три минуты и тщетно попытавшись вспомнить урок, он пристыженно улыбнулся, но и тут вместо обыкновенных слов у него вырвались чужие, Самозванца:

Но час настал — и ничего не помню...

Настал и наш час — подошло пятое ноября, когда в школе должен был быть вечер. Его нарочно назначили на пятое, потому что шестого — торжественное заседание в клубе.

После уроков нам уже не успеть сбежать в Тыжу — на шесть часов назначено начало, и мы остаемся в школе. Фимка уходит к Косте Коржову, а нас Мария Сергеевна забирает к себе, чтобы накормить. Но мы почти ничего не едим — разве тут до обеда! Один Пашка деловито умял все, что перед ним поставили, и убежал к Антону. Пашка сегодня главный механик: будет открывать и закрывать занавес, делать выстрелы, устраивать фонтан, и ему некогда расслаживаться.

Нам тоже не сидится, и мы уходим в школу, а Катеринка остается: Мария Сергеевна должна подогнать ей костюм — старое шелковое платье Марьи Осиповны превращается сегодня в бальный туалет польской аристократки.

В школе веселый галдеж. До начала вечера еще несколько часов, но ребята уже собрались и старательно помогают Антону: носят доски и перетаскивают из классов парты. Четыре ряда их служат основанием для помоста, а остальные расставляются в зале вместо скамеек. Некоторые ребята сразу же уселись на первых партах — заняли места — и уж, конечно, не встанут до самого начала, боясь, что облюбованное место займут другие.

Антон и еще двое парней быстро укладывают настил, у потолка от стены к стене натягивают проволоку, прикрепляют блоки; Пашка тянет за веревки, и, позвякивая колечками, занавес закрывает сцену. Но сейчас же край его приподнимают, и там появляется голова, потом еще, еще — и так до самого начала; как их ни прогоняют, ребята подглядывают, что же делается на сцене.

Сверху у края сцены Антон укрепляет на шнуре несколько лампочек, пробует фонарь, подвешивает к потолку кулисы — нарисованные на мешковине деревья. Они очень высокие для нашей сцены, и снизу их приходится подвертывать, но это ничего — из зала будет не очень заметно. Потом Антон и Пашка устраивают фонтан — пока еще не настоящий, без камней, а просто так, для пробы.

Еще раньше Пашка выпросил у Савелия Максимовича все резиновые трубки, какие есть в шкафу с физическими приборами; у Антона на электростанции тоже нашлись обрезки трубок, служивших изоляцией. Теперь они соединяют все трубки, и получается длинная резиновая кишка. Один конец ее подвязан к дощечке, поставленной посреди сцены, а другой по полу тянется за кулису, где на табуретке стоит ведро с водой. Но вода бить из фонтана не хочет. Пашка отсасывает из резиновой кишки воздух, и вода начинает сочиться тоненькой, вялой струйкой.

— Поставь еще табуретку, — говорит Антон.

Вода бьет сильнее.

— Еще одну!

Вот это настоящий фонтан! Струя поднимается метра на полтора, но скоро иссякает.

Антон перетягивает трубку на дощечке проволокой — струя

становится совсем тоненькой: при такой струе воды хватит па всю сцену.

— Хозяйствуй теперь сам, а я пойду гримировать артистов. Справишься? — говорит Пашке Антон.

— А то нет! — важно отвечает Папка. Он уже перепачкался с головы до ног, промок под своим фонтаном, но счастлив и уверен, что без него все непременно провалится. — Может, уже первый звонок давать?

— Погоди, успеешь позвонить.

Мария Сергеевна и Катеринка пришли, и мы все начинаем одеваться. Угол канцелярии отгорожен простыней — там, шушукаясь и пересмеиваясь, одеваются девочки.

Легче всего одеть Васю Маленького: белые порты, рубаха да шапка — вот и весь костюм. Правда, все очень велико на него: штаны приходится подвязать под мышками, а снизу наполовину подвернуть, рубаха ему почти до пят, но это пустяки — перевязать поясом, и все в порядке. С Любушкой тоже нетрудно. Костюма боярыни и царицы у нас нет, и Мария Сергеевна нашла выход: когда Любушка будет боярыней, она наденет цветастый платок Пелагеи Лукьяновны, а когда царицей — белый шелковый, с длинной бахромой, Марии Сергеевны, и сделанный из картона кокошник.

А вот с нами труднее. Черные скуфейки для меня и Кости — Григория Отрепьева — Мария Сергеевна сшила, но подрысников достать негде. Их заменяют коричневые халаты санитарок из амбулатории Максима Порфирьевича. Плохо только, что они с карманами и завязываются сзади двумя завязками — надо сшивать. Мария Сергеевна занята одеванием девочек, и Антон пробует сшивать сам, но несколько раз колет себе палец, потом теряет иголку и сконфуженно говорит:

— Нет уж, вы как-нибудь сами...

Мы с Костей наглухо упаковываем друг друга в халаты и начинаем помогать другим. Геньке к животу подвязывается подушка. Вместо шаровар он натягивает синие галифе отца Коржова. Коржов очень рослый, и галифе у него такие большие, что получают почти настоящие шаровары. Смушковую папку дал ему Савелий Максимович, а вот кафтанов нет. В клубе есть один зеленый казачий кафтан, но он нужен для Само-

званца и Андрия. Остается единственный выход — мы отыграем, и наши халаты, если их подшить, сойдут за кафтаны.

Для Сергея Лужина особого костюма не надо — он будет сидеть. На него надевают черный пиджак, а горло пышно повязывают белым шарфом, чтобы было как жабо, говорит Мария Сергеевна. Для него Антон принес настоящий черный парик и бакенбарды, а когда загримировал, так, если не смотреть вниз, на ноги, получается самый настоящий Пушкин.

— Ну как, артисты, готовы? — спрашивает, входя, Савелий Максимович.

— Нет, нет! — в ужасе кричим мы.

— Пора начинать, публика волнуется.

Зал непрерывно шумит, и все чаще там начинают хлопать и стучать ногами. Что за несознательность! Чего бы я стучал, спрашивается? Надо же подготовиться, на самом-то деле...

— Начинайте, Савелий Максимович! Пока доклад да антракт — успеем, — говорит Антон.

Савелий Максимович уходит. Слышен звонок. Зал стихает.

Антон начинает клеить нам бороды и усы. Специального волоса у нас нет, и в ход идет пакля; только мне, Васе Маленькому и Геньке Антон потом пудрит паклю, а Остапу усы пачкает сажей, чтобы были черными. Лучше всего получаются у Геньки — длинными толстыми колбасками они свисают на целую четверть. У меня борода до самого живота, усы совершенно закрывают рот. Оно как будто так и надо, только пакля лезет в рот, а оставшаяся в ней кострига покалывает и щекочет. Антон прилепил мне и брови — длинные, лохматые. В общем, по моему, получилось страшилище, вроде лешего, но все говорят, что очень хорошо, настоящий старик, вылитый летописец, как будто они видели хоть одного живого летописца!

На носах у нас Антон делает белые полосы, а по бокам мажет красным. Мне еще рисует коричневой краской морщины. У меня хоть немного, а Любушку так изрисовал, что она стала похожа на татуированного индейца. Но как будто так полагается — со сцены это будет выглядеть как настоящие морщины.

В зале гремят аплодисменты — доклад окончен. Сейчас нам начинать, а Мария Сергеевна все еще занята с Катеринкой. Сколько можно одеваться? Наконец Антон забирает грим и идет

за простыню: пока Мария Сергеевна будет подшивать, он заgrimирует Марину.

Никто из нас не может усидеть на месте, и мы топчемся, кружим по канцелярии, словно листья под ветром, бегаем на сцену и опять возвращаемся в канцелярию. От грима приторно пахнет салом, на лице проступают крупные капли пота, будто мы только что вышли из бани, кострига щекочет лицо, и мне все время хочется чесаться. Но это все ничего, перетерпеть можно, а вот что будет потом?.. Сердце у меня подпрыгивает и начинает стучать, как колотушка.

— Готово! Пожалуйте, панна Мнишек,— слышим мы голос Антона за простыней.

Катеринка выходит и... Это Катеринка? Лиловое платье, перехваченное поясом, спадает вниз, до самых пят, широким раструбом, шуршит и переливается шелковым блеском. На голове высокая корона из волос, в которых сверкают, как мне кажется, брильянты. Высокий стоячий воротник окружает шею. Бледное лицо надменно и строго, под глазами синие круги.

Подобрав хвост шумящего платья, Катеринка гордо шествует по комнате мимо нас, замарашек в санитарных халатах, но не выдерживает и, крутнувшись на одной ножке, поворачивается:

— Ну как?

— Здорово!— восхищенно выпаливает Костя.— «Тебя ли вижу я?..»

А меня пронзает острая зависть: почему же не я, а Костя играет Самозванца?

Катеринка мне кажется такой красивой, что внутри у меня что-то холодеет.

— Савелий Максимович сказал, чтобы второй звонок давать. Скоро вы там?— сердито и пренебрежительно говорит Пашка, просовывая голову в дверь.

В дверь вместе с ним врываются рукоплескания, шум.

— Давай, давай!— говорит Мария Сергеевна.— Пошли на сцену!

Сергей усаживается за маленький столик, обтянутый темной материей, чтобы не были видны ноги; справа за кулисы становится Любушка-Старуха, с веретеном и куделью; слева —

Оля, у которой на голову надет колпак, выкрашенный желтой краской и разрисованный под рыбью голову. А Вася Маленький начинает бросать у задней стенки марлеву зеленую сеть. Антон уже возле волшебного фонаря. Мария Сергеевна — за левой кулисой, с книжкой в руке: она будет суфлировать.

— Давай третий! — говорит она Пашке.

Пашка зверски, как на пожар, звонит и, закусив губу, тянет веревку. Занавес раздвигается. Освещен маленькой лампочкой в колпаке, которую держит Пашка, только Сергей Лужин — сейчас он еще больше похож на Пушкина. Удобно облокотившись, он спокойно смотрит в зал, выжидает, пока там стихнет, и начинает:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...

На задней стенке вспыхивает синее-пресинее море (Мария Сергеевна очень хорошо все нарисовала!), а Вася Маленький, который под светом фонаря тоже стал весь синий, начинает забрасывать свою сетку. На третий раз он бросает сеть не к стенке, а за левую кулису и, поймав Олю-Рыбку за голову, пятась, выводит ее на сцену.

— «Отпусти ты, старче, меня в море!..» — тоненьким, пискливым и прерывающимся от волнения голосом говорит Оля.

Все идет как по-писаному. Никто не сбивается, не путает. Любушка, избоченившись, так ругает Старика, а Старик так старательно все выделяет, что лучше и нельзя. Правда, Мария Сергеевна сказала Васе, чтобы он сгорбился — старики всегда горбятся, — но сгорбиться Вася не может. Вместо этого он согнулся и ходит так, будто у него нестерпимо болит живот. Головы он не поднимает, не глядит ни в зал, ни на соучастников, а упорно смотрит себе под ноги. Перед Старухой-царицей он должен снять шапку, но, когда снял, в зале засмеялись: парика Васе не надели, и оказалось — борода и усы седые, а под шапкой стриженные под машинку черные волосы.

Занавес закрылся, в зале захлопали, засвистели (это не потому, что плохо, а как раз наоборот — значит, понравилось). Любушка, Оля и Сергей вышли кланяться, а Васи нет. Он забился в канцелярию и ни за что не хотел выходить.

— Что же ты, Вася? Когда аплодируют, надо выходить.

— Зачем?— серьезно спросил он. (Вася еще никогда не был на спектакле и не знает, как все делается.)

— Зрители хлопают — благодарят артистов, а артисты кланяются — благодарят зрителей.

Вася задумался и промолчал.

Небольшой антракт — и наступает наша очередь. С третьим звонком сердце у меня обрывается и стремительно падает вниз. А тут еще под пяткой у меня что-то стреляет, я прыгаю в сторону — снова пальба...

Оказывается, под моими ногами выстрелили пробки для пугача. Ружье для Бульбы припасли настоящее, но Савелий Максимович запретил употреблять не только холостые патроны, но даже пистоны, и, когда Бульба будет убивать Андрия, Пашка должен выстрелить за сценой из пугача. Пугач мы взяли у одного второклассника, но пробок у него нашлось всего пять штук: две из них я раздавил, а третья куда-то закатилась и ее никак не найти — осталось всего две.

Пашка в отчаянии и ругает меня на чем свет стоит. Мария Сергеевна обрывает спор: пора на сцену!

Я сажусь за парту, превращенную в подобие не то аналоя, не то пюпитра, расправляю свернутую в трубку бумагу.

— А перо? Где же перо?

Генька опрометью бросается в канцелярию, тащит чернильницу и ручку.

— Что ты! Ведь нужно гусиное!— восклицает Мария Сергеевна и ужасно расстраивается.— Тогда ведь стальных перьев не было! И как мы могли забыть?

После небольшого замешательства Пашка мчится разыскивать Пелагею Лукьяновну — она обметает печку гусиным крылом, мы сколько раз видели сами — и возвращается с трофеем под полой (чтобы в зале не видели). Трофей порядком грязный и ободранный, но все-таки это настоящее гусиное перо.

Костя Коржов ложится на лавку, спиной к залу. Я — на своем месте. Возле меня горит огарок свечи. Раздвигается занавес, и темная глубина зала поглощает остатки моего мужества. Трясущейся рукой я старательно окунаю перо в чернильницу, вожу, вожу им по бумаге и не могу произнести ни слова.

— «Еще одно...» — слышу я шепот Марии Сергеевны.

Нет, ни одного слова мне не вымолвить!

— Кто это? — раздается в зале, и я радуюсь, что под лохматой бородой из пакли меня никто не узнает; сейчас закроется занавес, и я убегу со сцены, из школы, из деревни куда глаза глядят, лишь бы кончился этот позор...

— «Еще одно...» — повторяет Мария Сергеевна. — Говори же!

Я делаю над собой нечеловеческое усилие. Горло мое издает какой-то мышиный писк, и наконец я выдавливаю из себя натужный, сиплый шепот:

Еще одно, последнее сказанье...

— Громче! — кричат в зале.

Но самое страшное позади — первые слова произнесены, — теперь я громче и увереннее продолжаю:

...И летопись окончена моя...

— Колька Березин! — раздается радостный возглас в зале. Узнали все-таки! Но деваться некуда...

...Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил...

И вдруг за спиной я слышу странные звуки:

— Хр-р-р... Хр-р-р... Х-х-хр...

Это Костя изображает спящего и, чтобы было совсем похоже, начинает храпеть. По залу пробегает смешок — Костя храпит еще усерднее.

— Костя, перестань храпеть! — негодуя, шепчет Мария Сергеевна.

— Кос... — едва не повторяю я, но немедленно перехожу на свой текст:

...Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу...

Фух! Наконец окончен монолог, теперь нужно писать.

— У-вау!.. — раздается у меня за спиной какое-то не то мычанье, не то мяуканье: Григорий-Костя проснулся, сладко потягивается и зевает.

Он начинает говорить, и я решаюсь взглянуть в зал. В черной глубине смутно желтеют лица... Нет, лучше больше не смотреть — от этого становится еще страшнее и язык совсем прилипает к гортани.

А Косте хоть бы что! Он держится свободно, даже слишком свободно, и говорит, попеременно поднимая кверху то одну, то другую руку. Мало-помалу оправляюсь и я и хотя руками не машу (они у меня дрожат по-прежнему), но говорю смелее.

Сцена идет прекрасно до самого конца, до моей последней фразы.

— «Подай костыль, Григорий!» — говорю я и холодею от ужаса: костыль остался в канцелярии!

Костя вскакивает и начинает тыкаться из угла в угол. Но нельзя найти то, чего нет! Костя ищет и ищет, а я стою и стою, не зная, что делать.

— Иди, иди же! — шепчет Мария Сергеевна, но я не могу тронуться с места: как же без костыля?

— Так нет здесь костыля! — измучившись в бесплодных поисках, говорит Костя.

Больше стоять невозможно.

— Тогда не надо, — дрожащим голосом произношу я и поспешно, забыв о возрасте Пимена, выхожу, почти выбегаю за кулисы.

Провал! Сам провалился и всё-всё провалил!.. Куда мне деваться от этого позора?

Я не замечаю, что Костя договорил свою реплику, занавес закрылся и открылся снова. Из зала несется грохот аплодисментов.

— Иди! Иди! — слышу я со всех сторон, и меня выталкивают на сцену.

Зал гремит, Костя храбро кланяется, а я стою как истукан. Вдруг к аплодисментам примешивается хохот, а рукоплескания становятся еще сильнее. Конечно, смеются надо мной!.. Я поворачиваюсь, чтобы убежать, и вижу Васю Маленького: он решил поправить свою ошибку и вышел на аплодисменты теперь. Один ус у него отклеился, он придерживает его рукой, кланяется, сгибаясь пополам, а зал хохочет и рукоплещет..

— Молодцы! Хорошо играли,— говорит Савелий Максимович, заглянувший на минутку в канцелярию.

— Нет, правда?— недоверчиво переспрашиваю я.— А как же... костыль?

— Ну, костыль — пустяки! Важно, что в целом верно все, с чувством...

Все наперебой обсуждают сыгранную только что сцену и находят, что было очень хорошо, а у меня голос и руки дрожали, как у настоящего старика...

Понемногу оцепенение испуга проходит, сердце как будто бы поднимается и становится на свое место, и я начинаю думать, что, может, и в самом деле все прошло хорошо, а что руки у меня дрожали просто от страха — никто ведь не знает..

Костю поспешно наряжают в зеленый кафтан с нашитыми на нем желтыми жгутами. Шапочка подходящей нет, и Мария Сергеевна надевает ему свой белый плюшевый берет. К берету брошкой прикреплен торчащий вверх пучок белых куриных перьев.

Я бегу на сцену посмотреть, как готовят декорацию. Там священнодействует Пашка. Он думает, что его фонтан — самое главное, ради него и спектакль ставится, и хотел было установить его у самого занавеса, но Антон указывает место возле стены, иначе фонтан будет мешать действующим лицам. Пашка пробует спорить, но потом все же перетаскивает его к стене. Сделан фонтан очень просто: к табурету приставлена дощечка с резиновой кишкой, а спереди Пашка обкладывает табуретку камнями. Получается так, что струя воды бьет прямо из груди камней. Чем не фонтан?

— Э, нет, не годится! — говорит Антон.— Так у нас все артисты поплывут. Надо что-нибудь подставить.

Пашка бросается разыскивать Пелагею Лукьяновну и возвращается с тазом.

— Тазик-то малированный, ты его не побей! — идя следом, говорит Пелагея Лукьяновна, но, увидев, для чего понадобился таз, успокаивается и уходит в зал.

Струя звонко гремит о таз, но, когда вода накапливается па дне таза, она начинает журчать, как ручеек. Пашка до поры затыкает фонтан пробкой.

Я слышу за плечом прерывистое дыхание. Рядом стоит Катеринка. Глаза ее широко открыты, ладошки прижаты к груди.

— Ой, боюсь!— шепчет она и зажимушивается что есть силы.

— Ничего, все будет хорошо, вот увидишь! Ты сегодня такая...

Но Катеринка не дает мне окончить:

— Тебе хорошо, ты уже сыграл... А я боюсь... Ой, мамочка, боюсь!..

— Костя, на сцену! Начинаем,— торопит Мария Сергеевна.

Костя Коржов поднимается на подмости, Антон включает фонарь с желто-зеленым стеклом, и сцена озаряется призрачным, почти по-настоящему лунным светом. Пашка выдергивает пробку из фонтана и бежит к занавесу.

Зал тихонько охает: в зеленоватом свете струя горит и играет, как живое серебро. Костя бойко выходит на сцену.

— «Вот и фонтан,— говорит он, для верности показывая на него рукой.— Она сюда придет...»

Он пытается засунуть руки в карманы, но их в кафтане нет, а задирает полы, чтобы добраться до брючных, нельзя. Некоторое время руки ему страшно мешают, он не знает, что с ними делать, потом принимается махать ими в разные стороны и опять чувствует себя уверенно и свободно.

— «Царевич!»— слышится голос Катеринки.

— «Она!..— Костя передергивается, как от удара молнии — так он изображает волнение,— и страшным шепотом:— Вся кровь во мне остановилась...»

В зеленоватом лунном свете лицо Катеринки становится еще бледнее, глаза — еще больше и чернее. На лице ее столько высокомерия, гордой надменности и самоуверенности, что ни за что не поверишь, что она вот сию минуту жмурилась и дрожала от страха. И какая же она красивая сейчас! Эх, если бы мне быть Самозванцем!.. А Костя, разве он играет? Он просто кричит.

— «Марина!— говорит он и так стучает себя в грудь, что у него получается «Маринах».— Зри во мне...»

И какие же у Кости слова! Сам так ни за что не придумает и не скажешь. Их же с чувством надо произносить, страстно, как объясняла Мария Сергеевна. Но Костя плохо понимает, что

значит «страстно», ему кажется, что «страстно» и «страшно» — одно и то же, и он старается, чтобы было пострашнее: таращит глаза, хрипит, будто его душат, и мечется по сцене.

Прекрасная, гордая Марина покоряет меня все больше, но симпатии зала на стороне Самозванца.

— «Довольно стыдно мне...— восклицает он и дергает Марину за руку, точь-в-точь как Васька тогда, у пленницы, так что голова у Марины мотнулась из стороны в сторону,— пред гордою полячкой унижаться...»

— Давай, Костя! — кричит кто-то в зале.— Стукни ее, чтоб не задавалась...

Сцена благополучно доходит до конца — ни одной ошибки и заминки. Молодцы! Куда нам... Зал долго, оглушительно хлопает. Костя, все так же махая руками, раскланивается, а Катеринка не может наклонить голову — жесткий воротник упирается ей в самый подбородок. Так вот почему она так надменно держалась!.. Занавес закрывается, Катеринка бежит в канцелярию и в изнеможении падает на стул. Несколько секунд она сидит зажмурившись, потом открывает глаза и счастливо улыбается — все ведь было так хорошо!.. И я не знаю, когда она лучше: сейчас — веселая, смеющаяся, или там, на сцене, — гордая и неприступная...

— Знаешь, Катеринка...— улучив момент, когда рядом никого нет, снова начинаю я.— Ты сегодня такая...

— Какая?— рассеянно спрашивает она и, не дослушав, кричит Коржову:— Костя! Разве можно так дергать? Я думала, у меня голова отвалится и рука вывихнется...

Они начинают заново переживать только что пережитые волнения, а я отхожу в сторону — тут мне делать нечего, вовсе ей не интересно знать, какой она мне кажется. Ну и пусть!.. Но на душе у меня смутно и печально...

— Теперь ты справишься сам,— говорит Пашке Антон.— А я пойду в зал, погляжу, как это все выглядит оттуда.

Пашка прямо вздувается от гордости и начинает на всех покрикивать. Раньше бы я посмеялся над этим, а теперь мне даже не хочется улыбаться.

Сцена Тараса Бульбы с сыновьями и матерью проходит безукоризненно. Гепька просто великолепен: он так велчаво по-

глаживает то усы свои, то подушку на животе — ни дать ни взять полковник! И Ксения Волкова — она играет роль матери — плачет и причитает по-взаправдашнему, и даже Фимка держится хорошо — не вихляется, как всегда.

Но вот подходит последняя сцена, и тут разражается катастрофа...

Бульба настиг своего преступного сына, изменника Андрия.

— «Ну, что ж теперь мы будем делать? — грозно спрашивает Тарас, глядя в очи Андрия. Тот не может выдержать взгляда отца и опускает голову. — Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Андрий молчит и дрожит.

— «Так продать? Продать веру? Продать своих? Стой же!..»

В зале мертвая тишина.

— «Стой и не шевелись! — страшным голосом говорит Генька. — Я тебя породил, я тебя и убью!..»

Он делает шаг назад, снимает ружье, медленно прижимает приклад к плечу и целится...

Он целится и целится, а выстрела нет. За кулисами слышится громкий сердитый шепот, какая-то возня, но выстрела нет.

По залу пробегает смехок.

Генька опускает ружье, растерянно оглядывается на кулисы и начинает снова:

— Да, Андрий! Не помогли тебе твои ляхи? Я тебя породил, я тебя и убью!

Снова поднимает ружье, снова бесконечно долго целится, но выстрела все нет и нет. Зрители уже смеются вовсю. Генька, отчаявшись, щелкает курком и сердито шипит Фимке:

— Падай!

Фимка стреляет глазами за кулисы, ловит сигнал Марии Сергеевны, делает отчаянное лицо, закатывает глаза и грохается на пол.

Падает он так старательно, что слышно, как стучается его голова о доски. Генька опускает ружье и скорбно смотрит на замершего Андрия-Фимку. Но тот, видимо, вспоминает, как Мария Сергеевна говорила, что нужно, падая, схватиться рукой за сердце, и он, лежа на полу, вдруг хватается за левый бок.

— Не шевелись! — шепчет Мария Сергеевна.

— Не шевелись! — грозно рычит совсем растерявшийся Генька.

В это время за кулисами раздается долгожданный выстрел. Зал взрывается хохотом. Нас за кулисами тоже сгибает в три погибели от смеха. Пашка туго засадил пробку в пугач, а она оказалась подмоченной, что ли, и не выстрелила. Пока он, багровый от стыда и натуги, выковыривал ее гвоздем, было уже поздно...

Зал неудержимо грохочет.

Генька смеется, отвернув лицо в сторону, но подвязанная к животу подушка выдает его. Неподвижно лежащего Фимку начинает корчить, наконец он не выдерживает, поворачивается на бок, спиной к зрителям, и всему залу видно, как эту спину трясет от хохота.

— Занавес! — почти кричит Мария Сергеевна.

Вконец расстроенный, Пашка изо всей силы дергает веревку — она соскакивает с блока, и занавес не трогается с места. Приходится мне и Косте с разных сторон тащить полотнища занавеса вручную.

Генька безутешен, но зал гремит от аплодисментов, и участникам приходится выходить. Под конец все начинают кричать: «Марию Сергеевну!» — неистово хлопать, и она тоже выходит и кланяется, весело улыбаясь.

После спектакля Антон забирает нас к себе ночевать, а Катеринка уходит к Марии Сергеевне. Антон уговаривает Геньку и Пашку, что все прошло очень хорошо и нечего расстраиваться. Генька понемногу отходит, но Пашка так и остается надутым.

На следующий день только и разговоров, что о спектакле. Ребята в восторге от наших талантов. Особенно всем понравились Костя-Самозванец и Генька-Бульба. И это правильно: у них получилось все-таки лучше, чем у других, хотя, конечно, по-моему, до Катеринки им далеко.

Восьмого ноября мы еще раз играем свой спектакль, на него приезжают и тыжевцы: Марья Осиповна, Иван Потапович и мой отец. Много взрослых и из Колтубов. На этот раз все идет гладко, без заминки, даже пугач у Пашки стреляет вовремя, и ему не приходится сгорать от стыда.

Я уже больше не пытаюсь сказать Катеринке, какая она; сама Катеринка не вспоминает о том разговоре. Потом начнутся занятия, и испытанное тогда волнение больше не возвращается.

Но каждый раз, когда я вспоминаю об этом, на душе у меня опять становится как-то смутно, и я жалею, что так ничего тогда и не сказал...

КУЛЁМКА

Без конца шли осенние дожди, потом начало сильно подмораживать, но снега долго не было. И вдруг сразу, в одну ночь, пушистая пелена укутала землю и тайгу. Захар Васильевич затосковал: настала самая пора для промысла, а он мучился со своим ревматизмом и дальше околицы не мог выйти. Он зачастил к Катеринке.

У Катеринки была черноглазая, гибкая, как пружина, Найда. Захар Васильевич подарил ей пару живых белок. А потом Катеринка подобрала галку с вывихнутым крылом, назвала Кузьмой и теперь выхаживала.

Она еще хотела взять на воспитание ягненка, но этого Марья Осиповна уже не позволила. И так, когда вся эта живность надоедала Марье Осиповне, она не раз кричала в сердцах:

— И что это такое? Прямо не хата, а зверинец! — и грозилась всех повыкидывать.

Посмотреть на Катеринкин «зверинец» и приходил Захар Васильевич. Мы тоже часто собирались у нее.

Санька и Анька, как она звала белок, так забавно ссорились из-за корки хлеба, а потом, помирившись, взапуски, стремглав носились по всей избе, Найда была так красива, а Кузьма так уморителен, что с ними никак нельзя было соскучиться.

Особенно забавен был Кузьма. Он держался солидно и важно, неторопливо поворачивая во все стороны клювастую голову. А когда Катеринка садилась готовить уроки, он обязательно умащивался на стопку учебников и, нахохлившись, подремывал. Если Санька и Анька поднимали очень уж отчаянную возню, он приподнимал голову, как бы неодобрительно кричал и опять засыпал. Только он был ворюга, и, как Катеринка его ни сты-

дила, стоило оставить на столе новое, блестящее перо, как оно немедленно исчезало и найти его уже было невозможно.

Кузьма никак не мог привыкнуть к свету, и каждый раз, когда вспыхивала электрическая лампочка, он встревоженно вскидывался, растопыривал крылья и как-то сипел, косясь на сверкающий стеклянный шарик. Потом однажды, когда крыло у него поджило, он днем попробовал долбануть лампочку клювом, но тут же испугался, отлетел на подоконник и долго топтался там, сердито растопыривая крылья и беззвучно открывая клюв.

Захар Васильевич, присев возле печки, покуривал свою трубочку, следил за беготней Саньки и Аньки, о чем-то думал и вздыхал. Покончив с уроками, мы подсаживались к нему. Кузьма перебирался в загнеть, и мы расспрашивали Захара Васильевича о промысле, про всякие случаи в тайге.

Тут-то, в один из зимних вечеров, и зародилась у нас мысль тоже заняться промыслом. Конечно, мы не могли уйти на настоящий промысел: нас бы не пустили, да и не было у нас ни винтовок, ни припасу, а без этого много зверя не набьешь. Но Генька сказал, что это неважно — мы ведь будем добывать не на продажу, а для коллекции: набьем разных зверьков, сделаем чучела и опять отдадим в школу, как минералы. И вовсе не обязательно с ружьем: Захар Васильевич научит нас делать ловушки; они ведь тоже добычливы, если ставить умеючи.

Захар Васильевич обрадовался не меньше нас и начал рассказывать, какие есть ловушки, как их делать и где ставить.

Соболя у нас перевелись, самолёвы на кабаргу и козулю надо ставить далеко от деревни, и мы решили, наметив два небольших путника — по километру каждый, — расставить на них плашки и кулёмки.

Захар Васильевич взял почти метровое полено, расколол его на две неравные половины. В тонкой дощечке он сделал вырез; на него уперлась другая тоненькая дощечка, а чтобы она не соскальзывала, закрепил их края лучинкой с вырезом. На лучинку, уходящую под приподнятую плаху, насаживалась приманка. Стоило тронуть приманку, как обе дощечки выскакивали из выреза лучинки и опиравшаяся на них верхняя большая плаха падала.

Кулёмка была еще проще. Носком валенка Захар Васильевич сделал в сугробе углубление. Перед входом в него забил четыре колышка; между ними уложил порог — палку сантиметра в три толщиной, сверху между кольями установил вторую, подлинней — боёк, а чтобы она была тяжелее, привязал сверху еще одну палку. Боёк удерживался сторожком — палочкой, упирающейся в зарубку на другой наклонной палочке, на острый конец которой насаживалась приманка. Когда ее трогали, сторожок соскальзывал с зарубки и боёк, направляемый колышками, падал на порог.

Кулёмка нам понравилась больше, потому что плашки делать в лесу трудно, а тащить с собой — тяжело; кулёмку же ничего не стоило сделать в любом месте — был бы топор. Но мы все-таки сделали две плашки — я и Генька, а Пашка сказал, что будет делать черкан — ловушку, в которой зверя придавливает боёк, привязанный к тетиве лука. Мы так и не дождались, пока он сделает свой черкан, и ушли вдвоем.

Катеринку мать не пустила, сказав, что нечего зимой ходить по тайге — еще застудится.

Первый путик мы проложили за гривой, к северу от деревни. Потом свернули на запад и, пройдя с километр, проложили второй — возвратный. Плашки мы установили на поворотах, а на каждом отрезке устроили по четыре кулёмки, решив потом добавить, если окажется мало. Приманкой служили сушеные грибы, так как прежде всего мы хотели заполучить белок.

Через два дня мы обошли свои ловушки: они были пусты. Половину из них завалило снегом, рухнувшим с ветвей, а остальные стояли как ни в чем не бывало, только ни добычи, ни приманок не было. Генька предположил, что их кто-нибудь обчистил до нас. Мы снова зарядили ловушки и, вернувшись, рассказали Захару Васильевичу о неудаче.

— Да вы, может, сторожкй туго поставили? Белка обьест приманку, а сторожок и не стронет. Вы бы попробовали, не туго ли...

Так и оказалось. Мы подогнали сторожкй, чтобы они срабатывали от первого прикосновения. У второй плашки Геньке досталось.

Пробуя сторожок, он тронул его не прутиком, а рукой, и тя-

желая плаха стукнула его по пальцам так, что Генька закричал от боли, а потом обрадовался.

— Вот видишь,— сказал он,— плашка действует как надо. Не в сторожке дело, тут кто-то шастает... Ну, я его поймаю!

Мы свернули на второй путик, к оставшимся кулёмкам, как вдруг Генька остановился, пригнулся за кусты, и я невольно сделал то же. Впереди послышались скрип снега, шорох раздвигаемых кустов, и из-за деревьев показался невысокий человек. Он шел не таясь и, должно быть, торопился. Мы увидели только его спину и шапку, обсыпанную снегом. Генька кивнул, и мы двинулись следом. Маленький человечек направился к деревне, но не по нашему путику, а пересекая его. Поднявшись на гриву, он остановился, нагнулся и что-то стал делать, но увидеть, что именно, нам помешали кусты. Потом он выпрямился и стал спускаться по гриве, наискосок к Колтубовской дороге. При этом он все время как-то странно махал позади себя вытянутой рукой. Мы переждали, пока он скроется из виду, и побежали к тому месту.

Возле колоды стояла маленькая, кое-как сделанная, полузасыпанная снегом кулёмка. Под бойком лежала уже замерзшая белка. Следов человека не было — вместо них тянулась широкая полоса взрыхленного снега.

— Видишь!— сказал Генька.— Это он веткой следы за собой замел... Ну и воруго!

— Так он же не взял! Вон белка-то лежит,— возразил я.

Но Генька уже утвердился в своей мысли, и его нельзя было сбить.

— Ну и что? А может, здесь не белка была, а горностаи или колонок?..

Это меняло дело. Конечно, тогда это хитрющий вор, если он, чтобы не возбудить подозрений, оставлял малоценную добычу, а себе забирал подороже...

Мы тоже замели за собой следы и стороной сбежали с гривы.

И тут сразу все стало ясно: маленькая фигурка спустилась на Колтубовскую дорогу, свернула к деревне и исчезла в избе Щербатых.

Мы никому не сказали о своем открытии, но решили выследить Ваську, захватить на месте преступления и раз навсегда

отбить у него охоту к легкой добыче. Зря, выходит, пожалел я его тогда на собрании и не рассказал о браконьерстве! Может, он и не стал бы теперь шарить по чужим ловушкам.

Катеринка, даваясь от смеха, рассказала, что Пашка построил свой черкан и решил его попробовать в деревне — у конюшних видали следы хорька. Он насторожил черкан, но попал в него не хорек, а их же кот. Полузадушенного, обезумевшего от страха кота вытащил Пашкин отец, а черкан изломал. Сам Пашка сидел дома и от стыда никуда не показывался.

Но нам было не до Пашки. Мы старались не выпускать из виду Ваську и, как только возвращались из школы, сейчас же устанавливали наблюдение за его избой.

Он никуда не отлучался. И только в воскресенье Генька увидел, как он взял лыжи, вышел на Колтубовскую дорогу и исчез в лесу.

Я предложил бежать следом, но Генька сказал, что так он может заметить нас; лучше притаиться возле той кулёмки: он обязательно придет к ней опять.

Мы поднялись на гриву с другой стороны. Кулёмка была пуста. К ней мы не подходили, а посмотрели издали и спрятались за кустами, чтобы нас не было заметно, а мы всё видели. Генька даже тряхнул над нами ветки, чтобы под опавшим снегом нас совсем нельзя было заметить. Ждать пришлось долго, мы порядком замерзли. Я подумал, что зря мы уселись сторожить пустую кулёмку, но только успел сказать это, как слышались шаги...

Васька, как и тогда, подошел к кулёмке, нагнулся над ней, и боёк глухо стукнул.

Он только начал опять замечать следы, как мы выскочили из-за кустов и бросились на него. Васька от неожиданности остушился с лыжи, провалился в снег, и мы надели на него сверху.

— Вы чего — очумели? — закричал он, узнав нас.

— А вот сейчас узнаешь чего! — злорадно сказал Генька, набирая снегу. — Узнаешь, как по чужим кулёмкам шарить... Браконьер!

— Я у тебя шарил? — вырываясь, закричал Васька. — Пусти лучше!

— Не пущу! И у нас шарил, и тут шарить... Я тебя отучу!

Васька вывернулся. Мы упали в снег, снова навалились на него, а он такой верткий, что никак его не удержать, и, хотя нас было двое, мы то и дело оказывались в снегу. Шапки были затоптаны, снег набился и в рукава и за воротник, мы забыли о кулёмках и добыче — просто нужно было раз навсегда проучить этого Ваську...

И вдруг в самый разгар свалки, когда мы опять сцепились все трое, рядом послышался обиженный и удивленный ребячий голосок:

— Ребя! Чего вы тут балуете? Всех белок распугаете...

Мы разом поднялись. Перед нами стоял утонувший в снегу и тщетно старавшийся наморщить брови Вася Маленький.

— А ты чего тут ходишь?— спросил Генька.

— Я-то за делом,— солидно сказал Вася.— А вот вы чего тут толчетесь? Другого места вам нет?..— И он направился к кулёмке.

— Это что, твоя?

— Ну да, а то чья же!

— Ты что же это,— снова разъярившись, повернулся к Васье Генька,— у маленького крадешь?

— Ты меня поймал?— с угрюмым вызовом отозвался тот.

— А чего он украл?— спросил Вася Маленький.— Он не украл: белка-то вон она!— И, подняв боёк, он вытащил за хвост дымчатую беличью тушку.

Мы открыли рты. Когда же она успела попасться? Ведь не полезла же белка в кулёмку во время нашей драки, а перед тем кулёмка была пуста, это мы видели оба.

Неясная догадка бросила меня в краску. Должно быть, то же самое подумал и Генька, потому что он тоже начал краснеть.

— Так, значит, ты...— растерянно начал я.

— Ничего не значит... Не ваше дело, понятно?— сказал



Васька.— И не суйтесь, а то пожалеете... Попробуйте только раззвонить!.. Пошли, Вася!

Мы не «звонили», потому что нам было стыдно. Я рассказал только Катеринке, и она, всплеснув руками, сказала:

— Какие же вы, мальчишки, дураки! Что же тут удивительного, если Васька ему помогает? Тот ведь маленький и не умеет, вот он потихоньку и подкладывает ему белок, а то небось в его кулёмку ни одна не попадалась... Вася мне сам говорил, что набьет себе белок на шапку, а то старая совсем прохудилась... И очень хорошо, если Васька так сделал! Это нам стыдно, что мы не догадались...

Сначала мне показалось глупым, что Васька вот так, по шутке, подкладывал белок в Васину кулёмку — этак он только к весне набирает на шапку, и лучше уж было наловить и сразу отдать все. Потом я понял, что это совсем не то: хотя Вася обрадовался бы подарку, но добытая своими руками шапка была бы для него куда дороже.

Чем больше я думал, тем сильнее возрастали у меня уважение к Ваське и стыд за наш промах. Больше всего нам было стыдно оттого, что не мы, а Васька Щербатый догадался помочь Васе Маленькому.

Всем нравился этот белоголовый крепыш в больших, не по росту, валенках, полущубке и постоянно съезжавшей ему на глаза облезлой телячьей шапке. Держался он солидно, наморщив не желающие хмуриться брови, рассуждал о хозяйственных делах, никогда не жаловался и не хныкал. Не жаловалась и его худая, болезненная тетка, ставшая Васе второй матерью, когда мать его померла, а отец погиб на фронте. Она забрала Васю к себе, и все сказали, что это хорошо и правильно. Тетка работала, как все, но жилось им трудно: она часто хворала, а другого работника в семье не было.

Мы были заняты или своими делами, или делами общими и, как нам казалось, очень важными, и между ними терялся, исчезал из поля зрения Вася Маленький.

Да только ли он? Вон Любушка ходит в рваной шубенке, Фимка никак не может напасть дров, потому что печка у них старая, жрет дрова, словно ненасытная, и все равно у них всегда холодно...

Чем больше мы об этом думали, тем больше нам становилось стыдно. Генька сразу же загорелся и предложил сделать в два раза больше плашек и кулёмок, и не для коллекции, а все шкурки отдать Васе Маленькому и Любушке. В наши кулёмки теперь белки начали попадаться: распяленные Захаром Васильевичем, на правилках сохли семнадцать шкурок... Против этого никто не возражал, но шкурок было мало, и мы, по обыкновению, пошли за советом к Даше Куломзиной.

— Хорошо, ребята,— сказала она.— Действуйте и дальше по-своему. А Федор Елизарович уже говорил об этом...

Потом мы узнали, что еще раньше было заседание правления, дядя Федя и Даша поставили вопрос о помощи сиротам, пострадавшим от войны, и тем, кто хорошо работает, но в чем-нибудь нуждается и сам с этой нуждой справиться не может. По предложению дяди Феди, правление решило выделить для Любушкиной матери овчины за счет колхоза, переложить в Фимкиной избе печь, а тетке Васи Маленького дать ссуду.

Даша рассказала дяде Феде о наших планах, и, когда мы прибежали к нему за проволокой для правилки, он сказал, что мы молодцы и что глаза у нас глядят в правильную сторону, так и надо!

Фимка каким-то образом узнал все и перестал кривляться при встречах. Однажды вечером он сам подошел ко мне:

— Это вы насчет печки наговорили? Я знаю.

— Ну и что?

— Ничего. Не задавайтесь! Я и сам бы мог.

— А мы и не задаемся. Думай как хочешь.

Он помолчал, глядя в землю, а потом сказал:

— Я не думаю... Знаешь, я больше не буду вас «рябчиками» дразнить...

А через два дня, когда мы все сидели у Катеринки и смеялись над Кузьмой, который попробовал было утащить начищенную столовую ложку, но, заметив, что за ним следят, выпустил ее из клюва и теперь притворялся, что никакой ложки не видел, а интересуется его только сучок на подоконнике,— пришел Фимка и с порога протянул шкурку ласки:

— Нате. Вы коллекцию собираете, я знаю.

Словом, Фимка перешел в наш лагерь, а вслед за ним и

Сенька. Фимку особенно тянуло к приемнику, и он постоянно теперь водился с Пашкой, который был главным радиотехником в избе-читальне.

Вот только Васька Щербатый не простил нам «браконьера», а новая обида окончательно отрезала пути к примирению. Генька попытался поговорить с ним в открытую, но из этого ничего не вышло. Васька хмуро выслушал его, ничего не сказал и ушел.

У Васи Маленького скоро появилась новая беличья шапка, и, хотя шкурки были плохо выделаны и при каждом прикосновении шапка трещала, будто сделанная из жести, он был горд и счастлив.

Промысел наш оказался не очень удачлив, но мы все-таки добыли тридцать семь белок, пять горностаев и двух хорьков. Из лучших шкурок мы сделали чучела и отнесли их в школу, а остальные отдали Марье Осиповне, и она беличьими шкурками обшила подол и рукава Катеринкиного пальто и Любушкиной шубейки, а горностаевые шкурки пришила на их шапки. Шапки получились красивые.

БУРАН

Весь декабрь дули пронизывающие, злые ветры. То и дело срывались обильные снегопады, зыбкая белая пелена взвихренного снега застилала небо и тайгу. Дорога в Колтубы исчезла под высоченными сугробами, и каждый раз, идя в школу, мы протапывали новую тропку в обход снежных валов. Даже на зеркальном льду пруда нарастали заструги, и, как мы ни сме-тали их, они появлялись снова.

Один из последних дней декабря выдался на редкость ясный. Солнце так припекало, что к полудню даже началась капель, а сугробы на солнцепеке остекленели — на них появился тонкий, звонко потрескивающий наст. Пашка торопился домой и ушел вместе с другими ребятами, а мы втроем побежали на каток. Антон выполнил свое обещание — на льду пруда комсомольцы расчистили каток, и мы частенько после уроков отправлялись туда на часок-другой.

На этот раз катались мы долго и спохватились, когда все

небо затянули облака, поднялся ветер и теневые стороны заступов задымилась. За Колтубами ветер стал еще сильнее, пошел снег.

— Может, вернемся, переждем в школе?— встревоженно сказала Катеринка.

— Чего там! Не заблудимся,— отозвался Генька.

Конечно, заблудиться мы не могли: линия электропередачи почти все время шла вдоль дороги, и если занесло дорогу, то столбы-то, во всяком случае, не занесет.

Ветер яростно взывал у стонущих под его напором проводов. Иногда он налетал такими порывами, что мы приседали к самой земле, чтобы не упасть. Если бы еще он дул в спину, а то ведь, как нарочно, прямо в лицо! Сухой, колючий снег хлестал по лицу, врвался в рукава, пробирался под овчину.

Особенно доставалось Катеринке: у нее был даже не полушубок, а просто пальто на вате. Сначала мы шли гуськом: я и Генька по очереди шли впереди, а Катеринка между нами, но потом она сказала, что так мы еще потеряем друг друга и лучше взяться за руки. Пригнувшись к самой земле, зажмурившись от слепящего снега и ветра, мы шли, ничего не видя и только прислушиваясь к стонущим где-то вверху проводам. Давно исчезла проложенная нами утром тропинка, ничего нельзя было различить в беснующейся молочной мгле, и, уже не разбирая пути, мы шли напрямик, через сугробы. Скорее даже не шли, а карабкались, поминутно проваливаясь через тонкий наст в рыхлый, сыпучий снег; с трудом выбирались из него — и сейчас же снова тонули в сугробе.

Ко всему еще сразу стемнело. Никто не знал, прошли ли мы половину, треть или даже четверть дороги, и узнать это было невозможно, потому что ничего нельзя было разглядеть в колючей, воющей тьме. Ветер и усталость все чаще заставляли нас останавливаться, поворачиваться спиной к ветру и отдыхать. Но как только мы переставали двигаться, сразу же становилось нестерпимо холодно и нас начинала бить лихорадочная дрожь.

Катеринка уставала первая. И не только потому, что она была слабее, а потому, что на ней были огромные, со взрослого, подшитые пимы, купленные еще в Барнауле. В них нелегко ходить и по хорошей дороге, а месить снежную кашу и вовсе

тяжело. И Катеринка не выдержала. Она села на снег, закрыла лицо руками и сказала, что сил у нее нет и дальше она не пойдет: все равно где замерзать — здесь или там. Мы начали ее уговаривать и стыдить, но она не шевелилась.

— Эх, ты! — рассердился я. — А как же они шли — большевики, с дядей Захаром?

Катеринка с трудом поднялась, мы взяли ее под руки и повели, но скоро сами обессилели и решили как следует отдохнуть. Катеринка уже ничего не говорила, ее всю трясло, и, приложив руку к ее щеке, я почувствовал, что по ней текут слезы.

Я подумал, что, чего доброго, мы и в самом деле замерзнем. Подумал я об этом как-то вяло, без испуга, словно в голову пришла совсем пустяковая мысль и ничего страшного в ней нет. Вот это безразличие меня и напугало: по рассказам я знал, что именно так люди и начинают замерзать, когда им становится все равно — жить или не жить, лишь бы не трогаться с места. Я вскочил, мы подняли Катеринку и опять повели.

Шагов через двадцать я вдруг наткнулся на что-то, уперся в него рукой и в ужасе закричал: оно шевелилось! Шатун! Кто еще мог быть здесь в такую пору? Но «шатун» не поднялся на дыбы и не заревел, а человеческим голосом глухо спросил:

— Кто тут?

— Да ты-то кто? — обрадованно закричали мы.

— Ну, я, — ответил человек приподнимаясь.

— Васька? Ты чего тут?

— Я бы давно дошел, да озяб и с ним измаялся... — сказал Васька. У него под полкой съежился Вася Маленький.

— Так что, все ребята здесь? — встревоженно спросил Геннадий.

— Не... Они, должно, дошли давно, до бурана. А мы после вышли. Он идти совсем не может, в снегу тонет, я его на закорках несу.

Хоть это и был Васька, мы обрадовались — нас было теперь больше и потому не так страшно... Вася Маленький так озяб, что ничего не мог сказать, да и Катеринка была не лучше — она даже никак не отозвалась на то, что вдруг перед нами оказались Щербатый и Вася. Она только пробормотала, стуча зубами:



Нас было теперь больше и потому не так страшно...

— Хоть бы на минуточку куда спрятаться!..

— Некуда. Идти надо,— сказал Васька.

— Да хоть бы знать, сколько идти,— сказал я,— а то бредем, как слепые...

— Мы как раз на половине.

— А ты откуда знаешь?— спросил Геннадий.

— Знаю. Я столбы считал. Сейчас анкерная опора будет — как раз на половине.

Васька подхватил Васю Маленького на закорки и, согнувшись, пошел вперед. Через несколько минут мы поравнялись с опорой. Катеринка совсем обессилела, и мы ее уже почти несли.

— Стойте, ребята!— вдруг закричал Генька.— Стойте! Тут же наша пещера!.. В ней и переждем, пока ветер спадет.

Там действительно можно было укрыться от ветра и снега, потому что пещера находилась на подветренной стороне.

Васька не знал о ней и не поверил.

— Все выдумываешь!— сказал он.— Идти надо...

— Ну, иди, коли замерзнуть охота. И мальчика заморозишь...

Вася Маленький совсем перестал шевелиться и не подавал голоса, и это, должно быть, заставило Ваську согласиться.

— А найдем мы ее сейчас?— с сомнением спросил я.

— Найдем! От этой опоры как раз влево,— уверенно ответил Генька.

Нам сразу стало легче, потому что ветер дул теперь не в лицо, а в правый бок, и, хоть отвернувшись, можно было дышать, да и снегу здесь было меньше, чем на просеке. За скалами стало еще тише: сюда залетали лишь самые сильные порывы ветра... Генька приостановился было, оглядываясь, потом полез вверх через сугроб и исчез.

— Давай сюда, ребята!— услышали мы его голос.— Нашел...

По сугробу мы съехали прямо в пещеру. В ней было совершенно темно, и только у входа бледно отсвечивал снежный сугроб. Щербатый принялся тормошить Васю Маленького, и тот наконец вяло отозвался:

— Не трожь... Озяб я...

Озябли мы все, и чем дальше, тем становилось хуже. Пещера укрывала от снега и ветра, но ни согреть, ни укрыть от холода не могла. Катеринка сжалась в комок и еле слышно стонала.

— Ты чего?

— Ног не чую...— стуча зубами, ответила она, как заяка.

И только тут я подумал, что ее бахилы, наверно, доверху набиты снегом.

— Скидай пимы!— сказал я.

Она не пошевелилась.

Не дождавшись ответа, я нащупал ее пим и стянул с ноги. Так и есть! По всему пиму изнутри шел толстый слой спрессованного и подтаявшего снега, чулок был пропитан ледяной водой. Я стащил и чулок, но Катеринка, должно быть, не почувствовала. Набрав на варежку снега, я принялся тереть ее ногу так, что скоро мне самому стало жарко.

— Ой, не надо! Больно...— сказала наконец Катеринка.

Она начала меня отталкивать, но я растер ногу еще сухой варежкой, потом стащил с себя пим, шерстяной носок и обул ее. Катеринка уже не сопротивлялась, ничего не говорила, а только негромко всхлипывала. Пока я растирал и обувал ей вторую ногу, портянки у меня размотались, и ноги начали стынуть. Наскоро выколов снег из Катеринкиных пимов, я надел их.

Генька сначала топтался, хлопал себя руками, чтобы согреться, потом подсел к нам.

— Чего ты там возишься?— спросил он.

— Переобуваюсь,— буркнул я.

— Не поможет. Костер бы!..

— Где ты его возьмешь! Все снегом замело; небось ни одной валежины не найти...— сказал Васька Щербатый.

— Да тут недалеко сухостой есть, спичек вот только нет.

— У меня есть. Пошли! А то малый совсем заляк...

Геннадий вместе с Васькой нырнули в мутные вихри бурана. Мне бы следовало пойти тоже, но Катеринка вдруг уцепилась за меня, словно испугалась, что мы все уйдем и потеряемся в завьюженной тайге, а она останется одна с полузамерзшим Васей Маленьким. Я растолкал Васю. Он сонно спросил, чего я дерусь, и опять затих. Я посадил его между нами, и мы, тесно прижавшись друг к другу, молча ожидали возвращения Геньки и Васьки.

— Знаешь, Колька, твои пимы — как печка, у меня ноги со-

всем отошли, только по-оют...— почему-то шепотом сказала Катеринка.

— Скоро перестанут,— сдерживая зубную дрожь, ответил я.

У меня самого ноги стыли все больше. Выбить весь смег из пимов мне не удалось, от теплоты моих ног он подтаял, и портянки превратились в ледяной компресс. От ступней холод поднимался все выше, и мне казалось, что даже сердце у меня заходится от стужи. Я только изо всех сил старался сдерживать дрожь, чтобы Катеринка не догадалась и не вздумала опять надеть свои обледенелые пимы.

Катеринка все время поворачивала голову к выходу, прислушиваясь к завыванию бурана; меня тоже начало охватывать щемящее беспокойство. Я уже решил, что ребята заблудились, не могут найти пещеру, и только хотел вылезать наружу, чтобы покричать им, как вход вдруг потемнел — с шумом и треском ввалились Геннадий и Васька.

— Эй, не замерзли вы тут?— окликнул Генька.— Мы мало не заблудились. Ох и намучились! Или за живое дерево схватиться, или не обломишь. Давай скорее, Васька!

— Сейчас, руки отогрею, а то пальцы не слушаются...

Пещеру заполнил звонкий треск сухой, перестоявшейся древесины, потом я услышал шелест разрываемой бумаги — это погибала Васькина или Генькина тетрадь,— и в темном кольце бафровых пальцев, сложенных чашкой, вспыхнул слабый огонек.

Вряд ли потрясение, испытанное при виде электрического света, было сильнее охватившего нас теперь молчаливого восторга. Молчаливого, потому, что мы и дыханием своим боялись погасить этот жалкий, колеблющийся язычок огня.

Загорелась бумага, тихонько потрескивая занялись мелкие веточки — и вот уже запылали сучья, огонь вытолкнул кверху дым, и пещера озарилась неровным, танцующим светом. Дым за клубился наверху, потянулся к выходу, порывом ветра его втолкнуло обратно, и мы закашляли и заплакали не то от его хвойной горечи, не то от радости.

Наслаждаясь хлынувшим от костра теплом, мы вытянули над ним руки, и это получилось так торжественно, словно мы в чем-то клялись сейчас над спасительным огнем.

— Какие мы все-таки еще глупые!.. — задумчиво и печально сказал вдруг Генька.

Он не сказал больше ничего, и никто не возразил и не спросил, почему мы глупые. Должно быть, каждый нашел в себе какой-то отголосок на невеселые Генькины слова. Может быть, относились они к тому, что мы так легкомысленно задержались на катке и попали в буран; может быть, к тому, что до сих пор продолжалась эта нелепая вражда с Васькой; может быть, к тому, что мы еще мало ценим нашу дружбу и друг друга...

Костер разгорелся, и пришлось даже отодвигаться от жаркого пламени. Вася Маленький очнулся от оцепенения, щеки у него порозовели, он сдвинул на затылок гремящую беличью шапку, обнаружив нос-пуговку.

— Ух, хорошо! — сладко жмурясь, сказал он и озабоченно добавил: — А я было совсем забоялся: ну как замерзну, что тогда без меня тетка делать будет?

Я высушил над костром Катеринкины чулки. Она хотела снять мои носки, но я сказал, что не надо, иначе ноги у нее опять замерзнут. Снегопад прекратился, ветер спадал, но мы решили еще немного переждать в «пещере спасения», как назвала ее Катеринка.

Догорели последние ветки, и мы выбрались из пещеры. Ветер почти совсем утих, только по временам с гребней сугробов взлетала искристая морозная пыль. Теперь уже можно было различить скалы, укутанные в пухлые снеговые шали, черные стволы деревьев и опоры, будто расставленные циркулем ноги великанов. Облачная пелена разорвалась; в растущие просветы, сбегаясь толпами, заглядывали любопытные звезды.

Мы старались обходить сугробы, но даже там, где их не было, ноги проваливались по колено, и каждый раз в мои пимы набирался снег. Я сразу застыл, снова появилась лихорадочная дрожь, и почему-то начало ломить голову. Я крепился изо всех сил и не подавал виду, что ослабел: Катеринка помочь не могла, а Васька и Геннадий по очереди шли впереди — один прокладывал тропу, другой нес Васю Маленького.

Мы прошли не больше километра, как впереди мелькнул огонек, послышался собачий лай. Через несколько минут, ныряя в сугробах и звонко лая, к нам подкатился пушистый клу-

бок с торчащим кренделем хвостом. Это была Белая — лайка Захара Васильевича. Огоньков стало два, они быстро приближались, и вот уже показались двое верховых с фонарями «летучая мышь» и лошадь, запряженная в сани. Верхом ехали мой отец и Иван Потапович, а на санях — Захар Васильевич. Школьники вернулись до бурана, не хватало только нас, и, хотя все думали, что мы пережидаем буран в Колтубах, они все-таки поехали искать, опасаясь, не занесло ли нас по дороге.

Мы улеглись в санях. Меня знобило все больше, и то и дело я погружался в какое-то забытие. По временам скрип снега под полозьями будил меня, я оглядывался на едущих по бокам отца и Ивана Потаповича, на заметенную снегом чащу и опять проваливался в пустоту. Сани встряхнуло, по глазам ударил отраженный снегом свет — мы подъезжали к деревне. В это время Васька повернулся и негромко сказал:

— Знаешь, Генька, давай не будем больше! А?

Сани опять тряхнуло, и я не услышал Генькиного ответа...

Последнее, что мне запомнилось: побелевшее лицо матери и перепуганные глаза Сони.

...С глазами Сони я встречаюсь и когда прихожу в сознание. Она стоит у постели, пылливо и настороженно всматривается в меня, потом радостно взвизгивает и кричит на всю избу:

— Глядит! Маманя, глядит!..

— Что ты кричишь, дурочка? — спрашиваю я.

Соня не слышит, и я сам не слышу своего голоса — так он слаб и тих.

Из кухни выбегает сияющая мать, за ней появляется отец.

— Очнулся, герой? — спрашивает он.

У них счастливые и почему-то жалостливые лица. Мать осунулась, побледнела; у отца запали морщины возле углов рта. Значит, я долго и тяжело болел, если тревога оставила такие глубокие следы... Я сразу вспоминаю буран и «пещеру спасения».

— А где... — начинаю я и смолкаю.

Мать скорее угадывает, чем слышит, и, улыбаясь, говорит:

— Здесь, здесь... Скоро, должно, прибежит.

Стучат дверь в сенцах, в комнату входит Катеринка.

— Ой! — говорит она, сложив у груди ладошки и широко открыв большие глаза. — Очнулся?

Она улыбается, я тоже улыбаюсь и не знаю, чему я больше рад — своей или ее радости.

— Ну, как ты? — спрашивает она. — Я... мы так боялись!..

Она не говорит, чего они боялись, но глаза у нее начинают подозрительно блестеть.

— Я к ребятам сбегаю, скажу!.. — И, крутнувшись на одной ножке, Катеринка летит к дверям.

Скоро прибегают и ребята. Радостные, запыхавшиеся, они толкуются возле постели, сначала ничего не могут сказать, и мы задаем друг другу какие-то пустые вопросы. А когда Геннадий наконец начинает рассказывать, мать прогоняет их, потому что мне нельзя утомляться. Пашка все время собирался что-то сказать, надувался и пыхтел, но собрался только у порога:

— Ты... того... поправляйся... Я тебе радио проведу, вот увидишь!

Перед вечером Катеринка приходит со своей матерью. Она садится в сторонке, а Марья Осиповна — возле моей постели и спрашивает, как я себя чувствую и не надо ли мне чего. Сидит она недолго, а уходя, говорит:

— Будь здоров, Коля! Ты молодец! Из тебя выйдет настоящий мужчина...

Она выходит в кухню, а Катеринка подходит ко мне и говорит, не то спрашивая, не то утверждая:

— Ты бы тоже кинулся в воду, как тот Сандро... Правда?

Я вспыхиваю и молчу. Она, не дождавшись ответа, убегает вслед за матерью.

Потом я слышу из кухни заговорщицкие голоса матери и Марьи Осиповны, смех и негодующий Катеринкин голос:

— Фу, мама, как тебе не стыдно!..

На следующий день колтубовский фельдшер Максим Порфирьевич, по-тараканьи шевеля прокуренными усами, выслушивает меня, гулко крикает и говорит матери, тревожно наблюдающей за ним:

— Кризис прошел, все в порядке. Теперь его на сто лет хватит... Но пока лежать! Я еще приеду, посмотрю...

Поправляюсь я медленно.

Пашка вынелнил свое обещание. Он так приставал к Антону, что тот наконец разыскал ему провод от испорченного мотора и наушники. Пашка натянул провода между посадками от избы-читальни к нам, и теперь, когда там включают приемник, я тоже слушаю радио. Вернее, мы с Соней. Она взбирается ко мне на постель, умащивается рядом, и в один наушник слушаю я, в другой — она. Она же учит меня ходить. Когда Соня была совсем маленькой, я подавал ей свой указательный палец, и она, вцепившись в него изо всех сил, преодолевала непосильные для нее просторы избы. Теперь, как только я начинаю вставать, она требует мой палец и, сжав его, старательно ведет меня по комнате. Лицо у нее при этом такое напряженное и строгое, будто она делает самую важную работу из всех, какие только можно себе представить. Ходить самому она мне не позволяет, так как уверена, что без нее я обязательно упаду.

Как только я окреп и начал вставать, Генька сказал:

— Ну, хватит лодыря гонять, пора заниматься. А то ведь ты отстанешь...

Они по очереди приходят ко мне, рассказывают, что проходили в классе, и я делаю уроки, как если бы сам бывал в школе. Однажды Генька оборвал урок на полуслове и мрачно задумался.

— Ты чего? — спросил я.

— А ты знаешь, — ответил он, — если бы мы тогда тоже вот так догадались помогать Ваське, он, может, и не остался бы на второй год...

Геннадий прав, и меня охватывает запоздалый стыд. Конечно, разве так товарищи поступают? Его оставили, а сами убежали вперед...

— Ну, а теперь как вы с ним?

— Теперь порядок! Совсем помирились.

Катеринка приходит ко мне чаще всего прямо из школы, и мы сразу готовим уроки, потом разговариваем про всякую всячину. О буране и «пещере спасения» мы, словно по какому-то уговору, никогда не вспоминаем. Только иногда я ловлю на себе ее задумчивый, спрашивающий взгляд, но, встретившись со мной глазами, она отворачивается или говорит какие-нибудь пустяки.

ПУТИ-ДОРОГИ

Грянула весна, забушевала шалая Тыжа, сбросила снежную шубу тайга, и вместе с первым весенним громом и пронизанным солнцем дождем ворвались в нашу жизнь новые перемены.

Воспользовавшись открытым окном, у Катеринки сбежали Анька и Санька. Вскоре исчез и Кузьма. Даже тут он не удержался и стянул Катеринкин гребешок. Мы, смеясь, говорили, что это он украл не иначе, как на память. Катеринка не очень огорчилась.

— Я бы сама их выпустила, — говорила она. — Разве им тут жизнь, в избе?

Катеринка переменилась тоже. Глаза у нее стали словно еще больше, косички превратились в косы и уже не торчали в разные стороны, а толстыми жгутами легли на платье. Сама она была такой же быстрой и подвижной, но стала как-то строже и сдержанней.

У нее осталась только Найда, совсем уже большая маралушка. Катеринка думала и ее отпустить в тайгу и даже советовалась с Захаром Васильевичем, когда это лучше сделать, но тот сказал, что не надо торопиться, у него на этот счет есть одна думка.

Однажды, когда он сидел на завалинке, покуривая трубочку, смотрел на Найду и вздыхал, подошел Иван Потапович:

— Что вздыхаешь, Васильич?

— Душа ноет... Шабаш, видать, промыслу-то совсем...

— Да, ходок теперь из тебя неважнецкий.

— Куда уж!.. У меня теперь другая думка. Я было к тебе собрался идти. Чего бы нам звероферму не завести?

— Сам к зверям пойти не можешь, так зверей к себе? — засмеялся Иван Потапович.

— Ну, это само собой... Да ведь и дело выгодное. Марал — животная немудрая, уходу за ним немного, а выгоды — сумма денег. Колтубовцы вон тоже думают маральник городить.

— Слыхал.

— У них только места удобного нет: всю как есть изгородь ставить надо, а на это какая прорва людей требуется. Вот они и мнут... А у нас вон это урочище, где летось ребята ходи-

ли, — я там бывал, знаю... Там только с одной стороны перегородить — и все дело. Нам это не поднять, потому огорожу в сруб ставить надо, а на паях с колтубовцами в самый бы раз: и им выгодно, и нам...

На этот раз беседа кончилась ничем. Но Захар Васильевич не отступил. Он говорил и с Федором Елизаровичем, и с мопм и с Пашкиным отцом и так насел на Ивана Потаповича, что в конце концов тот сдался. Они съездили в Колтубы, договорились с «Зарей» и решили создать совместный, межколхозный, маральник. Постройку изгороди отнесли на сравнительно свободный промежуток между севом и уборкой.

Мы не могли уже принять участие в этой постройке, потому что у нас начинались экзамены. Подготовка занимала все время, и мы даже редко ходили в избу-читальню. Там теперь вместо Катеринки газеты и книжки выдавала Любушка. Она очень строго следила за порядком и так накидывалась на каждого, кто отрывал от газеты на закурку, что газеты совсем перестали рвать. А у приемника командовал теперь Фимка. Он уже не кривляется и не строит дурашливых рож: приемник — дело серьезное, и тут не до баловства.

Пашка еще раньше уехал в ремесленное училище. Летом он приезжал в отпуск и, хотя было жарко, все время ходил в картузе и шинели, застегнутой на все пуговицы: это чтобы все видели его форму. Форма, правда, красивая. Машины он еще никакой не изобрел, но говорит, что изобретет обязательно. Геньку, как только закончились экзамены, мы проводили в Новосибирск. Там его дядя работает на заводе. Генька будет у него жить и учиться в геологоразведочном техникуме. Он уговаривал меня и Ваську Щербатого ехать с ним вместе, но Ваське еще год учиться, а я выбрал себе другую специальность.

Одна Катеринка долго не знала, что ей делать. Но как-то под вечер к Марье Осиповне пришли Иван Потапович и Федор Елизарович. (Мы сидели под окнами на завалинке и всё слышали.) Сначала говорили про всякие дела, а потом Иван Потапович спросил:

— Ты, Осиповна, что думаешь со своей Катериной делать?

— И сама не знаю... Надо бы учить, да не знаю где, и от себя боязно отпускать...

— Чего боязно? Девчущку учить надо... Мы промеж себя этот вопрос обсуждали: животину она любит пуще всего и в самый бы раз была помощницей Анисиму. Только надо, конечно, подковаться как следует быть. Анисим, он дело знает, только больше практикой доходит, а без науки трудновато, при настоящих масштабах без науки нельзя. Так что пора нам свои кадры иметь: зоотехника и прочее такое... Так вот, ежели Катерина имеет склонность и ты не возражаешь, отправим ее в Горно-Алтайск, в зоотехникум... Ну, как думаешь? Оно и тебе с руки: дочка к тебе же вернется, и колхоз научный кадр получит...

Марья Осиповна начала благодарить, а у Катерины закапали слезы.

— Чего ж ты реवेशь? — спросил я. — Радоваться надо, а она ревет.

— Ты совсем дурак, Колька, и ничего не понимаешь, — сказала Катеринка. — Это от радости...

Так решилась судьба Катерины.

А я еду в Горно-Алтайское педучилище, так как давно уже решил стать учителем и потом вернуться в свою деревню. С Катериной мы стоворились, что хотя мы и в разных техникумах, а учиться и домой будем ездить вместе.

Мы без конца строим с ней всяческие планы и предположения, как будем учиться, а потом работать, и каждый раз эти планы становятся все ярче, заманчивее, так что у нас даже дух захватывает и мы останавливаемся, раздумывая: а так ли будет все это? И потом решаем: будет, конечно же, будет!

Только... Как было бы хорошо, если бы не было расставаний и разлук! И почему это так: рядом с радостью всегда идут печали, и утраты настигают тебя тогда, когда они тяжелее всего?

Вот расстались мы с Генькой, и наверно, навсегда: летом он будет ездить на практику, а потом станет геологом — и начнутся странствования, а будет учиться дальше — и вовсе, быть может, не заглянет в Тыжи. Геннадий доволен — осуществится его мечта о путешествиях, но и ему было грустно расставаться с нами. И у него и у нас будут новые друзья, но такая дружба уже не повторится: все-таки мы выросли вместе, и день за днем все в каждом дне было и его и наше, нераздельное и незабы-

ваемое. И сколько раз потом мы будем вспоминать Геньку, выдумщика и фантазера, которого мы когда-то называли вруном за его неистощимую фантазию, бесстрашного и требовательного товарища, по праву бывшего нашим вожаком!

Незадолго до отъезда меня и Катеринку вдруг потянуло в школу: ни за чем, просто так — еще раз побывать в ней, посмотреть, и всё. Пелагея Лукьяновна поворчала немного, но все-таки пустила нас.

Странно, непривычно нам видеть пустые парты, слышать гулкое эхо наших шагов и приглушенные голоса.

Вот и всё, прощай, школа! Больше мы сюда, наверно, не вернемся и уже никогда не сядем за свои парты, чтобы, замирая от страха, ждать, что тебя вызовут и спросят невыученный урок, или затаив дыхание слушать и слушать, не замечая звонка, шума в коридоре... Уже не мы, а другие сядут за наши парты, шумной разноголосицей заполнят класс; перед кем-то другим, круто задрав нос кверху, будет нестись в бесконечном полете самолетик, вырезанный Генькой на парте...

На партах, в классах останутся только следы наших детских проказ, да и то ненадолго: будет ремонт, и все они исчезнут. Сохранятся лишь в канцелярии списки, таблицы и отметки, то огорчавшие, то радовавшие нас. Но в нас самих школа останется на всю жизнь. Разве можно забыть свою парту, первую прочитанную книгу, первую радость узнавания мира и тех, кто настойчиво и терпеливо повел нас — озорных непосед — по трудной и радостной лестнице знания! А наши шумные сборы, веселую возню на переменах, неповторимо прекрасную, беспощадную и самоотверженную ребячью дружбу!.. А спектакль!.. Мы увидим большие города... может быть, побываем и в Москве, пойдем в самые знаменитые театры, но где, в каком театре мы переживем еще такое волнение, как здесь, в родной школе, когда мы сами были артистами?

Трогательные и смешные, досадные и радостные воспоминания нахлынули на нас, и мы долго молча сидели за партами, словно пытаясь заново пережить пережитое.

Парты показались нам теперь меньшими, чем прежде. Конечно, парты остались теми же — выросли, переменились мы сами. И не только мы. Вон за окном в отдалении белеет здание

гидростанции; от нее увесисто шагают опоры электролинии: уже не только к нам, в Тыжу, а и в Усталы. Вторая турбина позволила дать ток в Усталы и дальше, в Кок-Су. И Антона уже нет на электростанции. Там за главного теперь Антонов помощник, а ему помогает Костя Коржов, который собирается стать электротехником. Сам Антон увлечен новым делом — дни и ночи пропадает на лесопилке, которую ставят на Тыже, в двух километрах ниже.

— И почто бы я ходила?.. Все там в исправности, все на месте... — услышали мы голос Пелагеи Лукьяновны. — Вам лежать надо, а не бродить...

— Ну-ну, ты бы меня из постели и не выпустила, — ответил ей голос Савелия Максимовича. — А вот и непорядок! Почему класс открыт?

— Ребятишки там... попросились...

— Какие ребятишки? — Савелий Максимович заглянул в дверь. — А-а... Это уже не ребятишки!.. Здравствуйте, молодые люди!

Мы встали.

— Что, со школой прощаетесь? — Он осторожно сел к нам за парту. — Я вот тоже... Вздумали меня лечить, на курорт посылают. А чем мне курорт поможет? Для меня работа лучше всякого курорта; а как от дела своего оторвусь, так и вовсе из строя выйду...

Он поседел еще больше и стал словно бы меньше ростом; только по-прежнему внимательно и живо смотрели его прищуренные глаза.

Савелий Максимович стал расспрашивать, когда мы едем, отослали ли документы, но в это время вбежала расстроенная Мария Сергеевна:

— Савелий Максимович! Разве можно так? Врач говорит одно, а вы другое... Вы наконец не имеете права не беречься!..

— Полно, полно, Машенька!.. Что же, мне теперь и выйти нельзя? Вы меня и так под домашним арестом держите. Вот поговорю с ребятами и пойду... Вы лучше посмотрите, как они выросли. Прямо как на дрожжах их гонит!

Мы поговорили немного, потом проводили Савелия Максимовича домой. Мария Сергеевна с одной стороны, а Катерин-



ка — с другой бережно поддерживали его, а он то сердился, то смеялся, что его ведут как маленького. В избу он не захотел идти и остался на крыльце.

Уходя, мы несколько раз оборачивались, а он все сидел, смотрел нам вслед и, заметив, что мы обернулись, тихонько помахал рукой.

Дома тоже все не так, как было. Мама ничего не говорит, но я вижу, что она все время думает об одном — о моем отъезде. Мы еще никогда надолго не расставались, и ей мерещатся всякие ужасы, которые могут со мной случиться. Отец посмеивается над мамиными страхами, но и сам по временам смотрит на меня задумчиво и как бы вопросительно: все ли будет так, как нужно?

Милые, хорошие мои! Не надо тревожиться и печалиться.

Все будет хорошо, вот увидите! Ведь я же буду писать, приезжать, а кончу учиться — вернусь опять сюда, к вам, и мы уже не будем расставаться; разве, может, ненадолго, если мне куда-нибудь надо будет поехать...

Я вспоминаю все-все, вспоминаю последний год, принесший так много нового. Что же произошло? Ведь все было так обыкновенно...

Да, все было обыкновенно и вместе с тем было необыкновенно! Я столько увидел, услышал и понял за этот год, словно у меня появилось новое зрение, новый слух, и еще что-то такое, для чего нет определения, но без чего нельзя жить. Знакомый, привычный мир заново открылся передо мной — и как много я узнал! Какие вокруг хорошие люди! Но ведь это только начало. Сколько я еще увижу, узнаю, каких еще только людей не встречу, подружусь с ними и полюблю их!.. И как это все-таки прекрасно — жить!..

Перед отъездом мы немного погуляли с Катей в березовой рощице, которую посадили год назад. Катя размечталась:

— Знаешь, Коля... (Раньше она всегда называла меня просто Колькой.) Знаешь, Коля, когда мы будем старые... То есть я не думаю, что мы будем старые, мне кажется — мы всегда будем молодые... Но ведь будем же, правда? Все стареют... Только это будет очень не скоро... Тогда тут будет уже не деревня, а большой город. А роща останется. Только деревья будут толстые и высокие. И мы с тобой придем сюда погулять и вспомним, какие мы были, когда были маленькие, и как все было хорошо...

Я сказал, что, конечно, придем, и это будет очень приятно — все вспомнить... Только мы уже не маленькие, она, Катя, стала такая красивая... как молодая березка. Катя покраснела и ничего не ответила. Потом мы еще раз прочитали письмо дяди Миши, которое я получил накануне. Он уехал в Заполярье и, прощаясь, писал:

«Вы очень порадовали меня своими успехами. Пусть Геннадий обязательно напишет о своей учебе. Все-таки я был его первым учителем, и мне хочется знать, какой из него получится геолог, да и, может, я смогу ему помочь в случае затруднений. Ты любишь книги и песни — это хорошо. Только помни, что они существуют не сами по себе, а для человека, и если за ними нет

человека — это просто испачканная бумага. Учись, люби людей, и, может быть, ты научишься добывать самоцветы из словесной руды.

Я с удовольствием вспоминаю наш поход и ваши милые мордасы (как только сможете, пришлите мне свои фотографии).

Тогда, я знаю, вы были изрядно разочарованы, что мы не нашли изумрудов. Но разве дело только в том, чтобы найти драгоценный камень? Вы нашли с тех пор самую большую ценность — любимый труд, которым будете служить народу. Значит, вы нашли свое настоящее место в жизни, а это главное.

Будьте же всегда и во всем, в маленьком и большом, идущими вперед! Желаю вам счастья и удачи...»

Ветер шевелил березовые листочки, по письму бежали трепетные зеленоватые тени.

Мы поднялись. Роща, весело шумя, расступилась, открывая залитый солнцем простор и подернутые голубоватой дымкой дали.

1950 г.



Муса Магомедов

Знаменитая
трусость

Перевел с аварского
ЦЕЗАРЬ ГОЛОДНЫЙ



САИД КУРБАНОВ — СЫН АЛИКУРБАНА

Если перевалить через гору, похожую на верблюда, сразу увидишь аул Б́агда. Он прилепился к склону другой горы, которую мои земляки-аварцы зовут Т́алоколо. Издалека аул будто игрушечный: узкие улочки, едва наметив свое направление, тут же теряются в поворотах и тупичках; сакли громоздятся одна над другой, как небрежная россыпь спичечных коробков.

Зато двухэтажное здание, стоящее на околице, недавно выбеленное, сияющее стеклами широких окон, все на виду. Это наша школа. Я был совсем малышом, когда ее начали строить. Но помню хорошо: в стройке участвовал весь аул. Каждая сакля должна была выделить повозку и осла, чтобы возить камни для фундамента. Бревна на стропила багдинцы тащили с берега реки вручную. Ведь в нашем ауле не было тогда ни хороших дорог, ни машин.

Нелегкая работа! И все-таки сумели возвести такое красивое здание, что даже из других аулов на него поглядеть приезжали. Славно, от души потрудились багдинцы!

Помню я, как мой старший брат пошел в новую школу. Эх и завидовал я ему! Бабушка говорила, что я скорее вырасту, если буду спать вытянувшись. И, услышав это, я уже никогда не подтягивал ноги под себя. А как я ел — за двоих! Ведь бабушка и тут дала мне добрый совет: кто много ест, тот быстрее растет...

И вот я вырос, и наступил наконец тот счастливый день, когда, захватив с собой сразу все учебники и целую пачку чистых тетрадей, я отправился в школу. Потом я ходил сюда семь лет. На моих глазах обновлялось и росло здание: колхозные плотники меняли настил полов, двери и оконные рамы. Сначала здесь было только пять комнат — четыре для школьников и одна для учителей. Но год за годом пристраивали все новые помещения. А недавно сделали большой спортивный зал.

Много лет прошло с той поры, как я учился здесь. Но память не изменила мне: мой класс на первом этаже, в самом конце коридора, налево.

Все школьные годы — с первого по седьмой класс — я проучился в одном и том же помещении. Я настолько привык к этой комнате с низковатым потолком и широким видом на горы, что, кажется, по доброй воле никогда бы не расстался с ней.

Когда я приезжаю в аул, в гости к родным или в командировку, мной овладевает желание побывать в школе.

И сейчас, не успев смыть с себя дорожную пыль и распаковать чемодан, я тороплюсь на улицу. Вот за той улочкой есть спуск, известный мне еще с детства. Потом надо перейти узкий мостик, гулко и пружинисто откликающийся на шаги...

Все как прежде, ничего не изменилось — кто-то ходит нашей тропинкой, спускаясь к мостику; мостик тоже на месте. Только одно кажется странным: чем дальше уходит от меня пора детства, тем меньшим кажется этот старый мостик.

Я подхожу к знакомому двухэтажному зданию, испытывая необычное волнение. Так волнуешься, ожидая свидания с близким человеком.

Ступив за калитку, я невольно сдерживаю дыхание, останавливаюсь. Зачем? Может быть, для того, чтобы продлить радость узнавания. Так случалось и в детстве, когда бабушка давала мне несколько персиков, привезенных из нижних, теплых

аулов: я делил персики на порции и, растягивая наслаждение, съедал их постепенно...

Школьный двор совсем не похож на прежний: сейчас тут стоит турник; разбита волейбольная площадка, ограниченная яркими известковыми линиями; дорожки аккуратно присыпаны песком; клумбы пестрят цветами. Особенно много маков, ярко-красных, с неожиданными черными родинками на лепестках...

Я стою на школьном дворе и вспоминаю. Здесь был пустырь, здесь поначалу единственной нашей забавой были альчики¹: это потом, когда я перешел в четвертый класс, мы прослышали о футболе и тогда, не страшась выбоин и острых камней, каждую переменку до изнеможения гоняли клубок из тряпок.

«Нынешние ребята живут иначе», — подумал я, еще раз оглядывая школьный двор. Подумал об этом без зависти. Да и чего завидовать: хоть и не видел я красивых цветов у окон, хоть и не пришлось мне поиграть в футбол настоящим кожаным мячом, а своих радостей и у меня было довольно...

Я вошел в здание, прошагал коридором, толкнул дверь нашего класса. И сразу же почувствовал крепкий запах свежей краски и извести. Этот запах всегда встречал нас, когда мы появлялись в школе после каникул. Он бодрил, вызывал желание побыстрее сесть за парту и раскрыть тетрадь.

Остановившись у доски, я обвел взглядом всю комнату — ряды новых парт, пеструю карту мира на стене, портреты Пушкина и Гамзата Цадасы, — и в душе еще громче зазвучали мотивы моего детства...

Где я сидел? Да вот тут, с краю, у самого окна. Конечно, наша старая парта давно выброшена. И стыдно признаться, но в том, что она постарела до срока, были виноваты мы с Алисултаном. Сколько глубоких, грубых шрамов оставили мы на ее черной лакированной коже! Сначала Алисултан вырезал на парте маленький якорь. Он мечтал стать моряком и хотел, чтобы об этом знали все. Не желая отставать от товарища, я тоже вырезал на своей половине якорь, только большой. Прошла неделя, и Алисултан вздумал украсить парту своим именем. Я и тут последовал примеру товарища: мое имя ровно наполовину коротче, и мне удалось завершить работу гораздо раньше.

¹ Альчики — игра, похожая на русскую игру в «бабки».

Кончилось это печально. Наш учитель, Сулейман Меджидович, все заметил и выставил нас из класса. Мы обиделись. Вышли во двор, пристроились за тыльной стеной школы и стали ругать учителя.

— Четырехглазый...— сказал Алисултан, имея в виду, что Сулейман Меджидович носил очки.

— Гунцарáp...— добавил я по-аварски, что означало: хмурый, не улыбочивый.

Наш учитель действительно был близорук и пользовался очками. И улыбался он редко.

Но если говорить правду, мы с Алисултаном были тогда еще более близорукими. Ведь не сумели же мы разглядеть в Сулеймане Меджидовиче настоящего друга! Лишь позже, когда мы учились в шестом классе, родилась эта дружба. Как дорожили мы ею! Как любили своего учителя! И уже тогда нашли оправдание и для строгости Сулеймана Меджидовича, и для его не улыбочивости. У этого человека было самое доброе и понимающее сердце па свете!..

Теперь около окна стоит новая парта. На ней ни царапинки, только легкая пленка пыли. Задумавшись, я пишу пальцем свое имя. Потом, с трудом подогнув ноги, усаживаюсь за парту. «Интересно, кто здесь сидит?» — думаю я. Это, конечно, странная мысль, но мне почему-то кажется: мы должны быть похожи.

Я останавливаю себя. Быть того не может, время сейчас другое и мальчишки, верно, другие...

Еще думая об этом, я шарю рукой в парте. Пальцы нащупывают какую-то книгу. Нет, это, оказывается, не книга, а школьные тетради в твердой обложке.

Я листаю их. Они исписаны мелким неустойчивым почерком. Много зачеркнутых, заштрихованных мест. К отдельным страницам приклеены клочки бумаги — вставки, что ли?

Надо было положить тетради обратно. А мне не хотелось. И хотя я убеждал себя, что читать чужие записки некрасиво, пальцы мои продолжали листать страницы, а глаза, словно хитря и обманывая меня, выхватывали одну фразу за другой.

Неожиданно разозлившись, я захлопнул тетради. На твердой обложке была надпись: «Про мою жизнь», чуть ниже стояло: «Курбанов Сайд».

Саид Курбанов... Кто бы это мог быть? Я начал вспоминать и совсем неожиданно подумал: да это же сын Аликурбана, моего бывшего одноклассника!

Теперь память подсказала мне еще один ответ. Я вспомнил, почему Аликурбан дал своему сыну такое имя — Саид, а если произнести его полностью — Сайгид.

Нас было четверо закадычных друзей — Алисултан, Сайгид, Аликурбан и я. Странно, что мы вдруг подружились. Характеры у нас были разные: Алисултан — вспыльчивый, упрямый, неугомонный; Сайгид был застенчивым, тихим, ровным в общении; Аликурбан считался самым сильным среди ребят класса, очень гордился этим и где нужно и где не нужно показывал свою силу. Я же ходил и на Алисултана и на Сайгида: когда был с первым — кричал, шумел, не мог усидеть на месте; со вторым — становился тихим и задумчивым...

Дружба наша началась с книги. Отец мой привез в аул «Трех мушкетеров». Я плоховато знал русский язык, но история д'Артаньяна и его товарищей так захватила меня, что я уже не отрывался от книги, пока не перевернул последнюю страницу. Даже прочел, кто книгу выпустил, кто был редактором и какой у нее формат бумаги.

После меня за «Трех мушкетеров» засел Алисултан, потом — Сайгид и, наконец, Аликурбан, который, пользуясь своей силой, немедленно назвал себя Портосом.

С тех пор мы считали себя мушкетерами, держались вместе и были готовы по первому зову: «Ко мне, мушкетеры!» — отдать друг за друга жизнь.

Сайгиду жилось тяжелее, чем нам. Отец его, Алихма, долго болел, не работал в поле. И то, чего не мог делать он, делал Сайгид: ухаживал за волами, пас овец, возил на осле воду, а когда колхозники снимали урожай, ходил вязать снопы, соревнуясь в ловкости и выносливости со взрослыми. Там, на золотом жнивье, он и написал первое свое стихотворение. Это были стихи об отце. Они были такие сердечные и складные и так взволновали меня, что я сказал другу:

— Ты будешь, как Махмуд! ¹

¹ Махмуд — известный аварский поэт, выступавший против адата.

Коровы у Алихмы не было. А больному требовалось молоко. И вот, стараясь не оскорбить его гордости, соседи приносили молоко и творог, говоря при этом, что корова хорошо доится и, если Алихма не примет подарка, добро пропадет.

Я тоже носил сюда творог. Помню, душевная и хлебосольная мать Сайгида никогда не отпускала меня домой с пустыми руками. То угостит пирожком, то жареной кукурузой. Какие вкусные пирожки были у нее!

Когда началась война с фашистами, Сайгиду, как и мне, только-только исполнилось пятнадцать лет. Мы уже не играли в мушкетеров и немножко даже разочаровались в них: разве это дело — защищать короля? Но дружить не перестали. И теперь, услышав по радио первую военную сводку, мы собрались вместе. Говорили, перебивая друг друга, что надо ехать на фронт. Придумывали, как достать продукты на дорогу и деньги, чтобы добраться до Махачкалы. Лишь один Сайгид молчал.

Так и разошлись, ничего окончательно не решив...

Через несколько дней в районной газете были напечатаны стихи Сайгида. Они назывались: «Пошли меня, Родина, в бой!» А еще через неделю Аликурбан-Портос сказал мне, что Сайгид ходил в райвоенкомат и просил отправить его на фронт. Только там Сайгиду ответили: мал еще, подрасти, мол.

В конце сорок третьего года Сайгид ушел добровольцем в армию. Писем от него я не получал. Заглянул как-то к матери Сайгида. Она сказала, что сын и домой пишет редко — занят сильно, учится на танкиста. Когда Сайгид попал на фронт — я не знаю. В начале сорок пятого, в то время как наши бойцы сражались с фашистами уже под Берлином, в аул пришло извещение: Сайгид погиб, сгорел в танке...

Я часто думаю о нем. И, наверное, поэтому часто вижу его во сне. Он незнакомый и всегда разный. Он заряжает пушку, чтобы ударить по врагу последним снарядом, или утюжит тяжелыми гусеницами окопы фашистов, или, задыхаясь от пороховой гари, с пистолетом в руке тянется к люку. И я вижу его лицо в тот последний миг, когда он оказывается один на один со смертью. Он зовет нас: «Мушкетеры, ко мне!» И я бегу к нему, чтобы стать с ним рядом, — и просыпаюсь...

Не добежал...

Прошло несколько лет. Аликурбан-Портос женился, у него родился сын, и он дал своему первенцу имя погибшего товарища.

Ах, маленький Сайгид, знаешь ли ты, как жил и сражался Сайгид-Арамис? И если знаешь, будешь ли похожим на него?

Рука моя снова тянется к тетрадам с надписью на твердой обложке: «Про мою жизнь». Сейчас уже не простое любопытство владеет мной. Я хочу знать, как идет жизнь Сайгида, кто он сегодня и кем станет завтра. Теперь, вспомнив о многом и многое передумав, мне кажется, я имею на это право: ведь маленький Сайгид носит имя моего друга и сам — сын моего друга.

Я усаживаюсь поудобнее и открываю первую страницу дневника Сайгида Курбанова...

ЭТОТ НЕГОДНИК ХАЛИМ!

Есть на свете счастливые люди. Про таких моя бабушка говорит: «Беды стороной их обходят». А меня беды да несчастья не обходят; что ни день, то новые прибавляются.

И если б я был в этом виноват! А то ведь не я — всему виной мой младший брат, Халим...

«Халим» по-аварски — добрый, отзывчивый, сердечный. Только мне часто кажется, что брату зря дали такое имя. Разве он добрый? Разве есть в нем хоть капля отзывчивости? Как в горской пословице сказано: «Что не посеяно, то не взойдет». Халим с малых лет был черствым и жадным. Значит, и сейчас нечего ждать от него перемены!

Бабушка в Халиме души не чает, но и она как-то сказала: «И зачем мы называли этого сорванца Халимом? Такому, как он, больше подходит имя Цидáлав».

А Цидалавом у нас зовут обычно злого и жадного...

Я все приставал к бабушке, чтобы она рассказала мне, почему брата называли Халимом. Оказывается, из-за первого русского учителя, что приехал в аул много лет назад. Звали учителя Григорием Андреевичем.

Приехав из Москвы, Григорий Андреевич поселился в доме дедушки.

— Сильно тогда не нравился мне учитель, — рассказывала бабушка.

— А почему? — спросил я.

— Как же, ведь он был русским...

Я, конечно, удивился: разве можно плохо относиться к человеку только потому, что у него другая национальность?

— Это не по-нашему, — сказал я. — Не по-советски.

Бабушка вздохнула. Она всегда вздыхает, если смущается.

— Твой дедушка тоже так говорил, когда я спорила с ним из-за Григория Андреевича, — сказала бабушка. — Неученая я была, многого не понимала. А потом привыкла к учителю. Да что привыкла, вроде брата он мне стал!

И бабушка начала вспоминать, каким был Григорий Андреевич.

— Добрый, добрый, как посланец аллаха. — Сказав это, бабушка ткнула пальцем вверх.

Я посмотрел на потолок, словно ждал, что там чудом появится посланец аллаха.

— Ты что? — с укором сказала мне бабушка. — Это ж так, к слову пришлось... Вы, молодые, в это не верите...

И стала рассказывать дальше.

В ту пору у соседки Супайнат умер муж. Осталась она с семьей детьми. И вот учитель стал заботиться о них — съездил в сельсовет, достал продукты и одежду для сирот. А когда собрался уезжать в Москву, взял с собой Исадибира, старшего сына Супайнат, чтобы он выучился на агронома.

За великую доброту прозвали Григория Андреевича в ауле Халимом. Это ему нравилось. По улыбке было видно: если люди, обращаясь к учителю, говорили «Халим», у глаз его собирались морщинки, а сами глаза сияли радостью.

— Твой отец очень любил Григория Андреевича, — продолжала рассказывать бабушка. — В его честь и называл он младшего сына Халимом.

Я подумал и сказал:

— Ну и неправильно! Ведь наш Халим совсем не похож на Григория Андреевича!

Бабушка ничего не ответила, а отец, когда я сказал ему то же самое, улыбнулся и похлопал меня по плечу.

— Не будь таким строгим. Халим — ребенок. Что знает он о плохом и хорошем? Дай ему подрасти. Я уверен, он оправдает свое имя...

Если отцу хочется ждать, пока Халим оправдает свое имя, — пусть ждет. А я не стану. Мне давно надоело терпеть его выходки.

Ведь в том, что случилось со мной сейчас, виноват один Халим.

Недавно маму посылали в Москву на выставку. Она привезла нам в подарок много воздушных шариков. Они лежали в длинном пакете, одноцветные и вялые, словно тряпочки. Но вот мама принялась надувать их, и тогда сразу стало видно, какие они красивые и цветастые — красные, как горные маки, синие, как небо, зеленые, как наши альпийские пастбища.

— А это кому? — спрашивала мама.

И всякий раз Халим кричал:

— Мне! Мне!

Я считал про себя: Халим получил три шарика, вот уже четыре, ага, пятый...

— А это кому? — продолжала спрашивать мама.

— Мне, — не выдержал я.

— Мне! — завопил Халим.

Мама взглянула на меня, покачала головой.

— Ты уже взрослый, — сказала она. — Эти игрушки не для тебя...

И она дала Халиму шестой шарик. Я закусил губу от обиды.

А Халим уже с трудом удерживал свои шарики. Он тискал их, прижимал к себе, но руки у него расплзались все шире и шире, и я видел — сейчас шарики вырвутся и разлетятся по комнате.

Зеленый шар — самый большой — заслонил Халима, и когда я посмотрел на лицо брата, оно было странно искаженным, похожим на противную лягушку, глядящую из тины.

«Жадина, — подумал я с содроганием и отвернулся. — Зеленая жадина!»

В мамином пакете почти ничего не осталось. Пошарив на дне, мама достала последние резиновые тряпочки.

— Один шарик твой, — сказала она мне. — Остальные дашь товарищам...

— А мне? — заверещал Халим.

Когда мама вышла, я сказал ему:

— Теперь попроси, чтоб я тебя куда-нибудь взял... Ни за что не возьму!

Весь день я бегал во дворе, а вернувшись вечером, заметил, что у Халима остался лишь один шарик. Он легонько подкидывал его вверх, ловил, широко расставляя руки, и, радуясь этой удаче, ласково поглаживал скрипучую резину.

— Халим, иди сюда, — позвала мама из соседней комнаты.

Я видел: брат ищет укромное местечко, чтобы спрятать свой шарик. Не нашел! Оглянувшись на меня, осторожно положил шарик на диван и вышел.

И надо было этому случиться — в ту же минуту в комнате появилась бабушка с клубком шерсти и спицами! Близорукую ищущая, она поискала взглядом стул и, не обнаружив его, направилась к дивану.

«Сейчас сядет на Халимов шарик!» — подумал я, испытывая волнение от того, что бабушка может все-таки заметить шарик, отодвинуть его, и тогда жадный Халим останется неутешенным.

Покряхтев, бабушка села.

Бам-м-м! Это лопнул шарик. Бабушка от страха подскочила на диване.

«Ха-ха-ха!» — засмеялся я про себя.

В тот же миг появившийся в дверях Халим в отчаянии закричал:

— Мой шарик!..

— Он под бабушкой, — сказал я. — Бабушка, дай ему шарик.

Бабушка наконец пришла в себя. Она принялась оправдываться: у нее плохие глаза, она не заметила шарик, и потом — зачем нужно было оставлять шарик на диване, куда каждый может сесть?..

— Мой шарик! — причитал Халим, размазывая слезы по лицу. — Бабка лопнула мой шарик!..

На рев брата явилась мама. Она пыталась утешить его.

— Не плачь, слезами горю не поможешь,— говорила она.— Мы попросим, чтобы старший брат дал нам свой шарик.— Мама обернулась ко мне.— Старший брат у нас добрый. Он не откажет малышу...

А Халим хитрый-хитрый, как услышал это, заревел еще пуще:

— Мой шарик! А-а-аа...

— Сайгид! Дай ему шарик, я устала от его рева, — попросила мама.

Халим замолчал и уставился на меня: даст или не даст? Я притворно покачал головой.

— Шарик! Шарик!.. — завопил Халим.

Я никогда не слышал, чтобы дети могли так сильно кричать. Это только мой брат может.

Честно говоря, шарик мне ни к чему. Не маленький я, чтобы с ним играть. Но уступать Халиму я не хотел. Ведь мой младший брат из тех, про кого говорят: «Дай ему палец, так он всю руку откусит». Избаловали его.

Конечно, если б Халим сам попросил — я бы дал ему шарик. Но он не думал просить. Он хотел его выплакать.

Тут я совсем разозлился:

— Будешь реветь, ни за что не дам. Не реви!

Халим замолчал. Мама вышла из комнаты, а бабушка взялась наконец за спицы.

Я надул свой шарик и, глядя, с какой завистью и надеждой смотрит на него Халим, принялся подкидывать его над головой.

— Дай, — сказал Халим.

Ах вот как! Он говорит «дай», словно шарик принадлежит ему!

— Не дам, — отрезал я и, раз за разом подбрасывая шарик вверх, стал расхваливать его: — Хороший шарик мне достался! Эх какой красивый! А летает здорово!..

Потом я осторожно снял нитку с горловины шарика и со всего размаха кинул его к потолку. Как он полетел! Воздух, со свистом шедший из горловины, толкал его своей отдачей вверх, и я невольно вспомнил о реактивном двигателе...

Но выдохшийся шарик упал, сморщился и опять стал похож

на старую тряпочку. Халим бросился к нему. Однако я был быстрее и выхватил его прямо из-под носа у брата.

— Не вышло? — спросил я, делая вид, что сочувствую ему. По правде говоря, тут мне стало немного жалко Халима. Достаточно подразнил его, хватит.

И бабушка начала меня стыдить:

— Ах, Сайгид, Сайгид... Нехорошо ведешь себя. Аллах тебя покажет.

Не стал я ничего говорить бабушке насчет аллаха. Надул шарик и отдал его Халиму.

На ночь Халим привязал шарик за нитку к спинке кровати. Проснулся он еще до рассвета и разбудил меня своей болтовней.

— Здравствуй, шарик, — сказал он. — Ты теперь мой, а не Сайгидов. Ты меня слушайся, а не его. Ладно?

Вот чудак: думает, шарики понимают по-человечески!

— Ты что это вскочил ни свет ни заря? — спросил я Халима. — Сам не спишь и мне не даешь.

— А я чего во сне делал!.. — говорит брат. — Будто выскочил из угла большой серый кот, толкнул мой шарик и погнал его в поле. Гонит и гонит. И все мурлычет. Сначала я не понял, что он мурлычет, а потом понял: «Хороший шарик мне достался! Эх какой красивый! А летает здорово!..» — Халим задумался и вдруг внимательно посмотрел на меня, что-то вспоминая. — Знаешь, Сайгид, у того кота был твой голос...

Теперь уже я впился взглядом в Халима: не смеется ли он? Нет, не видно, чтобы смеялся.

— Побежал я за котом, — стал рассказывать дальше Халим. — Догнал, схватил шарик, а он ка-ак взорвется! И там, где он был, вижу, стоит маленький космонавт. И этот космонавт — я, Халим!

— Тоже мне космонавт, — засмеялся я. — На осла взобраться не можешь...

После завтрака я играл с ребятами на улице. Вдруг гляжу — появился Халим. В одной руке толстый кусок хлеба с маслом, в другой — шарик. А сам надул от гордости, словно индюк.

Малыши обступили Халима. Еще бы, в нашем далеком ауле не часто увидишь воздушный шарик из Москвы!

— Халим, дай мне за ниточку подержать! — просят у него со всех сторон. — Халим, а Халим, дай, пожалуйста!

А он никому не дает: уж такой он жадный. Дергает сам за ниточку, чтобы шарик подпрыгивал в воздухе, смеется, будто хочет подразнить ребят.

Я не мог все время наблюдать за Халимом, потому что был вратарем, — мне и так чуть не забили гол, когда я смотрел на него. Еле отразил мяч. А тут еще у нашего защитника, Мусы, подвернулась нога — он ушел домой, и мы остались впятером против шести, так что я совсем забыл о Халиме.

Мы играли в футбол уже три часа. Счет был в нашу пользу — не то 15:9, не то 14:10. Точно никто не знал, потому что судьи мы не нашли, а сами за голами не следили.

И тут кто-то из наших задел мяч рукой.

— Пенальти! Пенальти! — закричали противники.

Штрафных мы вообще не били, только пенальти.

Я приготовился отбить мяч, но в этот миг сзади раздались жалобные причитания Халима:

— Вай, мой шарик!..

Внимание у меня рассеялось, и несильно шедший мяч проскочил в ворота. Опять этот противный Халим! Я был вне себя от обиды. Надо же было ему заплакать именно в тот момент, когда я хотел взять пенальти! И взял бы, не помешай он мне!

— Ну, что там? — спросил я у брата.

— Мой шарик зацепился! — кричит Халим. — Вай, сейчас улетит!

Обернулся я к ребятам и говорю:

— Подождите меня, не играйте, я братишке шарик сниму.

Рядом с нашим домом проходит телефонная линия: столбы и на них три жилки проводов. Видно, играя, Халим слишком подбросил шарик; тот взлетел к самой верхушке столба, а нитка зацепилась за провод.

Как достать его? Прыгаю я хорошо, но до шарика все-таки не допрыгну. Далеко он. Тут бы и Брумель сдался!

Решил я влезть на столб. Но потом и от этого отказался. Ведь что получается: столб стоит на краю оврага и, хотя шарик находится недалеко от верхушки, нитка провисает ужасно над откосом...



Есть один выход: сломать сучок, стать на край оврага и попытаться зацепить болтающуюся нитку. Так я и сделал: оторвал ветку и подошел к краю оврага. Ветка была длинная, и я смог дотронуться до шарика. Он качнулся раз, другой и снова повис на нитке. Да, главное — это нитку отцепить...

Ребята мне подсказывают:

— Оставь шарик в покое, еще лопнет. Лучше подтяни провод к себе, тогда и нитку развяжешь...

Легко им советовать! А как подтянуть провод — ведь на моей ветке крючка-то нет!

Я тянусь что есть силы, и мне удается прикоснуться веткой к концу нитки. А что толку — нитка сама не завяжется

на моей ветке. Вот незадача!

Рука у меня ноет от усталости. Я злюсь на Халима, на этот глухой шар, — и зачем я только отдал его брату? Мои товарищи, так и не дождавшись меня, начинают снова играть. Им сейчас даже удобнее, в каждой команде по пять человек...

Я готов уже бросить ветку и забыть о шарике, который кивает и кивает мне сверху, словно дразнясь.

И вдруг вижу рядом Халима, держащего в руках дедушкину трость. Конец трости загнут — можно зацепить провод!

Не раздумывая ни секунды, я хватаю трость и через мгновение уже тяну провод к себе, ловко зацепив его изогнутым концом. Остается лишь протянуть руку и ухватить нитку. Но тут земля оседает у меня под ногами, палка отскакивает, больно бьет по голове, и я лечу в овраг.

Падая, я цепляюсь за ветки кустов, утюжу руками какие-то растения и, еще не успев почувствовать боли, с ужасом думаю: «Это крапива!» Так и есть, все склоны оврага густо поросли крапивой. А я цеплялся за нее, ища в ней спасение!

На голове набухает шишка от удара дедушкиной трости; ладони, обожженные крапивой, горят огнем. Я чуть не плачу.

А сверху глядит невозмутимый краснощекий Халим. Его интересуется только одно:

— Сайгид, достань мой шарик!

— Я достану тебе такую затрещину — ты ее на всю жизнь запомнишь!

Мне хочется вскарабкаться наверх и действительно хорошенько треснуть Халима. Но, случайно глянув себе под ноги, я вижу такое, что заставляет меня забыть и о бессердечности Халима, и о жгучей боли в руках. Под ногами лежит обломок дедушкиной трости!

В глазах у меня темнеет, голова кружится, мне кажется, земля снова уходит из-под ног.

Ох, что я наделал!

Я нагнулся, подхватил обломок трости и уставился на него, еще не понимая до конца, что произошло.

«Почему эта штука сломалась? — думал я. — Куда делся второй кусок?»

Поискал глазами и нашел: второй обломок валялся неподалеку. Я поднял его, соединил с первым. Если б не маленькая трещинка — никто бы не заметил, что трость сломана...

Дедущка любил свою трость. И не только потому, что она красива. С этой тростью у дедущки связано много дорогих воспоминаний.

Я представил себе, что ничего не случилось: трость — целехонькая — висит на ковре, блестя серебряными жилками орнамента. Если б это было так!..

Я развожу руки и вижу две половинки трости. Их уже не соединит никакое чудо!

Сердце у меня падает. И мне тоже хочется упасть вслед за ним — лечь на землю, пусть даже в самую жгучую крапиву, и никогда не вставать...



Что делать? Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с ребятами. Все пришли сюда, даже Муса, который подвернул ногу. И у всех жалость в глазах — они понимают, в какую беду я попал.

Только Халима не видно: испугался, убежал. Ну ничего, далеко не убежит. Я за все ему отплачу: и за то, что выкляпчил у меня шарик, и за то, что упустил его, и за то, что взял без спроса дедушкину трость!..

Я стал карабкаться вверх. Ребята по-прежнему смотрели на меня. Вдруг кто-то из них закричал: «Дедушка Магомед идет!» И они разбежались.

«ШАШКИ НАГОЛО!» — ГОВОРIT ДЕДУШКА

У многих ребят в ауле есть дедушки. Но такого дедушки, как у меня, нет ни у кого! С первого взгляда-то и не скажешь, что он особенный. Среднего роста, худощавый — не богатырь, в общем. Но сил у дедушки достаточно. И болезни его обходят: не поддается он им.

Бабушка рассказывала, что еще в молодости дедушка начал обтираться снегом. Каждое утро обтирался. Сначала ему было холодно. А потом привык, закалился.

И сейчас дедушка совсем не боится холода, хотя и не обтирается снегом с той поры, как ранили его на войне с фашистами. Зима на дворе, мороз, а он по аулу в суконном бешмете расхаживает.

Я бы так не смог. Прошлой зимой забыл я цветные карандаши дома. На рисовании надо рисовать, а я сижу лентяем. Учительница говорит: «Ну-ка, Сайгид, надень пальто — и быстренько за карандашами». «Вот еще, стану я пальто надевать!» — подумал я наперекор и побежал домой раздетый. А после этого поднялась у меня температура и я пять дней не ходил в школу.

Сам я холода не боюсь. Это моя носоглотка его боится. Мама говорит: «У Сайгида носоглотка, склонная к простуде». Чудное дело, у дедушки не склонная, у бабушки не склонная, у Халима тоже, а у меня — склонная. Ну почему это, кто мне скажет?..

— Эх, шашки наголо! — говорит дедушка. Это у него при-

сказка такая; он ее еще до революции выучил, когда в кавалерии служил. — Эх, пашки наголо! Занялся бы зарядкой. Или вот еще хорошо — по утрам обливался бы холодной водой.

Зарядку мне делать некогда — не успеешь вскочить, как мама уже торопит: «Побыстрее, Сайгид, в школу опоздаешь». Времени мало — то ли зарядку делать, то ли завтракать? Лучше завтракать.

А холодной водой я пробовал обливаться. Только плеснул на себя горсть — все тело мурашками пошло. Не хотел кричать, а все-таки кричу:

— Вай, вай!

Дедушка смеется:

— Что, обожгло? Закаляйся...

Но тут мама сказала:

— С этим обливанием можно воспаление легких схватить.

Больше я не обливался холодной водой. Мне от этого обливания и сейчас холодно. Как вспомню, так по коже мурашки бегут.

Если дедушка начинает меня стыдить, я отвечаю:

— А носоглотка? Тебе хорошо, у тебя она ни к чему не склонная, а у меня — склонная!

Я уже говорил, что внешность у дедушки неприметная: руки как руки, ноги как ноги. Но спина у него — вот это да! Если б дедушка показал вам свою спину, вы бы сразу поняли, почему я так горжусь им.

Дедушкину спину можно увидеть лишь летом, когда солнце не хочет слезать с неба и дедушка, пользуясь этим, загорает.

Спина у дедушки вся сплошь в шрамах и красноватых отметинах. И о каждом шраме, о каждой отметине можно рассказать свою историю.

Самый старый шрам — на левом боку. Он даже на вид особенный: в одну сторону несколько полосок и в другую несколько, и все перекрещиваются, будто бабушкина штопка.

— А случилось это, когда не только вас, малышей, но и вашего отца на свете не было, — рассказывал дедушка мне и Халиму. — Пошел я воевать на германскую войну. В кавалерии служил — у нас, горцев, к лошадям особый подход. Мы лоша-

дей знаем, и лошади нас отличают. Вот так... Ну, служил и служил, а тут противник в наступление пошел. И приказ нам дали: остановить его. Решили ударить по германцам. Командир наш командует: «Шашки наголо!» — Дедушка ловко вскочил, взмахнул рукой, и мне показалось, у потолка сверкнула быстрая шашка. — Па-ашли на рысях. Потом — в карьер. Кони по земле стелются, не скачут — летят. Пригнулись мы, только шашки свистят — воздух режут, по врагу тоскуют. Увидели нас из чужих окопов, побежали кто куда. Я за врагами не гнался. Не до того было, друга спасал... Был у меня друг, Сашей звали. Когда мы в атаку шли, он сзади скакал. И вот уже у окопов оглянулся я, вижу: лошадь Сашина пала, хрипит, а самого Саши не видно. Соскочил я на землю: туда-сюда, пропал мой друг! Наконец заметил его: лежит на пашне, то ли контуженный, то ли убитый. Наклонился к нему, а смерть будто того и ждала — тоже ко мне наклонилась: не заметил я, что сзади враг был, он-то и ударил меня штыком...

— А ты? — спросил я, перебивая рассказ.

— А я его из последних сил шашкой, — ответил дедушка.

Спина у дедушки знаменитая. По всем его шрамам и отметинам хоть историю изучай, честное слово!

Мы глядим на эту спину со следами штыков, пуль и снарядных осколков.

— Дедушка, а почему у тебя такая худая спина? — спрашивает вдруг Халим.

— Лишнее мясо только в плове хорошо, — говорит тот в ответ и смеется, довольство поглаживая седую бороду.

Не скрою, есть у моего замечательного дедушки один недостаток. Он — лысый.

Но дедушка не видит в этом большой беды. Сосед Магди очень уважает дедушку и все-таки иной раз позволяет себе подшутить: «Магомед, на твоей голове ничего не растет, как на пустыре». Дедушка не обижается и отвечает шуткой на шутку: «Когда персик созревает, он теряет пушок и блестит. А вот ты, дорогой Магди, еще не созрел».

— Раньше ты тоже был лысый? — спросил я у дедушки.

— Нет.

— Куда же делись твои волосы?

Дедушка молчит, собираясь с мыслями.

— Как бы это поскладнее тебе ответить? — думает он вслух. — Я, как и ты, мучил всех вопросами: почему и почему? Я хотел знать значение всех слов, хотел проникнуть в тайны синего неба, снежных гор и черной земли. Потому и выпали у меня все волосы, даже для разжива волоска не осталось. — Дедушка улыбнулся и ласково погладил мои густые вихры. — У тебя, Сайгид, такое же беспокойное сердце, как у меня!

— Значит, и ты скоро облысеешь! — стал дразнить меня Халим. — И я на твоей голове буду рисовать угольками.

— Ну ты! — обрезал я брата. — Я тебе нарисую...

Не знаю, какое у меня сердце, а то, что у дедушки оно спокойное, — это уж точно.

Дедушка давно на пенсии и мог бы отдыхать целые дни. Но дома ему не сидится: сразу же после завтрака он уходит в правление колхоза. Днем его видят то на току, то у конюшни. Даже вечером, когда на улице пусто, дедушка находит себе дело — встречается с людьми: что-то посоветует, кого-то подбодрит, кого-то и отругает.

Сколько раз я слышал, как бабушка ему говорила:

— Вай, мужчина, что ты крутишься, словно тебя хворостинной по глазам ударили? Посидел бы дома, полежал. Так нет, по колхозным делам бегаешь, с начальством споришь...

— Полежать я и в могиле успею, — отвечал дедушка. — А дома сидеть, в золе копаться — не в моем характере. И с начальством поспорю, коли начальство промашку дало...

Беспорядка дедушка терпеть не может. Как-то я ходил с ним в клуб. Не помню уже, по какому делу. На дороге заметил камень — не сказать, чтобы большой, с головку сыра примерно. Я его обошел, а дедушка неожиданно пагнулся, поднял камень и отбросил его на обочину.

— Зачем, дедушка? — спросил я.

— Чтобы тот, кто идет сзади, не споткнулся, — ответил он.

Честно говоря, я тогда не понял его. Понял потом, много времени спустя. Дедушка не привык делить дела на свои и чужие. «Если чувствуешь себя хозяином, — говорил его вид в тот момент, когда он отбрасывал камень с дороги, — ты за все в ответе».

Дедушка жил так и по-другому жить не мог. А у меня так не получалось...

Помню я один случай. Это еще в четвертом классе было. Кто-то из ребят опрокинул чернильницу на пол. Чернила разлились, все шлепали по луже, разнося фиолетовые пятна по классу. Я не был дежурным, но взял тряпку и вытер пол. А мой сосед по парте, Муса, — вы, наверно, его помните, это он подвернул ногу, когда мы играли в футбол, — сказал: «И охота тебе возиться?! Кто налил, тот пусть и убирает. Наша хата с краю...» Я тогда подумал: «Муса правильно говорит. Что мне, больше всех надо? Моя хата с краю — я ничего не знаю».

И потом эта поговорка, будто плетень, отделяла меня от забот и волнений.

А дедушка беспокоится по каждому поводу. Сам беспокоится и других беспокоит. И вот что интересно: больше всего достается на орехи моему отцу Аликурбану, который работает в колхозе бригадиром.

Увидев дедушку, шагающего к нему по полю, отец недовольно пожимает широкими плечами и крутит головой: «Магомед идет. Прицепится сейчас как репей...» И лицо у отца становится таким виноватым, словно он должен в чем-то признаться строгому учителю.

Отец действительно слушал выговоры дедушки молча, не перебивая его. Только однажды он возразил ему. Это было прошлой осенью. Отец брился на веранде, когда по ступенькам застучала трость дедушки и он сам появился в дверях.

— Видишь эти горы, Аликурбан? — спросил он, указывая концом трости куда-то за спину.

— Вижу. Они знакомы мне с детских лет. Что из того? Ты пришел сказать мне, чтобы я перебросил их куда-нибудь в другое место?

— Хоть силы у тебя хватит, но взвалить их и перенести ты не сможешь. За Талоколо-гору зацепилась дождевая туча, а у тебя, бригадир, еще картошка в поле! А если завтра пойдет снег? Что будешь делать?

Отец бросил помазок на стол.

— Ничего не стану делать! — закричал он, вскочив на ноги. — Я не могу разорваться на части: сено надо привезти, ку-

куруза на полях. Откуда я возьму людей, чтобы копать картошку? Пусть идет снег. Ну, а если ты можешь — запрети ему идти!

Я никогда не слышал, чтобы отец так разговаривал с дедушкой. Видно, и дедушка не ожидал такого. Он круто повернулся, бросив на ходу:

— Шашки наголо! Жаль, что снег не будет падать на твою глупую голову!

Дедушкина трость снова застучала по ступенькам. Отец уселся перед маленьким зеркалом и взялся за помазок. Он мылил щеки и ворчал:

— Хорошо тебе говорить: «Шашки наголо». Указывать на недостатки все могут, а вот дело сделать... Одно слово — колючка, и все.

Я ушел в школу. На большой перемене нас собрал директор. Он сказал, что после уроков все школьники должны выйти в поле, чтобы помочь колхозу собрать картошку.

— Видите гору? — спросил директор и ткнул пальцем за спину, как недавно дедушка концом трости. — Туча сидит на самом верху. Если сегодня картошку не убрать, завтра она окажется под снегом.

После уроков мы пошли в поле. И первый, кого я там увидел, был дедушка. Он привел на участок человек двадцать стариков с седыми бородами. Я знал многих из них: одни партизанили во время гражданской войны, другие отличились в войне с фашистами, а третьи были известны раньше, как ударники чабаны и животноводы.

И все они под командованием моего дедушки копали картошку, ничуть не смущаясь грязной работы.

Я слышал, как кто-то сказал:

— Старый Магомед трудится не хуже своего сына. Посмотрите, сколько в нем бодрости и энергии!

Но что говорить о моем отце — дедушку побаивается сам агроном Хамид. Ошибается он часто, но ошибок своих не признает. Что ни скажешь ему, он в ответ: «Я действовал по инструкции» — и достает целую гору каких-то пыльных книжек. Дедушка раз взял и посмотрел одну такую инструкцию. А там написано: «Издано в Петрограде особым сельскохозяйственным Комитетом. 1916 год».

Эх как дедушка разозлился! Он бросил книжку на стол, и тогда вверх поднялось облачко пыли. Дедушка чихнул.

— Вот что надо делать с такими инструкциями, — сказал дедушка. — Чихать на них! — И он, словно нарочно, еще раз чихнул.

Все, кто был при этом, чуть животы от смеха не надорвали. И теперь, когда Хамид начинает хитрить, ему напоминают о позоре насмешливым «апчхи!». Конечно, чихают нарочно, но на увертливом и болтливом агрономе это действует лучше всякого лекарства. Он дедушке в тот раз ничего не ответил. Лишь пробурчал вслед со злостью: «Колючка!»

— А некоторые зовут тебя Колючкой, — поспешил доложить я дедушке.

— Это потому, что моя правда кое-кому глаза колет. — Дедушка внимательно взглянул на меня. — Шашки наголо! Мальчик мой дорогой, правда — самая благородная вещь на свете! Ты знаешь, почему мы победили всех врагов?

— Потому что стреляли метко! — выпалил я.

— Нет.

— Потому что были храбрые!

— А почему были храбрые? — спросил дедушка.

— Не знаю...

— Потому что шли за ленинской правдой! — Дедушка сказал это так громко и торжественно, будто отвечал не только мне. — От раны люди не умирают, от болезни не умирают — от лжи умирают! Шашки наголо, будь всегда честным и правдивым, Сайгид!..

МИР ЛУЧШЕ ВОЙНЫ

Люблю я праздники. И совсем не потому, что в праздники не надо ходить в школу. Это трудно объяснить, но я их люблю... за воздух.

Может, вы заметили: неважно, лето или зима, но если в календаре красное число — воздух в тот день особенный. Пахнет вкусной едой. Пахнет новыми костюмами и платьями. Даже то, что от дедушки и отца чуточку пахнет домашним пивом, тоже приятно.

В будни люди разные: веселые и грустные, добрые и злые. По-всякому ведь бывает! А в праздники — все веселые и добрые. А это очень хорошо!

И еще я люблю праздники потому, что дедушка в такие дни надевает свою парадную белую черкеску с орденами и медалями.

На Первое мая и Седьмое ноября в аульском клубе всегда полно народа. Идет торжественное собрание, и дедушку обязательно приглашают за стол президиума. Он сидит там, степенно поглаживая седую бороду, блестя веселыми глазами, и, будто соревнуясь с его праздничным взглядом, блестят и сверкают ордена и медали на дедушкиной черкеске.

У дедушки три ордена и пять медалей. Сложите три и пять — получится восемь. Вот сколько историй есть в запасе у дедушки!

Дома он рассказывает их редко. Он рассказывает их часто на годекане¹, когда его окружают самые уважаемые люди аула, а молодежь почтительно стоит в стороне, внимательно слушая беседу стариков.

Некоторые подвиги дедушки мне известны. Я знаю, за что его наградили Георгиевским крестом — был такой орден еще до революции. Это произошло уже после того, как он спас своего друга Сашу.

Зимой лошади у кавалеристов сильно отощали, потому что кончился корм. Того и гляди, начнутдохнуть. Но эскадрон без лошадей, как говорит дедушка, уже не эскадрон, а пехота. Стали думать, как достать сена. Командир, князь Васильчиков, вспомнил, что в тылу у врага есть большой продовольственный склад. Только подобраться к этому складу нелегко — охраняют его сильно.

Но дедушка не испугался. Он сказал: «Мы пойдем с Сашей и достанем фураж». И пошли они на смелое дело вдвоем.

Дедушка хорошо ползал по-пластунски, и Саша не хуже. Сумели они пересечь снежное поле так, что враги их не заметили.

В селение, где был продовольственный склад, пришли уже

¹ Годекáн — место встреч и бесед в дагестанских аулах.

ночью. Притаились до утра, а утром стали высматривать, где фураж хранится. И обнаружили: сено лежит в большом амбаре; рядом офицерская конюшня, там и часовой ходит.

Снять часового и открыть амбар — это дедушка брал на себя. А вот на чем везти сено? Тут уже Саша постарался. Это он отыскал за амбаром двое широких саней. «Ну, Магомед, — говорит он дедушке, — ты часового свяжи, а потом лети к амбару, жди меня. Я быстро выведу лошадей и запрягу их в сани. Главное, без шума все сделать...»

Так и поступили: дедушка бесшумно подобрался к часовому, закрыл ему рот папахой и в один миг связал, а Саша в это время вывел из конюшни лошадей, впряг их в сани и сбил замок с амбара. А в амбаре, как оказалось, было не только сено, но и мешки с первосортным овсом.

В общем, вернулись храбрецы с фуражом да еще связанного «языка» привезли. Тогда-то и дали дедушке и Саше Георгиевские кресты.

У этой истории было и продолжение.

На годекане дедушка рассказывал:

— Своего бывшего командира я потом встретил. Уже на гражданской войне. Шашки наголо, дрался я с германцами четыре года, а за что — неизвестно: ведь земли у меня по-прежнему не было, хлеба и счастья не прибавилось. Вернулся в аул — только и богатства, что драная солдатская шинель да вытертая папаха. Как жить дальше? О большевиках я слышал. Чувствовал: за ними правда. А тут дошли до нас ленинские слова о мире, о земле. Ну, тогда я совсем большевистским духом заразился: организовал в ауле партизанский отряд, и пошли мы в Темпр-хап-Шуру к красному командиру Махачу Дахадаеву...

Дедушка прищурил глаза, будто хотел получше разглядеть далекое время, когда вел он партизан против белых.

— Шашки наголо, тяжелые были дни... Со всех сторон теснил нас противник, а самым жестоким и коварным был имам Нажмудин Гоцинский. Он обманывал религиозных людей, говоря, что идет против русских, против неверных. А на деле защищал он богатеев, мулл, тех, кто словно пиявки пили кровь у народа.

Сказав это, дедушка обернулся к своим седобородым това-

рищам, ища в их взглядах одобрения, и они согласно кивнули: правильно, мол, говоришь, старый Магомед!

— Земля вокруг Темир-хан-Шуры недобрым огнем пылала, — продолжал дедушка. — В одном ауле наши, в другом — белые, со всех сторон снаряды поют, а пули им подпевают. Штаб красных стоял в Нижнем Дженгутае. Тут была и артиллерия — две батареи гаубиц; они у мечети расположились, на самом краю аула. Мы тоже поблизости лагерь раскинули. Помню первую нашу ночь в резерве: темнота такая, что, сидя на коне, конской головы не разглядишь. В такие темные ночи и на сердце темно. Думаешь: что завтра с тобой будет, останешься ли жив? Шашки наголо, самый храбрый об этом думает, и ничего зазорного тут нет.

А наутро, когда солнце шагнуло из-за гор, расчехлили артиллеристы пушки и приготовились к бою. Сам Махач Дахадаев команду подает: «Фугасным снарядом по противнику!..» Тут и сказать бы ему: «Огонь!» Но только не сказал он этого — за бинокль взялся, стал глядеть в сторону даргинского аула Кадар. Что он разглядывал? Оказывается, неся к нему всадник с каким-то важным известием. «Что случилось?» — спросил Махач у конника. Тот ответил, задыхаясь от быстрой езды: «Враги захватили Кадар! Кадарцы почти не сопротивлялись...» Лицо Махача потемнело, а глаза засверкали гневом. Я слышал, как он, еще сомневаясь, тихим голосом спросил: «Неужели это так? А ведь Кадар был на нашей стороне!» Он обернулся к артиллеристам: «Надо выбить врага из Кадара. Будем стрелять по аулу. Другого выхода нет». Пушки повернули к Кадару. Их жерла были уже готовы залить аул огнем и железом...

Дедушка чуточку помолчал, чтобы люди на годекане поняли, какое страшное решение пришлось принять Махачу.

— Шашки наголо, мы не сводили глаз с нашего командира. Понимали, почему на скулах его набухли желваки, а взгляд стал острым, как сабля, — Махач думал. И было о чем подумать. Враги в Кадаре, их надо выбивать оттуда. Но там же сотни мирных жителей, и они пострадают от артиллерийского огня в первую очередь. Где выход? Признаюсь, и у меня в те минуты сердце было на распутье. А Махач вдруг шагнул к артиллеристам и сказал: «Подождем. У нас есть время». И все вздохнули с

облегчением, будто беда, как черная грозовая туча, обошла нас стороной. Я заметил на глазах отважного Махача слезы. Он произнес дрогнувшим голосом: «Нет, нам нельзя разрушать свои аулы. Да и не верю я, что храбрые кадарцы пошли на поклон к имаму».

Он позвал меня: «Магомед!» Я, как положено, вытянулся перед командиром. «Проберись в аул и возвращайся с правдой», — сказал он. Не успел смолкнуть его голос, как я уже летел к Кадару, торопя коня. Знал я тайную тропку в аул и думал, что проберусь туда незаметно. Ошибся! У горного ручья лицом к лицу столкнулся с конными разведчиками имама. Их было пятеро. Одного я хорошо рассмотрел — это был тот, кто командовал нашим эскадром на германском фронте. Вот так встреча! Дружбы промеж нас тогда не было, хоть и считался я в полку первым разведчиком. Какая же может быть дружба у сына князя с сыном простого горца? А теперь и вовсе врагами стали — война нас развела... Видите, — дедушка со значением поглядел на тех, кто слушал его, — имам звал сражаться с неверными, но белым офицером не пренебрег!.. Шашки наголо, закипел бой! Кто-то выстрелил в меня — не попал. Мой клинок мелькал в воздухе, словно быстрая ласточка. Раз — снял одного врага с лошади. Раз — другого. Верный конь все понимал и помогал мне: он то вертелся на месте, то отскакивал в сторону, то, наоборот, наезжал на врагов, мешая им нанести меткий удар. Белый офицер столкнулся со мной грудь грудью. «Князь Васильчиков! — крикнул я. — Помнишь Магомеда?» Лицо князя стало бледным как мел: «Собака! Черная кость! Я буду убивать таких, как ты, пока на земле не останется ни одного большевика!» А я ответил: «Врешь, наша правда сильнее!» Толкнул коня вперед, пригнулся, обманывая врага, и не успел офицер поднять саблю, как рухнул наземь от удара моего клинка.

Я был дважды ранен — в ногу и в голову. Когда я, припав к коню, вырвался на тропинку, что вела в Кадар, пущенная вдогонку пуля раздробила мне плечо. Но я сделал свое дело! Сделал, потому что помнил: от меня зависит судьба многих мирных людей.

На окраине аула стояли вооруженные кадарцы. «Я послан Махачем. Он не поверил трусу, который привез известие о том,

что вы сдались», — вот что сказал я им. И они ответили мне: «Бандиты имама заняли несколько домов. Но дальше мы их не пустим. Мы — за Махача, за новую власть!»

Я забыл о ранах. Я летел обратно, опережая пули. И остановил коня лишь тогда, когда увидел Махача. Я рассказал ему о героях-кадарцах. Два месяца потом лечили меня в лазарете. Словно маги, врачи колдовали над моим израненным телом — и поставили меня на ноги!..

Закончив долгий рассказ, дедушка осторожным и торжественным движением притрагивался к ордену Красного Знамени, и все понимали — наградили его этим орденом за смелость под Кадаром.

— Орден дали мне уже после войны, — говорил дедушка. — В том городе, что был назван дорогим именем Махача Дахадаева, — в Махачкале... Как ни почетна награда народа, но не одной ею памятни мне те годы. Награда наградой, а ведь вместе с орденом я, простой горец, получил то, что присваивали себе князья Васильчиковы и имамы — землю, свободу, счастье! За это стоило драться!

Любят рассказы дедушки на годекане. Слушая его, старики вспоминают о былых походах, о своей отваге и лихости. Глаза их молодеют. Они расправляют плечи, чтобы лучше были видны ордена и медали на суконных черкесках.

А я в эти минуты так ясно видел боевую молодость дедушки, будто сам поднимал с земли раненого Сапу и вязал часового у офицерской конюшни, сам получал приказ легендарного Махача — съездить в героический Кадар — и, чудом избежав острых клинков врага, опрокидывал наземь надменного князя Васильчикова...

Мы с Халимом даже играли «в дедушку и князя Васильчикова». Я всегда хотел быть дедушкой, но Халим с каждым разом все неохотнее соглашался стать Васильчиковым.

— Ну, будешь играть? — спрашивал я брата.

— Буду. Только дай мне за это свою батарейку от карманного фонаря.

Что делать: приходилось давать.

В следующий раз Халим стал князем Васильчиковым лишь после того, как выпросил у меня маленькую лампочку.

Через неделю к Халиму перешел и красивый футляр. Теперь, в руках брата, он казался мне еще красивее.

Но я забывал о всех своих потерях, когда становился против Халима. В один миг все преобразалось: я был уже славным красным партизаном Магомедом, Халим — глупым и запосчивым князем Васильчиковым, а палка, которую я держал в руке, нисколько не отличалась от дедушкиной сабли.

— Ну, держись! — говорил я князю Васильчикову, размахивая саблей.

— Эй, Сайгид, потише, — плаксиво упрасивал он.

— Выходи на бой! — кричал я. — Буду убивать таких, как ты, пока на земле не останется ни одного буржуа!

Князь Васильчиков испуганно отталкивал своей саблей мою, и тогда я, морщась от придуманной боли, говорил:

— Я ранен в ногу и голову. Но красные партизаны не сдаются!

Тут я начинал размахивать саблей так, что только воздух свистел.

Князь Васильчиков знал, что ему надо умирать, а умирать он не любил. Он таращил глаза, приседал от страха. И тогда я кричал:

— Наша правда сильнее!

И с этим криком опускал саблю на голову врага.

— Мама! — вопил князь Васильчиков, падая на землю как подкошенный. — Мама, Сайгид дерется!

Потом он вскакивал и ревел на весь дом.

Мне становилось чуточку жалко его. Но не будет же красный партизан жалеть белого офицера? Не будет!

— Ну вот, заревел, — насмешливо говорил я. — Хватит тебе, так в жизни не бывает. Мертвые не плачут...

Конечно, мама тут же выбегала на улицу. И только она появлялась в дверях — все становилось, как прежде: я был уже Сайгидом, князь Васильчиков — зареванным Халимом, а сабля в моей руке оказывалась простой палкой.

— Когда это кончится? — строго спрашивала мама. — Долго ты будешь обижать малыша? Смотри, накажу тебя...

Но настало время, когда Халим наотрез отказался быть кня-

зем Васильчиковым. Чего я ему только ни сулил — гаечный ключ, который попался мне около колхозной кузницы, чистую тетрадку в клеточку и даже отсвечивающую синевой лампу для радиоприемника, — ничего не помогло.

— Не хочу, — сказал Халим. — Вот если ты станешь белым офицером, тогда...

Что же это он предлагает? Значит, мне надо стать князем Васильчиковым? Значит, Халимова правда окажется сильнее моей и Халим закричит на меня: «Буду убивать таких, как ты, пока на земле не останется ни одного буржуя»? Нет, этого я не выдержу! Я сильнее Халима и все равно возьму над ним верх. Но тогда выходит, князь Васильчиков победит красного партизана Магомеда? Такого не было и быть не могло!

Так и расстроилась у нас игра.

Я уже говорил, что у дедушки три ордена. Так вот, третий он получил на войне с фашистами. Это — орден Славы. Он серебряный и висит на ленточке с желтыми полосками.

О полосках я вам говорю для того, чтобы вы отличили этот орден от других.

В тот день, когда фашисты напали на нас, дедушке как раз исполнилось пятьдесят семь лет. В военкомат он пришел с тремя сыновьями — Хаджимуратом, Шамилем и Наби. Мой отец, Аликурбан, был подростком. Он плакал, просился с дедушкой на фронт, но тот его не взял.

— Дорогой Магомед, — сказал военком, — не обижайтесь, мы не имеем права мобилизовать вас в армию. Есть распоряжение: мужчин старше пятидесяти лет не брать...

И хотя военком просил, чтобы дедушка не обижался, — дедушка обиделся. Он приказал сыновьям идти за ним следом и отправился прямой дорогой в райком партии.

В райкоме дедушка произнес большую речь. Он сказал, что ему, красному партизану, стыдно отсиживаться дома, когда фашисты топчут нашу землю и мучают наших людей. И еще он сказал, что о настоящем мужчине судят не по годам, а по силе рук и ног.

— Ну-ка, молодой человек, попробуй пригнуть мою руку, — обратился дедушка к секретарю райкома, ставя локоть на край стола.



Секретарь райкома засмеялся и стал гнуть дедушкину руку, но ничего сделать не мог, только одышка его взяла.

— А ты мою, Магомед! — входя в азарт, предложил секретарь райкома.

Только недосуг было дедушке хвастаться.

— Ладно, мы равны по силе. Ну что, поможешь мне пойти на фронт вместе с сыновьями?

И секретарь помог.

В день отъезда на фронт дедушка снялся на фотографии с Хаджимуратом, Шамилем и Наби. Сейчас эта карточка в красивой рамке висит в столовой. Я часто засматриваюсь на нее: дедушка там уже похож на сегодняшнего — густые брови, словно гусенички, легли над темными глазами, в бороде просвечивает седина; только на груди у него не три ордена, как теперь, а два. По бокам от дедушки, положив руки ему на плечи, стоят двое высоких и статных мужчин: это мои дяди — Хаджимурат и Шамиль. Сзади — Наби. Люди говорят, что Хаджимурат и Шамиль были справедливыми и храбрыми юношами. А еще Хаджимурат любил разную технику и считался мастером

на все руки — он и тракторы ремонтировал, и часы, делал плуги и бороны; в аульском клубе до сих пор висит большая люстра в форме пятиконечной звезды. Она тоже сделана умными руками дяди Хаджимурата.

Нравится мне слушать рассказы о подвигах красных партизан, о войне с фашистами. Но на войне не только радуются боевой удаче, там еще и умирают...

Хаджимурат и Шамиль не вернулись с войны. Я их никогда не видел. Карточка не в счет: там люди не говорят, не двигаются. А мне так хотелось встретить Хаджимурата и Шамиля, пройтись с ними по аулу, гордясь их выправкой и статью, ощутить тепло и силу родных рук!..

Дядя Наби вернулся с войны живым. Он прошел длинный путь — от Ростова до Праги, но даже царапинки не получил. Бабушка говорила, что в день рождения Наби над их домом орел пролетел, потому он и счастливый.

А вот дедушка, видно, не такой счастливый, раз на войне с фашистами его дважды ранили. В плохую погоду раны у него побаливают. Правда, он не жалуется, и это замечают лишь те, кто живет с ним рядом. Глубокой осенью, например когда над Талоколо-горой стоят темные пузатые тучи, дедушка, словно невзначай, растирает левую руку; осенью он и прихрамывает больше.

Если бабушка вдруг спросит: «Болят раны, старый?» — дедушка сразу же делает веселое, беззаботное лицо и отвечает: «Ничего у меня не болит. Я с моими заплатками трижды по сто лет проживу. Ведь там, где врачи заплатки поставили, там уже не порвется...»

Бабушка иногда вспоминает, как дедушка пришел с войны. Это было зимой. Холода стояли такие, что птицы замерзали на лету и падали вниз черными льдинками. Сакли утонули в снегу чуть ли не до крыш. Вот в такую пору и возвращался в аул дедушка.

Бабушка только-только подоила корову и поднималась по заснеженным ступенькам в дом, неся крынку и кувшин, полные молока.

— Твой мужчина приехал! — крикнула ей соседка. — У сельсовета стоит...

Бабушкин кувшин покатился вниз. Вслед за ним нырнула в сугроб крынка. Бабушка не упала лишь потому, что успела ухватиться за перила веранды. Через минуту она уже бежала к сельсовету, то и дело проваливаясь в сугробы и с трудом выбираваясь из них.

Она была в домашних бурках. Одна обувка осталась в снегу. Тогда бабушка сбросила вторую — она ей теперь мешала — и прямо босиком побежала дальше.

Дедушка, как увидел бабушку, сразу на нее напустился: — Ты с ума сошла! Кто же это зимой босиком бегают?

Бабушка не стала ничего объяснять. Она крикнула:

— Магомед! — и упала дедушке на грудь.

От дедушки сильно пахло лекарствами — ведь он недавно вышел из госпиталя. И, наверное, этот запах больше всего расстроил бабушку. Она потеряла сознание. А когда пришла в себя и узнала, что дедушка нес ее домой на руках, заговорила:

— Ты с ума сошел, старый! На войне выжил, а дома надорваться хочешь?!

Дедушка снял шинель, и тогда на свет показался новый орден.

— Посмотри, я теперь кавалер ордена Славы, — сказал дедушка.

Но бабушка почему-то не стала глядеть на серебряный орден, что был прицеплен к дужке ленточкой с желтыми полосками. Она, не отрывая глаз, смотрела на дедушку.

— И руки и ноги есть! — восклицала она, не обращая внимания на новый дедушкин орден. — Слава аллаху, и голова на месте!..

Мы с Халимом часто просили дедушку:

— Расскажи, за что тебе дали орден Славы?

Но дедушке, видно, не хочется говорить об этом — горько ему вспоминать о гибели сыновей. А погибли они, я слышал, в тот день, когда его наградили.

Дедушка произносит тихим печальным голосом:

— О войне, дети мои дорогие, рассказывать легко. Видеть ее тяжело... Я знаю: юноши нашего рода в борьбе за правду были и будут храбрецами. Но не войной жив человек, а мирным трудом.

О ДЕДУШКИНОЙ ТРОСТИ, О ТОМ, СКОЛЬКО СТОИТ ХЛЕБ, И О ЛЕНИНСКОМ ПОДАРКЕ КРАСНОМУ ДАГЕСТАНУ

Стоя внизу, я слышал, как дедушка, чуть-чуть шаркая больной ногой, шел к калитке. Куда он направился? В гости или по делу? Лишь бы подольше задержался.

Однако как только шаги дедушки затихли вдаль, я стал ругать себя за то, что медлю выйти наверх. Если ждет тебя беда — пусть лучше приходит раньше! Попадись я на глаза дедушке с обломками трости в руках пять минут назад, сейчас все было бы позади: обида и укор в его пристальном взгляде, наказание, которым мама так давно мне грозит...

А теперь жди, мучайся, думай о том, что будет дальше!

Надо было идти, но ноги не шли домой. Не хотели, и все! Я уселся под кустом и в который уж раз принялся разглядывать куски сломанной трости...

Я все время говорю «дедушкина трость» и «дедушкина трость». На самом деле у дедушки не одна трость, а две. И ту, о которой я еще не вспоминал, лучше всего было бы назвать палкой.

Палку дедушка срезал сам. Пошел в лес, что стоит сплошной стеной на склонах Талоколо-горы, и срезал. На палке нет ни закругленной ручки, ни затейливых узоров. С ней дедушка ходит в правление колхоза, на поля, а иной раз и на годекан.

Другое дело — праздничная трость. Ее в правление колхоза не тянут. И в поле она не пылится. Дедушка беспокоит ее только в праздничные дни, когда выходит на улицу в суконной черкеске и мягких хромовых чувяках, при всех орденах и медалях.

Сколько раз я рассматривал эту трость и восхищался ее красотой! Она полированная и такая гладкая, как мамина щека, — может быть, еще глаже. Снизу доверху по ней идут серебряные узоры. Одни похожи на цветы, другие на буквы. Начиная с середины трости и дальше, к самой ручке, ползет змея. А сбоку, рядом со змеей, виднеется надпись тоже серебром: «Моему другу кунаку Магомеду из Багда».

Будничная палка стоит в прихожей — уж такая у нее доля.

А праздничная трость висит на мягком ковре, что растянута по стене спальни. И рядом с тростью красуются вещи, которыми дедушка особенно дорожит. Есть тут кинжал в кожаных ножнах. Есть пашка с белой костяной рукоятью, присланная дедушке в подарок героем гражданской войны Кара-Караевым. Есть наган с насечкой на «щечках»; жаль только, что надпись там стерлась.

А в центре висит портрет Ленина. На портрете Ильич улыбается, словно ему нравится смотреть и на оружие, с которым дедушка дрался за правду, и на самого дедушку, еще крепкого, веселого, бодрого, не согнувшегося в лихих атаках и мирных трудах.

Бывает, что дедушка снимает трость с гвоздика просто так. Ну хотя бы для того, чтобы погладить ее. Случайные пылинки оседают на дедушкиной ладони, и серебряная чеканка тогда сияет еще ярче, сообщая всем, что трость эта принадлежит Магомеду из Багда, а подарил ее Магомеду друг и кунак.

Дедушка ласково поглаживает трость. В такие минуты взгляд его мягок и задумчив. Верно, вспоминается ему что-то хорошее.

Потом облачко задумчивости тает, и дедушка, легко став на ноги, бережно вешает трость на прежнее место.

Соседу Магди отлично известно, кто подарил дедушке трость и почему он ею дорожит. Но всякий раз, заглянув к нам, он подшучивает:

— Слышал я, Магомед, ты сегодня снова поспорил с агрономом Хамидом. Эх, кунак, вижу, ты больше трость бережешь, чем себя...

Дедушка отвечает на шутку мягкой улыбкой. Эта улыбка словно бы говорит: «Дорогой Магди, ты слишком молод, чтобы понять, чем надо дорожить и чем не надо!»

Улыбается дедушка светло, ярко. Смешинка зажигается сначала в глазах (они такого же цвета, как трость,— темнокоричневые), потом садится на красные губы (бабушка клянется: «Аллах свидетель, у моего мужчины красные губы, потому что он не курит») и, наконец, падает в снежную бороду.

Но вот лицо дедушки снова серьезно. Он отвечает Магди:

— Зачем говоришь напрасно? Себя беречь—неправдой жить.

А трость я берегу потому, что делал ее знаменитый Устархán в подарок Ленину...

И вот трости не стало — она сломана! Теперь на одном обломке есть только хвост серебряной змеи, а на другом — голова. И надпись разорвана на середине.

Плохо твое дело, Сайгид! Но, отсидевшись под кустом и поразмыслив над своей бедой, я немного успокаиваюсь.

Конечно, Халим сглушил, когда взял дедушкину трость. Но я был еще глупее, взяв ее. В конце концов, что в этом шарике — пусть болтался бы на проводе! А мне следовало сказать брату: «Отнеси трость обратно. И больше никогда без спросу не трогай дедушкиных вещей».

Только поздно я так подумал. Что скажет теперь дедушка?

«Хватит отсиживать в овраге,— решил я.— Пойду и во всем признаюсь!»

Дедушка часто говорит: «Мужчина должен глядеть беде в глаза». Лжи и трусости он не терпит. Если узнает он из вторых рук, что я сломал трость, наверно, не помилует. Скажет: «Ты провинился. Но ты провинился вдвойне, коли хотел скрыть свой проступок».

Так было недавно, когда я разбил бабушкин кувшин. И тут ведь не обошлось без Халима! Он схватил мой значок с фигуркой бегуна и хотел удрать. Погнавшись за братом, я выскочил на веранду и ненароком зацепил бабушкин кувшин, выставленный для просушки. В один момент у него отвалилось горлышко и треснула ручка.

Думал я, думал: что же делать? И придумал. Горлышко прикрепил с помощью конторского клея, а трещинку на ручке осторожно замазал пластилином. Потом я разыскал Халима и отнял у него значок. Конечно, я никому не хотел говорить о кувшине. Но все вышло наружу, потому что бабушка, собравшись идти доить корову, взялась за кувшин. Конечно, ручка немедленно отвалилась. «О аллах! — причитала бабушка.— Что с моим кувшином?» Я сделал вид, что не имею к этому никакого отношения, и отвернулся. Тогда Халим, ни слова не говоря, ткнул в меня пальцем: он, мол, виноват. Бабушка кликнула дедушку. Узнав, что случилось, дедушка нахмурился и больно дернул меня за ухо: «Разве ты не знаешь, что у лжи век короткий? На-

шкодил, а признаться мужества не хватает? Вот и получай за это!»

Ухо у меня горело огнем, но я не жаловался: чего зря жаловаться, если дедушка прав, а я не прав?

С тех пор дедушка посмеивается надо мной. Бывает, и при гостях. Кивнет в мою сторону и скажет:

— Объявился у нас мастер по починке кувшинов. Замазывает трещины пластилином, скрепляет черепки конторским клеем. Нет ли у вас старого кувшина? Несите его Сайгиду.

Я только краснею, слушая дедушку.

Конечно, история с бабушкиным кувшином кое-чему меня научила. Это правда: у лжи век короткий. И верно, что настоящий мужчина не вилает, не трусит, смотря беде в глаза. А я мечтаю стать настоящим мужчиной, таким, как сам дедушка, как мои дяди — Хаджимурат и Шамиль! Значит, теперь, когда я сломал трость, мне никак нельзя скрывать свою вину!

«Пойду и признаюсь», — повторял я и постепенно обретал смелость.

Спрятав обломки трости под кустом и сказав себе в последний раз, что надо пойти и признаться, я вылез из оврага. Во дворе никого не было. Я хотел уже проشمыгнуть в дом, как услышал торопливый стук бабушкиной палки.

«Дедушка идет!» — испуганно подумал я.

Чем ближе был дедушка, тем меньше смелости оставалось у меня. А когда я увидел его лицо — суровое, покрасневшее от непонятного волнения, — я совсем пал духом. Нет, не мог я сейчас заговорить с ним о сломанной трости — хоть убей меня, не мог!

— Залмо! Залмо, иди сюда! — позвал он бабушку, резко толкая калитку и входя во двор.

— Чего кричишь, старый? — откликнулась бабушка, появляясь на крыльце. — Что тебе?

Дедушка подошел к ней и разжал кулак — я увидел на его ладони грязную корку хлеба.

— Смотри! — сказал дедушка таким голосом, будто нашел кусок золота.

— Это хлеб? — не узнавала бабушка. — Но зачем ты подобрал его, старый?

За моей спиной раздался шепот:

— Сайгид!

Я обернулся и увидел ребят. В их взглядах не было жалости — только любопытство: вот сейчас дедушка Магомед тебе даст! Мой одноклассник Муса подмигнул мне: ничего, мол, не трусь! Потом ему захотелось похвастаться, и он просунул сквозь стойки изгороди свою забинтованную ногу, которую повредил в недавней футбольной схватке.

Если б не думал я сейчас о сломанной трости, я бы ему как надо ответил. Я бы сказал: «Подумаешь, мышцы растянул, когда я был маленький, на меня со шкафа чайный сервиз упал — и то ничего!»

Но я думал о сломанной трости. Я весь был полон своей бедой, и мне не было никакого дела до забинтованной ноги Мусы. А дедушка все стоял у крыльца, держа на ладони найденную корку.

— Эх, Залмо! Что это хлеб — даже дети поймут. — Он искоса взглянул на ребят, прилипших к забору. — Но почему дети не понимают, что бросать хлеб в грязь — стыдно и позорно? Каждое зерно полно соками земли. Каждое зерно полито людским потом. Некоторые это не ценят! Куда смотрят их глаза, когда ноги топчут хлеб? Разве сама земля не проклинает таких глупцов?

Луч солнца пробился сквозь облака, упал на дедушкину ладонь, и тогда мне показалось, что лежит на ней не кусок хлеба, а золотой слиток.

Бабушка вздохнула.

— Чтоб узнать цену хлеба, надо проголодаться, — сказала она. — Дети сейчас, слава аллаху, сыты. Мы в детстве досыта не ели. Помнишь, как люди варили траву и питались ею?..

Ребята были уже во дворе. Они стояли поодаль, ожидая, что дедушка наконец спросит меня о трости и тут же, не сходя с места, задаст мне взбучку. Им-то что — лишь бы развлечься!

Сейчас я не мог хорошо думать о товарищах. Я не хотел, чтобы они были свидетелями моего позора. Если б ребята ушли, мне было бы легче говорить с бабушкой. Ну, обругал бы меня. Ну, надрал бы уши. Это не страшно, лишь бы ребята не узнали. А то задразнят...

— Обидно, — сказал дедушка, все еще не отрывая взгляда от

куска хлеба на ладони.— Обидно.— И дедушка приваялся считать с корки налипшую грязь.

Я знаю, сколько труда надо вложить, сколько пота пролить, чтобы вырастить хлеб. Прошлой осенью мы всем классом работали на току. И тогда же дедушкин знакомый, Гамзат, дал мне вилы, чтобы я подавал снопы на молотилку. Ох и запарился я! Подал десять снопов — и совсем обессилел. Правда, Гамзату я это не сказал, стыдно было. А Гамзат вытер пот со лба, понимающе мне улыбнулся и потянул вилы к себе: «Хватит. Теперь мой черед работать». Я даже рад был, что он слабости моей не обнаружил...

Тяжело достается хлеб!

Я думаю о цене хлеба, вспоминаю, как прошлой осенью работал рядом с Гамзатом на молотилке, а в груди у меня больно и сердце стучит свое: «Не тани. Расскажи все бабушке. Признайся, пока не поздно».

Бабушка вздыхает в последний раз, будто провожает воспоминания.

— Сайгид, ты где пропадал? — вдруг замечает она меня.— Иди домой.

Дедушка задумчиво морщит лоб.

— Ва, Залмо,— окликает он бабушку уже другим, веселым голосом,— чуть не забыл! Увидел кусок хлеба на дороге — так все из головы вон... Вытащи из сундука свое черное сатиновое платье! К нам едет дорогой гость...

Ребята молча уходят, разочарованно поглядывая на меня и на дедушку. Только Муса на прощание кричит:

— Приходи на гумно в футбол играть!

Халима дома нет: боится меня, бегает где-то. Пока бабушка суетится у сундука, я брожу по комнате, не зная, за что приняться.

«Дедушка сказал, что приезжает гость,— раздумываю я.— Какой гость? Может, дядя Наби из Махачкалы? Но Наби был у нас и в прошлом году, а бабушка тогда не носила платье из сатина. Значит, не Наби».

Наконец бабушка достает из сундука сверток. Она осторожно развязывает лепточку, сдувает сверху невидимую пыль.

«И что она носитя с этим платьем? — насмешливо думаю я.— Было бы хоть шерстяное, а то ведь старье старьем...»

Я не раз видел бабушкино сатиновое платье, но так и не понял, почему она бережет его, словно царский наряд. И не жадная совсем — дня не пройдет, чтобы не сунула мне и Халиму какой-нибудь вкусной вещи: то яблоко даст, то блюдечко меда...

— Ну, достала, Залмо? — спрашивает дедушка, появляясь на пороге.

— Достала, старый,—певуче и радостно отвечает бабушка.— Вот оно!

Дедушка бережно принимает сверток из ее рук. Он несет его так осторожно, будто там не платье, а стекло.

— Красивое? — спрашивает бабушка, доставая платье и ласково разглаживая складки на слежавшейся материи.

— Красивое! — говорит дедушка и тоже притрагивается к платью.

— Только старое очень,—вырывается у меня.

— Все-то ты знаешь,—ворчливо замечает дедушка.— «Старое»... Это платье из простого сатина дороже бархата и парчи! Вот послушай...

И дедушка начинает рассказывать, откуда взялось у бабушки черное сатиновое платье. Я слушаю его сначала невнимательно, потому что нет-нет да вспомню о своей беде и о наказании, которое ждет меня впереди. Но чем дольше я слушаю, тем меньше тяжести в моем сердце. Я смотрю на дорогое дедушкино лицо, по которому знакомо разбежались морщинки, на его добрые руки, увитые синими жилками — руки лежат на коленях и похожи на осенние листья, устало приникшие к земле,— и мне становится все легче и легче. Будто ничего и не было — ни этого злосчастного шарика, ни глупого падения в овраг, ни несчастья с тростью. Есть только рассказ дедушки о тех временах, когда старье еще не постарели, а молодые не родились...

— Пашки наголо, как кончилась гражданская война, взяли мы за работу — пахать, сеять, дыры в хозяйстве латать. Трудно нам было, может быть, труднее, чем на войне. Весной с неба ни дождинки не упало. Вскходы были редки и слабы. Летом тоже дождя не видели. Ночами тучи стояли над вершиной Талокколо-горы, вселяя надежду в сердца крестьян. Но утром они убе-

гали, рассеивались, как туман. В тот год трава была такой низкорослой, что даже ягнята не могли ухватить ее. Хлеб на полях сгорел. Люди отчаялись, не осталось у них ни пищи, ни одежды. Раньше наши женщины носили платья из грубой домотканой материи. Теперь и ее не стало...

Дедущка внимательно посмотрел на меня: слушаю ли? А я слушал, забыв обо всем на свете.

— Ну, рассказывай дальше!

— Шашки наголо, сейчас мужчины носят воду из родника, и никто не считает это унижением. В те времена было иначе. Оказал помощь жене — принес ей воды или дров, — опозорился навек: вот, мол, бабой стал! Только мне не было дела до глупых обычаев, я и тогда своей жене во всем помогал. И за водой ходил с кувшином. Иду по улице, а приспешники муллы меня обидными взглядами провожают. Скажу правду, не мог я тогда не ходить за водой. А почему, сейчас объясню. Бабушка твоя и теперь красивая, а тогда яблонькой цвела, молодой луной сияла. Не было в ауле девушки красивее ее! Такую красоту надо в шелка наряжать, а у Залмо — одно платье, да и то дырявое.

Не хотел я, чтобы чужие взгляды коснулись тела моей жены. Вот поэтому и не выходила она днем на улицу. Только ночью — а ночью, в темноте, как говорят в горах, и бедняк за богача сойдет — отправлялись мы с Залмо работать в поле. Но что толку от такой работы, если земля горит адским пеклом, а небо скупится на влагу? Мы голодали. Мука кончилась еще весной. Хаджимурат, Шамиль и Наби были тогда малы и глупы, но слова: «Еды нет» — они понимали и терпели голод молча. Я решил идти в Чечню — может, там раздобуду хлеба. Навьючил на осла пустые корзины и двинулся. Однако и в Чечне был голод. Я видел, как люди собирали в горах коренья и травы и, сварив, ели. Я видел, как скорлупу орехов мололи с высохшим кукурузным початком и этой мукой сдабривали еду из трав. Я вернулся обратно с пустыми руками. Так жили бедняки... Только у кулаков было вдоволь еды и одежды. Но они и умирающему не дали бы корки хлеба. Злорадствовали: «Что, босяки, нравится вам Советская власть, за которую вы кровь проливали?»

В начале осени говорят мне люди: «Магомед, тебя ждет большевистский бегаул». Бегаул — это, по-нынешнему, председатель

сельсовета. Бегаулом был у нас Магомедмирзá. Иду я к нему, тороплюсь: может, новая беда привалила? Нет, веселый Магомедмирза, довольный, хоть и иссушил его голод. Говорит: «Великая радость у нас, кунак! Владимир Ильич Ленин узнал о нашей беде и прислал нам хлеба и мануфактуры. Собери смелых джигитов, поезжай в Темир-хан-Шуру́, получишь там пай на весь аул».

Нет слов, чтобы выразить мою радость! Помню, день был пасмурный, а я вышел на крыльцо и зажмурился, будто меня солнце ослепило. Потом притронулся к глазам — что такое?.. Слезы! Шашки наголо, сто раз я со смертью в обнимку ходил, но не плакал. А тут заплакал — от счастья, от того, что надежда моя на Ленина оправдалась!

В тот же день отправились мы с несколькими джигитами в Темир-хан-Шуру. На дорогу сунул в хурджин¹ горсть орехов. Но и без них не пропал бы: когда радость на сердце — не беда, коли живот пуст. Приехали мы в Темир-хан-Шуру, видим, улицы от народа кипят, весь Дагестан здесь. Заняли мы очередь, стоим, ждем, пока нам долю нашу дадут. А мимо, обратно в горы, катят и катят арбы да телеги, набитые мешками с мукой и тюками мануфактуры. Дорогая картина, скажу я тебе! Люди вокруг о Ленине говорят, о его мудрости и бескорыстности...

Восемьдесят повозок с мукой и тканями привезли мы в аул. Магомедмирза раздавал материю, я — муку. На каждую душу по две мерки белоснежной российской муки... Не забыть мне тех, кому я давал эти мерки, — лица изможденные, но счастливые! И живы в моей памяти слова благодарности, сказанные в тот день людьми. Твоя бабушка тоже получила кусок материи. Всю ночь, сидя у коптилки, шила она себе новое платье. И когда одела его — словно вновь родилась!

— Правда, правда, — заговорила бабушка. — Я, помню, легла спать, а платье рядом положила: не верилось, что оно мое, все гладила его...

Дедушка кивнул.

— Гладила и шептала что-то, — добавил он. — Я спросил: «Ты что говоришь, Залмо?» Она ответила: «Прошу у аллаха долгой жизни Ленину. Пусть живет он столько лет, сколько ни-

¹ Х у р д ж и н — дорожный мешок, сума.

тей в этом платье!» Скоро дела наши поправились. Мы уже не голодали. И хлеба и одежды хватало. А сатиновое платье, — дедушка прикоснулся к ветхой материи, — бабушка хранит больше сорока лет. Для нас это не просто старое платье — это подарок Лейнина!

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА

Дедушка только закончил свой рассказ, как в дверях показалась хитрая мордочка Халима. Он уставился на меня, и в глазах его я читал: «А вот и войду! И ты ничего мне не сделаешь!» Я действительно не мог отомстить брату, когда рядом были дедушка и бабушка. И от этого мне стало еще обиднее.

— Ты что стоишь, старая? — сказал вдруг дедушка, торопливо вскакивая на ноги. — Разве не слышала? К нам дорогой гость приезжает!

— Не сыночек ли мой Наби?

— Петрович приезжает! — крикнул дедушка.

— Вах! Вах! Сам Петрович? А ты меня не обманываешь? Дедушка лукаво улыбнулся.

— Я ж тебе не Сайгид!

Наверно, он вспомнил бабушкин кувшин.

Пусть шутит сколько угодно, я слова в ответ не скажу. А будет ли молчать Халим? Он по-прежнему стоит у двери, с ехидцей глядя на меня. Я знаю, что у него на уме. Ему смерть как хочется наябедничать дедушке: Сайгид, мол, сломал твою праздничную трость!

«Если скажешь, — гипнотизирую я Халима взглядом, — ты мне не брат! Не то что шарика — щепки не получишь!»

— Погладь мне брюки, Залмо! — командует дедушка.

— О аллах, что с тобой делать? — притворно возмущается бабушка. — Он хочет, чтобы я гладила брюки! А ведь на них, как на лице юноши, и так нет ни единой морщинки! Вот что я тебе скажу: чем старше ты становишься, тем больше прихорашиваешься.

— Ну и что же? — весело отвечает дедушка. — Когда аккуратно одет да туго подпоясан, молодым себя чувствуешь! — Он достает из сундука праздничную черкеску, легонько встряхи-

вает ее, и я слыш^у, как звенят, сталкиваясь, ордена и медали.

— Не праздник ведь, а ты награды вытащил,— говорит бабушка, включая электрический утюг в розетку.

— Почему не праздник? Ко мне приезжает фронтовой друг Петрович — это большой праздник, хотя в календаре и не красное число. Ты помнишь, как он принял нас в позапрошлом году? Он встречал нас на вокзале при всех орденах, в военной форме, несмотря на то что уже давно находится в отставке. И Маруся шла с ним под руку. Вот и я надену свою парадную черкеску со всеми орденами и медалями. Что им в сундуке тускнеть — на моей груди веселее! А Петрович увидит эти награды и лишний раз подумает: «Хорошего я друга выбрал!» Путь знает Петрович: я помню клятву, которую дали мы над могилой павших боевых друзей в горах Аракани: не щадить себя для счастья Родины! И ты, Залмо, пойдешь со мной под руку через весь аул...

Словно вспомнив что-то, бабушка еле заметно улыбнулась:

— Ты помнишь, как мы первый раз шли под руку?

Казалось, дедушке были неприятны эти слова. И он поспешил сказать:

— Помню, помню... Что вспоминать!

Дедушка ушел, но вскоре явился в полной парадной форме. На ногах поскрипывали блестящие сапоги. Чтобы их чистить, есть особая щетка и длинная бархатная лента. И дедушка добивается такого блеска, что кожа на сапогах отражает все, как зеркало. На синих дедушкиных галифе по бокам были красные лампасы. Черкеску, плотно облегающую грудь и плечи, дедушка сильно стянул ремнем.

Напоследок он подошел к зеркалу, расправил бороду и пригладил усы. Потом повернулся и гордо поглядел на бабушку, будто хотел сказать: «Хорош?»

— Молодой! — восхищенно сказала бабушка, и вдруг голос ее погрустнел: — А я уже старая...

— Неправда! — не согласился дедушка. — Я говорю: ты молодая и красивая. Пусть-ка кто-нибудь скажет, что я соврал!

Как я был счастлив раньше, когда дедушка, одетый по праздничному, брал меня с собой на улицу. Я сидел на его пле-

че и гордо поглядывал на всех сверху вниз: смотрите, какой у меня дедушка, смотрите, какой я сам!

Теперь дедушка не сажает меня на плечи. Он сажает Халима. И я завидую ему, как когда-то ребята завидовали мне...

— Я готов,— сказал дедушка.— Дело за тобой. Поспеш, Залмо, надо идти встречать Петровича. Нет, подожди, сначала дай мне мою трость...

Я вздрогнул, будто меня ударили. Вай, что сейчас будет! Я испуганно озирался. Мысли кузнечиками скакали в голове. Почему я не нашел в себе смелости, чтобы признаться во всем раньше? А я-то считал себя настоящим мужчиной! Думал, что не побоюсь взглянуть беде в глаза. Тряпка я, а не мужчина, тряпка и трус!..

Но оттого что я ругал себя, легче не становилось. Я до ужаса страшился того момента, когда все откроется и рассерженный дедушка, грозя взглядом, шагнет ко мне. Пусть это будет минутой позже — и то хорошо! Бабушка вышла из комнаты. Я слышал, как, шаркнув по высокому порогу, она вошла в спальню. Вот наклоняется к ковру, ищет трость — и не находит ее!

«Надо сейчас сказать,— думаю я,— а то поздно будет».

Я хочу шевельнуть языком и вдруг чувствую — он не двигается! Тогда я всовываю палец в рот и толкаю язык из стороны в сторону.

— Что так долго, Залмо? — спрашивает дедушка.— Быстрее, а то опоздаем!

А Халим в это время отрывается, наконец, от двери и опасно входит в комнату.

— Дедушка...— начинает он, и я понимаю, что наступил решительный момент.

— Дедушка,— перебиваю я Халима,— дедушка, я нечаянно сломал твою праздничную трость...

И, признавшись в этом, я падаю на стул, потому что ноги уже не держат меня.

— Это я хотел сказать, а он раньше сказал! — кричит Халим.— Я медленно хотел, а он быстро!..

Но дедушка не смотрит на Халима. Он смотрит на меня. Я прямо чувствую, как жжет его взгляд. Только что дедушка был веселым и добрым, а теперь он совсем другой.

— Ты сломал мою трость! — тихим и потому очень страшным голосом переспрашивает он.

Я не отвечаю — с языком снова что-то творится, он опять бесчувственный, мертвый. Дедушка приближается — делает один шаг, потом другой... И мне вдруг кажется, что фигура его растет, растет, нависая надо мной, как скала. И чем выше делается дедушка, тем меньше становлюсь я...

Ужас наполняет мое сердце, губы кривятся, глаза застилают слезы. И когда дедушка, не выдержав, громко кричит: «Ах ты дрянь мальчишка!» — я начинаю рыдать.

Халима как ветром сдуло. В комнате его нет. Я плачу, но вместе с тем удовлетворенно отмечаю: хорошо, что брат не видит моей слабости.

Однако через минуту Халим появляется. Он приносит две половинки дедушкиной трости. Нашел все-таки, хитрая лиса!

— Ах ты дрянь мальчишка! — расстроено повторяет дедушка, рассматривая обломки.

Он складывает их, разнимает, снова складывает и все время покусывает ус.

— Кто позволил снять трость с гвоздя? — снова подступает он ко мне. — Кто позволил делать из нее игрушку? Отвечай, не то худо будет!

— Не брал я трости!

— Смотри ты какой! — говорит дедушка. — Мало ему — испортил дорогую вещь, так еще и лжет, вилает. Кто же тогда взял трость — злой дух?

— Ва, Магомед, что кричать? Поздно кричать. — Бабушка потихоньку влезает между нами. — Не волнуйся, купишь себе другую трость...

Но дедушка совсем разошелся. Он так кричит, будто это бабушка сломала его праздничную трость.

— «Другую трость»! Разве найдешь такую? — Дедушка в гневе поднял обломки над головой. — Это был подарок знаменитого унцукульского мастера Устархана! Он вывел на трости мое имя! Когда я шел с нею, я вспоминал свою молодость, все следы свои, оставленные на крутых тропах жизни. Эта трость поддерживала мое тело, а гордость поддерживала мое сердце. Ведь ее сделали те же руки, что делали чернильный прибор для



Ленина! Эх!..— Дедушка снова сложил обе половинки трости, потом со вздохом разнял их.— Я без нее как без рук.— И, круто повернувшись, прихрамывая больше обычного, ушел в спальню.

— Ведь это только палка,— сказала ему вслед бабушка,— а ты горюешь, словно близкий умер.— Она посмотрела на меня.— Ты тоже хорош — нашел чем баловаться! Зачем взял трость?

— Я не брал! Это он! — завопил я, бросаюсь на Халима.

Он вскрикнул:

— Вай! — и прижался к бабушке.

— Оставь его в покое,— заговорила бабушка, отстраняя от меня Халима.— Не знаешь, на ком обиду выместить? Он маленький, слабый... Иди погуляй, пока дедушка утихнет.

Делать нечего. Всклипывая, глотая слезы, я вышел во двор. Теперь, когда я очистил себя признанием, я почти забыл о своей вине. Не так я плох, как это считают домашние. Заметили соломинку в моем глазу — и рады! А сами? Почему дедушка не захотел узнать, кто снял трость с гвоздя? Почему бабушка защищает Халима и даже слышать ничего плохого о нем не хочет? О Халиме и говорить нечего — большего хитреца, жадины и ябеды я не встречал...

На улице было солнечно, тепло. Пахло почему-то яблоками. А меня ничто не радовало — ни ясность дня, ни вкусный воздух. Мелькнула у меня мысль — пойти на гумно и поиграть с Мусой в футбол. Но я тут же расстался с ней. Не хотелось сейчас играть.

Рядом с нами живет семья Шараповых. У них есть козел. Имени у этого козла не было, и звали его просто «Мешка». Но однажды козел попытался забодать тракториста Шамсудина, который сватается к моей старшей сестре Фарі, и тот в шутку назвал его Агрессором. Так и пошло: Агрессор и Агрессор. Козел у Шараповых действительно очень драчливый. Меня он, правда, знает, и потому если бодается, то понарошку. Я зову его не Агрессором, а по-старому — Мешкой, и козлу, видно, это больше нравится.

Когда я шел мимо Шараповых, Мешка, привязанный к телеграфному столбу, с надеждой и лукавством поглядел на меня: поиграем, а?

— Отстань,— сказал я ему.— У меня неприятности, а ты лезешь.

И Мешка понял, не стал приставать. Мне показалось даже, что в его карих глазах появилась грусть...

У колхозного тока стояла машина. Я сразу узнал ее, потому что на дверце была красная надпись: «300 тысяч километров без капитального ремонта», а за ветровым стеклом стояла фотография Гагарина. На этой машине ездил мой знакомый Каміль.

Я остановился, ища глазами шофера: не видно Камия.

Машины я люблю. Часами могу смотреть, как их ремонтируют. Когда я сижу на уроках и слышу вдруг урчанье мотора или автомобильный гудок, мне даже жарко становится: так хочется прокатиться! Обычно я цепляюсь за борт проходящей машины и на весу болтаю ногами. Мне не раз попадало за это от отца и мамы.

А сейчас я так был расстроен, что, остановившись на минуту, пошел дальше, к околице. Я еще плакал, только потихоньку. В груди, подступая к горлу, шевелился комок обиды.

Внезапно за спиной засигналила машина. Я обернулся и сквозь слезы, как в тумане, увидел Камилля, стоявшего на подножке своего «ЗИЛа». Камиль снял кепку, которая для удобства была повернута козырьком назад, вытер ею потный лоб и, спрыгнув на землю, зашагал ко мне.

— Ты что, не узнаешь? — сказал он, улыбаясь и протягивая вместо ладони локоть. Лишь один этот локоть не был в машинном масле. — Что случилось, друг? Ты, кажется, плачешь? Ну, не плачь. Расскажи о своем горе.

Я посмотрел на лицо Камилля, испачканное в мазуте и масле. Темные глаза шофера выражали участие. Я хотел что-то сказать, но слова не шли, а вместо них шли горькие слезы.

— Плохи твои дела... — Камиль поцокал языком. — Так и без воды можно остаться — мотор перегреется, подшипники расплавятся. Ну, вытри слезы и рассказывай...

Всхлипывая, я рассказал Камиллю, как подарил воздушный шарик брату, как шарик зацепился за провод, как, пытаясь достать его, я упал в овраг и сломал дедушкину трость.

— Это Халим во всем виноват, — заключил я.

— А-а, что Халим... — сказал Камиль. — Он-то принес трость, а зачем ты ее взял? Тебе же известно — не простая это трость... Теперь ничего не поделаешь. Не печалься, мужчина в беде не должен опускать руки.

И тут мне пришла в голову одна интересная мысль. Я даже плакать перестал.

— Что, если склеить трость? Заклеивают же проколотую камеру? Достать столярный клей и...

— Можно, — прервал меня шофер. — Можно склеить, а можно и соединить железным ободком. Что-нибудь придумаем, толь-

ко не расстраивайся. Если б ногу сломал или руку поранил — и тогда бы не следовало плакать. А то из-за трости... Ну сколько она может стоять? Два-три рубля, не больше.

Камиль вытащил из кармана кусок ветоши, старательно вытер руки и вдруг хитро подмигнул мне.

— Вот что: плюнь на столярный клей, на ободок! Купи своему Магомеду новую трость!

— Как это?.. — растерялся я.

— А так. Я сейчас отправляюсь на кутан¹. Могу забрать тебя в Унцукуль. Это недалеко, километров тридцать пять — сорок. Я поеду на кутан, а ты купишь трость и на попутке — обратно. Придешь домой и скажешь: «Не ругай меня, дедушка, вот тебе новая трость!» Договорились?

— Не всякая трость подойдет дедушке. Ту делал знаменитый мастер Устархан. Он на ней написал: «Моему другу кунаку Магомеду из Багда». А еще там змея была...

— Подумаешь... — сказал Камиль. — Пойдешь к Устархану, покажешь ему денежки — он сделает тебе не одну, а десять тростей. Садись в кабину. Нам нельзя задерживаться. — Он посмотрел на часы. — Сейчас тринадцать ноль-ноль. Если ничего не случится — к семнадцати ноль-ноль будешь в Унцукуле.

Как хорошо все придумал Камиль! Почему я сам не сообразил? Склеить старую трость или спаять ее ободком не сложно, но такая трость уже не будет иметь парадного вида. Другое дело — съездить в Унцукуль, где живут лучшие дагестанские резчики и чеканщики, и среди них самый лучший — Устархан! Там уж обязательно найдется хорошая трость для дедушки.

Влезая в кабину «ЗИЛа», я улыбался. В кабине мне стало еще веселее. Я ж говорил, что больше всего на свете люблю машины. И теперь, сидя на мягком кожаном сиденье, я был счастлив и мысленно уже находился в пути.

«Значит, скоро я буду в Унцукуле, — говорил я себе. — Увижу знаменитого Устархана. Привезу дедушке трость. Вот позавидует мне Халим, когда я вернусь и дедушка, радостный и довольный, скажет: «Молодец, Сайгид, ты нашел выход из трудного положения. Ты настоящий джигит!»

А Камиль между тем не терял времени. Он сел со мной ря-

¹ Кутан — зимние пастбища.

дом, завел мотор и взялся за руль. Машина дала задний ход и пошла по мощеной дороге. Я опустил ветровое стекло сбоку и привольно облокотился на раму. Мимо ползли дома и изгороди. Мелькнул козел Шараповых. Он поглядел мне вслед с любопытством и недоумением: куда это отправился Сайгид? Чуть дальше стоял Муса с забинтованной ногой. Вот когда я отомстил ему за хвастовство! Высунувшись из кабины, я лениво и пренебрежительно помахал Мусе и прокричал:

— Привет!

Не успел этот «Привет!» сорваться с языка, как я уже кричал, попеременно оборачиваясь то к Камиллю, то к Мусе:

— Останови на минутку машину, Камиль! Беги сюда, Муса!

Машина затормозила. А Муса, несмотря на больную ногу, летел как вихрь.

— Дядя Камиль, покатайте меня! — заорал он еще издали.

— Покатай давно помер, — пошутил Камиль. — Не могу. Мы торопимся.

Только тогда, казалось, Муса заметил меня.

— Куда ты, Сайгид?

— В Унцукуль, — сказал я с гордостью. — Куплю дедушке новую трость. Вот что, сбегай ко мне домой и скажи: Сайгид уехал, пусть не беспокоятся.

Муса кивнул. Камиль махнул ему рукой, и машина тронулась. Однако у колхозного правления мы снова остановились.

— Подожди меня, — сказал Камиль, вываливаясь в дверцу. — Надо у бухгалтера денег взять на дорожные расходы...

Тогда и я подумал: «Устархану надо заплатить за трость, а у меня нет ни копейки!» Хорошо, что спохватился вовремя. Напрасно бы проездил. Но где взять денег? Эх, если б не истратил свои десять рублей! Вотгодились бы сейчас!

Вспомнив, как глупо растаяли мои десять рублей, я даже губу закусил от обиды.

Два месяца назад, когда начались летние каникулы, мы всем классом пошли работать в поле. Положили грядки с луком, ставили подпорки у рассады помидор — в общем, делали что надо. Каждый вечер бригадир записывал нам трудодни. Набралось их немало. К концу первого месяца всем дали деньги. Я тоже получил десять рублей.

Прямо из бухгалтерии ребята побежали в магазин. Покупали что кому по душе. Алибег набрал книг — он читает даже на уроках: заберется на заднюю парту, раскроет книгу и забудет обо всем на свете. Муса, конечно, приобрел футбольный мяч. А Ханав купил сразу два набора «Юный химик».

Глядя, как ребята разбирают вещи, я тоже почувствовал зуд приобретения.

Что купить? Книжки? У отца их два шкафа. Футбольный мяч? Обойдусь пока без мяча. Набор «Юный химик»? Зачем он мне? Химией я не увлекаюсь...

Смотрел я, смотрел, и вдруг словно меня кто-то толкнул. Я попросил фильмоскоп. А как вышел на улицу, сразу пожалел: нужно было мне тратить деньги на чепуховскую вещь! Не маленький я, чтобы сказочки смотреть, да потом, картинки в фильмоскопе неподвижные, скучные...

Мама начала ругать меня: «Мало тебе кино в клубе? Дома тоже кино? Только зря деньги истратил. Купил бы что-нибудь дельное. Столярный набор, например, или «Конструктор»...

Она бы еще говорила, если б у меня в тот момент не вырвалось:

— Я купил фильмоскоп Халиму!

Халим немедленно закричал:

— Мой фильмоскоп! Сайгид, дай мне мой фильмоскоп!

Он столько раз повторял «мой фильмоскоп», что мне, в конце концов, расхотелось расставаться с фильмоскопом. Но мама уже хвалила меня. И отец, придя с работы, тоже похвалил. Только это и утешило меня.

Теперь похвалы забылись, а фильмоскоп не забылся. Не надо было дарить фильмоскоп Халиму! Забрать бы его. И мячик забрать, тот, что с синими полосками. И самописку, которую отец привез мне в прошлом году из Махачкалы...

«Ладно,— оборвал я себя.— Зря только расстраиваюсь. Подарил — и забыл! Нечего жалеть! Надо думать, где достать деньги».

Вернулся Камиль.

— Мало денег дал бухгалтер,— досадливо морщась, сказал он.— Поехали?

— Нет еще. Прости, я всего на пять минут сбегая к Ханаву.

Я вспомнил, что Ханав истратил на наборы только четыре рубля, а шесть припрятал. Может, даст? А я возвращу, когда в колхозе за этот месяц зашлатят.

Камиль махнул рукой.

— Где наша не пропадала! Иди. Пять минут даю, не больше, ясно?

— Ясно! — крикнул я уже на ходу.

Ханав жил неподалеку. «Хоть бы дома был», — подумал и, мчась по улице.

С Ханавом я одно время даже дружил. Но потом все у нас расстроилось. На физкультуре мы прыгали через коня и подтягивались на турнике. Я подтянулся семь раз, и учитель меня похвалил. А Ханав ни разу не подтянулся. Когда настала его очередь прыгать через коня, он разбежался, присел, чтобы оттолкнуться, но так и не оттолкнулся — испугался.

Ребята стали смеяться над Ханавом. Конечно, я начал защищать его:

— Что пристали? Зато он планер с бензиновым моторчиком сделал!

Но после уроков я сказал Ханаву:

— Хочешь, я тебя прыгать научу? Если будешь слабым, тебя в космонавты не возьмут...

Ханав угрюмо взглянул на меня:

— Не нужна мне твоя помощь. А в космонавты будут брать не по мускулам. По знаниям будут брать.

Что правда, то правда; мускулы у меня крепче, а знания слабее. Обиделся я на Ханаву: я ж по-дружески сказал, а он злится! Не стал больше к нему подходить.

Он носит очки, и некоторые дразнят его. Раньше я заступался за Ханаву. Даже с Мусой из-за него схватился. А теперь неохота.

Станный он вообще-то. Я вот без товарищей не могу. А он может. Сидит угрюмый, нахохлится, как сова, и занимается своими делами.

Мы часто ходим на гумно, чтобы побегать и поиграть. Ханав плетется за нами. Но игры его не интересуют. Сядет под на-

весом и читает научные книги. Про дизельные моторы, про систему внутреннего сгорания, про свойства нитролаков,— не знаю еще про что. Окружат его малыши, а он на них полъ внимания: чертит на песке круги и квадраты, отрываясь лишь за тем, чтобы внести запись в тетрадь.

Дома у него целый склад картонных и фанерных птиц, ракет и пароходов. Он их сам сделал, с помощью книги «Тысяча вещей из подсобных материалов». Не знаю, есть ли у Ханава эта тысяча,— пятьсот есть, руку на отсечение даю!

Когда мы дружили, сконструировал он планер с бензиновым моторчиком. Мы его вместе пускали. Планер взвился в воздух, покосился на дом Ханава и полетел к Талоколо-горе. Я побежал за ним, но не догнал. Так он и пропал без вести. Жалел я его, а Ханав говорит: «Эдисон сказал: «Гений — это девяносто девять процентов усидчивости и один процент таланта». Сделаю другой планер. Еще лучше будет летать. А этот планер был с дефектом. Ты заметил, он давал дифференциал на одну сторону?»

Вот какое слово знает Ханав: дифференциал!

Седобородый Расул, школьный сторож, относится к Ханаву почтительно. Он говорит, что из него со временем получится большой ученый. Может, и получится. Голова у него здорово работает. Не успеет наш учитель дать условие какой-нибудь задачи, как Ханав уже тянет руку вверх: решил! А ребята бьются-бьются, так и не решат.

И руки у Ханава умелые. Они все могут исправить и починить — куклу, часы, заводную игрушку. Раз мы пришли к нему домой, а во дворе целая толпа малышей, и все с поломанными игрушками.

— Охота тебе возиться? — спросил я.

— Охота,— ответил Ханав, строго глядя на меня сквозь стекла очков. Он тут же разжег спиртовку и принялся что-то клеить и паять.

Теперь Ханав увлекся шахматами и кроссвордами. За один месяц перерешал все кроссворды, что были в годовом комплекте «Огонька». А в шахматы стал играть — ого! Даже в аульском турнире участвовал и обыграл нашего директора школы.

Я своими ушами слышал, как директор школы ему сказал:

— Предлагаю ничью.

И Ханав ответил:

— Отказываюсь. Партия моя.

И выиграл!

Я из-за этого даже напугался. Говорю Ханаву:

— Эх, сглушил ты. Взял бы и поддался.

А Ханав только пожал плечами:

— Как это — поддался? Зачем? У нас была честная спортивная борьба.

Однажды Ханав пропустил два урока — в магазин бегал за клеем «БФ». И директор дал ему взбучку. Тогда я и сказал Ханаву:

— Говорил тебе, поддайся!

И опять он строго посмотрел на меня, будто я в чем-то провинился.

Трудно было дружить с Ханавом...

Интересно, даст ли он мне теперь деньги?

Я вошел в дом, поднялся по лестнице на второй этаж и сразу увидел Ханаву. Он колдовал над своим набором «Юный химик». Горло у него было завязано.

— Кажется, у меня стрептококковая ангина,— сказал он.— Близо не подходи, а то заразишься.

Ангина — это понятно. Но почему она стрептококковая — я не знал. И наверное, никто в нашем классе не знал, кроме Ханаву.

Я не стал подходить близко. Еще перейдет ко мне в носоглотку эта чудная ангина — тогда лежи в кровати, принимай лекарства, как дурак.

Перед Ханавом стояла спиртовка, а над узким синеватым огоньком висела пробирка на проволоочном штативчике.

— Что там у тебя? — спросил я, чтобы начать разговор.

— Это — довольно сложное соединение,— важно сказал Ханав.

В пробирке, пенясь и побулькивая, кипела какая-то коричневая масса.

— Долго будешь варить?

— Долго. Пока не произойдет реакция.— Ханав вытащил из-за спины свежий «Огонек». — Слушай: может, ты знаешь детскую игру из шести букв?

— Футбол,— не задумываясь, ответил
— Это игра вневозрастная.
— Альчики?
— Семь букв,— в одну секунду сосчитал Ханав.— Не годится.

— Трость! — сказал я.
— Трость? — удивился Ханав.
— Мне сейчас не до игры,— сказал я.— Я сломал дедушкину трость и еду в Унцукуль, чтобы купить новую. Дай мне, пожалуйста, денег займа...

В ту секунду, когда я заговорил о деньгах, в пробирке что-то забулькало, зашипело, и коричневая масса понеслась к горлышку.

— Э-эй,— сказал я, не спуская глаз с пробирки,— сейчас она взорвется...

Трах-тах-тах! Она взорвалась.

Я закрыл лицо руками и согнулся, пряча голову. Комнату заволокло вонючим дымом. Он щекотал горло и жег глаза.

— Ты жив? — спросил я Ханава, с трудом отдышавшись.— Ну, говори, жив?

Никто не откликнулся. И ничего не было видно — ни Ханава, ни его спиртовки, ни кроссворда, в котором осталась неразгаданная детская игра в шесть букв.

— Ханав! — закричал я в страхе.

— Что тебе? — тихо спросил он, будто джинн появляясь из облака дыма.

— Это была реакция?

— Нет.

Лоб, нос, щеки — весь Ханав был коричневый. Наверно, от этой дряни, что еще недавно булькала в пробирке.

— Сейчас умоюсь,— сказал он,— потом снова попробуем.

— Как это — попробуем? — испугался я.

— Я изобретаю новый тип пасты для шариковых авторучек,— объяснил Ханав.— Посмотри в углу, там, кажется, есть пробирка...

«Он хочет, чтобы я помогал ему варить эту пасту? — с ужасом подумал я.— Теперь мы так легко не отделаемся. Все взорвется — и дом Ханава, и аул, и Талоколо-гора!»

— Слушай, дай мне деньги. Я лучше уйду,— жалобно сказал я.

— Какие деньги?

— Я же говорил: в Унцукуль мне надо, трость дедушке купить.

— Хорошо.— Ханав порылся на этажерке, достал шесть рублей и протянул мне.— А то помоги? У меня проволоки нет, чтобы сделать другой штативчик. Ты только поддержи пробирку, а я...

— Не могу. В другой раз! — И я скатился по лестнице.

Подбегая к машине, я думал: «Правильно говорит сторож Расул: из Ханавы действительно получится большой ученый. Если, конечно, он раньше не взорвется».

ЧТО БЫЛО, КОГДА МЕНЯ НЕ БЫЛО

И вот мы едем. Камиль крепко держит руль, зорко смотрит на дорогу. Я гляжу по сторонам и думаю о разных вещах. О Халиме, который сейчас наверняка уплетает мед. О дедушке и бабушке, которые, может быть, уже встретили Петровича. О Ханаве, который, видно, сварил в этот миг свою пасту для шариковых авторучек. О самолетах, что летают в небесах...

Хорошо качаться на пружинистом сиденье и думать обо всем этом!

В небе опять гудит самолет. Обгоняя машину, он оставляет нам на память белый хвостик дыма.

Это—«Лишка». Так ребята зовут «ЛИ-2». А большие «ИЛы» мы кличем «Илками». Привыкли мы к самолетам. А бабушка — нет. Услышав гудение мотора в небе, она выходит на крыльцо, поднимает голову и прикрывает глаза ладонью — чтобы солнце не мешало.

— За облаками летают,— не то недоверчиво, не то восхищенно говорит она.— И почему они не падают? Увидели бы такую птицу наши матери и отцы — подумали бы: «Шайтан!»

Все ее удивляет...

А вот я нисколько не удивляюсь, когда вижу в нашем ауле кирпичные дома под шиферными крышами. Не удивляюсь, что

в школе построили спортивный зал и потолок там такой высокий, что я с трудом достаю его мячом. И электрические лампы в домах, и синий луч клубного прожектора, рождающий кино, и огромные самолеты, парящие в небе,— все это не кажется мне чудом.

Я гляжу вокруг и никак не могу себе представить, что было время, когда люди жили в холодных саклях, голодали, носили дырявую одежду, не хотели надевать кепки, боялись пайтана, не смели преступить законов адата, сидели вечерами при копилке и даже слыхом не слыхали о кино и самолетах.

Но так было — не станет же дедушка выдумывать! Я верю каждому его слову. Правда, иногда я не могу понять, почему было так, а не иначе. И тогда я снова торможу дедушку, засыпая его вопросами:

— Почему в ауле не носили кепки? Почему бабушка не могла идти с тобой под руку? Почему прекрасная Шумайсат должна была выйти замуж за противного Чупалава, если не любила его, а любила смелого Ахмэда?..

— Подожди, подожди,— останавливает меня дедушка.— Не все сразу. Знаешь горскую пословицу: «Нетерпение душу взяло, а терпение Казбек взяло»? А раз знаешь, тогда слушай меня внимательно. Сначала будет маленький рассказ о том, как в нашем ауле стали носить кепки, потом — рассказ чуть побольше: о том, как мы с бабушкой шли под руку. Ну, а если ты окажешься вежливым и не перебьешь меня, то услышишь и третий рассказ. Этот будет самый большой — о прекрасной Шумайсат, о противном Чупалаве и о смелом Ахмеде...

МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ О ТОМ, КАК В АУЛЕ СТАЛИ НОСИТЬ КЕПКИ

Не скажу, чтобы не нравилась мне папаха,— нравится! Особенно коричневая, длинного сура¹. Только хорошую папаху на дороге не найдешь и в лесу она не растет. Есть у тебя бараны — будет и папаха. Нет баранов — не будет папахи. Так было в давние годы.

¹ Сур — особый тип каракуля.

Я, конечно, и мечтать не смел о хорошей смушковой шапке — не до шапки, когда в доме каждое кукурузное зернышко на счету. Носил я старую свою, ту, что с германского фронта привез. Может, и не расстался бы с ней, если б не вызвали меня в Махачкалу, чтобы вручить орден Красного Знамени.

Получил я вызов и задумался: «Стыдно в городе Махача такую рвань носить!» И как только приехал — в магазин кинулся. Спрашиваю: «Есть ли недорогая папаха?» Отвечают: «Нету». Предлагают кепку. Я ее от себя отпихиваю: не нужпа, мол. А продавец говорит с укором: «Зря, товарищ, кепкой пренебрегаете. Сам Председатель Совнаркома Владимир Ильич Ленин кепку носит». Говорит он это и на карточку показывает. Вижу я: Ленин стоит, задумался, руки в карманы сунул, а на голове — кепка. «Давайте и мне», — говорю. Купил я эту кепку и отправился орден получать.

В городе на мою кепку никто внимания не обращал. В аул приехал — только о ней и разговору. Те, что религии придерживались, недобро на меня поглядывали: Магомед-де сегодня русскую кепку надел, а завтра в русскую веру перейдет. Дядю ко мне подослали. А старшим, ты знаешь, перечить нельзя!

Пришел ко мне дядя и говорит: «Стыдно, Магомед, дедовские обычаи забываешь. Выбрось ты эту кепку — шайтан ее делал!» Не хотел я спорить с дядей, только и сказал: «Стыдно должно быть кулакам — у них папахи бедняцким потом зарабатаны. А шайтана зря вспоминаешь. Сам увидишь, скоро и мулла кепку наденет!»

Насчет муллы, ясное дело, я пошутил. Но шутка-то былью обернулась. Иду я как-то по улице, а навстречу мне мулла: «Салам алейкум!» Отвечаю ему: «Ва, алейкум салам!» Гляжу, смотрит мулла на мою кепку с ужасом, словно змею увидел. «Что случилось, мулла?» — спрашиваю. «Вай, Магомед, бесовскую вещь нацепил на голову!» — и на кепку мою показывает. Тут и пришла мне на ум хитрая мысль: если мулла тысячу раз людей обманывал, почему бы и мне однажды его не обмануть? Поманил я его пальцем и шепчу на ухо: «Не бесовскую вещь ношу, а талисман. В такой кепке ходит самый мудрый человек на земле. Мне от кепки удача в жизни будет».

Ушел мулла. Не видел я его с месяц. Потом встретил: идет

в кепке, веселый такой, лицо жаром пышет, хоть чурек на нем пеки. «Салам алейкум!» — кричит. «Ва, алейкум салам! — говорю. — Ну что, мулла, стала тебе удача сестрой?» — «Стала, — отвечает. — Овцы хороший приплод дали. Пусть аллах продлит жизнь тому мудрецу, по примеру которого ты носишь кепку!» Я улыбнулся: «Не было у нас с тобой согласия. А теперь мне твои слова нравятся!» Наклонился мулла и спрашивает медовым голосом: «Будь другом, Магомед, скажи, где живет этот мудрец и как его зовут?» Я уже во весь рот смеюсь: «Живет он в Москве, а зовут его — Владимир Ильич Ленин!»

С тех пор в нашем ауле все носили кепки. Даже мулла с ней не расставался, удачи ждал. Только напрасно. Удача нашей сестрой стала — теперь уже навсегда.

РАССКАЗ ЧУТЬ ПОБОЛЬШЕ — О ТОМ, КАК ДЕДУШКА С БАБУШКОЙ СТАЛИ ХОДИТЬ ПОД РУКУ

Три войны я прошел. Но скажу по чести, с врагом порой легче сладить, чем с собой. Я это вот к чему: новую жизнь мы устанавливали, а жить по-новому сразу не смогли. И хоть носил я на голове кепку, похожую на ленинскую, из моей головы до конца старина не выветрилась.

Издавна считалось у горцев: мужчина — главный в доме. Воля его — закон. Что можно мужчине, того нельзя женщине. Когда мужчина говорит, женщина молчит. Когда мужчина ест, женщина ему прислуживает. Когда мужчина идет по улице, женщина плетется позади.

Поверь, не бедняки выдумали эти обычаи! Но нарушали их до революции немногие. Я любил Залмо и потому не унижал ее достоинство. Но это дома. Когда же я выходил на улицу, Залмо, как было заведено исстари, шла позади. Шашки наголо, признаюсь, не хватало у меня смелости, чтобы изменить такой порядок! И если это случилось, то по воле Залмо...

Мы в числе первых вступили в колхоз — я создавал его вместе с бегаулом Магомедмирзой и должен был подать пример другим. Работали на полях коммуны от зари до глубокой ночи, сил не жалели — впервые на себя работали! И отблагодарила

нас земля щедрыми плодами. Когда подсчитали урожай, вышло, что столько пшеницы и кукурузы никто еще в наших местах не собирал.

Приехал из Махачкалы фотограф — меня с Залмо снимать для газеты. Поставил нас на солнышко и говорит: «Повеселее лица!» А мы — то ли оттого, что никогда не снимались, то ли оттого, что люди со всего аула собрались и на нас глядят, — застыли, словно каменные. Ни двинуться не можем, ни улыбнуться. Наконец получилось. Доволен фотограф, сделал снимок.

Вдруг еще что-то придумал, обрадовался, даже языком зацокал: «Ай-яй-яй! Почему вы отвернулись друг от друга? Товарищ Магомед, возьмите жену под руку».

Послушался я фотографа, сделал, как он сказал. Сделать-то сделал, а сам оправдываюсь: «Не осудят меня люди, коли слышали просьбу фотографа. Гостя нельзя не уважить».

В общем, сняли нас на новую карточку. Уехал фотограф. Через несколько дней приходит в аул газета. Гляжу — есть снимок! И все как было: стоим мы с Залмо, улыбаемся, под ручку держимся! Правда, в жизни мы румяные, свежие, а тут — серые, вроде под дождем. Но — ничего, похоже все-таки! Рядом с нашим еще один снимок: Калинин речь говорит. Заметил я такое соседство, и гордость во мне поднялась: «Значит, не простые мы с женой люди, если нас поблизости от Калинина посадили!»

Прошел день или два, собрались мы с твоей бабушкой в гости. Вышел я на улицу, а Залмо, как водится, сзади. Вдруг говорит она: «Ва, мужчина, даже Калинин знает, что мы под руку ходим. Значит, Калинин ты одно, а людям — другое? Выходит, всем ты угодить хочешь — и Калинин, и фотографу, и тем, кто на страже адата стоит!» Я даже остановился, услышав такое. Шашки наголо, жестокую правду сказала моя Залмо! Ничего я не ответил, только подождал, пока она подойдет, и взял ее под руку.

Идем по аулу, а люди нас взглядами обжигают. Кто молча посмеивается, а кто карой аллаха грозит. И чем дальше, тем труднее мне идти. А Залмо словно чувствует это. Говорит мне: «Мужчина, ты на фронте смерти не боялся. Неужели грязные языки страшнее пули?»

И тогда упала с моего сердца тяжесть. Поднял я голову, по-

крепче взял Залмо за руку, и зашагали мы вперед, не думая о злых взглядах, не слыша злых слов...

Шапки наголо, люди называли меня смелым Магомедом, но бабушка твоя — трижды смелая Залмо!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАССКАЗ — О ПРЕКРАСНОЙ ШУМАЙСАТ, О ПРОТИВНОМ ЧУПАЛАВЕ И О СМЕЛОМ АХМЕДЕ

Давно это было. Но не так давно, чтобы люди забыли о прекрасной Шумайсат, о противном Чупалаве и смелом Ахмеде. Жизнь не песок, а память не вода, что уходит бесследно.

В нашем ауле издавна жила семья Хазамиловых. Я был бедняком, а Хазамиловы — бедняки и перед бедняками. Одна отрада — росла у них дочка Шумайсат, девушка несравненной красоты.

Что нежнее зари? Что темнее ночи? Румянец на щеках Шумайсат нежнее зари! Глаза Шумайсат темнее ночи! Чохто¹ не могло сдержатъ густых ее волос — две рыжеватые косы горными ручьями падали на спину. Когда она пила, было видно, как вода переливается в горле — такой тонкой и прозрачной шеей наделила природа прекрасную Шумайсат. Не мудрено, что молодой и смелый Ахмед, раз увидев девушку, навечно потерял покой...

Вышло так, что Ахмед вскоре ушел из аула. Решил он отправиться на нефтяные промыслы в Баку, чтобы заработать денег. Без них не было смысла и свататься к Шумайсат — родители не отдали бы.

А прекрасная Шумайсат в разлуке с любимым плакала ночи напролет, молила аллаха, чтобы Ахмед вернулся с удачей.

Однажды отец послал ее в поле за травой. По дороге девушку нагнал всадник. Это был богач Чупалав, живший в другом ауле. Он сидел в седле, украшенном серебром. На ремне, словно солнечный луч, блестели золоченые ножны, а рукоять кинжала сияла набором драгоценных камней. Шумайсат отошла

¹ Чохто́ — накидка, которая наглухо прикрывала волосы; ношение чохта считалось признаком благопристойности.

на обочину, чтобы пропустить всадника. Но Чупалав, разглядев девушку, не спешил уезжать. Он осадил коня и сказал: «Увидев тебя на лугу, я бы подумал: это цветок — и сорвал бы!»

Долго он выпытывал имя девушки, но она не заговорила с ним. А вечером, сидя у окна, Шумайсат жаловалась аллаху на свое одиночество и беззащитность. И потихоньку, чтобы никто не услышал, пела:

Вы, тучи, летите к орлу моему,
Как горько мне жить, расскажите ему.
Как жду не дождусь я счастливого дня,
Когда унесет он на крыльях меня...

Но громкое ржание коня и стук ворот прервали тоненькую нитку песни. В полутьме двора Шумайсат разглядела Чупалава, который, не постучав, гремя сапогами, вошел на половину родителей. Девушка прислушалась: из нижней комнаты доносился властный голос Чупалава. Он просил, чтобы ему отдали Шумайсат. И отец не решился отказать богачу. Обрадованная мать поспешила подняться к дочери: «Взошло солнце над нашим домом!» Шумайсат зарыдала. Тогда мать рассердилась: «Ты должна вечно благодарить аллаха, что такой богач, как Чупалав, берет тебя в жены! Что плачешь? Чем умирать с голоду в бедняцкой сакле Ахмеда, лучше есть сахар и спать под шелковым одеялом в хоромаш богатого рода Чупалава!»

А сахар, скажу тебе, в старину был на вес золота — только в богатых домах его и видели...

Бедная Шумайсат! Она кинулась на грудь матери и, заливаясь слезами, говорила и говорила одно и то же. Что она любит Ахмеда. Что готова жить с ним в пещере, готова голодать, лишь бы не идти к немилому. Но мать стыдила ее: «Где ж это видано, чтобы дочь поступала наперекор отцу? Отец дал слово Чупалаву, и никто не заставит его нарушить обещание».

Семь дней Шумайсат не ела, не спала. Говорят, только и делала, что сидела у окошка, смотревшего на восток, — там Баку, там живет ее любимый. Она верила, что тучи донесут до Ахмеда страшную весть и он поспешит в аул, чтобы тайно увезти ее из дому.

А Чупалав уже одаривал свою невесту. Каждый день в доме

Хазамиловых появлялись новые и дорогие вещи — отрезки шелка, серебряные украшения для женщин, бараньи шкуры... Не было счета подаркам богача! Многие аульские девушки завидовали Шумайсат, словно эхо повторяли слова ее матери: «Взошло солнце над домом Хазамиловых! Их дочь должна вечно благодарить аллаха, что Чупалав снизошел до нее! Будет в масле кататься и шелком укрываться!»

Но что радости в богатстве, если нет любви? Не высохали слезы на глазах Шумайсат. Думала она, горюя: «Неужели нет на свете человека, который бы помог мне?»

На восьмой день друзья Чупалава вывели девушку из дома, усадили на коня и повезли к жениху. Ехать надо было мимо реки. Что думала Шумайсат, когда, окруженная людьми Чупалава, покидала родной аул? Что творилось в ее сердце? Не мне знать. Но зато я знаю, что случилось потом. У реки она обратилась к спутникам: «Позвольте мне напиться в последний раз, чтобы я на чужбине помнила вкус родной воды». Люди Чупалава сняли с девушки покрывало, и она медленно пошла к реке. На берегу Шумайсат остановилась, обвела долгим и печальным взглядом горы, небо и деревья. Верно, она прощалась с миром, где не видела ничего, кроме горя и людской черствости. Не успели приспешники Чупалава опомниться, как она бросилась в реку. Черная вода подхватила ее и унесла...

Дедушка закрыл глаза. Он тоже печалился из-за смерти Шумайсат. Посидев так чуточку, он медленно и тихо заговорил:

— Ты хотел услышать, как в нашем ауле стали носить кепки, как мы с бабушкой шли под руку, как погибла прекрасная Шумайсат, предпочтя смерть жизни с постылым богачом? Ты узнал это...

Слушая первые два рассказа, я улыбался. Ловко дедушка поддел муллу! А бабушка-то — какая она смелая и мужественная, я даже не думал! Но последний рассказ стер улыбку с моего лица. Что за страшное время было тогда, когда меня не было! Я представил себе на месте Шумайсат мою старшую сестру, Фари. Ей восемнадцать лет, и она дружит с трактористом Шамсудинном. Этот Шамсудин — замечательный человек. Его портрет в нынешнем году вывесили на колхозной Доске почета. Но

я уважаю его не только за это: здорово у Шамсудина фокусы со спичками получаются!

В общем, если Фари сойдет за Шумайсат, то Шамсудин — это Ахмед. Кого же сделать Чупалавом?

Однажды бабушка рассказывала: «Махмуд из продовольственного магазина совсем стыд потерял. Каждый день домой продукты тащит. Разбогател на народном добре». И вот теперь я решил, что лучшего Чупалава, чем Махмуд, просто не придумаешь. Будет Махмуд противным Чупалавом!

Значит, сначала Шамсудин уезжает, — ездил же он весной в Махачкалу поступать в институт. Потом Фари идет в магазин, чтобы купить сахару или конфет. Я знаю: она любит больше всего барбариски. А в магазине мою сестру замечает богач Махмуд. Что он богач — это сразу видно: на руке у него золотые часы и во рту штук десять золотых зубов. И вот Махмуд, забыв, что за Фари стоит целая очередь, смотрит на нее и не может оторваться. «Быстрее отпускай!» — кричат ему из очереди. Но Махмуд уже влюбился. Он наклоняется к Фари и говорит: «Увидев тебя на лугу, я бы подумал: это цветок — и сорвал бы!»

Но Фари, конечно, думает только о своем Шамсудине. Она сидит у окна, поглядывая на самолеты, летящие в Махачкалу, и тихонько поет:

Вы, «ИЛы», летите к орлу моему,
Как горько мне жить, расскажите ему...

Она поет и поет, а в это время подъезжает зеленый «газик» из райсельпо и к нашей калитке подходит богач Махмуд...

Я все очень хорошо себе представил: и то, как Шамсудин уехал, и то, как Фари пошла в магазин за барбарисками, и, наконец, то, как Махмуд прибыл на «газике», чтобы выпросить себе в жены мою сестру. Но дальше вышла заминка. Я не мог поверить, что папа польстится на Махмудово богатство, а мама начнет хвалить Махмудов сахар. Да если б так и случилось, все равно Фари не пошла бы за Махмудом!

Тогда я решил не думать об этом, а просто перейти к тому дню, когда Фари под покрывалом увозят люди Махмуда. А люди Махмуда известно кто: пьяница Шагав, потом кривой Омар, что работает в чайной. И вот они везут мою сестру по берегу

реки, и Фари печально смотрит на нашу колхозную электростанцию — она прямо тут же стоит, у реки, — на трактор, который идет по полю и которым управляет не Шамсудин, а его товарищ Курб́ан, на самолеты, гудящие в небе. Она прощается со всем этим и падает в черные воды. Поток несет ее, а она кричит людям Махмуда: «Я предпочла смерть жизни с противным продавцом. А вы за все ответите!..»

Я даже вздрогнул, когда представил себе это.

— Дедушка, ты не видел Фари? — спросил я. — Где она?

— Где же ей быть, как не на ферме. У них сейчас дойка.

— А Шамсудин?

Дедушка удивленно посмотрел на меня.

— Зачем тебе Шамсудин понадобился? Может, дома сидит, а вернее всего, около Фари крутится.

— А Махмуд, который в магазине работал?

Тут дедушка совсем удивился. Даже плечами пожал: это еще зачем? Но все-таки ответил:

— Вором оказался Махмуд. На чужое добро позарился. А народ терпеть не стал: отдали вора под суд и отправили куда надо.

«Как хорошо, что сейчас все получается по-другому!» — подумал я.

Мне хотелось выскочить на улицу, но дедушка вдруг сказал:

— Я думал не только рассказать тебе о прекрасной Шумайсат, но и показать ее.

— Так она же умерла?

— Умерла, — согласился дедушка. — Но тот, кто любил девушку, возродил Шумайсат. Ну-ка, собирайся, да пойдем.

Я ничего не понял. Но раз дедушка зовет — надо идти. И я стал собираться...

Бабушка почти совсем не верит в бога — это дедушка ее отучил. Но аллаха она поминает часто. И бесов тоже. Однажды корова сшибла ногой кувшин, который бабушка брала вместо подойника, и молоко разлилось. Тогда бабушка пригрозила корове: «Чтоб тебя бесы забрали!»

Раньше я часто баловался, не слушал бабушку, и она ругала меня: «Подожди, отведу тебя в ущелье бесов, там тебе не сладко будет!»

Почему ущелье называется ущельем бесов — не знаю. Я спросил об этом у бабушки. Немного подумав, она ответила: «Давным-давно, еще при старой власти, в ущелье жили бесы».

Дедушка говорит, что никаких бесов нет, про них все муллы выдумали. Даже Халим в них не верит. Если бабушка грозит ему: «Подожди, отведу тебя в ущелье бесов!» — он смеется: «Отведи. Там есть речка, я сделаю запруду, и все бесы утонут». И бабушка, удивляясь смелому ответу Халима, всплескивает руками: «Нынешние дети ничего не боятся — ни бесов, ни ангела смерти Азрайла! Что с ними делать?»

И вот дедушка ведет меня в ущелье бесов. Мы выходим из аула, поднимаемся узкой каменной тропинкой, проложенной в обход Талокколо-горы, и вдруг ныряем в узкую горловину тоннеля.

— Далеко еще? — спрашиваю я.

— Нет, близко, — отвечает дедушка.

Он шагает легко, уверенно, и я с трудом поспеваю за ним.

Я никогда не забирался так далеко от аула. И по этой тропке не ходил. И не видел тоннеля, ведущего в ущелье бесов. Когда шагаешь этим тоннелем, кажется, забрался в колодезь: над головой нависают темные подбородки скал, и не верится, что где-то за их толщей есть солнце и небо.

Но вот узкий и темный тоннель позади. Свет бьет в глаза, и в первое мгновение я ничего не вижу.

— Что отстаешь? — торопит дедушка. Он стоит у железного моста, перекинутого через глубокое ущелье. — Пришли... Гляди, вот дорога в аул, а мы коротким путем шагали напрямик. Там дальше остатки старого моста...

Я стараюсь разглядеть опоры старого моста, торчащие черными пальцами у самого обрыва, и вдруг останавливаюсь, пораженный: я вижу Шумайсат!

Это Шумайсат, вытесанная из камня! Она будто живая — такой ее описал дедушка: длинные косы падают на плечи, сдержанное покрывало освобождает высокий лоб и красивый нос с горбинкой, правая рука поднята в прощальном жесте...

— Она похожа на Фари, — вырвалось у меня. — А кто сделал это? — Я кивнул на скульптуру.

— Ахмед. Он вернулся из Баку вскоре после гибели Шу-

майсат. В ауле не остался, ушел в горы и стал абрэком. Богачи дрожали, услышав его имя. Словно ветер носился Ахмед — от вершин Цўнте до ущельев Ахв́аха, от крепости Арáни до горы Шиши-ли́ка. — Дедушка поднял голову. — Я встречал Ахмеда в годы гражданской войны. Я видел его схватку с Чупалавом. Он дрался, как барс, и Чупалаву не помог ни арабский скакун, ни сабля из дамасской стали. Только после победы Советской власти Ахмед вернулся в родной аул. Жил как все. Потом стал уходить в это ущелье. До поздней ночи разносился стук его молотка. Так продолжалось пять лет. Люди говорили: «Он помешался». Но ум Ахмеда не замутился.

Однажды он пришел на годекан и обратился к юношам: «Идемте, поможете мне, молодцы!» И молодежь пошла в ущелье вместе с Ахмедом. Там, около одной из пещер, стояла вытесанная из камня фигура горянки. Люди изумились, увидев ее: «Шумайсат воскресла!» И правда, руками Ахмеда двигала любовь, и любовь помогла мастеру оживить камень. Скажи, разве Шумайсат не жива?

Когда скульптуру поставили у нового моста, Ахмед сказал, обращаясь к юношам: «Моя Шумайсат не могла разорвать пути адата, так пусть она теперь вечно приветствует светлую жизнь горянок!..»

Я глядел на прекрасное лицо Шумайсат и, вспоминая придуманную историю с Фари и Махмудом, размышлял: «Если б ты жила сегодня, никто бы не посмел отнять у тебя свободу и любовь!»

Обратно мы шли медленно. Дедушка думал о своем, а я — о своем. А может, мы думали об одном. Внизу показался Багда, и дедушка обернулся ко мне.

— Вам, молодым, иногда кажется, что все это появилось само собой, как грибы после дождя. — Он поднял руку и показал на нашу школу, на новые дома аула, на здание колхозной электростанции. — За каждый нынешний день мое поколение заплатило тысячами смертей, кровью и потом. Не за пляски давали нам ордена, нет, не за пляски!..

Все это вспомнилось мне сейчас, когда мы с Камилем ехали в Унцукуль. Следуя виткам дороги, машина шла то вправо, то влево. Места были незнакомые и не очень интересные: бурые

скалы с подтеками влаги на боках, глинистые красноватые осыпи, крутые обрывы, огражденные полосатыми столбиками.

Я ждал, что появится тоннель, которым вел меня дедушка. И он скоро появился. Только что было светло, и вдруг словно шапка упала мне на глаза — это мы нырнули в прохладную темноту тоннеля. Темнота длилась один миг, а потом опять стало светло. Какой он маленький, тоннель, если едешь на машине!

Где-то за тоннелем был мост и фигура прекрасной Шумайсат, вытесанная из камня смелым Ахмедом. Мне хотелось еще раз взглянуть на нее, и я попросил Камиля, чтобы он остановился.

— Нельзя. Мы и так опаздываем.

— Ну хоть на минутку!

И все-таки я упрямился. Когда машина стала, я слез с сиденья и побежал к скульптуре. Мы с дедушкой были здесь весной, и лицо прекрасной Шумайсат, я помню, показалось мне печальным. Сейчас печаль куда-то пропала — девушка смотрела на меня строго, пытливо, будто ей стал известен мой проступок.

Опустив голову, я возвратился к машине.

— Законная скульптура, — сказал Камиль. — Оценили ее недавно и в балансовую ведомость внесли. На тысячу рублей потянула!

Я не ответил Камилю. Мне почему-то стало обидно за Шумайсат, за Ахмеда, за дедушку, который подарил мне грустный и красивый рассказ. При чем здесь балансовая ведомость? Зачем нужно было обязательно оценивать скульптуру в рублях? И вообще, что это Камиль все время говорит о деньгах?

А строгая Шумайсат уже скрылась из глаз. И новый мост, ответив машине гулким пружинистым эхом, тоже остался позади.

СХВАТКА У РЕКИ

В каждой профессии есть свои тайны и своя отвага. Так говорит дедушка. Раньше я не соглашался с ним. Ну что сложного в отцовской работе? Надо косить траву на сено — дал распоряжение, и вся бригада берется за косы. Надо убирать

картошку — только прикажи, и вся бригада убирает картошку. А у мамы, которая работает в аульской аптеке? Придут к ней с рецептом, выдаст она лекарства, сунет деньги в ящичек — всего и дела!

Так я рассуждал. И наверное, неправильно.

Я считал, что стоит только захотеть — и станешь трактористом, как Шамсудин, или инженером, как дядя Наби, или космонавтом, как Гагарин!

А в жизни все по-другому выходит. Вот шофер Камиль — как он знает свое дело!..

Глаза его ловят каждый изгиб дороги. Чуткие руки, кажется, срослись с рулем. Ногам тоже не до отдыха — у них все рассчитано: когда нажать на тормоз, когда на газ. И все тело шофера, следуя за глазами, руками и ногами, то стремится вперед или в сторону, то расслабляется или напрягается, будто Камиль помогает машине поворачивать, скользить над пропастью и брать подъемы.

У меня вырывается:

— Здрóрово!

— Десять лет за рулем, — говорит Камиль, самодовольно усмехаясь. — Весь Дагестан на шины намотал...

Внизу сквозь расщелины порой мелькают быстрые воды Чалды. Они отливают вороненой сталью, и когда долго смотришь на них, становится беспокойно.

А дорога все уже и уже. Отец рассказывал мне, сколько сил пришлось потратить, чтобы выдолбить в скалах даже этот узкий проход. Вместе с другими колхозниками отец помогал тогда строителям. Они били камень кирками, долбили его отбойными молотками, рвали аммоналом. И еле-еле отвоевали у скал четырехметровый карниз.

Как раз тут, около Чалды, есть места, где две встречные машины не могут разъехаться — тесно. На таких участках Камиль долго сигналил: берегись, становись на обочину, подожди!

Но машин из Унцукуля пока нет.

Мы едем над самой рекой.

Скалы на той стороне пропасти выстраиваются, словно полк перед битвой. Вот те три вроде бы звери — волк с раскрытой пастью, гривастый лев и орел. Непонятно только, почему у орла

одно крыло. Следующие две скалы точь-в-точь старики на годекане — наклонились друг к другу и беседуют. Но большинство — просто скалы, просто горы сероватого камня...

Насытившись их видом, я покрепче хватаюсь за скобу у ветрового стекла и, вытянув шею, заглядываю вниз. Сразу за кромкой дороги — пропасть. В глубине ее ревет и пенится река.

Холодок испуга подкрадывается к сердцу, и я быстро отстраняюсь от окошка. Страшно ехать над пропастью. Зазевается шофер или чуть сильнее повернет руль, и пошла машина под откос! С такой высоты грохнешься — в лепешку расшибешься!

Я прижимаюсь к Камиллю. А он улыбается: должно быть, заметил мой страх. Чтобы подбодрить меня, он начинает напевать какую-то песню. Я прислушиваюсь: мотив знакомый, а слова новые.

Вот что поет Камилль:

Эх, путь-дорожка над горами,
Ошибешься — окажешься в яме.
Но помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!

По душе мне сейчас эта песня!

Спокойствие и уверенность Камилля прогоняют из груди холодок испуга. И, словно испытывая себя, я снова и снова поглядываю на крутые склоны ущелья, на острые зубцы скал, очерчившиеся в безмолвной злобе, на бурливые воды Чалды подомной. Честное слово, теперь я без боязни измеряю взглядом глубину пропасти!

Я подпеваю Камиллю:

Эх, путь-дорожка над горами,
Ошибешься — окажешься в яме...

Я смотрю на Камилля и завидую ему. Не потому, что он день и ночь может кататься на машине. Завидую я его ловкости и отваге. Не каждый сумеет так ловко и отважно ездить по нашим горным дорогам! Я бы не смог...

Но помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!

И как только я заканчиваю песню, мне вспоминается родной аул. Что делают сейчас бабушка и дедушка? Забыли обо мне или беспокойно говорят: «Как бы с Сайгидом беды не было!» Даже о Халиме я думаю без прежней злости. Конечно, он жадный и ябедничать любит, а все-таки мой брат! И напрасно я хотел от него отречься: он меня любит! Когда мы с Мусой чуть не подрались из-за Ханава — он Ханава «очкариком» называл, — Халим, хоть и маленький, Мусы не испугался, подбежал к нему, толкает и кричит: «Не трогай моего брата, а то плохо будет!»

Был бы я сейчас рядом с Халимом — пальцем бы не тронул.

Быстро едет Камиль — быстрее нельзя. Но мне все равно хочется поторопить его. Что, если я не успею до вечера встретиться с Устарханом, купить трость и возвратиться обратно? При одной мысли об этом я готов спрыгнуть на дорогу и бежать в Багда.

— Сейчас Белые горы, — говорит Камиль. — Потом долина. За долиной Чертов мост. А как мост переедем — тут и Унцукуль неподалеку.

Я говорю машине: «Быстрее! Быстрее!», и, наверное, поэтому она вскоре добирается до гор, обещанных Камилем. Они и вправду белые-белые, будто сделаны из овечьего сыра.

Но Белые горы уже кончаются. Машина круто поворачивает и, проскочив мимо двух высоких скал, похожих на мотыги, въезжает в долину.

Однажды я смотрел в клубе кино про Ивана Грозного. Там сначала все было черным и белым, а потом вдруг стало многоцветным. Так и сейчас получилось: эта долина вроде цветного кино. Даже глазам больно от красок: сады розовые, луга зеленые, поле, засеянное кукурузой, отликает золотистой желтизной. Красиво!

Я замечаю светлые домики, стоящие с правой стороны. Их черепичные крыши чуть виднеются в зелени густых чинар.

— Это что за поселок?

— Нет у него названия, — говорит Камиль через плечо.

— Тогда пусть будет: «Поселок без названия». Хорошо?

Но Камиль будто и не слышит моей шутки. Чем ближе мы подъезжаем к домикам, тем он беспокойнее. Он то и дело про-

тирает ветошью стекло, вертится на сиденье, впиваясь взглядом в дорогу.

— Пассажиров-то не видать, — бормочет Камиль.

И я слышу в его голосе разочарование.

Но пассажиры все-таки появляются. Из крайнего домика, видимо заслышав гудение мотора, выходит мужчина с большим хурджином в руках. За ним торопится старушка — она в длинном платье, черный платок облегает голову, как шлем.

Камиль удовлетворенно вздыхает. И когда мужчина с хурджином, выбравшись на дорогу, поднимает руку, он резко тормозит.

— Салам алейкум, друг! — еще издали кричит мужчина. — Далеко едешь?

— Ва, алейкум салам! — скороговоркой откликается Камиль, и у него выходит: «Валкумсам». Потом он медленно и по-хозяйски спрашивает: — Тебе куда?

— В Иргани. Знаешь?

Камиль кивает. Я разглядываю мужчину, облокотившись на раму. Он черноволос, худощав и чем-то напоминает дядю Наби. Следом подходит старуха в черном платке. Но рассмотреть ее мне не удастся, потому что Камиль указывает мужчине на кузов, и тот, засуетившись, подхватывает старуху под мышки, помогая ей взобраться наверх.

— Сели? — спрашивает Камиль.

Мужчина оборачивается. Смотрит он почему-то не на шофера, а на меня. Странно он смотрит: похоже, за что-то укоряет.

— Езжай, — говорит он наконец Камилю и, перебросив хурджин в кузов, прыгает на скат.

И вдруг я начинаю понимать, что хотел объяснить мне взглядом наш пассажир. Он хотел сказать: ты, как князь, расселся в кабине, а старой женщине придется трястись в кузове.

И он прав: это несправедливо!

— Слушай, Камиль, — быстрым шепотом говорю я. — Пусть та женщина садится в кабину, а я поеду в кузове...

Но шофер резко захлопывает дверцу, которую я успел открыть.

— Сиди смирно. Я знаю, что делаю.

Ну что произошло? Что случилось? Ничего страшного, обычная дорожная встреча, обычный разговор. Камиль взял двух пассажиров; это его машина, и он кого хочет, того и берет. Камиль не разрешил мне поменяться местами со старой женщиной — и тут его воля: я его гость, он знает меня с малых лет, а старая женщина ему никто — поздоровался и забыл...

Так я уговариваю себя. А что толку — не помогают уговоры! Я изо всех сил защищаю Камиля, и чем больше я его защищаю, тем обиднее кажется мне все, что произошло сейчас у светлых домиков. Эта обида сильнее меня. Я не могу с ней бороться. Она потихоньку накапливается в груди, занимая все больше и больше места, и скоро я наполняюсь ею, как бабушкин кувшин во время дойки.

Мы катим и катим. Долина уже позади. Мотор ревет, задыхается: ему тяжело везти нас в гору, и Камиль, как прежде напружинивая тело, помогает машине. Но теперь я не восхищаюсь его зоркими глазами, умелыми руками и сильными ногами. Не хочу восхищаться. Если б он вез пассажиров бесплатно! Если б усадил старую женщину в кабину! Тогда другое дело. Но бесплатных пассажиров он бы не взял, ему деньги подавай! Может, и с меня запросит...

Дорога вьется между скал, потом неожиданно вырывается на простор. И тут я вижу мост. Кажется, Камиль назвал его Чертовым мостом. Откуда это название? Понятно, почему нашему ущелью дали имя — Ущелье бесов. Оно глубокое, темное, так и видится, как во мраке копошатся мохнатые и обязательно зеленые чудовища. А тут мост и мост — на двух опорах, с перильцами. Нет в нем ничего страшного.

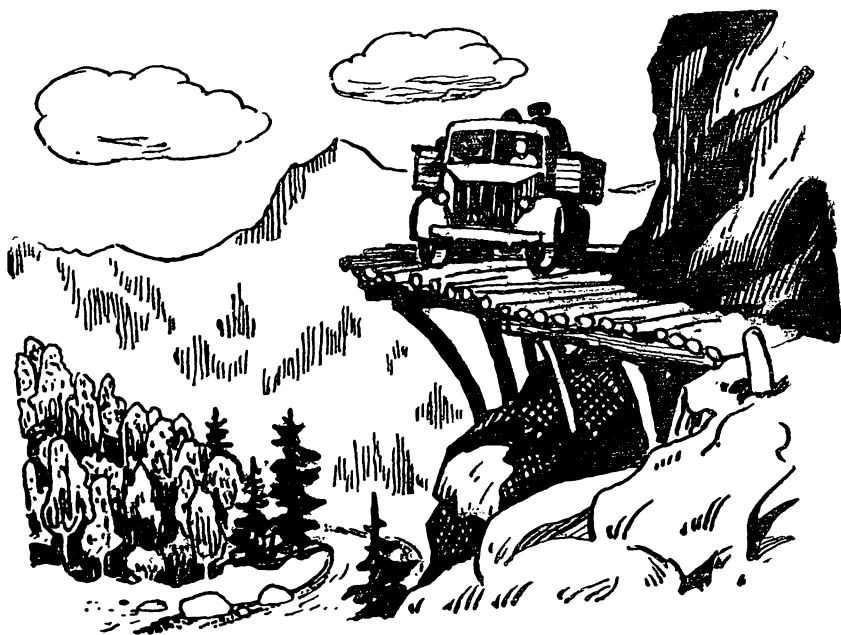
Было б это раньше, я бы спросил у Камиля: «Почему мост называли Чертовым?» Теперь я сам нахожу ответ: «Его так калымщички называли. На мосту-то пассажиров не найдешь».

— Что улыбаешься? — ровным голосом спрашивает Камиль.

— Так просто.

Больше я ему ни слова не сказал. А зачем? Ведь не мог же я признаться, что смеюсь над ним.

А может, надо было сказать? Пусть бы делал что хотел, а я бы выложил всю правду: «Ты нечестный человек. Нет у тебя сердца. Я с тобой не буду дружить!»



«Скажешь ему, а он как даст! — думаю я, смотря на мускулистые руки Камиля. — Лучше с ним не связываться».

Под мостом сталкиваются две реки: Красная, берущая начало из Казй-Кумұха, и Аварское Койсұ — она течет со стороны нашего аула. У Красной реки вода розоватая, а в Аварском Койсу — серая. И вот два потока, похожих на живую радугу, долго идут рядом, не смешиваясь и не меняя своего цвета. Только достигнув порогов — вон они где, — розовая вода Красной реки растворяется в серой воде Аварского Койсу...

«Он сам по себе, а я сам по себе», — думаю я о Камиле и не могу оторвать взгляда от двух стремительных потоков — красного и серого.

Но мост кончается, и мы снова едем между скал. Проходит несколько минут — кончаются и они. Теперь машина огибает крутую гору, идя по узкому карнизу. И вдруг я замечаю: дорога под колесами странно волнуется, подрагивает. Я выглядываю в окно, чтобы понять, в чем дело. «Вай!» — хочется крикнуть мне, но крика не получается. Язык мой, как утром перед

дедушкой, недвижим, скован ужасом. Мы едем по бревенчатому настилу, который висит над пропастью маленьким козырьком! Что там дорога у Чалды — чепуха! Тогда пропасть была сбоку, а сейчас она под нами. А вдруг бревно выпадет из звена?

Я бессильно отваливаюсь на сиденье и закрываю глаза. Картины сегодняшнего дня, сменяя друг друга, несутся передо мной. И вижу я почему-то лишь неприятное. Как Халим сует мне в руку дедушкину трость. Как я валяюсь в овраге. Как дедушка, глядя на меня, ухмыляется: «Я ж тебе не Сайгид!» Как я не мог найти в себе смелости, чтобы признаться во всем. Как я плакал, шагая к окраине аула...

«Если мы не упадем — все будет по-другому! — повторяю я про себя как клятву. — Я буду честным и смелым!»

Дорога под колесами уже не дрожит и не волнуется. Я поднимаю голову, и первое, что бросается мне в глаза, — лоб и щеки Камиля, усеянные крупными каплями пота.

— Ух... — устало вздыхает шофер. — Проклятое решето!.. Верить ли, — Камиль оборачивается ко мне, — каждый раз, когда подкатываю к этому месту, сердце стучит, как мотор без смазки...

Я с трудом перевожу дыхание.

Надо бы ободрить Камиля. Надо сказать, что я понимаю, как трудно вести машину по такой дороге, а это бревенчатое решето — сумасшедшее место, тут бы и дедушка мой спасовал.

Слова уже готовы сорваться с языка, когда мне снова вспоминается моя обида. Она не ушла, просто стояла в стороне; я забыл о ней, потому что был занят бревенчатым козырьком и своей клятвой. Но сейчас она опять тут, в груди!

Камиль вытирает локтем мокрое лицо, а я гляжу на него и, накапливая в себе злость, думаю: «Ты же все ради денег делаешь! Вот и попотей!»

На перекрестке машина останавливается. Камиль открывает дверцу и легко соскакивает на землю. Я слышу, как он говорит мужчине:

— Отсюда до Иргани рукой подать. Я бы довез, да боюсь, к вечеру на кутан не попаду.

Что отвечает мужчина, не слышно. Я пересаживаюсь на место шофера и высовываю нос наружу. Пассажиры уже со-

шли, и в ту минуту, когда я устраиваюсь поудобнее у окна, мужчина достает бумажник.

— Два рубля хватит?

— Спасибо и за это, — говорит Камиль, пряча деньги в карман.

Так я и знал — он за деньги пассажиров вез! Дрянной калымщик! Попался бы ты дедушке — он бы тебе дал взбучку!

Я втискиваюсь в угол кабины. Мне хочется стать маленьким-маленьким, чтобы Камиль меня не заметил. Или нет, лучше выскочить из машины и бежать, бежать без оглядки...

А я мечтал быть похожим на Камилля! Любовался его красивой работой! Оказывается, мощну он набивает еще красивее. Эх, если получится из меня шофер — ни за что на свете не возьму с пассажиров деньги, всех бесплатно буду возить!

Я оглядываюсь и вдруг замечаю у ветрового стекла фотографию Гагарина. Разве храброму космонавту тут место? Разве ему хорошо рядом с калымщиком? И недолго думая я прячу карточку за пазуху.

«Теперь скажи Камиллю всю правду! — приказываю я себе. — Если промолчишь — не выйдет из тебя честного человека! Калымщиком будешь. Махмудом будешь...»

А Камиль открывает дверцу и заносит ботинок на подножку.

«Махмудом будешь!» — мысленно кричу я себе и, содрогаясь от ужаса, что действительно стану проворовавшимся продавцом Махмудом, выскакиваю из машины.

— Не буду!.. — громко говорю я.

— Что с тобой? — удивляется Камиль.

— Я в Унцукуль пешком пойду.

— Ты что, бензина напилсь? Садись, поедем.

Я кладу руку на грудь, нащупываю жесткую открытку с Гагариным, и это придает мне новые силы.

— А почему ты старую женщину в кабину не посадил? — спрашиваю я. — Зачем деньги брал с пассажиров? Это не по-советски!..

— Эх, малек, что ты понимаешь? — говорит шофер. — Я к тебе всей душой, а ты ко мне кузовом. — Камиль становится на подножку. — Ладно, не будем ссориться...

И тут я начинаю понимать, что шофер меня боится.

— Хочешь, я тебе тоже заплачу? — кричу я запальчиво.

Камиль в один миг слетает с подножки. Я и глазом не моргнул, как он успел схватить меня за ухо.

— Только попробуй сказать об этом отцу или дедушке, — шипящим голосом говорит он. — Уши оторву!

Вот чего он боится!

— Скажу! Все равно скажу! — И чем мне больнее, тем громче я кричу: — Ты нечестный человек! Нет у тебя сердца! Я с тобой не буду дружить!

Шофер наконец отпускает мое ухо. Он вскакивает на подножку и, грозя мне кулаком, кричит:

— Трусливый щенок!

Машина с ходу берет полный газ и исчезает за поворотом. Я гляжу ей вслед и повторяю про себя: «Я не трус! Я выполнил свою клятву! Я был честным и не побоялся злых рук Камилы — всю правду ему выложил!»

Потом я достаю из-за пазухи фотографию Гагарина. Глаза у космонавта смеются. Мне кажется, он доволен мной.

— Видишь, — говорю я Гагарину, — я не стану Камилем. И Махмудом не стану. Я хочу быть таким, как ты!..

Солнце уже стоит над горизонтом, когда я подхожу к Унцукулю. За поворотом видна река, а еще дальше — белые балконы аульских домов.

Мне жарко, я весь мокрый, даже карточка Гагарина на груди стала влажной и липкой. Надо искупаться. На берегу я остаиваюсь и начинаю медленно раздеваться.

Река тут быстрая, бурливая. Она не похожа на ту реку, что течет у нашего аула. Я гляжу, как кипит вода, как пенистые потоки бьют о камни и тащат вырванное с корнем дерево, и мне хочется отступить. Может, найти место потише? Я оглядываюсь. На той стороне реки двое мальчишек уходят. За ближайшими деревьями слышен смех и визг, наверное, там купаются ребята.

«Поплескаюсь у берега и пойду дальше», — решаю я.

И вдруг я замечаю на воде растрепанную голову девушки. Поток несет ее к камням, но девушка, видно, хорошо плавает — она машет руками, как мельница, и скоро оказывается на безопасном месте.

— Вай, холодная! — изредка кричит она, смеется, опроки-

дывает голову вниз, потом, вынырнув, снова смеется. — Вай, какая холодная!

Заметив меня, она машет мне и зовет:

— Эй, гость, лови меня!

Я стою в нерешительности: купаться или не купаться?

— Ты боишься воды? — насмешливо спрашивает девушка. — Ты, наверно, сахарный и боишься растаять!

— Сама ты сахарная, — бормочу я в ответ.

Мне обидно. Я боюсь воды?! Да в нашем классе лучше меня только Муса плавает. Я и кролем умею, и брассом, и по-собачьи. Знала бы она — не говорила! Сейчас я покажу тебе, как надо плавать!

Я быстро срываю майку и ныряю в реку. Холодная вода обжигает тело. Ну и течение! Не успеваю я приноровиться, как меня уже сносит к камням, между которыми бьется, словно раненая рыба, корневище дерева.

— Лови меня! — подзадоривает девушка.

И поймаю! Пусть-ка попробует уйти от чемпиона пятого «Б» — не уйдет!

Это правда, что я чемпион нашего класса. Летом мы устроили соревнования по плаванию на Аварском Койсу. Только Муса в них не участвовал — его мама не пустила. Честно говоря, я был этому рад, потому что знал: раз Мусы нет — никто меня не обгонит. И я действительно занял первое место. Когда Мусе на следующий день сказали, он чуть не заревел от обиды.

Я наддал ходу, вырвался из потока и стал догонять девушку.

— Не поймаешь! — крикнула она.

Я видел, что раньше она плыла брассом, а теперь перешла на кроль. Здорово на воде держится! Ничего, еще посмотрим, кто кого!

Я старался изо всех сил, но все больше и больше отставал: девушка плыла ближе к берегу, где течение было слабее, а я — на самой середине. Это меня и подвело. Кончилось тем, что я повернул обратно.

Не успел я вылезти из воды, как в кустах раздался тихий шепот. Я сразу почувствовал что-то неладное. И правда, где моя одежда? Пропала! Вот тут она была — даже вмятина на песке осталась, а сейчас ее нет.

В кустах захихикали.

— Кто там? — спросил я, мало надеясь на ответ.

Густой кустарник заволновался, и на берег вышли незнакомые ребята. Их было четверо. Первый, кого я увидел, мне сразу не понравился. У него были толстые губы, изогнутые как пиявки, и приплюснутый нос. С таким носом удобно жить — падай сколько хочешь, все равно больше не расплывется.

— Отдайте мою одежду! — сказал я толстогубому.

— Уф! — притворно вздохнул он. — Гость хочет напугать меня взглядом. Как я боюсь! Прямо все поджилки затряслись! — Он обернулся к остальным. — Видите, как я боюсь гостя? Ой, спасите меня, а то я умру от страха!

Ну и противно он говорит! Это все губы, наверное, виноваты.

— Я тебя тоже не боюсь, — отвечаю я. — Отрастил большие губы, так, думаешь, ими испугаешь?

— Дай ты ему, Иманпаша! — советует второй мальчишка, выступая вперед.

Он не такой противный, как толстогубый, но я сразу нахожу в нем недостаток: глаза у него узкие-узкие, будто щелочки.

— Кто ты такой, что выходишь вперед и расширяешь свои глаза? — Я скрестил руки на груди, чтобы показать, как я спокоен.

Ребята рассмеялись. Видно, они и сами не любили узкоглазого.

— А откуда ты явился — не запылился? — спрашивает толстогубый. — Кто ты такой?

— Я гость Устархана!

— Врешь ты все, — говорит узкоглазый и бросает мне в лицо горсть песка.

Я ждал этого и сразу ответил ему ударом ноги.

И тут началась схватка. Ребята кинулись на меня все сразу. Кто-то ударил палкой по голове, кто-то подставил подножку. Толстогубый Иманпаша с криком: «Вай, видите, как я боюсь гостя?» — сел мне на шею. Я задышался, лежа в самом низу под грудой тел, но сдаваться не собирался.

«Только бы встать на ноги, — думал я. — Если бы мне удалось вывернуться и встать на ноги!..»



Я почувствовал у своего лица чужую руку и, схватив ее, принялся изо всех сил вывертывать ладонь.

— Моя рука! Ой!.. — завопил кто-то сверху.

Дышать стало легче. Извернувшись, как кошка, я стал на четвереньки и, загребая ногами, выполз из свалки.

Теперь нападающих осталось лишь трое. Четвертый, узкоглазый, выбыл из строя — он сидел в стороне, охал, держа поврежденную руку на весу. Ага, попало! В следующий раз будешь знать, как других науськивать!

Но Иманпаша и двое других отступать не собирались. Они стояли вокруг меня, сжав кулаки и грозя взглядами.

Я миролюбиво предложил:

— Отдайте одежду, и разойдемся.

— Сначала я сделаю из твоего носа чурек, а потом получишь одежду, — сказал Иманпаша.

В ту минуту, когда он уже подступал ко мне, из кустов выбежали два мальчика с удочками. Я вспомнил, что недавно видел их на той стороне реки.

— Эй, Иманпаша, опять за свое? — громко заговорил один из рыболовов, тот, что был повыше и посмуглее. — И не стыдно — четверо на одного!

Толстогубый сплюнул сквозь зубы.

— Сам начал. Вон моему брату руку вывернул.

— Он мой гость, — сказал смуглый парнишка. — Не смейте его обижать! — Повернувшись ко мне, он спросил: — Ты одежду ищешь?

— Ага.

Иманпаша кивнул на кусты: там, мол, одежда.

Пока я одевался, драчуны исчезли. Оба рыболова по-прежнему стояли около меня, словно охраняя.

Мы разговорились. Смуглого звали Муслимом, его товарища — Али. Оказывается, они с самого начала заметили меня и очень удивились: откуда взялся такой в Унцукуле? Они видели, как я плавал, как Иманпаша и его дружки прятали мою одежду, как началась драка. Тогда-то они и поспешили мне на помощь.

— А здорово ты их раскидал! — похвалил меня Али.

Мне была приятна эта похвала. Конечно, не так уж хорошо я дрался, но в обиду себя не дал — вот что главное!

— Когда-то я боялся Иманпашу, — сказал Муслим. — Он мне проходу не давал. А как съел медовое яйцо, так сразу его одолел.

— Правда, правда, — подтвердил Али.

Медовое яйцо? Это еще что такое? Я даже рот раскрыл от изумления. Может, ребята меня разыгрывают?

Муслим улыбнулся:

— Хочешь, расскажу? Ну вот, было это так...

РАССКАЗ О МЕДОВОМ ЯЙЦЕ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ЛЮБОГО МАЛЬЧИШКУ СМЕЛЫМ И СИЛЬНЫМ

Ты, Сайгид, в шестой перешел, верно? А я — в седьмой. Иманпаша со мной учился. Он еще в пятом самым сильным считался. Всё мускулами хвастал: пощупай да пощупай. Я тоже раз щупал — ничего мускулы.

Сам-то Иманпаша своей силы не показывал — за него братья кулаками махали, трое братьев. И самый хитрый, самый завистливый — узкоглазый Рамазан, которому ты руку вывернул.

Братья шесть кулаков наготове держат, а Иманпаша ребятами командует: сделай то-то, принеси то-то. Возьмешь в школу яблоко — он вырвет и съест. И нарочно чавкает, чтобы обиднее было. Назначат его дежурным по классу, а он кричит кому-нибудь: «Эй, ты, сегодня за меня будешь дежурить!»

Раз я говорю ребятам: «Надо бы проучить Иманпашу. Если мы дружно против него станем, он и пикнуть не посмеет».

А Иманпаша, оказывается, сидел неподалеку и все слышал. Ворвался в класс и стал меня молотить. Избил да еще на тетрадку чернильницу опрокинул. Я стерпел. Тут перемена кончилась, пришел учитель. Поглядел на мою тетрадь и говорит: «Муслим, Муслим, какой ты неряха!» Мне стало обидно, и я заревел: «Это Иманпаша виноват!» А учитель говорит: «Не плачь, мужчины не плачут». А я говорю: «Если б вам классный журнал так измазали, вы бы тоже заплакали». А он говорит: «Нет». Тогда я перестал реветь.

Вызвали Иманпашу к директору, отругали как следует, велели отца привести. Пришел Иманпаша в класс за портфелем, а сам на меня смотрит: «Подожди, я тебе покажу!»

У меня от страха душа в пятки ушла. Раньше я жду не дождусь, когда уроки кончатся. Теперь, наоборот, думаю: хоть бы они вечно тянулись! Кручусь на парте, все за окно гляжу: не видно ли там Иманпашу?

Наш дом за кладбищем. Как последний звонок прозвенел, я к двери: может, кто из учителей к кладбищу пойдет и меня проводит? А кривоносая Абидат кричит: «Муслим на улицу не выходит! Муслим Иманпашу боится!»

Тогда я вышел на улицу и пошел, размахивая портфелем:

смотри, мол, Абидат, я никого не боюсь! Иду, а глаза, как шарики, крутятся — Иманпашу ищут.

Он на кладбище меня поджидал. И братья его. За могильными камнями прятались. Только увидели меня — все разом выскочили. Лица в саже, чтобы страшнее было. У Иманпаши за ремнем — деревянный пистолет...

Я голову успел портфелем закрыть. А они начали меня дубасить. Били, били, даже вспотели. Иманпаша мне говорит: «Хватит, накормили тебя?» Я плачу и говорю: «Хватит». А он говорит: «Смотри, если пожалуешься — прикончу!» И пистолетом своим в грудь тычет.

Домой я весь грязный пришел. Мама кричит: «Сейчас пойду к матери Иманпаши! Пусть накажет его. Хулиган растет». А дедушка говорит: «Не ходи. Наш Муслим не слабее Иманпаши. Если дать ему медовое яйцо, он этого Иманпашу в бараний рог свернет. Аллах свидетель!» Мама говорит: «Опять ты чудишь! Ему витамины нужны, а свое медовое яйцо оставь для сказочных богатырей!» А дедушка говорит: «Смейся, смейся. Только белый ягненок не станет черным, а мудрость наших отцов посильнее витаминов! В старину бывало: кто хочет стать богатырем, тот медовые яйца ест. Одно съест — злого побеждает. Два съест — барса разрывает. А три — горы разрушает! И без витаминов обходились...»

Как мама ушла, я сказал дедушке: «Дай мне медовое яйцо. Я хочу стать богатырем!» А дедушка говорит: «Одно тебе?» Я говорю: «Одно. С барсами драться мне ни к чему». А дедушка говорит: «Ладно. Сделаю». И стал делать. Я видел, как он делал. Налил меду в кастрюльку и поставил на огонь. Подсыпал туда немного муки. Помешал. Долго мешал, может, целых пять минут. Потом снял и поставил в прохладное место.

Я говорю: «Готово?» А дедушка отвечает: «Подожди». Взял из кастрюльки своего варева, скатал шарик и что-то зашептал. Я расслышал только три слова: «Мехи. Пехи. Пух». Я снова говорю: «Ну готово?» А дедушка говорит: «Теперь готово. Ешь. Только не глотай сразу, разжуй хорошенько».

Я сделал, как он сказал. Вкусное это медовое яйцо! Только я последний кусочек проглотил — сразу в себе силу и смелость почувствовал. Пощупал мускулы на руке — как железо! Пощупал

на ногу — как сталь! И тогда я представил, будто я уже богатырь и еду расправляться с Иманпашой и его братьями.

Конь у меня высокий, копые длинное, а сабля острая. Я наезжаю конем на Иманпашу, опрокидываю его на землю и говорю: «Хватит, накормили тебя?» А Иманпаша плачет: «Хватит!»

Потом я наезжаю конем на трех его братьев, и они тоже валятся мне в ноги и кричат: «Хватит!»

Сила у меня такая, что я могу всех их в бараний рог скрутить. Только зачем? Хоть они и драчуны, а все-таки пусть живут и учатся и помнят богатырскую силу Муслима!

Представил я себе это и собрался на улицу. А дедушка говорит: «Виджу, прибавилось отваги?» Я говорю: «Прибавилось!»

Вышел из дому, гляжу — Иманпаша с братьями играет в алычки. Увидел меня, подбоченился, ждет: поверну я или нет? Я и не думаю поворачивать. Смело иду на него. И чем ближе подхожу, тем сильнее себя чувствую.

Моя смелость удивила Иманпашу. Он даже глазами заморгал от удивления. Потом опомнился, закричал: «Смотрите, вот идет чертова кукла!» Я говорю: «Это ты кукла, а не я». И как тресну его кулаком! Я считал, что в руке у меня всемогущая сабля, а сабля не знает жалости!

Иманпаша упал. Братья помогли ему встать. Они были так напуганы моим нападением, что даже не пытались защитить своего главаря.

Я говорю Иманпаше: «Будешь драться до победного конца? Что, трусил?» Потом говорю его братьям: «Дойдет и до вас очередь. Сначала проучу Иманпашу. Вы не вмешивайтесь». Я нагнул голову, как дедушкин баран, и ударил Иманпашу в живот. Он снова растянулся на земле. Я подбежал к нему, размахнулся, а он кричит: «Не бей, Муслим! Лежачего не бьют!»

Я его оставил. Говорю братьям: «Теперь ваша очередь». Вижу, отступают, не хотят драться. Я им говорю: «Ладно. Не троь вас, не бойтесь. Только помните мою силу!»

Мама и дедушка были дома. Я все рассказал. Мама нахмурилась. А дедушка улыбнулся и говорит: «Я не против витаминов, а медовое яйцо иногда полезнее!» Я говорю: «А почему ты

не дал мне его, когда я еще в школу не ходил?» Тут дедушка захохотал...

С тех пор я не боюсь Иманпашу и его братьев. Они меня боятся!

Муслим поднял удочку, положил ее на плечо и вдруг, наклонившись ко мне, тревожно спросил:

— Сайгид, а Сайгид, что с тобой?

Только тут я опомнился:

— Ничего. Просто задумался.

А думал я, конечно, о медовом яйце. Вот замечательная вещь! Если б мой дедушка умел делать медовые яйца!.. Дал бы мне одно — я сразу бы стал смелым и сильным. И не побоялся бы признаться, что сломал трость. И не стал бы трястись перед Камилем. И может быть, сам оттрепал бы его за уши. Очень мне нужно съесть медовое яйцо! Интересно, какие заповедные слова надо сказать, чтобы яйцо стало волшебным? Техи, кехи? Нет, мехи, техи? Забыл!

— А где твой дедушка? — спросил я Муслима.

— Дома, где ж еще.

— Вот бы его увидеть!

— Зачем?

— Я бы попросил у него медовое яйцо!

Ребята засмеялись.

— А ты не понял? — Муслим положил руку мне на плечо. — Дедушка пошутил. Медовое яйцо — это просто мед и мука. Не в нем дело. Если сам свой страх не поборешь — никакие медовые яйца не сделают тебя смелым и сильным.

— Правда, — подтвердил Али.

— И слова тоже шутка? — разочарованно спросил я.

Муслим улыбнулся:

— Шутка.

В душе я не мог не согласиться с Муслимом. Конечно, если ты трус, съешь хоть тысячу медовых яиц — не поможет! И все-таки жалко, что таких чудесных яиц нет на свете. А как было бы удобно: проглотил одно — злого человека победил! Проглотил два — барса убил! Три проглотил — горы своротил!

Муслим снова наклонился ко мне:

— Ты откуда?

— Из Багда.

— А чей ты гость?

— Устархана.

Мои новые друзья посмотрели на меня с недоверием. Я заметил это и начал объяснять:

— Устархан — кунак моего дедушки. Он ему подарил трость. А я эту трость сломал. И вот теперь я хочу...

— Подожди, — остановил меня Муслим. — Когда Устархан подарил трость твоему дедушке?

Я махнул рукой:

— Давно. Я еще не родился.

Али покачал головой:

— Что-то ты напутал. Ты плавал вместе с Устарханом!

Теперь настала моя очередь удивляться:

— Я же плавал с девушкой!

— А ее зовут Устархан, — сказал Али. — Ну что?

— Честное слово, я не вру! — воскликнул я, чуть не плача. — Мой дедушка... Устархан... Трость...

Муслим и Али, как по команде, повернулись и зашагали к дороге. У кустов Муслим остановился и сказал:

— Подожди нас, мы скоро придем.

«Они мне не верят!» — ужаснулся я.

Но последние слова Муслима немножко обнадежили меня. Если я расскажу им все, они поймут. С этой мыслью я привалился спиной к большому камню, вытянул усталые ноги и стал смотреть на реку. Сначала вода текла быстро, потом, будто загустев, замедлила свой бег и вдруг — остановилась. Измотанный долгой дорогой, я уснул.

ТАКИХ ТЕЛЕГРАММ НЕ БЫВАЕТ!

Я спал мало. Но, проснувшись, с тревогой заметил, что солнце спустилось вниз на целый локоть. Где Муслим и Али? Ведь они обещали вернуться! Что-то долго их нет. А может, не придут? Если я напрасно их прожду — не успею повидать Устархана, не куплю трость. Выходит, возвращусь домой с пустыми руками.



Ну почему я такой несчастливый? За что ни возьмусь — ничего не получается!

Вспомнив об Устархане, я снова задумался.

Дедушка не мог ошибиться: Устархан — мужчина. Дедушка не мог обмануть: трость ему подарил мужчина, которого звали Устархан. Но чудес на свете не бывает — пожилой мужчина не мог превратиться в девушку. Откуда тогда взялся Устархан с тонким голосом и растрепанной женской прической? Поневоле растеряешься.

Ладно. Если я буду сидеть сиднем на берегу, трость ко мне не приплывет. Надо искать Устархана: мужчину или женщину — все равно.

Я вскочил на ноги и торопливо зашагал по дороге. Миновал рощу стройных чинар и вышел к окраине аула.

В этот момент я забыл о своих неприятностях. Не знаю, почему так случилось. Только все отступило назад: сломанная дедушкина трость, ссора с Камилем, исчезновение Муслима и Али, невозможность отыскать Устархана...

Сейчас меня звал Унцукуль.

Может, потому, что я никогда не расставался с родным аулом, все мне казалось тут новым и неожиданным: небо и горы, дома и люди.

В Унцукуле больше двухэтажных домов. И хотя мне неприятно об этом говорить, дома здесь красивее багдинских. Наверное, из-за балконов. Они тянутся сплошной лентой, почти соприкасаясь боками, — широкие, выкрашенные белой краской, увитые виноградными лозами. Идешь по улице, а чудится, будто плывешь по реке и светлые балконы справа и слева — это берега.

Не успел я налюбоваться унцукульскими домами, как сзади загудели машины. Одна была обыкновенная — она везла сено. Зато другая удивительная: вместо кузова — ячейки и в каждой ячейке по бидону. Скачет машина по буграм, а бидонам хоть бы что — стоят смиреннько.

Почему у нас не додумались до этого? Дома я видел, как возили бидоны — сунут прямо в кузов, и, пока везут, они все бока себе переколотят.

Машины прошли, рокот моторов унесся вдаль, и тут у меня за спиной замычали коровы. Это стадо возвращалось с пастбища. Я отступил в сторону. Коровы двигались в облаке пыли, и было странно смотреть, как из этого облака вдруг вылезают покатая спина, или длинные рога, или большая морда с печальными глазами.

Но самое интересное я увидел в конце. За стадом шел пастух. Это был молодой парень лет двадцати. В одной руке он держал ярлыгу¹, в другой — свернутый кнут. У нас в ауле тоже есть пастухи, но у этого на шее висел транзистор! И по транзистору передавали аварские песни!

Честное слово, в этом Унцукуле все особенное!

Наконец стадо прошло и пыль осела.

Я снова выбрался на дорогу и стал глазеть по сторонам.

Работа на полях кончалась, и люди спешили к родным очагам. С балконов все чаще и чаще слышался говор. Мужчина, смеясь, рассказывал, что какой-то Алибулът наткнулся на ужа и, приняв его за ядовитую змею, убежал без оглядки. С плоских

¹ Ярлыга — посох чабана.

домов то и дело окликали ребят: «Магомед, иди сюда!», «Сколько раз звать тебя, Хочбár?..»

Тоненькие струйки дыма над домами толстели на глазах; из дворов знакомо и вкусно пахло кукурузными лепешками и жареным мясом.

Только сейчас я вспомнил, что ничего не ел с самого утра. Живот у меня тоскливо заныл, прося еды, а в рот набежала слюна. Эх, теперь бы лепешку и кусок баранины!

— Сайгид! — раздался женский голос. — Сайгид, куда ты пропал, паршивец? Ужин на столе!

Я даже вздрогнул от неожиданности. Кто меня зовет?

Но звали не меня — на плоской крыше соседнего дома стояла незнакомая женщина. Зачем я ей? Да и кому я вообще тут нужен? Даже Муслим и Али бросили меня.

Я проглотил слюну, хлопнул по животу, чтобы не просил еды, и пошел дальше.

Но сейчас двухэтажные унцукульские дома и красивые светлые балконы уже не радовали меня. Даже глядеть на них не хотелось. Хоть Унцукуль и красивее Багда, а в родном ауле лучше. Веселее как-то. Привычнее. Если б не эта глупая история с дедушкиной тростью, сидел бы дома и горя не знал. Читал бы. Или ждал, когда Муса закричит под окном: «Сайгид, идем к клубу в волейбол играть!»

Мы работаем в поле три дня в неделю. В остальные дни ходим в лес за орехами и дикими грушами, купаемся, играем в футбол и волейбол.

Как кому, а мне волейбол меньше нравится. Вот если б все время у сетки стоять! А то не успеешь разок погасить — переход подачи, и пожалуйста — тебя назад гонят. Правда, иногда мы принимаем в команду первоклашек. Тут уж бегать с места на место не приходится: я от сетки не отхожу. У нас все распределено: Муса мне подкидывает, я гашу, а первоклашки нам мяч переводят.

Когда я иду играть в волейбол, Халим меня сопровождает. Сядет на корточки у столба и шныряет глазами: мяч налево — у Халима глаза налево, мяч направо — у Халима глаза направо. Так хочется ему выбежать на площадку. Только нельзя — старшие ребята заругают, а еще хуже, затрепичу дадут.

Обидно вспоминать, но я ни разу не вступился за брата!

Когда от сильного удара мяч летит в ближний огород, Халим вскакивает и несется за ним. Словно уж проскальзывает он под изгородью, хватает мяч и торопится обратно, растягивая в счастливой улыбке рот до ушей.

Домой мы тоже идем вместе. Всю дорогу Халим мне напоминает: «Здóрово ты погасил, Сайгид!», «А какой мяч взял, когда Алибулат обмануть хотел!» Глаза у него мечут искорки, будто в глубине их разожгли костры. И весь он так и пышет гордостью, словно это он сам здорово погасил и взял обманный мяч Алибулата.

Все бы сейчас отдал, чтобы Халим был рядом со мной!

«Ты думаешь, я тебя не люблю? — обращаюсь я мысленно к Халиму. — Люблю! Что там шарик и фильмоскоп — я тебе сто шариков и тысячу фильмоскопов подарю! Играй сколько хочешь!»

Жаль, что Халим не слышит меня.

Но я твердо уверен, что ему скучно. Наверно, стоит на дороге и провожает взглядом каждую машину: не едет ли Сайгид? «Халим! — зовет его мама. — Иди ужинать!» А он не идет. «Халим, беги скорее, я тебе яблоко дам!» — соблазняет бабушка. А он все равно не идет.

Я увидел это ясно-ясно, будто стоял рядом с братом. И таким родным он мне показался, такими близкими были голоса мамы и бабушки, что в сердце у меня открылась вдруг какая-то дверца, в горле запершило, а на глаза навернулись слезы.

Я думал о Халиме, а живот думал о своем. Как услышал про ужин да про яблоко, снова заболел. Я даже разозлился. Нажал на него посильнее и говорю: «Хватит тебе! Сказано, перестань! Люди в голодные годы по целым дням не ели — и не плакали! А ты чего?» И живот, устыдившись, замолчал.

Свернув налево, я поднялся на горку и вышел на мощеную улицу. Мимо шли люди — молодые и старые, веселые и озабоченные. Но никто не обращал на меня внимания — у всех, видно, были свои дела. Может, все-таки решиться, подойти к первому встречному и спросить об Устархане? А вдруг в ответ я услышу: «Какого Устархана тебе надобно? Их у нас много». Вот и объясняй, что я из Багда, что у меня есть дедушка, что

зовут его Магомед, что много лет назад один из Устарханов подарил ему замечательную трость, что я сломал эту трость, что...

«Что-что!» — передразнил я себя. — Надо было все узнать заранее, а потом лезть к людям с вопросами! А то посмеются надо мной, как Муслим и Али!»

Я брел по улице, спотыкаясь от усталости. Я совсем пал духом и лишь по привычке глядел на вывески.

Что хорошего нашел я в этом Унцукуле — не знаю!

«Парикмахерская», — прочел я. Тут стригут и бреют.

Ну и что? У нас в ауле две парикмахерские, и наши мастера стригут и бреют лучше здешних!

Вот продовольственный магазин. Подумаешь, выставили на витрине столбик из пластмассовых сыров — и довольны.

А у нас в ауле три продовольственных магазина, и на витринах поддельных сыров не найдешь. Все настоящее: сыр и пшено, пиво и конфеты. На одной витрине даже домик сделан из консервов!

«Почта», — прочел я.

В нашем ауле тоже есть почта...

И тут в моей голове словно буря пронеслась. Я остановился, чтобы разобраться в куче мыслей, которые так неожиданно свалились на меня при виде унцукульской почты.

Сначала я заметил, что солнце уже тонет за горами. Только сейчас оно было круглым, а теперь сплющилось, как выдохнувшийся шарик.

«Поздно, — подумал я. — Домой мне сегодня не попасть».

Я еще не успел до конца осознать это, как уже впился взглядом в большой яркий плакат, прикрепленный к стене почты. На плакате загорелый и веселый мужчина махал телеграммой, а внизу было написано: «Пользуйтесь услугами телеграфа! Быстро, дешево, удобно!»

Вот здорово! Я ведь тоже могу быстро, дешево и удобно сообщить домой, что задержался в Унцукуле. Дам телеграмму — и все!

Не раздумывая больше, я шагнул на каменное крыльцо почты и смело открыл дверь.

В маленьком зале пахло клейстером. За столом сидели две женщины и седобородый старик. Они писали и даже не взгля-

нули в мою сторону. Зал был перегороден стойкой из дерева и стекла. Наверху виднелись окошечки.

Я подошел к самому ближнему, приподнялся на цыпочки, чтобы казаться выше, и спросил чужим, низким голосом:

— Где тут телеграмму сдавать?

Выглянула девушка в синем кителе с золотыми молниями на воротнике.

— А ты уже написал?

— Нет.

— Вот тебе бланк. — Девушка дала мне серую бумажку. — Сверху пиши адрес, а внизу — текст.

Я взял бланк и уселся в сторонке.

Так, значит, адрес сверху. Хорошо.

Я написал: «В аул Багда. Улица Махача Дахадаева. Дом 15. Его все знают, потому что он напротив магазина стоит. Получить: маме, папе, бабушке, дедушке, сестре». Я хотел еще добавить: «Моему брату», но раздумал — ведь Халим читать не умеет и посылать на его имя телеграммы ни к чему.

Теперь самое трудное — текст написать.

«Здравствуйте! — написал я. — Дорогая мама! Дорогая бабушка! Дорогой папа! Дорогой дедушка! Дорогая Фари! Я по вас очень соскучился! И по тебе, Халим, тоже!»

Ну, первым делом надо написать, что я доехал благополучно. Но разве все было благополучно? Разве я не поссорился с Камилем? Пусть дедушка узнает про эту ссору.

Я перехватил ручку у самого перышка. Так было удобнее.

«До самой зеленой долины я ехал благополучно. А потом Камиль взял двух пассажиров — мужчину, похожего на дядю Наби, и старушку. Я хотел уступить свое место в кабине старушке, но Камиль не разрешил. И деньги взял с пассажиров за дорогу».

Я передохнул и дописал: «Целых два рубля взял. Да еще недоволен, гово...»

Тут я заметил, что пишу уже не на бумаге, а на столе — бланк кончился. Вот незадача! Я подошел к окошечку, как раньше, потянулся на цыпочках и сказал мужественным голосом:

— Мне бланк для телеграммы...

Девушка с золотыми молниями на синем кителе укоризненно покачала головой:

— Испортил?

— Нет,— сказал я.— Просто он кончился.

Получив еще одну бумажку, я сел за стол и задумался. Я не знал, как поступить со словом «говорит»,— оно было разорвано на части? Начать сначала? Дома не поймут. Зачеркнуть первую часть? Нельзя, наверное,— у нас в классе за помарки ругают.

«А что особенного? — подумал вдруг я.— Перенос-то сделан правильно! Пусть это будет перенос».

И, успокоившись, принялся писать дальше: «...рит: «Спасибо и за это!» Видишь, дедушка, какой он оказался? Я считал его хорошим, а он плохой и поступает не по-советски. Я ему так и сказал: «Ты нечестный человек». И ушел от него».

Надо ли писать, что Камиль дергал меня за ухо, что мне было больно, но я все равно стоял на своем? Не надо. А то дедушка подумает, будто я хвалюсь.

«В Унцукуль я пришел пешком. И сразу встретил Устархана. Дедушка, ты говорил, что Устархан — мужчина, а это девушка. Не знаю, как она делает трости, но плавает она здорово!»

Тут кончился и второй бланк. Я пошел за третьим.

— Можно мне еще один бланк? — попросил я осторожно.

Девушка с золотыми молниями на кителе поглядела на меня с недоверием.

— Третий?

— Ага.

— Ты из них голубей делаешь?

— Зачем,— сказал я.— Телеграмму пишу.

— Ну бери.

Когда я усаживался за стол, седобородый старик, что писал неподалеку, повернул ко мне голову. Вслед за ним, как по команде, посмотрели на меня две женщины. Чего они смотрят? Может, я в чернилах испачкался?

Я послунял рукав куртки и вытер лицо. Потом снова взялся за ручку. Что писать? Вот что я напишу: какую тут машину сделали для перевозки бидонов!

«Папа и дедушка! Я видел здесь машину для перевозки бидо-

нов. Борта у кузова сняты. На всем кузове стойки с ячейками. Очень удобно! А у нас неправильно возят бидоны, навалом, и они бьются. Так нельзя. Надо взять конструкцию в Унцукуле и сделать».

Еще что? Эх, чуть не забыл: надо написать, чтобы не беспокоились,— я приеду, как только куплю дедушке новую трость.

«Вы не беспокойтесь,— продолжал я писать.— Здоровье у меня хорошее. И носоглотка, наверное, закалилась — ни насморка, ни кашля нет».

Я поставил точку и ужаснулся: свободного места не осталось! Не только слово — тут бы и вторая точка не уместилась! Надо идти за новым бланком.

Никто на меня не смотрел — старик и женщины что-то писали. Я встал и на цыпочках подошел к окошечку. Тут я громко шмыгнул носом для храбрости.

— Тетя...— жалобно начал я.

Девушка подпрыгнула, словно ее шилом кольнули.

— Чего тебе?

— Еще один бланк...

— Да ты что, смеешься?

— Нет.

— Откуда ты такой появился? — громким шепотом спросила она и всплеснула руками.

— Из Багда,— сказал я.— Только вы зря злитесь. Честное слово, я голубей не делаю. Я телеграмму пишу. Разве нельзя? У вас на плакате слова: «Пользуйтесь услугами телеграфа! Быстро, дешево, удобно!» Вот я хочу быстро, дешево, удобно.

Девушка сунула мне новый бланк:

— Получай. Больше не дам.

— А мне больше и не надо.

И правда, дело у меня шло к концу.

Я написал: «Приеду завтра. Сегодня уже не успею. Если Халиму хочется, пусть спит на моей кровати, мне не жалко. Обнимаю всех. Ваш Сайгид».

— Уф! — вырвалось у меня.

Я сложил бланки и двинулся к окошечку. Девушка в это время упаковывала какую-то посылку.

— Тетя,— прошептал я,— а тетя...

— Вай, это опять ты?!— вскрикнула девушка и даже от окна отшатнулась. Она смотрела на меня с такой опаской, будто я был болен стрептококковой ангиной и мог ее заразить.— Что тебе надо? Еще один бланк?

— Не надо мне бланков. Я кончил...

— А-а...— с облегчением сказала девушка.— Давай сюда!

Я положил исписанные листочки на стойку.

— Четыре телеграммы? — посчитала девушка.

— Одна.

— Как — одна? — Лицо у нее покраснело.— Ты сочинение писал или телеграмму?

Я пожал плечами.

— Короче не получилось.

Девушка стала разбирать мои каракули и чем дальше читала, тем больше улыбалась и веселела.

— Аминáт! — позвала она кого-то.— Иди скорей сюда! Посмотри на этого мужчину — он посылает телеграмму в двести тридцать слов.

— Таких телеграмм не бывает,— сказали за стеклянной стойкой.

И в ту же минуту в соседнем окошке появилось незнакомое лицо девушки.

— Почему не бывает? — обидчиво спросил я.— Бывает. И потом, не двести тридцать, а двести двадцать девять. Там у меня перенос есть: на одном бланке «гово», на другом — «рит». Это одно слово!

Седобородый старик, привлеченный нашим разговором, бросил свою писанину и уставился на меня.

— Двести двадцать девять слов!..— сказал он так громко и торжественно, будто выступал на собрании.

— Двести двадцать девять слов!..— в один голос повторили женщины. Они тоже бросили свои дела и разглядывали меня очень внимательно — похоже, они хотели найти на моем лице второй нос.

— Ну и что же? — сказал я.— У меня есть мама, папа, бабушка, дедушка, сестра Фари и брат Халим. Шесть человек. Если разделить двести двадцать девять на шесть, выходит всего по тридцать восемь с хвостиком. Много, что ли?

Девушка с золотыми молниями на синем кителе рассмеялась:
— Математик! А ты знаешь, сколько за такую телеграмму надо платить?

— Сколько?

— Помножь двести двадцать девять на три, ну?

— Шестьсот восемьдесят семь.

— Верно. Значит, тебе надо платить шесть рублей восемьдесят семь копеек!

— Ого! — испугался я. — А еще пишете: «Дешево, удобно!..» Теперь засмеялась и вторая девушка, Аминат.

— Но ведь люди не посылают таких больших телеграмм, — сказала она. — Ну тридцать слов, ну сорок. А ты целую книгу написал.

Я задумался. Шесть рублей восемьдесят семь копеек — много! Откуда мне взять такие деньги? У меня всего шесть рублей, да и те нужны — без денег трость не дадут.

— А дешевле нельзя? — спросил я, вспомнив, как говорила бабушка, когда мы с ней ходили на базар.

— Надо сокращать телеграмму, — сказала девушка с золотыми молниями на синем кителе. — Про дом лишнее: «Его все знают, потому что он напротив магазина стоит». Зачем это? Есть номер, и хватит. И слово «получить» можно убрать. И еще: что это ты телеграмму всем родным адресуешь — маме, папе, бабушке, дедушке и сестре?

— А кому же еще? — спросил я с вызовом.

— Маме и папе. И достаточно.

— Ха-ха! — сказал я. — Тогда дедушка и бабушка обидятся.

— А если дедушке и бабушке?

Непонятливая какая!

— Тогда мама и папа обидятся, — возразил я.

Но девушка не унималась:

— Маме, папе, бабушке... А фамилий нету.

— Одна у нас фамилия — Курбановы.

— Очень хорошо, — сказала девушка. — Так и поставим: Курбановым.

«Правильно, — подумал я и взглянул на девушку с уважением. — Смотри-ка, догадалась!»

— Ладно, сокращайте, — сказал я.

И началось сокращение! Сначала это делала одна девушка с золотыми молниями на синем кителе. Потом ей на помощь пришла Аминат. Обе они что-то черкали и что-то исправляли, пока не выбились из сил. Наконец девушка с золотыми молниями прочла телеграмму седобородому старику и женщинам: может, у них тоже есть предложения? У старика было много предложений. Он подскочил к окошку и начал с такой силой махать бородой направо и налево, будто это была не борода, а метла, и он задумал смести все слова с моих бланков.

«Почему я такой несчастливый? — спрашивал я себя, следя глазами за взмахами бороды и боясь, что не уголяжу, как старик вычеркнет из телеграммы самое главное.— Принесла его нелегкая!»

А старик никому слова не давал вымолвить. Говорил, говорил и говорил, словно у него во рту был спрятан моторчик.

— Что это за история с Камилем? — сказал старик.— Вычеркнуть! Кому интересно знать, как плавает Устархан? Вычеркнуть! Что там про кузова, бидоны и ячейки? Вычеркнуть!

— Нельзя про бидоны вычеркивать...— пробовал я прервать старика.

— Можно! — сказал он и чуть не смазал мне бородой по носу.— Приедешь домой — и все расскажешь.— Он поднес мои бланки к глазам.— Что же остается? Вот что: «Багда. Махача Дахадаева, 15. Курбановым. Не беспокойтесь. Приеду завтра. Сайгид». Десять слов! И всего тридцать копеек!

— Десять слов! И всего тридцать копеек! — словно эхо, повторили женщины.

Я понял: все будет, как сказал старик. Не мог же я спорить с его реактивным языком.

— Только вставьте: «Обнимаю всех»,—попросил я.—Можно? Старик тряхнул бородой, будто ставил точку.

— Вставьте,—сказал он девушке с золотыми молниями.

Я заплатил тридцать шесть копеек и хотел было уйти, как старик неожиданно спросил:

— Чей ты гость, Сайгид?

— Устархана,—ответил я.— А еще Муслима и Али.

— Тогда я за тебя спокоен,—сказал он, усаживаясь за свою писанину.

Девушка с золотыми молниями ласково кивнула мне из своего окошка. Аминат сказала из другого:

— Видишь, получилось быстро, дешево и удобно!

Я ЛЕЧУ НА ЛУНУ

Мощеная улица вывела меня к площади. Я огляделся. В центре возвышалась высокая каменная фигура — в еще не сгустившемся сумраке четко вырисовывались голова и широкие плечи человека.

Махач! Я скорее догадался, чем узнал его.

Дедушка часто рассказывал мне о Махаче Дахадаеве. Это он победил бандитские шайки имама Нажмудина Гоцинского. Это он не захотел поверить гонцу, принесшему черную весть, и послал дедушку в Кадар — в тот день острая сабля настигла князя Васильчикова.

Я представлял себе Махача на коне, с саблей в руке, ну, если не с саблей, то хотя бы с биноклем. Где же конь? Где сабля? Где бинокль?

Тут был другой Махач. Совсем не военный. Он стоял на постаменте в куртке и сапогах, в фуражке, которая казалась чуточку помятой, словно долго лежала в сундуке.

И усы у него были мирные.

Скажу правду, меня это немножко разочаровало. Я привык к Махачу грозному, беспощадному. Я привык к тому, что он лихо сражался, громко командовал, и от него, так мне думалось, пахло горячим порохом и острым свинцом.

Таким можно было гордиться и восхищаться.

А подойти к нему — я бы не подошел: побоялся.

Унцукульский Махач уже кончил сражаться. Он отдыхал от боев. Видно было, что он мирный и добрый. Он возвышался падо мной, но взгляды наши сходились, и в его глазах я читал участие: «Ничего, Сайгид, все будет хорошо!» Если б случилось чудо и Махач ожил, я бы не побоялся подойти к нему: с таким, паверно, хорошо говорить по душам.

Обогнув памятник, я заметил стариков, сидящих на больших камнях. Устав от работы, они почти не говорили, не видя нужды

в длинных речах. Лица их были обожжены горячим солнцем и сейчас, в полутьме, казались бронзовыми.

Изредка кто-нибудь вставал и уходил. Место занимал другой. И все это чинно, без спешки и суетни, как подобает почтенным людям, знающим цену каждому своему движению.

А я заметил одного старика и уже не спускал с него глаз. Может быть, потому, что он раньше других посмотрел на меня.

Я обратил внимание на то, что у него только одна рука — левая; вместо правой была культя. Когда старик хотел прикурить, он придерживал коробок культей, а здоровой рукой зажигал спичку. Шинель то и дело сползала с его худых плеч. И старик, ловко действуя культей, снова натягивал ее на себя.

Но больше всего меня поразила его борода — внизу совершенно черная, а на щеках белая. Белые пятна эти сильно выделялись — ну точь-в-точь заплатки на новой одежде.

«Улыбается», — отметил я, поймав взгляд старика.

В этот момент он подвинулся, опираясь на палку, и неожиданно окликнул меня:

— Ты откуда, малыш?

— Из Багда, — ответил я.

— Чей ты гость?

— Мой! — раздался знакомый мальчишеский голос.

Рядом со мной стоял Муслим.

— Значит, твой гость? — сказал старик. — Он мне приглянулся. Хотел привести его гостем в свой дом. — И, выпрямившись, он медленно зашагал прочь.

Я проводил его взглядом. Не знаю, как он почувствовал мое одиночество и растерянность. А вот угадал!

— Кто такой? — спросил я у Муслима.

— Дядя Иманпаши.

Я хмыкнул от неожиданности: у этого драчуна такой хороший дядя! Он потерял руку на фронте? Он, наверно, герой? А почему у него пестрая борода? Эти вопросы, словно потревоженные птицы, закружились в моей голове, и я был готов выложить их Муслиму.

Но он заговорил первый:

— Обещал ждать нас у реки, а сам на годекане прохлаждаешься!

— На годекане,— повторил я, вспомнив о своей обиде.— Знаешь, сколько я сидел у реки? У меня и так день пропал. Эй, Муслим, что с твоей ногой?

Только сейчас я заметил, что Муслим хромает.

— Мы с Али, как ушли от тебя, решили еще раз удочки забросить. Я сразу сазана поймал. Вот такого! — Муслим расставил руки, показывая величину рыбы.— Полметра, не меньше! Я его вытащить не мог — боялся, что сорвется. Пришлось в воду лезть. Поскользнулся и ушибся о камни.

— Болит? — спросил я, смягчившись.

— Не очень,— ответил Муслим.

Но по тому, как он примасничал, когда мы шли, я понял, что с ногой у него дело плохо.

— Распухла,— сказал я.

Муслим досадливо цокнул языком.

— Надо же, такой день, а у меня эта нога!.. Если б ты знал, что мы задумали!

— Что? — заинтересовался я.

— Секрет.— Муслим посмотрел по сторонам, будто боясь, что его могут подслушать.— Знай одно: скоро я улечу! — шепотом закончил он.

— Куда?

— Туда, где никто еще не бывал. Смотри не проговорись. Если скажешь моей маме или дедушке...

Я замахал руками:

— Что ты! Не скажу. А куда ты все-таки полетишь?

Вместо ответа он приложил палец к губам: молчи!

Мы подошли к дому Муслима. На лестнице было темно. Муслим, шедший впереди, вдруг споткнулся и упал.

— Вай, моя нога! — крикнул он.

Я побежал за ним, думая, что смогу помочь, но тоже зацепился за ступеньку и грохнулся на площадку. Мы лежали рядом. Но Муслим лежал на полу, а я — на его больной ноге!

— Вай, нога! — закричал Муслим еще сильнее.

Я хотел вскочить, но в эту секунду открылась дверь, и тут кто-то закричал таким пронзительным голосом, какого не было даже у Халима:

— Мой мальчик, ты ушибся!

Потом Муслимова мама сделала шаг, задела мою руку и упала на меня.

Ну и картина получилась!

Муслим внизу орет:

— Моя нога!

Я посередке:

— Моя рука!

А сверху мама:

— Мой мальчик!

Мы уже встали, Муслим доковылял до стула, а я все не мог прийти в себя. Тяжелая мама у Муслима. Если б Муслимова мама пробыла сверху еще минутку, я бы стал плоский, как подошва.

— Как тебя зовут? — спросила она, тут же забыв о недавнем происшествии и принимаясь месить тесто для хинкала¹.

Я сказал.

— Откуда ты?

Я сказал.

— Сейчас будем ужинать, а потом я постелю тебе на веранде. — И тут она повернулась к Муслиму и прямо без перерыва напустилась на него: — Сколько раз я говорила: не прыгай, как козел! Почему другие мальчики сидят спокойно? Почему с ними ничего не случается? Покажи свою ногу. — Она нагнулась, пощупала колено Муслима. — Вай, несчастье, у тебя опухоль! Не успеет отец уехать в командировку, как этот сорванец что-нибудь натворит! За что мне такое наказание?

— Я не нарочно, — сказал притихший Муслим.

— Конечно. — Она усмехнулась и погрозила Муслиму пальцем, на котором висел кусочек теста. — Год назад Иманпаша вывалял тебя в грязи. Прошлой осенью ты упал с осла. Потом свалился с лестницы. И все не нарочно! Сиди смирно, я приведу фельдшера.

— Не надо мне фельдшера, — сказал Муслим. — Он всегда горькие лекарства дает. Лучше я к Халун-адэ в медпункт схожу.

— С такой ногой? — Муслимова мама открыла заслонку и бросила в печку несколько поленьев. — Нет уж, хватит твоих проказ! Сейчас приведу фельдшера.

¹ Х и н к а л — что-то вроде русских пельменей.

Муслим подмигнул мне и вышел, тихо притворив за собой дверь.

— Ушел?! — закричала Муслимова мама. — Ну подожди... Отец придет — все расскажу.

Вздохнув, она погрозила мне куском теста:

— С вами, мальчишками, надо построже. А то избалуетесь. Садись есть.

Спорить я не стал: построже так построже. Что спорить, когда горячий хинкал на столе, когда он посыпан сверху тертой брынзой, когда к нему подана чашка с простоквашей!

Ух как я проголодался! Я прямо ел этот хинкал глазами!

Муслимова мама что-то говорила, но я слышал только бессвязные обрывки слов: «гар», «бар», «дар». И еще я слышал, как жуют мои челюсти: «плям-блям», «плям-блям». Похоже, мы с Муслимовой мамой дразнились: она мне — «гар-бар», а я ей — «плям-блям». Но потом ей стало скучно говорить одно и то же. Она оставила свое «гар-бар» и сказала:

— Давешпал.

— Плям-блям, — ответил я челюстями.

Муслимова мама наклонилась ко мне и крикнула так громко, что в печке рассыпались прогоревшие поленья:

— Ты плохо слышишь?

Я наконец справился с хинкалом.

— Нет, хорошо.

— Почему же ты не отвечаешь?

— А что вы говорили?

— Я говорила: давай еще положу!

Тут до меня дошло: значит, странное слово «даवेशпал» означает: «Давай еще положу». А я из-за этих шумных челюстей ничего не расслышал.

Мне было неудобно просить добавки. Я сказал:

— Не надо больше. Спасибо. Я наелся.

Через полчаса Муслимова мама постелила мне на веранде. Я стал раздеваться и вдруг нащупал за рубашкой что-то твердое. Карточка Гагарина! Я совсем забыл про нее.

Карточка измялась, но Гагарин по-прежнему улыбался.

Я тоже улыбнулся ему в ответ.

Потом сунул фотографию под подушку.

Хлопнула дверь. Послышался голос Муслима. Значит, он вернулся домой? А говорил, что куда-то улетает.

Я поджал ноги, чтобы было теплее, и закрыл глаза. За верандой шелестела листва. Последнее, что я слышал: кто-то приглушенно объяснял, что абрикосы для сушки лучше раскладывать на крыше не вечером, а рано утром...

Разбудил меня тихий голос:

— Вставай, вставай!

Спросонья я ничего не понял. Где я? Зачем меня будят?

— Ну вставай же! — тормозил меня кто-то. — Опоздаем!

Было темно, как в пещере. С трудом разыскав брюки и куртку, я оделся. Карточку Гагарина тоже нужно взять. Я достал ее и, как прежде, сунул за майку.

— Спускайся, тут лестница есть, — зашептали в темноте.

Внизу я попытался разглядеть провожатого. Ничего не вышло — я видел только, что впереди маячит черная тень.

— Слушай, куда мы идем? — сказал я, недоумевая и трюся.

— Знаешь, а спрашиваешь.

Сначала была улица с сонными домами. Потом сад — густой, темный, весь в предутренней росе, обжигавшей холодом. Когда мы шли мимо едва различимого шалаша, мой провожатый чуть слышно зашептал:

— Спит, кажется, дедушка Гунаш. Тихе ты!

Он сказал свое «Тихе ты!» слишком поздно. Ветка с шумом сорвала кепку с моей головы. Пришлось опуститься на колени и шарить вокруг.

— Ну, скоро? — спросил провожатый.

— Кепка упала.

— Потом найдешь. Тебе шлем дадут.

Я хотел спросить, почему мне должны дать шлем и вообще куда это меня тащат, но провожатый снова зашептал:

— Тихе!

Неожиданно из зарослей раздался голос:

— Муслим, ты?..

Тогда я все понял. Посылали за Муслимом, а провожатый в темноте не разобрался и позвал меня. Что они замышляют? Муслим говорил, что полетит туда, где никто не бывал. Видно, для этого и шлем приготовили. Но куда он полетит? На Северном

полюсе наши были. В Антарктике были. Если только на Луну?..

Стало светлее. Мне показалось, что мы вышли на полянку. Ребят я не видел, но чувствовал, что их много. Наконец зажегся фонарик. Побродив по сторонам, луч упал вниз. И тут я увидел у своих ног странное сооружение, похожее не то на детские качели, не то на коромысло. Внизу стоял короткий, но широкий чурбан; он служил опорой для доски; одна сторона доски была свободна и смотрела на кроны деревьев, на конце другой, лежащей на земле, виднелся огромный блестящий бак.

На меня словно оцепенение напало. Я боялся влипнуть в неприятную историю. И в то же время до смерти хотел узнать, что задумали ребята. Теперь я не сомневался, что слова Муслима о полете — чистая правда. Куда только они решили лететь — вот вопрос!

Фонарик потух. Но за секунду до этого его неловко повернули, и в бледном отсвете я успел разглядеть лицо Али.

— Почему опаздываешь, Муслим? — спросил он. Голос у него был строгий, командирский.

Мне ничего не оставалось, как сказать:

— Я не...

«Муслим», — хотел я добавить.

— Наказать его надо! — раздался голос со знакомой интонацией. — Обрадовался, что космонавт, так и опаздывает...

Неужели это Иманпаша?

— На первый раз прощается, — сказал Али. — Готовьте его к полету.

Я не успел очухаться, как мой провожатый уже накинул на меня мешок с прорезями для рук и головы.

— Скафандр! — отчеканил он, поворачиваясь к Али.

Потом сунул мне в руки какую-то кастрюлю.

«Это еще для чего?» — подумал я.

— Надевай шлем! — сказал Али.

«Ага, это шлем», — сообразил я, стараясь напялить кастрюлю на голову.

— Не влезает, — вырвалось у меня.

— У тебя со вчерашнего дня голова выросла? — насмешливо спросил Иманпаша.

— Ты мою голову не трогай!

— Да это не Муслим! — вдруг понял Иманпаша. — Измена!.. Луч фонаря ударил мне в лицо.

— Сайгид? — удивился Али. — То-то я гляжу: почему Муслим такой молчаливый? Значит, он испугался и послал тебя?

Я хотел заступиться за Муслима. Разве он виноват, что разбудили меня, а не его? И я бы сказал это, если б в тот момент кастрюля, сидевшая на голове дурацким жестяным колпаком, не съехала мне на лицо.

В один миг я превратился в слепого. Раньше хоть что-то можно было разглядеть. Сейчас — ни крошки.

Я попытался сорвать кастрюлю с головы, но она не снималась. Уши у меня распластались, будто тесто под скалкой, а нос уткнулся в железо и вынужден был вдыхать противный кислый запах жести.

— Снимите кастрюлю, — еле выговорил я, разводя руками, как при плавании, и стремясь опереться на что-либо твердое.

— Ну вот, — донесся сквозь кастрюлю недовольный голос Али, — явился без приглашения, да еще в шлеме застрял. Рамазан, сними с него шлем!

— Тише, больно, — сказал я и сразу понял, что говорю это напрасно. Рамазан — брат Иманпаша. Еще недавно, лежа в куче нападающих, я вывернул ему руку. Как же, станет он теперь жалеть меня!

И точно, узкоглазый Рамазан изо всех сил потащил кастрюлю. Он так ее тащил, что у меня в шее захрустело.

— Тяни, а не крути! — захрипел я, с трудом раздирая слипшиеся губы. — Не крути!

Я боялся за свои уши, за нос. Если они оторвутся — как я приеду в Багда? Никто меня не узнает — ни мама, ни папа, ни бабушка, ни дедушка, ни Фари. Даже Халим не захочет иметь брата с таким страшным лицом!

Рамазан снова дернул кастрюлю. Она не поддавалась.

— Смотри уши оторвешь, — жалобно сказал я.

— Не оторву, — откликнулся Рамазан, подсовывая пальцы снизу и толкая ими меня в щеку. Вслед за этим он резко крутанул кастрюлю вбок.

— Вай! Оторвал!.. — завопил я.

— Чего кричишь? — спросил Али. — Проснется дедушка Гу-

наш, тогда все пойдет насмарку. Терпи, раз стал космонавтом. Иманпаша, помоги Рамазану.

«Все! — испуганно подумал я. — Сейчас они откроют мне голову».

— Не дам! — захрипел я. — Не дам! У меня и так все сплющилось — уши и нос. — Я размахивал руками и крутился на месте, как волчок. — Только подойдите!

— Что же делать? — расстроенным голосом спросил Али.

«Если они не снимут, — холодея, подумал я, — придется всю жизнь ходить с кастрюлей на голове!»

— Я придумал! — воскликнул Али. — Мы это по физике проходили: все тела от холода сжимаются, а от тепла расширяются. Если Сайгида опустить в холодную воду, а шлем в это время подогревать, Сайгид сожмется, а шлем расширится. Здорово?

— Здорово! — согласился Иманпаша.

— Я буду подогревать! — сразу же вызвался Рамазан. Можно было подумать, что ему хотелось до конца отомстить мне за вывернутую руку. — Эй, Сайгид, ложись в лужу, а я костер разожгу...

Я стоял, онемев от волнения и страха. Если б мог — убежал бы. Но как можно бежать, когда на голове кастрюля?

За спиной раздался свист, и ребята притихли. Вдруг они дружно загалдели, заговорили: «Эх, ты, проспал все на свете!», «А еще космонавт!», «Испугался лететь, другого послал!»

«Это Муслим пришел, — обрадовался я. — Он меня выручит».

— Ты-то, Али, должен знать, что я вчера ногу сильно поранил, — спокойно заговорил Муслим. — Пришлось к Халун-аде идти на перевязку. Мама меня в комнате положила. Не мог я сразу из дому выбраться — дедушка все ворочался, кряхтел. Только недавно заснул...

— А у нас робот появился, — насмешливо сказал Иманпаша и стукнул по кастрюле чем-то твердым. — Его зовут Сайгид!

Я размахнулся, хотел достать его кулаком, но ударил в пустоту и чуть не упал.

— Подожди... — захрипел я. — Дай только снять кастрюлю, я из тебя хинкал сделаю!

— Не трогай его, Иманпаша, — сказал Муслим. — Как же это получилось, Сайгид?

Я принялся объяснять. Проклятая кастрюля — пеужели нельзя было найти бóльшую? Сначала она не лезла, а потом влезла и застряла.

— Надо лететь,— забеспокоился Али.— Порох отсыреет. Мы и так целый год спички собирали. Может, без шлема полетишь, а, Муслим?

— Нельзя без шлема. А если метеориты? Слушайте, ребята: раз Сайгид в скафандре и шлеме — пусть и летит.

«И полечу! — подумал я.— Мне с этой кастрюлей все равно куда лететь, лишь бы не на земле. Тут задрезнят!»

— Согласен, Сайгид? — спросил Али.

Я махнул кастрюлей сверху вниз: согласен.

— А куда лететь?

— На Луну,— ответил Али.

— Ладно,— согласился я.— Но если что-нибудь случится, вы напишете моим в аул Багда...

— Напишем,— сказал Муслим.— Ты не бойся, ничего не случится — мы расчеты делали.

— Стартует спутник имени Махача Дахадаева! — заговорил Али, и мне показалось, что я слышу голос настоящего диктора.— Космонавт Сайгид, к полету готов?

— Готов!

— Муслим, сажай его в ракету! Нет, подожди, пусть скажет что-нибудь.

— А что говорить? — спросил я.

— Ну, что выполнишь задание и вообще будешь действовать смело, решительно...

— Эй, Али! — сказал я, ошарашенный неожиданной мыслью.— Кто мне снимет кастрюлю на Луне?..

— Это не кастрюля, а шлем! — оборвал меня Али.

Хоть убей, я сейчас не мог представить себе, что кастрюля, пахнущая жостью,— настоящий шлем. Разве настоящий шлем сплющивает нос и уши? Не сплющивает! А ракета? Стиральный бак это, а не ракета, и лететь в стиральном баке на Луну — сумасшедшая затея! Вот если б меня поставили на место Али — командовать, распоряжаться, я бы первый назвал кастрюлю шлемом, мешок — скафандром, а стиральный бак — ракетой!

Но распоряжается Али, а у меня уши огнем жжет и нос в ле-

пешку превратился — и я еще должен называть кастрюлю шлемом. Не будет этого!

— Ну пусть. — Я махнул рукой. — Ты скажи, кто мне снимет кастрюлю-шлем, когда я прилечу на Луну?

— Испугался, робот! — захихикал Иманпаша.

Я прямо чувствовал, как ему охота еще раз треснуть меня по голове.

— Не испугался, — сказал я. — Ни капельки не испугался. Увидите, выполню задание и вообще... буду действовать смело и решительно...

Муслим взял меня за руку и потащил вперед. Я только раз оступился на доске, нащупал бак и, с трудом перекинув ногу через высокий бортик, влез внутрь.

— Ты думаешь, я по правде полечу? — тихо спросил я у Муслима.

— Конечно. Ох завидую я тебе! Если б не шлем, ни за что бы не уступил!

— А много пороха под баком?

— Много. Мы его со спичек сдирали. Две тысячи коробок ушло — вон сколько!

— Да, — сказал я и, забывшись, почесал тыльную сторону кастрюли.

Усаживая меня в бак, Муслим говорил:

— Все равно пороха недостаточно. Мы все прыгнем на свободную часть доски, а то ракета не взлетит.

— Заккрыть люк! — скомандовал Али.

Что-то лязгнуло у меня над головой.

«И надо было мне ввязаться в эту историю! — думал я, стараясь забыть о куче пороха под баком. — Успел бы еще на Луну. Куда торопиться? Я приехал, чтобы дедушке трость кушать. Значит, я уже не увижу Устархана? И дедушку не увижу?»

Сердце сжалось у меня в груди, потому что только сейчас я понял: ничего теперь не будет — ни трости, ни школы, ни моего аула, — и я никогда не увижу доброй улыбки бабушки, смешливых глаз Халима, морщинок раздумья на серьезном лбу будущего ученого Ханава...

Я чуть не крикнул, что никуда не хочу улетать. Не полечу — и все! Я хотел сорвать мешок, но вдруг нащупал под мешком и



рубашкой карточку Гагарина и подумал: «В нашем роду не было трусов. Честное слово, я буду решителен и смел. Прощайте, мама и папа, бабушка и дедушка, Фари и Халим!»

Я так подумал, и мне стало спокойнее.

— Поджигаю фитиль! — громко сказал Али. — Ребята, прыгайте все на доску по сигналу. Чтобы отдача хорошая была.

Я зажмурился под кастрюлей. Я не чувствовал, как она неприятно пахнет жесью. Я все повторял и повторял: «В нашем роду трусов не было».

Бах-бах! — раздалось снизу. Это взорвался порох, срезанный со спичек, вытасненных из двух тысяч коробок.

Бах-бах! — ударило снизу. Это разом прыгнули на свободный край доски Иманпаша, Рамазан и мой бывший провожатый.

И я полетел! Ух как я полетел!

Конечно, не все было гладко. Сначала что-то ударило меня в бок. Потом я опрокинулся навзничь. А в самом конце высадил головой, или кастрюлей — это все равно, — неплотно пригнанный люк.

Трррр-рак! — раздался треск за спиной. Полет кончился. Я болтался в воздухе и мог свободно двигать руками и ногами. Может, это и есть состояние невесомости? Или я уже на Луне? Глупый шлем — как он мне мешает!

Взявшись двумя руками за кастрюлю, я сказал ей со злостью: «Ты снимешься или нет?» И она снялась!

Знаете, где я был? Думаете, на Луне? Я был на дереве — вот где! И висел, зацепившись мешком за большую ветку.

Теперь я боялся болтать руками и ногами: чего доброго, сорвешься, упадешь вниз! А до земли не близко. Наверно, метра три-четыре.

Близился рассвет. Предутренний туман белесой паутиной вился между стволами и, поднимаясь ко мне, таял в воздухе. Я заметил внизу остатки ракеты: помятый и обожженный стиральный бак, крышку, которую Али называл люком; тут же валялась перевернутая доска, а чуть в стороне — чурбан.

С грустью смотрел я на искореженные части спутника и пускового устройства. Конечно, у Гагарина все было другое. И ракета. И горючее. И техника на ракетодроме. Откуда это взять мальчишкам?

Ничего... Может быть, я когда-нибудь сяду в настоящую ракету! Может быть, взлечу в космос с настоящего ракетодрома! Мы еще посмотрим, кто раньше — я или Ханав!

Мой скафандр то и дело потрескивал. Что делать? Я негромко крикнул:

— Ребята! Муслим! Али!

Никто не отозвался.

— Иманпаша! Рамазан!

Нет, все убежали.

Я попытался ухватить ветку — не получилось. Только сильнее затрещал мешок.

Я снова пал духом. И было от чего. Устархана не нашел. Трость для дедушки не купил. Нос и уши никак не придут в себя после кастрюли. На Луну не попал, а болтаюсь на дереве. Ну разве есть на свете человек, которому так сильно не везет, как мне?

— Вот он, разбойник! — неожиданно закричали за деревьями, и на поляну выскочил мужчина с ружьем. Сзади, едва поспевая за ним, семенила старушка.

— Не стреляйте! — завопил я, делая отчаянную попытку достать ближнюю ветку.

Мешок затрещал — сначала прерывисто, потом слитно: тр-тр-тр-тррра! Но вот треск прекратился, и у меня в голове мелькнуло: «Падаю!» Через секунду, не успев даже крикнуть, я шлепнулся на землю рядом с остатками первого унцукульского спутника.

ЗНАКОМСТВО С МУСЛИМАТ

Я уже говорил, что ночью, пробираясь к месту запуска спутника, разглядел в саду очертания шалаша. Тогда же я узнал, что садовника зовут Гунаш.

Вот этот Гунаш и привел меня в свой дом. Я был так разбит и истерзан — на лбу громадная шишка, ладони в ссадинах, уши болят, — что ничего толком не мог объяснить. Да Гунаш и не спрашивал. Только хмыкнул и, будто отвечая себе, сказал:

— А я искал-искал — куда это пропал мой мешок? Видишь, как его приспособили?

Жена садовника все время шла сзади и благодарила аллаха за мое спасение. Она поглядывала на меня с жалостью. Едва мы перешагнули порог дома, как на столе появилось молоко и кукурузные лепешки. Потом мне постелили на веранде. Я присел на тахту и сидел так несколько минут, ничего не соображая, пока старушка не помогла мне снять рубаху.

Я спал, как убитый, и, проснувшись утром, подумал: «Неужели все это было — и кастрюля, и мешок, который назвали скафандром, и страшный полет в стиральном баке?»

Посмотрел на ладони — все в кровоподтеках и ссадинах; потрогал шишку на лбу, пощупал уши — больно; значит, ночное приключение совсем не сон.

Облокотившись на бортик веранды, я выглянул во двор. На веревке сушится моя рубашка. Жена садовника сидит подле крыльца и что-то шьет.

Что у нее в руках? Да это мои брюки! Вот тебе и нá — брюки порвал. Теперь от мамы влетит.

И все-таки я легко отделался. Подумаешь, две-три ссадины, шишка на лбу и порванные штаны... Могло быть хуже! Если бы не зацепился я за ветку, а хлопнулся на землю, все бы кости переломал.

Хорошо быть живым! Хорошо, что над головой висят гроздья винограда! Хорошо, что между виноградными листьями просвечивает чистое и синее утреннее небо!

Только обидно, что ребята ночью бросили меня. Разве это товарищески? На Иманпапу и его брата Рамазана я не надеялся. А Муслим и Али — они-то почему сбежали?

Надо им при случае об этом напомнить. Скажу, что друзья так не поступают. У друзей все пополам — радость и горе...

Жена садовника поднялась на крыльцо и вошла на веранду.

— Баловство придумали,— сказала она, укоризненно глядя на меня.— Где это видано — на угольях сидеть?

— Я не сидел.

— Что ж у тебя на задку прожжено?

Действительно, прожжено. И на самом видном месте!

— Это от пороха. Мы хотели на Луну лететь.

Старушка всплеснула руками:

— В моем стиральном баке?

Что я мог ответить? Сказать, что попал в бак случайно,— не поверит. Сказать, что затею с баком придумали Муслим и Али,— выходит, будто я ябедничаю. Лучше помолчать.

Я одевался, а старушка все старалась посмотреть на меня с тыла.

— Ладная заплатка! — восхищалась она.

Нашла чему радоваться! Что в ней хорошего — на километр видно!

Может, старушка и дальше бы восхищалась заплаткой на моих брюках, но ее прервали. За верандой кто-то сказал: «А вот и я!» — и над перилами появилось улыбающееся девичье лицо.

— Салам! — поздоровалась девушка.

Я ответил, раздумывая над тем, где мог видеть ее. В Багда? Нет. Ага, вспомнил — на реке! Ну точно она! Только тогда у нее волосы были растрепаны, а сейчас схвачены платочком.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Сайгид. А тебя?

— Муслимат.

«Неправда, — подумал я, — тебя зовут Устархан».

Мы помолчали. И тут Муслимат рассмеялась, обнажая в улыбке ровные зубы. Мне ее смех не понравился. Может, она вспомнила, как обогнала меня на реке?

— Значит, ты хотел стать первым космонавтом в Дагестане?

— А что? — с вызовом спросил я.

— Ничего. Но кто же летит на Луну в стиральном баке?

— И в баке бы долетел. Не в баке дело. Пороху было мало.

Муслимат снова рассмеялась.

— Тебе вполне хватило! — сказала она и кивнула на мои штаны.

Надо было ответить ей пообиднее, но ничего такого в голову не приходило. Да и что скажешь: заплатка-то есть!

Хорошо, что в этот момент скрипнула дверь, вошел дедушка Гунаш, и Муслимат отвлеклась.

— Тебе медаль положена, — захлебываясь от смеха, сказала она ему. — За спасение неумелого космонавта. Знаешь, что будет на медали? Бабушкин стиральный бак и тот мешок, в котором ты раньше удобрения носил...

Еще секунду назад садовник казался строгим. Его светлые, выпуклые глаза смотрели на меня неласково и пытливо. Ноздри тонкого носа едва заметно вздрагивали, и это тоже, как мне думалось, ничего хорошего не предвещало. Но как только Муслимат заговорила, лицо дедушки Гунаша неожиданно потеплело.

— Эй, баловница, на работу опоздаешь! — заговорил он, обнимая внучку подобревшим взглядом.

— Ой, и правда! — Муслимат бросила в меня виноградину и соскочила на землю. — Пока!

Я даже вслед ей не поглядел. Подумаешь, задается!

— Салам алейкум, — сказал я садовнику, надеясь угодить ему.

Он понял это и улыбнулся.

— Здравствуй, малыш! Откуда ты? Как попал к этим разбойникам?

Я сказал, что приехал из Багда по важному делу еще вчера вечером и ночевал у Муслима, с которым познакомился у реки. А чтобы моим словам было больше веры, назвал свою фамилию и имя дедушки — может, садовник Гунаш знает его?

Конечно, старый Гунаш знал дедушку! Как только услышал его имя, обнял меня и прижал к груди.

— Ты внук Магомеда из Багда? Даже не верится! Что же ты, милый человек, кунака поменял? Тебе у меня надо гостить, а не у Муслима! Ведь дедушка Магомед — большой наш кунак. Я и мой брат Устархан получили истинное удовольствие, когда он приезжал к нам и жил в этом доме.

Устархан — брат садовника? Ну что ж, брат так брат. Сейчас меня уже ничем не удивишь. Все перепуталось и никогда не распутается. Один Устархан подарил трость моему дедушке, другой — плавает в реке, как рыба, и посмеивается над неудачным полетом в стиральном баке, а есть и третий — про него я пока что ничего не знаю.

— Что ж ты стоишь, старая? — сказал Гунаш своей жене. — Угощай гостя! Дорогой гость прибыл к нам из Багда — внук Магомеда, что еще сорок лет назад стал моим названным братом. — Он вдруг с неожиданной веселостью хлопнул себя ладонями по щекам и засмеялся. — Если б не полетел на Луну — не заглянул бы и к нам!

Старушка засуетилась, и скоро на столе стояла целая толпа чашек и пиал, тарелок и блюд. И везде была еда. Да еще какая — холодная баранина, овечий сыр, курица с чесночной подливкой, румяные кукурузные лепешки! Мой живот даже захихикал от удовольствия.

Жена садовника все подкладывала мне лучшие куски, а сам Гунаш ничего не подкладывал, лишь советовал:

— Ешь мясо. Ведь мясо для мужчины — то же самое, что влага для нивы.

Я не отказывался, ел за двоих.

А старый Гунаш задумчиво смотрел на меня.

— Ты и не знаешь, что твой дедушка спас мне жизнь. Слышал, был у него друг — военный доктор Петрович?

Я кивнул:

— Был. Этот Петрович как раз в Багда гостит.

— Неужели? — удивился Гунаш. — Увидеть бы его... Ведь он с самим аллахом схватился! И победил — вот какая сила дана Петровичу!

Теперь настала пора удивляться мне:

— С аллахом? Как это было?

Дедушка Гунаш вытащил платок, протер глаза.

— Плохо видеть стал, — вздохнув, пожаловался он. — Но молодость не забывается — вот она, перед глазами стоит! Ну слушай...

И старый Гунаш начал свой рассказ.

КТО СИЛЬНЕЕ — АЛЛАХ ИЛИ ПЕТРОВИЧ?

— Выбросили мы с нашей земли полки Деникина, разгромили шайки имама Гоцинского. Наступил мир. Распрощались горцы с винтовками и саблями, взялись за лопаты и кирки.

Как сейчас помню, созвал нас бегаул на годекане, чтобы ленинские слова передать. А слова были такие: «Вы — хозяева своей земли. Так сделайте ее щедрой и красивой. Поднимайте народное хозяйство».

А от себя бегаул сказал: «Первым делом надо провести воду в столицу Дагестана. Сердце не может жить без крови, город не может жить без воды».

Десять человек из Унцукуля вызвались строить канал, чтобы чистая вода гор пришла в Махачкалу. Мы с Устарханом тоже вызвались.

Дело было к осени. Наступили холода. Но это не остановило людей. Казалось, весь горный Дагестан съехался в Бавтугайскую долину. Одни с лопатами и мотыгами, другие — возчи-

ками на арбах, третьи — с корзинами для переноски земли. Пыль стояла облаком над долиной, лязг лопат был громче горных обвалов.

Когда я смотрел на своих земляков, забывших сон, смеющихся над холодным ветром и голодом, вспоминалась мне мудрая пословица предков: «Одному и камень сдвинуть не под силу — народ горы сдвинет!» И сдвигали горы! И затачивали ремни, чтобы укротить голод. И наперекор стуже пели песни на всех языках Дагестана — на аварском, лакском, кумыкском, даргинском, лезгинском, татском...

Но вскоре новые испытания выпали на долю строителей канала — началась эпидемия брюшного тифа.

Многих увезли в больницу. А когда она переполнилась, стали отправлять в аулы. Но некоторые остались на стройке; больные, в тифозном жару, они работали из последних сил.

Устархан заболел. Весь день он долбил камень, а вечером упал лицом на землю и не поднялся. Я хотел перенести брата в палатку. Но не смог — сам ослабел.

В эту минуту и подошел ко мне Магомед из Багда.

Он сказал: «Лежи, Гунаш, сейчас приду за тобой». И, подняв Устархана, понес его в палатку.

Мы лежали с братом под брезентовым пологом. Устархан не приходил в себя. Я отказывался от воды и пищи, день и ночь молил аллаха о помощи.

Темным был я тогда. Новое в моей душе проросло медленно, трудно. Мешали ему сорняки суеверия, посеянные муллами. Я верил в дело Ленина. Но я верил и в аллаха. Я не боялся трактора — он появился на стройке совсем недавно и кое-кто называл его шайтаном. Но я пуще смерти боялся потерять свой талисман — маленький кусочек свинца на шелковом шнурке.

И теперь, заболев, я уповал на аллаха. Я не выпускал из рук талисмана.

Когда мне стало совсем плохо, Магомед сказал: «Гунаш, дорогой, хочешь, я приведу русского хакима? Он вылечит тебя».

Я ответил ему глазами: не надо. И тут же прижал к груди талисман, повернулся к востоку и сотворил намаз.

Но настал день, когда талисман выпал из моей слабеющей руки. Я умирал. Даже в эти минуты в мыслях у меня был ал-

лах: если мне суждено уйти из жизни, значит, так угодно аллаху, великому и карающему!

Магомед снова склонился надо мной: «Разреши привести русского хакима. Он мой кунак и сделает все, чтобы поставить тебя на ноги». Я прошептал: «Не хочу».

Ночью сознание покинуло меня. Тогда Магомед пошел за своим другом Петровичем.

Аллах хотел моей смерти — Петрович не хотел ее.

Аллах посылал жар — Петрович сбивал жар таблетками.

Аллах сушил мои губы и рот — Петрович освежал их клюквенным соком.

Аллах мутил мой разум, выматывал тело дрожью — Петрович делал уколы, и разум возвращался, а озноб и дрожь уходили. И Петрович победил!

Мы с Устарханом в один день открыли глаза, вернулись к жизни. Магомед и Петрович стояли поодаль и улыбались — они сами были худы и бледны, словно только-только поднялись с больничной койки.

Я показал пальцем на русского хакима и сказал, еле двигая языком: «Как ты смог победить аллаха?»

И Петрович ответил: «Я победил его знаниями!»

И тут я сорвал с шеи шнурок с кусочком свинца и отбросил его в сторону...

Мы еще долго были вместе: я, Устархан, твой дедушка Магомед и его друг — Петрович. Мы сдвигали горы, рыли канал и дали Махачкале воду, вкусней которой нету.

Много этой воды утекло с той поры. Мы редко виделись — у каждого были свои дела. Но память о Магомедиз Багда и Петровиче из Москвы — она здесь. — Гунаш приложил ладонь к сердцу. — Я старею, а она все так же молода. Я умру, и она умрет вместе со мной. Постарел, наверно, Магомед?

— Нет, — ответил я. — Только хромает, с палкой ходит.

— Я знаю. Ведь это мой брат подарил ему трость.

— Устархан? — вырвалось у меня.

Старый Гунаш кивнул.

— Ты знаешь, кому сначала предназначалась эта замечательная трость? Ленину! Послушай-ка еще одну историю...

И он повел свой второй рассказ.

ЗАЧЕМ ЛЕНИНУ ДВАДЦАТЬ ТРИ ТРОСТИ?

Да-да, Устархан делал трость в подарок Ленину! Вот как это было...

В один из последних дней осени двадцатого года мы сидели на годекане и вели неторопливую беседу.

Вдруг раздался топот коня — это скакал вестовой из Махачкалы. «Эй, друг, какие новости везешь?» Вестовой, придерживая коня, ответил: «В Москву, к Ленину, собирается делегация горцев Дагестана».

Старый Кебéd тут же сказал: «Горцы щедро одаривают своих кунаков. Ленин — самый дорогой кунак. Негоже идти к такому человеку с пустыми хурджинами!»

Другой старик сказал: «А есть ли в наших краях то, что может понравиться отцу народов — Ленину?»

Тогда заговорил Кебед: «Золотом и драгоценными камнями мы не владеем. Да Ленину этого и не нужно. Подарим ему изделия унцукульских резчиков и чеканщиков».

И каждый в эту минуту спросил себя: какой подарок приготовить Ильичу? Я тоже так подумал. И решил: «Сделаю трость».

Ты сын гор, и тебе известны наши обычаи. Если сошлись на годекане два брата или отец и сын, младший не может встать и уйти раньше старшего.

Я жаждал приступить к работе и с нетерпением смотрел на Устархана: когда он кончит беседу? И как только он поднялся, я бросился домой.

В то время я уже считался неплохим мастером. Но с Устарханом, конечно, соперничать не мог. В искусстве резки и чеканки он затмевал всех. Однако я не думал о поражении — мне казалось, что я смогу сделать в подарок Ленину такую трость, какой в Унцукуле еще не видывали.

Я торопился к верстаку, мысленно рисуя узоры, что должны были украсить мою трость.

За три дня я справился с работой. Последний серебряный узор был нанесен вечером. И тут, не выдержав, я сунул трость под полу черкески и поспешил к брату. Я нашел его склонившимся над верстаком, с инструментами в руках. Устархан огля-

нулся, и я увидел на верстаке мастера необыкновенно красивую трость.

«Кому это ты сделал?» — спросил я, хотя знал, что ответит брат. «А ты кому? — Устархан улыбнулся и указал взглядом на полу моей черкески. — Ну-ка, покажи».

Я вытащил трость. Не скрою, когда брат рассматривал мою чеканку, я весь дрожал, будто находился перед судом Азраила. Одно холодное слово его окутало бы меня мраком. Одна похвала — вознесла бы к солнцу.

Поглядев мою работу, Устархан удовлетворенно кивнул: «Неплохо».

За разговором мы не заметили, как вошел Саад. Он засмеялся, протягивая нам свою трость: «Поглядите и эту!»

Мы стояли в растерянности, когда появился Кебед. Он принес еще одну трость — четвертую.

«Иях, что такое? — удивленно воскликнул он. — Я думал, у моих соперников фантазии побольше!»

И снова все лучшие мастера Унцукуля сошлись на годекане. Каждый принес свою работу. И у всех были трости — двадцать три трости, можешь мне поверить.

Первое слово произнес Устархан: «Мы сами виноваты, что так получилось. Надо было посоветоваться. Вот что я хочу спросить у вас: разве Ленину нужна трость? Он молод и может обойтись без трости. Подумаем сообща: в чем у Ленина нужда, что ему сейчас больше всего пригодится?»

И все согласились с Устарханом и стали думать.

Саад сказал: «Ленин много пишет. Сделаем письменный прибор. Если на его столе будет чернильница унцукульцев — он нас не забудет. Чернильницу сделай ты, Устархан. Я сделаю ручку, и пусть Ленин пишет ею свои мудрые законы».

Тогда другой мастер, Магомед, сказал свое слово: «Я сделаю два подсвечника. Они пригодятся Ленину в часы ночной работы».

Кебед рассмеялся: «Неужели у Ленина нет лампы? Даже у нашего муллы две керосиновые лампы. А у Ленина, поверьте мне, не меньше пяти!»

«Лампы копят, — заметил Устархан, — а свечи — нет. Делай, Магомед, подсвечники».

Тут и хромой Хамид вступил в разговор: «Вы знаете, я повидал свет — был в Персии и во Франции. Посетил я как-то одного ученого человека. На столе у него лежал деревянный нож — он им книги разрезал. Почему бы мне не сделать такой нож для Ленина?»

Я не хотел отстать от других и мучительно думал: «Чем бы обрадовать Ленина?» Мой взгляд упал на трубку брата. Она придавала Устархану серьезный, мужественный вид. И тут меня осенило: «Надо сделать Ленину курительную трубку. Чтобы каждый, глядя на трубку в его зубах, подумал то же самое, что подумал я о брате!»

«Позвольте сказать мне, почтенные люди, — начал я. — Мне хочется сделать Ленину трубку. Пусть он убедится, что табак в трубке унцукульцев пахнет особенно!»

Устархан остановил меня: «Но курит ли Ленин?»

Все переглянулись, не зная, что сказать.

И тут один из самых уважаемых мастеров, Усман, заявил: «Конечно, курит! Он много думает, устраивая жизнь народов. Когда много думаешь — много куришь. Гунаш хорошо придумал, пусть делает трубку!»

«А что решил ты?» — спросил Устархан у Кебеда.

«Как хотите, — сказал мастер, — только я все равно pošлю Ленину свою трость. Пока он молод — унцукульский скакун постоит в углу. А будет нужда — подставит плечо под руку Ильича, и тогда Ленин вспомнит старого Кебеда».

Годекан опустел. Резчики и чеканщики уже не появлялись здесь — некогда было, готовили они свои подарки Ленину.

К зиме работа была закончена. Собрался Устархан и повез унцукульские изделия в Махачкалу. Делегация горцев Дагестана захватила их с собой в Москву.

Ленин принял горцев с почетом. Подарки ему понравились. Он восхищался мастерством унцукульцев и просил передать им благодарность.

И сейчас те, кому выпадет счастье побывать в кабинете Ленина, в Москве, говорят, что чернильный прибор, подсвечники и моя трубка по-прежнему украшают стол Ильича.

Ленин-то, оказывается, не курил. Но в тот день, когда встретился с горцами, он этого не сказал — не хотел гостей обижать.

Долго рассматривал трубку и нашел ей место рядом с чернильницей Устархана.

А что случилось с тростью Кебеда, ты хочешь узнать? Одни говорят, что унцукульский скакун из кизила так и стоит в своем старом стойле, в углу ленинского кабинета. Другие спорят: не стоит, Ленин-де передал трость в музей, чтобы люди могли любоваться необыкновенными узорами, вытисненными на полированном кизиле старым Кебедом.

Так или не так — не мне судить, я ведь в Москве не бывал. А вот историю трости Устархана я знаю доподлинно. Долго висела она на стене, наверное, до того самого дня, когда умер Ленин. О, малыш, черный это был день для нас!..

Вскоре после этого заглянул я к брату и сказал: «Зачем тебе трость? Продай ее». Устархан покачал головой: «Нет. Я подарю эту трость нашему кунаку — Магомеду из Багда». И через месяц хозяином замечательной трости стал твой дедушка.

— А я сломал трость, — заговорил я. — Нечаянно...

— Жаль, — заметил Гунаш. — Такой красоты уже не найдешь.

— А если попросить Устархана? — спросил я. У меня была надежда, что брат Гунаша не откажется помочь мне, сделает новую трость. — Где же Устархан?

Старый садовник снова вытащил платок и вытер вдруг застезившиеся глаза.

— Устархан недалеко, — сказал он. — Сейчас мы его найдем. — Он встал, приглашая меня последовать за ним.

Мы спустились в сад. Я думал, что Гунаш направится к Унцукулю, дома которого начинались сразу за оградой, но старик повернул в поле. Странно, Устархан же не в поле живет! Но вслух я этого не высказал.

— Посмотри, как красив наш аул, — сказал Гунаш, замедлив шаги и оборачиваясь на ходу. — Весь в садах! Хорошо мы живем — ханам не снилась такая счастливая жизнь! А ведь когда-то унцукульцы были самыми последними бедняками. Знаешь, как родилось искусство резчиков и чеканщиков? Знаешь, почему моего брата называли Устарханом — отцом мастеров? Не знаешь — тогда слушай внимательно...

И старый Гунаш начал свой новый рассказ.

О ПОЛЬЗЕ ТРОСТНИКА И О ТОМ, КАК АБАСХАН СТАЛ УСТАРХАНОМ

Много веков тому назад унцукульцы считались последними бедняками. И ведь не были ленивы, и отцы не обделили их способностями. А все дело в том, что земля у нас скудна. Под ногами скалы, кругом скалы, даже над головой — скалы. А есть надо. И унцукульцы носили землю из долин в мешках и корзинах, укладывали ее на террасы гор и сеяли там кукурузу, сажали плодовые деревья. Только сказано: как ни латай старый бешмет, новым он не станет. И жалкие наделы на горных склонах не могли прокормить унцукульцев.

По берегам реки у нас всегда рос тростник. До поры до времени никто на него внимания не обращал. И вот как-то раз один унцукулец собрался ехать в долину за солью. Чтобы не гнать осла без поклажи, решил навьючить на него тростник: может, кому-то приглянется этот товар?

В дороге встретился с путником. Тот и говорит: «Добрый человек, дай мне одну тростинку». Одну-то не жалко, дал. Поглядел путник на тростинку, заметил, что она ровная и ножу податлива. Тут же достал кинжал и на глазах у унцукульца сделал красивую ручку для хлыста. «Ну что ж, — говорит, — понравился мне товар. Вот тебе деньги, давай свой тростник».

С той поры унцукулец занялся продажей тростника. За ним и соседи потянулись: тоже базарганами стали. Только недолго это шло. Кто-то из унцукульцев — кто, не знаю, имя его унесла река времени — не поехал на базар, а взял в руки нож и сделал первую ручку для хлыста. Потом, глядишь, и за трость принялся — получилась и трость!

Скоро все жители аула в мастера записались. Сначала по тростнику работали, а дальше — по дереву. Кизил, орех, абрикос — все в дело пошло. Точили наши умельцы мундштуки, подставки для карандашей, кубки и трости. Возили свои изделия на продажу в Баку и Тифлис. Потом и в Москву отправились. Сейчас наша работа во всем мире известна. На многих выставках — в Нью-Йорке, в Брюсселе, в Токио — изделия унцукульцев медалями отмечены. И то сказать, мы резке и чеканке отдали свое сердце, а сердце народа всякое дело красит!..

Гунаш замолчал, и тут я с удивлением и тревогой увидел, что мы стоим у ограды кладбища.

«Неужели Устархан умер?» — подумал я.

Старый садовник позвал меня взглядом и медленно зашагал по густой траве туда, где под развесистыми деревьями стоял высокий могильный камень. Могила была обнесена деревянной решеткой. На камне виднелись надписи: одна — арабская, другая — понятная, русская.

Я прочел: «Абасхан Юсуфов (Устархан). 1853—1963 гг.».

— Вот дом моего брата, — грустно сказал Гунаш. Он стоял, опершись на трость, и только сейчас я заметил, как он стар — спина горбится, шея худа и морщиниста, а рука, лежащая на трости, вся перехвачена синими веревочками жил.

Я снова перевел взгляд на могильный камень.

— А почему здесь написано «Абасхан»? И почему имя Устархан взято в скобки?

— Иях, разве я не говорил тебе? — удивился Гунаш и, вспомнив молодость брата, сам чуточку помолодел. — Абасхан — такое имя наш отец дал первенцу. Когда Абасхану исполнилось двадцать пять лет, отец сказал: «Мой сын, ты вошел в пору зрелости. У твоих сверстников дети уже бегают. А ты, видно, и не думаешь о женитьбе». Абасхан ответил: «Отец, твоё желание для меня — закон. Я готов жениться. Но подожди немного — я хочу кончить работу и накопить деньги на свадьбу». Отец согласился. Он знал, что разговор о деньгах — только предлог. На самом деле Абасхан озабочен иным — как бы отобрать славу лучших резчиков и чеканщиков у другого рода.

Издавна в нашем ауле шло соревнование между мастерами. Каждые пять лет резчики и чеканщики показывали друг другу



свои лучшие изделия. Хорошо, если кто-то находил новый узор. Еще почетнее, если в руках мастера рождалось новое изделие. Но вершиной считалось новое изделие, покрытое новыми узорами.

Победителю в этом соревновании старейший мастер вручал мундштук, сделанный своими руками. И вместе с мундштуком — славу первого искусника, первого художника среди унцукульских резчиков и чеканщиков.

Сначала мундштук был у нашего отца. Но незадолго до совершеннолетия Абасхана он перешел к представителю другого рода. Отец и Абасхан тяжело переживали это поражение.

У Абасхана была светлая голова и золотые руки. Увидев новый узор на ковре или на серьгах, он мигом переносил его на дерево. Он и сам придумывал новые узоры.

Искусство не терпит суеты и торопливости, дорогой мальчик! И мой брат не спешил. Он шел к цели медленно, но верно. Он был сосредоточен. Одна мысль владела им: отнять первенство у другого рода! Летом, на берегу реки, зимой, на дороге, на песке и на снегу рисовал Абасхан свои узоры. Даже ночью не гас свет в той комнате, где была мастерская.

И вот наступил день, когда резчики и чеканщики Унцукуля показали плоды своего труда. Много красивых изделий выставили они. Ручки для хлыстов. Кубки для вина. Трости с серебряной насечкой. Но никто не сумел сделать того, что сделал Абасхан: он выточил из дерева ступку с пестиком и украсил эти вещи затейливыми узорами. Таких узоров не видели в Унцукуле!

Мастер Курбан, старейший в роде, обнял моего брата: «Ты первый среди нас. Ты не Абасхан, а Устархан!»

С этого дня брата стали звать Устарханом, что значит — повелитель искусных и умелых.

После революции все унцукульские мастера объединились в артель. Теперь они работали в светлых и оборудованных мастерских. За три года до смерти Устархан пришел в цех к резчикам и чеканщикам. Ему показали лучшие изделия. Он спросил, указывая на один кубок: «Кто создал эту красоту?» И услышал в ответ: «Казимагьма». Брат позвал мастера и сказал: «Лучшие резчики и чеканщики аула нарекли меня Устарханом. Я стар и

не могу больше носить почетное имя. Разве нет в Унцукуле новых умельцев? Разве наше искусство не стало прекраснее, питаюсь соками сегодняшнего дня? Судя по этому кубку, ты, Казимагома, первый искусник и умелец. Я передаю тебе свое имя — Устархан. А ты передашь его тому, кто опередит тебя в мастерстве».

А потом Абасхан покинул нас...

— Дедушка Магомед не знал, что Устархан умер, — сказал я. — А то бы приехал...

Тихий ветер шевелил листья деревьев, осенивших могилу Устархана прохладной, траурной тенью. Мне было грустно. Я подумал: «Неужели я тоже когда-нибудь умру и надо мной поставят могильный камень?»

— Страшно умирать? — спросил я у Гунаша.

Он взглянул на меня внимательно и серьезно.

— Не страшно, если жил хорошо, если оставляешь о себе большую и добрую память...

ПУТАНИЦА РАСПУТЫВАЕТСЯ

Гунаш ушел домой. Я не сказал ему, что иду к новому Устархану — Казимагоме. Он бы вызвался, наверно, проводить меня. А мне не хотелось утруждать старика.

Цехи унцукульской фабрики стояли в низине. Надо было пройти через весь аул и спуститься под гору.

В дороге я думал, как встретит меня Казимагома. Если б был жив брат Гунаша, он бы мне не отказал. А Казимагома — другое дело. Кто я ему? И дедушку Магомеда он не знает. Скажет: «Тебе нужна трость? Шагай в магазин». Что тогда?

Цехи были рядом. Чем быстрее приближались два широких одноэтажных здания, сверкавших светлыми окнами, тем больше я боялся встречи с Казимагомой. Я уверял себя, что новый Устархан не поможет мне, и была минута, когда я чуть было не повернул обратно.

Во дворе я заметил большую Доску почета. Мне бросилась в глаза фотография Муслимат. У Муслимат было такое выражение лица, будто она хотела сказать: «А-а, это ты! Как видно, по-

роха было достаточно — заплатку на твоих штанах лишь слепой не заметит!»

Я быстро перевел глаза. С другой фотографии на меня смотрел уса́тый мужчина. Видать, он серьезно ухаживал за своими усами — подбрил их, подкрутил. Брови у мужчины были лохматые, густые.

«Казимагома», — прочел я под фотографией.

Во дворе пахло свежей стружкой; иногда ветер перебивал этот легкий аромат сильным и резким запахом лака. Из окон несло визгливое рокотание механической пилы.

Я заглянул в цех. Здесь, боком к свету, сидели на приземистых табуретках резчики и чеканщики. На всех были рабочие фартуки. Занятые своим делом, они не разговаривали. Один махал топориком, другой орудовал молотком.

Казимагома сидел в самом углу. Я узнал его по красивым усам: они были так же аккуратно подбриты и закручены, как на фотографии. В левой руке мастер держал ковш, в правой — напильник. Склонившись над верстаком, он усердно работал.

Наконец Казимагома отложил напильник, поставил ковш перед собой и, сузив глаза, стал рассматривать свою работу. Кажется, ковш ему понравился, потому что он вдруг удовлетворенно улыбнулся и погладил усы.

Вслед за этим он встал и направился к двери.

— Ты откуда? — спросил он, заметив меня. — С экскурсии? — И, не ожидая моего ответа, обернулся к мастерам и сказал так громко, что его слышали все: — Смотрите, скоро к нам приведут гостей из детского сада!

Мне было обидно слушать его. Значит, я вроде первоклашек?

— Не с экскурсией я. Меня к вам послали...

— Кто же это? — удивился мастер.

— Дедушка Гунаш. Вы ведь Устархан?

Казимагома сделал языком: «Тц, тц...»

— Это имя теперь у другого, — сказал он, и в его темных глазах можно было прочесть маленькую досаду. — Работы у меня много. Пойдем, провожу тебя. Ты видел, как делают трости?

Нет, я этого не видел! И Казимагома, вдруг забыв о своей работе, принялся с жаром объяснять мне, как подбирают дере-

во, как сушат его и распрямляют, как полируют и наносят чеканку.

Он повел меня на склад, где в высоких штабелях хранились стволы кизила и абрикоса. Тут же лежали толстые виноградные лозы — Казимагома сказал, что они идут на поделку.

Выбрав кизиловую заготовку, мастер положил ее на электрическую печь. Когда ствол нагрелся, Казимагома закрепил его на козлах. Сгладил неровности стамеской, прошелся поверху рубанком, отпилил оба кончика.

— Готово. — Он протянул мне палку. — Теперь надо украсить ее серебром и отполировать. Интересно?

Конечно! Что за чудо ловкие и умелые руки!

Я посмотрел на свои руки, словно хотел спросить: а что можете вы? Писать? Рвать сорняки в поле? Играть в волейбол? Не так уж много.

Но, наверное, дело не в одних руках. Вот Камиль, например, мастер своего дела, руки у него умелые. А душа какая? Разве его поставишь рядом с моим отцом, с дедушкой, с Устарханом? Нет. Чтобы жить хорошо и оставить о себе большую и добрую память, нужно иметь светлую, честную душу. Это главное!

— Ну, пошли к нашей лучшей мастерице, — заторопился Казимагома.

Вот интересно: значит, имя Устархан отобрала у Казимагомы женщина? И тогда то, что еще недавно казалось мне запутанным, прояснилось. Я нашел ответ на загадку, которая так долго мучила меня. Все просто; перед смертью Абасхан назвал Устарханом Казимагому, а тот, в свою очередь, уступил почетное имя Муслимат.

Если это так — трости мне не видать!

А может, я ошибся и Муслимат никакой не Устархан?

Я выдал себя растерянным взглядом. Казимагома тут же заметил его и сказал:

— Видишь, как бывает: девчонка от пола два вершка — и взяла верх над мастером, который вывел свой первый узор за долго до ее рождения. — Казимагома пожал плечами, и было непонятно, то ли он негодует, то ли удивляется. — Женщины мастерят кубки и трости. Женщины водят тракторы. Женщины летают в космос. Что за времена настали!.. Поверь мне, будет

день, когда нам с тобой придется мыть посуду и штопать носки.

Я представил себе, как большой и усатый Казимагома штопает носки, и чуть не засмеялся.

Мы вошли в узкую и длинную комнату. Я ожидал, что увижу одну Муслимат, но тут было не меньше десяти девушек, и все они выглядели близнецами. Одна Муслимат, вторая Муслимат — десять Муслимат! Какая же из них настоящая?

Казимагома отступил в коридор и поманил меня толстым пальцем. Он кивнул на дверь и зашептал:

— Я сам удивился, когда школьный учитель привел их ко мне и попросил обучить нашему делу. Иях, девчонку хотят выучить строгать и пилить! Я прямо руками развел. Говорю учителю: «Это не девичье дело, пусть ткут ковры и возьмется с посудой». Ты думаешь, он согласился со мной? Не тут-то было. На следующий день привел старого Гунаша. Я стоял перед Гунашем, как послушный сын, и не смел глазом моргнуть, слушая его. А Гунаш сказал: «На своем долгом веку я видел женщин, которые все делали лучше мужчин — и воевали, и трудились! Учи девочек. Я верю, что они станут настоящими мастерами». И учитель стал каждый день приводить в цех этих стрекоз. Я отказался обучать их — мужская гордость не позволяла. Этим занимались другие мастера. Я делал свою работу. А если иногда и поглядывал на девчонок, склонившихся над кубком или тростью, то лишь затем, чтобы еще раз подумать: «Пустое дело! Ничего у вас не выйдет!» Однажды ко мне подошла одна из учениц — маленькая, смугленькая, ну прямо мышка. «Что надо?» — спрашиваю. Она говорит: «Посмотрите, какую палку я сделала». Я взглянул. Что такое — почему на палке нет закругления? Хотел сразу сказать: «Наши отцы были не глупее тебя, а делали трости с набалдашниками. Зачем набалдашник не сделала?» Но слова застряли у меня в горле, когда я рассмотрел узоры на палке. Не стану врать, таких узоров я не видел! Спрашиваю: «Откуда взяла узор?» Отвечает: «Выдумала». Ну и ну, тут полгода сидишь над одной фигурой, а она мгновенно всю композицию придумала! Говорю: «Сделай еще что-нибудь». Принялась она за работу. Я уж свое дело забросил, за ученицей наблюдаю. А она нашла деревяшку в отходах — да к токарному станку. Возилась недолго, минут десять — пятнадцать. Потом

уселась за верстак чеканить. Что зря говорить, к концу рабочего дня приносит мне брошь — не брошь, а чудо! По форме на унцукульскую грушу похожа. В середине — серебряный голубь с распростертыми крыльями. А вокруг — чеканная цепочка. И каждое звено цепочки — это ромашка. Ты когда-нибудь видел подобное?

Я хотел сказать, что не видел, но Казимагома будто сорвал эти слова у меня с языка.

— Не видел! Такого чуда никто не видел! У этой стрекозы — талант! Я б не знал, как поступить, если бы не заметил насмешливых взглядов мастеров. Эти взгляды говорили: ты побежден, Казимагома! У меня не было другого выхода — я спросил: «Как зовут тебя?» Девочка ответила: «Муслимат». Тогда я подозвал мастеров: «Вы видите эту брошь? Ничего подобного не сделал бы и Абасхан. Девочка по имени Муслимат, я передаю тебе свое звание. Теперь ты — Устархан!»

Казимагома вздохнул: видно, тяжело ему было рассказывать о поражении. Я его понимал: и сейчас я боялся признаться себе, что плаваю хуже Муслимат.

— Вон она, — сказал мастер, показывая на ту девушку, что была ближе ко мне.

Теперь я узнал Муслимат. Как я мог спутать ее с другими?

— Гляди, кажется, опять что-то придумала, — с оттенком зависти прошептал Казимагома и чуть не оторвал свой аккуратный ус. — Ладно, пойду работать...

Муслимат чеканила новый узор на трости. Она уже нанесла рисунок и теперь делала резцом маленькие канавки. По мере того как канавки росли, в них укладывали мельхиоровую проволоку, которую Муслимат быстро, будто дятел, вколачивала молоточком.

В наших краях старики горцы не выйдут из дому без трости. Если каракулевая папаха подчеркивает достоинство мужчины, то красивая трость в узловатых руках говорит, что хозяин ее — человек серьезный, почтенный, уважаемый.

Я за свою жизнь столько тростей видел — не сосчитать. Прямых и с набалдашником. С дарственными надписями и без надписей. Гладких и с орнаментом. По дедушкиной трости, например, ползла змея, а на некоторых других, что попадались мне



на глаза в Багда, скакали горные козлы и бегали волки.

Но Муслимат, казалось, не знала и знать не хотела о тех узорах и фигурках зверей, которые были до нее. Она все делала по-своему!

Я пригляделся. Вот чудно: по трости разбежались затейливые птичьи следы!

Конечно, змея, украшавшая дедушкину трость, была сделана очень искусно. Но топорпливые птичьи следы на

коричневатом орехе выглядели еще красивее.

Не зря Казимагома завидовал Муслимат! Я тоже сейчас ей завидовал. Ну почему мне ничего хорошего в голову не приходит? Все кругом что-то выдумывают: папа мой сделал приспособление к транспортеру, Ханав ищет новую пасту для шариковой авторучки, Муслимат создает невиданные композиции, при взгляде на которые Казимагома готов распрощаться со своими красивыми усами! А я? Может, нет у меня никаких способностей и я всю жизнь буду завидовать другим?

«Кем же я стану?» — задал я себе вопрос и впервые не нашел ответа.

А трость Муслимат украшалась все новыми и новыми узорами. Появился венчик у набалдашника. Потом на венчик сел серебряный голубь...

Эх, мне бы эту трость для дедушки!

Я набрался смелости и тихо позвал:

— Муслимат... Устархан...

Моя знакомая подняла голову. Сначала она, наверное, не увидела меня, потому что мысли ее были с голубем — он сидел на серебряной жердочке и в любую минуту мог сорваться и полететь в синее небо.

Потом она тряхнула челкой и заметила меня. Я на всякий случай прижался заплаткой к стене.

— Космонавт явился! — весело сказала Муслимат. — Девочки, я вам говорила, он в нашем стиральном баке на Луну хотел улететь...

Десять девушек подняли головы и уставились на меня.

— Летел на Луну, а попал на дерево, — продолжала Муслимат.

Десять девушек дружно захохотали. Одна даже закашлялась, так ей стало смешно.

— Да хватит вам, — сказал я, не желая ссориться. — Ну не получилось. В следующий раз получится.

— Конечно. — Муслимат подмигнула подругам. — Обязательно получится. Только приготовь новые брюки.

— Эх, ты!.. — сказал я.

Десять девушек захлебывались от смеха:

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!

Я скривил лицо и, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь, передразнил:

— «Ха-ха! Хи-хи»!

И выскочил за дверь. Сзади раздался голос Муслимат:

— Сайгид!

Но я не обернулся.



ЭТО БЫЛ НЕ МОЙ ЦАПА...

Не мог же я измениться за два дня! Ноги те же. Руки те же. Голова та же. А вот все-таки изменился! Раньше каждая мелочь меня задевала. Чуть что случится — сердце камнем летит вниз. Проиграю в альчики — иду домой, а на уме такие мысли, будто я последний день на свете живу.

И в тот момент, когда сломалась дедушкина трость, мне хо-

телось испариться, улететь из аула, как воздушный шарик. Чтобы никто меня не видел. Чтобы никто не ругал. Чтобы забыть обо всех.

Теперь я немножечко закалился. И кажется, понял дедушкины слова: «Мужчина должен смотреть беде в глаза».

Смотреть беде в глаза — значит, не распускать юни, не сидеть сложа руки, а делать так, чтобы все было хорошо!

Потерпев неудачу в цехе, я не пал духом. Ну не даст мне Муслимат трость — что с того? На ее трости свет клином не сошелся. Пойду в магазин и куплю люблю!

Неподалеку от высокой фигуры Махача Дахадаева был универмаг. Я его еще вчера вечером приметил.

Я подошел к витрине и растерянно остановился: почему в магазине никого нет? Я видел прилавок. Я видел штук двадцать красивых тростей — одни лежали на полке, другие устроились в углу. Не было только продавца. Может, сейчас обеденное время?

Кто-то тихо подобрался сзади и прикрыл мне глаза ладонями. Я попытался оторвать их, но меня держали крепко.

— Хватит! — разозлился я. — Кто это? Муслим?

— Угадал! — отозвался знакомый голос.

— Шутки у тебя какие-то глупые, — сказал я Муслиму, недовольно глядя на него. — И вообще не по-товарищески вы поступили: бросили одного. Струсили? А еще говорил: я медовое яйцо съел, ничего не боюсь...

Муслим простодушно улыбнулся и развел руками.

— Все побежали, и я тоже. А медовое яйцо — это ж так, понарошку.

— Очень жаль, что понарошку, — сказал я, отворачиваясь.

— Не злись, — заговорил Муслим, ласково дотрагиваясь до моего плеча. — Что мы могли сделать, если дедушка Гунаш проснулся? Он не любит, когда в саду озоруют.

Все правильно: тут хоть кто испугается, если на тебя с ружьем идут. И все-таки слова Муслима не убедили меня. Я бы, например, товарища в беде не оставил.

— Ладно, — сказал я. — Только учти, летать в стиральном баке не буду. Все штаны из-за вас прожег.

Муслим отступил на шаг и принялся рассматривать мою заплатку.

— Как тарелка!

— Это у тебя глаза как тарелки! — не выдержал я. — Подумаешь, заплатку увидел. У меня на всех брюках заплатки — и ничего! — Я махнул рукой. — Что об этом говорить — мне трость надо достать.

Муслим кинул взгляд на витрину.

— Сегодня не купишь. Закрыто.

Закрыто? Почему закрыто? Я бросился к двери универмага. За стеклом висела картонка с надписью: «Выходной».

И тут ко мне пришло вчерашнее настроение. Я решил, что весь Унцукуль ополчился против меня. Даже большой замок, что висел на двух ушках, казалось, ухмылялся: «А вот и не пушу!»

Я со злостью толкнул его и не преминул заметить Муслиму:

— Все у вас неправильно. В Багда магазины работают без выходных.

— Завтра купишь, — сказал Муслим.

— «Завтра, завтра!» Меня сегодня дома ждут!

Сказав это, я мельком взглянул на лицо Муслима и заметил, что смотрит он не на меня, а куда-то в сторону. Что он там увидел? Ага, за углом универмага прячется Иманпаша!

«Вах, опять что-то замышляют», — с тревогой подумал я.

В следующую минуту Иманпаша вышел из своего убежища. Толстые губы его странно шевелились. Я посмотрел на них и решил: «Точно. Опять что-то придумали. Берегись, Сайгид!»

— Пошли? — закричал Иманпаша, обращаясь к Муслиму.

— Пошли, — сказал тот.

— Куда это? — настороженно спросил я.

— К его дяде, — сказал Муслим.

— А у его дяди есть стиральный бак? — выпытывал я.

— Наверно, есть, — ответил Иманпаша.

— И кастрюля?

Иманпаша еще больше растопырил свои губы. Теперь верхняя слегка задевала нос.

— Есть.

— А мешок?

— И мешок найдется.

Вдруг Иманпаша отступил назад, взглянул на Муслима и повертел пальцем у виска.

— Вах, у него шарик за ролик заехал!

Я усмехнулся:

— Это у тебя ролик за шарик заехал! Тьфу ты, шарик за ролик! Хватит, меня не проведешь — я в стиральном баке летать не хочу!

— Никто тебя и не заставляет,— сказал Муслим.

— Ха-ха!..— засмеялся я одними губами.— Теперь пусть Иманпаша летит — у него штаны целые...

— А вот и не целые! — счастливым голосом закричал Иманпаша.— С заплаткой! — И он повернулся к нам спиной: на штанах действительно была заплатка. Не такая, как у меня, но все-таки заметная.

— Полеты мы временно отложили,— сказал Муслим.— Горячего нет. Мы сейчас другое задумали.

— Что еще?

— Хотим в школе музей организовать.

— А если музей, зачем Иманпаша подглядывал, зачем прятался за углом?

— А так интереснее! — воскликнул Иманпаша.— Что ж я, как все буду ходить? От скуки умрешь!

Я в душе с ним согласился. Прятаться за углами, перебегать от одного дома к другому, чтобы тебя не заметили,— это в тысячу раз интереснее, чем ходить по улицам у всех на виду!

— Ладно, пошли,— сказал я Муслиму.— Только ты мне правду говори, что придумали.

Мы свернули в переулочек. И пока шли к дому дяди Иманпаши, Муслим рассказывал мне о новой затее.

Хорошую вещь придумали ребята — музей организовать! В школе им для этого отдали свободную комнату. Сначала повесили там портреты участников гражданской войны, потом — Отечественной. Теперь надо экспонаты собирать.

— А какие экспонаты? — спросил я у Муслима.

— Разные,— ответил он.— Боевые сабли и пашки, винтовки и пушки...

— Где же вы пушки возьмете?

Муслим задумчиво почесал щеку.

— Да, с пушками плохо. Их с войны почему-то не привезли.— Он вдруг оживился и сверкнул глазами.— Зато у нас фронтовой кисет есть. А его дядя,— Муслим кивнул на Иманпашу,— обещал дать в музей пулю, которую у него из ноги вытащили.

Пуля из ноги — это здорово! Даже у моего дедушки никто не вытаскивал пули!

— Большая? — спросил я.

— Нога? — не понял Муслим.

— Нет, пуля.

— Маленькая,— сказал Муслим таким тоном, словно сожалел об этом.

— Ничего,— успокоил я его.— Не в каждом городском музее есть пуля из ноги...

— А еще мы будем записывать воспоминания героев,— заговорил Муслим.— У дяди Иманпаши два ордена Славы, он расскажет, за что их получил.

— Гитлера он кокнул! — влез Иманпаша.

— Твой дядя?! — не поверил я.

Иманпаша посмотрел на меня сверху вниз:

— Пробрался к нему в дом, а потом ка-ак даст!..

— Завираешь ведь,— остановил его Муслим.— В какой это дом пробрался дядя Ахмед?

— В большой! — выкрикнул Иманпаша.

— Значит, это в рейхстаге было? — спросил я.

— Во, точно, Сайгид знает,— сказал Иманпаша.

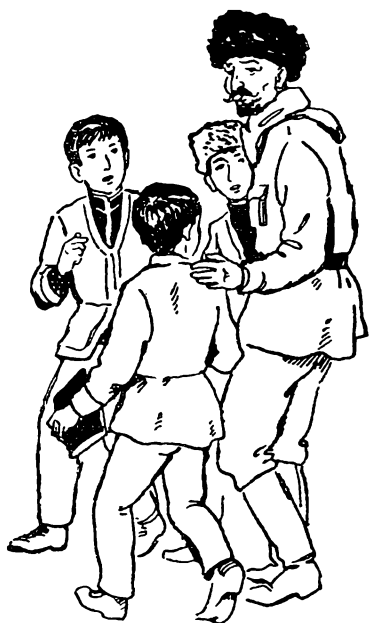
— Завираешь,— повторил Муслим.— Если б дядя Ахмед Гитлера убил — ему бы самую большую награду дали.

Иманпаша поглядел на меня, будто просил моей помощи.

— Ну, не кокнул,— признался он.— Хотел, но не вышло. Охрана у Гитлера знаете какая! Сражался он с ней долго, тогда его и ранили в ногу.

Тут я подумал: «Что это за дядя Ахмед? Не тот ли, которого я видел на унцукульском годекане? Наверно, тот. Я тогда еще решил, что дядя у Иманпаши герой».

И правда, только мы вошли во двор, я сразу узнал дядю Ахмеда. Он стоял у крыльца и очень ловко колол дрова левой рукой. Услышав наши шаги, он обернулся, скользнул взглядом по



нашим лицам и дружелюбно улыбнулся. Я понял, что он тоже узнал меня.

— А-а, гость из Багда! — протянул он, бросая топор.— Проходите, ребята, на веранду...

Когда мы уселись, дядя Ахмед задумчиво погладил пеструю бороду.

— Багда, Багда... В Багда я не бывал.— Казалось, он хочет что-то вспомнить. Не вспомнил, обернулся к Иманпаше и Муслиму.— Ну, говорите, какая нужда привела вас ко мне? Опять мучить будете? Фотографий у меня больше нет — все в музее. Что же еще?

— Учитель сказал: надо у всех героев биографию записать.— Муслим так серьезно вытащил из кармана тетрадь и карандаш, что я вспомнил нашего агронома Хамида.— Когда родились, как учились и где воевали?

Дядя Ахмед поглядел на Муслима и тоже стал серьезным.

— А это обязательно?

— Обязательно! — выскочил вперед Иманпаша.— Нельзя же так: все герои с биографией, а мой дядя без биографии!

Дядя Ахмед ухмыльнулся.

— Без биографии действительно плохо.

— Тогда рассказывайте,— приказал Муслим и взялся за карандаш.

Сначала дядя Ахмед откашлялся:

— Кха, кха...— Потом заговорил: — Не мастер я рассказывать... Так когда я родился? Года не знаю. Только одно знаю — перед рамазаном¹.

Я прямо глаза выпучил.

¹ Рамазан — месяц поста, определенный мусульманской религией.

— Как же это? Значит, вы скажете, что вам двести лет, и никто проверить не сможет?

— Ва, милый мой мальчик!..— Дядя Ахмед похлопал меня по плечу.— Кто раньше думал об этом? Кто знал счет дням и годам? Один мулла. Он-то и сказал моему отцу: «Сын у тебя родился на пороге рамазана. К счастью это!» Вот как было.

— Я о мулле писать не буду,— хмуро сказал Муслим.— У нас музей для героев, а не для мулл.

— Не пиши,— согласился дядя Ахмед.— Теперь: где я учился? Признаюсь честно, не учился я. Хотел, но не мог. Возможности не было. Это ж не то, что сейчас,— три школы в ауле. В мое время в Унцукуле никаких школ не было.

— Здорово! — воскликнул Иманпаша.— Можно было целый день играть и рыбу ловить! — Он растянул рот до ушей.— И двоек тебе не ставили.

Дядя Ахмед вытянул руку и неожиданно щелкнул Иманпашу по носу.

— Думай, что говоришь! Вот уж правильно: откуда знать ослу, что такое финики!

— А это записывать? — спросил Муслим.— Про осла и про финики?

— Когда будет музей глупых и ленивых и когда там выставят портрет моего племянника, ты напиши под фотографией такие слова: «Золото — на день, знания — на век». Понял? — Дядя Ахмед засмеялся и погладил свою бороду.

— Хорошо,— без тени улыбки сказал Муслим.

Иманпаша смущенно отвернулся. Я не жалел его: за дело попажэ, впредь не говори глупости!

— Что же дальше?..— Дядя Ахмед задумался.— А дальше— жил, детей растил, в поле трудился. Когда началась война с фашистами — воевать пошел. Ранили меня под Ростовом...

— А как с охраной Гитлера дрались? — спросил Муслим.

— С какой охраной?

— Иманпаша говорил, что вы хотели Гитлера убить, но охрана помешала.

Дядя Ахмед вскинул глаза на Иманпашу и усмехнулся:

— Что делать, если у него рот без застежек.

Рот без застёжек — вот сказано! В самую точку попал. Так этому Иманпаше и надо: не хвастайся!

— Ранили меня под Ростовом,— продолжал дядя Ахмед.— В тот день наша рота переправлялась через большую реку — Доном она называется. Мне и еще двум товарищам приказали охранять переправу, ловить на мушку фашистских снайперов. Стрелял я неплохо. Пули мои сразили немало врагов. Но вот рота переправилась. Надо было и мне плыть на другой берег. Я уже вошел в воду, как вдруг словно пчела меня ужалила... Подождите минутку.— Дядя Ахмед встал и вышел в другую комнату. Вскоре он вернулся, неся на ладони маленький кусочек свинца.— Вот она — вражеская пуля. Рана была тяжелая. Я упал в воду. Бороться с быстрым течением не мог — не было сил. И тут на помощь мне пришел сильный юноша. Подожди, ты сказал, что приехал из Багда? — Он взял меня за плечо и встряхнул.— Тот юноша тоже был из Багда. Как его звали? Эх, забыл!

Я смотрел на дядю Ахмеда как замороженный. Надо же, его спас мой земляк, багдинец! Может, это был Хаджимурат? А может, Шамиль?

— И знаете,— сказал дядя Ахмед, охватывая нас взглядом,— наш гость из Багда очень похож на того юношу! Как же его звали?..

— Хаджимурат! — подсказал я.

— Нет.

— Шамиль? — спросил я.

— Нет.— Дядя Ахмед шлепнул себя по лбу.— Имя его начиналось на «А». То ли Або, то ли Али...

— Аликурбан? — вырвалось у меня.

— Аликурбан! — вскричал дядя Ахмед.— Верно, Аликурбан! Ты его знаешь?

Я молчал только одну секунду, но за эту секунду в моей голове побывала целая отара мыслей. Были среди них светлые, были и черные — что скрывать! Я мог ответить: «Аликурбан — мой отец». И тогда бы Иманпаша и Муслим смотрели на меня, как на сына смельчака. Но отец на фронте не был — он работал в колхозе и растил хлеб. Конечно, это другой Аликурбан спас дядю Ахмеда...

— Моего отца зовут Аликурбан Курбанов,— твердо сказал я.— Но это был не мой папа.

Дядя Ахмед внимательно посмотрел на меня:

— Молодец!

Я понял, почему он это сказал, и мне стало так радостно, будто не какой-то неведомый Аликурбан стрелял по фашистам, а я, будто не этот Аликурбан спас дядю Ахмеда, а я сам.

— Вы не думайте, что я хвалюсь,— заговорил я, поглядывая на ребят,— у моего дедушки тоже есть ордена — целых три! А папа хоть и не воевал на фронте — медаль получил. За то, что хорошо трудился. Он со своей бригадой, когда война была, тридцать четыре центнера зерна с гектара собрал. Все руками делал, как в старое время, а собрал!

Иманпаша пренебрежительно махнул рукой:

— Что ты все о центнерах? Пусть лучше дядя про войну расскажет.

— И расскажу.— Дядя Ахмед снова щелкнул Иманпашу по носу.— Специально для своего неразумного племянника. Было это на Волге. Фашисты прижали нас к берегу и грозились сбросить в ледяную воду. Мы занимали узкую полоску земли — не больше бараньей шкурки. Патроны, оружие, хлеб—все возили с другого берега. Возили на моторках и баржах, а иной раз и на понтонах. День и ночь кружились в воздухе стервятники с черными крестами на крыльях. Заметят баржу или понтон — бьют по нему из пулеметов, сыплют бомбы. Много наших людей погибло на переправе. А без перевоза никак нельзя — патроны нам нужны, хлеб нужен. Как-то вражеские самолеты потопили пять понтонов подряд. А мы сидим без хлеба неделю. Что делать? Я от голода ослабел, стрелять не могу — руки дрожат. И вот в один из дней пробила к нам баржа. Патроны привезли, хлеб привезли. Наелся я — и снова за винтовку! С полным желудком и воевать можно! Пишешь?

— Уф, записал...— Муслим положил карандаш.

— Ты раньше времени карандаш не откладывай,— обратился к нему дядя Ахмед.— Пиши: «Тот хлеб, что я ел на Волге, тот хлеб, что был нам дороже патронов, собрал на своем поле Аликурбан Курбанов из Багда!» Записал? Вот и хорошо!

Я НАЧИНАЮ ДУМАТЬ

Мы еще долго говорили с дядей Ахмедом. И когда вышли на улицу, я был переполнен его рассказами. Они бурлили во мне, как похлебка в бабушкиной кастрюле. И я не мог понять, что в этих рассказах главное, а что не главное.

Муслиму было легче. Что-то он записывал в свою тетрадку, а что-то не записывал. Одно подходило для музея, а другое — нет. А я все складывал в голове. И теперь, когда голова была полна, мне надо было разобраться в этом.

Конечно, дядя Ахмед смелый человек. Тут и говорить нечего. Сколько он пережил! На Дону его ранили в ногу. Потом он сражался у стен Сталинграда. Потом осколок снаряда ударил его в грудь, и он, почти полумертвый, был захвачен в плен. В плену фашисты издевались над ним — отрезали руку, жгли лицо раскаленным железом. С тех пор на его щеках белые пятна.

Мне было трудно представить себе, как дядя Ахмед воевал и как оказался в плену. Войны я не видел, а книг про войну в нашей школьной библиотеке не найдешь. Но достаточно было лишний раз взглянуть на культу дяди Ахмеда, на его выжженные, изуродованные щеки, чтобы понять, какие муки он вытерпел.

Страшное дело — война!

Люди идут на войну, пули и снаряды, и одни гибнут, как Хаджимурат и Шамиль, другие, как дядя Ахмед, возвращаются с незаживающими ранами.

Но вот что интересно — дядя Ахмед не считает себя слабым и больным. Как ловко он прикуривает одной рукой! Как быстро и точно колет дрова! И рассказывает о себе так, что его ни капельки не жалко — только восхищаешься им и гордишься!

Такой же и дедушка. Он получает пенсию. Он мог бы лежать дома и охать. И все бы жалели его.

Но дедушка дома не сидит — все дни в поле, его даже папе в пример ставят!

Может, это и есть настоящая смелость?

Правильно! Стрелять многие могут. Но настоящая смелость — это не только точная стрельба. Тот, кто смел, не боится мук, не плачется всю жизнь над ранами; он и без рук, с обож-

женными щеками старается быть впереди и работает изо всех сил.

Дядя Ахмед сказал, что под Сталинградом он ел папин хлеб. Не знаю, так это было или нет. Неважно, чей хлеб ел дядя Ахмед во время войны. Не с неба же падал этот хлеб, правда? Кто-то должен был его растить. И этот труд достоин больших и горячих слов. А мальчишки — тот же Иманпаша, например, — смотрят на хлеборобов без интереса. Расскажи им про войну — рты пооткрывают. А заговори о центнерах — не станут слушать. Я тоже не очень-то интересовался папиными делами.

Почему? Почему я доподлинно не знаю, как папа работал в годы войны? Он растил хлеб, много хлеба — он вырастил тридцать четыре центнера на каждом гектаре! Без этого хлеба наши бойцы не справились бы с фашистами — так я понял дядю Ахмеда.

Конечно, дедушка рассказывает интересно. У папы так не получится. Но если говорить честно, я его никогда не пытался расспрашивать.

«Приеду и расспрошу», — решил я.

И еще над одной вещью раздумывал я, распрощавшись с дядей Ахмедом и шагая между Муслимом и Иманпашой по улицам Унцукуля. Мне впервые в жизни сразу удалось победить в себе желание соврать. Я не соврал. Я сказал дяде Ахмеду, что его спас не мой папа. И хотя ребята в тот момент глядели на меня разочарованно, я очень гордился своим поступком.

Сейчас еще больше гордился, чем тогда, когда, поняв меня, дядя Ахмед сказал: «Молодец!»

Нет уж, теперь врать и хвастаться не буду! Кому это нужно? Правильно дедушка говорит: «У лжи век короток». А выйдет правда наружу, и люди щелкнут тебя по носу: «Не привирай, поставь себе на рот застёжку!»

Раздумывая над этим, я не заметил, как мы оказались около универсама. За стеклом двери виднелась знакомая картонка с надписью: «Выходной», а проклятый замок упрямо твердил свое: «Вот и не пуцуй!»

Я остановился. Что же делать? Нужно что-то решить. У Муслимат трости не выпросишь — я к ней после ее шуток в цехе и подходить не хочу. Купить трость невозможно — универ-

магазин закрыт. Выходит, придется остаться в Унцукуле до завтра. Утром откроется магазин, куплю трость и с первой попутной машиной махну в Багда.

Другого выхода у меня нет!

Но сначала нужно пойти на почту и послать домой телеграмму, что я вернусь завтра.

И, приняв такое решение, я успокоился. Все хорошо! Все правильно! Теперь у меня на душе не было ни одной тучки.

— А у нас дома хинкал,— заметил Муслим.

— Хинкал? — переспросил Иманпаша и попытался облизать губы. Но облизать их было трудно: язык у Иманпаши маленький, а губы вон какие огромные.— Я люблю хинкал. Только к тебе я не пойду — мама твоя еще с прошлого года на меня злится.

— Вспомнил...—протянул Муслим.—Подумаешь, подрались! Моя мама на словах злая, а сердцем добрая. Вот Сайгид скажет: он мне на больную ногу упал — разве мама его ругала?

Я повернулся к Муслиму.

— Но твоя мама упала на меня — разве я ее ругал?

— Я о хинкале, а они о маме! — воскликнул Муслим, раздраженно хлопнув себя по бедрам.— Не хотите — как хотите. Ты куда, Сайгид?

— На почту.

— Приходи ночевать.

— Я у кунака Гунаша переночую.

— Кунак тот, у кого гостил первую ночь,—сказал Муслим.— Какой-то ты, Сайгид, непостоянный!..

Непостоянный? Как это понять? Непостоянный — значит, несерьезный. Я усмехнулся. Скажи мне это Муслим раньше — я бы не спорил. А теперь хотелось поспорить. Я прямо на ходу меняюсь. Я стал больше замечать. Я стал лучше думать. Я нахожу ответы на такие вопросы, которые еще несколько дней назад были для меня загадкой.

Я обернулся и поглядел вслед ребятам. Фигурки Иманпаши и Муслима сократились, съежились. Еще секунда — и они растают вдаль. Но в эту последнюю секунду мне показалось, что я старше своих друзей. А ведь на самом деле Иманпаша и Муслим перешли в седьмой, я же перешел только в шестой.

На почте я не задерживался. Теперь-то я знал, как писать телеграммы. В этот раз я использовал всего три слова: «Буду завтра, Сайгид». Знакомая девушка с золотыми молниями на воротнике кителя дружелюбно улыбнулась мне.

— Научился,— удовлетворенно сказала она.

Я тоже улыбнулся. У меня это само собой получается: если мне улыбаются, я никак не могу сдержаться.

— Быстро, дешево, удобно,— сказал я и побежал к дедушке Гунашу.

Старый садовник сидел на веранде. Я так тихо поднялся по ступенькам крыльца, что Гунаш, склонившийся над столом, не расслышал моих шагов. Что это он делает? Я пригляделся.

Перед Гунашем возвышалась большая деревянная шкатулка, украшенная вязью серебряных узоров. Старик откинул крышку и заглянул внутрь...

Тут я решил нарушить молчание.

— Салам алейкум! — сказал я, зная, что такое приветствие обрадует Гунаша.

— А, здравствуй, малыш! — Старый садовник обернулся ко мне.— Где пропадал? На фабрике был?

— Был.

— Муслимат видел?

— Видел.— Я чуточку помолчал, соображая, следует ли говорить дальше.— Хотел у нее трость для дедушки попросить, а она смеется. Заплатку мою увидела... Ва, дедушка Гунаш, это мундштук Устархана?

Я действительно заметил в этот миг в руках старого садовника тонкий и тусклый от долгой жизни мундштук и сразу понял, чей он.

Дедушка Гунаш кивнул с особой торжественностью. Он поднял ладонь, в которой лежал мундштук — честное слово, он устроился там, как лодочка в тихой заводи,— и, глядя на него, сказал:

— Ты угадал, мой мальчик! Этот мундштук сделан сто лет назад руками первого резчика и чеканщика Унцукуля. Что в нем особенного? — Дедушка Гунаш поворачивал мундштук в ладони.— На первый взгляд дешевле дешевого. А для унцукульцев он дороже дорогого! Потому что с него началось наше искусство!

Я осторожно коснулся мундштука. И правда, с виду самый обычный — в магазине покрасивее есть.

— Поездил этот мундштук по свету,— заговорил Гунаш.— Сколько разных историй можно о нем рассказать — смешных и страшных!..

— А в Америке он был? — спросил я.

— Был.— Дедушка Гунаш аккуратно устроил мундштук в шкапулке.— Так какую же историю тебе рассказать — смешную или страшную?

Я подумал.

— Немножко смешную и не очень страшную.

И дедушка Гунаш начал свой новый рассказ.

МАГОМЕД АМЕРИКАНЕЦ

Много лет назад жил в нашем ауле мастер Магомед. Надо сказать, что мастеров с таким именем в Унцукуле было немало. Как же отличить одного Магомеда от другого? Решили прибавлять имя отца. И мастер Магомед стал зваться: Магомед, сын Юсупа. Однако в ауле объявилось два Юсупа, и у каждого был сын Магомед. Опять путаница началась. Но нашему Магомеду повезло: к его двум именам прибавилось третье — Американец. Почему Американец? Потому что Магомед несколько раз ездил в Америку продавать свои изделия. Теперь мастера звали так: «Магомед, сын Юсупа, Американец». Длинно, но зато понятно.

Бывало, на годекане кто-нибудь заговорит: «Видел я Магомеда...» Все прислушиваются: «Это какого же Магомеда?» «Сына Юсупа»,— продолжает рассказчик. Люди ждут: что дальше? А рассказчик заканчивает: «Американца». И все с удовлетворением кивают: ага, значит, речь идет не о кривом Магомедe и не о Магомедe, что нюхает табак, и даже не о том Магомедe, который не Американец, а просто сын Юсупа; понятно, идет речь именно о Магомедe, сыне Юсупа, Американце.

Так вот, этот Магомед дружил с Устарханом. Они вместе ездили на Парижскую всемирную выставку — было это больше шестидесяти лет назад. Повезли они с собой много красивых ру-

чек для хлыстов, мундштуков, тростей — вернулись с хорошей прибылью.

Прошло четыре года. Вижу я, Магомед и Устархан снова что-то задумали. Куда они в этот раз собираются? В Париж они меня не взяли. Устархан мне тогда сказал: «Семью свою на тебя оставляю». И я, конечно, не посмел ему прекословить. Но сейчас мне во что бы то ни стало хотелось поехать с братом.

Устархан меня не пригласил. Что ж, ладно! Решил я последовать за ним тайно. Стал готовиться. За три дня до отъезда Магомеда и Устархана я навьючил на осла большие хурджины со своим товаром и отправился в Темир-хан-Шуру. Дожидаюсь их.

Приехали они на постоянный двор вечером. Брат меня увидел, спрашивает: «Ты зачем здесь?» Я схитрил: «Хочу в Москву съездить, товар есть».

В ту же ночь сели на поезд. Из Москвы Магомед и Устархан дальше отправляются, в Петербург — так звался тогда нынешний Ленинград. Я — за ними. Они в один вагон, я — в другой. В Петербурге на пристань подался. Только, значит, в кассу за билетом на пароход — Устархан мне навстречу: «Ты зачем здесь?» Я опять хитрю: «В Москве товар не идет». Брат усмехнулся, говорит: «В Петербурге, видно, тоже не идет». Отвечаю: «Не идет». — «Куда ж теперь?» — спрашивает Устархан. Я пожал плечами: «Не знаю». Засмеялся Устархан: «У нас в роду все упрямые. Хорошо, поедешь с нами в Америку».

Долго мы плыли. Так долго, что дни стали казаться мне месяцами. Но вот и конец пути. Прибыли мы в город Сент-Луис, около которого встречаются две большие реки — Миссури и Миссисипи.

Здесь недавно открылась промышленная выставка. Люди ходили толпами. Все глазели на нас: мы были в лохматых папахах, в черкесках с газырями, на серебряных поясах висели кинжалы с насечками. Изделия наши шли хорошо. Люди рассматривали ручки для хлыстов и трости, восхищенно цокали языками и покупали не торгуясь.

Однажды около нас остановился толстый человек в большой соломенной шляпе. Он поставил невдалеке коробку на трех ногах — теперь-то я знаю, это был фотоаппарат — и начал кри-

чать нам, чтобы мы не двигались. «Идите своей дорогой,— сказал ему Устархан по-аварски и махнул рукой.— Не мешайте». Толстяк понял этот жест, но уйти — не ушел. «Дикари! Смотрите, дикари! — кричал он.— Грязные азиаты!» Он кричал это на разных языках: на английском, когда обращался к англичанам; на французском, когда видел французов; на итальянском, когда замечал итальянцев.

«Что он говорит? — спросил Устархан у Магомеда. Тот усмехнулся: «Ему нравится наш товар. Пусть кричит». Магомед ответил так потому, что не хотел волновать моего брата. На самом деле он все понял — не зря же изъездил весь свет!

Как наказать оскорбителя? Магомед был умен, зря не горячился, не хватался за кинжал по каждому поводу. Он придумал, как отомстить толстяку.

«Дикари! Смотрите, дикари!» — кричал толстяк по-английски.

«Это еще неизвестно, кто из нас дикарь», — произнес Магомед на том же языке.

«Дикари! Смотрите, дикари!» — брызжа слюной, закричал толстяк по-французски.

«Это еще неизвестно, кто из нас дикарь», — улыбнулся Магомед и для пущей важности назвал крикуна «мсье».

«Дикари! Смотрите, дикари!» — наливаясь кровью, завопил толстяк по-итальянски.

«Это еще неизвестно, кто из нас дикарь, синьор», — сказал Магомед, улыбаясь еще шире.

Люди захлебывались от смеха, глядя на этот поединок. Толстяк уже охрип, лицо его было залито потом позора. Тогда Магомед выступил вперед и сказал по-аварски: «Так кого же следует назвать дикарем? Я знаю английский, французский и итальянский. Почему ты не знаешь языка моей родины?»

Конечно, толстяк ничего не понял. И тут Магомед перевел свои слова сначала на английский, потом на французский, а в конце на итальянский.

Толстяк подхватил свой фотоаппарат и исчез. А люди подходили к Магомеду, жали ему руку и говорили хорошие слова.

Когда выставка закрылась, мы переехали в Вашингтон — это столица Америки. Здесь тоже глядели на нас с удивлением: откуда, мол, такие гости — в невиданных шапках и странных

рубашках? Завидев нас, дети таращили глаза и шли за нами следом, будто привязанные.

Я сказал Магомеду: «Мы приехали сюда не для того, чтобы веселить ребятишек. Давайте купим новые костюмы и приоденемся». Но Магомед поглядел на меня с укором: «Я не собираюсь переодеваться. Пусть американцы знают, что, кроме них, на свете есть и аварцы. Пусть поглядят на одежду наших отцов и дедов — чем она хуже другой?»

Устархан сказал: «А я назло насмешникам возьму в рот аварский мундштук!» Он развернул шелковый платок, достал свой мундштук и, вставив в него папиросу, закурил.

Гуляя, мы пришли в красивый парк. Решили отдохнуть и присели на каменное ограждение бассейна. Внизу, в воде, плавали крокодилы. Что говорить, аллах не наградил их красотой. Туловище как бревно. Кожа сморщилась, вроде коры абрикоса. А пасть так зубами и утыкана. Я еще тогда подумал, глядя на крокодилий челюсти: «Вот бы пила получилась!»

Люди дразнили крокодилов, изредка бросали в бассейн кусочки хлеба. Я видел, как эти противные твари стремительны: в один миг они оказывались на дне или, махнув тяжелым хвостом, так же быстро всплывали на поверхность.

Мы впервые видели крокодилов. И честно говоря, не знали, что они кровожадны и без страха нападают на человека. Магомед повернулся к бассейну, спустил ноги вниз, будто отдыхал на годекане. Устархан, не обращая внимания на возню крокодилов, покуривал папиросу.

Неожиданно он рязжал зубы, и мундштук упал в воду. Те, кто видел это, рассмеялись. Потерять памятную вещь, сделанную руками первого унцукульского мастера, — большая обида. Но еще обиднее был смех американцев. Разве над бедой смеются? Я забыл обо всем, ударил папахой оземь, бросился в бассейн и, нырнув, схватил мундштук. Когда я вынырнул, крокодилы уже неслись ко мне, оставляя позади пенистый след. Я закричал — страха не было, только отвращение. Мне хотелось напугать этих хвостатых тварей. И они на миг остановились. Этого было достаточно, чтобы Магомед и Устархан вытащили меня.

— Вот это да! — сказал я, когда Гунаш кончил свой рассказ. — Я бы ни за что не полез в бассейн.

Старый садовник ответил мне вопросом:

— А как же мундштук Устархана?

— А как же крокодилы? — переспросил я.

— Знаешь, Сайгид, есть у нас пословица: «Неосторожный удалец — врагу добыча». — Гунаш засмеялся. — Но есть и другая: «У храбреца десять доблестей. Одна доблесть — отвага, девять — ловкость». Вот как! Только не думай, что я себя храбрым считаю. Два года назад ездил в Москву, на выставку. Решил заглянуть в Зоопарк. Поглядел на крокодилов — и устранился. С таким врагом дважды лучше не встречаться!

ПЕРВЫЙ СОН

Жена Гунаша уложила меня рано.

— Устал, наверное, спи. — Она поправила на мне одеяло.

Я решил поблагодарить старушку, хотел шевельнуть языком — и не смог. Два дня назад, сидя перед разгневанным дедушкой, я тоже перестал владеть языком. Но тогда — от страха. Сейчас — от усталости.

Я заснул сразу, упал в сон, как камень падает в воду. И наконец, в ту секунду, когда глаза мои закрылись, я расстался с мирным домом Гунаша, чтобы перенестись на войну.

Небо было синее, а земля черная. Трава зеленая, а конь серый. Я сидел на коне: на голове фуражка с пятиконечной алой звездочкой, в руке острая сабля.

Вперед! Вперед!.. И конь пускается вскачь. За спиной слышится топот. Я оглядываюсь: это скачет Ханав. У него нет оружия. Под мышкой торчит большая пробирка — похоже на то, что кто-то поставил ему градусник.

«Зачем тебе пробирка? — спрашиваю я, усмехаясь. — Вот глупый! Кто дерется пробирками?»

Но Ханав и не думает бросать пробирку. Он молча вытаскивает ее из-под руки.

«Подержи-ка, — наконец говорит он. — У меня проволоки нет для штативчика».

Я знаю, что это опасно, но не решаюсь отказать Ханаву в помощи.

В пробирке пузырится и хлюпает коричневая масса. Вскоре она вырывается из горлышка и, взметнувшись к небу, зажигает воздух красным пламенем.

«Новое оружие»,— говорит Ханав, подмигивая мне.

«Сделал все-таки,— с завистью думаю я.— Что значит упорство! Не зря школьный сторож Расул сказал, что из Ханавы получится большой ученый».

Мы едем и едем, и все время, пока мы едем, под сердцем у меня, словно колючая шерстинка, шевелится обида. В самом деле, когда наконец и я что-то придумаю?

У горизонта стан врагов. Там белым-бело — наверно, поэтому тех, кто идет оттуда, зовут белыми. Но вот в стороне появляется черная точка.

Ханав вскидывает пробирку. Сейчас он пошлет огонь и смерть в наглого врага, скачущего нам навстречу.

Только это не враг. Черная точка еще далеко, а я уже твердо знаю — скачет Муслим.

«Опусти оружие!» — кричу я Ханаву.

И правда, вскоре подъезжает Муслим. Он едет, как я: на голове военная фуражка, боевая черкеска сверкает серебряными газырями, в руке сабля.

«Привет, Муслим!»

«Привет, Сайгид!»

«Ты откуда?»

Муслим прикладывает руку к козырьку и говорит:

«Наш командир Махач Дахадаев приказывает тебе явиться в штаб!»

Мы едем по узкой дороге, проложенной под боком у скалы. И вдруг эта дорога начинает тихо колебаться. Я гляжу вниз: вай, под ногами у моего серого коня бревна, и сквозь связки бревен в ужасающей глубине видны скалы на дне пропасти! Сердце колотится все быстрее и быстрее. Но я беру себя в руки и команду ему: «Не колотись! Не праздный труса!»

Вот кончается узкая дорога. Мы въезжаем в долину. Она красная от красных войск. Впереди, на горячем коне,— командир. Я узнаю его — это легендарный храбрец Махач Дахадаев. Он глядит на нас грозно, будто мы в чем-то провинились.

«Это твой внук? — Махач оборачивается, и за спиной бесстрашного командира я вижу моего дедушку. — Как его зовут?»

«Шашки наголо! — откликается дедушка. — Его зовут Сайгид. Он верный и смелый боец. Да что зря говорить, в нашем роду трусов не было!»

«А кто с тобой?» — спрашивает Махач, кивая на Ханава.

«Мой товарищ. Мы вместе учимся, — отвечаю я. — Его зовут Ханав. Он здорово в шахматы играет. самого директора школы обыграл. Не верите?»

«Верю. — И Махач неожиданно вытаскивает из-под седла шахматную доску. — Садись, Ханав, сразимся».

И они садятся за шахматы, а я с тревогой гляжу на Ханава и думаю: «Уж сейчас-то мог бы поддаться!» Но Ханав — вот упрямый! — не хочет поддаваться. Он снимает у Махача Дахадаева пешку, потом — коня. Дело плохо — командир проигрывает! Нельзя, чтобы так получилось. Как будут смотреть на него бойцы?

«Предлагаю ничью», — говорит Махач.

Я толкаю товарища в бок: соглашайся, мол, неудобно не соглашаться!

Ханав не глядит в мою сторону. Он смотрит на доску.

«Отказываюсь, — отвечает он. — Партия моя».

И вслед за этим снимает у Махача ферзя.

Я закрываю глаза: что сейчас будет? Но Махач Дахадаев вдруг улыбается, хлопает Ханава по плечу и говорит голосом старого Ахмеда:

«Молодец! Никогда не поддавайся! Ничего не делай наполовину! В шахматы играть — играй, враги напали — дерись до победного конца! — Он смотрит на моего дедушку. — Верно говорю, Магомед?»

«Верно, — соглашается дедушка. — Шашки наголо, только так и надо жить!»

Дедушка, как всегда, в праздничной черкеске. Он сидит на коне, словно орел, готовый к полету. На груди сверкают ордена и медали. И, глядя на них, я вдруг смутно ощущаю неправду того, что со мной происходит.

Ведь орден Красного Знамени дедушка получил после Кадыра, так? А орден Славы ему вручили на Великой Отечественной

войне, когда Махача Дахадаева не было в живых. И медали — тоже. Откуда же взялись эти награды у дедушки сейчас?

Но Махач Дахадаев придвигается ко мне, заслоня дедушку, и смутное ощущение неправды исчезает.

«У меня есть для тебя поручение, Сайгид,— начинает речь Махач Дахадаев, вытаскивая конверт из кармана кителя.— Трудное и ответственное поручение. Вот это письмо надо передать лично товарищу Ленину. Возьмешься? Кругом враги: слева — банды имама Нажмудина Гоцинского, справа — фашисты, впереди — Чупалав со своими людьми...»

«Сделаю»,— отвечаю я, пряча конверт за пазуху.

«Скажи что-нибудь перед отъездом»,— подсказывает мне Муслим.

«А что сказать?»

«Ну, что выполнишь задание и вообще будешь действовать смело и решительно».

«Ладно,— соглашаюсь я.— Буду действовать смело и решительно!»

«Надень шлем»,— говорит Муслим, протягивая кастрюлю.

Вай, опять эта проклятая кастрюля! Неужели нельзя без нее? Она мне в прошлый раз все уши расплющила и нос натерла.

«Придется потерпеть»,— говорит Махач Дахадаев.

И я беспрекословно надеваю кастрюлю на голову. Темно. Слова командира и Муслима еле доносятся ко мне. Больно ушам, в нос бьет кислый запах железа, но я терплю.

«Шашки наголо! — рвется к небу сильный голос дедушки.— Вперед, марш!»

И моя кастрюля, словно бубен, начинает дрожать и вибрировать от гула тысяч копыт. Странно, что теперь я все вижу. Кажется, что в моей кастрюле появился экран телевизора: рядом скачет Ханав с пробиркой; у него непреклонное выражение лица, будто он готовится сказать: «От ничьей отказываюсь. Партия моя»; чуть поодаль — Муслим; еще дальше, на маленькой лошадке, несется Халим.

«Э-эй, Халим!» — окликаю я брата.

Он глядит на меня, узнает и сразу же кривит губы, собираясь зареветь.

«Сайгид! А мой шарик?» — тянет он.

Я закусываю губы от злости. Опять он со своим шариком! Играть с шариком — играй, но если сражаешься с врагом — надо сражаться! Первый раз, кажется, взяли на опасное дело — и вот он уже нюни распустил.

«Не позорь наш род! — кричу я брату и понукаю коня. — Сейчас будет славная рубка!»

Вот и враги. Я знаю их каждого в отдельности: противного Чупалава, продавца Махмуда, у которого весь рот в золотых зубах, его приятелей — пьяницу Шагава и кривого Омара, что работает в чайной. Сейчас они собрались вместе, смотрят на меня, злобно сверкая глазами. В руках у Чупалава кинжал. Махмуд держит большую гирию — видать, из магазина прихватил. Пьяница Шагав грозит мне бутылкой. А кривой Омар машет толстым алюминиевым подносом.

«Буду убивать таких, как вы! — кричу я и начинаю так быстро размахивать саблей, что обожженный воздух краснеет над головой. Я наливаюсь злобой ко всем нашим врагам и готов разорвать их на части. — Наша правда сильнее!»

Раз! Я срубаю голову противному Чупалаву. Раз! Покатилась, сверкая золотыми зубами, голова жулика Махмуда...

«Вай, Сайгид, а меня за что? — кричит кривой Омар, прикрывая голову подносом. — Я же советский...»

«Иди в сторону, — говорю я и на секунду опускаю саблю. — С тобой разговор потом будет».

Пьяница Шагав медленно отступает, направив на меня горлышко своей бутылки. Я гляжу на эту бутылку с тревогой. Она напоминает чем-то пробирку Ханава. И правда, еще минуту назад она была пуста, а теперь в ней грозно булькает коричневая масса.

«Сейчас взорвется!» — думаю я.

Ба-бах! — грохочет взрыв. Все вокруг в дыму. Когда дым рассеивается, я вижу себя безоружным. Нет ни коня, ни сабли.

А враги — они тут как тут. Они лезут со всех сторон, как муравьи, они уже вяжут меня, тискают, бьют. Я втягиваю голову в плечи. Пусть бьют, пусть мучают, лишь бы не нашли письмо к Ленину!

Но вот враги расступаются, и тогда на середину выходит тол-



стый, краснолицый человек с большим фотоаппаратом в руках. Я понимаю: это тот, что смеялся в Америке над Магомедом, сыном Юсупа, над Устарханом и Гунашем. Он хочет отомстить за свое поражение. Он устанавливает фотоаппарат на штативе, пригибается, чтобы взглянуть в объектив, и вдруг кричит, грозя мне кулаком:

«Не двигайся!»

Я избит и истерзан, но не слушаю его приказов. Я верчу ногами и руками, как мельница: «Хотите убить — убивайте, только голову перед вами я не склоню!»

«Я все знаю! — кричит толстяк, отрываясь от объектива. — У него за пазухой письмо к Ленину!»

«Он просветил меня рентгеном!» — ужасаюсь я и прижимаю конверт к груди с такой силой, что немеет рука.

Какие-то красные и синие рожи кидаются ко мне, хотят оторвать руку и вытащить письмо. Но все напрасно. Я затвердел, как железо, — теперь меня хоть топором бей, не разрубишь.

Человек, измазанный в машинном масле, протискивается впе-

ред и, хитро поглядывая в сторону, чтобы не вызвать подозрения у толстяка, шепчет:

«Сайгид, у меня машина неподалеку, «ЗИЛ», совсем новый. Хочешь со мной? Два рубля на бочку — и садись...»

Это Камиль! Я узнаю его и отворачиваюсь. Что с ним говорить! Он ради денег на все готов. Видишь, новый «ЗИЛ» достал, какую-то бочку, а теперь ему еще и два рубля подавай! Нет, с предателями разговор один — смерть им!

Толстяк приближается к нам. Он отталкивает Камилля и, обернувшись к своим людям, командует:

«Готовься! По красному бойцу Сайгиду Курбанову — огонь!»

Гремят выстрелы. Мимо! Мимо! Мимо! И только одна пуля, словно на пзлете, мягко клюет в лицо...

Я просыпаюсь. На щеке лежит виноградинка. Сбросив ее, я вспоминаю недавний сон. Интересно, куда все-таки девался Ханав со своим новым оружием? Если б он был рядом, вот бы досталось пьянице Шагаву и толстяку! А Камиль-то предателем стал! Ну ничего, хорошо, что я остался жив. Жаль только, что не смог увидеть Ленина!

Ночь еще не кончилась. Лишь над горами, вдалеке, еле заметно побледнел воздух — расцветала заря. Надо спать. Я по привычке свернулся калачиком, влез головой в теплую и ласковую подушку и приготовился встретить новый сон.

ВТОРОЙ СОН

Я снова заснул.

Не знаю, как получилось, но врагов уже не было. Наверно, остались в первом сне. Остались так остались — мне лучше!

Я шел лесом. На опушке стоял оседланный конь. Только не серый, как раньше, а вороной. Я вскочил на него и поскакал вперед.

Куда я лечу? Конечно, к Ленину! Ведь я должен передать ему письмо Махача Дахадаева. Вот оно — голубем бьется за пахухой.

Конь скачет во весь опор. Он несется быстрее поезда. А сейчас быстрее самого быстрого самолета.

Мимо бегут верстовые указатели и телеграфные столбы, деревни и города. И вот, тяжело дыша, весь в пене, конь останавливается у стен Кремля.

Часовой ведет меня по длинному коридору. Мы подходим к двери, и часовой легонько стучится.

«Можно, Владимир Ильич? Тут к вам гость из Дагестана...»

«Можно. Входи, Сайгид, пожалуйста», — говорит Ленин.

Я стою у дверей и шагу ступить не могу.

Много портретов Ленина я видел. Один — там Владимир Ильич улыбается — висит в дедушкиной спальне. Другой — Ленин читает «Правду» — есть в школе. Третий — самый большой — вывешен в аульском клубе. Ленин на клубном портрете задумчиво и требовательно смотрит вдаль, и кажется, он хочет спросить: «Ну-ка, ответьте, как живете и работаете? Хорошо?» Видел я портреты Ленина и в учебниках.

А Ленин, который сейчас смотрит на меня, похож и не похож на свои портреты.

Ленин, Ленин, я много хотел сказать тебе! И за себя. И за дедушку. И за бабушку. И за всех горцев смелого и гордого Дагестана. А вот стою и растерянно молчу...

«Садись, Сайгид, что ж ты стоишь?» — сказал Ленин.

«Не сяду. Не могу», — с трудом выдавил я.

«Это почему же?»

Я настолько пришел в себя, что мог уже разговаривать.

«У нас на годекане не принято сидеть в присутствии старшего, — принялся объяснять я. — Отец сидит — сын стоять должен».

Ленин улыбнулся.

«Ты привез письмо от Дахадаева? — Он встал и принял из моих рук плотный конверт. — Что же пишет смелый Махач?»

Ленин углубился в чтение. Потом подошел к большой карте, висевшей на стене, и, прищурив глаза, стал рассматривать ее. У меня по географии пятерка, и я, лишь стрельнув глазом на то место, куда смотрел Владимир Ильич, сразу понял: он смотрел на Дагестан.

Пока Ленин думал о Дагестане, я глядел по сторонам. Вот шкаф с книгами. Вот письменный стол. Ага, а на столе чернильница Устархана! И ручка, которую сделал Саад. И два подсвеч-

ника, вырезанные Магомедом. Только свечей нет — под потолком лампочки горят. А вот нож для разрезания книг — это работа хромого Хамида. Но где же трубка, которую сделал Гунаш? Что-то ее не видно. Ах, нашел! Спряталась за чернильницей и полеживает себе...

Ленин оторвался от карты и неожиданно заглянул за книжный шкаф, достал оттуда красивую трость.

«Подожди, малыш. Я слышал, у твоего дедушки сломалась трость. Передай ему в подарок вот эту».

Я удивился. Откуда ему известно, что трость сломалась? Просто чудо какое-то! И тут же нашел объяснение: Ленин все знает, Ленин все должен знать — а как же иначе?

Тут я и проснулся. Полежал немножко, освобождаясь от сна, и присел на кровати.

Хорошо, что я Ленина увидел!

ДО СВИДАНИЯ, УНЦУКУЛЬ!

Дверь открылась, и вошел старый Гунаш. Щурясь от солнечных зайчиков, он зашагал ко мне.

— Вставай, лежебока!

— Сейчас.

Наверное, он заметил, что у меня хорошее настроение.

— Что-то приснилось? — спросил он.

Я кивнул.

— С Лениным разговаривал. Дедушка Гунаш, знаешь какой он добрый?

— Знаю, — ответил старый садовник. — Только об этом рассказать трудно — золотые слова нужны. А где их взять просто-му горцу?.. — Гунаш обернулся. — Ну-ка, погляди в угол, малыш!

Я поглядел. В углу стояла новая трость.

— Это мне?! — радостно вскричал я.

— Тебе. Отдашь дедушке. — Гунаш легко встал, принес трость и положил на одеяло. — А вот подарок бабушке! — Он нагнулся и вытащил из-под кровати ступку с пестиком.

У меня глаза разбежались. Трость. Ступка. Пестик. И я

могу все это взять? Бесплатно? Кто же сделал такие красивые вещи?

— Дедушка Гунаш!..— сказал я, и от волнения и радости слезы потекли по моим щекам. Но я тут же одернул себя: разве мужчины плачут? Никогда! Я вытер лицо.

Старый садовник, казалось, ничего не заметил.

— Трость сделала Муслимат. А ступку с пестиком — ее подруги. Я рассказал им, какой замечательный человек твой дедушка!

Так ведь это та самая трость, которую вчера делала Муслимат! Конечно, вот и веселые птичьи следы! Вот венчик-обруч, а вот мирный голубь, готовый к полету! Красивая трость! Дедушка будет доволен. Она красивее старой — во всяком случае, голубь мне больше нравится, чем змея.

Молодец Муслимат, даже надпись вывела серебром: «Маго-меду из Багда от унцукульцев. Устархан». Выходит, зря я обижался на нового Устархана! Шутки Муслимат остры, а сердце мягкое.

Весь мир улыбался мне. Утреннее солнце. Вершина далеского Аракмеэра. Гроздья винограда, что взяли веранду в зеленые объятия. Ах как хорошо! Только где взять золотые слова, чтобы рассказать об этом?

— Налюбовался? — спросил Гунаш. Легко было заметить, что старый садовник и сам любит искусной работой своей внучки. — Идем завтракать.

Я уезжал днем. Загорелый шофер Хамид взялся подбросить меня до Багда. Сам он ехал дальше, на колхозный кутан. Провожать пришли все ребята — Муслим, Али, Иманпаша и его узкоглазый брат, к которому, скажу честно, я не питал сейчас плохого чувства. У машины стоял Гунаш, опираясь на палку.

— Большого здоровья твоему дедушке, — говорит старый садовник. — Скажи: Гунаш его помнит и по-прежнему считает кунаком...

Шофер уже завел мотор ручкой, когда прибежала запыхавшаяся Муслимат.

— Ой, космонавт уезжает! — крикнула она весело и звонко. — Приезжай еще, я отдам тебе новый стиральный бак!

— Карточку-то забыл, — засуетился Гунаш, доставая из кар-

мана фотографию Гагарина. — Что же это ты? Возьми спрячь получше...

Здравствуй, Гагарин! Сегодня ты улыбаешься веселее, чем всегда! Ты мной доволен? Я спрятал фотографию за пазуху, как драгоценное письмо Махача Дахадаева.

— И мешок для тебя достану, — продолжала смеяться Муслимат. — Только приезжай!

Она и сейчас шутила: такой уж у нее характер. А я и не собирался злиться. На шутку надо отвечать шуткой — так делает мой дедушка, когда встречается с соседом Магди.

Я долго придумывал, что бы ответить Муслимат, но ничего не придумал. Только улыбнулся.

Шофер уже вскочил на подножку.

— Ого, зачем тебе столько вещей? — удивился он. — Это что?

— Это Муслимова мама пироги испекла.

— А это?

— Тут кукурузные лепешки. Мама Али дала.

— А это? — И Хамид толкнул хурджин, стоявший на полу. — Тут целый баран? Чья мама подарила тебе жареного барана?

Везет мне на шутников! Или в Дагестане вообще не могут жить без шутки?

— Это не баран, — сказал я. — Это баранья ножка. Ее приготовила жена Гунаша.

— А моя мама тебе ничего не дала? — с нарочитой серьезностью спросил Хамид.

Машина тронулась.

— Приезжай, мой мальчик! — сказал Гунаш.

— Приезжай, Сайгид! — закричали на разные голоса ребята.

А Муслимат просто подмигнула мне, что должно было означать: приезжай, только не забудь надеть новые штаны!

И побежала дорога под колесами — все быстрее и быстрее. И километры, как невидимая пряжа, стали наматываться на шины.

Я прижимал новую трость к груди, стараясь уберечь ее от тряски. Хамид искоса взглянул на меня и спросил:

— За тростью приезжал?

— За тростью.

— Хорошие подарки везешь,— продолжал шофер.— А для себя что приобрел?

Для себя? Я улыбнулся.

— Кое-что приобрел,— коротко ответил я.

Не мог же я сразу объяснить, что именно приобрел за два дня жизни в Унцукуле — для этого пришлось бы рассказывать все с самого начала...

* * *

Я перевернул последнюю страничку записей Саида Курбанова. Она была пуста...

Честно говоря, я даже разочарованно вздохнул. Так полюбился мне герой этой повести, что прощаться с ним не хотелось. «Постой! — остановил я себя.— Почему надо обязательно прощаться?» И, подхлестнутый новой мыслью, я быстро сунул тетрадки в карман и двинулся к двери.

Позади осталось двухэтажное здание школы. Словно кто-то махнул мне на прощание красным платком — это отблески вечерней зари мелькали в широких школьных окнах...

Чуть ли не бегом я проскочил мостик и тропинку: память подсказала мне кратчайший путь в поле.

Не знаю, почему я решил, что найду Саида в поле. С таким же успехом он мог играть в альчики или гонять футбольный мяч с Мусой. И как ни высоко ставил я автора повести, но не удивился бы, если б увидел его возле козла Шараповых...

И все-таки я решительно шагнул по направлению к полю. Широкое, золотистое от созревшей пшеницы, оно начиналось у околицы аула и уходило к суровой и широкоплечей Талокологоре. Издали было видно: в поле работают два копнителя, молотилка, около них суетятся люди...

Могучую фигуру Аликурбана я различил еще за двести метров. И по городской привычке, заменившей мне обычную горскую сдержанность, закричал:

— Э-эй, Аликурбан!

Исполин на меже поднял голову и уставился на меня.

— Ты не узнаешь меня, Аликурбан? — продолжал кричать я. — Портос несчастный! Не узнаешь?!

Аликурбан шагнул мне навстречу. Мы обнялись. И, еще не выпустив меня из своих могучих объятий, он зашептал:

— Слушай, прошу тебя, не называй меня Портосом. Люди бог знает что подумают.

Я засмеялся.

— Понимаешь,—продолжал мой друг,—бригадир я все-таки, авторитет у меня...

— О, авторитет — дело важное!

Аликурбан махнул тяжелой рукой.

— Насмешник ты. Каким был, таким и остался.— Широкое лицо друга расплылось в улыбке, в глазах мелькнула хитринка.— В конце концов, в наше время не так уж почетно быть королевским мушкетером...

— Почетнее быть колхозным бригадиром,—подхватил я.

И тут Аликурбан шагнул назад, и я заметил неподалеку его сына. Нет, Сайгид не пошел в отца сложением. Да и лицо его было тоньше, острее, что ли, чем у Аликурбана, которого я помнил еще мальчишкой. Но сходство проглядывало во всем — в изгибе бровей и губ, в посадке головы; даже в том, как Саид, глядевший на меня, механически уперся руками в бока,— даже в этой повадке я тоже увидел Аликурбана.

— Саид,—позвал его отец.

— Здравствуйте,—произнес мальчик, шагнув ко мне.

— Здравствуй...

И вдруг, сказав «здравствуй», я понял, что не найду слов для продолжения разговора. То ли мешал мне внимательный взгляд Саида, то ли присутствие Аликурбана?

— Я приехал из Махачкалы...—заговорил я, чувствуя, что сразу же делаю неверный шаг.

— Он приехал из Махачкалы! — радостно повторил Аликурбан.

О, Аликурбан, трижды непонятливый Аликурбан! Что ты болтаешь?

И, выговорив все это мысленно своему другу, я с ужасом заметил, что мой язык продолжает молоть чепуху:

— Я — журналист и приехал из Махачкалы...

Должно быть, язык Аликурбана только и ждал подсказки. Сам он, аллах его покарай, ничего дельного придумать не мог.

— Он журналист и приехал из Махачкалы...

Я бросил гневный взгляд на Аликурбана. Зачем он, как попугай, повторяет за мной эти глупые фразы? Наверно, в эту самую минуту Саид думает, что друг его отца — напыщенный индюк...

— Ну, хватит! — Аликурбан насупился и, круто повернувшись, зашагал к молотилке.

Мы помолчали. Я все еще искал слова, которые бы помогли мне начать разговор с Саидом, когда он неожиданно сказал:

— А все-таки взрослые — смешные люди!

Я был рад, что он поставил все на свое место. И действительно, почему я первым долгом сообщил, откуда приехал? Это ведь на хвастовство похоже. И почему надо говорить: «Я — журналист»? Вот Аликурбан, допустим, не спешит же при знакомстве сказать: я — бригадир!..

— Знаешь, Саид, ты меня прости, пожалуйста, — начал я медленно. — Так вышло, что я прочел твой дневник...

— А где он? — встрепенулся Саид.

Я передал ему тетрадки.

— Ведь когда-то я сидел за той партой, за которой сейчас сидишь ты. Я сунул туда руку, а там твои записи... Ты не обижаешься? Я начал читать и не мог остановиться...

— Нет.

Потом мы начали говорить, перебивая друг друга. И я все спрашивал: о дедушке, о бабушке, об Абасхане и Гунаше...

Мимо нас промчалась грузовая машина, доверху наполненная зерном. Мой собеседник проводил ее долгим взглядом.

— Слушай, — неожиданно заговорил я, — ты уже решил, кем ты станешь?

Саид ответил не сразу:

— Я буду, как отец. Я хочу в поле работать...

Вот оно что! Значит, он хочет стать хлеборобом! Трудная это работа, но выше ее нет ничего.

И тут я понял, что ответ Саида что-то разрушает в моей душе.

— Ты так хорошо написал о дедушке и бабушке, об Абасхане и Гунаше, что мне захотелось узнать побольше и об остальных, — сказал я.

Саид опустил голову. А я продолжал:

— И это не только мое желание. Если ты дашь мне свои записи, чтобы я напечатал их, — о дедушке и бабушке, об Абасхане и Гунаше узнают тысячи мальчишек и девчонок. Я уверен, они тоже спросят: а что делает отец Саида, а вышла ли замуж за Шамсудина Фари, а изобрёл ли наконец новую пасту для авторучек Ханав, а пошел ли в школу Халим?..

— А вдруг книга никому не понравится? — спросил Саид.

— Понравится, — утешил я его. — Вот увидишь, понравится. И ты пиши продолжение.

— Я бы написал, как Ханав изобрел...

Я замахал руками:

— Не говори. Лучше напиши!

— А про Халима я знаете что напишу?

— И про Халима не рассказывай! Зачем нам раньше времени знать, что случилось с твоими героями?

— Значит, писать? — спросил Саид, сверкнув глазами.

Я кивнул:

— Обязательно!

Саид протянул мне тетрадки. Я взял их и обнял мальчика.

Мы шли обратно полем — я, Аликурбан и Саид. Было тепло. Садилось солнце. Тихо шелестели тяжелые колосья.

Думал и я: может, Саид все-таки изменит свое решение и будет писать? Ведь человеку нужен не только хлеб — книга ему тоже нужна...



ЗЕМЛЯ ПИОНЕРОВ

Собранные в этой книге повести принадлежат трем писателям; не похожи они друг на друга и живут в разных местах: Любовь Воронкова — в Москве, Николай Дубов — в Киеве, а Муса Магомедов — в Махачкале. Но есть в этих трех повестях одна общая черта: они написаны о детях, живущих далеко от Москвы, вообще вдали от больших городов.

Впрочем, слово «далеко» уже давно утратило свой первоначальный смысл. Когда-то «далеко» — означало, что речь идет о месте, до которого и добраться трудно — чуть ли не на краю земли... Первые две повести в этой книге: «На краю земли» Николая Дубова и «Алтайская повесть» Любви Воронковой — написаны о детях Горного Алтая. Двадцать с лишним лет назад, когда Николай Дубов писал свою повесть, эти места казались такими далекими, что писатель свою книгу о детях, живущих в горах, у реки Катунь, назвал: «На краю земли». Теперь слова «на краю земли» воспринимаются нами совсем по-иному, без всякого страха, с доброй улыбкой. Какой уж там «край земли», когда самолет из любого места домчит тебя туда за несколько часов!..

Ну, а все-таки не география объединяет русского мальчишку Колю Березина, алтайскую девочку Чечек и мальчика из аварского аула Саида Курбанова. Этих ребят, а вместе с ними миллионы других детей, живущих на огромной территории нашей страны — от Балтийского моря до Тихого океана, — объединяет одно великое свойство: они — советские дети, они — пионеры! И это сразу делает их схожими в самых главных чертах. Они стремятся не только к тому, что приятно и полезно им самим, но прежде всего к тому, что важно и нужно всем. Им самим, их товарищам, их родителям и родителям товарищей — словом, всем советским людям: и детям и взрослым.

Конечно, герои этих повестей, как и все ребята, любят весело и интересно играть; они любят свою школу, и им очень дороги все их школьные дела — большие и малые; у каждого из них есть еще и домашние обязанности... Все это так, и все это свойственно всем детям, в какой бы стране они ни жили. Но, кроме этого, пионерам (а наши школьники — все пионеры!) есть дело до всего, чем занята наша страна, весь советский народ. Поэтому в повести Николая Дубова «На краю земли» русские ребята из алтайского лесного села помогают геологам искать спрятанные в земле природные богатства; в «Алтайской повести» Любови Воронковой дети маленького алтайского народа не только мечтают о том, чтобы в горах Алтая цвели никогда прежде не виданные здесь яблоневые сады, но и делают все, чтобы эту мечту осуществить. А в аварских аулах, прилепившихся к крутым откосам Кавказских гор, мальчики и девочки стараются быть полезными своим отцам и матерям, старшим братьям и сестрам в их нелегком колхозном труде. И для читателей этой книги нет в этом ничего не только удивительного, но и чего-либо нового: ведь они сами так живут, они сами стремятся приобщить свою жизнь к жизни и работе всего советского народа.

В повестях Любови Воронковой и Мусы Магомедова отчетливо видны результаты труда советских людей. В этих повестях действие происходит среди двух небольших народов — алтайцев и аварцев. Сейчас, когда исполнилось полвека нашему великому Советскому Союзу, нелишне вспомнить, какова была прежде, до революции, судьба таких маленьких народов. Алтайцы — их тогда называли ойротами — были загнаны в глухие малодоступные горные леса. Но и в глухую тайгу находили дорогу купцы-толстосумы, за бесценнок скупавшие меха и спаивавшие водкой неграмотных и забитых людей, к ним находили дорогу царские приставы, выколачивавшие из алтайцев подати; собственные кулаки и шаманы держали людей в постоянном страхе... Ойроты были все поголовно неграмотны, среди них не было ни одного врача, ни одного учителя. Да и как учить грамоте, когда у алтайцев не было своей письменности! В «Алтайской повести» Любови Воронковой современные дети алтайцев — грамотные, прочитавшие много книг, — со страхом и

удивлением рассматривают в краеведческом музее страшные фигуры шаманов, фотографии тех нищих, больных людей, какими были их деды... Алтайские ребята знают, что «чудо», случившееся на их земле, — результат великой дружбы народов, культурной и экономической помощи русских и других советских народов маленькому алтайскому народу.

А что такое дружба народов, отлично знает аварский мальчик Саид Курбанов и все его друзья. Ведь в его горной советской республике — Дагестане живет больше двадцати национальностей. И каждая из них имеет свой, непохожий на другие, язык... Как же живут эти разные народы на небольшом куске Кавказских гор? Они живут в тесной дружбе, помогая друг другу. Их всех объединяет советский строй, социализм. А понимать друг друга им помогает русский язык, которому учится каждый дагестанец, потому что в каждом ауле есть школа и нет теперь среди народов Дагестана неграмотных.

Вот и получается, что одна из главных черт всех ребят, изображенных в этих повестях, — их стремление к дружбе. К дружбе друг с другом, к дружбе ребят всех национальностей. Не может советский школьник, пионер относиться плохо, недоброжелательно к своему товарищу только потому, что он другой национальности, не похож на него цветом кожи или волос, формой глаз или носа...

В повести Николая Дубова «На краю земли» веселый молодой геолог «дядя Миша» говорит ребятам, с которыми он поддружился: «Полезные дела не нужно искать, они сами ищут и ждут вас...» Пионеры, живущие в таежной деревне, узнают, почему следует беречь каждую березку на вершине сопки, каждое дерево вокруг себя. Растить и беречь, потому что природа жестоко мстит за неразумное и хищническое отношение к себе... В повести все происходит «по-обыкновенному», как, вероятно, в каждой деревне, каждой семье. Дети здесь не оторваны от дел взрослых, у каждого мальчика и девочки есть свои обязанности, и каждый должен их выполнять. Конечно, герою повести Коле Березину бывает и неохота отрываться от игр с ребятами ради менее увлекательных домашних дел, но он знает, что это надо. Потому что все ребята, все пионеры книг Любови Воронковой, Николая Дубова, Мусы Магомедова знают великое значение сло-

ва НАДО... Слово это означает — долг! Долг перед собою, перед близкими, перед обществом...

Не случайно в каждой повести, только что вами прочитанной, есть взрослые люди, которые для героев книги становятся учителями жизни, нравственного поведения. И не обязательно, чтобы это были только учителя. Конечно, Коля Березин очень уважает и любит старого своего учителя Савелия Максимовича, но не меньшее значение для него имеет и колхозный кузнец Федор Елизарович — умный, сердечный и справедливый человек. И в «Алтайской повести» Л. Воронковой своенравная алтайская девочка Чечек боится провиниться перед заведующим школой Анатолием Яковлевичем не потому, что он может ее наказать, а потому, что он для нее — высокий нравственный авторитет, олицетворение справедливости...

Герой «Знаменитой трости» Мусы Магомедова, аварский мальчишка Саид, чутко вслушивается в то, что говорят ему взрослые люди, среди которых он живет. Для него примером доброты и храбрости являются самые близкие ему люди: мать, отец, дяди и — прежде всего — его дедушка. Старый Магомед, проживший долгую и нелегкую жизнь, участвовавший в трех войнах, израненный, потерявший в войне с фашистами двоих сыновей, полон доброго и участливого внимания ко всем окружающим. Его рассказы о прошлом, его мудрые советы запоминаются навсегда. Он говорит: «От раны люди не умирают, от болезни не умирают — от лжи умирают!» — это врежется накрепко в душу его внука, в души товарищей Саида... А разве можно забыть, когда дедушка находит у крыльца брошенную кем-то из ребят корку хлеба и, счищая с корки налипшую грязь, с сердцем говорит: «Почему дети не понимают, что бросать хлеб в грязь — стыдно и позорно? Каждое зерно полито соками земли. Каждое зерно полито людским потом. Некоторые это не ценят! Куда смотрят их глаза, когда ноги топчут хлеб? Разве сама земля не проклинает таких глупцов?»... Саид слушает дедушкину речь, и она для него вовсе не старческая воркотня. Он в это время думает: «Я знаю, сколько труда надо вложить, сколько пота пролить, чтобы вырастить хлеб. Прошлой осенью мы всем классом работали на току. И тогда же дедушкин знакомый, Гамзат, дал мне вилы, чтобы я подавал снопы на молотилку.

Ох и запарился я! Подал десять снопов — и совсем обесилел...

Для всех ребят исполнены глубокого нравственного смысла лишь те слова, которые сказаны не на ветер, не впустую, слова, за которыми стоят дела. Мир, в котором живут пионеры, требует, чтобы никто и никогда не мирился со злом, а боролся с ним, как только может.

В повести Николая Дубова «На краю земли» школьники смело выслеживают браконьера, которому ничего не стоит убить животное ради куска мяса, поджечь тайгу... А герой «Знаменитой трости» Мусы Магомедова, Саид Курбанов, переживает сильнейший нравственный удар, когда его взрослый друг шофер Кампл оказывается «калымщиком» — берет деньги с людей, которых подвозит на колхозной машине... В непримиримости Саида сказывается та нравственная устойчивость, которую он перенял у взрослых, у своего дедушки, говорившего ему: «У лжи век короткий»...

...Каждую из этих книг, которые здесь напечатаны мне довелось прочитать давно, когда они только впервые вышли. Теперь я их снова перечитал. И понял, что их отличает еще одно свойство — праздничность! Казалось бы, откуда она? Произведения Л. Воронковой, Н. Дубова, М. Магомедова написаны о буднях детей, об их обыденной жизни, о повседневной работе их близких, о самых обычных школьных делах. Откуда же это ощущение праздника, праздничной радости?

Конечно, от того, что нормальное детство — всегда праздник, счастливое время человеческой жизни. И у нас делается все, чтобы наши дети жили с этим ощущением счастья. Школа, радость от узнавания нового, дружба, пионерская жизнь, лагеря, игры, прогулки — не пересчитать всех благ, которые дает детство! Но, кроме этого, есть еще и иное. Чувство радостного удовлетворения от сознания, что ты приобщен к великому, веселому и праздничному делу, которым занимается советский народ. Ибо что может быть праздничней, радостней и счастливей того, что он создает?!

Лев Разгон

СОДЕРЖАНИЕ

Любовь Воронкова	
Алтайская повесть. <i>Рисунки Л. Коростышевского</i>	5
Николай Дубов	
На краю земли. <i>Рисунки В. Высоцкого</i>	195
Муса Магомедов	
Знаменитая трость. <i>Рисунки А. Шадзевского</i>	407
Л. Разгон. Земля пионеров	571

Оформление Е. Савина

Для среднего возраста

БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА
том 5

Воронкова Любовь Федоровна
АЛТАЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

Дубов Николай Иванович
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Повесть

Магомедов Муса
ЗНАМЕНИТАЯ ТРОСТЬ
Повесть

Ответственные редакторы В. М. Писаревская, И. И. Кротова и Р. Н. Ефремова. Художественный редактор Т. М. Токарева. Технический редактор О. В. Кудрявцева. Корректоры Т. П. Лейзерович и Л. М. Короткина.

Сдано в набор 2/IX 1972 г. Подписано к печати 10/I 1973 г. Формат 60×90^{1/16}. Печ. л. 36. (Уч.-изд. л. 30,94). Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А08011. Цена 1 р. 24 к. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ 4774.





